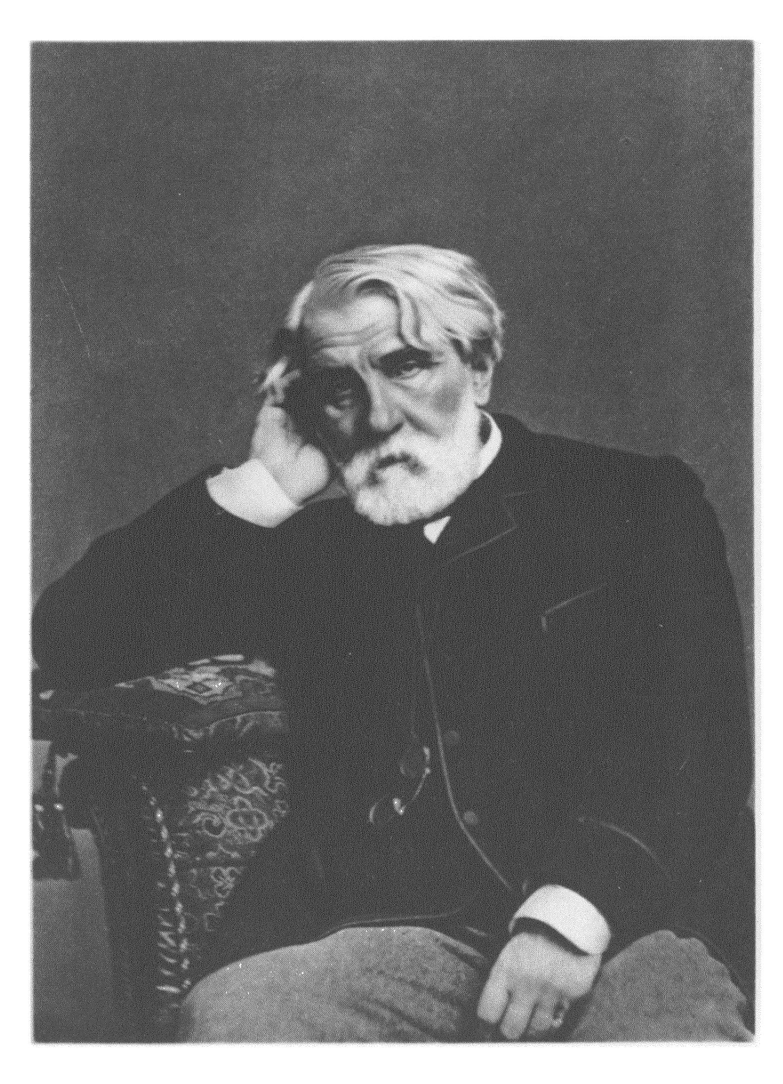
И. С. ТУРГЕНЕВ



СОЧИНЕНИЯ

11

Ив. Тургенев



И. С. ТУРГЕНЕВ

Фотография К. Реша. 1880 г.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



И. С. ТУРГЕНЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

СОЧИНЕНИЯ

В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

♦

Издание второе,
исправленное и дополненное

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1983

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОЧИНЕНИЯ

Том одиннадцатый

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ЖИТЕЙСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ»

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ И НЕКРОЛОГИ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ЗАМЫСЛЫ И НАБРОСКИ

1852—1883

◆

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1983

Т $\frac{4702010100017}{042(02)-83}$ Подписное

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ЖИТЕЙСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ»

1854—1883

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Около пасхи 1843 года в Петербурге произошло событие и само по себе крайне незначительное и давным-давно поглощенное всеобщим забвением. А именно: появилась небольшая поэма некоего Т. Л., под названием «Параша». Этот Т. Л. был я; этою поэмой я вступил на литературное поприще. С тех пор прошло почти двадцать пять лет, и вот по поводу нового издания моих сочинений мне захотелось побеседовать с читателем и передать ему хотя частицу тех воспоминаний, которые накопились у меня в течение четверти века... Grande aevi spatium![1] Не обещаю читателю ничего очень нового, ничего «пикантного»; предуведомляю его также, что многое должно будет остаться невысказанным или недосказанным. За причинами подобных недомолвок ходить недалеко. Все мы знаем, что многое изменилось с 1843 года, многое исчезло совершенно... но не все еще связи порваны между нынешним настоящим и тогдашним прошедшим; много лиц осталось в живых — и не одни лица уцелели. А правду, беспристрастную и всестороннюю правду, можно высказать только о том, что окончательно сошло со сцены. Потому я решаюсь ограничиться несколькими отрывками, несколькими отдельными главами из моих воспоминаний; внутреннее единство, я надеюсь, скажется в них; но от наружного единства, от последовательности рассказа отказываюсь заранее. Считаю, однако, нужным сообщить предварительно несколько данных, касающихся лично до меня и определяющих исходную точку моей деятельности.

Окончив курс по филологическому факультету С.-Петербургского университета в 1837 году, я весною 1838 года отправился доучиваться в Берлин. Мне было всего 19 лет; об этой поездке я мечтал давно. Я был убежден, что в России возможно только набраться некоторых приготовительных сведений, но что источник настоящего знания находит-

---

[1] Большой промежуток времени! *(лат.)*

ся за границей. Из числа тогдашних преподавателей С.-Петербургского университета не было ни одного, который бы мог поколебать во мне это убеждение; впрочем, они сами были им проникнуты; его придерживалось и министерство, во главе которого стоял граф Уваров, посылавшее на свой счет молодых людей в немецкие университеты. В Берлине я пробыл (в два приезда) около двух лет. Из числа русских, слушавших университетские лекции, назову: в течение первого года — Н. Станкевича, Грановского, Фролова; в течение второго — столь известного впоследствии М. Бакунина. Я занимался философией, древними языками, историей и с особенным рвением изучал Гегеля под руководством профессора Вердера. В доказательство того, как недостаточно было образование, получаемое в то время в наших высших зведениях, приведу следующий факт: я слушал в Берлине латинские древности у Цумпта, историю греческой литературы у Бёка — а на дому принужден был зубрить латинскую грамматику и греческую, которые знал плохо. И я был не из худших кандидатов.

Стремление молодых людей — моих сверстников — за границу напоминало искание славянами начальников у заморских варягов. Каждый из нас точно так же чувствовал, что его *земля* (я говорю не об отечестве вообще, а о нравственном и умственном достоянии каждого) велика и обильна, а порядка в ней нет. Могу сказать о себе, что лично я весьма ясно сознавал все невыгоды подобного отторжения от родной почвы, подобного насильственного перерыва всех связей и нитей, прикреплявших меня к тому быту, среди которого я вырос... но делать было нечего. Тот быт, та среда и особенно та полоса ее, если можно так выразиться, к которой я принадлежал — полоса помещичья, крепостная, — не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив: почти всё, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования — отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дороге; либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя «всех и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал... Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконец вынырнул из его волн — я все-таки очутился «западником», и остался им навсегда.

Мне и в голову не может прийти осуждать тех из моих

современников, которые другим, менее отрицательным путем достигли той свободы, того сознания, к которым я стремился... Я хочу только заявить, что *я* другого пути перед собой не видел. Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел; для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил всё, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда. Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить. И я не думаю, чтобы мое западничество лишило меня всякого сочувствия к русской жизни, всякого понимания ее особенностей и нужд. «Записки охотника», эти, в свое время новые, впоследствии далеко опереженные этюды, были написаны мною за границей; некоторые из них — в тяжелые минуты раздумья о том: вернуться ли мне на родину, или нет? Мне могут возразить, что та частичка русского духа, которая в них замечается, уцелела не по милости моих западных убеждений, но несмотря на эти убеждения и помимо моей воли. Трудно спорить о подобном предмете; знаю только, что я, конечно, не написал бы «Записок охотника», если б остался в России. Скажу также, что я никогда не признавал той неприступной черты, которую иные заботливые и даже рьяные, но мало-сведущие патриоты непременно хотят провести между Россией и Западной Европой, той Европой, с которою порода, язык, вера так тесно ее связывают. Не составляет ли наша, славянская раса — в глазах филолога, этнографа — одной из главных ветвей индо-германского племени? И если нельзя отрицать воздействия Греции на Рим и обоих их вместе — на германо-романский мир, то на каком же основании не допускается воздействие этого — что ни говори — родственного, однородного мира на нас? Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния и с детским ужасом отмахиваться от него, как бы он нас не испортил? Я этого не полагаю: я полагаю, напротив, что нас хоть в семи водах мой, — нашей, русской сути из нас не вывести. Да и что бы мы были, в противном случае, за плохонький народец! Я сужу по собственному опыту: преданность моя началам, выработанным

западною жизнию, не помешала мне живо чувствовать и ревниво оберегать чистоту русской речи. Отечественная критика, взводившая на меня столь многочисленные, столь разнообразные обвинения, помнится, ни разу не укоряла меня в нечистоте и неправильности языка, в подражательности чужому слогу.

А впрочем — «basta cosi»[1]; довольно распространяться о собственной особе; буду говорить о других. Это интереснее и для читателя и для меня самого. Позволяю себе заметить, что отрывки из моих воспоминаний, которые я решаюсь представить на суд публики, следуют друг за другом в хронологическом порядке и что первый из них относится ко времени, предшествовавшему 1843 году.

Баден-Баден. 1868 г.

---

[1] «довольно» *(итал.)*

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР У П. А. ПЛЕТНЕВА

В начале 1837 года я, будучи третьекурсным студентом С.-Петербургского университета (по филологическому факультету), получил от профессора русской словесности, Петра Александровича Плетнева, приглашение на литературный вечер. Незадолго перед тем я представил на его рассмотрение один из первых плодов моей Музы, как говаривалось в старину,— фантастическую драму в пятистопных ямбах под заглавием «Стенио». В одну из следующих лекций Петр Александрович, не называя меня по имени, разобрал, с обычным своим благодушием, это совершенно нелепое произведение, в котором с детской неумелостью выражалось рабское подражание байроновскому «Манфреду». Выходя из здания университета и увидав меня на улице, он подозвал меня к себе и отечески пожурил меня, причем, однако, заметил, что во мне что-то есть! Эти два слова возбудили во мне смелость отнести к нему несколько стихотворений; он выбрал из них два и год спустя напечатал их в «Современнике», который унаследовал от Пушкина. Заглавия второго не помню; но в первом воспевался «Старый дуб», и начиналось оно так:

Маститый царь лесов, кудрявой головою
Склонился старый дуб над сонной гладью вод, и т. д.

Это первая моя вещь, явившаяся в печати, конечно, без подписи.

Войдя в переднюю квартиры Петра Александровича, я столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да! да! хороши наши министры! нечего сказать!» — засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его белые зубы и живые, быстрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин, с которым мне до тех пор не удавалось встретиться; и как я досадовал на свою мешкотность! Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстни-

ков, чем-то вроде полубога. Мы действительно поклонялись ему. Поклонение авторитетам в последнее время подверглось, как известно, насмешкам, осуждению, чуть не проклятию. Признаться в нем — значит заклеймить себя пошлецом навеки. Но позволю себе заметить нашим строгим молодым судьям, что не худо бы сперва условиться в значении слова «авторитет». Авторитет авторитету — рознь. Сколько я помню, никому из нас (я говорю об университетских товарищах) и в голову не пришло бы преклониться перед человеком потому только, что он был богат или важен, или очень большой чин имел; *это* обаяние на нас не действовало — напротив... Даже великий ум нас не подкупал; нам нужен был *вождь*; и весьма свободные, чуть не республиканские убеждения отлично уживались в нас с восторженным благоговением перед людьми, в которых мы видели своих наставников и вождей. Скажу более: мне кажется, что такого рода энтузиазм, даже преувеличенный, свойствен молодому сердцу; едва ли оно в состоянии воспламениться отвлеченной идеей, как бы прекрасна и возвышенна она ни была, если эта самая идея не явится ему воплощенною в живом лице — в наставнике. Вся разница между теперешним и тогдашним поколеньями состоит, быть может, в том, что мы не стыдились нашего идола и нашего поклонения, а, напротив, гордились и тем и другим. Независимость собственных мнений, бесспорно, дело почтенное и благое; не добившись ее, никто не может назваться человеком в истинном смысле слова; но в том-то и вопрос, что ее *добиться* надо, надо ее завоевать, как почти всё хорошее на сей земле; а *начать* это завоевание всего удобнее под знаменем избранного вождя. Впрочем, надо и то принять в соображение, что нынешние молодые люди имеют иные понятия, иные воззрения; если б, например, в наше время кто-нибудь из нашей среды вздумал требовать для молодого поколения «уважения», мы бы, наверное, на смех его подняли — мы бы даже обиделись; «это хорошо для стариков,— подумали бы мы,— а нам нужен только простор, да и тот мы себе завоюем». Кто тут прав, кто виноват — из прежних или нынешних,— решить не берусь; в сущности, стремления молодежи всегда бескорыстны и честны; и цели их остаются те же, только имена меняются. Быть может, при большей гражданской развитости современных юношей, при большей затруднительности их задач — они точно нуждаются в уважении.

Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз — за несколько дней до его смерти, на утреннем концерте в зале Энгельгардт. Он стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей — и кудрявые волосы... Он и на меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: он словно с досадой повел плечом — вообще он казался не в духе — и отошел в сторону. Несколько дней спустя я видел его лежавшим в гробу — и невольно повторял про себя:

Недвижим он лежал... И странен
Был томный мир его чела....

Но возвращаюсь к рассказу.

Петр Александрович ввел меня в гостиную и представил своей (первой) жене, уже немолодой даме, болезненного облика и очень молчаливой. В комнате, кроме ее, сидело человек семь или восемь... Все они теперь уже покойники; из всего собравшегося тогда общества — в живых я один. Правда, с тех пор прошло тридцать лет с лишком... Но в числе гостей были люди молодые.

Вот кто были эти гости:

Во-первых, известный *Скобелев*, автор «Кремнева», впоследствии комендант С.-Петербургской крепости, всем тогдашним петербургским жителям памятная фигура с обрубленными пальцами, смышленым, помятым, морщинистым, прямо солдатским лицом и солдатскими, не совсем наивными ухватками — тертый калач, одним словом. Потом — автор «Сумасшедшего дома», *Воейков*, хромоногое и как бы искалеченное, полуразрушенное существо, с повадкой старинного подьячего, желтым припухлым лицом и недобрым взглядом черных крошечных глаз; потом — адъютант в жандармском мундире, белокурый плотный мужчина с разноцветными (так называемыми арлекинскими) зрачками, с подобострастным и пронзительным выражением физиономии, некто *Владиславлев*, издатель известного в свое время альманаха «Утренняя заря» (ходили слухи, что подписка на этот альманах была в некотором роде обяза-

тельная). Далее: высокий и худощавый господин в очках, с маленькой головкой, беспокойными телодвиженьями и певучим носовым выговором, с виду смахивавший на статского советника немецкого происхождения — переводчик и стихотворец *Карлгоф*; офицер путей сообщения с несколько болезненным темным лицом, крупными насмешливыми губами и растрепанными бакенбардами — что в то время уже считалось как бы некоторым поползновением к либерализму — переводчик «Фауста», *Губер*; худой и нескладно сложенный человек чахоточной комплекции, с нерешительной улыбкой на губах и во взоре, с узким, но красивым и симпатическим лбом, *Гребенка* — враг Полевого (он на него только что написал пасквиль вроде сказки; в ней *кузнечик полевой* играл очень неблаговидную роль),— автор повестей и юмористических рассказов с малороссийским оттенком, в которых чуть заметно сочилась своеобразная теплая струйка; наконец, наш добрейший и незабвенный *князь Одоевский*. Этого описывать нечего: всякий помнит его благообразные черты, таинственный и приветливый взгляд, детски милый смех и добродушную торжественность... В комнате находился еще один человек. Одетый в длиннополый двухбортный сюртук, короткий жилет с голубой бисерной часовой цепочкой и шейный платочек с бантом, он сидел в уголку, скромно подобрав ноги, и изредка покашливал, торопливо поднося руку к губам. Человек этот поглядывал кругом не без застенчивости, прислушивался внимательно; в глазах его светился ум необыкновенный, но лицо у него было самое простое, русское — вроде тех лиц, которые часто встречаются у образованных самоучек из дворовых и мещан. Замечательно, что эти лица, в противность тому, что́, по-видимому, следовало бы ожидать, редко отличаются энергией, а, напротив, почти всегда носят отпечаток робкой мягкости и грустного раздумья... Это был поэт *Кольцов*.

С точностью не могу теперь припомнить, о чем в тот вечер шел разговор; но он не отличался ни особенной живостью, ни особенной глубиной и шириной поднимаемых вопросов. Речь касалась то литературы, то светских и служебных новостей — и только. Раза два она приняла военный и патриотический колорит, вероятно, благодаря присутствию трех мундиров. Время было тогда очень уже смирное. Правительственная сфера, особенно в Петербурге,

захватывала и покоряла себе всё. А между тем та эпоха останется памятной в истории нашего духовного развития... С тех пор прошло с лишком тридцать лет, но мы всё еще живем под веянием и в тени того, что началось тогда; мы еще не произвели ничего равносильного. А именно: весною только что протекшего (1836) года был дан в первый раз «Ревизор», а несколько недель спустя, в феврале или марте 1837 года,— «Жизнь за царя» *. Пушкин был еще жив, в полном расцвете сил и, по всем вероятностям, ему предстояло много лет деятельности... Ходили темные слухи о некоторых превосходных произведениях, которые он берег в своем портфеле. Эти слухи побуждали любителей словесности подписываться — в ограниченном, впрочем, числе — на «Современник»; но, правду говоря, не на Пушкине сосредоточивалось внимание тогдашней публики... Марлинский всё еще слыл любимейшим писателем, барон Брамбеус царствовал, «Большой выход у Сатаны» почитался верхом совершенства, плодом чуть не вольтеровского гения, а критический отдел в «Библиотеке для чтения» — образцом остроумия и вкуса; на Кукольника взирали с надеждой и почтением, хотя и находили, что «Рука всевышнего» не могла идти в сравнение с «Торквато Тассо»,— а Бенедиктова заучивали наизусть **. Между прочим, в тот вечер, о котором я завел речь, Гребенка прочел, по просьбе хозяина, одно из последних стихотворений Бенедиктова. Время, повторяю, было смирное по духу и трескучее по внешности, и разговоры подлаживались под господствовавший тон; но таланты несомненные, сильные таланты — действительно были и оставили глубокий след. Теперь на наших глазах совершается факт противоположный: общий уровень значительно поднялся; но таланты — и реже и слабее.

Первым из общества удалился Воейков; он еще не перешел порога комнаты, как уже Карлгоф принялся читать

* Я находился на обоих представлениях — и, сознаюсь откровенно, не понял значения того, что совершалось перед моими глазами. В «Ревизоре» я по крайней мере много смеялся, как и вся публика. В «Жизни за царя» я просто скучал. Правда, голос Воробьевой (Петровой), которой я незадолго перед тем восхищался в «Семирамиде», уже надломился, а г-жа Степанова (Антонида) визжала сверхъестественно... Но музыку Глинки я все-таки должен бы был понять.

** Об этом настроении публики, вообще об этой эпохе будет говорено подробнее в последующем этюде: «В. Г. Белинский» ⟨«Воспоминания о Белинском», см. с. 21⟩.

прерывавшимся от волнения голосом эпиграмму против него... «Поэт-идеалист и мечтатель по преимуществу», как величал себя Карлгоф, видно, не мог забыть посвященное ему и действительно жестокое четверостишие в «Сумасшедшем доме». Скобелев также скоро откланялся, истощив небогатый запас своих прибауточек. Губер начал жаловаться на цензуру. Эта тема часто вращалась в тогдашних литературных беседах... Да и как могло быть иначе! Всем известны анекдоты о «вольном духе», о «лжепророке» и т. д.; но едва ли кто из теперешних людей может составить себе понятие о том, какому ежеминутному и повсеместному рабству подвергалась печатная мысль *. Литератор — кто бы он ни был — не мог не чувствовать себя чем-то вроде контрабандиста. Разговор перешел к Гоголю, который находился за границей; но Белинский тогда едва начинал свою критическую карьеру — никто еще не пытался разъяснить русской публике значение Гоголя, в творениях которого оракул «Библиотеки для чтения» видел один грязный малороссийский жарт. Помнится, всё ограничилось тем, что Владиславлев с похвалой цитировал из «Ревизора» фразу: «Не по чину берешь!» — и при этом сделал движение рукою, как будто поймал муху; как теперь вижу взмах этой руки в голубом обшлаге — и знаменательный взгляд, которым все обменялись. Хозяин дома сказал несколько слов о Жуковском, об его переводе «Ундины», который появился около того времени роскошным изданием, с рисунками — если не ошибаюсь — графа Толстого; он упомянул также о другом Жуковском, весьма слабом стихотворце, недавно с громом и треском выступившем в «Библиотеке для чтения» под псевдонимом Бернета; о графине Растопчиной, о г. Тимофееве, даже о г. Крешеве было произнесено слова два, так как они все писали стихи, а писать стихи тогда еще считалось делом важным. Плетнев стал было просить Кольцова прочесть свою последнюю думу (чуть ли не «Божий мир»); но тот чрезвычайно сконфузился и принял такой растерянный вид, что Петр Александрович не настаивал. Повторяю еще раз: на всей нашей беседе лежал оттенок скромности и смирения; она происходила в те времена, которые покойный Аполлон Григорьев прозвал допотоп-

* Цензорские помарки доходили до каприза, до игривости; у меня долго хранился корректурный лист, на котором цензор К. вычеркнул слова: «эта девушка была, как цветок» — и заменил их следующими (и всё теми же красными чернилами!): «эта девица походила на пышную розу».

ными. Общество еще помнило удар, обрушившийся на самых видных его представителей лет двенадцать перед тем; и изо всего того, что проснулось в нем впоследствии, особенно после 55-го года, ничего даже не шевелилось, а только бродило — глубоко, но смутно — в некоторых молодых умах. Литературы, в смысле живого проявления одной из общественных сил, находящегося в связи с другими столь же и более важными проявлениями их, не было, как не было прессы, как не было гласности, как не было личной свободы; а была словесность — и были такие словесных дел мастера, каких мы уже потом не видали.

В двенадцатом часу вечера, почти после всех, я вышел в переднюю вместе с Кольцовым, которому предложил довезти его до дому,— у меня были сани. Он согласился — и всю дорогу покашливал и кутался в свою худую шубенку. Я его спросил, зачем он не захотел прочесть свою думу... «Что же это я стал бы читать-с,—отвечал он с досадой,— тут Александр Сергеич только что вышел, а я бы читать стал! Помилуйте-с!» Кольцов благоговел перед Пушкиным. Мне самому мой вопрос показался неуместным; и действительно: как бы этот робкий человек, с такой смиренной наружностью, стал бы из уголка декламировать:

Отец света — вечность,
Сын вечности — сила;
Дух силы — есть жизнь —
Мир жизнью кипит?!! и т. д.

На угле переулка, в котором он жил,— он вышел из саней, торопливо застегнул полость и, всё покашливая и кутаясь в шубу, потонул в морозной мгле петербургской январской ночи. Я с ним больше не встречался.

Скажу несколько слов о самом Петре Александровиче. Как профессор русской литературы он не отличался большими сведениями; ученый багаж его был весьма легок; зато он искренно любил «свой предмет», обладал несколько робким, но чистым и тонким вкусом и говорил просто, ясно, не без теплоты. Главное: он умел сообщать своим слушателям те симпатии, которыми сам был исполнен,— умел заинтересовать их. Он не внушал студентам никаких преувеличенных чувств, ничего подобного тому, что́ возбуждал в них, например, Грановский; да и повода к тому не было —

non hic erat locus... [1] Он тоже был очень смирен; но его любили. Притом его — как человека, прикосновенного к знаменитой литературной плеяде, как друга Пушкина, Жуковского, Баратынского, Гоголя, как лицо, которому Пушкин посвятил своего Онегина,— окружал в наших глазах ореол. Все мы наизусть знали стихи: «Не мысля гордый свет забавить», и т. д.

И действительно: Петр Александрович подходил под портрет, набросанный поэтом: это не был обычный комплимент, которым так часто украшаются посвящения. Кто изучил Плетнева, не мог не признать в нем

Души прекрасной,
Святой исполненной мечты *,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты.

Он также принадлежал к эпохе, ныне безвозвратно прошедшей: это был наставник старого времени, словесник, не ученый, но по-своему — мудрый. Кроткая тишина его обращения, его речей, его движений, не мешала ему быть проницательным и даже тонким; но тонкость эта никогда не доходила до хитрости, до лукавства; да и обстоятельства так сложились, что он в хитрости не нуждался: всё, что он желал,— медленно, но неотразимо как бы плыло ему в руки; и он, покидая жизнь, мог сказать, что насладился ею вполне, лучше чем вполне — в меру. Такого рода наслаждение надежнее всякого другого; древние греки недаром говорили, что последний и высший дар богов человеку — чувство мéры. *Эта* сторона античного духа в нем отразилась — и он ей особенно сочувствовал; *другие* ему были закрыты. Он не обладал никаким, так называемым, «творческим» талантом; и он сам хорошо это знал: главное свойство его ума — трезвая ясность — не могла изменить ему, когда дело шло о разборе собственной личности. «Красок у меня нет,— жаловался он мне однажды,— всё выходит серо, и потому я не могу даже с точностью передать то, чтó я видел и посреди чего жил». Для критика — в воспитательном, в отрицательном значении слова — ему недоставало

---

[1] это было не к месту *(лат.)*

* Значение этого стиха неясно; он может показаться более или менее романтической вставкой, тем, что французы называют une cheville; но в самой своей неясности он верно характеризует то нечто, неопределенное, но хорошее и благородное, которое многие лучшие люди того времени носили в своих сердцах.

энергии, огня, настойчивости; прямо говоря — мужества. Он не был рожден бойцом. Пыль и дым битвы для его гадливой и чистоплотной натуры были столь же неприятны, как и сама опасность, которой он мог подвергнуться в рядах сражавшихся. Притом его положение в обществе, его связи с двором так же отдаляли его от подобной роли — роли критика-бойца, как и собственная его натура. Оживленное созерцание, участие искреннее, незыблемая твердость дружеских чувств и радостное поклонение поэтическому — вот весь Плетнев. Он вполне выразился в своих малочисленных сочинениях, написанных языком образцовым,— хотя немного бледным.

Он был прекрасный семьянин и во второй своей супруге, в детях своих нашел всё нужное для истинного счастия. Мне пришлось раза два встречаться с ним за границей: расстроенное здоровье заставило его покинуть Петербург и свою ректорскую должность; в последний раз я видел его в Париже, незадолго до его кончины. Он совершенно безропотно и даже весело переносил свою весьма тягостную и несносную болезнь. «Я знаю, что я скоро должен умереть,— говорил он мне,— и, кроме благодарности судьбе, ничего не чувствую; пожил я довольно, видел и испытал много хорошего, знал прекрасных дюдей; чего же больше? Надо и честь знать!» И на смерти его, как я потом слышал, лежал тот же отпечаток душевной тишины и покорности.

Я любил беседовать с ним. До самой старости он сохранил почти детскую свежесть впечатлений и, как в молодые годы, *умилялся* перед красотою: он и тогда не *восторгался* ею. Он не расставался с дорогими воспоминаниями своей жизни; он лелеял их, он трогательно гордился ими. Рассказывать о Пушкине, о Жуковском — было для него праздником. И любовь к родной словесности, к родному языку, к самому его звуку не охладела в нем; его коренное, чисто русское происхождение сказывалось и в этом: он был, как известно, из духовного звания. Этому же происхождению приписываю я его елейность, а может быть, и житейскую его мудрость. Он с прежним участием слушал произведения наших новых писателей — и произносил свой суд, не всегда глубокий, но почти всегда верный и, при всей мягкости форм, неуклонно согласный с теми начала-

ми, которым он никогда не изменял в деле поэзии и искусства. Студенческие «истории», случившиеся во время его отсутствия за границей, глубоко его огорчили — глубже, чем я ожидал, зная его характер; он скорбел о своем «бедном» университете, и осуждение его падало не на одних молодых людей...

Подобные личности теперь уже попадаются редко; не потому, чтобы в них было нечто необыкновенное, а потому, что время изменилось. Полагаю, что читатель не попеняет на меня за то, что я остановил его внимание на одной из них — на почтенном и благодушном словеснике старого закала.

1868

ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛИНСКОМ

Личное мое знакомство с В. Г. Белинским началось в Петербурге, летом 1843 года; но имя его стало мне известным гораздо раньше. Вскоре после появления его первых критических статей в «Молве» и «Телескопе» (1836—1839) в Петербурге начали ходить слухи о нем как о человеке весьма бойком, горячем, который ни перед чем не отступал и нападал на «всё» — на всё в литературном мире, конечно. Другого рода критика была тогда немыслима — в печати. Многие, даже между молодежью, осуждали его и находили, что он слишком смел и далеко заносится; старинный антагонизм Петербурга и Москвы придавал еще более резкости тому недоверию, с которым читатели на берегах Невы относились к новому московскому светилу. Притом его плебейское происхождение (отец его был лекарь, а дед — дьякон) возмущало аристократический дух, установившийся в нашей литературе с александровских времен, времен «Арзамаса» и т. п. В тогдашнее темное, подпольное время сплетня играла большую роль во всех суждениях — литературных и иных... Известно, что сплетня и до сих пор не совсем утратила свое значение; исчезнет она только в лучах полной гласности и свободы. Целая легенда тотчас сложилась и о Белинском. Говорили, что он недоучившийся казенный студент, выгнанный из университета тогдашним попечителем Голохвастовым за развратное поведение (Белинский — и развратное поведение!); уверяли, что и наружность его самая ужасная; что это какой-то циник, бульдог, призренный Надеждиным с целью травить им своих врагов; упорно, и как бы в укоризну, называли его «Беллынским». Слышались, правда, голоса и в его пользу; помнится, издатель почти единственного тогдашнего толстого журнала отзывался о нем как о птичке с ноготком, как о живчике, которого не худо бы завербовать — что, как известно, и было впоследствии приведено в исполнение, к великому преуспеянию журнала и к великой выгоде само-

го... издателя. Что касается до меня, то знакомство мое с Белинским как писателем произошло следующим образом.

Стихотворения Бенедиктова появились в 1836 году маленькой книжечкой с неизбежной виньеткой на заглавном листе — как теперь ее вижу — и привели в восхищение всё общество, всех литераторов, критиков, всю молодежь. И я, не хуже других, упивался этими стихотворениями, знал многие наизусть, восторгался «Утесом», «Горами» и даже «Матильдой на жеребце», гордившейся «усестом красивым и плотным». Вот в одно утро зашел ко мне студент-товарищ и с негодованием сообщил мне, что в кондитерской Беранже появился № «Телескопа» с статьей Белинского, в которой этот «критикан» осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова. Я немедленно отправился к Беранже, прочел всю статью от доски до доски — и, разумеется, также воспылал негодованием. Но — странное дело! — и во время чтения и после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с «критиканом», находило его доводы убедительными... неотразимыми. Я стыдился этого уже точно неожиданного впечатления, я старался заглушить в себе этот внутренний голос; в кругу приятелей я с большей еще резкостью отзывался о самом Белинском и об его статье... но в глубине души что-то продолжало шептать мне, что *он был прав*... Прошло несколько времени — и я уже не читал Бенедиктова. Кому же не известно теперь, что мнения, высказанные тогда Белинским, мнения, казавшиеся дерзкой новизною, стали всеми принятым, общим местом — «a truism», как выражаются англичане? Под *этот* приговор подписалось потомство, как и под многие другие, произнесенные тем же судьей. Имя Белинского с тех пор уже не изгладилось из моей памяти, но личное наше знакомство началось позже.

Когда появилась та небольшая поэма «Параша», о которой я говорил выше, я в самый день отъезда из Петербурга в деревню сходил к Белинскому (я знал, где он жил, но не посещал его и всего два раза встретился с ним у знакомых) и, не назвавшись, оставил его человеку один экземпляр. В деревне я пробыл около двух месяцев и, получив майскую книжку «Отечественных записок», прочел в ней длинную статью Белинского о моей поэме. Он так благо-

Воспоминанія о Бѣлинскомъ.

I.

Личное мое знакомство съ В. Г. Бѣлинскимъ началось въ Петербургѣ лѣтомъ 1843го года; но имя его стало мнѣ извѣстнымъ гораздо раньше. Вскорѣ послѣ появленія его первыхъ критическихъ статей въ «Молвѣ» и «Телескопѣ» (1836—1839) — въ Петербургѣ начали ходить слухи о немъ, какъ о человѣкѣ весьма бойкомъ, горячемъ, который ни передъ чѣмъ не отступалъ и нападалъ «на всё»... на всё въ литературномъ мірѣ — конечно. Другаго рода критика была въ то время немыслима — въ печати. Многіе — даже между молодежью — осуждали его и находили, что онъ слишкомъ смѣлъ и дерзко зубоскалитъ; старинный антагонизмъ Петербурга и Москвы придавалъ ещё болѣе рѣзкости тому недовѣрію, съ которымъ читатели на берегахъ Невы относились къ новому московскому свѣтилу. — Притомъ его и плебейское происхожденіе (внукъ попа и сынъ лекаря-уѣздника) — возмущало аристократическій духъ, установившійся въ нашей литературѣ съ Александровскихъ временъ, временъ «Арзамаса» и т. п. — Въ то глухое темное, подпольное время сплетня играла большую роль во всѣхъ сужденіяхъ — литературныхъ и иныхъ. Извѣстно что сплетня и до сихъ поръ не совсѣмъ потеряла своё значеніе; исчезнетъ она только въ лучахъ полной гласности и свободы. — Цѣлая легенда быстро сложилась о Бѣлинскомъ. — Говорили, что онъ — недоучившійся казенный студентъ, выгнанный изъ университета министромъ попечителемъ Голохвастовымъ — ~~за~~ за развратное поведеніе.. (Бѣлинскій — и развратное поведеніе!!!); упорно и какъ бы въ укоризну, называли его Бѣлыненскимъ; увѣряли, что наружность его — самая ужасная; что это какой-то циникъ, бульдогъ, презирающій наслажденія и жаждущій терзать своихъ враговъ. — Слышались, правда, и голоса въ его пользу; помнится, изъ числа почти единственнаго

«ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛИНСКОМ».
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА БЕЛОВОГО АВТОГРАФА.
Национальная библиотека, Париж.

склонно отозвался обо мне, так горячо хвалил меня, что, помнится, я почувствовал больше смущения, чем радости. Я не «мог поверить», и когда в Москве покойный Киреевский (И. В.) подошел ко мне с поздравлениями, я поспешил отказаться от своего детища, утверждая, что сочинитель «Параши» не я. Возвратившись в Петербург, я, разумеется, отправился к Белинскому, и знакомство наше началось. Он вскоре уехал в Москву — жениться, а возвратившись оттуда, поселился на даче в Лесном. Я также нанял дачу в первом Парголове и до самой осени почти каждый день посещал Белинского. Я полюбил его искренно и глубоко; он благоволил ко мне.

Опишу его наружность. Известный литографический, едва ли не единственный портрет его дает о нем понятие неверное. Срисовывая его черты, художник почел за долг воспарить духом и украсить природу и потому придал всей голове какое-то повелительно-вдохновенное выражение, какой-то военный, чуть не генеральский поворот, неестественную позу, что вовсе не соответствовало действительности и нисколько не согласовалось с характером и обычаем Белинского. Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, со впалой грудью и понурой головою. Одна лопатка заметно выдавалась больше другой. Всякого, даже не медика, немедленно поражали в нем все главные признаки чахотки, весь так называемый habitus [1] этой злой болезни. Притом же он почти постоянно кашлял. Лицо он имел небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькие частые зубы; густые белокурые волосы падали клоком на белый прекрасный, хоть и низкий лоб. Я не видал глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. Голос у Белинского был слаб, с хрипотою, но приятен; говорил он с особенными ударениями и придыханиями, «упорствуя, волнуясь и спеша» *. Смеялся он от

[1] наружный вид *(лат.)*.
* Стих Некрасова.

души, как ребенок. Он любил расхаживать по комнате, постукивая пальцами красивых и маленьких рук по табакерке с русским табаком. Кто видел его только на улице, когда в теплом картузе, старой енотовой шубенке и стоптанных калошах он торопливой и неровной походкой пробирался вдоль стен и с пугливой суровостью, свойственной нервическим людям, озирался вокруг,— тот не мог составить себе верного о нем понятия, и я до некоторой степени понимаю восклицание одного провинциала, которому его указали: «Я только в лесу таких волков видывал, и то травленых!» Между чужими людьми, на улице, Белинский легко робел и терялся. Дома он обыкновенно носил серый сюртук на вате и держался вообще очень опрятно. Его выговор, манеры, телодвижения живо напоминали его происхождение; вся его повадка была чисто русская, московская; недаром в жилах его текла беспримесная кровь — принадлежность нашего великорусского духовенства, столько веков недоступного влиянию иностранной породы.

Белинский был, что́ у нас редко, действительно страстный и действительно искренний человек, способный к увлечению беззаветному, но исключительно преданный правде, раздражительный, но не самолюбивый, умевший любить и ненавидеть бескорыстно. Люди, которые, судя о нем наобум, приходили в негодование от его «наглости», возмущались его «грубостью», писали на него доносы, распространяли про него клеветы,— эти люди, вероятно, удивились бы, если б узнали, что у этого циника душа была целомудренная до стыдливости, мягкая до нежности, честная до рыцарства; что вел он жизнь чуть не монашескую, что вино не касалось его губ. В этом последнем отношении он не походил на тогдашних москвичей. Невозможно себе представить, до какой степени Белинский был правдив с другими и с самим собою; он чувствовал, действовал, существовал только в силу того, что́ он признавал за истину, в силу своих принципов. Приведу один пример. Вскоре после моего знакомства с ним его снова начали тревожить те вопросы, которые, не получив разрешения или получив разрешение одностороннее, не дают покоя человеку, особенно в молодости: философические вопросы о значении жизни, об отношениях людей друг к другу и к божеству, о происхождении мира, о бессмертии души и т. п. Не будучи знаком ни с одним из иностранных языков (он даже по-французски

читал с великим трудом) и не находя в русских книгах ничего, чтó могло бы удовлетворить его пытливость, Белинский поневоле должен был прибегать к разговорам с друзьями, к продолжительным толкам, суждениям и расспросам; и он отдавался им со всем лихорадочным жаром своей жаждавшей правды души. Таким именно путем он, еще в Москве, усвоил себе, между прочим, главные выводы и даже терминологию гегелевской философии, беспрекословно царившей тогда в умах молодежи. Дело не обходилось, конечно, без недоразумений, иногда даже комических: друзья-наставники Белинского, передававшие ему всю суть и весь сок западной науки, часто сами плохо и поверхностно ее понимали; *но уже Гёте сказал, что

Ein guter Mann in seinem dunkeln Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst... **

а Белинский был именно ein guter Mann, был правдивый и честный человек. К тому же его в этих случаях выручал замечательный инстинкт, которым он был одарен; но об этом речь впереди. Итак, когда я познакомился с Белинским, его мучили сомнения. Эту фразу я часто слышал и сам употреблял не однажды; но в действительности и вполне она применялась к одному Белинскому. Сомнения его именно мучили его, лишали его сна, пищи, неотступно грызли и жгли его; он не позволял себе забыться и не знал усталости; он денно и нощно бился над разрешением вопросов, которые сам задавал себе. Бывало, как только я приду к нему, он, исхудалый, больной (с ним сделалось тогда воспаление в легких и чуть не унесло его в могилу), тотчас встанет с дивана и едва слышным голосом, беспрестанно кашляя, с пульсом, бившим сто раз в минуту, с неровным

---

* Много хлопот тогда наделало в Москве известное изречение Гегеля: «Чтó разумно — то действительно, чтó действительно — то разумно». С первой половиной изречения все соглашались, но как было понять вторую? Неужели же нужно было признать всё, что тогда существовало в России, за разумное? Толковали, толковали и порешили: вторую половину изречения *не допустить*. Если б кто-нибудь шепнул тогда молодым философам, что Гегель *не всё существующее признает за действительное*,— много бы умственной работы и томительных прений было сбережено; они увидали бы, что эта знаменитая формула, как и многие другие, есть простая тавтология и в сущности значит только то, что «opium facit dormire, quare est in eo virtus dormitiva», то есть опиум заставляет спать по той причине, что в нем есть снотворная сила (Мольер).

** Добрый человек и в неясном своем стремлении всегда имеет сознание прямого пути.

румянцем на щеках, начнет прерванную накануне беседу. Искренность его действовала на меня, его огонь сообщался и мне, важность предмета меня увлекала; но, поговорив часа два, три, я ослабевал, легкомыслие молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде, сама жена Белинского умоляла и мужа и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти прения, напоминала ему предписание врача... но с Белинским сладить было нелегко. «Мы не решили еще вопроса о существовании бога,— сказал он мне однажды с горьким упреком,— а вы хотите есть!..» Сознаюсь, что, написав эти слова, я чуть не вычеркнул их при мысли, что они могут возбудить улыбку на лицах иных из моих читателей... Но не пришло бы в голову смеяться тому, кто сам бы слышал, как Белинский произнес эти слова; и если, при воспоминании об *этой* правдивости, об *этой* небоязни смешного, улыбка может прийти на уста, то разве улыбка умиления и удивления...

Лишь добившись удовлетворившего его в то время результата, Белинский успокоился и, отложив размышления о тех капитальных вопросах, возвратился к ежедневным трудам и занятиям. Со мной он говорил особенно охотно потому, что я недавно вернулся из Берлина, где в течение двух семестров занимался гегелевской философией и был в состоянии передать ему самые свежие, последние выводы. Мы еще верили тогда в действительность и важность философических и метафизических выводов, хотя ни он, ни я, мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на немецкий манер... Впрочем, мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления.

Сведения Белинского были не обширны; он знал мало, и в этом нет ничего удивительного. В отсутствии трудолюбия, в лени даже враги не обвиняли его; но бедность, окружавшая его сызмала, плохое воспитание, несчастные обстоятельства, ранние болезни, а потом необходимость спешной работы из-за куска хлеба — всё это вместе взятое помешало Белинскому приобрести правильные познания, хотя, например, русскую литературу, ее историю он изучил основательно. Но скажу более: именно это недостаточное знание является в этом случае характеристическим признаком, почти необходимостью. Белинский был тем, что́ я позволю себе назвать *центральной натурой*; он всем су-

ществом своим стоял близко к сердцевине своего народа, воплощал его вполне, и с хороших и с дурных его сторон. Ученый человек, не говорю «образованный» — это другой вопрос, но ученый человек, именно в силу своей учености, не мог бы быть в сороковых годах такой русской центральной натурой; он не вполне соответствовал бы той среде, на которую пришлось бы ему действовать; у него и у ней были бы различные интересы; гармонии бы не было, и, вероятно, не было бы обоюдного понимания. Вожди своих современников в деле критики общественной, эстетической, в деле критического самосознания (мне кажется, что мое замечание имеет применение общее, но на этот раз я ограничусь одною *этой* стороной), вожди современников, говорю я, должны, конечно, стоять выше их, обладать более нормально устроенной головою, более ясным взглядом, большей твердостью характера; но между этими вождями и их последователями не должно быть бездны. Одно слово: «последователь» — уже предполагает возможность шествия по одному направлению, тесной связи. Вождь может возбуждать негодование, досаду в тех, которых он тревожит, поднимает с места, двигает вперед; проклинать они его могут, но понимать они должны его всегда. Он должен стоять выше их, да, но и близко к ним; он должен участвовать не в одних их качествах и свойствах, но и в недостатках их: он тем самым глубже и больнее чувствует эти недостатки. Сенковский был не в пример ученее не говорю уже Белинского, но и большей части своих русских современников; а какой след оставил он? Мне скажут, что его деятельность была бесплодна и вредна не потому, что он был ученый, а потому, что у него не было убеждений, что он был нам чужой, не понимал нас, не сочувствовал нам; против этого я спорить не стану, но мне кажется, что самый его скептицизм, его вычурность и гадливость, его презрительное глумление, педантство, холод, все его особенности отчасти происходили от того, что у него, как у человека ученого, специалиста, и цели и симпатии были другие, чем у массы общества. Сенковский был не только учен, он был остроумен, игрив, блестящ; молодые чиновники и офицеры восхищались им, особенно в провинции; но не того было нужно массе читателей, а того, что было нужно: критического и общественного чутья, вкуса, понимания насущных потребностей эпохи и, главное, жара, любви к меньшой, невежественной братии,— у него и следа не замечалось. Он забавлял своих читателей, втайне презирая их, как неучей;

и они забавлялись им — и на грош ему не верили. Смею надеяться, что мне не станут приписывать желания защищать и как бы рекомендовать невежество: я указываю только на физиологический факт в развитии нашего сознания. Понятно, что какой-нибудь Лессинг, для того,чтобы стать вождем *своего* поколения, полным представителем *своей* народности, должен был быть человеком почти всеобъемлющей учености; в нем отражалась, в нем находила свой голос, свою мысль Германия, он был *германской центральной натурой*. Но Белинский, который до некоторой степени заслуживает название русского Лессинга, Белинский, значение которого, по смыслу и влиянию своему, действительно напоминает значение великого германского критика, мог сделаться тем, чем он был, и без большого запаса научных познаний. Он смешивал старшего Питта (лорда Чатама) с его сыном, В. Питтом — что́ за беда! «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...» Для того, что́ ему предстояло исполнить, он знал довольно. Откуда он бы взял тот жар и ту страсть, с которыми он постоянно и всюду ратовал за просвещение, если б он на самом деле не испытал всю горечь невежества? Немец старается исправить недостатки своего народа, убедившись размышлением в их вреде; русский еще долго будет сам болеть ими.

Белинский, бесспорно, обладал главными качествами великого критика; и если в деле науки, знания ему приходилось заимствовать от товарищей, принимать их слова на веру — в деле критики ему не у кого было спрашиваться; напротив, другие слушались его; почин оставался постоянно за ним. Эстетическое чутье было в нем почти непогрешительно; взгляд его проникал глубоко и никогда не становился туманным. Белинский не обманывался внешностью, обстановкой — не подчинялся никаким влияниям и веяниям; он сразу узнавал прекрасное и безобразное, истинное и ложное и с бестрепетной смелостью высказывал свой приговор — высказывал его вполне, без урезок, горячо и сильно, со всей стремительной уверенностью убеждения. Кто бывал свидетелем критических ошибок, в которые впадали даже замечательные умы (сто́ит вспомнить хоть Пушкина, который в «Марфе Посаднице» г-на Погодина видел «что-то шекспировское»!), — тот не мог не почувствовать уважения перед метким суждением, верным вкусом и *инстинктом* Белинского, перед его уменьем «читать между

строками». Не говорю уже о статьях, в которых он отводил подобающее им место прежним деятелям нашей словесности; не говорю также и о тех статьях, которыми определялось значение писателей еще живых, подводился итог их деятельности, итог принятый и скрепленный, как уже сказано выше, потомством; * но при появлении нового дарования, нового романа, стихотворения, повести — никто, ни прежде Белинского, ни лучше его, не произносил правильной оценки, настоящего, решающего слова. Лермонтов, Гоголь, Гончаров — не он ли первый указал на них, разъяснил их значение? И сколько других! Без невольного удивления перед критической диагнозой Белинского нельзя прочесть, между прочим, ту небольшую выноску, сделанную им в одном из своих годичных обозрений, в которой он, по одной песне о купце Калашникове, появившейся без подписи в «Литературной газете», предрекал великую будущность автора. Подобные черты встречаются беспрестанно у Белинского. Приведу один пример. В 1846 году в «Отечественных записках» появилась повесть г-на Григоровича под заглавием «Деревня», по времени *первая* попытка сближения нашей литературы с народной жизнью, первая из наших «деревенских историй» — Dorfgeschichten. Написана она была языком несколько изысканным — не без сентиментальности; но стремление к реальному воспроизведению крестьянского быта было несомненно. Покойный И. И. Панаев, человек добродушный, но крайне легкомысленный и способный схватывать одни лишь верхи верхушек, уцепился за некоторые смешные выражения «Деревни» и, обрадовавшись случаю поглумиться, стал поднимать на смех всю повесть, даже читал в приятельских домах некоторые, по его мнению, самые забавные страницы. Но каково же было его изумление, каково недоумение хохотавших приятелей, когда Белинский, прочтя повесть г-на Григоровича, не только нашел ее весьма замечательной, но немедленно определил ее значение и предсказал то движение, тот поворот, которые вскоре потом произошли в нашей словесности? Панаеву оставалось одно: продолжать читать отрывки из «Деревни», но уже восхищаясь ими,— что́ он и сделал.

Не могу на этом месте не упомянуть, кстати, о мистификации, которой в то время неоднократно подвергался один издатель толстого журнала, столь же одаренный практи-

* См. статьи его о Марлинском, Баратынском, Загоскине и т. д.

ческими талантами, сколь обиженный природою насчет эстетических способностей. Ему, например, кто-нибудь из кружка Белинского приносил новое стихотворение и принимался читать, не предварив своей жертвы ни одним словом, в чем состояла суть стихотворения и почему оно удостоивалось прочтения. Тон сперва пускался в ход иронический; издатель, заключавший из этого тона, что ему хотят представить образчик безвкусия или нелепости, начинал посмеиваться, пожимать плечами; тогда чтец переводил понемногу тон из иронического в серьезный, важный, восторженный; издатель, полагая, что он ошибся, не так понял, начинал одобрительно мычать, качать головою, иногда даже произносил: «Недурно! хорошо!» Тогда чтец снова прибегал к ироническим нотам и снова увлекал за собою слушателя, возвращался к восторженному настроению — и тот опять похваливал... Если стихотворение попадалось длинное, подобные вариации, напоминающие игру в головки из каучука, то и дело меняющие свое выражение под давлением пальцев, можно было совершить несколько раз. Кончалось тем, что несчастный издатель приходил в совершенный тупик и уже не изображал на своем, впрочем весьма выразительном, лице ни сочувственного одобрения, ни сочувственного порицания. У Белинского нервы не были довольно крепки, сам он не предавался подобным упражнениям; да и правдивость его была слишком велика — он не мог изменить ей даже ради шутки, но смеялся он до слез, когда ему сообщали подробности мистификации.

Другое замечательное качество Белинского как критика было его понимание того, чтó именно стоит на очереди, чтó требует немедленного разрешения, в чем сказывается «злоба дня». Не в пору гость хуже татарина, гласит пословица; не в пору возвещенная истина хуже лжи, не в пору поднятый вопрос только путает и мешает. Белинский никогда бы не позволил себе той ошибки, в которую впал даровитый Добролюбов; он не стал бы, например, с ожесточением бранить Кавура*, Пальмерстона, вообще парламентаризм, как неполную и потому неверную форму правления. Даже до-

* Пишущий эти строки своими ушами слышал, как один молодой почитатель Добролюбова, за карточным столом, желая упрекнуть своего партнера в сделанной им грубой ошибке, воскликнул: «Ну, брат, какой же ты Кавур!» Признаюсь, мне стало грустно: не за Кавура, разумеется!

пустив справедливость упреков, заслуженных Кавуром, он бы понял всю несвоевременность (у нас, в России, в 1862 году) подобных нападений; он бы понял, какой партии они должны были оказать услугу, кто бы порадовался им! Белинский очень хорошо сознавал, что при обстановке, среди которой он действовал, ему не следовало выходить из круга чисто литературной критики. Во-первых, при тогдашних официальных, житейских, цензурных условиях иначе действовать было слишком затруднительно; уже и так он едва мог устоять против бури угроз и доносов, которую возбудило его отрицание наших псевдоклассических авторитетов; а во-вторых, он очень ясно видел и понимал, что в развитии каждого народа литературная эпоха предшествует другим; что, не пережив и не преодолев ее, нельзя двигаться вперед; что критика, в смысле отрицания фальши и лжи, должна сперва подвергнуть анализу явления литературные — и что именно в этом и состояло его собственное призвание. Его политические, социальные убеждения были очень сильны и определительно резки; но они оставались в сфере инстинктивных симпатий и антипатий. Повторяю: Белинский знал, что нечего было думать применять их, проводить их в действительность; да если б оно и стало возможным — в нем самом не было ни достаточной подготовки, ни даже потребного на то темперамента; он и это знал — и, с свойственным ему практическим пониманием своей роли, сам ограничил круг своей деятельности, сжал ее в известные пределы *. Зато как *литературный* критик он был именно тем, что́ англичане называют — «the right man on the right place», «настоящим человеком на настоящем месте», чего нельзя сказать об его преемниках. Правда и то, что задача их была труднее и сложнее. Незадолго до смерти Белинский начинал чувствовать, что наступило время сделать новый шаг, выйти из того тесного круга; политико-экономические вопросы должны были сменить вопросы эстетические, литературные; но сам он себя уже устранял и указывал на другое лицо, в котором видел своего преемника, — на В. Н. Майкова, брата поэта; к сожалению, этот талантливый молодой человек погиб в самом начале своего поприща и точно такой же смертью, какой погиб недавно другой много обещавший юноша, Д. И. Писарев.

Имя Писарева напоминает мне следующее. Весной

---

* См. второе прибавление в конце отрывка.

1867 года, во время моего проезда через Петербург, он сделал мне честь — посетил меня. Я до тех пор с ним не встречался, но читал его статьи с интересом, хотя со многими положениями в них, вообще с их направлением, согласиться не мог. Особенно возмутили меня его статьи о Пушкине. В течение разговора я откровенно высказался перед ним. Писарев с первого взгляда производил впечатление человека честного и умного, которому не только можно, но и должно говорить правду. «Вы,— начал я,— втоптали в грязь, между прочим, одно из самых трогательных стихотворений Пушкина (обращение его к последнему лицейскому товарищу, долженствующему остаться в живых: „Несчастный друг" и т. д.). Вы уверяете, что поэт советует приятелю просто взять да с горя нализаться. Эстетическое чувство в вас слишком живо: вы не могли сказать это серьезно — вы это сказали *нарочно*, с целью. Посмотрим, оправдывает ли вас эта цель. Я понимаю преувеличение, я допускаю карикатуру,— но преувеличение истины, карикатуру в дельном смысле, в настоящем направлении. Если б у нас молодые люди теперь только и делали, что стихи писали, как в блаженную эпоху альманахов, я бы понял, я бы, пожалуй, даже оправдал ваш злобный укор, вашу насмешку, я бы подумал: несправедливо, но полезно! А то, помилуйте, в кого вы стреляете? Уж точно по воробьям из пушки! Всего-то у нас осталось три-четыре человека, старички пятидесяти лет и свыше, которые еще упражняются в сочинении стихов; сто́ит ли яриться против них? Как будто нет тысячи других, животрепещущих вопросов, на которые вы, как журналист, *обязанный* прежде всех ощущать, чуять насущное, нужное, безотлагательное, *должны* обратить внимание публики? Поход на стихотворцев в 1866 году! Да это антикварская выходка, архаизм! Белинский — тот никогда бы не впал в такой просак!» Не знаю, что подумал Писарев, но он ничего не отвечал мне. Вероятно, он не согласился со мною.

Само собою разумеется, что понимание Белинским своего времени, своего назначения не мешало его задушевным убеждениям сквозить в каждом слове его статей, тем более что его отрицательная деятельность на поприще критики как нельзя лучше соответствовала той роли, которую он бы наверное выбрал в политически развитом обществе. Что́ он чувствовал и что́ он думал, про то ведал он один, ведали и некоторые из его друзей; но что́ он делал, что́ он печатал — неуклонно и строго держалось литера-

турной почвы и двигалось исключительно на ней. Только в известном одном письме эта страсть, которую он

...во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской,

прорвалась наружу — как тот огонь, о котором говорит Лермонтов.

Я прошу у читателя позволения привести в этом месте отрывок из лекции о Пушкине, прочтенной мною в 1859 году перед немногочисленным обществом. Стараясь изобразить характер эпохи тридцатых, сороковых годов, я должен был упомянуть о гоголевской сатире, о лермонтовском протесте, а потом и о значении критики Белинского. Одно упоминовение этого имени возбудило негодование большей части моих слушателей. Вот этот отрывок. (Мне придется начать несколько издалека; но это неизбежно.)

«А между тем как наш великий художник (Пушкин), отвернувшись от толпы и приблизившись, насколько мог, к народу, обдумывал свои заветные творения, пока по душе его проходили те образы, изучение которых невольно зарождает в нас мысль, что он один мог бы подарить нас и народной драмой и народной эпопеей,— в нашем обществе, в нашей литературе совершались если не великие, то знаменательные события. Под влиянием особенных случайностей, особенных обстоятельств тогдашней жизни Европы (с 1830 по 1840 год), у нас понемногу сложилось убеждение, конечно, справедливое, но в ту эпоху едва ли не рановременное: убеждение в том, что мы не только великий народ, но что мы — великое, вполне овладевшее собою, незыблемо твердое государство и что художеству, что поэзии предстоит быть достойными провозвестниками этого величия и этой силы. Одновременно с распространением этого убеждения и, быть может, вызванная им, явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток риторики, внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти явились и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, и даже на театральной сцене. Нужно ли называть их имена? Они в памяти у каждого — и стóит только вспомнить, кому рукоплескали, кого приветствовали в то время, когда вокруг умолкнувшего Пушкина водворилась тишина *. Это вторжение

* Эти имена, которые я тогда не решился назвать, вероятно,

в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать *ложновеличавой школой*, продолжалось недолго, хотя отражение ее в сферах, менее подвергнутых анализу критики, чем собственно литературная, художественная сфера, не прекратилось и до сих пор. Оно продолжалось недолго — но что́ было шума и грома! Как широко разлилась тогда эта школа! Некоторые из ее деятелей сами добродушно признавали себя за гениев. Со всем тем что-то не истинное, что-то мертвенное чувствовалось в ней даже в минуты ее кажущегося торжества — и ни одного живого, самобытного ума она себе не покорила безвозвратно. Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличиванию России — во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского: это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины. Всё это гремело, кичилось, всё это считало себя достойным украшением великого государства и великого народа,— а час падения приближался. Но не последние глубоко художественные произведения Пушкина были причиною этого падения. Если бы даже они явились при его жизни — мы сомневаемся, оценила ли бы их тогда оглушенная, сбитая с толку публика. Они не могли служить полемическим целям; они могли одержать, и они одержали победу своей собственной красотой, сопоставлением этой красоты и силы с безобразием и слабостью того ложновеличавого призрака; но в первое время, именно для того, чтобы разоблачить этот призрак во всей его пустоте, нужны были другие орудия, другие, более пронзительные силы — силы байронического лиризма, который уже являлся у нас однажды, но поверхностно и не серьезно, силы критики, юмора. И они не замедлили явиться. В сфере художества заговорил Гоголь, за ним Лермонтов; в сфере критики, мысли — Белинский.

...В прошлой беседе с вами мы говорили о том значении, которое будущий историк нашей литературы придаст появлению Пушкина; но, без сомнения, обратит на себя внимание наших Маколеев (если только нам суждено иметь Маколеев) и та минута, когда перед раздувшимся и раздутым, как бы официальным великаном предстали: с одной стороны, гусарский офицер, светский лев, из уст ко-

---

приходят теперь на уста каждому читателю — имена Марлинского, Кукольника, Загоскина, Бенедиктова, Брюллова, Каратыгина и др.

торого общество услыхало впервые неведомый ему прежде, беспощадный укор *, да темный малороссийский учитель с своей грозной комедией, на челе которой стояло эпиграфом: „Неча на зеркало пенять, коли рожа крива“; а с другой стороны, такой же темный, недоучившийся студент, дерзнувший провозгласить, что у нас еще не было литературы, что Ломоносов не был поэтом, что не только Херасков и Петров, но и Державин и Дмитриев не могут нам служить образцами, что и новейшие великие люди ничего не сделали. Под совокупными усилиями этих трех, едва ли знакомых друг другу деятелей рухнула не только та литературная школа, которую мы назвали ложновеличавою, но и многое другое, устарелое и недостойное, обратилось в развалины. Победа была решена скоро. В то же время умалилось и поблекло влияние самого Пушкина, того Пушкина, имя которого так было дорого самим нововводителям, которое они окружали такою полною любовью. Идеал, которому они служили — сознательно или бессознательно (Гоголь, как известно, до конца от него отчурался и отнекивался),— идеал этот не мог ужиться с пушкинским идеалом, назло им самим. Сила вещей сильнее всякой отдельной, личной силы — так же, как общее в нас сильнее наших собственных наклонностей. Время чистой поэзии прошло так же, как и время ложновеличавой фразы; наступило время критики, полемики, сатиры. Вместо слова: „наступило“ — мы бы могли, вспомнив Фонвизина, Новикова, употребить слово: „возвращалось“. Подобные „возвратные“ обороты бегущего вперед исторического колеса известны всем наблюдателям жизни народов. Общество, пораженное внезапным сознанием собственных недостатков, предчувствуя другие, еще более горькие разочарования в будущем — которые и сбылись** — с жадностью обратило слух свой к новым голосам и принимало только то, что́ отвечало его новым потребностям. „Торквато Тассо“ Кукольника, „Рука всевышнего“ исчезли, как мыльные

* Прошу позволения привести слова одной тогдашней великосветской барыни, встретившей меня следующим восклицанием: «Avez-vous lu la „Douma“? Qui pouvait s'attendre à cela de la part de Lermontoff? Lui qui venait de dire: „Я, матерь божия, *нонче* с молитвой!“ C'est affreux!» ⟨«Читали вы „Думу“? Кто мог ожидать этого со стороны Лермонтова? Он, который до этого говорил... Это ужасно!» *(франц.)*⟩.

** Трех лет еще не прошло с Парижского мира 1856 года, когда я читал эти лекции.

пузыри; но и „Медным всадником“ нельзя было любоваться в одно время с „Шинелью“».

Здесь следовала довольно подробная характеристика Гоголя и Лермонтова, оканчивающаяся следующими словами:

«Сила независимой, критикующей, протестующей личности восстала против фальши, против пошлости — а на какой ступени общества тогда не царила пошлость? — против того ложно общего, неправедно узаконенного, чтó не имело разумных прав на подчинение себе личности...» И я продолжал так:

«Мы просим теперь у вас позволения остановиться на третьей личности, имя которой, мы это знаем, не совсем благозвучно в ваших ушах. Мы говорим о Белинском. С этим именем сопряжено воспоминание о некоторых увлечениях, но, смеем думать, и о великих заслугах. Слово его живет до сих пор, и мы не можем допустить, чтобы Россия, именно теперь * с жадностью его читающая, была совершенно неправа в своей любви к нему. Мы упомянули о нем не потому, что были связаны с ним личными, дружественными отношениями; мы желаем обратить ваше внимание на самый принцип его деятельности. Имя этому принципу — идеализм: Белинский был идеалист в лучшем смысле слова. В нем жили предания того московского кружка, который существовал в начале тридцатых годов и следы которого так заметны еще доныне. Этот кружок, находившийся под сильным влиянием германской философской мысли (замечательна постоянная связь между этой мыслью и Москвою), заслуживает особого историка. Вот откуда Белинский вынес те убеждения, которые не покидали его до самой смерти,— тот идеал, которому он служил. Во имя этого идеала провозглашал Белинский художественное значение Пушкина и указывал на недостаток в нем гражданских начал; во имя этого идеала приветствовал он и лермонтовский протест и гоголевскую сатиру; во имя этого же идеала сокрушал он старые авторитеты, наши так называемые славы, на которые он не имел ни возможности, ни охоты взглянуть с исторической точки зрения...»

Быть может, некоторые читатели удивятся слову «идеалист», которым я почел за нужное охарактеризовать Бе-

* Тогда только что вышли первые томы полного издания его сочинений.

линского. На это я замечу, что, во-первых, в 59-м году не было возможности называть многие вещи настоящими их именами; а во-вторых, мне — признаюсь в том — доставило не малое удовольствие объявить Белинского «идеалистом» перед сборищем людей, которым имя его представлялось неразрывно связанным с понятием о цинике, грубом материалисте и т. п. К тому же и самое название шло к нему. Белинский был настолько же идеалист, насколько отрицатель; он отрицал во имя идеала. Этот идеал был свойства весьма определенного и однородного, хотя именовался и именуется доселе различно: наукой, прогрессом, гуманностью, цивилизацией,— Западом, наконец. Люди благонамеренные, но недоброжелательные, употребляют даже слово: революция. Дело не в имени, а в сущности, которая до того ясна и несомненна, что и распространяться о ней не стоит: недоразумения тут немыслимы. Белинский посвятил всего себя служению этому идеалу; всеми своими симпатиями, всей своей деятельностью принадлежал он к лагерю «западников», как их прозвали их противники. Он был западником не потому только, что признавал превосходство западной науки, западного искусства, западного общественного строя; но и потому, что был глубоко убежден в необходимости восприятия Россией всего выработанного Западом — для развития собственных ее сил, собственного ее значения. Он верил, что нам нет другого спасения, как идти по пути, указанному нам Петром Великим, на которого славянофилы бросали тогда свои отборнейшие перуны *. Принимать результаты западной жизни, применять их к нашей, соображаясь с особенностями породы, истории, климата — впрочем, относиться и к ним свободно, критически — вот каким образом могли мы, по его понятию, достигнуть наконец самобытности, которою он дорожил гораздо более, чем обыкновенно предполагают. Белинский был вполне русский человек, даже патриот — разумеется, не на лад М. Н. Загоскина; благо родины, ее величие, ее слава возбуждали в его сердце глубокие и сильные отзывы. Да, Белинский любил Россию; но он также пламенно любил просвещение и свободу: сое-

* Белинский часто читал между друзьями стихотворение Льва Пушкина, брата поэта: «Петр Великий», и с особенным чувством произносил стихи, в которых преобразователь представлен был влачащим —

Ряд изумленных поколений
Рукой могучей за собой.

динить в одно эти высшие для него интересы — вот в чем состоял весь смысл его деятельности, вот к чему он стремился. Уверять, что он из одного раболепного и неосмысленного смирения недоучки преклонялся пред Западом,— значило не знать его вовсе; к тому же не смирением грешат обыкновенно недоучки. Белинский еще потому благоговел перед памятью Петра Великого и, не обинуясь, признавал его нашим спасителем, что уже при Алексее Михайловиче он в нашем старом общественном и гражданском строе находил несомненные признаки разложения — и, следовательно, не мог верить в правильное и нормальное развитие нашего организма, подобное тому, каким оно является на Западе. Дело Петра Великого было точно насилием, было тем, что в новейшее время получило название: coup d'etat [1]; но только по милости целого ряда этих насильственных, свыше исходящих мер были мы втолкнуты в семью европейских народов. Необходимость подобных реформ еще доныне не прекратилась. В подтверждение этого мнения можно было бы привести самые недавние примеры. Какое место мы уже заняли в той семье — это покажет история; но несомненно то, что мы шли до сих пор и *должны* были идти (с чем господа славянофилы, конечно, не согласятся), должны были идти другими путями, чем более или менее органически развивавшиеся западные народы.

А что западнические убеждения Белинского ни на волос не ослабили в нем его понимания, его чутья всего русского, не изменили той русской струи, которая била во всем его существе,— тому доказательством служит каждая его статья *. Да, он чувствовал русскую суть, как никто. Не признавая наших лжеклассических, лженародных авторитетов, ниспровергая их, он в то же время тоньше всех и вернее всех умел оценить и дать уразуметь другим то, что было действительно самобытного, оригинального в произведениях нашей литературы. Ни у кого ухо не было более чутко; никто не ощущал более живо гармонию и красоту нашего языка; поэтический эпитет, изящный оборот речи поражали его мгновенно, и слушать его простое, несколько однообразное, но горячее и правдивое чтение какого-

---

[1] государственного переворота *(франц.)*.

* См. его статьи о Пушкине, о Гоголе, о Кольцове — и особенно его статьи о народных песнях и былинах. При слабости и скудости тогдашних филологических и археологических данных они поражают читателя глубоким и живым пониманием народного духа и народного творчества.

нибудь пушкинского стихотворения или лермонтовского «Мцыри» было истинным наслаждением. Прозу, особенно любимого своего Гоголя, он читал хуже; да и голос его скоро ослабевал.

Еще одно замечательное качество Белинского как критика состояло в том, что он был всегда, как говорят англичане, «in earnest» [1]; он не шутил ни с предметом своих разысканий, ни с читателем, ни с самим собою; а позднейшее, столь распространенное глумление он бы отвергнул, как недостойное легкомыслие или трусость. Известно, что глумящийся человек часто сам хорошенько не дает себе отчета, над чем он трунит и иронизирует; во всяком случае, он может воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть за ними шаткость и неясность собственных убеждений. Человек свистит, хохочет... Поди угадывай, разумей его речь: куда он ее гнет? Быть может, он смеется над тем, что́ точно достойно смеха, а быть может, и над собственным смехом «зубы скалит». Мне скажут, что бывают времена, когда можно только намекать на истину и что смеющимся устам легче высказывать ее... Да разве Белинский жил в такое время, когда можно было всё высказывать начистоту? И, однако же, не прибегал он к глумлению, к «излюбленному» свистанию, к зубоскальству. Сочувственный смех, возбуждаемый в известной части публики тем «свистанием», недалеко ушел от того смеха, которым встречались безнравственные выходки Сенковского... И здесь и там выпячивалась та же склонность к грубой потехе, к гаерству, склонность, к сожаленью, свойственная русскому человеку, и которую не следовало бы поблажать. Хохот невежества почти так же противен — так же и вреден, как его злоба. Впрочем, Белинский сам про себя говорил, что он шутить не мастер, ирония его была очень веска и неповоротлива; она тотчас становилась сарказмом, била не в бровь, а в глаз. И в разговоре, так же как и с пером в руке, он не блистал остроумием, не обладал тем, что французы называют esprit, не ослеплял игрою искусной диалектики; но в нем жила та неотразимая мощь, которая дается честной и непреклонной мысли, и выражалась она своеобразно и в конце концов увлекательно. При совершенном отсутствии того, что обыкновенно величают элоквенцией — при явной неспособности и неохоте к «уснащиванию», к фра-

[1] «серьезен» *(англ.)*.

зе,— Белинский был одним из красноречивейших русских людей, если принимать слово «красноречие» в смысле силы убеждения, той силы, которую, например, афиняне признавали в Перикле, говоря, что каждая речь его оставляла жало в душе каждого слушателя.

Белинский, как известно, не был поклонником принципа: искусство для искусства; да оно и не могло быть иначе по всему складу его образа мыслей. Помню я, с какой комической яростью он однажды при мне напал на — отсутствующего, разумеется,— Пушкина за его два стиха в «Поэт и чернь»:

Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь!

— И конечно,— твердил Белинский, сверкая глазами и бегая из угла в угол,— конечно, дороже. Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бедняка в нем пищу варю,— и прежде чем любоваться красотой истукана — будь он распрефидиасовский Аполлон,— мое право, моя обязанность накормить своих — и себя, назло всяким негодующим баричам и виршеплетам! Но Белинский был слишком умен — у него было слишком много здравого смысла, чтобы отрицать искусство, чтобы не понимать не только его важность и значение, но и самую его естественность, его физиологическую необходимость. Белинский признавал в искусстве одно из коренных проявлений человеческой личности — один из законов нашей природы, указанных нам ежедневным опытом. Он не допускал искусства для одного искусства, точно так же, как бы он не допустил жизни для одной жизни; недаром же он был идеалист. Всё должно было служить одному принципу, искусство — так же, как наука, но своим, особенным, специальным образом. Воистину детское и к тому же не новое, подогретое объяснение искусства подражанием природе не удостоилось бы от него ни возражения, ни внимания; а аргумент о преимуществе настоящего яблока перед написанным уже потому на него бы не подействовал, что этот пресловутый аргумент лишается всякой силы — как только мы возьмем человека сытого. Искусство, повторяю, было для Белинского такой же узаконенной сферой человеческой деятельности, как и наука, как общество, как государство... Но и от искусства, как и от всего человеческого, он

требовал правды, живой, жизненной правды *. Сам он, впрочем, в области искусства чувствовал себя дома только в поэзии, в литературе. Живопись он не понимал и музыке сочувствовал очень слабо. Он сам очень хорошо сознавал свой недостаток, и уж и не совался туда, куда ему заказана была дорога. Статьи Гоголя об Иванове и Брюллове могут служить поучительным примером, до какой уродливой фальши, до какого вычурного и лживого пафоса может завраться человек, когда заберется не в свою сферу. Хор чертей в «Роберте-Дьяволе» был единственной мелодией, затверженной Белинским: в минуты отличного расположения духа он подвывал басом этот дьявольский напев. Пение Рубини потрясало его; но не музыкальное совершенство ценил он в нем, а патетическую, стремительную энергию, драматизм выражения. Всё драматическое, театральное глубоко проникало в душу Белинского, так и зажигало ее. Его статьи о Мочалове, о Щепкине, вообще о театре, дышат страстью; надо было видеть, какое впечатление производило на него одно воспоминание об игре Мочалова в «Гамлете», о том, как он, в известной сцене представления трагедии перед преступным королем, произносил, задыхаясь от восторга и ненависти:

Оленя ранили стрелой...

Была одна причина, которая заставляла иногда Белинского избегать разговоров о театре, о драматической литературе, особенно с мало знакомыми людьми: он боялся, как бы не напомнили ему про его комедию «Пятидесятилетний дядюшка», написанную им некогда в Москве и напечатанную в «Наблюдателе». Комедия эта точно весьма слабое произведение; она принадлежит к худшему из родов — к слезливо-нравственному, сентиментально-добродетельному; в ней выводится великодушный дядюшка, влюбленный в свою племянницу и приносящий свою любовь в жертву юному сопернику. Всё это изложено пространно, натянутым, мертвенным слогом... Белинский не имел никакого «творческого» таланта. Эта комедия да еще статья о Менцеле были ахиллесовой пятой Белинского, и упомянуть о них при нем значило оскорбить, огорчить его. Особенно статью о Менцеле он себе простить не мог: комедию свою он признавал эстетической, литературной ошибкой, а в той статье

* См. первое прибавление в конце отрывка.

он видел ошибку — гораздо худшего свойства. Статью о Менцеле он написал под мгновенным влиянием нетерпения, тоскливого желания перейти из области недосягаемых идеалов к чему-нибудь положительному, реальному, как будто то, что́ существовало тогда, могло иметь реальное значение, могло удовлетворить добросовестного человека! Бедный Белинский, конечно, не имел понятия, что́ за птица был господин Менцель,— и взялся за это лицо чисто с априорической, отвлеченной точки зрения... В этом случае недостаточное знание фактов сыграло с ним злую шутку... Существовала еще статейка о Бородинской годовщине. Я было как-то заговорил с ним о ней... Он зажал себе уши обеими руками и, низко наклонясь вперед и качаясь из стороны в сторону, зашагал по комнате. Впрочем, он поболел квасным патриотизмом недолго. Вообще лучшие статьи Белинского были написаны им в начале и перед концом его карьеры; в середине проскочила полоса, продолжавшаяся года два, в течение которой он, начинившись гегелевской философией и не переварив ее, всюду с лихорадочным рвением пичкал ее аксиомы, ее известные тезисы и термины, ее так называемые Schlagwörter. В глазах рябило от множества любимых тогдашних оборотов и выражений! * Надо ж было и Белинскому заплатить дань своему времени! Но эта волна скоро сбежала, оставив за собою только хорошие семена, и снова явился во всей своей мужественной и бесхитростной простоте русский язык Белинского, славный язык, ясный и здравый. Белинский, можно сказать, импровизировал свои статьи; писал он их в последние дни месяца, стоя перед конторкой, на отдельных полулистах, без помарок, крупным круглым почерком. Он не имел времени вычищать слог, взвешивать и обдумывать каждое выражение и потому поневоле впадал в некоторую многоглаголивость; но до безграничной болтливости, которая, должно признаться, с легкой руки покойного Писарева утвердилась у нас в критическом отделе журналов, он далеко не доходил; статьи его все-таки оставались литературным произ-

* Советую любопытному читателю, желающему наглядно убедиться, до чего могло дойти тогдашнее философствование, отыскать в Смеси одной из книжек «Отечественных записок» за 40-й или 41-й год статейку, написанную, впрочем, не Белинским, а самим издателем — в защиту выражения, употребленного Искандером, будто бы «Наполеон — кверху ногами поставленный Карл Великий», выражения, поднятого на смех другим журналом. Комизм тут тем более забавен, что весь проникнут угрюмой важностью и даже не подозревает, до какой степени он прелестен!

ведением и не превращались в дряблый разговор, в пухлые вариации на избитые темы — вариации, от которых, несмотря на весь их задор, так и отдает ученической тетрадью.

Всем известно, какую обузу наваливал на Белинского расчетливый издатель журнала, в котором он участвовал. Какие сочинения не приходилось ему разбирать — и сонники, и поваренные, и математические книги, в которых он ровно ничего не смыслил! Зато, когда после аккуратного выхода журнала в первое число месяца наступало несколько дней отдыха, как он наслаждался им, как предавался удовольствию бездействия, беседы с приятелями, а иногда и карточной игры в копеечный преферанс! Играл он плохо, но с тою же искренностью впечатлений, с тою же страстностью, которые ему были присущи, что бы он ни делал! Помнится, мы однажды играли с ним, не в деньги — а *так*; он выигрывал и торжествовал... но вдруг обремизился, остался без четырех. Потемнел мой Белинский пуще осенней ночи, опустил голову, как к смерти приговоренный. Выражение страдания, отчаяния так было искренне на его лице, что я наконец не выдержал и воскликнул, что это уже ни на что не похоже; что если так огорчаться, так лучше совсем бросить карты! «Нет,— отвечал он глухо и взглянул на меня исподлобья,— всё кончено; я только до бубновой игры и жил!» И в это мгновение, я ручаюсь, он действительно был убежден в том, что говорил.

Я часто ходил к нему после обеда отводить душу. Он занимал квартиру в нижнем этаже на Фонтанке, недалеко от Аничкова моста — невеселые, довольно сырые комнаты. Не могу не повторить: тяжелые тогда стояли времена; нынешним молодым людям не приходилось испытать ничего подобного. Пусть читатель сам посудит: утром тебе, быть может, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; может быть, тебе даже пришлось съездить к цензору и, представив напрасные и унизительные объяснения, справдания, выслушать его безапелляционный, часто насмешливый приговор... * На улице тебе попалась фигура

* Особенным юмором отличался при подобных свиданиях цензор Ф., тот самый, который говаривал: «Помилуйте — я все буквы оставлю: только дух повытравлю». Он мне сказал однажды, с чув-

господина Булгарина или друга его, господина Греча; генерал, и даже не начальник, а так, просто генерал, оборвал или, что еще хуже, поощрил тебя... Бросишь вокруг себя мысленный взор: взяточничество процветает, крепостное право стоит, как скала, казарма на первом плане, суда нет, носятся слухи о закрытии университетов, вскоре потом сведенных на трехсотенный комплект, поездки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит над всем так называемым ученым, литературным ведомством, а тут еще шипят и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общих интересов, страх и приниженность во всех, хоть рукой махни! Ну, вот и придешь на квартиру Белинского, придет другой, третий приятель, затеется разговор и легче станет; предметы разговоров были большей частью нецензурного (в тогдашнем смысле) свойства, но собственно политических прений не происходило: бесполезность их слишком явно била в глаза всякому. Общий колорит наших бесед был философско-литературный, критическо-эстетический и, пожалуй, социальный, редко исторический. Иногда выходило очень интересно и даже сильно; иногда несколько поверхностно и легковесно. При всей серьезности и действительной возвышенности своей натуры Белинский поступал иногда как ребенок: услышит что-нибудь, что́ ему очень понравится, какое-нибудь место из Жорж Занда или П. Леру — тогда он входил в моду и о нем таинственно (!) переписывались под именем *Петра Рыжего* — услышит и тотчас попросит списать ему это место и нянчится с ним. Но всё это шло к нему; живой русский человек сказывался и тут. Иногда безделица его задевала. Однажды он целых шесть недель носил у себя в кармане книжку гётевского «Западно-Восточного Дивана» (Westöstlicher Divan) вот по какому поводу. Я ему как-то цитировал оттуда стих «Lebt man denn, wenn andre leben?» (Можно ль жить, когда живут другие?) Он повторил этот стих в укор эгоизму Гёте перед А. Н. С., некогда известным переводчиком гётевских стихотворений; тот усомнился в точности цитаты и чуть ли не подтрунил над легковерностью Белинского. Вот он и выпросил у меня экземпляр «Дивана» и постоянно имел его с собою, чтоб при встрече

ством глядя мне в глаза: «Вы хотите, чтоб я не вымарывал. Но посудите сами: я не вымараю — и могу лишиться трех тысяч рублей в год, а вымараю — кому от этого какая печаль? Были словечки, нет словечек — ну, а дальше? Как же мне не марать?! Бог с вами!».

поразить С...; но встречи этой к великой досаде Белинского, не состоялось. В последние два года его жизни он, под влиянием всё более и более развивавшейся болезни, стал очень нервозен — и хандра на него находила.

Я виделся с Белинским в течение четырех зим — с 1843 по 1846 год, и особенно часто перед январем 1847 года, когда я отправился надолго за границу и когда был основан «Современник», то есть куплен у покойного П. А. Плетнева. История *основания* этого журнала представляет много поучительного... Но изложить ее в точности пока еще трудно: пришлось бы поднимать старые дрязги. Довольно сказать, что Белинский был постепенно и очень искусно устранен от журнала, который был создан собственно для него, его именем приобрел сотрудников и пополнялся в течение целого года капитальными статьями, приобретенными Белинским для большого затеянного им альманаха. Белинский для «Современника» разорвал связь с «Отечественными записками», а оказалось, что в новом журнале он, вместо хозяйского места, на которое имел полное право, занял то же место постороннего сотрудника, наемщика, какое было за ним и в старом. У меня в руках находятся любопытные письма Белинского, относящиеся к этому времени; небольшие отрывки из них читатели найдут ниже. Что касается собственно до меня, то должно сказать, что он, после первого приветствия, сделанного моей литературной деятельности, весьма скоро — и совершенно справедливо — охладел к ней; не мог же он поощрять меня в сочинении тех стихотворений и поэм, которым я тогда предавался. Впрочем, я скоро догадался сам, что не предстояло никакой надобности продолжать подобные упражнения, — и возымел твердое намерение вовсе оставить литературу; только вследствие просьб И. И. Пана́ева, не имевшего чем наполнить отдел смеси в 1-м нумере «Современника», я оставил ему очерк, озаглавленный «Хорь и Калиныч». (Слова: «Из записок охотника» были придуманы и прибавлены тем же И. И. Панаевым с целью расположить читателя к снисхождению.) Успех этого очерка побудил меня написать другие; и я возвратился к литературе. Но читатель увидит из тех же писем Белинского, что он, хотя остался более доволен моими прозаическими работами, однако особенных надежд на меня не возлагал. Белинский с добродушным снисхождением, с сочувственным жаром поощрял начинавших писателей, в которых признавал та-

лант, поддерживал их первые шаги; но он строго относился к их дальнейшим попыткам, безжалостно указывал на их недостатки, порицал и хвалил с одинаковым беспристрастием. Зато на первых порах он иногда доходил до нежности, увлекался очень мило, почти трогательно, почти забавно. Когда попались ему в руки «Бедные люди» г-на Достоевского, он пришел в совершенный восторг. «Да,— говорил он с гордостью, словно сам совершил величайший подвиг,— да, батюшка, я вам доложу! Не велика птичка,— и тут он указывал рукою чуть не на аршин от полу,— не велика птичка, а ноготок востер!» Каково же было мое удивление, когда, встретившись вскоре потом с г-м Достоевским, я увидал в нем человека роста более среднего — во всяком случае выше самого Белинского! Но в припадке отеческой нежности к новонародившемуся таланту Белинский относился к нему, как к сыну, как к своему «дитятке». Точно так же он, летом 1843 года, когда я с ним познакомился, лелеял и всюду рекомендовал и выводил в люди Некрасова...

Как во всех людях с пылкой душою, во всех энтузиастах, в Белинском была большая доля нетерпимости. Он не признавал, особенно сгоряча, ни одной частицы правды во мнениях противника и отворачивался от них с тем же негодованием, с которым покидал собственные мнения, когда находил их ошибочными. Но его можно было «прошибить», как я сказал ему однажды и чему он много смеялся; истина была для него слишком дорога; он не мог окончательно упорствовать. К одной лишь московской партии, к славянофилам он всю жизнь относился враждебно: очень они уже шли вразрез всему тому, что он любил и во что он верил. Вообще Белинский умел ненавидеть — he was a good hater — и всей душой презирал достойное презрения. Лейбниц где-то говорит, что он почти ничего не презирает (je ne méprise presque rien). Это понятно и похвально — в философе, постоянно живущем на высотах духовного созерцания; но наш брат, человек обыкновенный, по земле ходящий, не в силах возвыситься до этого бесстрастного холода, до этой величавой тишины; чувство презрения, которое внушают нам Фаддеи Булгарины, подтверждает и крепит наше нравственное сознание, нашу совесть. В собственных промахах Белинский признавался без всякой задней мысли: мелкого самолюбия в нем и следа не было. «Ну, врал же я чушь!» — бывало, говаривал он

с улыбкой — и какая это в нем была хорошая черта! Белинский был не слишком высокого мнения о самом себе и о своих способностях. Скромность его была непритворна и чистосердечна; слово: «скромность», впрочем, тут не годится: ему вовсе не было приятно, что он, по его понятию, такой некрупный человек; но ведь «из своей кожи не выпрыгнешь!» Зато ничего не было для него важнее и выше дела, за которое он стоял, мысли, которую он защищал и проводил: тут он на стену готов был лезть — и беда тому, кто ему попадался под руку! Тут и смелость являлась в нем — отвага отчаянная, назло его физике и нервам; тут он всем готов был жертвовать! При такой сильной раздражительности — такая слабая личная обидчивость... Нет! подобного ему человека я не встречал ни прежде, ни после.

Летом 1847 года Белинский попал, в первый и последний раз, за границу. Я прожил с ним несколько недель в Зальцбрунне, небольшом силезском городке, славящемся своими водами, будто бы излечивающими чахотку... Ему они принесли мало пользы. В Зальцбрунне он, под влиянием негодования, возбужденного в нем известной «Перепиской с друзьями» Гоголя, написал ему письмо... Потом я встретился с ним в Париже. Там он поступил в лечебницу к некоему доктору, специалисту против чахотки, по имени Тирá де Мальмору. Многие считали его за шарлатана, но он совсем было поставил Белинского на ноги. Кашель прекратился, с лица сошла зелень... Слишком скорое возвращение в Петербург всё уничтожило *. Странное дело! Он изнывал за границей от скуки, его так и тянуло назад в Россию. Уж очень он был русский человек и вне России замирал, как рыба на воздухе. Помню, в Париже он в первый раз увидал площадь Согласия и тотчас спросил меня: «Не правда ли? ведь это одна из красивейших площадей в мире?» И на мой утвердительный ответ воскликнул: «Ну и отлично; так уж я и буду знать, — и в сторону, и баста!» — и заговорил о Гоголе. Я ему заметил, что на самой этой

* Вот еще пример того, как Белинский юмористически относился к самому себе. При отъезде из Парижа ему дали провожатого, который должен был сопутствовать ему до Берлина; но в самую последнюю минуту вышло какое-то недоразумение, и Белинский отправился один. «Представьте мое положение, — писал он одному приятелю в Париж, — на бельгийской границе меня о чем-то спрашивают, а я ничего не понимаю и только глазами хлопаю. К счастию, начальник таможни догадался, должно быть, что я *глуп до святости*, — и пропустил меня».

площади во время революции стояла гильотина и что тут отрубили голову Людовику XVI; он посмотрел вокруг, сказал: «А!» — и вспомнил сцену Остаповой казни в «Тарасе Бульбе». Исторические сведения Белинского были слишком слабы: он не мог особенно интересоваться местами, где происходили великие события европейской жизни; он не знал иностранных языков и потому не мог изучать тамошних людей; а праздное любопытство, глазение, badauderie, было не в его характере. Музыка и живопись его, как уже сказано, трогали мало; а то, чем так сильно действует Париж на многих наших соотечественников, возмущало его чистое, почти аскетическое нравственное чувство. Да и, наконец, ему всего оставалось жить несколько месяцев... Он уже устал и охладел...

Не знаю, говорить ли об отношениях Белинского к женщинам? Сам он почти никогда не касался этого деликатного вопроса. Он вообще неохотно распространялся о самом себе, о своем прошедшем и т. п. Мне много раз случалось наводить его на этот разговор, но он всегда отклонял его; он словно стыдился, словно не понимал, что́ за охота толковать о личных дрязгах, когда существует столько предметов для беседы, более важных и полезных! Если же он касался своего прошедшего, то почти всегда с юмористической точки зрения: так, например, он рассказал мне, как, будучи *удален* из университета и не имея буквально чем жить, он взялся перевести роман Поль-де-Кока за 25 руб. ассигн., и каких он понаделал промахов! Бедность он, очевидно, испытал страшную, но никогда впоследствии не услаждался ее расписыванием и размазыванием в кругу друзей, как то делают весьма часто люди, прошедшие эту тяжкую школу. В Белинском было слишком много целомудренного достоинства для подобных излияний, а может быть, и слишком много гордости... Гордость и самолюбие — две вещи весьма различные.

По понятию Белинского, его наружность была такого рода, что никак не могла нравиться женщинам; он был в этом убежден до мозгу костей, и, конечно, это убеждение еще усиливало его робость и дикость в сношениях с ними. Я имею причину предполагать, что Белинский, с своим горячим и впечатлительным сердцем, с своей привязчивостью и страстностью, Белинский, все-таки один из первых людей своего времени, не был никогда любимым женщиной.

Брак свой он заключил не по страсти. В молодости он был влюблен в одну барышню, дочь тверского помещика Б—на; это было существо поэтическое, но она любила другого и притом она скоро умерла. Произошла также в жизни Белинского довольно странная и грустная история с девушкой из простого звания; помню его отрывчатый, сумрачный рассказ о ней... он произвел на меня глубокое впечатление... но и тут дело кончилось ничем. Сердце его безмолвно и тихо истлело; он мог воскликнуть словами поэта:

О небо! Если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле...
И не томясь, не мучась боле,
Я просиял бы и погас!

Но мечты людские несбывчивы, а сожаленья — бесплодны. Кому не вынулся хороший нумер — щеголяй с пустым, да и не сказывай никому.

Не могу, однако, не упомянуть здесь хотя мельком о благородных, честных воззрениях Белинского на женщин вообще и в особенности на русских женщин, на их положение, на их будущность, на их неотъемлемые права, на недостаточность их воспитания, словом, на то, что теперь называют женским вопросом. Уважение к женщинам, признание их свободы, их не только семейного, но и общественного значения сказываются у него всюду, где только он касается того вопроса — правда, без той вызывающей, крикливой бойкости, которая теперь в такой моде.

Не раз приходится слышать слова: такой-то вовремя, кстати умер... Но ни к кому они так несомненно не применяются, как к Белинскому. Да! он умер кстати и вовремя! Перед смертью (Белинский скончался в мае месяце 1848 года) он еще успел быть свидетелем торжества своих любимых, задушевных надежд и не видел их окончательного крушения... А какие беды ожидали его, если б он остался жив! Известно, что полиция ежедневно справлялась о состоянии его здоровья, о ходе его агонии... От тяжких испытаний избавила его смерть. Притом же и физика его уже отказывалась действовать... К чему же было тянуть, медлить?

A struggle more — and I am free! *

* Еще одно усилие — и я свободен! *(Байрон)*.

Всё так; но живой живое думает, и нельзя подавить в себе чувства сожаления о том из нас, кого уносит смерть в неведомый край, откуда «не возвратился еще ни один путешественник». Я иногда невольно задаю себе вопрос, невольно представляю себе: что́ бы сказал, что́ бы почувствовал Белинский при виде великих реформ, совершенных нынешним царствованием — освобождения крестьян, водворения гласного суда и т. д.? Какой бы восторг возбудили в нем эти плодоносные начинания! Но он не дожил до них... Не дожил он также до того, что так же наполнило бы сладостью его сердце: не увидал он много хорошего, что совершилось после него в нашей литературе. Как бы порадовался он поэтическому дару Л. Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова! Кому бы, как не ему, следовало быть свидетелем всхода тех семян, из которых многие были посеяны его рукою?.. Но видно — не следовало...

Окончу мои воспоминания о Белинском сообщением письма одной близкой ему дамы, которую я просил передать мне подробности его кончины (я находился тогда за границей, в Париже), а также и нескольких отрывков из его писем ко мне.

Вот письмо дамы (от 23-го июня 1848 года):

«Вы хотите знать что-нибудь о Белинском... Но я не умею порядочно рассказывать, да и нечего почти говорить о человеке, который всё последнее время весь был истощен физическими страданиями. Не могу выразить вам, как тяжело, как больно было смотреть на медленное разрушение этого бедного страдальца. Воротился он из Парижа в таком хорошем состоянии духа и здоровья, что все мы, не исключая даже доктора, получили надежду на его выздоровление. Тут провел он у нас несколько утр и вечеров в непрерывном, живом, энергическом разговоре, и все с радостью узнавали в нем прежнего, довольно еще здорового Белинского; но странно, что с самого его возвращения из чужих краев нрав его чрезвычайно изменился: он стал мягче, кротче, и в нем стало гораздо более терпимости, нежели прежде; даже в семейной жизни его нельзя было узнать, так он спокойно и, по-видимому, без борьбы, мирился со всем тем, что прежде так сильно его волновало. Здоровое состояние его продолжалось недолго; он в Петербурге скоро простудился, и тут с каждым днем его положение

становилось безнадежнее, при каждом свидании с ним мы находили его страшно изменившимся, и казалось, что более похудеть ему уже нельзя, но, увидав его опять, находили еще страшнее. В последний раз я была у него за неделю до его смерти; застали мы его полулежащим на кресле, лицо у него было совершенно мертво, но глаза огромные и блестящие; всякое дыхание его было стон, и встретил он нас словами: „Умираю, совсем умираю"; но эти слова были выговорены не с убеждением, не с уверенностью, а скорее с желанием, чтобы его опровергли. Нечего вам говорить, какие тяжелые два часа провели мы тогда у него; говорить он, разумеется, не мог, но его даже уж и не занимали и не могли расшевелить рассказы о тех *предметах* *, которыми он прежде жил. Слег он в постель дня за три до смерти и, кажется, надеялся до тех пор, пока жива была в нем память; накануне он стал заговариваться, однако узнал Грановского, приехавшего в тот же день из Москвы. Перед самой смертью он говорил два часа не переставая, как будто к русскому народу, и часто обращался к жене, просил ее всё хорошенько запомнить и верно передать эти слова кому следует; но из этой длинной речи почти ничего уже нельзя было разобрать; потом он вдруг замолк и через полчаса мучительной агонии умер. Бедная жена... не отходила от него ни на минуту и совершенно одна прислуживала ему, поворачивала и поднимала его с постели. Эта женщина... право, заслуживает всеобщее уважение; так усердно, с таким терпением, так безропотно ухаживала она за больным мужем всю зиму...»

Вот отрывки из писем Белинского ко мне:

СПб. 19 февраля/3 марта 1847.

«...Когда Вы сбирались в путь, я знал наперед, чего лишаюсь в Вас,— но когда Вы уехали, я увидел, что потерял в Вас больше, нежели думал... После Вас я отдался скуке с каким-то апатическим самоотвержением и скучал, как никогда в жизни не скучал. Ложусь в 11, иногда даже в 10 часов, засыпаю до 12, встаю в 7, 8 или около 9 — и целый день, особенно целый вечер (с после-обеда) дремлю — вот жизнь моя!

** получил от К—ра ругательное письмо, но не показал ***. Последний ничего не знает, но догадывается, а

* Курсив в подлиннике.

делает все-таки свое. При объяснении со мною он был нехорош; кашлял, заикался, говорил, что на то, что́ я желаю, он, кажется, для моей же пользы, согласиться никак не может, по причинам, которые сейчас же объяснит, и по причинам, которых не может мне сказать. Я отвечал, что не хочу знать никаких причин,— и сказал мои условия. Он повеселел и теперь при свидании протягивает мне обе руки — видно, что доволен мною вполне! По тону моего письма Вы можете ясно видеть, что я не в бешенстве и не в *преувеличении*. Я любил его, так любил, что мне и теперь иногда то жалко его, то досадно на него — за него, а не за себя. Мне трудно *переболеть* внутренним разрывом с человеком — а потом ничего. Природа мало дала мне способности ненавидеть за лично нанесенные мне несправедливости; я скорее способен возненавидеть человека за разность убеждений или за недостатки и пороки, вовсе для меня лично безвредные. Я и теперь высоко ценю ***; и тем не менее он в моих глазах—человек, у которого будет капитал, который будет богат,— а я знаю, как это делается. Вот уж начал с меня. Но довольно об этом.

...Скажу как новость: я, может быть, буду в Силезии. Б. достает мне 2500 руб. асс. Я было начисто отказался — ибо с чем же я бы оставил семейство — а просить, чтоб мне выдавали жалованье за время отсутствия, мне не хотелось. Но после объяснения с *** я подумал, что церемониться глупо... Он был очень рад, он готов был сделать всё, только бы я... Я написал к Б., и теперь ответ его решит дело.

Ваш „Каратаев“ хорош, хотя и далеко ниже „Хоря и Калиныча“...

...Мне кажется, у Вас чисто творческого таланта или нет, или очень мало,— и ваш талант однороден с Далем. Это Ваш настоящий род. Вот хоть бы „Ермолай и мельничиха“ — не бог знает что, безделка, а хорошо, потому что умно и дельно, с мыслию. А в „Бреттёре“ — я уверен, Вы творили. Найти свою дорогу, узнать свое место — в этом всё для человека, это для него значит сделаться самим собою. Если не ошибаюсь, Ваше призвание — наблюдать действительные явления и передавать их, пропуская через фантазию, но не опираться только на фантазию... Только, ради аллаха, не печатайте ничего такого, что ни то ни се; не то, чтоб нехорошо, да и не то, чтоб очень хорошо. Это страшно вредит тоталитету известности (извините за кудрявое выражение — лучшего не придумалось). А „Хорь“ обещает в Вас замечательного писателя — в будущем.

...Гоголь сильно покаран общественным мнением и разруган во всех журналах; даже друзья его, московские славянофилы — и те отступились, если не от него, то от гнусной его книги...

Жена моя и все мои домашние, не исключая Вашего крестника * — кланяются Вам...»

СПб. 1(13) марта 1847.

«...Скажу Вам, что я почти переменил мое мнение насчет источника известных поступков ***. Мне теперь кажется, что он действовал добросовестно, основываясь на объективном праве,— а до понятия о другом, высшем, он еще не дорос, а приобрести его не мог по причине того, что вырос в грязной положительности и никогда не был ни идеалистом, ни романтиком на наш манер. Вижу из его примера — как этот идеализм и романтизм может быть полезен для иных натур, предоставленных самим себе. Гадки они — этот идеализм и романтизм, но что́ за дело человеку, что ему помогло дурное на вкус лекарство даже и тогда, если, избавив его от смертельной болезни, привило к его организму другие, но уже не смертельные болезни; главное тут не то, что оно гадко, а то, что оно помогло...

Поездка моя в Силезию решена. Этим я обязан Боткину. Он нашел средство и протолкал меня. Нет, никогда я не хлопотал и никогда не буду хлопотать так о себе, как он хлопотал обо мне. Сколько писем написал он по этому предмету ко мне, к А—ву, к Г—ну, к брату своему, сколько разговоров, толков имел то с тем, то с другим! Недавно получил он ответ А—ва и прислал его мне. А—в дает мне 400 франков. Вы знаете, что это человек порядочно обеспеченный, но отнюдь не богач,— и по себе знаете, что за границей во всякое время 400 фр.— по крайней мере — не лишние деньги. Но это еще ничего — этого я всегда ожидал от А—ва, а вот что тронуло, ущипнуло меня за самое сердце: *для меня* этот человек изменяет план своего путешествия, не едет в Грецию и Константинополь — а едет в Силезию! От этого, я вам скажу, можно даже сконфузиться — и если б я не знал, не чувствовал глубоко, как сильно и много люблю я А—ва, мне было бы досадно и неприятно такое путешествие. Отправиться я думаю на первом пароходе...»

---

* Я был крестным отцом его сына.

СПб. 12(24) апреля 1847.

«Пишу к Вам несколько строк, мой любезный Т. Вскоре по получении Вашего второго ко мне письма, в котором Вы изъявляете свое удовольствие о здоровье моего сына,— он умер. Это меня уходило страшно. Я не живу, а умираю медленною смертью. Но к делу. Я взял билет на штеттинский пароход; он отходит 4 (16) мая...»

---

9 (21) мая я свиделся с Белинским в Штеттине, куда я выехал к нему навстречу. Мне писали из Петербурга, что смерть трехмесячного сына поразила его несказанно. Году не прошло, и он последовал за ним в могилу.

И вот уже двадцать лет с лишком прошло с тех пор — и я вызвал его дорогую тень... Не знаю, насколько мне удалось передать читателям главные черты его образа; но я уже доволен тем, что он побыл со мной, в моем воспоминании...

Человек он был!

1868

Первое прибавление

Я получил от А. Д. Галахова письмо по поводу статьи о Белинском, появившейся, как известно, в «Вестнике Европы». Помещаю здесь отрывок из этого письма. В нем почтенный автор, мнение которого в деле истории литературы и критики пользуется справедливым уважением и весом, до некоторой степени пополняет мои воззрения.

«...Что касается до каких-либо ошибок в литературных суждениях или в фактах — то я не встретил ни единой. Могу лишь указать на одну, по моему мнению, неточность. Вы говорите, что Белинский, ценя искусство как особую, совершенно естественную и законную сферу духовной деятельности человека, не был поклонником теории искусства для искусства, и в доказательство приводите его отзыв о стихотворении Пушкина: „Чернь“. Мне кажется, это не совсем так, по крайней мере, в хронологическом отношении. Отзыв принадлежит ко времени Вашего знакомства с Белинским. До этого времени (до 1843-го г.) он уже работал и в „Молве“ с „Телескопом“, и в „Наблюдателе“, и в „Отечественных записках“. Из некоторых критических статей его, здесь помещенных (особенно в „Наблюдателе“), видно, что он призна-

вал справедливость знаменитой формулы: цель искусства — само искусство. За что же он и напал так сильно на Менцеля (в „Отечественных записках“), как не за то, что Менцель в своей „Истории немецкой литературы“ подчинял эту последнюю целям, лежащим вне литературной области, требовал от нее служения политическим, гражданским и иным видам, и с этой точки зрения преследовал Гёте, восхваляя Шиллера? Я помню, что однажды, когда я зашел к нему, он с искренним пафосом показывал мне портреты Гегеля и Гёте, как высших представителей чистой мысли и чистого искусства».

Засим А. Д. Галахов, в подкрепление слов своих, приводит место из недавно вышедшего труда А. Станкевича: «Т. Н. Грановский» (стр. 114—115).

Очевидно, что я должен был сделать оговорку. Когда я познакомился с Белинским, мнения его были точно такие, какими я их представил: он изменил их незадолго перед тем. Политическая струя в нем снова забила сильнее.

Второе прибавление

А. Н. Пыпин, в известной своей биографии Белинского, оспаривает мое воззрение на то, что́ я назвал неполитическим в темпераменте Белинского, и видит в его «сдержанности» одну неизбежную уступку особым условиям того времени. Я готов согласиться с почтенным ученым: весьма вероятно, что оценка г-ном Пыпиным *этой* стороны характера нашего великого критика вернее моей, о чем долгом считаю объясниться перед читателями. Тот «огонь», о котором я упомянул, никогда не угасал в нем, хотя не всегда мог вырваться наружу.

Париж. Сентябрь 1879.

ГОГОЛЬ

(Жуковский, Крылов, Лермонтов, Загоскин)

Меня свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Помню день нашего посещения: 20-го октября 1851 года. Гоголь жил тогда в Москве, на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого. Мы приехали в час пополудни; он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней направо. Мы вошли в нее — и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. За неделю до того дня я его видел в театре, на представлении «Ревизора»; он сидел в ложе бельэтажа, около самой двери — и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену, через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытства публики. Мне указал на него сидевший рядом со мною Ф. Я быстро обернулся, чтобы посмотреть на него; он, вероятно, заметил это движение и немного отодвинулся назад, в угол. Меня поразила перемена, происшедшая в нем с 41 года. Я раза два встретил его тогда у Авдотьи Петровны Е—ной. В то время он смотрел приземистым и плотным малороссом; теперь он казался худым и испитым человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению его лица.

Увидев нас со Щепкиным, он с веселым видом пошел к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: «Нам давно следовало быть знакомыми». Мы сели. Я — рядом с ним на широком диване; Михаил Семенович на креслах возле него. Я попристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В неболь-

ших карих глазах искрилась по временам веселость — именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами; в их неопределенных очертаниях выражались — так по крайней мере мне показалось — темные стороны его характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный галстух. В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское — что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. «Какое ты умное, и странное, и больное существо!» — невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем и ехали к нему как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове... вся Москва была о нем такого мнения. Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении «Мертвых душ», об этой второй части, над которою он так долго и так упорно трудился и которую он, как известно, сжег перед смертию; что он этого разговора не любит. О «Переписке с друзьями» я сам не упомянул бы, так как ничего не мог сказать о ней хорошего. Впрочем, я и не готовился ни к какой беседе — а просто жаждал видеться с человеком, творения которого я чуть не знал наизусть. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя; теперь же и нет никого, на ком могло бы сосредоточиться общее внимание.

Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив; на деле вышло иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово,— что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. Он говорил на о́, других для русского слуха менее любезных особенностей малороссийского говора я не заметил. Всё выходило ладно, складно, вкусно и метко. Впечатление усталости, болезненного, нервического беспокойства, которое он сперва произвел на меня,— исчезло. Он говорил о значе-

нии литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям; высказал несколько тонких и верных замечаний о самом процессе работы, о самой, если можно так выразиться, физиологии сочинительства; и всё это — языком образным, оригинальным — и, сколько я мог заметить, нимало не подготовленным заранее, как это сплошь да рядом бывает у «знаменитостей». Только когда он завел речь о цензуре, чуть не возвеличивая, чуть не одобряя ее как средство развивать в писателе сноровку, умение защищать свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей,— только тогда мне показалось, что он черпает из готового арсенала. Притом доказывать таким образом необходимость цензуры — не значило ли рекомендовать и почти похваливать хитрость и лукавство рабства? Я могу еще допустить стих итальянского поэта: «Si, servi siam; ma servi ognor frementi» *; но самодовольное смирение и плутовство рабства... нет! лучше не говорить об этом. В подобных измышлениях и рассудительствах Гоголя слишком явно высказывалось влияние тех особ высшего полета, которым посвящена бóльшая часть «Переписки»; оттуда шел этот затхлый и пресный дух. Вообще я скоро почувствовал, что между миросозерцанием Гоголя и моим — лежала целая бездна. Не одно и то же мы ненавидели, не одно любили; но в ту минуту — в моих глазах всё это не имело важности. Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним.

Гоголь, вероятно, знал мои отношения к Белинскому, к Искандеру; о первом из них, об его письме к нему — он не заикнулся: это имя обожгло бы его губы. Но в то время только что появилась — в одном заграничном издании — статья Искандера, в которой он, по поводу пресловутой «Переписки», упрекал Гоголя в отступничестве от прежних убеждений. Гоголь сам заговорил об этой статье. Из его писем, напечатанных после его смерти (о, какую услугу оказал бы ему издатель, если б выкинул из них целые две трети или по крайней мере все те, которые писаны к светским дамам... более противной смеси гордыни и подыскивания, ханжества и тщесла-

* Мы рабы... да; но рабы, вечно негодующие

вия, пророческого и прихлебательского тона — в литературе не существует!),— из писем Гоголя мы знаем, какою неизлечимой раной залегло в его сердце полное фиаско его «Переписки» — это фиаско, в котором нельзя не приветствовать одно из немногих утешительных проявлений тогдашнего общественного мнения. И мы с покойным М. С. Щепкиным были свидетелями — в день нашего посещения,— до какой степени эта рана наболела. Гоголь начал уверять нас — внезапно изменившимся, торопливым голосом,— что не может понять, почему в прежних его сочинениях некоторые люди находят какую-то оппозицию, что-то такое, чему он изменил впоследствии; что он всегда придерживался одних и тех же религиозных и охранительных начал — и, в доказательство того, готов нам указать на некоторые места в одной своей, уже давно напечатанной, книге... Промолвив эти слова, Гоголь с почти юношеской живостью вскочил с дивана и побежал в соседнюю комнату. Михаил Семеныч только брови возвел горе́ — и указательный палец поднял... «Никогда таким его не видал»,— шепнул он мне...

Гоголь вернулся с томом «Арабесок» в руках и начал читать на выдержку некоторые места одной из тех детски напыщенных и утомительно-пустых статей, которыми наполнен этот сборник. Помнится, речь шла о необходимости строгого порядка, безусловного повиновения властям и т. п. «Вот видите,— твердил Гоголь,— я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, как и теперь!.. С какой же стати упрекать меня в измене, в отступничестве... Меня?» — И это говорил автор «Ревизора», одной из самых отрицательных комедий, какие когда-либо являлись на сцене! Мы с Щепкиным молчали. Гоголь бросил наконец книгу на стол и снова заговорил об искусстве, о театре; объявил, что остался недоволен игрою актеров в «Ревизоре», что они «тон потеряли» и что он готов им прочесть всю пиесу с начала до конца. Щепкин ухватился за это слово и тут же уладил, где и когда читать. Какая-то старая барыня приехала к Гоголю; она привезла ему просфору с вынутой частицей. Мы удалились.

Дня через два происходило чтение «Ревизора» в одной из зал того дома, где проживал Гоголь. Я выпросил

«ГОГОЛЬ». ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ЧЕРНОВОГО АВТОГРАФА.
Национальная библиотека, Париж.

позволение присутствовать на этом чтении. Покойный профессор Шевырев также был в числе слушателей и — если не ошибаюсь — Погодин. К великому моему удивлению, далеко не все актеры, участвовавшие в «Ревизоре», явились на приглашение Гоголя; им показалось обидным, что их словно хотят учить! Ни одной актрисы также не приехало. Сколько я мог заметить, Гоголя огорчил этот неохотный и слабый отзыв на его предложение... Известно, до какой степени он скупился на подобные милости. Лицо его приняло выражение угрюмое и холодное; глаза подозрительно насторожились. В тот день он смотрел точно больным человеком. Он принялся читать — и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской, глаза расширились и просветлели. Читал Гоголь превосходно... Я слушал его тогда в первый — и в последний раз. Диккенс, также превосходный чтец, можно сказать, разыгрывает свои романы, чтение его — драматическое, почти театральное; в одном его лице является несколько первоклассных актеров, которые заставляют вас то смеяться, то плакать; Гоголь, напротив, поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет, есть ли тут слушатели и что́ они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет для него самого новый и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный — особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться — хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренно дивясь ей, всё более и более погружаться в самое дело — и лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу Городничего о двух крысах (в самом начале пиесы): «Пришли, понюхали и пошли прочь!» — Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить обыкновенно разыгрывается на сцене «Ревизор». Я сидел, погруженный в радостное умиление: это был для меня настоящий пир и праздник. К сожалению, он продолжался недолго. Гоголь еще не успел про-

честь половину первого акта, как вдруг дверь шумно растворилась и, торопливо улыбаясь и кивая головою, промчался через всю комнату один еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литератор — и, не сказав никому ни слова, поспешил занять место в углу. Гоголь остановился; с размаху ударил рукой по звонку и с сердцем заметил вошедшему камердинеру: «Ведь я велел тебе никого не впускать!» Молодой литератор слегка пошевелился на стуле — а впрочем, не смутился нисколько. Гоголь отпил немного воды — и снова принялся читать; но уж это было совсем не то. Он стал спешить, бормотать себе под нос, не доканчивать слов; иногда он пропускал целые фразы — и только махал рукою. Неожиданное появление литератора его расстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали малейшего толчка. Только в известной сцене, где Хлестаков завирается, Гоголь снова ободрился и возвысил голос: ему хотелось показать актеру, исполнявшему роль Ивана Александровича, как должно передавать это действительно затруднительное место. В чтении Гоголя оно показалось мне естественным и правдоподобным. Хлестаков увлечен и странностию своего положения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет,— и верит своему вранью: это нечто вроде упоения, наития, сочинительского восторга — это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого «подхватило». «Просители в передней жужжат, 35 тысяч эстафетов скачет — а дурачье, мол, слушает, развесив уши, и какой я, мол, бойкий, игривый, светский молодой человек!» Вот какое впечатление производил в устах Гоголя хлестаковский монолог. Но, вообще говоря, чтение «Ревизора» в тот день было — как Гоголь сам выразился — не более как намек, эскиз; и всё по милости непрошенного литератора, который простер свою нецеремонность до того, что остался после всех у побледневшего, усталого Гоголя и втерся за ним в его кабинет. В сенях я расстался с ним и уже никогда не увидал его больше; но его личности было еще суждено возыметь значительное влияние на мою жизнь.

В последних числах февраля месяца следующего 1852 года я находился на одном утреннем заседании вскоре потом погибшего общества посещения бедных —

в зале Дворянского собрания — и вдруг заметил И. И. Панаева, который с судорожной поспешностью перебегал от одного лица к другому, очевидно, сообщая каждому из них неожиданное и невеселое известие, ибо у каждого лицо тотчас выражало удивление и печаль. Панаев, наконец, подбежал и ко мне — и с легкой улыбочкой, равнодушным тоном промолвив: «А ты знаешь, Гоголь помер в Москве. Как же, как же... Все бумаги сжег — да помер», — помчался далее. Нет никакого сомнения, что как литератор Панаев внутренно скорбел о подобной утрате — притом же и сердце он имел доброе, — но удовольствие быть первым человеком, сообщающим другому огорашивающую новость (равнодушный тон употреблялся для большего форсу), — это удовольствие, эта радость заглушали в нем всякое другое чувство. Уже несколько дней в Петербурге ходили темные слухи о болезни Гоголя; но такого исхода никто не ожидал. Под первым впечатлением сообщенного мне известия я написал следующую небольшую статью.

Письмо из Петербурга *

Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова? Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам всё еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит наконец свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдет наши нетерпеливые ожидания, — пришла эта роковая весть! Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся как одной из слав наших! Он умер, пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников... Его утрата возобновляет скорбь о тех незабвенных утратах, как новая рана возбуждает боль старинных язв. Не время теперь и не место говорить об его заслугах — это дело будущей критики; должно надеяться, что она поймет свою задачу и оценит его тем беспристрастным, но исполненным уважения и любви судом, которым подобные ему люди судятся перед ли-

* «Московские ведомости» 1852 года, марта 13-го, № 32, стр. 328 и 329.

цом потомства; нам теперь не до того: нам только хочется быть одним из отголосков той великой скорби, которую мы чувствуем разлитою повсюду вокруг нас; не оценять его нам хочется, но плакать; мы не в силах говорить теперь спокойно о Гоголе... самый любимый, самый знакомый образ неясен для глаз, орошенных слезами... В день, когда его хоронит Москва, нам хочется протянуть ей отсюда руку — соединиться с ней в одном чувстве общей печали. Мы не могли взглянуть в последний раз на его безжизненное лицо; но мы шлем ему издалека наш прощальный привет — и с благоговейным чувством слагаем дань нашей скорби и нашей любви на его свежую могилу, в которую нам не удалось, подобно москвичам, бросить горсть родимой земли! Мысль, что прах его будет покоиться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, пусть он покоится там, в этом сердце России, которую он так глубоко знал и так любил, так горячо любил, что одни легкомысленные или близорукие люди не чувствуют присутствия этого любовного пламени в каждом им сказанном слове! Но невыразимо тяжело было бы нам подумать, что последние, самые зрелые плоды его гения погибли для нас невозвратно,— и мы с ужасом внимаем жестоким слухам об их истреблении...

Едва ли нужно говорить о тех немногих людях, которым слова наши покажутся преувеличенными или даже вовсе неуместными... Смерть имеет очищающую и примиряющую силу; клевета и зависть, вражда и недоразумения — всё смолкает перед самою обыкновенною могилой: они не заговорят над могилою Гоголя. Какое бы ни было окончательное место, которое оставит за ним история, мы уверены, что никто не откажется повторить теперь же вслед за нами:

Мир его праху, вечная память его жизни, вечная слава его имени!

*Т......в.**

---

* По поводу этой статьи (о ней тогда же кто-то весьма справедливо сказал, что нет богатого купца, о смерти которого журналы не отозвались бы с бо́льшим жаром) мне вспоминается следующее: одна очень высокопоставленная дама — в Петербурге — находила, что наказание, которому я подвергся за эту статью, было незаслуженно — и во всяком случае слишком строго, жестоко... Словом, она горячо заступалась за меня. «Но ведь вы не знаете,— доложил ей кто-то,— он в своей статье называет Гоголя великим человеком!» — «Не может быть!» — «Уверяю вас».— «А! в таком случае я ничего

Я препроводил эту статью в один из петербургских журналов; но именно в то время цензурные строгости стали весьма усиливаться с некоторых пор... Подобные «crescendo» происходили довольно часто и — для постороннего зрителя — так же беспричинно, как, например, увеличение смертности в эпидемиях. Статья моя не появилась ни в один из последовавших за тем дней. Встретившись на улице с издателем, я спросил его, что́ бы это значило? «Видите, какая погода,— отвечал он мне иносказательною речью,— и думать нечего».— «Да ведь статья самая невинная»,— заметил я. «Невинная ли, нет ли,— возразил издатель,— дело не в том; вообще имя Гоголя не велено упоминать. Закревский на похоронах в андреевской ленте присутствовал: этого здесь переварить не могут». Вскоре потом я получил от одного приятеля из Москвы письмо, наполненное упреками: «Как! — восклицал он,— Гоголь умер, и хоть бы один журнал у вас в Петербурге отозвался! Это молчание постыдно!» В ответе моем я объяснил — сознаюсь, в довольно резких выражениях — моему приятелю причину этого молчания и в доказательство как документ приложил мою запрещенную статью. Он ее представил немедленно на рассмотрение тогдашнего попечителя Московского округа — генерала Назимова — и получил от него разрешение напечатать ее в «Московских ведомостях». Это происходило в половине марта, а 16 апреля я — за ослушание и нарушение цензурных правил — был посажен на месяц под арест в части (первые двадцать четыре часа я провел в сибирке и беседовал с изысканно вежливым и образованным полицейским унтер-офицером, который рассказывал мне о своей прогулке в Летнем саду и об «аромате птиц»), а потом отправлен на жительство в деревню. Я нисколько не намерен обвинять тогдашнее правительство; попечитель С.-Петербургского округа, теперь уже покойный Мусин-Пушкин, представил — из неизвестных мне видов — всё дело, как явное неповиновение с моей стороны; он не поколебался заверить высшее начальство, что *он призывал меня лично, и лично передал мне запрещение цензурного комитета печатать мою статью* (одно цензорское запрещение не могло помешать мне — в силу существовавших поста-

---

не говорю: je regrette, mais je comprends qu'on ait dû sévir. ⟨я сожалею, но я понимаю, что следовало строго наказать *(франц.)*⟩

новлений — подвергнуть статью мою суду другого цензора), *а я г. Мусина-Пушкина и в глаза не видал и никакого с ним объяснения не имел*. Нельзя же было правительству подозревать сановника, доверенное лицо, в подобном искажении истины! Но всё к лучшему; пребывание под арестом, а потом в деревне принесло мне несомненную пользу: оно сблизило меня с такими сторонами русского быта, которые, при обыкновенном ходе вещей, вероятно, ускользнули бы от моего внимания.

Уже дописывая предыдущую строку, я вспомнил, что первое мое свидание с Гоголем происходило гораздо раньше, чем я сказал вначале. А именно: я был одним из его слушателей в 1835 году, когда он преподавал (!) историю в С.-Петербургском университете. Это преподавание, правду сказать, происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две; во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре,— он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран, и всё время ужасно конфузился. Мы все были убеждены (и едва ли мы ошибались), что он ничего не смыслит в истории — и что г. *Гоголь-Яновский*, наш профессор (он так именовался в расписании лекций), не имеет ничего общего с писателем Гоголем, уже известным нам как автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки». На выпускном экзамене из своего предмета он сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли — с совершенно убитой физиономией — и не разевал рта. Спрашивал студентов за него профессор И. П. Шульгин. Как теперь вижу его худую, длинноносую фигуру с двумя высоко торчавшими — в виде ушей — концами черного шелкового платка. Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь комизм и всю неловкость своего положения: он в том же году подал в отставку. Это не помешало ему, однако, воскликнуть: «Непризнанный взошел я на кафедру — и непризнанный схожу с нее!» Он был рожден для того, чтоб быть наставником своих современников; но только не с кафедры.

В предыдущем (первом) отрывке я упомянул о моей встрече с Пушкиным; скажу кстати несколько слов и о других, теперь уже умерших, литературных знаменитостях, которые мне удалось видеть. Начну с Жуковского. Живя — вскоре после двенадцатого года — в своей деревне в Белевском уезде, он несколько раз посетил мою матушку, тогда еще девицу, в ее Мценском имении; сохранилось даже предание, что он в одном домашнем спектакле играл роль волшебника, и чуть ли не видел я самый колпак его с золотыми звездами в кладовой родительского дома. Но с тех пор прошли долгие годы — и, вероятно, из памяти его изгладилось самое воспоминание о деревенской барышне, с которой он познакомился случайно и мимоходом. В год переселения нашего семейства в Петербург — мне было тогда 16 лет — моей матушке вздумалось напомнить о себе Василию Андреевичу. Она вышила ко дню его именин красивую бархатную подушку и послала меня с нею к нему в Зимний дворец. Я должен был назвать себя, объяснить, чей я сын, и поднести подарок. Но когда я очутился в огромном, до тех пор мне незнакомом дворце; когда мне пришлось пробираться по каменным длинным коридорам, подниматься на каменные лестницы, то и дело натыкаясь на неподвижных, словно тоже каменных, часовых; когда я, наконец, отыскал квартиру Жуковского и очутился перед трехаршинным красным лакеем с галунами по всем швам и орлами на галунах,— мною овладел такой трепет, я почувствовал такую робость, что, представ в кабинет, куда пригласил меня красный лакей и где из-за длинной конторки глянуло на меня задумчиво-приветливое, но важное и несколько изумленное лицо самого поэта,— я, несмотря на все усилия, не мог произнести звука: язык, как говорится, прильпе к гортани — и, весь сгорая от стыда, едва ли не со слезами на глазах, остановился как вкопанный на пороге двери и только протягивал и поддерживал обеими руками — как младенца при крещении — несчастную подушку, на которой, как теперь помню, была изображена девица в средневековом костюме, с попугаем на плече. Смущение мое, вероятно, возбудило чувство жалости в доброй душе Жуковского; он подошел ко мне, тихонько взял у меня подушку, попросил меня сесть и снисходительно заговорил со мною. Я объяснил ему наконец, в чем было дело — и, как только мог, бросился бежать.

Уже тогда Жуковский, как поэт, потерял в глазах моих прежнее значение; но все-таки я радовался нашему, хотя и неудачному свиданию и, придя домой, с особенным чувством припоминал его улыбку, ласковый звук его голоса, его медленные и приятные движения. Портреты Жуковского почти все очень похожи; физиономия его не была из тех, которые уловить трудно, которые часто меняются. Конечно, в 1834 году в нем и следа не оставалось того болезненного юноши, каким представлялся воображению наших отцов «Певец во стане русских воинов»; он стал осанистым, почти полным человеком. Лицо его, слегка припухлое, молочного цвета, без морщин, дышало спокойствием; он держал голову наклонно, как бы прислушиваясь и размышляя; тонкие, жидкие волосы всходили косицами на совсем почти лысый череп; тихая благость светилась в углубленном взгляде его темных, на китайский лад приподнятых глаз, а на довольно крупных, но правильно очерченных губах постоянно присутствовала чуть заметная, но искренняя улыбка благоволения и привета. Полувосточное происхождение его (мать его была, как известно, турчанка) сказывалось во всем его облике.

Несколько недель спустя меня еще раз свел к нему старинный приятель нашего семейства, Воин Иванович Губарев, замечательное, типическое лицо. Небогатый помещик Кромского уезда, Орловской губернии, он во время ранней молодости находился в самой тесной связи с Жуковским, Блудовым, Уваровым; он в их кружке был представителем французской философии, скептического, энциклопедического элемента, рационализма, словом, XVIII века. Губарев превосходно говорил по-французски, Вольтера знал наизусть и ставил выше всего на свете; других сочинителей он едва ли читал; склад его ума был чисто французский, дореволюционный, спешу прибавить. Я до сих пор помню его почти постоянный, громкий и холодный смех, его развязные, слегка цинические суждения и выходки. Уже одна его наружность осуждала его на одинокую и независимую жизнь; это был человек весьма собою некрасивый, толстый, с огромной головой и рябинами по всему лицу. Долгое пребывание в провинции наложило на него наконец свою печать; но он остался «типом» до конца, и до конца, под бедным

казакином мелкого дворянчика, носящего дома смазные сапоги, сохранил свободу и даже изящество манер. Я не знаю причины, почему он не пошел в гору, не составил себе карьеры, как его товарищи. Вероятно, в нем не было надлежащей настойчивости, не было честолюбия: оно плохо уживается с тем полуравнодушным, полунасмешливым эпикуреизмом, который он заимствовал от своего образца — Вольтера; а таланта литературного он в себе не признавал; фортуна ему не улыбнулась — он так и стушевался, заглох, стал бобылем. Но любопытно было бы проследить, как этот закоренелый вольтерианец в молодости обходился с своим приятелем, будущим «балладником» и переводчиком Шиллера! Большего противоречия и придумать нельзя; но сама жизнь есть не что иное, как постоянно побеждаемое противоречие.

Жуковский — в Петербурге — вспомнил старого приятеля и не забыл, чем можно было его порадовать: подарил ему новое, прекрасно переплетенное собрание полных сочинений Вольтера. Говорят, незадолго до смерти — а Губарев жил долго — соседи видали его в его полуразрушенной хижинке, сидевшего за убогим столом, на котором лежал подарок его знаменитого друга. Он бережно переворачивал золотообрезные листья любимой книги — и в глуши степного захолустья, искренно, как и в дни молодости, тешился остротами, которыми забавлялись некогда Фридрих Великий в Сан-Суси и Екатерина Вторая в Царском Селе. Другого ума, другой поэзии, другой философии для него не существовало. Это, разумеется, не мешало ему носить на шее целую кучу образов и ладанок — и состоять под командой безграмотной ключницы... Логика противоречий!

С Жуковским я больше не встречался.

Крылова я видел всего один раз — на вечере у одного чиновного, но слабого петербургского литератора. Он просидел часа три с лишком неподвижно между двумя окнами — и хоть бы слово промолвил! На нем был просторный поношенный фрак, белый шейный платок; сапоги с кисточками облекали его тучные ноги. Он опирался обеими руками на колени — и даже не поворачивал своей колоссальной, тяжелой и величавой головы;

только глаза его изредка двигались под нависшими бровями. Нельзя было понять: чтó он, слушает ли и на ус себе мотает, или просто *так* сидит и «существует»? Ни сонливости, ни внимания на этом обширном, прямо русском лице — а только ума палата, да заматерелая лень, да по временам что-то лукавое словно хочет выступить наружу и не может — или не хочет — пробиться сквозь весь этот старческий жир... Хозяин, наконец, попросил его пожаловать к ужину. «Поросенок под хреном для вас приготовлен, Иван Андреич»,— заметил он хлопотливо и как бы исполняя неизбежный долг. Крылов посмотрел на него не то приветливо, не то насмешливо... «Так-таки непременно поросенок?» — казалось, внутренно промолвил он — грузно встал и, грузно шаркая ногами, пошел занять свое место за столом.

Лермонтова я тоже видел всего два раза: в доме одной знатной петербургской дамы, княгини Ш...ой, и несколько дней спустя, на маскараде в Благородном собрании под новый, 1840 год. У княгини Ш...ой я, весьма редкий и непривычный посетитель светских вечеров, лишь издали, из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц, белокурая графиня М. П. — рано погибшее, действительно прелестное создание. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток — и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Ш...у, тоже гусару. В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, что он до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине.

Слова: «Глаза его не смеялись, когда он смеялся» * и т. д.— действительно, применялись к нему. Помнится, граф Ш. и его собеседница внезапно засмеялись чему-то и смеялись долго; Лермонтов также засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих. Несмотря на это, мне все-таки казалось, что и графа Ш...а он любил как товарища, и к графине питал чувство дружелюбное. Не было сомнения, что он, следуя тогдашней моде, напустил на себя известного рода байроновский жанр, с примесью других, еще худших капризов и чудачеств. И дорого же он поплатился за них! Внутренно Лермонтов, вероятно, скучал глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба. На бале Дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки... и т. д.

Скажу кстати два слова еще об одном умершем литераторе, хотя он и принадлежит к «diis minorum gentium» [1] и уже никак не может стать наряду с поименованными выше,— а именно о М. Н. Загоскине. Он был коротким приятелем моего отца и в тридцатых годах, во время нашего пребывания в Москве, почти ежедневно посещал наш дом. Его «Юрий Милославский» был первым сильным литературным впечатлением моей жизни. Я находился в пансионе некоего г. Вейденгаммера, когда появился знаменитый роман; учитель русского языка — он же и классный надзиратель — рассказал в часы рекреаций моим товарищам и мне его содержание. С каким пожирающим вниманием мы слушали похождения Кирши, слуги Милославского, Алексея, разбойни-

---

* «Герой нашего времени», стр. 280. Сочинения Лермонтова, изд. 1860 г.

[1] младшим богам *(лат.)*.

ка Омляша! Но странное дело! «Юрий Милославский» казался мне чудом совершенства, а на автора его, на М. Н. Загоскина, я взирал довольно равнодушно. За объяснением этого факта ходить недалеко: впечатление, производимое Михаилом Николаевичем, не только не могло усилить те чувства поклонения и восторга, которые возбуждал его роман, но напротив — оно должно было ослабить их. В Загоскине не проявлялось ничего величественного, ничего фатального, ничего такого, что действует на юное воображение; говоря правду, он был даже довольно комичен, а редкое его добродушие не могло быть надлежащим образом оценено мною: *это* качество не имеет значения в глазах легкомысленной молодежи. Самая фигура Загоскина, его странная, словно сплюснутая голова, четырехугольное лицо, выпученные глаза под вечными очками, близорукий и тупой взгляд, необычайные движения бровей, губ, носа, когда он удивлялся или даже просто говорил, внезапные восклицания, взмахи рук, глубокая впадина, разделявшая надвое его короткий подбородок,— всё в нем мне казалось чудаковатым, неуклюжим, забавным. К тому же за ним водились три, тоже довольно комические, слабости: он воображал себя необыкновенным силачом; * он был уверен, что никакая женщина не в состоянии устоять перед ним; и, наконец (и это в таком рьяном патриоте было особенно удивительно), он питал несчастную слабость к французскому языку, который коверкал без милости, беспрестанно смешивая числа и роды, так что даже получил в нашем доме прозвище: «Monsieur l'article». Со всем тем нельзя было не любить Михаила Николаевича за его золотое сердце, за ту безыскусственную откровенность нрава, которая поражает в его сочинениях.

Последнее мое свидание с ним было печально. Я навестил его много лет спустя — в Москве, незадолго пе-

* Легенда о его силе проникла даже за границу. На одном публичном чтении в Германии я, к удивлению моему, услыхал балладу, в которой описывалось, как в столицу Московии прибыл геркулес Раппо и, давая представления на театре, всех вызывал и всех побеждал; как внезапно, среди зрителей, не вытерпев посрамления соотечественников, поднялся der russische Dichter; stehet auf der Zagoskin! [1] (с ударением на *кин*) — как он сразился с Раппо и, победив его, удалился скромно и с достоинством.

[1] русский писатель; встает Загоскин! *(нем.)*.

ред его смертью. Он уже не выходил из своего кабинета и жаловался на постоянную боль и ломоту во всех членах. Он не похудел, но мертвенная бледность покрывала его всё еще полные щеки, придавая им тем более унылый вид. Взмахи бровей и таращение глаз остались те же; невольный комизм этих движений только усугублял чувство жалости, которую возбуждала вся фигура бедного сочинителя, явно клонившаяся к разрушению. Я заговорил с ним об его литературной деятельности, о том, что в петербургских кружках снова стали ценить его заслуги, отдавать ему справедливость; упомянул о значении «Юрия Милославского» как народной книги... Лицо Михаила Николаевича оживилось. «Ну, спасибо, спасибо,— сказал он мне,— а я уже думал, что я забыт, что нынешняя молодежь в грязь меня втоптала и бревном меня накрыла». (Со мной Михаил Николаевич не говорил по-французски, а в русском разговоре он любил употреблять выражения энергические.) «Спасибо»,— повторил он, не без волнения и с чувством пожав мне руку, точно я был причиною того, что его не забыли. Помнится, довольно горькие мысли о так называемой литературной известности пришли мне в голову тогда. Внутренно я почти упрекнул Загоскина в малодушии. Чему, думал я, радуется человек? Но отчего же было ему и не радоваться? Он услыхал от меня, что не совсем умер... а ведь горше смерти для человека нет ничего. Иная литературная известность может, пожалуй, дожить до того, что и этой ничтожной радости не узнает. За периодом легкомысленных восхвалений последует период столь же мало осмысленной брани, а там — безмолвное забвение... Да и кто из нас имеет право не быть забытым — право отягощать своим именем память потомков, у которых свои нужды, свои заботы, свои стремления?

А все-таки я рад, что я, совершенно случайно, доставил доброму Михаилу Николаевичу, перед концом его жизни, хотя мгновенное удовольствие.

ПОЕЗДКА В АЛЬБАНО И ФРАСКАТИ

(Воспоминание об А. А. Иванове)

В один из прекраснейших октябрьских дней 1857 года старая наемная карета тихо катилась, дребезжа стеклами, по шоссе, ведущему от Рима в Альбано.

На козлах возвышался веттурин с угрюмым лицом и громадными бакенбардами, по всем признакам отъявленный трус и сластолюбец; а в самой карете сидело трое русских «форестиера»: покойный живописец Иванов, В. П. Боткин * и я. Впрочем, название «форестиера» могло применяться только к Боткину и ко мне. Иванов — или, как его величали от трактира Falcone до Cafe Greco — il signor Alessandro [1] — и по одежде и по привычкам давно стал коренным римлянином.

День стоял удивительный — и уже точно не доступный ни перу, ни кисти: известно, что ни один пейзажист, после Клод Лорреня, не мог справиться с римской природой; писатели оказались также несостоятельными (сто́ит лишь вспомнить «Рим» Гоголя и др.). А потому скажу только, что воздух был прозрачен и мягок, солнце сияло лучезарно, но не жгло, ветерок залетал в раскрытые окна кареты и ласкал наши, уже немолодые, физиономии —и мы ехали, окруженные каким-то праздничным, осенним блеском и с праздничным, тоже, пожалуй, осенним чувством на душе.

Мы накануне, вместе с Ивановым, ходили в Ватикан; он был в ударе, не дичился и не ёжился, говорил охотно и много. Он говорил нам о различных школах итальянской живописи, которую изучил подробно и добросовестно; все его суждения были дельны и проникнуты уважением к «старым мастерам». Перед Рафаэлем он благоговел. Известно, что на Иванова некогда имел сильное влияние Овербек: он уяснил ему Рафаэля; но когда Овер-

---

* И он уже теперь не существует.

[1] от трактира Фальконе до Греческого кафе — господин Александр *(итал.)*.

бек пошел дальше, к Перуджино и его предшественникам, Иванов остановился; русский здравый смысл удержал его на пороге того искусственного, аскетического, символического мира, в котором потонул германский художник; зато идеалист Иванов остался навсегда в глазах Овербека грубым реалистом. Иванов глубоко сожалел о современном направлении наших художников (один из них при мне величал Рафаэля *бездарным*) и рассказывал нам кое-что о Брюллове и о Гоголе, которого называл постоянно Николаем Васильичем. Из его почтительных, но осторожных отзывов о нашем великом писателе можно было заключить, что он особенно хорошо изучил его. Гоголь нисколько не понимал Иванова, хотя превозносил его «Явление Христа»; ведь тот же Гоголь приходил в восторг от «Последнего дня Помпеи»; а любить эти две картины в одно и то же время значит не понимать живописи. Иванов с особенным сочувствием упоминал о страшном впечатлении, произведенном на Гоголя всеобщим осуждением его «Переписки»; об этом, да еще о 1848 годе, Иванов говорил не иначе как с содроганием. Может быть, ему в голову приходило, что «вот и мою картину, пожалуй, так же разбранят», а в началах, которые чуть было не восторжествовали в 1848 году, он почему-то видел конец и разорение всякого художества.

Речь зашла и об его картине. Мы ее тогда не видали. и он собирался отпереть свою студию дня на три, что он и исполнил несколько недель спустя. Он утверждал, что она еще далеко не кончена, и сообщил нам любопытные подробности о своей поездке в Германию, к одному известному ученому *, воззрение которого совпадало с тем, что он, Иванов, хотел выразить в своей картине. Он намеревался пригласить этого ученого в Рим для того, чтоб тот решил, точно ли соответствует картина вышесказанному воззрению.

По словам Иванова, Штраус, вероятно, принял его за сумасшедшего, тем более что разговор происходил со стороны Штрауса на латинском, а со стороны Иванова на итальянском языке, так как Иванов не понимал по-немецки; должно притом заметить, что Иванов плохо понимал по-латыни, а Штраус — по-итальянски. Живо помню я наивное, почти трогательное удивление Иванова, ког-

* Д. Штраусу, автору «Жизни Иисуса Христа».

да мы с Боткиным начали объяснять ему, что если бы даже Штраус согласился приехать в Рим, или, точнее, если бы ему позволили туда приехать, все-таки бы он не мог решить, достиг ли Иванов своей цели и передал ли его образ мыслей, потому что для этого еще нужно было особенное понимание живописи, которым Штраус едва ли обладал. Он мог не узнать воплощение своего собственного воззрения или, наоборот, увидеть это воплощение там, где его не было.

— Так-с, так-с,— повторил Иванов, добродушно осклабляясь, пришепетывая и мигая.— Это очень интересно-с (любимое его словцо). Этого мне в голову не приходило-с.

Долгое разобщение с людьми, уединенное житье с самим собою, с одной и той же, постоянной, неизменной мыслью, наложило на Иванова особую печать; в нем было что-то мистическое и детское, мудрое и забавное, всё в одно и то же время; что-то чистое, искреннее и скрытное, даже хитрое. С первого взгляда всё существо его казалось проникнуто какою-то недоверчивостью, какою-то то суровой, то заискивающей робостью; но когда он привыкал к вам — а это происходило довольно скоро,— его мягкая душа так и раскрывалась. Он внезапно хохотал от самой обыкновенной остроты, удивлялся до онемения самым общепринятым положениям, пугался каждого немного резкого слова (помнится, однажды он даже подпрыгнул, услышав от одного из нас, что такая-то известная русская писательница — глупа) — и вдруг произносил слова, исполненные правды и зрелости, слова, свидетельствовавшие об упорной работе ума замечательного. К сожалению, воспитание получил он слишком поверхностное, как бо́льшая часть наших художников.

Усидчивым трудом он старался восполнить этот недостаток. Древний мир ему был хорошо знаком, он изучил ассирийские древности (они были ему нужны для его будущих картин); библию, и в особенности евангелие, он знал от слова до слова. Он охотнее слушал, чем говорил, и, несмотря на всё это, беседовать с ним было истинным наслаждением: столько было в нем добросовестного и честного желания истины. На наши вечеринки он приходил всегда первый и, как только завязывался спор, с напряженным и терпеливым вниманием следил за развитием мысли каждого. В числе русских, жив-

ших тогда в Риме, находился один добрый и неглупый малый, но с потемками в голове и с спутанным языком; Иванов позже всех нас махнул на него рукой. Литература и политика его не занимали: он интересовался вопросами, касавшимися до искусства, до морали, до философии. Однажды кто-то принес к нему тетрадку удачных карикатур; Иванов долго их рассматривал — и, вдруг подняв голову, промолвил: «Христос никогда не смеялся». Его везде принимали с радостью; один вид его лица с широким белым лбом, усталыми добрыми глазами, нежными, как у ребенка, щеками, заостренным носом и забавно сложенным, но приятным ртом — вызывал невольное сочувствие и привет в сердце каждого. Роста он был небольшого, приземист, плечист; вся его фигура — от бородки клинушком до пухлых, короткопалых ручек и проворных ножек с толстыми икрами — дышала Русью, и ходил он русской походкой. Он не был самолюбив, но о своем труде имел высокое понятие: недаром же он положил в него все свои силы и надежды.

Веттурин наш остановился у плохой остерии, чтоб дать лошадям отдохнуть и самому выпить «фолиетту». Мы тоже вышли и спросили себе сыру с хлебом. Сыр оказался скверный, хлеб недопеченный и кислый, но мы ели наш скудный завтрак с тем веселым и светлым ощущением постоянно присущей красоты, которое кажется разлитым в римском воздухе во всякое время, особенно в золотые, осенние дни. Черноглазая и смуглая девочка в пестром рубище и босая, дочь хозяина, спокойно и даже гордо поглядывала на нас с каменного порога *своего* дома, а отец ее, видный мужчина лет сорока, в потертой бархатной куртке, накинутой на одно плечо, величественно посмеивался и сверкал белками огромных черных глаз, сидя в полусумраке остерии за дрянным столом и снисходительно выслушивая жалобы нашего возницы на плохие времена, недостаток форестиеров и т. д. Впрочем, Иванов, которым внезапно овладело тревожное нетерпение, не дал ему слишком распространяться. Мы отправились дальше.

Разговор снова коснулся Ватикана.

— Надо будет завтра опять туда пойти,— заметил Боткин,— а оттуда вы, по-вчерашнему, приходите к нам обедать. (Мы с Боткиным каждый день обедали в Hôtel d'Angleterre, за общим столом.)

— Обедать? — воскликнул Иванов и вдруг поблед-

нел.— Обедать! — повторпл он.— Нет-с, покорно благодарю; я и вчера едва жив остался.

Мы подумали, что он, шутки ради, намекает на сделанное им накануне излишество (он вообще ел чрезвычайно много и жадно),— и начали уговаривать его.

— Нет-с, нет-с,— твердил он, всё более бледнея и теряясь.— Я не пойду; там меня отравят.

— Как отравят?

— Да-с, отравят, яду дадут.— Лицо Иванова приняло странное выражение, глаза его блуждали...

Мы с Боткиным переглянулись; ощущение невольного ужаса шевельнулось в нас обоих.

— Что вы это, любезный Александр Андреевич, как это вам яду дадут за общим столом? Ведь надо целое блюдо отравить. Да и кому нужно вас губить?

— Видно, есть такие люди-с, которым моя жизнь нужна-с. А что насчет целого блюда... да он мне на тарелку подбросит.

— Кто — он?

— Да гарсон-с, камериере.

— Гарсон?

— Да-с, подкупленный. Вы итальянцев еще не знаете; это ужасный народ-с, и на это преловкие-с. Возьмет да из-за бортища фрака — вот эдаким манером щепотку бросит... и никто не заметит! Да меня везде отравливали, куда я ни ездил. Здесь только один честный гарсон-с и есть — в Falcone, в нижней комнате... на того еще можно пока положиться.

Я хотел было возражать, но Боткин исподтишка толкнул меня коленом.

— Ну, вот что я вам предлагаю, Александр Андреевич,— начал он,— вы приходите завтра к нам обедать как ни в чем не бывало, а мы всякий раз, как наложим тарелки, поменяемся с вами...

На это Иванов согласился, и бледность с лица его сошла, и губы перестали дрожать, и взор успокоился. Мы потом узнали, что он после каждого слишком сытного обеда бежал к себе домой, принимал рвотное, пил молоко...

Бедный отшельник! Двадцатилетнее одиночество не обошлось ему даром.

Полчаса спустя мы были уже в Альбано. Иванов вдруг оживился и бросился нанимать лошадей для поездки в Фраскати. Из разных закоулков привели нам трех

дурно оседланных и разбитых кляч. После долгого словопрения с их хозяевами, в течение которого я имел случай подивиться железной настойчивости Иванова, мы, наконец, согласились в цене, взобрались на своих россинантов и двинулись в направлении к Фраскати. Дорога шла в гору по так называемой «галерее», вдоль целого ряда великолепных вечнозеленых дубов. Каждому из этих дубов минуло несколько столетий, и уже Клод Лоррень и Пуссен могли любоваться их классическими очертаниями, в которых мощь и красота сливаются так, как ни в одном другом мне известном дереве. Эти дубы да зончатые пинии, кипарисы и оливы удивительно идут друг к другу; они составляют часть того особенного созвучного аккорда, который преобладает в природе римских окрестностей. Внизу синело и едва дымилось круглое Альбанское озеро, а вокруг, по скатам гор и по долинам, и вблизи и вдали, расстилались волшебно-прозрачной пеленой божественные краски... Но я обещался не вдаваться в описания. Поднимаясь всё выше и выше, проезжая через приветные, светлые, именно светлые леса, по изумрудной, словно летней, траве,— мы добрались наконец до маленького городка, называемого Rocca di Papa [1], прилепленного, как птичье гнездо, к вершине скалы.

Мы слезли с лошадей на небольшой площадке против церкви, построенной в ломбардском вкусе с завитушками на фасаде, и присели на минутку у колодца с серебристой водой, с папским гербом и латинской надписью на полуразбитой колонне. От площадки во все стороны расходились тесные улицы, извилистые и крутые, как лестницы. Оборванные мальчишки тотчас сбежались посмотреть на нас и получить обычную дань, несколько «паолов»; кой-где выглянули женские, большей частью старушечьи, головы, раздались звуки ясногортанных голосов; вдали, как видение, показалась, посреди узкого прохода, стройная красавица в альбанском костюме и, картинно постояв в почти черной тени, падавшей от каменных стен, тихо повернулась и исчезла. Нагруженный осел прошел мимо, скрыпя своими корзинами, осторожно выступая и шлепая подковками по крупным камням мостовой; следом за ним важно шагал, словно консул какой-нибудь, суровый мужчина в синем запачканном плаще, закрывавшем нижнюю часть

[1] Скала папы *(итал.)*.

его лица, и в дырявой высокой шляпе, которую он, вероятно, ни перед кем не ломал, Иванов достал из кармана корку хлеба, прикорнул на край колодца и начал есть, держа поводья лошади в одной руке и изредка помакивая хлеб в холодную воду. Всякий след тревоги исчез с его лица; оно сияло удовольствием мирных художнических ощущений; в эту минуту он не нуждался ни в чем на свете, и сам он мне показался достойным предметом для художника, на этой площадке любимого живописцами городка, перед этой темной церковью, из-за которой серо-лиловые горы легко и высоко возносились в лучезарную воздушную бездну. Бедный Иванов! Жить бы ему там годы да годы... А смерть уже караулила его.

Мы взобрались опять на лошадей и пустились дальше, уже всё под гору. Иванов разговорился; он рассказывал нам разные забавные римские анекдоты и сам смеялся детским смехом. Навстречу нам попался красивый малый лет двадцати двух, с связанными назад руками, в сопровождении двух жандармов верхом.

— Что такое он сделал? — спросил одного из них Иванов.

— Пырнул ножом — «ha dato una coltellata», — равнодушно отвечал жандарм.

Я взглянул на молодого малого; он улыбнулся — причем обнажились его крупные, белые зубы, — и дружелюбно кивнул мне головой. Крестьянка, тут же стоявшая за низкой оградой, на которую взобралась ее коза, тоже улыбнулась, показала нам такие же сверкающие зубы, посмотрела сперва на него, потом на нас и опять улыбнулась.

— Счастливый народец! — заметил Иванов.

Мы довольно поздно прибыли в Фраскати. Последний поезд железной дороги отходил через три четверти часа; мы только успели сбегать в соседнюю виллу с прекрасным садом; я забыл ее название. Несколько дней перед поездкой в Альбано мы с Ивановым в Тиволи ходили по Villa d'Este и не могли довольно налюбоваться этой, едва ли не самой замечательной из монументальных, громадных, великолепных вилл, не из тех, которые внушили Тютчеву его прелестное стихотворение *,

---

* И, распростясь с тревогою житейской
И кипарисной рощей заслонясь... и т. д.

а из тех, при виде которых являются вашему воображению и кардиналы и принцы времен Медичисов и Фарнезе, возникают поэмы Ариоста и «Декамерон», и картины Павла Веронеза с их бархатом, шелком и блеском, с жемчужными ожерельями на шеях белокурых красавиц, рассеянно внимающих звукам теорбов и флейт, с павлинами и карликами, с мраморными статуями, олимпийскими богами и богинями на раззолоченных потолках, с гротами, козлоногими сатирами и фонтанами. В Фраскати мы торопливо обежали всю виллу, взглянули на нее снизу, спустились по каскаду террас ее искусственного сада. Помнится, нас там особенно сильно поразило зрелище вечерней зари. Нестерпимо пышным заревом, пылающим потоком кровавого золота, вливалась она в огромный четырехугольник мраморного окна на конце высокого сквозного коридора с легкими, словно кверху летевшими, колоннами.

Несколько времени потом мне всё казалось, как будто на самом лице моем и на лицах моих товарищей сохранился горячий отблеск этого пожара.

В вагоне железной дороги с нами поместилась молодая новобрачная чета, и опять мелькнули перед нами эти смоляные, тяжелые волосы, эти блестящие глаза и зубы — все эти черты, немного крупные вблизи, но с неподражаемым отпечатком величия, простоты и какой-то дикой грации...

— Надо будет показать вам Марианину (известную натурщицу),— заметил вдруг вполголоса Иванов... Он нам потом показал ее.

Вечный город скоро принял нас в свои недра. Мы пошли пешком по его уже потемневшим улицам. Иванов проводил нас до Piazza di Spagna [1] — и мы разошлись, унося в душе впечатление светло проведенного дня.

Месяцев восемь спустя не то в знойный, не то в холодный, кислый июльский день встретил я Иванова на площади Зимнего дворца, в Петербурге, среди беспрестанно набегавших столбов той липкой, сорной пыли, которая составляет одну из принадлежностей нашей северной столицы. Он с озабоченным видом отвечал на мое приветствие; он только что вышел из Эрмитажа; мор-

[1] Площади Испании *(итал.)*.

ской ветер крутил фалды его мундирного фрака; он щурился и придерживал двумя пальцами свою шляпу. Картина его уже была в Петербурге и начинала возбуждать невыгодные толки. Несколько дней спустя я уехал в деревню, а недели через две дошла до меня весть об его кончине... Вспомнился мне тот почти суеверный ужас, с которым он всегда отзывался о Петербурге и о предстоящей поездке туда...

Я не намерен входить теперь в подробный разбор достоинств и недостатков известной картины Иванова; другие это сделали и, вероятно, еще сделают гораздо лучше меня. Мне хочется сказать только несколько слов о том, каким мне представляется талант Иванова и как я понимаю его значение. Покойный А. С. Хомяков поместил в «Русской беседе» статью, написанную, как и всё, что выходило из-под его пера, увлекательно, но с которой я не мог согласиться. По его понятию, Иванов был чистый и сильный художник, проникнутый религиозным чувством, прямо вышедший из недр русской жизни. Появившись в эпоху безверия и всеобщего упадка искусства, он, из глубины своего смиренного и верующего сердца, извлек новое воплощение христианского догмата и тем положил основание и собственно русской живописи и возрождению живописи вообще. Такое воззрение кажется и утешительным и логически правильным; но, к сожалению, оно мало согласно с истиной. Что Иванов во всех стремлениях своих остался русским человеком — это неоспоримо; но он был русским человеком своего, то есть нашего, переходного времени. Он, так же как и все мы, не вступил еще в обетованную землю; он предвидел ее издали, он ее предчувствовал, но он умер, не достигнув ее рубежа. Он не принадлежал к числу гармонических и самобытных творцов-художников (их еще нет у нас на Руси); самый талант его, собственно живописный талант, был в нем слаб и шаток, в чем убедится каждый, кто только захочет внимательно и беспристрастно взглянуть на его произведение, в котором всё есть: и трудолюбие изумительное, и честное стремление к идеалу, и обдуманность — словом, всё, кроме того, что только одно и нужно, а именно: творческой мощи, свободного вдохновения. И над Ивановым возымел свою силу роковой закон разрозненности отдельных частей, составляющих полное дарование, тот закон, который до сих пор еще тяготеет над всем русским искусством.

Имей он талант Брюллова, или имей Брюллов душу и сердце Иванова, каких чудес мы были бы свидетелями! Но вышло так, что один из них мог выразить всё, что хотел, да сказать ему было нечего, а другой мог бы сказать многое — да язык его коснел. Один писал трескучие картины с эффектами, но без поэзии и без содержания; другой силился изобразить глубоко захваченную, новую, живую мысль, а исполнение выходило неровное, приблизительное, неживое. Один, если можно так выразиться,— правдиво представлял нам ложь; другой — ложно, то есть слабо и неверно, представлял нам правду. Говорят, Иванов тридцать раз с лишком списал голову Аполлона Бельведерского и открытую им в Палермо голову византийского Христа и, постепенно их сближая, добился, наконец, своего Иоанна Крестителя... Не так творят истинные художники! А между тем, если уже выбирать из двух направлений,— лучше, в тысячу раз лучше пойти за Ивановым, пока еще не явился настоящий вождь! Мысль одарена особенной силой; она сквозит и светится даже при недостаточном исполнении, особенно когда человек бескорыстно, до самопожертвования служил ей, как Иванов. Не было еще на свете жертвы, принесенной совершенно даром. Иные могут возразить, что Иванов напрасно хватался за то, что было свыше сил его: могут указать на первые эскизы его картины, в которых содержание не так глубоко, зато исполнение естественнее и живее. В возможности этого стремления к недосягаемому есть, конечно, что-то ненормальное, что-то даже трагическое; но если это стремление происходит из источника чистого, оно все-таки, и не удавшись вполне, не достигнув цели, может принести пользу великую. Молодой человек, подпавший под влияние Брюллова, уже тем самым, по всей вероятности, погиб как художник (сколько мы видели тому примеров!); напротив — молодой человек, понявший и полюбивший внутренний свет, сквозящий в творениях Иванова, может развиться и пойти далеко, если только природа не отказала ему в даровании. Иванов, этот труженик и мученик, упал на полдороге, обессиленный, неоцененный, но он шел к истине, и будущий его наследник, тот «еще неведомый избранник», пойдет по его дороге, по дороге, впервые проложенной им.

Предвижу еще возражение. Могут сказать: да зачем же изучать Иванова, неполного, неясного мастера, ког-

да есть великие, несомненные, победоносные образцы? Зачем намек, когда есть громкое слово? Но, во-первых, Иванов, как самобытная русская натура, ближе и сильнее говорит молодым русским сердцам: он им и понятнее и дороже; а во-вторых, в том-то и состоит его великая заслуга, заслуга идеалиста, мыслителя, что он указывает на образцы, приводит к ним, будит, шевелит; сам не удовлетворяет и не допускает в других дешевого удовлетворения; что он заставляет своих учеников задавать себе высокие, трудные задачи, а не удовольствоваться мастерским исполнением каких-нибудь ракурсов и прочих технических фокусов, которыми так гордятся последователи Брюллова. С этой точки зрения самые недостатки Иванова полезнее многих дюжинных красот.

Здесь не место входить в рассматривание того, в чем собственно состояла мысль Иванова; но я не могу окончить мою статейку, не изъявив желания, чтобы оставленный им альбом рисунков из жизни Христа явился в свет. Альбом этот находится теперь в руках его брата. В этих замечательных рисунках яснее выступает основная мысль, руководившая Иванова; в них его не стесняла кисть, которой он не вполне владел, особенно под конец жизни, когда самые глаза, изнуренные напряженным и непрестанным трудом, начинали изменять ему. И в картине его фигура Христа, как известно, удалась ему больше всех других; особенно значительна она на эскизе, принадлежащем В. П. Боткину... Фотографические снимки с этого эскиза были бы истинным подарком для всех почитателей честного, доброго, несчастного русского художника Александра Иванова.

1861

ПО ПОВОДУ «ОТЦОВ И ДЕТЕЙ»

Я брал морские ванны в Вентноре, маленьком городке на острове Уайте,— дело было в августе месяце 1860 года,— когда мне пришла в голову первая мысль «Отцов и детей», этой повести, по милости которой прекратилось — и, кажется, навсегда — благосклонное расположение ко мне русского молодого поколения. Не однажды слышал я и читал в критических статьях, что я в моих произведениях «отправляюсь от идеи» или «провожу идею»; иные меня за это хвалили, другие, напротив, порицали; с своей стороны, я должен сознаться, что никогда не покушался «создавать образ», если не имел исходною точкою не идею, а живое лицо, к которому постепенно примешивались и прикладывались подходящие элементы. Не обладая большою долею свободной изобретательности, я всегда нуждался в данной почве, по которой я бы мог твердо ступать ногами. Точно то же произошло и с «Отцами и детьми»; в основание главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. (Он умер незадолго до 1860 года.) В этом замечательном человеке воплотилось — на мои глаза — то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и в то же время не совсем ясно; я, на первых порах, сам не мог хорошенько отдать себе в нем отчета — и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, как бы желая поверить правдивость собственных ощущений. Меня смущал следующий факт: ни в одном произведении нашей литературы я даже намека не встречал на то, что мне чудилось повсюду; поневоле возникало сомнение: уж не за призраком ли я гоняюсь? Помнится, вместе со мною на острове Уайте жил один русский человек, одаренный весьма тонким вкусом и замечательной чуткостью на

то, что покойный Аполлон Григорьев называл «веяньями» эпохи. Я сообщил ему занимавшие меня мысли — и с немым изумлением услышал следующее замечание: «Да ведь ты, кажется, уже представил подобный тип... в Рудине?» Я промолчал: что было сказать? Рудин и Базаров — один и тот же тип!

Эти слова так на меня подействовали, что в течение нескольких недель я избегал всяких размышлений о затеянной мною работе; однако, вернувшись в Париж, я снова принялся за нее — *фабула* понемногу сложилась в моей голове: в течение зимы я написал первые главы, но окончил повесть уже в России, в деревне, в июле месяце. Осенью я прочел ее некоторым приятелям, кое-что исправил, дополнил, и в марте 1862 года «Отцы и дети» явились в «Русском вестнике».

Не стану распространяться о впечатлении, произведенном этой повестью; скажу только, что, когда я вернулся в Петербург, в самый день известных пожаров Апраксинского двора,— слово «нигилист» уже было подхвачено тысячами голосов, и первое восклицание, вырвавшееся из уст первого знакомого, встреченного мною на Невском, было: «Посмотрите, что *ваши* нигилисты делают! жгут Петербург!» Я испытал тогда впечатления, хотя разнородные, но одинаково тягостные. Я замечал холодность, доходившую до негодования, во многих мне близких и симпатических людях; я получал поздравления, чуть не лобызания, от людей противного мне лагеря, от врагов. Меня это конфузило... огорчало; но совесть не упрекала меня: я хорошо знал, что я честно, и не только без предубежденья, но даже с сочувствием отнесся к выведенному мною типу; * я слишком уважал призвание художника, литератора, чтобы покривить душою в таком деле. Слово «уважать» даже тут не совсем у места; я просто иначе не мог и не умел работать; да и, наконец, повода к тому не предстояло. Мои критики называли мою повесть «памфлетом», упоминали о «раздраженном», «уязвленном» самолюбии;

---

* Позволю себе привести следующую выписку из моего дневника: «30 июля, воскресенье. Часа полтора тому назад я кончил, наконец, свой роман... Не знаю, каков будет успех. „Современник“, вероятно, обольет меня презрением за Базарова и не поверит, что во всё время писания я чувствовал к нему невольное влечение...».

но с какой стати стал бы я писать памфлет на Добролюбова, с которым я почти не видался, но которого высоко ценил как человека и как талантливого писателя? Какого бы я ни был скромного мнения о своем даровании — я все-таки считал и считаю сочинение памфлета, «пасквиля» ниже его, недостойным его. Что же касается до «уязвленного» самолюбия, то замечу только, что статья Добролюбова о *последнем моем произведении перед «Отцами и детьми» — о «Накануне»* (а он по праву считался выразителем общественного мнения) — что эта статья, явившаяся в 1861 году, исполнена самых горячих — говоря по совести — самых незаслуженных похвал. Но господам критикам нужно было представить меня оскорбленным памфлетистом: «leur siège était fait» [1] — и еще в нынешнем году я мог прочесть в Приложении № 1-й к «Космосу» (стр. 96) следующие строки: «Наконец, *всем известно*, что пьедестал, на котором стоял г. Тургенев, был разрушен главным образом Добролюбовым»... а далее (на стр. 98) говорится о моем «ожесточении», которое г-н критик, впрочем, понимает — и «пожалуй, даже извиняет».

Господа критики вообще не совсем верно представляют себе то, что происходит в душе автора, то, в чем именно состоят его радости и горести, его стремления, удачи и неудачи. Они, например, и не подозревают того наслаждения, о котором упоминает Гоголь и которое состоит в казнении самого себя, своих недостатков в изображаемых вымышленных лицах; они вполне убеждены, что автор непременно только и делает, что «проводит свои идеи»; не хотят верить, что точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни — есть высочайшее счастие для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями. Позволю себе привести небольшой пример. Я — коренной, неисправимый западник, и нисколько этого не скрывал и не скрываю; однако я, несмотря на это, с особенным удовольствием вывел в лице Паншина (в «Дворянском гнезде») все комические и пошлые стороны западничества; я заставил славянофила Лаврецкого «разбить его на всех пунктах». Почему я это сделал — я, считающий славянофильское учение ложным

[1] «они предприняли осаду» *(франц.)*.

334

Cote 25

374 Pièce

«ПО ПОВОДУ „ОТЦОВ И ДЕТЕЙ“».
СТРАНИЦА ЧЕРНОВОГО АВТОГРАФА.
Национальная библиотека, Париж.

и бесплодным? Потому, что в *данном случае — таким именно образом, по моим понятиям*, сложилась жизнь, а я прежде всего хотел быть искренним и правдивым. Рисуя фигуру Базарова, я исключил из круга его симпатий всё художественное, я придал ему резкость и бесцеремонность тона — не из нелепого желания оскорбить молодое поколение (!!!) *, а просто вследствие наблюдений над моим знакомцем, доктором Д. и подобными ему лицами. «Эта жизнь *так* складывалась»,— опять говорил мне опыт — может быть, ошибочный, но, повторяю, добросовестный; мне нечего было мудрить — и я должен был именно *так* нарисовать его фигуру. Личные мои наклонности тут ничего не значат; но, вероятно, многие из моих читателей удивятся, если я скажу им, что, за исключением воззрений Базарова на художества,— я разделяю почти все его убеждения. А меня уверяют, что я на стороне «отцов»... я, который в фигуре Павла Кирсанова даже погрешил против художественной правды и пересолил, довел почти до карикатуры его недостатки, сделал его смешным! **

---

* В числе множества доказательств моей «злобы против юношества» один критик привел и тот факт, что я заставил Базарова проиграть в карты отцу Алексею. «Не знает, мол, чем бы только уязвить и унизить его! И в карты, мол, не умеет играть!» Нет никакого сомнения, что если бы я заставил Базарова выиграть — тот же критик с торжеством бы воскликнул: «Не явное ли дело? Автор хочет дать понять, что Базаров шулер!»

** Иностранцы никак не могут понять беспощадных обвинений, возводимых на меня за Базарова. «Отцы и дети» были переведены несколько раз на немецкий язык; вот что пишет один критик, разбирая последний перевод, появившийся в Риге (Vossische Zeitung, Donnerstag, d. 10 Juni, Zweite Beilage, Seite 3): «es bleibt für den unbefangenen... Leser schlechthin unbegreiflich, wie sich gerade die radicale Jugend Russlands über diesen geistigen Vertreter ihrer Richtung (Bazaroff), ihrer Ueberzeugungen und Bestrebungen wie ihn T. zeichnete, in eine Wuth hinein erhitzen konnte, die sie den Dichter gleichsam in die Acht erklären und mit jeder Schmähung überhäufen liess. Man sollte denken, jeder moderne Radicale könne nur mit froher Genugthuung in einer so stolzen Gestalt, von solcher Wucht des Charakters, solcher gründlichen Freiheit von allem Kleinlichen, Trivialen, Faulen, Schlaffen und Lügenhaften, sein und seiner Parteigenossen typisches Portrait dargestellt sehn».

То есть:

«Для непредубежденного... читателя остается совершенно непонятным, как могла радикальная русская молодежь, по поводу подобного представителя ее убеждений и стремлений, каким нарисовал Базарова Тургенев,— войти в такую ярость, что подвергла сочини-

Вся причина недоразумений, вся, как говорится, «беда» состояла в том, что воспроизведенный мною базаровский тип не успел пройти чрез постепенные фазисы, через которые обыкновенно проходят литературные типы. На его долю не пришлось — как на долю Онегина или Печорина — эпохи идеализации, сочувственного превознесения. В самый момент появления *нового* человека — Базарова — автор отнесся к нему критически... объективно. Это многих сбило с толку — и кто знает! в этом была, быть может, если не ошибка, то несправедливость. Базаровский тип имел по крайней мере столько же права на идеализацию, как предшествовавшие ему типы. Я сейчас сказал, что отношения автора к выведенному лицу сбили читателя с толку: читателю всегда неловко, им легко овладевает недоумение, даже досада, если автор обращается с изображаемым характером, как с живым существом, то есть видит и выставляет его худые и хорошие стороны, а главное, если он не показывает явной симпатии или антипатии к собственному детищу. Читатель готов рассердиться: ему приходится не следить по начертанному уже пути, а самому прота́ривать дорожку. «Очень нужно трудиться! — невольно рождается в нем мысль,— книги существуют для развлечения, не для ломанья головы; да и что стоило автору сказать, как мне думать о таком-то лице — как он сам о нем думает!» А если отношения автора к этому лицу свойства еще более неопределенного, если автор сам не знает, любит ли он, или нет выставленный характер (как это случилось со мною в отношении к Базарову, ибо то «невольное влечение», о котором я упоминаю в моем дневнике — не любовь) — тогда уже совсем плохо! Читатель готов навязать автору небывалые симпатии или небывалые антипатии, чтобы только выйти из неприятной «неопределенности».

«Ни отцы, ни дети,— сказала мне одна остроумная дама по прочтении моей книги,— вот настоящее заглавие вашей повести — и вы сами нигилист». Подобное

теля формальной опале и осыпала его всяческой бранью. Можно было скорее предположить, что всякий новейший радикал с чувством радостного удовлетворения призна́ет свой собственный портрет и портрет своих единомышленников в таком гордом образе, одаренном такою силою характера, такой полной независимостью от всего мелкого, пошлого, вялого и ложного».

мнение высказалось еще с большей силой по появлении «Дыма». Не берусь возражать; быть может, эта дама и правду сказала. В деле сочинительства всякий (сужу по себе) делает не то, что хочет, а то, что может — и насколько удастся. Полагаю, что произведения беллетристики должно судить en gros [1]— и, строго требуя добросовестности от автора, на остальные стороны его деятельности смотреть — не скажу равнодушно, но спокойно. А в отсутствии добросовестности — при всем желании угодить моим критикам — я признать себя виновным не могу.

У меня по поводу «Отцов и детей» составилась довольно любопытная коллекция писем и прочих документов. Сопоставление их не лишено некоторого интереса. В то время, как одни обвиняют меня в оскорблении молодого поколения, в отсталости, в мракобесии, извещают меня, что с «хохотом презрения сжигают мои фотографические карточки»,— другие, напротив, с негодованием упрекают меня в низкопоклонстве перед самым этим молодым поколением. «Вы ползаете у ног Базарова! — восклицает один корреспондент,— вы только притворяетесь, что осуждаете его; в сущности вы заискиваете перед ним и ждете, как милости, одной его небрежной улыбки!» Помнится, один критик, в сильных и красноречивых выражениях, прямо ко мне обращенных, представил меня вместе с г-м Катковым в виде двух заговорщиков, в тишине уединенного кабинета замышляющих свой гнусный ков, свою клевету на молодые русские силы... Картина вышла эффектная! На деле вот как происходил этот «заговор». Когда г. Катков получил от меня рукопись «Отцов и детей», о содержании которой он не имел даже приблизительного понятия,— он почувствовал недоумение.*

---

[1] в общем *(франц.)*.

* Надеюсь, что г-н Катков не посетует на меня за приведение некоторых мест из написанного ко мне в то время письма его. «Если и не в апофеозу возведен Базаров,— писал он,— то нельзя не сознаться, что он как-то случайно попал на очень высокий пьедестал. Он действительно подавляет всё окружающее. Всё перед ним или ветошь, или слабо и зелено. Такого ли впечатления нужно было желать? В повести чувствуется, что автор хотел характеризовать начало мало ему сочувственное, но как будто колебался в выборе тона и бессознательно покорился ему. Чувствуется что-то несвободное в отношениях автора к герою повести, какая-то неловкость и принужденность. Автор перед ним как будто теряется, и не любит, а еще

Тип Базарова показался ему «чуть не апофеозой „Современника"», и я бы не удивился, если б он отказался от помещения моей повести в своем журнале. «Et voilà comme on écrit l'histoire!»[1] — можно бы тут воскликнуть... но позволительно ли величать таким громким именем такие маленькие вещи?

С другой стороны, я понимаю причины гнева, возбужденного моей книгой в известной партии. Они не лишены основания, и я принимаю — без ложного смирения — часть падающих на меня упреков. Выпущенным мною словом «нигилист» воспользовались тогда многие, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движение, овладевшее русским обществом. Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было употреблено мною это слово; но как точное и уместное выражение проявившегося — исторического — факта; оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного осуждения,— почти в клеймо позора. Несколько печальных событий, совершившихся в ту эпоху, дали еще более пищи нарождавшимся подозрениям и, как бы подтверждая распространенные опасения, оправдали старания и хлопоты наших «спасителей отечества»... ибо и у нас на Руси проявились тогда «спасители отечества». Общественное мнение, столь неопределенное еще у нас, хлынуло обратной волной... Но на мое имя легла тень. Я себя не обманываю; я знаю, эта тень с моего имени не сойдет. Но могли же другие люди — люди, перед которыми я слишком глубоко чувствую свою незначительность, могли же они промолвить великие слова: «Périssent nos noms, pourvu que la chose publique soit sauvée!» * В подражание им и я могу себя утешить мыслью о принесенной пользе. Эта мысль перевешивает неприятность незаслуженных нареканий. Да и в самом деле — что за важность? Кто через двадцать, тридцать лет будет помнить обо всех этих бурях в стакане воды и о моем имени — с тенью или без тени?

пуще боится его!» Далее г-н Катков сожалеет о том, что я не заставил Одинцову обращаться иронически с Базаровым, и т. д.— всё в том же тоне! Явно, что один из «заговорщиков» не вполне был доволен работою другого.

[1] «И вот как пишется история!» *(франц.)*.

* То есть: «Пускай погибнут наши имена, лишь бы общее дело было спасено!».

Но довольно говорить обо мне — и пора прекратить эти отрывочные воспоминания, которые, боюсь, мало удовлетворят читателей. Мне хочется только, перед прощанием, сказать несколько слов моим молодым современникам — моим собратьям, вступающим на скользкое поприще литературы. Я уже объявил однажды и готов повторить, что не ослепляюсь насчет моего положения. Мое двадцатипятилетнее «служение музам» окончилось среди постепенного охлаждения публики — и я не предвижу причины, почему бы она снова согрелась. Наступили новые времена, нужны новые люди; литературные ветераны подобны военным — почти всегда инвалиды — и благо тем, которые вовремя умеют сами подать в отставку! Не наставническим тоном, на который я, впрочем, не имею никакого права, намерен я произнести мои прощальные слова, а тоном старого друга, которого выслушивают с полуснисходительным, полунетерпеливым вниманием, если только он не вдается в излишнее разглагольствование. Я постараюсь его избегнуть.

Итак, мои молодые собратья, к вам идет речь моя.

Greift nur hinein in's volle Menschenleben! —

сказал бы я вам со слов нашего общего учителя, Гёте,—

Ein jeder lebt's — nicht vielen ist's bekannt,
Und wo ihr's packt — da ist's interessant! *

Силу этого «схватывания», этого «уловления» жизни дает только талант, а талант дать себе нельзя; но и одного таланта недостаточно. Нужно постоянное общение с средою, которую берешься воспроизводить; нужна правдивость, правдивость неумолимая в отношении к собственным ощущениям; нужна свобода, полная свобода воззрений и понятий, и, наконец, нужна образованность, нужно знание! «А! понимаем! видим, куда вы гнете! — воскликнут здесь, пожалуй, многие.— Потугинские идеи — ци-ви-ли-зация, prenez mon ours! [1]» Подобные восклицания не удивят меня; но и не заставят отступиться ни от одной йоты. Учение — не только свет, по народной

* То есть: Запускайте руку (лучше я не умею перевести) внутрь, в глубину человеческой жизни! Всякий живет ею, не многим она знакома — и там, где вы ее схватите, там будет интересно!

[1] возьмите моего медведя! *(франц.)*.

пословице,— оно также и свобода. Ничто так не освобождает человека, как знание, и нигде так свобода не нужна, как в деле художества, поэзии: недаром даже на казенном языке художества зовутся «вольными», свободными. Может ли человек «схватывать», «уловлять» то, что его окружает, если он связан внутри себя? Пушкин это глубоко чувствовал; недаром в своем бессмертном сонете, в этом сонете, который каждый начинающий писатель должен вытвердить наизусть и помнить, как заповедь, он сказал:

...дорогою *свободной*
Иди, куда влечет тебя *свободный* ум...

Отсутствием подобной свободы объясняется, между прочим, и то, почему ни один из славянофилов, несмотря на их несомненные дарованья *, не создал никогда ничего живого; ни один из них не сумел снять с себя — хоть на мгновенье — своих окрашенных очков. Но самый печальный пример отсутствия истинной свободы, проистекающего из отсутствия истинного знания, представляет нам последнее произведение графа Л. Н. Толстого («Война и мир»), которое в то же время по силе творческого, поэтического дара стоит едва ли не во главе всего, что явилось в европейской литературе с 1840 года. Нет! без правдивости, без образования, без свободы в обширнейшем смысле — в отношении к самому себе, к своим предвзятым идеям и системам, даже к своему народу, к своей истории,— немыслим истинный художник; без этого воздуха дышать нельзя.

Что же касается до окончательного результата, до окончательной оценки так называемой литературной карьеры, то и тут приходится вспомнить слова Гёте:

Sind's Rosen — nun sie werden blüh'n **.

Непризнанных гениев нет — так же, как нет заслуг, переживающих свою урочную чреду. «Всякий рано или

* Славянофилов, конечно, нельзя упрекнуть в невежестве, в недостатке образованности; но для произведения художественного результата нужно — говоря новейшим языком — совокупное действие многих *факторов*. Фактор, недостающий славянофилам,— свобода; другие нуждаются в образованности, третьи — в таланте и т. д.

** Коли это розы — цвести они будут.

поздно попадает на свою полочку»,— говаривал покойный Белинский. Уже и на том спасибо, коли в свое время и в свой час ты принес посильную лепту. Лишь одни избранники в состоянии передать потомству не только содержание, но и *форму* своих мыслей и воззрений, свою личность, до которой массе, вообще говоря, нет никакого дела. Обыкновенные индивидуумы осуждены на исчезновение в целом, на поглощение его потоком; но они увеличили его силу, расширили и углубили его круговорот — чего же больше?

Кладу перо... Еще один последний совет молодым литераторам и одна последняя просьба. Друзья мои, не оправдывайтесь никогда, какую бы ни взводили на вас клевету; не старайтесь разъяснить недоразумения, не желайте ни сами сказать, ни услышать «последнее слово». Делайте свое дело — а то всё перемелется. Во всяком случае, пропустите сперва порядочный срок времени — и взгляните тогда на все прошедшие дрязги с исторической точки зрения, как я попытался это сделать теперь. Пусть следующий пример послужит вам в назидание. В течение моей литературной карьеры я только однажды попробовал «восстановить факты». А именно: когда редакция «Современника» стала в объявлениях своих уверять подписчиков, что она отказала мне по негодности моих убеждений (между тем как отказал ей *я* — несмотря на ее просьбы,— на что у меня существуют письменные доказательства), я не выдержал характера, я заявил публично, в чем было дело, и, конечно, потерпел полное фиаско. Молодежь еще более вознегодовала на меня... «Как смел я поднимать руку на ее идола! Что за нужда, что я был прав! Я должен был молчать!» Этот урок пошел мне впрок; желаю, чтоб и вы воспользовались им.

А просьба моя состоит в следующем: Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками, в челе которых блистает опять-таки Пушкин! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса! Даже тем, которым не по вкусу «философские отвлеченности» и «поэтические нежности», людям практическим, в глазах

которых язык не что иное, как средство к выражению мысли, как простой рычаг,— даже им скажу я: уважайте, по крайней мере, законы механики, извлекайте из каждой вещи всю возможную пользу! А то, право, пробегая иные вялые, смутные, бессильно-пространные разглагольствования в журналах, читатель невольно должен думать, что именно *рычаг*-то вы заменяете первобытными подпорками,— что вы возвращаетесь к младенчеству самой механики...

Но довольно, а то я сам впаду в многоречивость.

1868—1869.
Баден-Баден.

ЧЕЛОВЕК В СЕРЫХ ОЧКАХ

(Из воспоминаний 1848 года)

Всю зиму с 1847 на 1848 год я прожил в Париже. Квартира моя находилась недалеко от Пале-Рояля, и я почти каждый день ходил туда пить кофе и читать газеты. Тогда еще Пале-Рояль не был таким почти заброшенным местом, каким он стал теперь, хотя дни его славы уже давно миновали, той громкой и особенной славы, которая, бывало, влагала в уста нашим ветеранам 1814 и 1815 годов, при первом свидании с человеком, возвратившимся из Парижа, неизменный вопрос: «А что поделывает батюшка Пале-Рояль?» Однажды — дело было в первых числах февраля 1848 года — я сидел за одним из столиков, расположенных вокруг кофейной Ротонды (de la Rotonde) под навесом. Человек высокого роста, черноволосый с проседью, жилистый и сухощавый, в заржавленных железных очках со стеклышками серо-дымчатого цвета на орлином носу, вышел из кофейной, оглянулся и, вероятно, убедившись, что все места под навесом были заняты, подошел ко мне и попросил позволения подсесть к моему столику. Я, разумеется, согласился. Человек в серых очках не сел, а обрушился на стул, сдвинул на затылок свой ветхий цилиндр и, опершись костлявыми руками на суковатую палку, потребовал чашку кофе, а от поданной ему газеты отказался с пренебрежительным пожатием плеча. Мы обменялись немногими незначительными словами; помнится, он раза два воскликнул про себя: «Какое проклятое... проклятое время!» — торопливо выпил чашку и вскоре ушел; но впечатление, оставленное им, не тотчас во мне изгладилось. То был, несомненно, француз из южной Франции — провансалец или гасконец; его загорелое морщинистое лицо, ввалившиеся щеки, беззубый рот, глухой и как бы каркающий голос, самая одежда, истасканная, запачканная, словно не на него сшитая,— всё говорило о беспокойной, страннической жизни. «Бывалый, ломаный, битый человек,— думалось мне,— он не только теперь в „подмазке“; он,

вероятно, всю жизнь провел в тесноте да в подчинении; откуда ж это — не то невольное, не то сознательное чувство превосходства в выражении лица, в каждом движении, в самой походке, шмыгающей, небрежной? Бедняки — смиренные — так не ходят». Особенно поразили меня его глаза, темно-карие с желтоватыми белками; он их то раскрывал во всю ширину и устремлял прямо перед собою неподвижный и тупой взор, то странно ежил их, приподнимая взъерошенные брови и взглядывая боком через края очков... злая насмешливость загоралась тогда в каждой его черте. Впрочем, я недолго размышлял о нем в тот день: ожидание предстоявших банкетов в пользу реформы волновало весь Париж — и я принялся читать газеты.

На следующий день я опять отправился пить кофе в Пале-Рояль и опять встретился с вчерашним господином. Он первый поклонился мне, как знакомому. Слегка усмехнувшись и уже не испросив позволения — точно он знал, что свидание с ним должно мне быть приятным,— он поместился за моим столиком, хотя ни один из других столиков занят не был, и немедленно вступил в разговор, нисколько не чинясь и не стесняясь.

Прошло несколько мгновений...

— Ведь вы иностранец? Русский? — внезапно спросил он, медленно пошевеливая ложкой в чашке кофе.

— Что я иностранец — вы могли догадаться по моему выговору; но почему вы признали меня за русского?

— Почему? Вы сейчас сказали «pardon» — вот этак, с растяжкой: «pa-ardon». Одни русские так растягивают слова. Впрочем, я и без того знал, что вы русский.

Я хотел было попросить объяснения... Но он заговорил опять:

— Вы очень хорошо сделали, что приехали сюда именно теперь. Время любопытное для туриста. Вы увидите... большие дела («de grandes choses»).

— Что я увижу?

— А вот что. Теперь начало февраля... Месяца не пройдет — и Франция будет республикой.

— Республикой?

— Да. Но погодите радоваться... если только это вас радует. К концу года Бонапарты будут обладать (он употребил гораздо более сильное выражение) той же самой Францией.

Когда он упомянул о близости республики, я, ко-

4*

нечно, ему ни на волос не поверил и только подумал: «Вот человек удивить меня хочет: благо я, в его глазах, неопытный скиф»... Но Бонапарты! с какой стати Бонапарты?! В тогдашнюю пору, при Лудовике-Филиппе, никто не думал о Бонапартах; во всяком случае, никто не говорил о них. Уж не наткнулся ли я на мистификатора? Или на одного из тех проходимцев, которые шатаются по кофейным и гостиницам, вынюхивая иностранцев, и кончают обыкновенно тем, что деньги взаймы просят? Однако нет: не такая у него повадка... Притом эта бесцеремонная развязность обращения, этот равнодушный тон, с которым он произнес свои парадоксы...

— Вы, стало быть, полагаете, что король не согласится ни на какую реформу? — спросил я после небольшого молчания.— Требования оппозиции, кажется, не велики...

— Да, да, да! (Connu, connu...) — небрежно промолвил он.— Расширение выборного права, допущение талантов, и т. д., и т. д. Слова, слова, слова. Ни банкетов не будет, ни король не уступит, ни Гизо не захочет. А впрочем,— прибавил он, вероятно заметив то не совсем выгодное впечатление, которое он произвел на меня,— к чёрту политику! Делать ее — весело; смотреть, как другие ее делают,— глупо. Маленькие собачки так поступают, когда большие... наслаждаются жизнью. Маленьким остается одно: лаять или визжать. Будемте говорить о другом.

Не помню, о чем зашла наша беседа...

— Вы, конечно, бываете в театрах? — спросил он меня опять с той же внезапностью, которую я уже в нем заметил и которая заставляла предполагать, что он нисколько не слушает то, что ему говорят.— Ведь вы все, г⟨оспо⟩да русские, до этого большие охотники.

— Бываю.

— И, вероятно, восхищаетесь нашими актерами?

— Да, иными... Особенно в Théâtre Français...

— Всех наших актеров,— перебил он меня,— губит хороший вкус. Эти традиции там, консерватории — беда! Все они какие-то выпотрошенные да замороженные. У вас в России такие рыбы бывают на рынках, зимой. Ни один из наших актеров не скажет на сцене: «Я люблю вас», не расставив ноги в виде циркуля и не закатив томно глаза. И всё ради хорошего вкуса! Настоящих актеров можно найти только в Италии. Когда я жил в Италии...

Кстати, что вы скажете о той конституции, которую король Бомба пожаловал своим верноподданным? Не скоро он им простит эту милость... не скоро! Ну... вот, когда я жил в Неаполе — на тамошнем народном театре такие водились молодцы... прелесть! Да всякий итальянец — актер. У них это в натуре... А мы только толкуем о натуральности. У нас даже на Пале-Рояльском театре никто не может потягаться с любым уличным проповедником... «Per le santissime anime del Purgatorio!» [1]— воскликнул он вдруг певучим носовым голосом и, сколько я мог судить, очень похоже, с чистым итальянским акцентом.

Я засмеялся — и он засмеялся беззвучно, широко раскрывая рот и косясь через края очков.

— Однако... Рашель,— начал было я...

— Рашель,— повторил он.— Да; это сила. Сила и цвет того жидовства, которое теперь завладело всеми карманами целого мира и скоро завладеет всем остальным. У кого карман в руках, у того и женщина; а у кого женщина, у того и мужчина. (Qui a la poche, a la femme; et qui a la femme, a l'homme.) Да... Рашель! То же вот, что Мейербеер, который всё грозит да дразнит нас своим «Пророком». Дам... Нет, не дам... Ловкий человек; еврей — одним словом... маэстро, только не в музыкальном смысле. Впрочем, и Рашель в последнее время попортилась... а всё вы, г⟨оспо⟩да иностранцы, виноваты. В Италии есть одна актриса... ее зовут Ристори. Она, говорят, за какого-то маркиза вышла и сцену покинула. Хороша; только кривляется маленько.

— Вы долго жили в Италии? — спросил я.

— Да, пожил. Да где я не жил!

— Вы, кажется, и в России были?

— А музыку вы тоже любите? — промолвил он, не отвечая на мой вопрос.— В оперу ходите?

— Я музыку люблю.

— Любите? Гм! любите? Понятное дело: вы — славянин, а все славяне — меломаны. Самое это, последнее искусство. Когда оно не действует на человека,— скучно; когда действует — вредно.

— Вредно? почему же вредно?

— Оно вредно — как слишком теплые ванны. Спросите докторов.

---

[1] «Клянусь святейшими душами чистилища!» *(итал.)*.

— Вот как! Ну — а о других искусствах вы какого мнения?

— Искусство только одно и есть: ваяние. Вот это холодно, бесстрастно, величаво — и зарождает в человеке мысль — или иллюзию, как угодно,— о бессмертии и вечности.

— А живопись?

— Живопись? Крови много, тела, красок... много греха. Голых женщин пишут! Статуя никогда гола не бывает. И к чему разжигать человека? Люди и так все грешны, преступны; все насквозь проникнуты грехом.

— Все без исключения? и все насквозь?

— Все! Вы, я, даже вот этот толстый холостяк с добродушным лицом, который покупает куклу в подарок чужому ребенку, а может быть, и своему,— все преступны. У каждого в жизни есть уголовщина — и никто не имеет права сказать, что ему нет места на той пакостной скамейке, на которую сажают обвиняемых.

— Вам это лучше знать,— вырвалось у меня невольно.

— Именно так: мне это лучше знать. «Experto credi (вместо crede) Roberto» [1].

— Ну — а литература? Какое ваше мнение о литературе? — продолжал я свой экзамен. «Коли ты меня мистифицируешь,— подумал я,— почему ж и мне не потрунить над тобою? Ты же делаешь ошибку в латинской цитате, которой никто от тебя не требовал».

Незнакомец равнодушно усмехнулся — словно понял мою мысль.

— Литература не искусство,— промолвил он небрежным голосом.— Литература должна прежде всего забавлять. А забавляет только литература биографическая.

— Вы такой охотник до биографий?

— Вы меня не так поняли. Я разумею те произведения, в которых авторы рассказывают читателям о самих себе — напоказ себя выставляют — то есть на смех. Ничего иного люди настоящим образом знать не могут... да и то! Вот почему самый великий писатель — Монтень. Такого нет другого.

— Он слывет за великого эгоиста,— заметил я.

— Да; и в этом его сила. У него у одного достало смелости быть эгоистом — и посмешищем — до конца.

[1] «Верь опытному Роберту» *(лат.)*.

Оттого он меня и забавляет. Прочту страницу, другую... посмеюсь над ним, над самим собою... и баста!

— Ну — а поэты?

— Поэты занимаются музыкою слов, словесной музыкой. А вы знаете мое мнение о музыке.

— Что же должно читать? И что должен, например, читать народ? Или вы полагаете, что народу читать не следует?

(Я заметил на одном из пальцев незнакомца кольцо с гербом; несмотря на его мизерный и обтерханный вид, мне сдавалось, что он должен придерживаться аристократических мнений; а быть может, и сам он по происхождению принадлежал аристократии.)

— Напротив,— отвечал он.— Народ должен читать; но что́ он читает — это совершенно безразлично. Говорят, ваши мужики всё одну и ту же книжку читают. («Францыл Венецианец»,— мелькнуло у меня в голове.) Дочитают один экземпляр — другой такой же купят. И прекрасно делают. Это придает им важности в собственных глазах и мешает им размышлять. А кто в церковь ходит — тому и вовсе читать не нужно.

— Вы придаете такое значение религии?

Незнакомец покосился на меня через края очков.

— Я в бога плохо верю, милостивый государь; но религия — дело важное. Служить ей... быть попом едва ли не лучшее звание. Попы молодцы; они одни постигли сущность власти: повелевать с смирением — и повиноваться с гордостью, вот и весь секрет. Власть... власть... обладать властью — другого счастья на земле нет!

Я уже начал привыкать к неожиданным скачкам нашего разговора — и только старался не отставать от моего странного собеседника. А он, напротив, говорил с таким видом, как будто все эти аксиомы, которые он столь уверенно высказывал, вытекали одна из другой последовательно и логично, хотя вы в то же время чувствовали, что ему совершенно всё равно, соглашаетесь ли вы с ним или нет.

— Если вы так властолюбивы,— начал я,— и такого высокого мнения о духовенстве,— отчего же вы сами не пошли по этой дороге, не сделались священником?

— Ваше замечание справедливо, милостивый государь; но я метил выше. Я сам хотел основать религию. И я попытался... во время моего пребывания в Америке.

Впрочем, не я один имел это намерение. Там этим вообще занимаются.

— Вы тоже были в Америке?

— Я там два года прожил. Вы, может быть, заметили — я вынес оттуда скверную привычку жевать табак. Не курю и не нюхаю... а жую. Извините! (Он сплюнул в сторону.) Так вот в чем дело: я хотел основать религию и уже придумал было очень недурную легенду. Только для того, чтобы она принялась, надо быть мучеником, кровь свою пролить... Без этого цемента фундамента не выведешь. Не то, что на войне: там гораздо полезнее чужую кровь проливать. А свою... нет! я этого не хотел. Слуга покорный!

Он помолчал с минуту.

— Вы меня сейчас назвали властолюбивым,— заговорил он снова.— Это вы правду сказали. Я, например, уверен, что я еще буду королем.

— Королем?

— Да, королем... На каком-нибудь необитаемом острове.

— Королем... без подданных?

— Подданные всегда найдутся. У вас в России есть поговорка: «Было бы корыто» и т. д. Людям это свойственно — подчиняться. Нарочно в мой остров через море переплывут, чтобы только подчиниться властителю. Это верно.

«Да ты сумасшедший!» — подумал я про себя.

— Не оттого ли вы полагаете,— промолвил я громко,— что французы подчинятся Бонапартам?

— По этой именно причине, милостивый государь.

— Позвольте, позвольте,— воскликнул я,— ведь у французов и теперь есть король, властитель. Стало быть, та людская потребность, о которой вы говорите, потребность подчиняться — удовлетворена.

Мой собеседник покачал головою.

— В том-то и штука, что нынешний наш король, Людовик-Филипп, вовсе не чувствует себя королем, властителем. Впрочем, мы не хотели говорить о политике.

— Вы предпочитаете философию? — заметил я.

Он сплюнул свой жевательный табак далеко в сторону, по-американски.

— Ага! Вам угодно иронизировать? Что ж? Я и от философии не прочь; тем более что она у меня очень проста и вовсе не похожа, например, на немецкую фи-

лософию, которую я, впрочем, совсем не знаю, но ненавижу, как и всех немцев.— Глаза незнакомца внезапно разгорелись.— Я ненавижу их, ибо я патриот. Ведь и вы тоже, как русский, должны их ненавидеть?

— Позвольте... я...

— А коли нет — тем хуже для вас. Вот погодите — они еще дадут вам себя знать. Я их ненавижу, я их боюсь,— прибавил он, понизив голос,— и одно из моих лучших воспоминаний состоит в том, что и мне удалось стрелять по ним, по этим немцам!

— Вы стреляли? где же это?

— А опять-таки в Италии. Я участвовал... Впрочем, постойте. Мы, кажется, беседовали о философии. Честь имею доложить вам, что вся моя философия заключается в следующем: в человеческой жизни есть два несчастия — рождение и смерть. Второе несчастие менее велико... оно может быть добровольным.

— А сама жизнь?

— Гм! гм! Этого разом не определишь. Но заметьте, что и в жизни есть только две хорошие вещи: а именно — когда человек способствует рождению... или смерти, то есть одному из тех двух несчастий, о которых была речь. «Guerra, caza y amores» [1],— говорят испанцы.

Я случайно знал эту поговорку.

— Вы забываете второй стих,— заметил я.— «Por un placer mil dolores» [2].

— Прекрасно! Вот вам и доказательство верности моей философии. А впрочем,— прибавил он, быстро вставая со стула,— мы достаточно поболтали. До свидания!

— Погодите... постойте! — воскликнул я.— Мы с вами разговаривали около часа — а я еще не знаю, с кем я имел честь...

— Вы хотите знать мое имя? К чему вам оно? Ведь я не спрашивал вас о вашем. Я не спрашивал вас также о том, где вы живете,— и не считаю нужным сказать вам, где я живу, в какой пребываю трущобе. Мы сходимся здесь — ну и прекрасно. Ведь моя беседа вам нравится? — Он насмешливо прищурил глаза.— Я вам нравлюсь?

Меня немножко покоробило. Очень уже бесцеремонен был этот господин.

— Я вами интересуюсь, милостивый государь,— от-

---

[1] «На войне, на охоте и в любви» *(исп.)*.

[2] «За одно наслаждение — тысяча страданий» *(исп.)*.

вечал я с преднамеренной расстановкой,— но вы мне не нравитесь.

— А я вами не интересуюсь — но вы мне нравитесь. Кажется, этого довольно для таких отношений, каковы наши. Если угодно, зовите меня... ну, хоть monsieur François. А вас, если позволите, я буду звать monsieur Ivan. Ведь почти все русские Иваны. Я в этом удостоверился в то время, когда имел неудовольствие состоять гувернером у одного вашего генерала, в одной вашей губернии. И глуп же был этот генерал — и бедна ж была эта губерния! Засим прощайте, monsieur Ivan!

Он повернулся — и пошел.

— Прощайте, monsieur François,— крикнул я ему вслед.

«Что за человек? — спрашивал я самого себя, возвращаясь домой.— Что за странное существо! Дразнит ли он меня, выдумывает разные небылицы, или действительно убежден в том, что говорит? Что он делает? Чем занят? Какое его прошедшее? Кто он? Неудавшийся литератор, публицист, школьный учитель, разоренный промышленник, обедневший дворянин, актер в отставке? И чего он добивается теперь? И почему он выбрал именно меня в свои поверенные?»

Все эти вопросы я себе ставил... и разрешить их, конечно, не мог. Но мое любопытство было затронуто — и я не без некоторого волнения отправился на другой день в Пале-Рояль. На этот раз я, однако, напрасно прождал моего чудака; зато на следующий день он опять появился под навесом кофейной.

— А! Monsieur Ivan! — воскликнул он, как только меня завидел.— Здравствуйте. Вот нас опять свела судьба. Как вы поживаете?

— Помаленьку, благодарствуйте. А вы как, monsieur François?

— И я тоже помаленьку. Ça boulotte. Вчера, однако, чуть не издох... Судороги в сердце... Смертью запахло... скверный запах! Но это неважно. Только знаете что: пойдемте, сядемте в сад; а то здесь народу много набралось. Терпеть не могу, когда на меня смотрят со стороны или кто сзади сидит, за спиной. Да и погода чудесная.

Мы отправились в сад — сели. Помнится, когда ему пришлось платить два су за свой стул, он достал из кармана крошечный, ветхий, плоский портмоне, долго рылся

в нем — да и денег в портмоне едва ли было много больше, чем те два су. Я ждал, что он возобновит свои парадоксы... но вышло иначе. Он принялся меня расспрашивать о разных значительных русских лицах. Я отвечал ему, как умел; но ему всё хотелось больше подробностей, больше биографических черт. Оказалось, что ему много было известно такого, чего я не подозревал. Большой запас сведений был у этого человека.

Понемногу разговор перешел на политику. Да и трудно было ее избегнуть, при тогдашнем возбужденном состоянии умов. Мусье Франсуа упомянул вскользь и словно нехотя о Гизо, о Тиэре; по поводу первого заметил, что вот как Франция несчастна: один только у ней и выискался человек с твердой волей — и то некстати; а о втором пожалел, сказав, что роль его теперь надолго кончена.

— Помилуйте, она только начинается! — воскликнул я.— Какие речи он держит в палате депутатов!

— Теперь пойдут другие люди,— пробормотал он,— а все эти речи — один только шум, и больше ничего. Плывет человек в лодке — и говорит водопаду... а тот его сейчас перекувырнет вместе с его лодкой. Да, впрочем — вы мне не верите.

— Что ж,— продолжал я,— вы разве полагаете, что Одилон Барро...— Тут мусье Франсуа уставился на меня — и расхохотался, закинув назад голову.

— Бум, бум, бум,— произнес он, передразнивая гарсона, разносившего кофе в ротонде,— вот вам весь Одилон Барро... Бум, бум!

— Да! — промолвил я не без досады.— Ведь, по-вашему, мы накануне республики.— Социалисты, что ли, будут эти новые люди?

Мусье Франсуа припял несколько торжественную позу.

— Социализм родился у нас во Франции, милостивый государь,— да и во Франции же умрет, если уже не умер. Или его убьют. Убьют его двояко: или насмешкой — не может же г-н Консидеран безнаказанно уверять, что у людей вырастет хвост с глазом на конце... или вот как.— Он поставил обе руки, как бы прицеливаясь из ружья.— Вольтер говаривал, что у французов не эпические головы; а я осмеливаюсь утверждать, что у нас не социалистические головы.

— За границей о вас не такого мнения.

— В таком случае вы все, господа, за границей в сотый раз доказываете, что не понимаете нас. В настоящее время социализм требует творческой силы. Он пойдет за ней к итальянцам, к немцам... к вам, пожалуй. А француз — изобретатель (он почти всё изобрел)... но не творец. Француз остер и узок, как шпага,— вот он и проникает в суть вещей, изобретает, находит... А чтобы творить — надо быть широким, круглым.

— Как англичане или ваши любимые немцы,— ввернул я не без насмешки.

Но мусье Франсуа не обратил внимания на мою шпильку.

— Социализм! Социализм! — продолжал он.— Это не французский принцип. У нас совсем другие принципы. У нас их — два; два краеугольные камня: революция и рутина. Робеспьер и мусье Прюдом — вот наши национальные герои.

— В самом деле? А военный элемент — куда вы его деваете?

— Да мы вовсе не военный народ. Вас это удивляет? Мы храбрый, очень храбрый народ; воинственный, но не военный... Слава богу, мы больше этого сто́им.

Он пожевал губами.

— Да; это так. И со всем тем — не было бы нас, французов, не было бы и Европы.

— Но была бы Америка.

— Нет. Ибо Америка — та же Европа, только наизнанку. У американцев нет ни одной из тех основ, на которых зиждется здание европейского государства... а между тем — выходит одно и то же. Всё людское — одно и то же. Вы помните наставление унтер-офицера рекрутам: «Направо кругом — совершенно то же самое, что налево кругом; только оно совершенно противуположно». Ну вот и Америка: та же Европа — только налево кругом.

— Если бы Франция была Римом,— проговорил мусье Франсуа после недолгого молчания,— вот когда бы кстати явиться Катилине! Теперь, когда скоро, очень скоро — вы это увидите, милостивый государь! — камни (он возвысил голос) — камни на наших мостовых — вот тут, близко, где-нибудь рядом с нами — опять отведают крови! Но у нас Катилины не будет — и Цезаря не будет; а будет всё тот же Прюдом с Робеспиером. Кстати, не согласитесь ли вы со мною: как жалко, что Шекспир не написал «Катилины»!

— А вы высокого мнения о Шекспире, несмотря на то, что он поэт?

— Да. Он был человек, счастливо рожденный — и с дарованием. Он умел видеть в одно и то же время и белое и черное, что очень редко; и ни за белое не стоял, ни за черное — что еще реже. Вот еще хорошую вещь он написал — «Кориолана»! Лучшая его пиеса!

Мне тотчас же припомнились мои догадки насчет аристократизма мусье Франсуа.

— Вам «Кориолан», может быть, оттого так нравится, что в этой трагедии Шекспир очень непочтительно, почти презрительно отзывается о народе, о черни?

— Нет,— возразил мусье Франсуа.— Я чернь не презираю; я вообще народ не презираю. Прежде чем презирать других, надо бы начать с самого себя... что со мной случается лишь урывками... когда мне есть нечего,— прибавил он, понизив голос и сумрачно насупив брови.— Презирать народ?! С какой стати? Народ — то же, что земля. Хочу, пашу ее... и она меня кормит; хочу, оставляю ее под паром. Она меня носит — а я ее попираю. Правда, иногда она вдруг возьмет да встряхнется, как мокрый пудель, и повалит всё, что мы на ней настроили,— все наши карточные домики. Да ведь это, в сущности, редко случается — эти землетрясения-то. С другой стороны, я очень хорошо знаю, что в конце концов она меня поглотит... И народ меня поглотит тоже. Этому помочь нельзя. А презирать народ? Презирать можно только то, что при других условиях следует уважать. А тут ни тому, ни другому чувству места нет. Тут надо пользоваться умеючи. Всем уметь пользоваться — вот что надо.

— А позвольте спросить — вы умели пользоваться?

Мусье Франсуа вздохнул.

— Нет; не умел.

— Неужели?

— Не умел, говорят вам. Вы вот смотрите на меня и, пожалуй, думаете: «Ты, мол, пророчишь, что скоро во Франции настанут перевороты... вот тут тебе и ловить рыбу — в мутной-то воде». Но щука не в мутной воде ловит рыбу. А я даже не щука!

Он круто повернулся на стуле и ударил кулаком по его спинке.

— Нет! ничем я не умел пользоваться, а то бы я не в таком виде предстал перед вами! — Он указал на всего себя беглым движением руки.— Я бы тогда, может быть,

совсем не познакомился с вами... О чем я бы очень сожалел,— прибавил он с натянутой улыбкой.— И я бы не жил там, в том чердаке, где я живу,— не имел бы возможности, вставая поутру и бросая взгляд на море крыш и труб Парижа, повторять восклицание Югурты: «Urbs venalis!» [1] Гм. Да; а был бы я сам, как этот город, не был бы я в теперешнем положении; не было бы этой нужды да бедности...

«Вот когда он у меня денег попросит»,— подумалось мне. Но он умолк, уронил голову на грудь и начал чертить по песку концом палки. Потом он опять глубоко-глубоко вздохнул, снял очки, достал старый клетчатый платок из заднего кармана, свернул его в клубочек и провел им раза два по лбу, высоко поднимая локоть.

— Да,— промолвил он наконец чуть слышно,— жизнь — печальная штука; печальная штука жизнь, милостивый государь мой. Одно утешает меня, а именно то, что я умру скоро — и непременно насильственной смертью. («И не будешь королем?» — чуть не сорвалось у меня с языка; но я удержался.) Да, насильственной смертью. Вы посмотрите на это (он поднес ко мне левую руку, в которой держал очки, ладонью кверху — и, не выпуская платка, положил на нее указательный палец правой... неопрятны были обе). Вы видите эту черту, пересекающую жизненную линию?

— Вы хиромантик? — спросил я.

— Вы видите эту черту? — настойчиво повторил он.— Стало быть, я прав.— А вы наперед знайте, милостивый государь, если, находясь в таком месте, где вам меньше всего бы следовало вспоминать обо мне, вы все-таки обо мне вспомните — знайте: меня не стало.

Он опять понурился и руку с платком уронил на колено; другая с очками повисла, как плетка. Я воспользовался тем, что глаза мусье Франсуа были опущены — не смущали меня,— и внимательнее прежнего посмотрел на него. Он мне вдруг показался таким стариком; такая усталость сказывалась в наклоне его спины и плечей, в самой постановке его больших плоских ног, обутых в заплатанные сапоги; так горько стиснулись губы, так глубоко ввалились небритые щеки, так хило поникла тощая шея, так уныло повис клок поседелых волос на изрытый морщинами лоб... «Несчастный, жалкий ты че-

[1] «Продажный город!» *(лат.)*.

ловек,— решил я тут же про себя,— несчастный во всех твоих начинаниях и предприятиях, в семейных и всяческих делах. Если ты был женат — жена тебя обманула и бросила; а если у тебя есть дети — ты их не видишь и не знаешь...»

Громкое восклицание на русском языке прервало мои размышления: кто-то звал меня. Я обернулся и в двух шагах от себя увидел всем известного А. И. Г⟨ерцена⟩, проживавшего тогда в Париже. Я встал и подошел к нему.

— С кем ты это сидишь? — начал он, нисколько не умеряя своего звонкого голоса.— Что за фигура?

— А что?

— Да, помилуй, это шпион. Непременно шпион.

— Ты разве его знаешь?

— Вовсе не знаю; да стоит только взглянуть на него. Вся ихняя манера. Охота тебе с ним якшаться. Смотри берегись!

Я ничего не ответил А. И. Г⟨ерцену⟩. Но так как я знал, что при всем его блестящем и проницательном уме понимание людей, особенно на первых порах, у него было слабое; так как я хорошо помнил, что за его гостеприимным и радушным столом попадались иногда самые неблаговидные личности, личности, которые возбуждали его доверчивую симпатию двумя-тремя сочувственными словами и которые впоследствии оказывались действительными... агентами, как он это сам потом рассказал в своих записках, то я и не придал особенной важности его предостереженью и, поблагодарив его за дружескую заботливость, вернулся к своему мусье Франсуа. Тот сидел по-прежнему, неподвижный и понурый.

— Что я хотел сказать вам,— заговорил он, как только я уселся возле него.— За вами, господа русские, водится дурная привычка. Вы на улице, перед чужими, перед французами, говорите громко между собою по-русски — словно вы уверены, что никто вас не поймет. А это неосторожно. Вот я, например, всё понял, что сказал ваш приятель.

Я невольно покраснел.

— Пожалуйста, не думайте...— начал я.— Конечно... мой приятель...

— Я его знаю,— перебил меня мусье Франсуа,— он человек весьма остроумный... Но «errare humanum est» [1]

[1] «человеку свойственно ошибаться» *(лат.)*.

(мусье Франсуа, очевидно, любил щегольнуть латынью). Судя по моей наружности, можно предполагать обо мне... всё что угодно. Но только позвольте спросить вас: если даже я был бы тем, чем меня назвал ваш приятель, какая была бы мне польза выслеживать *вас*?

— Конечно... конечно... вы правы.— Мусье Франсуа уныло посматривал на меня.— Вы выучились русскому языку, когда были гувернером у генерала? — спросил я довольно некстати; но мне хотелось поскорее загладить неприятное впечатление, которого не могло не произвести несколько опрометчивое суждение А. И. Г⟨ерцена⟩.

Лицо мусье Франсуа оживилось; он даже осклабился, похлопал меня по колену, как бы желая дать мне почувствовать, что понимает и ценит мое намерение, надел очки, поднял уроненную им палку.

— Нет,— промолвил он,— я выучился раньше. Я тогда выучился вашему языку, когда попал из Америки в Сибирь, из Техаса чрез Калифорнию... Я и там был — в вашей Сибири! И какие со мной чудеса совершались!

— Например?

— Я о Сибири говорить не стану... по многим причинам. Боюсь огорчить вас или оскорбить. Памалшим лутчи,— прибавил он ломаным русским языком.— Хе-хе. Но вот послушайте, что со мной однажды случилось в Техасе.

И мусье Франсуа принялся, с не свойственной ему до тех пор обстоятельностию, рассказывать, как он, странствуя по Техасу зимой, забрел раз, поздно вечером, в блокгауз к одному поселенцу из мексиканцев; как, проснувшись ночью, он увидал своего хозяина сидящим на его постели с обнаженным ножом в руке — «con una navaja»; как этот человек, огромного роста, бычачьей силы и пьяный, объявил ему, что намерен его зарезать по той причине, что он, Франсуа, лицом напоминает ему одного из злейших его врагов. «Докажи мне,— говорил мексиканец,— что мне не следует потешить себя и не выпустить из тебя всю кровь, как из борова,— так как я могу совершить всё это вполне безнаказанно, и никто на свете не узнает, что с тобою сталось; да если кто бы и узнал, все-таки к ответу меня не потянут, ибо никому на свете нет до тебя никакого дела. Ну, доказывай!.. времени у нас, слава богу, довольно». «И я,— продолжал мусье Франсуа,— всю ночь до утра, лежа под его ножом,

принужден был доказывать этому пьяному зверю — то приводя тексты из священного писания (на него, как на католика, это могло действовать), то придерживаясь общих рассуждений, что удовольствие, которое доставит ему моя смерть, не настолько будет велико, чтобы стоило из-за него марать руки... „Надо будет мой труп зарыть, хоть ради опрятности; всё это хлопоты...“ Я принужден был даже сказки сказывать, даже песни петь... „Пой со мною! — рычал он.— La muchacha-a-a!..“ И я ему подтягивал... а лезвие ножа, de cette diablesse de navaja [1], висело на вершок от моего горла. Кончилось тем, что мексиканец заснул рядом со мною, положив свою косматую гадкую голову ко мне на грудь».

Всю эту историю мусье Франсуа рассказал мне тихим голосом, не спеша, как бы засыпая, и вдруг вытаращил глаза и умолк.

— Ну и что же вы с ним сделали? — спросил я,— с мексиканцем-то?

— Да я... лишил его возможности вперед так глупо шутить.

— То есть это как же?

— Взял у него из рук нож... да, покончивши с этим делом, отправился далее. Случались со мною и другие приключения... А всё больше от них, от проклятых,— прибавил он, указывая пальцем на проходившую женщину, скромно одетую, средних лет.

— От кого?

— От этих... юбок,— пояснил он свою мысль.— О, эти женщины! женщины! Они-то вам ломают ваши крылья, они отравляют лучшую вашу кровь. А впрочем, прощайте. Я, вероятно, уже надоел вам — а я никому надоедать не намерен. Особенно тому, в ком я не нуждаюсь.

Он гордо выпрямил свой стан, встал — и удалился, едва кивнув мне головою и развязно помахивая палкой.

Я, признаться, всей этой мексиканской истории не поверил; она даже повредила мусье Франсуа в моих глазах. И опять мне пришло на мысль, что он меня дурачит. Но с какой целью? «Чудак! чудак!» — повторял я. За шпиона я его, однако, признать все-таки не мог, несмотря на уверения А. И. Г⟨ерцена⟩. Меня удивляло то, что каким это образом ни один из многочисленных прохожих в Пале-Рояле не заговорил с ним, не узнавал его?

[1] этой дьявольской навахи *(франц.)*.

Правда, он некоторым из них подмигивал глазом... Или это мне тоже так показалось?

Я забыл сказать, что от мусье Франсуа никогда не пахло вином. Впрочем, ему, может быть, не на что было и купить вина. Но нет: он вообще производил впечатление трезвого человека.

Ни на другой день, ни в следующие дни он не явился на свидание — и понемногу я забыл о мусье Франсуа.

Незадолго до 24 февраля я уехал в Бельгию — и весть о государственном перевороте во Франции дошла до меня в Брюсселе. Помнится, в течение целого дня никто не получал ни писем, ни журналов из Парижа; жители толпились на улицах и на площадях; всё замирало в тревожном ожидании. 26 февраля, в шесть часов утра, я еще лежал — хотя и не спал — на постели в нумере гостиницы,— как вдруг наружная дверь растворилась настежь и кто-то зычно прокричал: «Франция стала республикой!» Не веря ушам своим, я вскочил с кровати, выбежал из комнаты. По коридору мчался один из гарсонов гостиницы — и, поочередно раскрывая двери направо и налево, бросал в каждый нумер свое поразительное восклицание. Полчаса спустя я уже был одет, уложил свои вещи — и в тот же день несся по железной дороге в Париж. На границе сняты были рельсы; спутники мои и я —мы с трудом в наемных повозках добрались до Дуэ и к вечеру прибыли в Понтуаз... Рельсы около Парижа были также сняты. Здесь не место передавать всё то, что я испытал, видел и слышал во время этого путешествия. Помню, что на одной станции мимо нас с шумом и треском пронесся локомотив с одним вагоном первого класса: в этом экстренном поезде мчался «экстренный комиссар» республики, Антоний Туре; ехавшие с ним люди махали трехцветными флагами, кричали; служащие на станции с немым изумлением провожали глазами громадную фигуру комиссара, до половины высунутую из окна, с высоко приподнятою рукою... 1793, 1794 годы невольно воскресали в памяти. Помню, что, не доезжая Понтуаза, произошло столкновение нашего поезда с другим, встречным... Были раненые — но никто не обратил даже внимания на этот случай; у каждого тотчас явилась одна и та же мысль: можно ли будет дальше ехать? И как только наш поезд снова тронулся, все тотчас заговорили с преж-

ним одушевлением, все, исключая одного седого старичка, который с самого Дуэ забился в угол вагона и беспрестанно повторял шёпотом: «Всё пропало! всё пропало!» Помню также, что в одном вагоне со мною находилась известная г-жа Гордон *; она вдруг начала проповедовать о необходимости прибегнуть к «принцу», о том, что «принц» один может всё спасти... Сначала никто ее не понял; когда же она произнесла имя Луи Наполеона — все отвернулись от нее, как от безумной. Однако слово, сказанное мусье Франсуа насчет Бонапартов, на мгновенье мелькнуло у меня в голове... первое пророчество его сбылось же.

Не стану также распространяться о пережитых мною впечатлениях при въезде в Париж, при виде всюду пестревших трехцветных кокард, вооруженных блузников, разбиравших камни баррикад, и т. п. Весь первый день моего пребывания в Париже прошел в каком-то чаду. На следующий день я, по обыкновению, отправился в Пале-Рояль, спросил у «гражданина» гарсона чашку кофе — и хотя не встретил там мусье Франсуа, однако мог убедиться, что его предчувствие насчет крови, долженствовавшей обагрить камни на улицах, окружающих Пале-Рояль, оправдалось: известно, что почти единственная битва, ознаменовавшая февральские дни, произошла на площади, отделяющей это здание от Лувра. И в последующие дни я не наткнулся на мусье Франсуа. В первый раз увидел я его 17 марта — в самый тот день, когда громадная толпа работников ходила к ратуше протестовать перед временным правительством против известной манифестации так называемых «медвежьих шапок» (раскассированных гренадеров и вольтижеров национальной гвардии). Размахивая руками и широко шагая, шел он посреди толпы — и не то пел, не то кричал; он подпоясался красным шарфом и пришпилил красную кокарду к шляпе. Глаза наши встретились; но он не подал вида, что узнает меня, хотя нарочно обратился ко мне всем лицом: «Смотри, мол; да; это я!» — и закричал пуще прежнего, преувеличенно раскрывая темный рот. В другой раз увидел я его в театре. Рашель пела своим гробовым голосом марсельезу; он сидел в партере, там, где в обыкновенное время помещаются клакёры. В те-

* Приятельница и эмиссарка Луи Наполеона.

атре он не кричал и не хлопал; но, скрестив руки на груди, с сумрачным вниманием глядел на певицу, когда она, кутаясь в складках схваченного ею знамени, призывала граждан — «к оружию», «к пролитию нечистой крови!» Не могу наверное сказать, видел ли я его 15 мая в массе народа, шедшего мимо церкви Маделены на штурм палаты депутатов; но нечто похожее на его фигуру мелькнуло в передних рядах, и едва ли не его голос — его особенный, глухой и гулкий голос — послышался мне среди криков: «Да здравствует Польша!»

Зато в начале июня, а именно 4-го числа, мусье Франсуа внезапно предстал предо мною в той же кофейной Пале-Рояль. Он поклонился мне, даже руку мне подал (чего прежде не делал) — но не подсел к моему столику, как бы стыдясь своей окончательно истасканной одежды, своей надломанной шляпы; да и, кроме того, его пожирало — так по крайней мере мне показалось — беспокойное, нервическое нетерпенье. Лицо его осунулось, губы и щеки подергивало то вверх, то вниз; воспаленные глаза едва виднелись под очками, которые он беспрестанно поправлял и надвигал на нос всей пятерней. Я в этот раз мог убедиться в том, что уже подозревал прежде: стекла в его очках были простые стекла, и он собственно вовсе не нуждался в них: оттого-то он так часто взглядывал через их края. Очки для него были вроде маски. Тревога, та особенная тревога бесприютного и голодающего бродяги, сказывалась во всем его существе. Почти нищенская наружность этого загадочного человека возбуждала мое недоуменье. Если он точно — агент, то отчего же он так беден? Если же он не агент — то что же он такое? Как понять его поведение?

Я заговорил было с ним о его предсказаниях...

— Да... да...— пробормотал он с лихорадочной торопливостью...— Это всё дело прошлое — de l'histoire ancienne. Но вы разве не собираетесь в вашу Россию? Вы еще останетесь здесь?

— А почему же мне не оставаться?

— Гм. Это ваша забота. Но ведь мы скоро воевать с вами будем.

— С нами?

— Да, с вами, с русскими. Нам скоро славы будет нужно, славы! Война с Россией неизбежна!

— С Россией? А почему же не с Германией?

— Прежде с Россией. Впрочем, это всё впереди. Вы

молоды... доживете. А республика... (он махнул рукою). Кончено! C'est fichu!

— Национальные мастерские! Национальные мастерские! — воскликнул он с внезапным одушевлением.— Были вы там? видели их? Видели, как они в тачках землю с одного места на другое перевозят? Вот откуда всё пойдет. Что́ будет крови! крови! Целое море крови! Какое положение! Всё предвидеть — и ничего не мочь сделать!! Быть ничем! ничем! Всё обнимать (он широко расставил руки с болтавшимися, изорванными рукавами... кольцо на указательном пальце, однако, уцелело...) — и ничего не схватывать! (он стиснул кулаки) — ни даже куска хлеба! Завтрашние выборы тоже довольно важны,— поспешно подхватил он, как бы не давая самому себе останавливаться на высказанном чувстве. Мусье Франсуа назвал мне поименно депутатов, которых, по его словам, непременно выберут парижане; сказал мне число голосов — круглыми цифрами,— которые каждый из них получит. Между именами, названными мусье Франсуа, находилось имя Коссидиера, которому он назначал первое место.

— Несмотря на 15-е мая? — спросил я.

— Вы, может быть, полагаете, что я это говорю, потому что он был префектом полиции? — возразил мусье Франсуа с горькой усмешкой, но тотчас же встряхнулся и опять заговорил о выборах. Луи Наполеон тоже попадал в список.— Он будет из последних, в хвосте (à la queue),— заметил мусье Франсуа,— но и этого довольно. Взбираясь по лестнице, надо сперва перешагнуть последние ступеньки, чтобы попасть на первую.

Я в тот же вечер передал все эти имена и цифры в доме А. И. Г⟨ерцена⟩; и очень хорошо помню его изумление, когда на другой день все предсказания мусье Франсуа опять сбылись, от слова до слова. «Откуда ты всё это знаешь?» — спрашивал меня не раз А. И. Г⟨ерцен⟩. Я назвал источник, откуда я почерпал свои сведения. «А! Гибрид этот!» — воскликнул Г⟨ерцен⟩.

Но возвращаюсь к нашей беседе в кофейной. Около того времени в числе имен, вращавшихся в устах молвы, часто стало повторяться имя Прудона. Я назвал его. Он, по мнению мусье Франсуа, тоже стоял в списке избранных, правда последним, что, впрочем, тоже оправдалось. Но оказалось, что мусье Франсуа не придавал ему большого значения, так же как и Ламартину и Ледрю-Ролле-

ню. Обо всех этих лицах он отзывался с пренебрежением — с оттенком сожаления о Ламартине, с оттенком злобы о Прудоне, этом «софисте в деревянных башмаках» (ce sophiste en sabots). А Ледрю-Ролленя он прямо назвал: «Ce gros bêta de Ledru» [1]— и всё возвращался к национальным мастерским. Вся наша беседа продолжалась, впрочем, недолго, не более четверти часа. Мусье Франсуа так и не присел и всё оглядывался, словно поджидая кого-то. Я, между прочим, вспомнив его красную кокарду, сказал:

— Так как вы все-таки мне кажетесь республиканцем...

— Какой я республиканец! — перебил он меня,— с чего вы это взяли? Это хорошо для овощных торговцев (pour les épiciers). Они еще верят в принципы 89 года, всеобщее братство, прогресс — а я...

Но тут мусье Франсуа внезапно затих и глянул в сторону. Я оглянулся тоже. Какой-то старик в блузе, с длинной белой бородой, делал ему знаки рукою. Он ответил ему тем же и, не прибавив слова, подбежал к нему, и оба исчезли.

После встречи в кофейной я видел мусье Франсуа всего три раза. Раз издали, в Люксембургском саду. Он стоял рядом с бедно одетой молодой девушкой; она о чем-то слезно умоляла его, стискивала руки и подносила их к губам... А он угрюмо отнекивался, нетерпеливо топал ногой и, внезапно оттолкнув ее локтем, надвинул шляпу на лоб и пошел прочь. Она побежала в другую сторону, как потерянная. Вторая наша встреча была более знаменательна; она произошла 13 июня, в самый тот день, когда на площади Согласия в первый раз появилось скопище бонапартистов, на которое Ламартин указал с трибуны палаты и которое вскоре разогнали линейные войска. В одном из углов, образуемых стеной Тюльерийского сада, я увидал человека в пестром костюме шарлатана, стоявшего на ручной, двухколесной тележке и раздававшего брошюры. Я взял одну из них: в ней заключалась биография, крайне хвалебная, Луи Наполеона. Этого человека, бретонца, с громаднейшей шапкой длинных и взбитых кверху волос, я видывал и прежде на загородных бульварах и площадях; он продавал зубной эликсир, мазь против ревматизма — разные

[1] «Этот толстый идиот Ледрю» *(франц.)*.

всеисцеляющие средства и т. п. Пока я перелистывал взятую мною брошюру, кто-то слегка тронул меня за плечо. Мусье Франсуа! Он улыбался во весь свой беззубый рот и иронически посматривал на меня через края очков.

— Начинается! Вот когда оно начинается! — проговорил он, странно переминаясь на месте и потирая руки.— Вот когда! Вот он — апостол, провозвестник! Нравится он вам?

— Этот волосатый шарлатан? — воскликнул я.— Этот шут? Да вы смеетесь надо мною!

— Да, да, шарлатан! — возразил мусье Франсуа.— Так оно и следует. Необычайные волосы, запястия на руках, трико с золотыми блестками... Это-то и нужно! Надо поражать воображение! Легенда, милостивый государь, легенда нужна! Чудодейство нужно! Реклама! Сценическая постановка! Сперва человек удивится... а потом уважает! Что я говорю — уважает? Верит... верит! А вы извольте помнить: настоящее дело теперь только начинается... И когда будет пройдено Чермное (Красное) море (la Mer rouge)...

Но тут с площади Согласия нахлынула толпа, беспорядочно бежавшая от солдатских штыков, и разрознила нас.

В последний раз я увидал — тоже издали — мусье Франсуа во время страшных июньских дней. Он был одет в мундир национального гвардейца из провинции, держал ружье наперевес — и я не берусь передать словами, какую холодную жестокость выражало его лицо.

С тех пор я уже никогда не встречался с мусье Франсуа. В начале 1850 года мне пришлось побывать в русской церкви, на свадьбе одного знакомого — и вдруг, бог ведает почему — словно что меня толкнуло,— стал думать о мусье Франсуа. Мне тут же пришло в голову, что так как другие его предсказания сбылись, то, пожалуй, и на этот раз он мог оказаться пророком — и его точно нет уже в живых. Впрочем, несколько лет спустя мне довелось с достоверностью убедиться в его смерти. А именно: в одном магазине, за прилавком, я заметил женщину, в которой я, после недолгого колебания, узнал девушку, так горько плакавшую в Люксембургском саду перед мусье Франсуа. Я решился напомнить ей об

этой сцене. Сперва она выказала недоумение — но, как только поняла, в чем дело, тотчас пришла в страшное волнение, побледнела, покраснела и попросила меня не вдаваться в дальнейшие расспросы.

— По крайней мере скажите мне, умер ли этот господин или нет?

Женщина пристально посмотрела на меня.

— Он умер смертью, которой заслуживал... Он злой был человек. Впрочем,— прибавила она,— он был тоже очень... очень несчастлив.— Больше я ничего добиться от нее не мог, и кто собственно был мусье Франсуа — осталось для меня загадкой.

Есть такие морские птицы, которые появляются только во время бури. Англичане называют их stormy petrels [1]. Они носятся низко в тусклом воздухе, над самыми гребнями разъяренных волн, и исчезают, как только настанет ясная погода.

---

[1] буревестниками *(англ.)*.

НАШИ ПОСЛАЛИ!

(Эпизод из истории июньских дней 1848 года в Париже)

...Наступил *четвертый* из известных июньских дней 1848 года, тех дней, которые такими кровавыми чертами вписаны на скрижалях французской истории...

Я жил тогда в несуществующем ныне доме на углу улицы Мира и Итальянского бульвара. С самого начала июня в воздухе пахло порохом, каждый чувствовал, что решительное столкновение неизбежно; а после свидания делегатов от только что распущенных национальных мастерских с членом временного правительства Мари, который в обращенной к ним речи необдуманно произнес слово «рабы» (esclaves), принятое ими за упрек и обиду, после этого свидания уже весь вопрос состоял в том — не сколько дней, а сколько часов оставалось до того неизбежного, неотвратимого столкновения? «Est-ce pour aujourd'hui?» (Сегодня, что ли?) — вот какими словами приветствовали знакомые друг друга каждое утро...

«Ça a commencé!» (Началось!),— сказала мне в пятницу утром, 23 июня, прачка, принесшая белье. По ее словам, большая баррикада была воздвигнута поперек бульвара, недалеко от ворот Сен-Дени. Я немедленно отправился туда.

Сначала ничего особенного не было заметно. Те же толпы народа перед открытыми кофейными и магазинами, то же движение карет и омнибусов; лица казались несколько оживленнее, разговоры громче и — странное дело! — веселее... вот и всё. Но чем дальше я подвигался, тем более изменялась физиономия бульвара. Кареты попадались всё реже, омнибусы совсем исчезли; магазины и даже кофейни запирались поспешно — или уже были заперты; народу на улице стало гораздо меньше. Зато во всех домах окна были раскрыты сверху донизу; в этих окнах, а также на порогах дверей теснилось множество лиц, преимущественно женщин, детей, служанок, нянек,— и всё это множество болтало, смеялось, не кричало, а перекликивалось, оглядывалось, махало руками —

точно готовилось к зрелищу; беззаботное, праздничное любопытство, казалось, охватило всю эту толпу. Разноцветные ленты, косынки, чепчики, белые, розовые, голубые платья путались и пестрели на ярком летнем солнце, вздымались и шуршали на легком летнем ветерке — так же как и листья на всюду посаженных тополях — «деревьях свободы». «Неужели же тут, сейчас, через пять, через десять минут будут драться, проливать кровь? — думалось мне.— Невозможно! Это разыгрывается комедия... О трагедии нечего думать... пока».

Но вот впереди, криво пересекая бульвар во всю его ширину, вырезалась неровная линия баррикады — вышиною аршина в четыре. По самой ее середине, окруженное другими, трехцветными, расшитыми золотом знаменами, небольшое красное знамя шевелило — направо, налево — свой острый, зловещий язычок. Несколько блузников виднелось из-за гребня наваленных серых камней. Я пододвинулся поближе. Перед самой баррикадой было довольно пусто, человек пятьдесят — не более — бродило взад и вперед по мостовой. (Тогда еще не было макадама на бульварах.) Блузники пересмеивались с подходившими зрителями; один, подпоясанный белой солдатской портупеей, протягивал им раскупоренную бутылку и до половины налитый стакан, как бы приглашая их подойти и выпить; другой, рядом с ним, с двухствольным ружьем за плечами, протяжно кричал: «Да здравствуют национальные мастерские! Да здравствует республика, демократическая и социальная!» Подле него стояла высокая черноволосая женщина в полосатом платье, тоже подпоясанная портупеей с заткнутым пистолетом; она одна не смеялась и, как бы в раздумии, устремила прямо перед собою свои большие темные глаза. Я перебрался через улицу налево и вместе с пятью, шестью такими же фланёрами, как я, приютился к самой стенке дома, с которого начинала ломаться прямая линия бульвара и в котором помещалась — да и теперь помещается — фабрика жувеневских перчаток. Жалузи окон в этом доме были закрыты. Мне всё еще не верилось, несмотря на ожидания и предчувствия минувших дней, что дело примет оборот серьезный.

Между тем всё громче и ближе слышались барабаны. Уже с утра по всем улицам раздавался тот особенный троекратный бой — le rappel [1]— тот бой, которым созы-

[1] сбор *(франц.)*.

валась национальная гвардия. И вот, медленно волнуясь и вытягиваясь, как длинный черный червяк, показалась с левой же стороны бульвара, шагах в двухстах от баррикады, колонна гражданского войска; тонкими, лучистыми иглами сверкали над нею штыки, несколько офицеров ехали верхом в ее голове. Колонна достигла противоположной стороны бульвара и, заняв его сплошь, повернулась фронтом к баррикаде и остановилась, беспрестанно нарастая сзади и всё более и более густея. Несмотря на прибытие такого значительного количества людей, кругом стало заметным образом тише; голоса понизились, реже и короче раздавался смех; точно дымка легла на все звуки. Между линией национальной гвардии и баррикадой внезапно оказалось большое пустое пространство, по которому, слегка крутясь, скользили два-три небольших вихря пыли — и, озираясь по сторонам, расхаживала на тонких ножках черно-пегая собачонка. Вдруг, неизвестно где, спереди или сзади, сверху или снизу, резко грянул короткий, жесткий звук, он походил более на стук тяжело упавшей железной полосы, чем на выстрел, и тотчас вслед за этим звуком наступила странная, бездыханная тишина. Всё так и замерло в ожидании,— казалось, самый воздух насторожился... и вдруг, над самой моей головой, что-то нестерпимо сильно затрещало и рявкнуло — точно мгновенно разорванный громадный холст... Это инсургенты дали залп сквозь жалузи окон из верхнего этажа занятой ими жувеневской фабрики. Мои соседи фланёры и я — мы немедленно устремились вдоль домов бульвара (помнится, я еще успел заметить на пустом пространстве впереди человека на четвереньках, упавшее кепи с красным помпоном да вертевшуюся в пыли черно-пегую собачонку) и, добежав до небольшого переулка, тотчас повернули в него. К нам присоединилось десятка два других зрителей, из которых у одного молодого человека лет двадцати была прострелена плюсна. На бульваре, позади нас, беспрерывно трещали выстрелы. Мы перебрались в другую улицу — если не ошибаюсь — в Rue de l'Echiquier [1]. На одном ее конце виднелась низенькая баррикада — и мальчишка лет двенадцати прыгал по ее гребню, кривляясь и махая турецкой саблей; толстый национальный гвардеец, бледный как полотно, пробежал мимо, спотыкаясь и охая на каждом

---

[1] улицу Шахматной доски *(франц.)*.

шагу... из рукава его мундира капала на землю алая кровь.

Трагедия началась — и в серьезности ее уже нельзя было сомневаться, хотя едва ли кто-нибудь даже в ту минуту подозревал, каких она достигнет размеров.

Мне не приходилось драться ни по ту, ни по сю сторону баррикад; я вернулся домой.

Целый день прошел в несказанной тревоге. Погода была жаркая, душная... Я не сходил с Итальянского бульвара, запруженного всякого сорта людьми. Распространялись самые невероятные слухи, беспрестанно сменяясь другими, еще более фантастическими. К ночи одно стало несомненным: почти целая половина Парижа находилась во власти инсургентов. Баррикады возникали повсюду — особенно по ту сторону Сены; войска занимали стратегические пункты: готовился бой не на живот, а на смерть. На следующий день, с раннего утра, вид бульвара — вообще внешний вид Парижа, не занятого инсургентами, изменился, как по манию волшебного жезла. Вышел приказ начальника парижской армии, Кавеньяка, запрещающий всякого рода движение, циркуляцию по улицам. Национальные гвардейцы, парижские и провинциальные, выстроенные по тротуарам, караулили дома, в которых квартировали; регулярные войска, подвижная национальная гвардия (garde mobile) дрались; иностранцы, женщины, дети, больные сидели по домам, в которых все окна должны были быть раскрыты настежь, для предупреждения засады. Улицы мгновенно вымерли. Лишь изредка прокатит почтовый омнибус или карета медика, беспрестанно останавливаемая часовыми, которым он показывает пропускной билет; или с грубым грохотом и гулом проедет батарея, направляясь к месту битвы, пройдет отряд солдат, проскачет адъютант или ординарец. Наступило страшное, мучительное время; кто его не пережил, тот не может составить себе о нем точного понятия. Французам, конечно, было жутко: они могли думать, что их родина, что всё общество разрушается и падает в прах; но тоска иностранца, осужденного на невольное бездействие, была если не ужаснее, то уже наверное томительнее их негодования, их отчаяния. Жара знойная; выйти нельзя; в раскрытые окна беспрепятственно льется жгучая струя,

солнце слепит; всякое занятие, чтение, писание немыслимо... Пять раз, десять раз в минуту раздаются пушечные выстрелы; иногда доносится ружейный треск, смутный гам битвы... По улицам хоть шар покати; раскаленные камни мостовой желтеют, раскаленный воздух струится под лучами солнца; вдоль тротуаров тянутся смущенные лица, неподвижные фигуры национальных гвардейцев — и ни одного обычного жизненного звука! Просторно вокруг, пусто — а чувствуешь себя стесненным, как в могиле или в тюрьме. С двенадцати часов новые зрелища: появляются носилки с ранеными, с убитыми... Вот проносят человека с седыми волосами, с лицом, белым, как подушка, на которой оно лежит; — это смертельно раненный депутат Шарбоннель... Головы безмолвно обнажаются перед ним — но он не видит этих знаков скорбного уважения: его глаза закрыты. Вот идет кучка пленных; их ведут гардмобили, всё молодые ребята, почти мальчики; на них сначала плохо надеялись, но они дрались как львы... Некоторые несут на штыках окровавленные кепи своих убитых товарищей — или цветы, брошенные им женщинами из окон. «Vive la république!» [1]— кричат с обеих сторон бульвара национальные гвардейцы, как-то дико и уныло протягивая последний слог,— «Vive la mobi-i-ile!» [2] Пленные идут, не поднимая глаз и прижимаясь друг к другу, как овцы; нестройная толпа, мрачные лица, многие в лохмотьях, без шапок; у иных руки связаны. А канонада не умолкает. Тяжелое, однообразное бухание так и стоит в вышине; оно повисло над городом вместе с чадом и гарью зноя... Под вечер из моей комнаты в четвертом этаже слышится нечто новое: к этому буханию присоединяются другие, резкие, гораздо более близкие, непродолжительные и как бы веерообразные залпы... Это, сказывают, расстреливают инсургентов по мэриям (mairies).

И так часы за часами, часы за часами... Невозможно спать даже ночью. Попытаешься выйти на бульвар, пройти хоть до первой улицы, чтобы узнать что-нибудь, или так — чтобы освежиться немного... Сейчас тебя останавливают, спрашивают: кто ты, откуда, где живешь, зачем не в мундире? И, узнав, что ты иностранец, подозрительно тебя оглядывают, повелительно отсылают домой.

---

[1] «Да здравствует республика!» *(франц.)*.
[2] «Да здравствует национальная гвардия!» *(франц.)*.

А раз так даже один национальный гвардеец из провинции (они были самые рьяные) непременно хотел арестовать меня — потому что на мне была утренняя куртка. «Вы ее надели для того, чтобы удобнее сойтись (pactiser) с бунтовщиками! — кричал он, как исступленный.— Кто вас знает, вы, может быть, русский агент — и у вас в карманах золото, предназначенное к тому, чтобы давать пищу нашим междоусобицам (pour fomenter nos troubles)!» Я предложил ему осмотреть мои карманы... но это еще более его рассердило. Русское золото, русские агенты всюду мерещились тогда, вместе с многими другими небывальщинами и нелепостями, всем этим возбужденным, сбитым с толку, потерянным головам...

Повторяю: страшное, томительное было время!

В такой, можно сказать, пытке прошли три дня; наступил четвертый (26 июня). Новости с места сражения доходили до нас довольно быстро, передаваясь от одного лица к другому вдоль тротуаров. Так, например, мы уже знали, что Пантеон взят, что весь левый берег Сены во власти войска, что генерал Бреа расстрелян инсургентами, что архиепископ Аффр насмерть ранен, что держится еще одно предместье Святого Антония. Помнится, мы читали прокламацию Кавеньяка, взывавшего в последний раз к чувству патриотизма, не исчезающему даже в самых ожесточенных сердцах... Ординарец, гусарский офицер, внезапно проскакал вдоль бульвара и, образовав пальцами правой руки кружок величиною с яблоко, закричал: «Вот какими пулями они в нас стреляют!..»

В том же доме, где я квартировал, и на той же лестнице жил известный немецкий поэт Г⟨ервег⟩, с которым я был знаком; я часто заходил к нему, чтоб хотя несколько отвести душу... уйти от самого себя, от ноющей тоски бездействия и одиночества.

Вот я сижу у него 26 июня утром — он только что позавтракал... Вдруг входит гарсон с перетревоженным лицом.

— Что такое?

— Вас, мсьё Г⟨ервег⟩, какая-то блуза спрашивает!

— Блуза? Какая блуза?

— Человек в блузе, работник, старик, спрашивает *гражданина* (le citoyen) Г⟨ервег⟩а. Прикажете его принять?

Г⟨ервег⟩ переглянулся со мною.

— Примите,— сказал он наконец.

Гарсон удалился, повторяя, как бы про себя: «Человек... в блузе!!» Он ужасался; а давно ли, вскоре после февральских дней, блуза считалась самым модным, приличным и безопасным костюмом? Давно ли я, на одном даровом представлении в Théâtre Français, предназначенном для народа, видел, своими глазами видел множество самых изысканных щеголей так называемого бомонда, облекшихся в белые и синие блузы, из-под которых странно выглядывали их накрахмаленные воротнички и жабо? Но другие времена — другие нравы; в эпоху июньской битвы блуза в Париже сделалась знаком отверженния, печатью Каина, вызывала чувство ужаса и злобы.

Гарсон возвратился — и с немотствующим содроганьем пропустил вперед себя человека, шедшего по его следам, действительно одетого в блузу, истрепанную, замаранную блузу. Панталоны этого человека, башмаки его были тоже запачканы и в заплатах, шею обвертывала красная тряпка — а голову покрывала шапка... шапка черно-седых, спутанных, нависших на самые брови волос. Из-под этой шапки выделялся длинный нос с горбиной, выглядывали маленькие, старчески воспаленные и тусклые глаза. Впалые щеки, морщины по всему лицу, глубокие как рубцы, широкий, скривленный рот, небритая борода, красные, грязные руки и та особая сутулина спинного хребта, в которой сказывается гнет продолжительной, сверхсильной работы... Не было сомненья: перед нами стоял один из тех многочисленных тружеников, голодных и темных, которыми так изобилуют низменные слои цивилизованных обществ.

— Кто здесь гражданин Г⟨ервег⟩? — спросил он сиплым голосом.

— Я Г⟨ервег⟩,— отвечал немецкий поэт, не без некоторого смущенья.

— Вы ждете вашего сына вместе с его бонной — из Берлина?

— Да, действительно... Почем вы знаете? Он должен был четвертого дня выехать... но я полагал...

— Ваш мальчик приехал вчера; но так как станция железной дороги в Сен-Дени в руках у наших (при этом слове гарсон чуть не подпрыгнул от испуга) и сюда его послать было невозможно, то его отвели к одной из наших

женщин — вот тут на бумажке его адрес написан,— а мне наши сказали, чтоб я пришел к вам, дабы вы не беспокоились. И бонна его с ним; помещение хорошее — кормить их будут обоих. И опасности нет. Когда всё покончится,— вы его возьмете — вот по этой бумажке. Прощайте, гражданин.

Старик пошел было к двери...

— Постойте, постойте! — возопил Г⟨ервег⟩.— Не уходите!

Старик остановился, но не повернулся к нам лицом.

— Неужели же,— продолжал Г⟨ервег⟩,— вы только для того сюда пришли, чтобы успокоить меня, незнакомого вам человека, насчет моего сына?

Старик поднял свою понурую голову.

— Да. Меня наши послали.

— Только для этого?

— Да.

Г⟨ервег⟩ всплеснул руками.

— Но помилуйте... я... я просто не знаю, что сказать. Я удивляюсь, каким образом вы могли дойти досюда! Вас, наверное, на каждом перекрестке останавливали?

— Да.

— Спрашивали, куда вы идете, зачем?

— Да. Всё на руки смотрели, есть ли следы пороха. Попался один офицер... тот грозился расстрелять меня.

Г⟨ервег⟩ онемел от удивления; гарсон тоже вытаращил глаза. «C'est trop fort!» [1]— бессознательно шептали его побледневшие губы.

— Прощайте, гражданин,— отчетливо произнес старик, как бы решившись уйти. Г⟨ервег⟩ бросился и удержал его.

— Постойте... подождите... позвольте поблагодарить вас...

Он начал шарить у себя в карманах.

Старик отклонил его своей широкой, неразгибавшейся рукой.

— Не беспокойтесь, гражданин; денег я не возьму.

— Так, по крайней мере, позвольте предложить вам... хоть завтрак... ну, стакан вина... что-нибудь...

— От этого я не откажусь,— промолвил старик после небольшого молчания.— Я вот второй день почитай что не ел.

[1] «Это уж слишком!» *(франц.)*.

Г⟨ервег⟩ тотчас услал гарсона за завтраком, а пока попросил своего гостя присесть. Тот тяжко опустился на стул, положил обе ладони на колени и потупился...

Г⟨ервег⟩ принялся его расспрашивать... но старик отвечал неохотно, угрюмым тоном: видно было, что он устал сильно — а впрочем, ни волнения никакого не ощущал, ни страха,— и на всё махнул рукой. Да и беседа с «буржуа» была ему не по вкусу. За завтраком он, однако, несколько оживился. Сперва ел и пил с жадностью, а потом понемногу стал разговаривать.

— Мы в феврале,— так рассуждал он,— обещали временному правительству, что будем ждать три месяца; вот они прошли, эти месяцы, а нужда всё та же; еще больше. Временное правительство обмануло нас: обещало много — и ничего не сдержало. Ничего не сделало для работников. Деньги мы все свои проели, работы нет никакой, дела стали. Вот тебе и республика! Ну, мы и решились, всё равно пропадать!

— Но позвольте,— заметил было Г⟨ервег⟩,— какую вы могли ожидать пользу от такого безумного восстания?

— Всё равно пропадать,— повторил старик. Он тщательно утер губы, сложил салфетку, поблагодарил и приподнялся.

— Вы уходите? — воскликнул Г⟨ервег⟩.

— Да. Мне надо к нашим. Чего мне здесь оставаться!

— Да ведь вас на возвратном пути наверное задержат и, быть может, в самом деле расстреляют!

— Быть может. Так что ж из этого? Пока жив, надо самому хлеб для семьи доставать, а как его доставать-то?! А коли убьют, сирот наши люди не оставят без призрения. Прощайте, гражданин!

— Скажите мне ваше имя, по крайней мере! Я желаю знать, как зовут того, кто так много для меня сделал!

— Мое имя вам совсем не нужно знать. Правду сказать, то, что я сделал, я сделал не для вас, а наши приказали. Прощайте.

Так старик и ушел, сопровождаемый гарсоном.

В тот же день восстание было окончательно подавлено. Как только проезд стал свободен, Г⟨ервег⟩ по оставленному адресу отыскал женщину, приютившую его сынишку. Ее муж и сын были захвачены в плен; другой сын погиб на баррикаде; племянника расстреляли. Она

тоже отказалась от денег; но, указавши на бегавших по комнате двух девочек, дочерей ее убитого сына, промолвила:

— Если мне когда-нибудь придется попросить что-нибудь для этих, так пусть мальчик ваш вспомнит о них.

Участь старика, посетившего Г⟨ервег⟩а, осталась неизвестной. Нельзя было не подивиться его поступку, той бессознательной, почти величавой простоте, с которой он совершил его. Ему, очевидно, и в голову не приходило, что он сделал нечто необыкновенное, собою пожертвовал. Но нельзя также не дивиться и тем людям, которые его послали, которые в самом пылу и развале отчаянной битвы могли вспомнить о душевной тревоге незнакомого им «буржуа» и позаботились о том, чтобы его успокоить. Подобные им люди, правда двадцать два года спустя, жгли Париж и расстреливали заложников; но кто хоть немного знает сердце человеческое — не смутится этими противоречиями.

1874

КАЗНЬ ТРОПМАНА

I

В январе месяце нынешнего (1870) года я, находясь в Париже за столом одного хорошего приятеля, получил от М. Дюкана, известного писателя и специалиста по части статистики Парижа, совершенно неожиданное приглашение присутствовать при казни Тропмана — и не при одной его казни: мне предлагали включить меня в число немногих привилегированных лиц, которым разрешается доступ в самую тюрьму. До сих пор еще не забыто ужасное преступление, совершенное Тропманом; но в то время Париж настолько же — если не более — занимался им, его предстоящею казнью, сколько недавним назначением псевдопарламентарного министерства Оливье или убийством Виктора Нуара, павшего от руки столь изумительно впоследствии оправданного принца П. Бонапарта. Во всех окнах фотографий, бумажных магазинов виднелись целые ряды карточек, представлявших молодого малого с большим лбом, темными глазками и одутловатыми губами — «знаменитого» пантенского убийцы (de *l'illustre* assassin de Pantin),— и уже несколько вечеров сряду тысячи блузников собирались в окрестностях Рокетской тюрьмы в ожидании — не воздвигнется ли, наконец, гильотина? — и рассеивались только зá полночь. Застигнутый врасплох предложением М. Дюкана, я, не думав долго, согласился; а давши слово прибыть на место назначенного мне свидания — у статуи принца Евгения, на бульваре того же имени, в 11 часов вечера,— я уже не хотел взять это слово назад. Ложный стыд помешал мне это сделать... А ну как подумают, что я трушу? В наказание самому себе — и в назидание другим — я намерен теперь рассказать всё, что я видел, намерен повторить в воспоминании все тяжелые впечатления той ночи. Быть может, не одно любопытство читателя будет удовлетворено: быть может, он извлечет некоторую пользу из моего рассказа.

II

У статуи принца Евгения уже ожидала нас с Дюканом небольшая кучка людей. В числе их был и г-н Клод, известный начальник охранной полиции (chef de la police de sûreté), которому Дюкан меня представил. Остальные были, так же как я, привилегированные посетители, журналисты, хроникеры и т. п. Дюкан предупредил меня, что нам, вероятно, придется провести ночь без сна на квартире коменданта, директора тюрьмы. Казнь осужденных совершается зимою в семь часов утра; но надо быть на месте прежде полуночи — а то, пожалуй, и не продерешься сквозь толпу. От статуи принца Евгения до Рокетской тюрьмы не более полуверсты; но я пока ничего не видел чрезвычайного. Народу на бульваре было немного больше обыкновенного. Одно разве можно было заметить: почти все люди шли — а иные, особенно женщины, даже трусúли рысцой — в одном и том же направлении; притом все кофейные и кабачки горели огнями, что тоже редко бывает в отдаленных кварталах Парижа, особенно в такую позднюю пору. Ночь стояла не туманная, а тусклая, сырая без дождя, холодная без мороза — настоящая январская французская ночь. Г-н Клод объявил, что пора идти, и мы отправились. Он сохранял всю спокойную развязность делового человека, в котором подобные происшествия уже не возбуждают никаких ощущений, кроме разве одного желания — поскорее отделаться от невеселой обязанности. Г-н Клод — человек лет пятидесяти, среднего роста, коренастый, плечистый, с круглой, плотно остриженной головой, с маленькими, почти миниатюрными чертами лица. Только лоб и подбородок да затылок у него замечательно широки; незыблемая энергия сказывается в его сухом и ровном голосе, в его бледных серых глазках, в коротких крепких пальцах, в мускулистых ногах, во всех его неторопливых, но твердых движениях. Он, говорят, мастер своего дела, дока — и внушает великий страх всем ворам и убийцам. Политические преступники — не по его части. Товарищ его, г. Ж..., тоже весьма восхваляемый Дюканом, имеет вид мягкого, почти сентиментального человека и более утонченные манеры. За исключением этих двух господ и, может быть, самого Дюкана, всем нам — или это мне только так казалось?— было несколько неловко и как бы

совестно, хотя мы бодро, словно на охоту, выступали один за другим.

Чем мы ближе подвигались к тюрьме, тем люднее становилось вокруг нас, хотя настоящей толпы еще не было. Ни криков не раздавалось, ни даже слишком громких разговоров; видно было, что «представление» еще не началось. Одни уличные мальчишки уже вились кругом; заложив руки в карманы панталон и нахлобучив козырек фуражки нá нос, шлялись они той особенной развалистой и шмыгающей походкой, которую только и увидеть можно, что в Париже, и которая в мгновение ока сменяется самой проворной беготней и прыжками обезьяны.

— Вот он... вот он... это он! — произнесло несколько голосов вокруг нас.

— Знаете что? — сказал мне вдруг Дюкан.— Вас принимают за здешнего палача.

«Хорошее начало!» — подумалось мне. Парижский палач, Monsieur de Paris, с которым я познакомился в ту же ночь, так же сед и такого же роста, как я.

Но вот показалось длинное, не слишком широкое пространство, обставленное с обеих сторон двумя казармообразными зданиями, грязного вида, пошлой архитектуры: это Рокетская площадь. Налево тюрьма, в которой содержатся молодые преступники (prison des jeunes détenus), направо депо приговоренных (maison de dépôt pour les condamnés), или Рокетская тюрьма.

III

Площадь эту пересекали поперек поставленные в четыре ряда солдаты; такие же четыре ряда стояли дальше — шагов на двести от первых. Обыкновенно их не бывает; но на этот раз правительство, ввиду «репутации» Тропмана и состояния умов, возбужденных убийством Нуара, почло нужным не ограничиться одной полицией и прибегнуть к экстренным мерам. Главные ворота Рокетской тюрьмы приходились ровно посередине пустого пространства, охваченного солдатами. Несколько полицейских сержантов медленно расхаживали перед воротами; молодой, довольно толстый офицер в необыкновенно богато расшитом кепи (как оказалось, начальник квартала, нечто вроде частного пристава) налетел было на нашу группу с нахрапом, мгновенно напомнившим мне былые времена на родине; но, узнав «своих», успокоился. С великими предосторожностя-

ми, едва отворяя двери, впустили нас в небольшую гауптвахту возле ворот — и, по предварительном осмотре и опросе, препроводили нас через два внутренних двора, один большой, другой маленький, в квартиру коменданта. Комендант этот, человек дюжий, высокий, с седыми усами и эспаньолкой, с типическим лицом французского пехотного офицера, орлиным носом, неподвижными хищными глазами и крохотным черепом — принял нас любезно и добродушно; но даже помимо его воли, по каждой его ухватке, по каждому его слову нельзя было не заметить тотчас, что это «малый солидный» (un gaillard solide), слепо преданный слуга, который не поколеблется исполнить какое бы то ни было приказание своего господина. Впрочем, он уже доказал на деле свое усердие: в ночь переворота 2 декабря он со своим батальоном занял типографию «Монитёра». Как истый джентльмен, он предоставил нам всю свою квартиру. Она помещалась во втором этаже главного корпуса и состояла из четырех порядочно меблированных комнат; в двух из них горело по камину. Небольшая левретка с вывихнутой лапкой и грустным выражением глаз, словно и она чувствовала себя пленницей, ковыляла, повиливая хвостиком, с одного коврика на другой. Нас — я разумею посетителей — было человек восемь; лица некоторых были мне знакомы по фотографиям (Сарду, Альберт Вольф); но я не желал заговорить ни с кем. Мы все уселись в зале, на стульях (Дюкан ушел с г. Клодом). Само собою разумеется, что Тропман стал предметом беседы и как бы единым центром всех помыслов. Комендант сообщил нам, что он с девяти часов вечера заснул и спит крепким сном; что он, кажется, догадывается об участи его просьбы о помиловании; что он умолял его, коменданта, сказать ему правду; что он всё так же упорно настаивает на том, что у него были сообщники, которых не желает назвать; что он, вероятно, оробеет в решительную минуту, но что он, впрочем, ест с аппетитом, а книг не читает и т. д. и т. д. С своей стороны, некоторые из нас рассуждали о том, должно ли давать веру словам преступника, оказавшегося таким закоренелым лгуном, повторяли подробности убийства, спрашивали себя, какого мнения будут френологи о черепе Тропмана, поднимали вопрос о смертной казни... но всё это так вяло, так тупо, такими общими фразами, что самим говорившим становилось не в охоту продолжать. О чем-нибудь другом беседовать было неловко... невозможно; невозможно — из одного уважения к смерти,— к челове-

ку, который был ей обречен. Всеми нами овладевало томительное и медленное, именно медленное беспокойство; скучать — никто не скучал, но это тоскливое ощущение было во сто раз хуже скуки! Казалось наперед, что этой ночи конца не будет! Что касается до меня, то я чувствовал одно, а именно то, что я не был вправе находиться там, где я находился, что никакие психологические и философские соображения меня не извиняли. Г-н Клод вернулся и рассказал нам, как известный Жюд ускользнул у него из рук и как он не теряет надежды поймать его, если он еще жив. Но вдруг раздался тяжелый стук колес, и через несколько мгновений нам пришли сказать, что гильотина приехала. Мы все бросились вон на улицу — точно обрадовались!

IV

Перед самыми воротами стояла массивная закрытая фура, запряженная в три лошади цугом; другая, двухколесная фура, небольшая и низкая, имевшая вид продолговатого ящика, запряженная в одну лошадь, отъехала немного в сторону. (Эта фура назначалась, как мы узнали впоследствии, для принятия тела немедленно после казни и препровождения его на кладбище). Несколько работников в коротких блузах виднелось около фур, и высокий человек в круглой шляпе, белом галстухе, в легком пальто, накинутом на плечи, отдавал вполголоса приказания... То был палач. Все власти — комендант, г. Клод, начальник квартала и т. д.— уже окружали и приветствовали его. «Ah! monsieur Indric! bon soir, monsieur Indric!» [1] — слышались восклицания. (Настоящее его имя Гейденрейх — Heidenreich; он эльзасец.) И наша группа подошла к нему: *он* стал на миг нашим центром. В обращении с ним выказывалась несколько напряженная, но почтительная фамильярность: «Мы, дескать, вами не брезгаем, и вы все-таки особа важная». Иные из нас, вероятно, для шику, даже руку ему пожимали. (Руки у него красивые, замечательной белизны.) Вспомнился мне стих пушкинской «Полтавы»:

Палач...
Рукам белыми играя...

Сам monsieur Indric держался очень просто, мягко и учтиво, не без патриархальной важности. Казалось, он

[1] «А! господин Индрик! добрый вечер, господин Индрик!» *(франц.)*.

чувствовал, что в эту ночь он в наших глазах второе лицо после Тропмана и как бы первый его министр. Работники раскрыли фуру и принялись вынимать из нее все составные части гильотины, которую должны были воздвигнуть тут же, в пятнадцати шагах от ворот *. Два фонаря заходили взад и вперед низко над землею, освещая яркими, небольшими кругами граненые камни мостовой. Я посмотрел на часы... всего половина первого! Воздух еще больше потускнел и похолодел. Народу уже набралось довольно — и за рядами солдат, окаймлявших пустое пространство перед тюрьмою, начинал подниматься долгий и смутный людской гам. Я подошел к солдатам: они стояли неподвижно, несколько сдвинувшись и нарушив первоначальную правильность рядов. Лица их не выражали ничего, кроме скуки, скуки холодной и терпеливо-покорной; да и те лица, которые мне виднелись за киверами и мундирами солдат, за треуголками и сюртуками полицейских сержантов, лица блузников, работников, выражали почти то же — только с примесью какой-то неопределенной усмешки. Впереди, из-за грузно шевелившейся и напиравшей толпы, вырывались восклицания вроде «Ohé Tropmann! ohé Lambert! Fallait pas qu'y aille!» [1], крики, звонкие свистания; явственно слышался бранчивый спор из-за места, змейкой проползал обрывок цинической песенки — внезапно поднимался резкий смех, который тотчас подхватывался другими и замирал широким гоготаньем. «Настоящее дело» еще не началось; не было слышно ни всеми ожиданных антидинастических кликов, ни столь известных грозных перекатов «Марсельезы». Я вернулся в соседство медленно выраставшей гильотины. Какой-то господин, курчавый и смуглолицый, в мягкой серой шляпе, вероятно, адвокат, стоял возле и ораторствовал, сильно и однообразно тыкая правой рукою с отделенным указательным пальцем сверху вниз и сгибая даже колени от напряжения. Он взялся доказать двум-трем рядом с ним стоявшим господам в застегнутых наглухо пальто, что Тропман не был убийцей — а маниаком. «Un maniaque! Je vais vous le prouver! suivez mon raisonnement! — твердил он.— Son mobile

---

* Отсылаю читателей, желающих познакомиться не только со всеми подробностями «экзекуции», но и со всем, что предшествует ей и следует за нею, к превосходной статье М. Дюкана: «La prison de la Roquette» — в «Revue des deux Mondes», № 1, 1870.

[1] «Эй, Тропман! эй, Ламбер! Незачем было туда ходить!» *(франц.)*.

n'était pas l'assassinat, mais un orgueil que je nommerais volontiers démesuré! Suivez mon raisonnement!» [1] Господа в пальто «следили за его рассуждением», но, судя по их физиономиям, навряд ли он убеждал их; а сидевший на площадке гильотины работник даже с явным презрением на него посматривал. Я вернулся на квартиру коменданта.

V

Несколько наших «товарищей» уже собралось там опять. Любезный комендант потчевал их глинтвейном. Начались опять толки о том, продолжает ли спать Тропман, и что́ он должен чувствовать, и достигает ли до него шум толпы, несмотря на отдаление его каморки от улицы, и т. д. Комендант показал нам целую груду писем, адресованных на его, Тропманово, имя; он, по уверению коменданта, не желал читать их. Бо́льшая часть из них оказывалась плоскими шутками, мистификацией; но были также и серьезные, в которых его заклинали покаяться и во всем сознаться; один методистский пастор прислал целое богословское рассуждение на двадцати страницах; были и дамские записочки: в некоторых из них находились даже цветы — маргаритки, иммортели. Комендант сказал нам, что Тропман попытался было испросить у тюремного аптекаря яду и написал ему об этом письмо, которое тот, разумеется, тотчас представил по принадлежности. Мне сдавалось, что наш почтенный хозяин не мог себе хорошенько растолковать, с какой стати мы принимали участие в таком — по его понятию — злом и гадком животном, каков был Тропман, и чуть ли не приписывал наше любопытство праздности светских, статских людей, «рябчиков». Побеседовавши немного, мы начали расползаться — кто куда. В течение всей этой ночи мы скитались, по французскому выражению, как преступные души, «comme des âmes en peine»; входили в комнаты, садились рядышком на стульях залы, осведомлялись о Тропмане, взглядывали на часы, зевали, опять спускались по лестнице на двор, на улицу, возвращались, садились опять... Иные рассказывали тогда анекдоты пикантного свойства, перекидывались мелкими личными известиями, слегка рассуждали о политике, о теат-

---

[1] «Маньяк! Я вам это докажу! Следите за моим рассуждением! Он был движим не желанием убийства, а гордостью, которую я охотно назвал бы чрезмерной! Следите за моим рассуждением!» *(франц.)*.

ре, об убийстве Нуара; иные пытались шутить, острить; но уж очень плохо это у них выходило — и вызывало какой-то неприятный, тотчас обрывавшийся смех, какое-то фальшивое одобрение. Я отыскал крошечный диванчик в первой комнате и, кое-как улегшись на нем, старался уснуть и, разумеется, не уснул, даже не задремал ни на одно мгновенье. Гул толпы становился всё сильнее, всё гуще и непрерывней. К трем часам утра, по словам г. Клода, который входил, садился на стул, засыпáл тотчас и опять исчезал, вызванный кем-нибудь из своих подчиненных,— уже набралось более двадцати пяти тысяч людей. Гул этот поражал меня сходством с отдаленным ревом морского прибоя: такое же нескончаемое, вагнеровское crescendo, не возвышающееся постоянно, а с огромными разливами и колыханьями; острые ноты женских и детских голосов взвивались, как тонкие брызги, над этим громадным гуденьем; грубая мощь стихийной силы сказывалась в нем. Притихнет на мгновенье, словно само в себя уйдет, и уляжется, и вот опять загомонило и растет, и вздувается и вот-вот ударит, как бы всё сорвать хочет,— и опять назад, и утихает, и опять растет — и нет ему конца... И что такое выражает этот шум? — думалось мне... Нетерпение, радость, злобу?.. Нет! никакому отдельному, никакому человеческому чувству не служит он отголоском... Это просто шум и гам стихии.

VI

К трем часам утра я, быть может, в десятый раз вышел на улицу. Гильотина была готова. Смутно и более странно, нежели страшно, рисовались на темном небе ее два, на $^3/_4$ аршина друг от друга отстоявшие столба с косой линией соединявшего их лезвия. Я почему-то воображал, что эти столбы должны отстоять гораздо дальше друг от дружки; эта их близость придавала всей машине какую-то зловещую стройность — стройность длинной, внимательно вытянутой, как у лебедя, шеи. Чувство отвращения возбуждал большой плетеный кузов, вроде чемодана, темно-красного цвета. Я знал, что палачи в этот кузов бросят теплый, еще содрогающийся труп и отрубленную голову... Незадолго перед тем прибывшие конные муниципалы (garde municipale) расположились широким полукругом перед фасадом тюрьмы; лошади изредка фыркали, грызли мундштуки и мотали головами; у каждой между

передними ногами белели на мостовой крупные капли пены. Всадники сумрачно дремали под своими медвежьими шапками, надвинутыми на самые глаза. Линии солдат, пересекавших площадь и удерживавших толпу, отступили еще дальше: пустого пространства перед тюрьмою было уже не двести, а целых триста шагов. Я подошел к одной из этих линий и долго смотрел на теснившийся за нею народ; он кричал именно стихийно, то есть бессмысленно. Памятна мне фигура одного блузника, молодого малого лет двадцати: он стоял потупившись и ухмыляясь, словно размышлял о чем-то забавном, и вдруг вскидывал голову, разевал рот и кричал, кричал протяжно, без слов, а там опять лицо его склонялось, и он опять ухмылялся. Что происходило в этом человеке? Зачем он обрекал себя на мучительно-бессонную ночь, на почти восьмичасовую неподвижность? Слух мой не уловлял отдельных речей; лишь изредка пробивался сквозь непрестанный гам пронзительный возглас спекулянта-разносчика, продававшего брошюру о Тропмане, об его жизни, его казни и даже «о последних его словах»... или опять где-то далеко заспорят, загогочут безобразно, женщины запищат... «Марсельезу» в этот раз я услышал — но ее пели всего пять-шесть человек, и то с перерывами. «Марсельеза» получает свое значение, когда ее поют тысячи. «A bas Pierre Bonaparte!» [1] — гаркнул крепкий голос... «У... у... а... а...» — забушевало вокруг него. Крики в одном месте внезапно приняли мерный ритм польки: раз-раз-раз! раз-раз-раз! на известный мотив des lampions! [2] Тяжким духом, кислым паром несло от толпы: много вина было выпито всеми этими телами; много было тут пьяных. Недаром кабачки рдели красными точками на общем фоне картины. Ночь из тусклой стала темною; небо совсем нахмурилось и почернело. На редких, неясными призраками подымавшихся деревьях виднелись небольшие массы: это уличные мальчишки взобрались туда и свистали и верещали, как птицы, сидя промеж сучьев. Один из них свалился и, говорят, даже насмерть убился, переломил себе спину, но возбудил лишь хохот, и то ненадолго.

Возвращаясь на свою квартиру и проходя мимо гильотины, я увидел на ее площадке палача, окруженного кучкой любопытных; он для них делал «пример», или репети-

---

[1] «Долой Пьера Бонапарта!» *(франц.)*.
[2] плошки *(франц.)*.

цию: валил стоячую, на шалнере, доску, к которой пристегивается преступник и которая, падая, приходится концом своим прямо в полукруглое отверстие между столбами; спускал топор, который тяжко и гладко стремился вниз, с глухим и торопливым рокотанием и т. п. Я не стал смотреть на эту репетицию, то есть не взобрался на гильотину: чувство какого-то моего, мне неизвестного, прегрешения, тайного стыда во мне постоянно усиливалось... Быть может, этому чувству должен я приписать то, что лошади, запряженные в фуры и спокойно жевавшие в торбах овес перед воротами тюрьмы, показались мне единственно невинными существами среди всех нас.

Опять я забился на свой диванчик и опять стал прислушиваться к шуму морского прилива...

VII

В противность тому, что обыкновенно утверждают, *последний* час ожидания скорей проскакивает, чем первый, особенно чем второй или третий... Так случилось и в этот раз. Мы все были удивлены известием, что уже пробило шесть часов и что до мгновенья казни остался всего один час. В каморку Тропмана мы должны были войти ровно через полчаса, в половине седьмого. Дремота мгновенно исчезла со всех лиц. Не знаю, что почувствовали другие, но у меня сильно защемило на сердце. Появились новые фигуры; священник, маленький седой человечек с худощавым личиком, промелькнул в своем длинном черном аббатском казакине с ленточкою Почетного легиона и в низкой шляпе с широкими полями. Комендант устроил нам нечто вроде завтрака, une collation; в гостиной на круглом столе появились огромные чашки шоколада... Я даже близко не подошел, хотя радушный хозяин советовал мне подкрепить себя, «ибо утренний воздух может быть вреден». Принимать пищу в эту минуту мне казалось... отвратительным. Что за пир, помилуйте! «Права не имею!» — твердил я самому себе в сотый раз с начала этой ночи. «А *он* всё спит?» — спросил один из нас, глотая шоколад. (Все говорили о Тропмане, не называя его по имени; другого *его* не могло быть.) «Спит»,— отвечал комендант. «Несмотря на этот страшный шум?» (Шум действительно усилился необычайно и получил какую-то сиплую ревучесть; грозный хор уже не шел crescendo — а гудел победоносно, весело.) «Каморка его за тремя стенами»,— отве-

чал комендант. Г-н Клод, которому комендант, очевидно, предоставлял главную роль, посмотрел на часы и сказал: «Двадцать минут седьмого; пора!» Мы, наверное, все внутренно дрогнули — однако как ни в чем не бывало надели шляпы и шумно двинулись вслед за нашим вожатым. «Где вы сегодня обедаете?» — громко спросил один хроникер; но это показалось уж очень неестественным.

VIII

Мы вышли на большой тюремный двор; и тут в углу, налево, перед полузакрытой дверью, произошло нечто вроде переклички; потом ввели нас в узкую, высокую и совершенно пустую комнату с одним кожаным табуретом посередине. Здесь происходит «туалет приговоренного» — la toilette du condamné,— шепнул мне Дюкан. Мы не все туда попали: с комендантом, священником, г. Клодом и его помощником — нас было человек десять. В течение двух или трех минут, которые мы провели в этой комнате (какая-то письменная формальность совершалась в это время), мысль, что мы никакого права не имеем делать то, что мы делаем, что, присутствуя с притворной важностью при убиении нам подобного существа, мы ломаем какую-то беззаконно-гнусную комедию,— эта мысль в последний раз мелькнула у меня в голове; как только мы двинулись опять-таки вслед за г. Клодом по широкому каменному, двумя ночниками слабо освещенному коридору — я уже ничего не ощущал, кроме того, что вот сейчас... сейчас... сию минуту... сию секунду... Мы поспешно взобрались по двум лестницам в другой коридор, прошли и тот, спустились по узкой винтообразной лестнице — и очутились перед железною дверью... *Здесь!*

Сторож осторожно отпер замок. Дверь тихо отворилась — и мы все тихо и молча вошли в довольно просторную комнату с желтыми стенами, высоким решетчатым окном и измятой кроватью, на которой никто не лежал... Ровный свет большого ночника довольно ясно освещал все предметы.

Я стоял немного позади других и, помнится, невольно щурился, однако тотчас же увидал, несколько наискось против меня, молодое черноволосое, черноглазое лицо, которое, медленно двигаясь слева направо, окидывало всех нас каким-то огромным круглым взором. То был Тропман. Он проснулся до нашего прихода. Он стоял перед

столом, на котором только что написал прощальное (весьма, впрочем, незначительное) письмо к своей матери. Г-н Клод снял шляпу и подошел к нему.

— Тропман! — произнес он своим сухим, негромким, но безапелляционным голосом.— Мы пришли известить вас, что ваша просьба о помиловании не принята и что час искупления настал для вас.

Тропман обратил на него свои глаза, но тот «огромный» взор уже исчез в них; он глядел спокойно, почти сонливо, и не промолвил ни слова.

— Дитя мое! — глухо воскликнул священник и подошел к нему с другой стороны.— Du courage! [1]

Тропман посмотрел на него точно так же, как на г. Клода.

— Я знал, что он не будет трусить! — промолвил уверенным тоном, обращаясь ко всем нам, г. Клод,— теперь, когда он выдержал первый натиск (le premier choc),— я за него отвечаю. (Так наставник, желая задобрить ученика, заранее величает его «молодцом».)

— О, я не боюсь! (Oh! je n'ai pas peur!) — проговорил Тропман, снова обращаясь к г. Клоду.— Я не боюсь!

Голос его — приятный, юношеский баритон — был совершенно ровен. Священник достал из кармана небольшую фляжку.

— Не хотите ли вы выпить немного вина, дитя мое?

— Благодарствуйте... не нужно,— с вежливым полупоклоном отвечал Тропман.

Г-н Клод опять обратился к нему.

— Вы продолжаете утверждать, что вы не виноваты в том преступлении, за которое вас осудили?

— Я не нанес удара! (Je n'ai pas frappé!)

— Однако...— вмешался было комендант.

— Я не нанес удара!

(В последнее время Тропман, как известно, в противность своим прежним показаниям, утверждал, что он действительно привел семейство Кинков на место бойни, но что убивали их его сообщники и что даже рана на его руке произошла оттого, что он вздумал было защитить одну из малюток. Впрочем, он в течение процесса изолгался так, как немногие преступники до него.)

— И вы продолжаете утверждать, что у вас были сообщники?

---

[1] Мужайся! *(франц.)*.

— Были.
— Вы не можете их назвать?
— Не могу... и не хочу. Не хочу.— Голос Тропмана возвысился, и лицо его бегло вспыхнуло. Казалось, он готов был рассердиться...
— Ну, хорошо, хорошо...— поспешно проговорил г. Клод, как бы давая тем знать, что он и спрашивал его только для того, чтобы исполнить неизбежную формальность, и что теперь предстояло другое...
Предстояло Тропману раздеться.
Два сторожа подошли к нему и принялись снимать с него тюремный его камзол (camisole de force), род блузы из толстой синеватой холстины, с ремнями и пряжками назади, с длинными глухими рукавами, от конца которых идут крепкие бечевки около ляжек к поясу. Тропман стоял боком, в двух шагах от меня. Ничто не мешало мне хорошенько разглядеть его лицо. Оно могло бы быть названо красивым, если б не выдававшийся вперед и кверху, воронкой, на звериный лад, неприятно припухлый рот, из-за которого виднелись расставленные веером, нехорошие, редкие зубы. Густые, темные, слегка волнистые волосы, длинные брови, выразительные, навыкате глаза, открытый чистый лоб, правильный нос с небольшой горбиной, легкие завитки черного пуха на подбородке... Встретьтесь вы с такой фигурой не в тюрьме, не при этой обстановке — впечатление на вас она, наверное, произвела бы выгодное. Сотнями попадаются подобные лица между молодыми фабричными, воспитанниками общественных заведений и т. п. Роста Тропман был среднего, отрочески худощавого и стройного сложения. Он казался мне взрослым мальчиком,— впрочем, ему и не было двадцати лет. Цвет лица его был совершенно естественный, здоровый, несколько розовый; он и при нашем входе не побледнел... Не было сомнения, что он точно спал всю ночь. Он не поднимал глаз и дышал мерно и глубоко, как человек, осторожно входящий па длинную гору. Раза два он встряхнул волосами, как бы желая отмахнуться от назойливой мысли, закинул голову, быстро глянул вверх и испустил чуть заметный вздох. За исключением этих, почти мгновенных движений, ничего не изобличало в нем не скажу страха, но даже волнения или тревоги. Мы все были, без сомнения, и бледней и встревоженней его. Когда выпростали его руки из глухих рукавов камзола, он с улыбкой удовольствия поддерживал спереди на груди этот самый камзол, пока

его расстегивали сзади; маленькие дети так делают, когда их раздевают. Потом он сам снял с себя рубашку, надел другую, чистую, тщательно застегнул ворот... Странно было видеть размашистые, свободные движения этого голого тела, этих обнаженных членов на желтоватом фоне тюремной стены...

Потом он нагнулся и надел ботинки, сильно стуча каблуками и подошвами о пол и о стену, чтобы ноги лучше и плотнее вошли. Всё это он делал развязно, бойко, почти весело — точно его пришли звать на прогулку. Он молчал — и мы молчали и только переглядывались, от изумления невольно пожимая плечами. Всех нас поражала простота его движений, простота, доходившая,— как всякое вполне спокойное и естественное проявление жизни,— до изящества. Один из наших товарищей, случайно встретившись со мною потом в течение дня, сказал мне, что ему, во время нашего пребывания в каморке Тропмана, постоянно сдавалось: мы не в 1870 году, а в 1794; мы не простые граждане, а якобинцы — и ведем на казнь не вульгарного убийцу, а маркиза-легитимиста — un ci-devant, un talon rouge, monsieur! [1] Замечено, что осужденные на казнь по объявлении им приговора либо впадают в совершенную бесчувственность и как бы заранее умирают и разлагаются, либо рисуются и бравируют, либо, наконец, предаются отчаянию, плачут, дрожат, умоляют о пощаде... Тропман не принадлежал ни к одному из этих трех разрядов — и потому озадачил даже самого г. Клода. Скажу кстати, что если бы Тропман стал вопить и плакать, нервы мои наверное бы не выдержали и я убежал бы. Но при виде *этого* спокойствия, этой простоты и как бы скромности, все чувства во мне — чувство отвращения к безжалостному убийце, к извергу, перерывавшему горла детей в то время, когда они кричали: maman! maman! — чувство жалости, наконец, к человеку, которого смерть уже готовилась поглотить,— исчезли и потонули в одном: в чувстве изумления. Что поддерживало Тропмана? То ли, что он хотя не рисовался, однако всё же «фигурировал» перед *зрителями*, давал нам свое последнее представление; врожденное ли бесстрашие, самолюбие ли, возбужденное словами г. Клода, гордость борьбы, которую надо было выдержать до конца, или другое, еще не разгаданное чувство?.. Это тайна, которую он унес с собой в могилу. Иные люди до сих пор

[1] одного из бывших, придворного, мосье! *(франц.)*.

убеждены, что Тропман не вполне владел своим рассудком. (Я упомянул выше об адвокате в белой шляпе, которого я, впрочем, больше уже не видал.) Бесцельность, можно почти сказать нелепость истребления целого семейства Кинков — до некоторой степени служит подтверждением этому убеждению.

IX

Но вот он покончил со своими ботинками — и выпрямился, встряхнулся: готов, мол! На него *снова* надели тюремный камзол. Г-н Клод попросил нас всех выйти — и оставить Тропмана наедине со священником. Мы и двух минут не ждали в коридоре, как уже его небольшая фигурка с прямо и смело поднятой головою опять появилась между нами. Религиозное чувство было в нем слабо, и он, вероятно, исполнил последний обряд покаяния перед священником, отпускавшим ему его грехи, именно как обряд. Вся наша группа, с Тропманом посередине, немедленно взошла на узкую винтообразную лестницу, по которой мы четверть часа тому назад спускались, и потонула в непроницаемом мраке... ночник погас на лестнице. Это была минута ужасная. Мы все стремились вверх, слышался торопливый и грубый стук наших ног по плитам ступенек, мы теснились, толкались плечами, с одного из нас свалилась шляпа, кто-то сзади злобно кричал: «Mais sacredieu![1] Зажгите свечку! Посветите!» — а тут же, между нами, вместе с нами, в глухой темноте — наша жертва, наша добыча... этот несчастный... и кто из нас, толкавшихся, теснившихся — он? Не вздумает ли он воспользоваться темнотою — и со всем проворством и решимостью отчаяния — броситься... куда? Куда-нибудь, в отдаленный угол тюрьмы — и там хотя лбом о стену! По крайней мере сам себя порешил...

Не знаю, приходили ли другим в голову эти «опасения»... Но они оказались напрасными. Вся наша группа с небольшой фигуркой посредине вынырнула из углубления лестницы на коридор. Тропман, очевидно, принадлежал гильотине — и началось шествие к ней.

X

Это шествие можно бы было назвать бегством. Тропман шел впереди нас проворными, упругими, почти подскакивавшими шагами; он явно спешил — и мы все спешили за

[1] Но чёрт возьми! *(франц.)*.

ним. Иные даже забегали справа и слева, чтобы еще раз заглянуть ему в лицо. Так промчались мы по коридору, сбежали вниз по другой лестнице — Тропман прыгал через две ступеньки на третью,— пронеслись по другому коридору, перескочили еще несколько ступенек и, наконец, очутились в высокой комнате, с единственным табуретом, о которой я уже говорил и в которой совершается «туалет осужденного». Мы вошли через одну дверь, а из противоположной нам двери появился, важно выступая, в белом галстухе, в черной «паре», ни дать ни взять дипломат или протестантский пастор — палач; вслед за ним вошел низенький толстенький старичок в черном сюртуке, его первый помощник, палач города Бовэ. Старичок держал в руке небольшую кожаную суму. Тропман остановился у табурета; все расположились вокруг него. Палач и старичок-помощник стали от него направо; священник тоже направо, несколько впереди; комендант и г. Клод налево. Старичок открыл ключом замо́к сумы, достал несколько сыромятных белых ремней с пряжками, длинных и коротких, и, с трудом ста́в на колени сзади Тропмана, принялся путать его ноги. Тропман нечаянно наступил на конец одного из этих ремней — старичок попытался его выдернуть, два раза пробормотал: «Pardon, monsieur!», и тронул, наконец, Тропмана за икру. Тот тотчас обернулся и с обычным своим вежливым полупоклоном приподнял ногу и освободил ремень. Священник между тем вполголоса читал молитвы на французском языке из небольшой книжки. Подошли два других помощника — проворно сняли с Тропмана камзол, завели ему руки назад, связали их крест-накрест и опутали всё тело ремнями. Главный палач распоряжался, поводя то туда, то сюда пальцем. Оказалось, что на ремнях не было сделано достаточного числа дыр для шпильков пряжек: тот, кто провертывал дыры, рассчитывал, вероятно, на плотного человека. Старичок сперва поискал в суме, потом пошарил у себя поочередно во всех карманах — и, хорошенько ощупавшись, вытащил наконец из одного из них небольшое кривое шило, которым он принялся с усилием буравить ремни: его неумелые, от подагры распухшие пальцы плохо ему повиновались — да и кожа была толстая, новая. Он проделает дыру, попробует... шпинек не лезет: надо опять вертеть. Священник, вероятно, догадался, что дело неладно, замедляется, и, раза два глянув украдкой через плечо, начал растягивать слова молитв, чтобы дать старичку время справиться.

Наконец, операция, в течение которой, признаюсь откровенно, холодный пот меня прошиб, кончилась — все шпиньки вошли, куда следовало... началась другая. Попросили Тропмана сесть на табурет, перед которым он стоял,— и тот же старичок-подагрик приступил к стрижке его волос. Он достал небольшие ножницы и, кривя губы, старательно обрезал сперва ворот Тропмановой рубахи, той самой рубахи, которую он только что надел и с которой так было бы легко спороть ворот заранее. Но холстина была грубая, вся в складках и не поддавалась едва ли острым лезвиям. Главный палач посмотрел и остался недоволен: выемка была недостаточно велика. Он указал рукою: старичок-подагрик опять принялся за работу — и выкроил еще порядочный кусок холста. Верх спины обнажился — показались лопатки. Тропман слегка повел ими: в комнате было холодно. Тогда старичок принялся за волосы. Положив свою пухлую левую руку на голову Тропмана, который тотчас покорно нагнул ее, он начал стричь его правой. Космы темно-русых жестких волос скользили по плечам, валились на пол; одна из них докатилась до моего сапога. Тропман всё так же покорно наклонял голову; священник еще более растягивал слова молитв. Я не мог отвести взора от этих, некогда обагренных невинной кровью, теперь беспомощно друг на дружке лежавших рук — и особенно от этой тонкой, юношеской шеи... Воображение невольно проводило по ней поперечную черту... Вот тут, думалось мне, через несколько мгновений, раздробляя позвонки, рассекая мускулы и жилы, пройдет десятипудовый топор... а тело, казалось, ничего подобного не ожидало... так оно было гладко, бело, здорово...

Невольно ставил я себе вопрос: о чем думает в эту минуту эта столь покорно наклоненная голова? Держится ли она упорно и, как говорится, стиснув зубы, за одну и ту же мысль: «Не поддамся, мол, я»; проходят ли вихрем по ней разнообразнейшие — и, вероятно, всё незначительные воспоминания прошлого; представляется ли ей с какой-нибудь особенной предсмертной гримасой один из членов семейства Кинков; или она просто старается ни о чем не думать, эта голова, и только твердит самой себе: «Это ничего, это так, вот мы посмотрим...», и будет она так твердить до тех пор, пока смерть не обрушится на нее — и отпрянуть будет некуда...

А старичок всё стриг да стриг... Волосы скрипели, захваченные ножницами... Наконец и эта операция кончи-

лась. Тропман быстро встал, встряхнул головою... Обыкновенно в эту минуту те осужденные, которые еще могут говорить, обращаются с последней просьбой к директору тюрьмы, напоминают об оставшихся долгах или деньгах, благодарят сторожей, просят доставить родным последнюю записку или клок волос, передать последний поклон... но Тропман, очевидно, не был обыкновенным осужденным; он пренебрегал подобными «нежностями» — и не произнес ни единого слова; он молча ждал. Ему на плечи накинули короткую куртку — палач взял его под локоть.

— Послушайте, Тропман (Voyons, Tropmann!),— раздался, среди гробовой тишины, голос г. Клода.— Теперь, через минуту, всё будет кончено. Вы продолжаете настаивать (vous persistez) на том, что у вас были сообщники?

— Да, сударь, продолжаю (Oui, monsieur, je persiste),— отвечал Тропман тем же приятным, твердым баритоном и слегка нагнулся вперед, как бы учтиво извиняясь и даже сожалея, что не может отвечать иначе.

— Eh bien! allons! [1] — промолвил г. Клод, и мы все тронулись; мы вышли на тюремный большой двор.

XI

Было без минуты семь часов — но небо едва посветлело, и тот же тусклый пар заливал весь воздух и скрадывал очертания предметов. Рев толпы охватил нас непрерывной, нестерпимо зычной волной, как только мы переступили порог. По каменной мостовой двора быстро двигалась — прямо к воротам — наша поредевшая кучка: некоторые из нас отстали — да и я, хотя и шел вместе с другими, однако держался немного в стороне. Тропман проворно семенил ногами — путы мешали ему,— и каким он мне тут показался маленьким, почти ребенком! Вдруг перед нами медленно, словно пасть, раскрылись обе половины ворот — и разом, как бы сопровождаемое громадным визгом обрадованной, дождавшейся толпы, глянуло на нас чудовище гильотины с своими двумя узкими черными столбами и вздернутым топором. Мне вдруг стало холодно, холодно до тошноты; мне казалось, что и холод этот вторгся к нам на двор через те ворота; ноги у меня подкосились. Однако я еще раз взглянул на Тропмана. Он внезапно отклонился назад. и голову завалил, и согнул колена, словно кто толкнул его

[1] Ну так идем! *(франц.)*.

в грудь,— «он в обморок упадет!» — шепнул чей-то голос возле меня... Но он тотчас же оправился — и твердой поступью пошел вперед. Мимо его побежали на улицу те из нас, которые хотели видеть, как голова его скатится... У меня на это не хватило духа; с замиравшим сердцем остановился я у ворот...

Я видел, как палач вдруг черной башней вырос на левой стороне гильотинной площадки; я видел, как Тропман отделился от кучки людей, оставшихся внизу, и взбирался по ступеням (их было десять... целых десять ступеней!); я видел, как он остановился и обернулся назад; я слышал, как он промолвил: «Dites à monsieur Claude...» * Я видел, как он появился наверху, как справа и слева два человека бросились на него, точно пауки на муху, как он вдруг повалился головой вперед и как подошвы его брыкнули...

Но тут я отвернулся — и начал ждать,— а земля тихо поплыла под ногами... И показалось мне, что я ждал страшно долго.** Я успел заметить, что при появлении Тропмана людской гам внезапно как бы свернулся клубом — и наступила бездыханная тишина... Передо мной стоял часовой, молодой краснощекий малый... Я успел заметить, что он с тупым недоумением и ужасом пристально смотрел на меня... Я успел даже подумать, что вот этот солдат, быть может, родом из какой-нибудь глухой деревеньки, и́з смирной и доброй семьи,— и теперь — что́ ему приходится видеть! Наконец послышался легкий стук как бы дерева о дерево — это упал верхний полукруг ошейника с продольным разрезом для прохода лезвия, который охватывает шею преступника и держит его голову неподвижной... Потом что-то вдруг глухо зарычало и покатилось — и ухнуло... Точно огромное животное отхаркнулось... Я другого, более верного сравнения приискать не умею. Всё помутилось...

Кто-то схватил меня под руку... Я взглянул: это был помощник г. Клода, г. Ж..., которому, как я узнал впоследствии, мой приятель М. Дюкан поручил наблюдать за мною.

* Я не расслыхал конца фразы. Его слова были: «Dites à m-r Claude, que je persiste», то есть: скажите, что я продолжаю настаивать на том, что у меня были сообщники. Тропман не хотел лишить себя этой последней радости, последнего удовлетворения: оставить жало сомнения и упрека в умах своих судей и публики.

** В сущности, от того мгновения, когда Тропман стал ногою на первую ступень гильотины, до того мгновения, когда его труп швырнули в приготовленный короб,— прошло *двадцать* секунд.

— Вы очень бледны... Не хотите ли воды? — промолвил он улыбясь. Но я благодарил — и пошел обратно на тюремный двор, который мне являлся чем-то вроде убежища от того ужаса за воротами.

XII

Наше общество собралось на гауптвахту возле ворот, чтобы проститься с комендантом и дать несколько разойтись толпе. Туда пришел и я — и узнал, что, лежа уже на доске, Тропман вдруг судорожно откинул голову в сторону — так что она не попала в полукруглое отверстие,— и палачи принуждены были втащить ее туда за волосы, причем он укусил одного из них, самого главного, за палец; что тотчас после казни, в то время как тело, брошенное в фургон, удалялось марш-маршем,— два человека, пользуясь первыми мгновениями неизбежного смущения, прорвались сквозь цепь солдат и, подлезши под гильотину, стали мочить свои платки в кровь, пролившуюся сквозь щели досок...

Но я слушал все эти разговоры, как сквозь сон: я чувствовал себя очень усталым — да не я один. Все казались усталыми — хотя всем, видимо, полегчило, словно обуза свалилась с плеч. Но никто из нас, *решительно никто не смотрел человеком, который сознает, что присутствовал при совершении акта общественного правосудия*: всякий старался мысленно отвернуться и как бы сбросить с себя ответственность в этом убийстве...

Мы с Дюканом откланялись коменданту и отправились домой. Целая река человеческих существ, мужчин, женщин, детей, стремила мимо нас свои некрасивые и неопрятные волны. Почти все молчали; одни лишь блузники-работники изредка перекликались: «Куда, мол, ты?» — «А ты куда?», да уличные мальчишки приветствовали свистом проезжавших «кокоток». И что за испитые, угрюмые, сонные лица! Что за выражение скуки, утомления, неудовлетворения, досады, вялой беспредметной досады! Пьяных я, впрочем, видел немного; либо их уже успели прибрать, либо они сами угомонились. Буднишняя жизнь принимала опять всех этих людей в свои недра — и для чего, для каких ощущений они на несколько часов выходили из ее колеи? Страшно подумать о том, что тут гнездится.

Отойдя шагов двести от тюрьмы, мы нашли пустой фиакр, сели в него и поехали.

Во время дороги мы рассуждали с Дюканом о том, что мы видели и о чем он незадолго перед тем (в январской, мною уже цитированной, книжке «Revue des deux Mondes») сказал такие веские, такие дельные слова. Мы рассуждали о ненужном, о бессмысленном варварстве всей этой средневековой процедуры, по милости которой агония преступника продолжается полчаса (от 28 минут седьмого до 7 часов), о безобразии всех этих раздеваний, одеваний, этой стрижки, этих путешествий по лестницам и коридорам... По какому праву всё это делается? Как допустить такую возмутительную рутину? И сама смертная казнь — может ли она быть оправдана? Мы видели, какое впечатление производит подобное зрелище на народ; да и самого этого, якобы поучительного, зрелища нет вовсе. Едва ли тысячная часть пришедшей толпы, не более пятидесяти или шестидесяти человек, могла, в полумраке раннего утра, из-за полуторасташагового расстояния, сквозь ряды войск и крупы лошадей, хоть что-нибудь увидеть. А остальные? Какую, хотя бы малейшую пользу могли они извлечь из этой пьяной, бессонной, бездельной, развратной ночи? Я вспомнил о молодом, бессмысленно кричавшем блузнике, лицо которого я наблюдал в течение нескольких минут. Неужели он примется сегодня за работу человеком, больше прежнего ненавидящим порок и праздность? И я, наконец, чтó *я* вынес? Чувство невольного изумления перед убийцей, нравственным уродом, умевшим показать свое презрение смерти. Неужели подобные впечатления может желать законодатель? О какой «моральной цели» можно еще толковать после стольких опытом подкрепленных опровержений?

Но не стану вдаваться в рассуждения: они завели бы меня слишком далеко. Да и кому же не известно, что вопрос о смертной казни есть один из очередных, неотлагаемых вопросов, над разрешением которых трудится современное человечество? Я буду доволен и извиню самому себе свое неуместное любопытство, если рассказ мой доставит хотя несколько аргументов защитникам отмены смертной казни или по крайней мере — отмены ее публичности.

Веймар. 1870

О СОЛОВЬЯХ

Посылаю вам, любезный и почтеннейший С. Т., как любителю и знатоку всякого рода охот, следующий рассказ о соловьях, об их пенье, содержанье, способе ловить их и пр., списанный мною со слов одного старого и опытного охотника из дворовых людей. Я постарался сохранить все его выражения и самый склад речи.

Лучшими соловьями всегда считались курские; но в последнее время они похужели; и теперь лучшими считаются соловьи, которые ловятся около Бердичева, на границе; там, в пятнадцати верстах за Бердичевом, есть лес, прозываемый Треяцким; отличные там водятся соловьи. Время их ловить в начале мая. Держатся они больше в черемушнике и мелком лесе и в болотах, где лес растет; болотные соловьи — самые дорогие. Прилетают они дня за три до Егорьева дня; но сначала поют тихо, а к маю в силу войдут, распоются. Выслушивать их надо по зарям и ночью, но лучше по зарям; иногда приходится всю ночь в болоте просидеть. Я с товарищем раз чуть не замерз в болоте: ночью сделался мороз, и к утру в блин льду на воде намерзло; а на мне был кафтанишко летний, плохенький; только тем и спасся, что между двух кочек свернулся, кафтан снял, голову закутал и дыхал себе на пузо под кафтаном; целый день потом зубами стучал. Ловить соловья дело немудреное. Нужно сперва хорошенько выслушать, где он держится; а там точёк на земле расчистить поладнее возле куста, расставить тайник и самку пришпорить, за обе ножки привязать, а самому спрятаться да присвистывать дудочкой, такая дудочка делается вроде пищика. А тайничок небольшой из сетки делается — с двумя дужками; одну дужку крепко к земле приспособить надо, а другую только приткнуть и бечевку к ней привязать; соловей сверху как слетит к самке — тут и дернуть за бечевку, тайничок и закинется. Иной соловей очень жаден,

так сейчас сверху пулей и бросится, как только завидит самку; а другой осторожен: сперва пониже спустится да разглядывает — его ли самка. Осторожных лучше сетью ловить. Сеть плетется сажен в пять; осыпешь ею куст или сухой дром, а осыпать надо слабо; как только спустится соловей — встанешь и погонишь его в сеть, он всё низом летит — ну и повиснет в петельках. Сетью ловить можно и без самки; одною дудочкой. Как поймаешь соловья, тотчас свяжи ему кончики крылышек, чтобы не бился, и сажай его скорее в куролеску — такой ящик делается низенький, сверху и снизу холстом обтянут. Кормить пойманных соловьев надо муравьиными яйцами — понемножку и почаще; они скоро привыкают и принимаются клевать. Не мешает живых муравьев в куролеску напустить: иной болотный соловей не знает муравьиных яиц — не видал никогда — ну, а как муравьи станут таскать яйца — в задор войдет, станет их хватать.

Соловьи у нас здесь * дрянные: поют дурно, понять ничего нельзя, все колена мешают, трещат, спешат; а то вот еще у них самая гадкая есть штука: сделает эдак туў и вдруг: ви! — эдак визгнет, словно в воду окунется. Это самая гадкая штука. Плюнешь и пойдешь. Даже досадно станет. Хороший соловей должен петь разборчиво и не мешать колена — а колена вот какие бывают:

Первое: *Пулькание* — эдак: пуль, пуль, пуль, пуль...

Второе: *Клыкание* — клы, клы, клы, как желна́.

Третье: *Дробь* — выходит примерно как по земле разом дробь просыпать.

Четвертое: *Раскат* — тррррррр...

Пятое: *Пленкание* — почти понять можно: плень, плень, плень.

Шестое: *Лешева дудка*— этак протяжно: го-го-го-го-го, а там коротко: *ту!*

Седьмое: *Кукушкин перелет*. Самое редкое колено; я только два раза в жизни его слыхивал, и оба раза в Тимском уезде. Кукушка, когда полетит, таким манером кричит. Сильный такой, звонкий свист.

Восьмое: *Гусачок*. Га-га-га-га... У малоархангельских соловьев хорошо это колено выходит.

Девятое: *Юлиная стукотня*. Как юла — есть птица, на жаворонка похожая,— или как вот органчики бывают,— этакой круглый свист: фюиюиюиюию...

---

* В Мценском, Чернском и Белевском уездах.

Десятое: *Почин* — эдак: тии-вить, нежно, малиновкой. Это по-настоящему не колено, а соловьи обыкновенно так начинают. У хорошего, нотного соловья оно еще вот как бывает: начнет — тии́-вить, а там: тук! Это отто́лчкой называется. Потом опять — тии́-вить... тук! тук! Два раза оттолчка — и в пол-удара, эдак лучше; в третий раз тии́-вить — да как рассыплет вдруг, сукин сын, дробью или раскатом — едва на ногах устоишь, обожжет! Этакой соловей называется с ударом или с оттолчкой. У хорошего соловья каждое колено длинно выходит, отчетливо, сильно; чем отчетливей, тем длинней. Дурной спешит: сделал колено, отрубил, скорее другое и — смешался. Дурак дураком и остался. А хороший — нет! Рассудительно поет, правильно. Примется какое-нибудь колено чесать — не сойдет с него до исто́мы, проберет хоть кого. Иной даже с оборотом — так длинен; пустит, например, колено, дробь, что ли,— сперва будто книзу, а потом опять в гору, словно кругом себя окружит, как каретное колесо перекатит — надо так сказать. Одного я такого слыхал у мценского купца Ш...ва — вот был соловей! В Петербурге за тысячу двести рублей ассигнацией продан.

По охотницким замечаньям, хорошего соловья от дурного с виду отличить трудно. Многие даже самку от самца не узнают. Иная самка еще казистее самца. Молодого от старого отличить можно. У молодого, когда растопыришь ему крылья, есть на перушках пятнышки, и весь он темней; а старый — серее. Выбирать надо соловья, у которого глаза большие, нос толстый, и чтобы был плечист и высок на ногах. Тот-то соловей, что за тысячу двести рублей пошел, был росту среднего. Его Ш...в под Курском у мальчика купил за двугривенный.

Соловей, коли в береже, до пяти зим перезимовать может. Кормить его надо зимою прусаками или сушеными муравьиными яйцами; только яйца надо брать не из красного леса, а из чернолесья, а то от смолы запор сделается. Вешать надо соловьев не над окнами, а в середине комнаты, под потолком, и в клетке чтоб было нёбко мягкое, суконное или полотняное.

Болезнь на них бывает: вдруг примутся чихать. Скверная это болезнь. Какой и переживет — на другую зиму наверное околеет. Пробовал я табаком нюхательным по корму посыпать — хорошо выходило.

Петь начинают они с рождества — и ближе, сперва

потихоньку; с великого поста, с марта месяца, настоящим голосом, а к Петрову дню перестают. Начинают они обыкновенно с пленкания... так жалобно, нежно: плень... плень... не громко — а по всей комнате слышно. Так звенит приятно, как стеклышки, душу всю поворачивает. Как долго не слышу — всякий раз тронет, по животику так и пробежит, волосики на голове трогаются. Сейчас слезы — и вот они. Выдешь, поплачешь, постоишь.

Молодых соловьев хорошо доставать в Петровки. Надо подметить, куда старые корм носят. Иной раз три, четыре часа, полдня просижу, а уж замечу место. Гнездо они вьют на земле — из сухой травы и листочков. Штук пять в гнезде бывает, а иногда и меньше. Молодых возьмешь да посадишь в западню — сейчас и старые попадутся. Старых надо поймать, чтобы молодых кормили. Посадишь всю семейку в куролеску да муравьиных яиц насыплешь и живых муравьев напустишь. Старые сейчас примутся молодых кормить. Клетку потом завесить надо, а как молодые станут клевать сами, старых принять. Молодые, которых в Петровки из гнезда вынешь, живучее и петь скорее принимаются. Брать надо молодых от длинного голосистого соловья. В клетке они не выводятся. На воле соловей перестает петь, как только детей вывел, а о Петровки он линяет. Сделает на лету коленцо — и кончено. Всё только свистит. А поет он всегда сидя; на лету, когда за самкой нырнет, курлычет.

Молодых соловьев хорошо к старым подвешивать, чтобы учились. Повесить их надо рядом. И тут надо примечать: если молодой, пока старый поет, молчит и сидит, не шелохнется, слушает — из того выйдет прок — в две недели, пожалуй, готов будет; а какой не молчит, сам туда же вслед за стариком бурлит — тот разве на будущий год запоет, как быть следует, да и то сомнительно. Иные охотники секретно в шляпах приносят молодых соловьев в трактир, где есть хороший соловей; сами пьют чай или пиво, а молодые тем временем учатся. Оттого лучше завешивать молодых, когда их к старому приносят.

Первые охотники до соловьев — купцы: тысячи рублей не жалеют. Мне белевские купцы давали двести рублей и товарища — и лошадь была ихняя. Посылали меня к Бердичеву. Я должен был две пары представить отличных соловьев, а остальные, хоть пятьдесят пар, в мою пользу.

Был у меня товарищ, охотник смертный до соловьев; часто мы с ним ездили. Подслеповат он был — много это

ему мешало. Раз, под Лебедянью, выслушал он удивительного соловья. Приходит ко мне, рассказывает — так от жадности весь трясется. Стал его ловить,— а сидел он на высокой осинке. Вот, однако, спустился, погнал его товарищ в сеть; ткнулся соловей в сеть — и повис. Стал его товарищ брать; знать, руки у него дрожали — соловей вдруг как шмыгнет у него между ног, свистнул, запел и улетел. Товарищ так и завопил. Он потом божился, уверял меня, что он явственно чувствовал, как кто-то соловья у него из рук силой выдернул. Что ж! Всяко бывает. Принялся он опять манить его — нет! не тут-то было: оробел, знать, смолк. Целых десять дней товарищ потом за ним всё ходил. Что же вы думаете? Соловей хотя бы чукнул — так и пропал. А товарищ чуть не рехнулся; насилу его домой притащил. Возьмет, шапку оземь грянет, да как начнет себя кулаком пó лбу бить... А то вдруг остановится и закричит: «Раскапывайте землю — в землю уйти хочу, туда мне дорога, слепому, неумелому, безрукому...» Вот как оно бывает чувствительно.

Случается, что друг у друга норовят хороших соловьев отбить, пораньше зайти на место. На всё нужно уменье; да и без счастья тоже нельзя. Случается также, что отводят, колдовством то есть; а против этого — молитва. Раз я таки страху набрался. Сижу я ночью под лесом, выслушиваю соловьев, а ночь такая темная-претемная... И вдруг мне показалось, что будто уж это не по-соловьиному что-то гремит, словно прямо на меня идет... Жутко мне стало, так что и сказать нельзя... вскочил, да и давай бог ноги. Мужики — те не мешают; тем всё равно; еще смеются, пожалуй. Мужик груб; ему что соловей, что зяблик — всё едино. Не их разума дело. Их дело — пахать да на печи лежать с бабой. А я вам теперь всё рассказал.

ПЭГАЗ

Охотники часто любят хвастать своими собаками и превозносить их качества: это тоже род косвенного самовосхваления. Но несомненно то, что между собаками, как между людьми, попадаются умницы и глупыши, даровитости и бездарности, и попадаются даже гении, даже оригиналы *, а разнообразие их способностей «физических и умственных», нрава, темперамента не уступит разнообразию, замечаемому в людской породе. Можно сказать — и без особенной натяжки,— что от долгого, за исторические времена восходящего сожительства собаки с человеком она заразилась им — в хорошем и в дурном смысле слова: ее собственный нормальный строй несомненно нарушен и изменен, как нарушена и изменена самая ее внешность. Собака стала болезненнее, нервознее, ее годы сократились; но она стала интеллигентнее, впечатлительнее и сообразительнее; ее кругозор расширился. Зависть, ревность — и способность к дружбе, отчаянная храбрость, преданность до самоотвержения — и позорная трусость и изменчивость, подозрительность, злопамятность — и добродушие, лукавство и прямота — все эти качества проявляются, иногда с поразительной силой, в перевоспитанной человеком собаке, которая гораздо больше, чем лошадь, заслуживает название «самого благородного его завоевания» — по известному выражению Бюффона.

Но довольно философствовать: обращаюсь к фактам.

У меня, как у всякого «завзятого» охотника, перебывало много собак, дурных, хороших и отличных — попалась даже одна положительно сумасшедшая, которая и кончила жизнь свою, выпрыгнув в слуховое окно сушильни, с четвертого этажа бумажной фабрики; но лучший без всякого сомнения пес, которым я когда-либо обладал,

---

* Весной 1871 года я видел в Лондоне, в одном цирке, собаку, которая исполняла роль «клоуна», паяца; она обладала несомненным комическим юмором.

был длинношерстный, черный с желтыми подпалинами кобель, по кличке «Пэгаз», купленный мной в окрестностях Карлсруэ у охотника-сторожа (Jagdhüter) за сто двадцать гульденов — около восьмидесяти рублей серебром. Мне несколько раз — в последствии времени — предлагали за нее тысячу франков. Пэгаз (он жив еще до сих пор, хотя в начале нынешнего года почти внезапно потерял чутье, оглох, окривел и совершенно опустился), Пэгаз — крупный пес с волнистой шерстью, с удивительно красивой громадной головой, большими карими глазами и необычайно умной и гордой физиономией. Породы он не совсем чистой: он являет смесь английского сеттера и овчарной немецкой собаки; хвост у него толст, передние лапы слишком мясисты, задние несколько жидки. Силой он обладал замечательной и был драчун величайший: на его совести, наверно, лежит несколько собачьих душ. О кошках я уже не упоминаю. Начну с его недостатков на охоте: их немного и перечесть их недолго. Он боялся жары — и когда не было близко воды, подвергался тому состоянию, когда говорят о собаке, что она *«зарьяла»*; он был также несколько тяжел и медлителен в поиске; но так как чутье у него было баснословное — я ничего подобного никогда не встречал и не видывал,— то он все-таки находил дичь скорее и чаще, чем всякая другая собака. Стойка его приводила в изумление, и никогда — никогда! — он *не врал*. *«Коли Пэгаз стоит, значит есть дичь»* — было общепринятой аксиомой между всеми нашими товарищами по охоте. Ни за зайцами, ни за какой другой дичью он не гонял ни шагу; но, не получив правильного, строгого, английского воспитания, он, вслед за выстрелом, не выжидая приказания, бросался поднимать убитую дичь — недостаток важный! Он по полету птицы тотчас узнавал, что она подранена, и если, посмотрев ей вслед, отправлялся за нею, подняв особенным манером голову, то это служило верным знаком, что он ее сыщет и принесет. В полном развитии его сил и способностей — ни одна подстреленная дичь от него не уходила: он был удивительнейший «ретривер» (retriever — сыщик), какого только можно себе представить. Трудно перечесть, сколько он отыскал фазанов, забившихся в густой терновник, которым наполнены почти все германские леса, куропаток, отбежавших чуть не на полверсты от места, где они упали, зайцев, диких коз, лисиц. Случалось, что его приводили на след два, три, четыре часа после нанесения раны: стоило

сказать ему, не возвышая голоса: such, verloren! (шершь, потерял!) — и он немедленно отправлялся курц-галопом сперва в одну сторону, потом в другую — и, наткнувшись на след, стремительно, во все лопатки, пускался по нем... Минута пройдет, другая... и уже заяц или дикая коза кричит под его зубами — или вот уже он мчится назад с добычей во рту. Однажды, на заячьей облаве, Пэгаз выкинул такую удивительную штуку, что я бы едва ли решился рассказать ее, если б не мог сослаться на целый десяток свидетелей. Лесной загон кончился; все охотники сошлись на поляне близ опушки. «Я именно здесь ранил зайца»,— сказал мне один из моих товарищей — и обратился ко мне с обычной просьбой: направить на след Пэгаза. Должно заметить, что на эти облавы, кроме моего пса, прозванного «l'illustre Pégase» [1], ни один не допускался. Собаки в этих случаях только мешают; сами беспокоятся и беспокоят своих владетелей — да своими движеньями предостерегают и отгоняют дичь. Егери-загонщики *своих* собак держат на сворах. Мой Пэгаз, как только начиналась облава и раздавались крики, превращался в истукана, смотрел внимательно в чащу леса, чуть заметно поднимая и опуская уши,— и даже дышать переставал; дичина могла проскочить под самым его носом — он едва дрогнет боками или облизнется, и только. Однажды заяц пробежал буквально по его лапам... Пэгаз удовольствовался тем, что показал пример, будто укусить его хочет. Возвращаюсь к рассказу. Я скомандовал ему: «Such, verloren!» — он отправился — и через несколько мгновений мы услыхали крик пойманного зайца! и вот уже мелькает по лесу красивая фигура моего пса, скачет он прямо ко мне. (Он никому другому не отдавал своей добычи.) Внезапно, в двадцати шагах от меня, он останавливается, кладет зайца на землю — и марш-марш назад! Мы все переглянулись с изумленьем... «Что это значит? — спрашивают у меня.— Зачем Пэгаз не донес до вас зайца? Он этого никогда не делал!» Я не знал, что сказать, ибо сам ничего не понимал, как вдруг опять в лесу раздается заячий крик — и Пэгаз опять мелькает по чаще с *другим* зайцем во рту! Дружные, громкие рукоплескания его приветствовали. Одни охотники могут оценить, какое тонкое чутье, какой ум и какой расчет должны быть у собаки, которая, с только что убитым, теплым зайцем во рту —

[1] «знаменитый Пэгаз» *(франц.)*.

в состоянии, на всем скаку, в виду хозяина, учуять запах другого раненого зайца и понять, что это издает запах именно *другой*, а не тот заяц, которого она держит между зубами!

В другой раз его навели на след раненой дикой козы. Охота происходила на берегу Рейна. Он добежал до берега, бросился направо, потом налево — и, вероятно, рассудив, что дикая коза, хоть и не дала больше следа, пропасть, однако, не могла, бухнулся в воду, переплыл рукав Рейна (Рейн, как известно, против великого герцогства Баденского делится на множество рукавов) — и, выбравшись на противулежащий, заросший лозняками островок, схватил на нем козу.

Еще вспоминаю я зимнюю охоту в самых вершинах Шварцвальда. Везде лежал глубокий снег, деревья обросли громадным инеем, густой туман наполнял воздух и скрадывал очертанья предметов. Сосед мой выстрелил — и когда я, по окончании облавы, подошел к нему, сказал мне, что он стрелял по лисице и, вероятно, ее ранил, потому что она взмахнула хвостом. Мы пустили по следу Пэгаза — и он тотчас же исчез в белой мгле, окружавшей нас. Прошло пять минут, десять, четверть часа... Пэгаз не возвращался. Очевидно, что мой сосед попал в лисицу: если дичь не была ранена и Пэгаза посылали по-пустому, он возвращался тотчас. Наконец, в отдалении раздался глухой лай: он примчался к нам точно с другого света. Мы немедленно двинулись по направлению этого лая: мы знали, что когда Пэгаз не в состоянии был принести добычу, он лаял над нею. Руководимые изредка раздававшимися, отрывочными возгласами его баса, мы шли; и шли мы точно как во сне — не видя почти, куда ставим ноги. Мы поднимались в гору, спускались в лощины, в снегу по колени, в сыром и холодном тумане; стеклянные иглы сыпались на нас с потрясенных нами ветвей... Это было какое-то сказочное путешествие. Каждый из нас казался другому призраком — и всё кругом имело призрачный вид. Наконец что-то зачернело впереди, на дне узкой ложбины: то был Пэгаз. Сидя на корточках, он свесил морду — и, как говорится, «насуровился»; а пред самым его носом, в тесной яме, между двумя плитами гранита, лежала мертвая лисица. Она заползла туда прежде, чем околела, и Пэгаз не в состоянии был достать ее. Оттого он и оповестил нас лаем.

У него над правым глазом был незаросший шрам глубо-

кой раны; эту рану нанесла ему лисица, которую он нашел еще живою, шесть часов после того, как по ней выстрелили, и с которой он вступил в смертный бой.

Вспоминаю я еще следующий случай. Я был приглашен на охоту в Оффенбург — город, лежащий недалеко от Бадена. Эту охоту содержало целое общество спортсменов из Парижа: дичи в ней, особенно фазанов, было множество. Я, разумеется, взял с собой Пэгаза. Нас всех было человек пятнадцать. У многих были отличные, большею частью английские, чистокровные собаки. Переходя с одной облавы на другую, мы вытянулись в линию по дороге вдоль леса; налево от нас зачиналось огромное пустое поле; посредине этого поля — шагах от нас в пятистах — возвышалась небольшая кучка земляных груш (topinambour). Вдруг мой Пэгаз поднял голову, повел носом по ветру и пошел размеренным шагом прямо на ту отдаленную кучку засохших и вытянутых сплошных стеблей. Я остановился и пригласил г-д охотников идти за моей собакой — ибо «тут наверное что-нибудь есть». Между тем другие собаки подскочили, стали вертеться и сновать около Пэгаза, нюхать землю, оглядываться — но ничего не зачуяли; а он, нисколько не смущаясь, продолжал идти, как по струнке. «Заяц, должно быть, где-нибудь в поле залег»,— заметил мне один парижанин. Но я по фигуре, по всей повадке Пэгаза видел, что это не заяц, и вторично пригласил г-д охотников идти за ним. «Наши собаки ничего не чуют,— отвечали они мне в один голос,— вероятно, ваша ошибается». (В Оффенбурге тогда еще не знали Пэгаза.) Я промолчал, взвел курки, пошел за Пэгазом, который лишь изредка оглядывался на меня чрез плечо,— и добрался наконец до кучки земляных груш. Охотники хотя и не последовали за мною, однако все остановились и издали смотрели на меня. «Ну, если ничего не будет?— подумал я,— осрамимся мы, Пэгаз, с тобою...» Но в это самое мгновенье целая дюжина самцов фазанов с оглушительным треском взвилась на воздух — и я, к великой моей радости, сшиб пару, что не всегда со мной случалось, ибо я стреляю посредственно. «Вот, мол, вам, г-да парижане, и вашим чистокровным собакам!» С убитыми фазанами в руках возвратился я к товарищам... Комплименты посыпались на Пэгаза и на меня. Я, вероятно, выказал удовольствие на лице; а он — как ни в чем не бывало! даже не скромничал.

Без преувеличения могу сказать, что Пэгаз сплошь

да рядом зачуевал куропаток за сто, за двести шагов. И, несмотря на свой несколько ленивый поиск, как обдуманно он распоряжался: ни дать ни взять, опытный стратегик! Никогда не опускал головы, не внюхивался в след, позорно фыркая и тыкая носом; он действовал постоянно верхним чутьем, dans le grand style, la grande manière [1], как выражаются французы. Мне, бывало, почти с места сходить не приходилось: только посматриваю за ним. Очень забавляло меня охотиться с кем-нибудь, кто еще не знал Пэгаза; получаса не проходило, как уже слышались восклицанья: «Вот так собака! Да это — профессор!»

Понимал он меня с полуслова; взгляда было для него достаточно. Ума палата была у этой собаки. В том, что он однажды, отстав от меня, ушел из Карлсруэ, где я проводил зиму, и четыре часа спустя очутился в Баден-Бадене, на старой квартире, еще нет ничего необыкновенного; но следующий случай показывает, какая у него была голова. В окрестностях Баден-Бадена как-то появилась бешеная собака и кого-то укусила; тотчас вышел от полиции приказ: всем собакам без исключения надеть намордники. В Германии подобные приказы исполняются пунктуально, и Пэгаз очутился в наморднике. Это было ему неприятно до крайности; он беспрестанно жаловался — то есть садился напротив меня и то лаял, то подавал мне лапу... но делать было нечего, надлежало покориться. Вот однажды моя хозяйка приходит ко мне в комнату и рассказывает, что накануне Пэгаз, воспользовавшись минутой свободы, зарыл свой намордник! Я не хотел дать этому веры; но несколько мгновений спустя хозяйка моя снова вбегает ко мне и шёпотом зовет меня поскорее за собою. Я выхожу на крыльцо — и что же я вижу? Пэгаз с намордником во рту пробирается по двору украдкой, словно на цыпочках — и, забравшись в сарай, принимается рыть в углу лапами землю и бережно закапывает в нее свой намордник! Не было сомнения в том, что он воображал таким образом навсегда отделаться от ненавистного ему стеснения.

Как почти все собаки, он терпеть не мог нищих и дурно одетых людей (детей и женщин он никогда не трогал) — а главное: он никому не позволял ничего уносить; один вид ноши за плечами или в руке возбуждал его подозрения — и тогда горе панталонам заподозренного человека

---

[1] в высоком стиле *(франц.)*.

и в конце концов — горе моему кошельку! Много пришлось мне за него переплатить денег. Однажды слышу я ужасный гвалт в моем палисаднике. Выхожу — и вижу за калиткой человека дурно одетого, с разодранными невыразимыми, а перед калиткой Пэгаза в позе победителя. Человек горько жаловался на Пэгаза — и кричал... но каменщики, работавшие на противуположной стороне улицы, с громким смехом сообщили мне, что этот самый человек сорвал в палисаднике яблоко с дерева — и только тогда подвергся нападению Пэгаза.

Нрава он был — нечего греха таить — сурового и крутого; но ко мне привязался чрезвычайно, до нежности.

Мать Пэгаза была в свое время знаменитость — и тоже пресуровая нравом; даже к хозяину она не ласкалась. Братья и сестры его также отличались своими талантами; но из многочисленного его потомства ни один даже отдаленно не мог сравниться с ним.

В прошлом (1870) году он был еще превосходен, хотя начинал скоро уставать; но в нынешнем ему вдруг всё изменило. Я подозреваю, что с ним сделалось нечто вроде размягчения мозга. Даже ум покинул его — а нельзя сказать, чтобы он слишком был стар. Ему всего девять лет. Жалко было видеть эту поистине великую собаку, превратившуюся в идиота; на охоте он то принимался бессмысленно искать, то есть бежал вперед по прямой линии, повесив хвост и понурив голову, то вдруг останавливался и глядел на меня напряженно и тупо — как бы спрашивая меня, что же надо делать и что с ним такое приключилось? Sic transit gloria mundi! [1] Он еще живет у меня на пенсионе, но уж это не прежний Пэгаз — это жалкая развалина! Я простился с ним не без грусти. «Прощай!— думалось мне,— мой несравненный пес! Не забуду я тебя ввек, и уже не нажить мне такого друга!»

Да едва ли я теперь буду охотиться больше.

Париж. Декабрь 1871

[1] Так проходит слава мира! *(лат.)*.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ И НЕКРОЛОГИ

1856—1877

ВСТРЕЧА МОЯ С БЕЛИНСКИМ

(Письма к Н. А. Основскому)

I

Я познакомился с Белинским в конце 1842 года, в С.-Петербурге. Он жил тогда в доме Лопатина, у Аничкова моста. Меня привел к нему наш общий знакомый З. Я много слышал о нем и очень желал познакомиться с ним, хотя некоторые его статьи, написанные им в предыдущем (1841) году, возбудили во мне недоумение. Я увидел человека небольшого роста, сутуловатого, с неправильным, но замечательным и оригинальным лицом, с нависшими на лоб белокурыми волосами и с тем суровым и беспокойным выражением, которое так часто встречается у застенчивых и одиноких людей; он заговорил и закашлял в одно и то же время, попросил нас сесть и сам торопливо сел на диване, бегая глазами по полу и перебирая табакерку в маленьких и красивых ручках. Одет он был в старый, но опрятный байковый сюртук, и в комнате его замечались следы любви к чистоте и порядку. Беседа началась. Сначала Белинский говорил довольно много и скоро, но без одушевления, без улыбки, как-то криво приподнимая верхнюю губу, покрытую подстриженным усом; он выражался общими, принятыми в то время в литературном кругу местами, отозвался с пренебрежением о двух-трех известных лицах и изданиях, о которых и упоминать бы не стоило; но он понемногу оживился, поднял глаза, и всё лицо его преобразилось. Прежнее суровое, почти болезненное выражение заменилось другим: открытым, оживленным и светлым; привлекательная улыбка заиграла на его губах и засветилась золотыми искорками в его голубых глазах, красоту которых я только тогда и заметил. Белинский сам навел речь на то настроение, под влиянием которого он написал свои прошлогодние статьи, особенно одну из них, и, с безжалостной, преувеличенной резкостью осудив их, как дело прошлое и темное, беззастенчиво высказал перелом, совершившийся в его убеждениях. Я с намерением употребил слово беззастенчиво. Белинский не ведал той ложной и мелкой щепетильности эгоис-

тических натур, которые не в силах сознаться в том, что они ошиблись, потому что им их собственная непогрешимость и строгая последовательность поступков, часто основанные на отсутствии или бедности убеждений, дороже самой истины. Белинский был самолюбив, но себялюбия, но эгоизма в нем и следа не было; собственно себя он ставил ни во что: он, можно сказать, простодушно забывал о себе перед тем, что́ признавал за истину; он был живой человек,— шел, падал, поднимался и опять шел вперед как живой человек. Спешу прибавить, что падал он только на пути умственного развития: других падений он не испытывал и испытать не мог, потому что нравственная чистота этого — как выражались его противники (где они теперь!) — «*циника*» была поистине изумительна и трогательна; знали о ней только близкие его друзья, которым была доступна внутренность храма.

Белинский встал с дивана и начал расхаживать по комнате, понюхивая табачок, останавливаясь, громко смеясь каждому мало-мальски острому слову, своему и чужому. Должно сказать, что собственно блеску в его речах не было: он охотно повторял одни и те же шутки, не совсем даже замысловатые; но когда он был в ударе и умел сдерживать свои нервы (что ему не всегда удавалось: он иногда увлекался и кричал), не было возможно представить человека более красноречивого в лучшем, в русском смысле этого слова: тут не было ни так называемых цветов, ни подготовленных эффектов, ни искусственного закипания, ни даже того опьянения собственным словом, которое иногда принимается и самим говорящим, и слушателями за «настоящее дело»; это было неудержимое излияние нетерпеливого и порывистого, но светлого и здравого ума, согретого всем жаром чистого и страстного сердца и руководимого тем тонким и верным чутьем правды и красоты, которого почти ничем не заменишь. Белинский был именно тем, что мы бы решились назвать центральной натурой; то есть он всеми своими качествами и недостатками стоял близко к центру, к самой сути своего народа, а потому самые его недостатки, как, например, его малый запас познаний, его неусидчивость и неохота к медленным трудам, получали характер как бы необходимости, имели значение историческое. Человек ученый не мог бы быть истинным представителем нашего общества двадцать лет тому назад; он бы не мог быть им даже теперь. Но это не мешало Белинскому сделаться одним из руководителей

общественного сознания своего времени. Ибо, во-первых, он хотя и не был учен, знал, однако, довольно для того, чтоб иметь право говорить и наставлять других; а во-вторых, он знал именно то, что нужно было знать, и это знание срослось у него с жизнью, как во всякой центральной натуре. Можно быть человеком весьма умным, блестящим и замечательным и находиться в то же время на периферии, на окружности, если можно так выразиться, своего народа... Всякому случалось встречать такие натуры: нельзя не сожалеть об их бесплодности, но удивляться ей нечего. Однако я отвлекаюсь от предмета моего письма.

После первого моего посещения Белинского я виделся с ним несколько раз в продолжение зимы. На Святой я уехал в деревню и уже опять встретился с ним летом на даче Лесного института. Тут мы сошлись с ним окончательно и видались почти каждый день. В то время (публика об этом давно забыла — я по крайней мере льщу себя этой надеждой) я напечатал небольшой рассказ в стихах, который, в силу некоторых, едва заметных, крупиц чего-то похожего на дарование, заслужил одобрение Белинского, всегда готового протянуть руку начинающему и приветствовать всё, что хотя немного обещало быть полезным приращением тому, что Белинский любил самой страстной любовью — русской словесности. Он даже напечатал статью об этом рассказе в «Отечеств⟨енных⟩ записках»,— статью, которую я не могу вспомнить не краснея; зато в весьма непродолжительном времени надежды Белинского на мою литературную будущность значительно охладели, и он стал считать меня способным на одну лишь критическую и этнографическую деятельность. Как бы то ни было, но наше сближение летом 1843 года имело результатом продолжительные шестичасовые беседы, в течение которых мы с Белинским касались всех возможных предметов, преимущественно, однако, философских и литературных...

Он занимал одну из тех сбитых из барочных досок и оклеенных грубыми пестрыми обоями клеток, которые в Петербурге называются дачами; состоял при этой даче какой-то неприятный, всем доступный садишко, где растения не могли — да, кажется, и не хотели дать тени; сообщения с Петербургом были затруднительны — в ближней лавочке не находилось ничего, кроме дурного чаю и такого же сахару,— словом, удобств никаких! Помнится, Белинский, человек совершенно не практичес-

кий в житейском смысле, купил, между прочим, по совету доктора козу для молока, а у козы за старостью лет молока не оказалось. Но лето стояло чудесное — и мы с Белинским много гуляли по сосновым рощицам, окружающим Лесной институт; запах их был полезен его уже тогда расстроенной груди. Мы садились на сухой и мягкий, усеянный тонкими иглами мох — и тут-то происходили между нами те долгие разговоры, о которых я упомянул выше. Я тогда недавно воротился из Берлина, где занимался философией Гегеля; Белинский расспрашивал меня, слушал, возражал, развивал свои мысли — и всё это он делал с какой-то алчной жадностью, с каким-то стремительным домогательством истины. Трудно было иногда следить за ним; человеку хотелось — по человечеству — отдохнуть, но он не знал отдыха — и ты поневоле отвечал и спорил, и нельзя было пенять на это нетерпение: оно вытекало из самых недр взволнованной души. Страстная по преимуществу натура Белинского высказывалась в каждом слове, в каждом движении, в самом его молчании; ум его постоянно и неутомимо работал; но теперь, когда я вспоминаю о наших разговорах, меня более всего поражает тот глубокий здравый смысл, то, ему самому не совсем ясное, но тем более сильное сознание своего призвания, сознание, которое при всех его безоглядочных порывах не позволяло ему отклоняться от единственно полезной в то время деятельности: литературно-критической, в обширнейшем смысле слова. Критика его не имела тогда (да и после) никакой заранее определенной системы: собственно теория критики, рассуждения о разных ее родах и т. д. его мало занимали; он и в этом был прямо русский, не отвлеченный человек. Для него литература была одним из самых полных проявлений живых сил народа; он требовал от критика вообще — и от себя — не столько изучения народа и его истории, сколько любви к нему и понимания его, вместе с пониманием художества и поэзии, и полагал, что с этими данными критик имеет право выражать свое мнение. Он чувствовал, что в то время, когда он писал, прямо действовать на общественное сознание было невозможно; разработывать массу данных фактов, вносить критический анализ в историю нашей литературы — для этого ему недоставало сведений, а главное, тогда было не до того. Тогда следовало расчистить самый родник, уяснить первоначальные понятия современников о том, что в словесности нашей представлялось как правда

и как красота, следовало сказать обо всех ее явлениях искреннее и смелое слово — и Белинский принялся за это дело со всей несокрушимой энергией своей восторженной натуры. В этом деле никто не был его учителем, руководителем: из кружка своих московских друзей он вынес почти все свои познания, знакомство с результатами науки; он многим был им обязан, они дали ему в руки орудие, но никто не мог сказать ему, как им действовать, против кого сражаться; он как будто проводил их идеи, исполнял их замыслы,— но ни один из его товарищей-наставников не был в состоянии заменить его, делать *его* дело, потому что он превосходил их всех без исключения силой и тонкостию эстетического понимания, почти непогрешительным вкусом. При его страстном желании быть всегда истинным, при отсутствии в нем всякой мелкой щепетильности Белинский легко поддавался влиянию людей, которых он уважал и которым верил. В его натуре лежала склонность к преувеличению, или, говоря точнее, к беззаветному и полному высказыванию всего того, что ему казалось справедливым; осторожность, предусмотрительность были ему чужды; стоило только взглянуть на полулисты, которые он посылал в типографию, на эти прямые, как стрелы, строки его быстрого, крупного, своеобразного почерка, почти без помарок, чтобы понять, что это писал человек, который не взвешивал и не рассчитывал свои выраженья. Оттого он часто увлекался и впадал в противоречия с самим собою, на которые враги его указывали потом с злорадным и бесплодным торжеством; оттого он в течение года внезапно начал наполнять свои статьи школьными выражениями немецкой философии, которым он сам почти добродушно радовался; оттого он иногда, читая между строками у авторов, вроде Красова, превозносил их за то, что он один прочел, за то, на что они едва намекали. Но со всем тем можно утвердительно сказать, что этот наплыв, что эти набежавшие волны не касались его почвы и что он даже в самых далеких своих «странствованиях» все-таки оставался самим собою, то есть оригинальным и самобытным мыслителем, едва ли не самым замечательным критиком своего времени. С этим, вероятно, согласятся все те, которые внимательно прочтут его недавно собранные и изданные сочинения. Особенно замечательны и интересны были его критические отношения к Пушкину, Гоголю и Лермонтову — этим трем, далеко не одинаково даровитым, но полнейшим представителям нашей поэзии.

Впрочем, я намерен поговорить об этом с вами во втором моем письме, которое последует вскоре. Но не могу теперь же не рассказать вам один случай, в котором особенно ясно высказался характер Белинского. В первые дни своего пребывания на даче Лесного института его занимал один очень важный религиозный вопрос; поверите ли, что в течение восьми дней, пока он не добился удовлетворительного, по его мнению, разрешения своих сомнений, он был в лихорадке, ни о чем другом говорить не мог, не понимал даже, как можно говорить о чем-нибудь другом, пока вопрос такой важности не разрешен, и упрекал меня в легкомыслии, как только я позволял себе малейшее уклонение. Черта, быть может, забавная, но над которой стоит призадуматься, особенно нам, русским людям,— и особенно теперь!

И. Тургенев

⟨ПРОСПЕР МЕРИМЕ⟩

Некролог
(Из частного письма)

Баден-Баден, 10 октября (28 сентября) ⟨1870 г.⟩

Вчера я прочел в «Indépendance Belge» известие о смерти П. Мериме в Канне. Оно меня очень огорчило, хотя я до некоторой степени ожидал его: последнюю его записку ко мне от 23 сентября я едва мог разобрать,— до того изменился его красивый и четкий почерк. Смерть производит всегда впечатление чего-то неожиданного, как ни ежедневна, как ни ежеминутна она. Я уже не говорю о том, что литература теряет в Мериме одного из самых тонко-умных повествователей, талант которого заслужил высокое одобрение Гёте; но мы, русские, обязаны почтить в нем человека, который питал искреннюю и сердечную привязанность к нашему народу, к нашему языку, ко всему нашему быту,— человека, который положительно благоговел перед Пушкиным и глубоко и верно понимал и ценил красоты его поэзии. Лично я теряю в нем друга... Я постоянно с ним переписывался, но видел я его года два тому назад в Париже; он уже тогда страдал той болезнью (водянкой в легких), которая унесла его. Про Мериме весьма справедливо сказал Э. Ожье, что он был «un faux égoïste» [1] — как бывают «faux bonhommes» [2]. Под наружным равнодушием и холодом он скрывал самое любящее сердце; друзьям своим он был неизменно предан до конца; в несчастии он еще сильнее прилеплялся к ним, даже когда это несчастие было не совсем незаслуженное. Стоит вспомнить, как он заступился за известного библиотекаря Либри... Он подвергся даже двухнедельному заключению за то, что не хотел верить тем похищениям, в которых обвинялся его друг. Кто его знал, тот никогда не забудет его остроумного, неназойливого, на старинный французский лад, изящного разговора. Он обладал обширными и разнообразными сведениями; в литературе дорожил правдой и стремился к

---

[1] «лжеэгоист» *(франц.)*.
[2] «лжедобродушные люди» *(франц.)*.

ней, ненавидел аффектацию и фразу, но чуждался крайностей реализма и требовал выбора, меры, античной законченности формы. Это заставляло его впадать в некоторую сухость и скупость исполнения, и он сам в этом сознавался в те редкие мгновения, когда позволял себе говорить о собственных произведениях. В этом отношении я не знал человека более безличного, «plus impersonnel», как говорят французы, большего врага частицы *я*. Я не знал также человека менее тщеславного: Мериме был единственный француз, не носивший в петличке розетки Почетного легиона (он был командором этого ордена). В нем с годами всё более и более развивалось то полунасмешливое, полусочувственное, в сущности глубоко гуманное воззрение на жизнь, которое свойственно скептическим, но добрым умам, тщательно и постоянно изучавшим людские нравы, их слабости и страсти. Он ясно понимал и то, что не согласовалось с его убеждениями. И в политике он был скептик... Но этот вопрос мы всегда оставляли в стороне, так как он лично был привязан к наполеоновскому семейству и знал мое мнение о нем. Впрочем, я не намерен теперь представить оценку его личности... я, быть может, попытаюсь сделать это впоследствии... Мериме исполнилось 67 лет: он родился 28-го сентября 1803 года.

И. Т.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ТУРГЕНЕВ

29 октября (10 ноября) нынешнего 1871 года скончался в своей вилле Вербуа́ (Ver-Bois — или «Зеленая роща», как называл ее покойник), возле Буживаля в окрестностях Парижа, один из самых замечательных и — прибавим смело, как бы отвечая перед нелицемерным судом потомства,— один из благороднейших русских людей, Николай Иванович Тургенев.

Мы не намерены входить теперь в подробную оценку покойного как политического деятеля, ученого и публициста: превосходные статьи г. Пыпина, в которых он столь часто опирается на свидетельство Николая Ивановича и цитирует его, снова обратили в последнее время внимание мыслящей части публики на этого изгнанника особого рода, который, проведя почти полстолетия в отдалении от родины, жил, можно сказать, только Россией и для России. Конечно, ни один будущий русский историк, когда ему придется излагать постепенные фазисы нашего общественного развития в XIX столетии, не обойдет молчанием Н. И. Тургенева; он укажет на него, как на одного из самых типических представителей той знаменательной эпохи, которой присвоено название Александровской и в течение которой были заложены или возбуждены зачатки преобразований, совершившихся при другом Александре.

Мы ограничимся сообщением некоторых биографических, библиографических данных и посильным воспроизведением личного характера и образа человека, к которому чувство глубокого сердечного уважения привязывало нас более, чем узы отдаленного родства.

Николай Иванович родился не в 1787 и не 1790 году, как было ошибочно показано в нескольких биографиях,— а 11 (22) октября 1789 года — от Ивана Петровича Тургенева и Екатерины Александровны, урожденной Качаловой. Родился он в Симбирске, где и провел первое свое детство, но воспитывался в Москве, на Маросейке, в доме, принадлежавшем его семейству (ныне этот дом — собст-

венность гг. Боткиных). У него было три старших брата: Иван, умерший в детстве, Андрей, скончавшийся в 1803, Александр, скончавшийся в 1845, и один младший, Сергей, скончавшийся в 1827 году. Отец, Иван Петрович, недолго пережил своего любимца, Андрея, друга Жуковского; мать скончалась гораздо позже. Значение всего этого семейства Тургеневых достаточно известно: оно не раз служило предметом литературных и критических изысканий. Можно без преувеличения сказать, что они сами принадлежали к числу лучших людей и тесно соприкасались с другими лучшими людьми того времени. Их деятельность оставила заметный и не бесполезный, не бесславный след. Николай Иванович, по примеру брата своего Александра, учившегося в Гёттингенском университете, также в 1810 и 1811 году слушал в том же университете лекции у тогдашних знаменитых профессоров — Шлецера, Геерена, Гёде и других; он занимался преимущественно политической экономией, финансовыми и камеральными науками. Посетив в 1811 году Париж, где он видел Наполеона на вершине своей славы, но уже предчувствовал его падение, 12-й год он провел в России, а в 13-м году был, как известно, прикомандирован к знаменитому Штейну, память которого он до старости чтил как святыню; сам Штейн питал чувство дружелюбия к молодому своему помощнику: имя Николая Тургенева, по его словам, было «равносильно с именами честности и чести». Николай Иванович сопровождал в качестве комиссара от правительства нашу армию в кампании 14-го и 15-го годов, и в начале 1816 года вернулся в Россию, несмотря на убеждения Штейна, который хотел удержать его при себе. Скоро потом он издал свой «Опыт теории налогов». В этом сочинении, доставившем ему немедленно почетную известность, он, говоря его собственными словами, пользовался всякой представлявшейся ему возможностью для нападения, с государственной и финансовой точки зрения, на крепостное право или бесправие, на этого врага, с которым он боролся целую жизнь — боролся дольше всех и, быть может, раньше всех своих современников. Назначенный статс-секретарем при Государственном совете, Николай Иванович в 1819 году представил императору Александру, через графа Милорадовича, записку, озаглавленную: «Нечто о крепостном состоянии в России». Мысль, проведенная им в этой записке, состояла в том, что конец рабству может положить одно самодер-

жавие, что оно одно может избавить Россию от подобного позора. Мысль эта поразила императора, и он сказал графу, что возьмет лучшее из этой записки, благородная откровенность которой не прибегала ни к каким уловкам и оттенкам, и «непременно сделает что-нибудь для крестьян». Истории ведомы причины, почему это обещание осталось без исполнения... Мы не станем вдаваться в них. Н. И. Тургенев занимал должность статс-секретаря до 1824 года. Выехав из России, для поправления своего здоровья, в апреле месяце того же года, он увидел ее только в 1857 году — уже старцем. Известны также причины, превратившие человека, которому, казалось, всё сулило блестящую карьеру, которого ожидал министерский портфель, о котором сам император Александр не однажды выражался, что он один может заменить ему Сперанского,— превратившие, говорим мы, этого человека в государственного преступника, осужденного на смертную казнь. Известна также та настойчивость, с которою Н. Тургенев, опровергая доводы доклада следственной комиссии, утверждал свою неповинность в деле 14 декабря. Его неявка на вызов из-за границы решила его судьбу, хотя в наших законах в то время за неявку не существовало определенного наказания. Несчастье Н. Тургенева было велико, силен был удар, обрушившийся на него; но и в самом своем несчастье он мог утешиться тем, что Штейн, друг и наставник его молодости, решительно и постоянно отказывался допускать легальность его осуждения... То же думал и так же высказывался Гумбольдт. Мнение Штейна и Гумбольдта впоследствии было разделено даже некоторыми из осудивших Н. Тургенева!

Подтвердить справедливость этих последних слов могут, кроме книги «La Russie et les Russes» [1], письма Александра Тургенева к брату Николаю, собранные покойником и уже почти оконченные печатаньем в Лейпциге (укажем, между прочим, на те письма, где А. И. Тургенев приводит слова князя Козловского). Семейство Н. И. Тургенева почитает своей обязанностью исполнить его намерение, и эти письма скоро появятся в свет. Корректурный экземпляр находился в наших руках, и мы можем свидетельствовать об их занимательности и важности для изучения эпохи, последовавшей за 1825 годом. Письма эти являют в весьма привлекательном свете самого А. И. Тур-

---

[1] «Россия и русские» *(франц.)*.

генева — человека, который, сколько мы можем судить, не вполне верно оценен нашим поколением.

Николай Тургенев, лишившись за границей нежно любимого им брата Сергея (глубокая привязанность всех членов тургеневского семейства друг к другу составляет как бы отличительную их черту), удалился сперва в Англию, потом в Швейцарию, где он познакомился с будущей своей супругой, Кларой, дочерью сардинца, маркиза Виарис, храброго офицера наполеоновских войск, которому товарищи на поле сражения при Прейсиш-Эйлау единогласно присудили предоставленный их дивизии титул барона империи. Н. Тургенев женился на девице Виарис в Женеве, в 1833 году, и прижил с нею двух сыновей и дочь. В 1857 году он в первый раз, в 1859 году во второй раз посетил Россию, а в 1864 увидел ее снова с чувством Симеона, взывающего: «Ныне отпущаеши!..» Ненавистное рабство наконец прекратилось! Благополучно царствующий государь возвратил ему чины и дворянское достоинство, но если сердце старца было преисполнено чувством благодарной любви к монарху, то, конечно, не столько за эту милость, которая в глазах Тургенева была не что иное, как акт правосудия, сколько за совершение, силой царского самодержавия, всех заветных его надежд и мечтаний! Впрочем, вот собственные его слова: *

«Если... я был так предан Александру Первому за одно его желание освободить крестьян, то каковы должны быть мои чувства к тому, кто совершил это освобождение, и совершил столь мудрым образом? Ни один из освобожденных не питает в душе более любви и преданности к освободителю, нежели сколько я питаю, видя, наконец, низвергнутым то зло, которое мучило меня в продолжение всей моей жизни!»

В 1871 году Н. Тургенев скончался тихо, почти внезапно, без предварительной болезни. Два дня перед тем он еще, несмотря на свои восемьдесят два года, делал прогулку верхом.

Н. И. Тургенев безустанно, со всем жаром юноши, со всем постоянством мужа, следил за всем, что совершалось в России хорошего и дурного, радостного и печального,— и отзывался живым словом и печатной речью на все жизненные вопросы нашего быта. Вот по возможности полный перечень изданных им книг и брошюр:

* «Чего желать для России?» Предисловие, стр. XXVI—VII.

а) Опыт теории налогов. 1818.

б) La Russie et les Russes (3 части). 1847.

в) La Russie en présence de la crise Européenne [1]. 1848 *.

г) Пора! 1858.

д) О силе и действии рескриптов 20-го ноября ⟨1857 г.⟩ 1859.

е) Вопрос освобожденья и вопрос управления крестьян. 1859.

ж) О суде крестьян и о судебной полиции в России. 1860.

з) Un dernier mot sur l'émancipation des serfs [2]. 1860.

и) О новом устройстве крестьян. 1861.

і) Взгляд на дела России. 1862 **.

к) О разноплеменности населения в русском государстве. 1866.

л) Ответ Е. Ковалевскому и на статью в «Инвалиде». 1867.

м) Чего желать для России? 1868.

н) О нравственном отношении России к Европе. 1869.

Сверх того, в «Колоколе» было помещено письмо Н. Тургенева к А. И. Герцену. Он был также один из основателей (в 1854 году) в Париже ассоциации под названием: «Всеобщий христианский союз» (Alliance chrétienne universelle). Николай Иванович, как и всё его семейство, был проникнут глубоко религиозным чувством, не исключительно фанатическим, но свободным и широким.

Скажем теперь несколько слов о нем самом, об его характере. Есть отличное английское выражение: «A single-minded man, singleness of mind» [3], которое как нельзя лучше определяет самую сущность Н. И. Тургенева. В устах англичан эти выражения звучат особой похвалой: они обозначают ими не одну лишь неизменяемость, «*одинаковость*» убеждений, но и правдивость и искренность их. Сам Н. Тургенев говорит о себе — и с полным на то правом: «Я остался верен моим убеждениям. Мнения мои никогда не переменялись» («Русский заграничный сбор-

---

[1] Россия и современный европейский кризис *(франц.)*.

* А не в 1869 году, как сказано в некрологической статье, помещенной в «Голосе». В этой брошюре находится замечательное предсказание Крымской войны.

[2] Последнее слово об освобождении крепостных *(франц.)*.

** Тут помещена, между прочим, и Записка 1819 года.

[3] «У прямодушного человека и ум прямой» *(англ.)*.

ник». Часть V-я, предисловие). Существует французское изречение:

L'homme absurde est celui qui ne change jamais [1]...—

но Н. Тургенев не страшился быть этим «homme absurde». Впрочем, не должно думать, чтоб он оставался глух и слеп перед истиной; не отступая ни на шаг от своих принципов, он готов был допустить различность способов к их применению. Он слишком был добросовестен, в нем слишком было мало личного эгоизма и самомнения, чтобы не признать превосходства способа чужого перед придуманным им самим, когда это превосходство было ему доказано. Это случилось с ним, например, в деле крестьянского выкупа.

Не зная еще, каким образом разрешит его правительство, он предлагал уступить крестьянам безвозмездно одну треть всей земли, и на этом основании устроил в 1859 году, в полученном им по наследству имении, добровольный раздел с крестьянами. Они остались довольными,— но это не помешало, однако, Николаю Ивановичу впоследствии признать превосходство системы, введенной правительством.

Эта «одинаковость» и всецелость убеждений придавала, конечно, Николаю Ивановичу некоторую если не исключительность, то односторонность... Но все почти дельные умы — односторонни. Беллетристика и художество его интересовали мало: он был человек по преимуществу политический, государственный, в высокой степени одаренный чувством равновесия и меры. Граф Каподистриа, хороший судья, отзывался о нем, что он был бы государственным человеком даже в Англии. Вместе с твердостью и неизменяемостью убеждений в душе Николая Ивановича жила несокрушимая любовь к правосудию, к справедливости, к разумной свободе — и такая же ненависть к угнетению и кривосудию. Человек с сердцем мягким и нежным, он презирал слабость, дряблость, страх перед ответственностью. Грубость, неуважение человеческой личности, жестокость возмущали его несказанно. «Je haïs cruellement la cruauté» [2]— мог он сказать вместе с Монтеньем. Сострадание ко всякому несчастью было тоже выдающеюся чертою его характера, и не пассивное сострадание, а деятельное, почти ретивое; не было человека, который бы давал охотнее, щедрее и скорее. Он действительно, в точ-

[1] Глупец тот, кто никогда не изменяется... *(франц.)*.
[2] «Я жестоко ненавижу жестокость» *(франц.)*.

ном смысле слова, приносил жертвы с радостью, почти с благодарностью тому, кто доставлял ему случай приносить эти жертвы. На всё великое, великодушное сердце его откликалось с той силой чувства, с тем порывом и пылом, которых в нашу эпоху как-то уже не встречаешь! Подобно многим своим сверстникам, этот старик остался юноша душою, и трогательна и изумительна для всех нас, столь рано устающих и столь слабо увлекающихся, была свежесть и яркость впечатлений этого неутомимого борца! Мы уже упомянули выше, говоря о чувствах его к государю, как горячо умел он любить тех, в ком видел благодетелей своей родины... Мы можем прибавить, что нам редко случалось видеть нечто более умилительное, как Н. Тургенева, предстоявшего с бегущими по щекам слезами в церкви парижского посольства во время молебна за государя, в день, когда пришло известие о появлении манифеста 19 февраля; редко случалось слышать нечто более искренне вырвавшееся из глубины растроганной души, как его восклицание: «Я не думал, чтобы после Штейна я мог полюбить кого-нибудь так, как полюбил Николая Милютина!»

«Le trait caractéristique de la vie de l'être vraiment excellent à qui nous rendons les derniers devoirs» [1],— справедливо сказал на похоронах Н. Тургенева г-н М. П., сорокалетний друг его семейства. «Ce fut sa persévérante et inébranlable fidélité, son ardent et infatigable dévouement à toutes les causes justes et humaines. Toutes et partout lui tenaient à coeur... Ce qu'un apôtre disait jadis: „Où soffre-t-on que je ne souffre, où se réjouiton que je ne me réjouisse?“ N. Tourgueneff le pouvait dire aussi. Qui ne l'a surpris et souvent, pleurant d'indignation au récit d'une iniquité, ou pleurant de joie, comme d'un bonheur personnel, au spectacle d'une délivrance?»[2]

Прибавим еще несколько слов о нем.

Несмотря на многолетнее пребывание за границей,

---

[1] «Характерная черта жизни человека истинно прекрасного, которому мы отдаем последний долг» *(франц.)*.

[2] «Это была его постоянная и непоколебимая верность, его пламенная и неутомимая преданность всему тому, что справедливо и человечно. Всё и повсюду хватало его за сердце. То, что один из апостолов сказал когда-то: „Чьим страданьем не страдал я, чьей радости не радовался?“ — мог сказать также и Н. Тургенев. Кто только не заставал его часто плачущим от возмущения при рассказе о несправедливости или от радости, как от личного счастья, при каждом зрелище освобождения?» *(франц.)*.

Н. И. Тургенев остался русским человеком с ног до головы — и не только русским, московским человеком. Эта коренная русская суть выражалась во всем: в приеме, во всех движениях, во всей повадке, в самом выговоре французского языка — о русском языке уже и упоминать нечего. Бывало, находясь под кровом этого радушного, гостеприимного хозяина-хлебосола (он жил на большую ногу — известно, что брат его, Александр Иванович, сохранил ему всё его состояние), слушая его несколько тяжеловатую, но всегда искреннюю, толковую и честную речь, ты невольно удивлялся, что почему ты сидишь перед камином в убранном по-иностранному кабинете, а не в теплой и просторной гостиной старозаветного московского дома где-нибудь на Арбате, или на Пречистенке, или на той же Маросейке, где Н. Тургенев провел свою первую молодость? Он говорил охотно; но все мысли его до того были обращены на современное или на будущее, что о прошедшем он распространялся мало; а о своем собственном прошедшем — уже вовсе никогда. Никогда из уст его не исходило жалобы; отсутствие личной озабоченности, личной требовательности привлекало к нему сердца домашних, друзей, самих слуг. Вот уж про него нельзя было сказать, что он «хвалитель старины» — laudator temporis acti. Всякое известие с родины подхватывалось им на лету: он слушал рассказы о ней с жадностью, с страстным увлечением; он верил в нее, в наш народ, в наши силы, в наше будущее, в наши дарования. «Как теперь стали писать!» — говаривал он, бывало, указывая иногда на довольно обыкновенную, но благонамеренную — и, главное, независимую журнальную статью! Зато ничто так не возмущало его, как известие о несправедливости, совершенной в нашем пространном отечестве. Она казалась ему анахронизмом в царствование Александра Второго. Он не допускал ее, он волновался, он горячился, он гневался «праведным гневом» — his righteous anger, как выразилась про него одна знакомая англичанка; он негодовал, быть может, даже более, чем те, которых эта несправедливость самих постигла. Изгнанник, постоянный житель Франции, он был патриотом по преимуществу... В польском вопросе, в вопросе об остзейском крае патриотизм этот выказывался, быть может, даже с излишней резкостью... *

* За час до смерти он читал 3-й том «Окраин России» г. Самарина.

И такому-то, вполне русскому человеку суждено было и жить и умереть за границей!

Но не будем слишком жалеть о нем... Воодушевимся скорей его примером! Пример человека, неуклонно преданного тому, что он признал за правду, полезен и нужен нам, русским! Из возможных благ, доступных людям, многие достались на его долю: он вкусил вполне счастье семейной жизни, преданной дружбы; он узрел, он осязал исполнение своих заветнейших дум... Будем надеяться, что и для тех из них, которые еще не исполнились и которым он посвятил свой последний труд, со временем так же настанет черед и что свершение их обрадует его хотя в могиле новою зарею счастья, которое оно принесет столь любимому им русскому народу!

Память его останется навсегда драгоценной для всех, кто знал его; но и Россия не забудет одного из лучших своих сынов!

Париж.
17/29 ноября 1871.

ПИСЬМО К РЕДАКТОРУ ПО ПОВОДУ СМЕРТИ гр. А. К. ТОЛСТОГО

Буживаль (возле Парижа), 5(17) октября 1875.

Любезнейший М⟨ихаил⟩ М⟨атвеевич⟩, третьего дня вечером получил я вашу телеграмму; горестной скорбью наполнила она мое сердце. Я знал и прежде, что Толстому не суждено было долго жить на земле: не далее как три месяца тому назад его доктор в Карлсбаде сказывал мне, что нашему бедному другу не просуществовать и года; но трудно сразу примириться даже с ожиданной потерей, особенно с потерей такого человека, каков был Толстой. Я далек от намерения представить теперь же его полную оценку, определить его место и значение в современной русской словесности: это — дело будущих его биографов; мне хочется только высказать несколько мыслей, внушенных воспоминанием о симпатической личности отошедшего в вечность поэта.

Я сказал: поэта. Да; он был им несомненно, вполне, всем существом своим; он был рожден поэтом, а это в наше время везде — и пуще всего в России — большая редкость. Одним этим словом определяется поколение, к которому он принадлежал (известно, что у нас в нынешнее время *молодых* поэтов не имеется), определяются также его убеждения, его сердечные наклонности, все его бескорыстные и искренние стремления. Положение Толстого в обществе, его связи открывали ему широкий путь ко всему тому, что́ так ценится большинством людей; но он остался верен своему призванию — поэзии, литературе; он не мог быть ничем иным, как только именно тем, чем создала его природа; он имел все качества, свойства, весь по́шиб литератора в лучшем значении слова. Не будучи одарен той силой творчества, тем богатством фантазии, которые присущи первоклассным талантам, Толстой обладал в значительной степени тем, что́ одно дает жизнь и смысл художественным произведениям, а именно: собственной, оригинальной и в

то же время очень разнообразной физиономией; он свободно, мастерской рукою распоряжался родным языком, лишь изредка поддаваясь то искушениям виртуозности — желанию пощеголять архаическими, правда, иногда весьма счастливыми, оборотами, то другим, мгновенным соображениям, в сущности чуждым, как вообще всё политическое, его сердцу и уму. Он оставил в наследство своим соотечественникам прекрасные образцы драм, романов, лирических стихотворений, которые — в течение долгих лет — стыдно будет не знать всякому образованному русскому; он был создателем нового у нас литературного рода — исторической баллады, легенды; на этом поприще он не имеет соперников — и в последней из них, помещенной в октябрьском № «Вестника Европы» (в день известия о его смерти!), он достигает почти дантовской образности и силы. Наконец — и как бы в подтверждение сказанного выше о многосторонности его дарования — кто же не знает, что в его строго идеальной и стройной натуре била свежим ключом струя неподдельного юмора — и что граф А. К. Толстой, автор «Смерти Иоанна Грозного» и «Князя Серебряного», был в то же время одним из творцов памятного всем «Кузьмы Пруткова»?

Вот поэт, которого мы лишились и который, при теперешнем направлении умов, едва ли скоро будет заменен. И пусть те молодые люди, которым эти строки попадутся на глаза, не пожимают плечами и не думают, что эта утрата преувеличена мною; смею уверить их, что проложить и оставить за собою след будет со временем в состоянии только тот, кто поймет и признáет эту утрату...

Я попытался набросить несколько черт физиономии Толстого как поэта; что сказать о нем как о человеке?

Всем, знавшим его, хорошо известно, какая это была душа, честная, правдивая, доступная всяким добрым чувствам, готовая на жертвы, преданная до нежности, неизменно верная и прямая. «Рыцарская натура» — это выражение почти неизбежно приходило всем на уста при одной мысли о Толстом; я бы позволил себе употребить другой — в наше время несколько заподозренный, но прекрасный и в данном случае самый уместный — эпитет. Натура гуманная, глубоко гуманная! — вот чтó был Толстой, и как у всякого истинного поэта, жизнь которого неуклонно переливается в его творчество, эта гуманная натура Толстого сквозит и дышит во всем, чтó он написал.

Мне бы не хотелось кончить это письмо чем-нибудь касающимся до моей личности; но перед этой еще свежей могилой чувство благодарности заставляет умолкнуть все другие: граф А. К. Толстой был одним из главных лиц, способствовавших прекращению изгнания, на которое я был осужден в самом начале пятидесятых годов.

Мир праху твоему, незабвенный русский человек и русский поэт!..

Я знаю, что вы глубоко сочувствуете нашему общему горю, и в силу этого сочувствия крепко и дружески жму вашу руку.

Преданный вам *Ив. Тургенев*

1875

‹ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕВЧЕНКЕ›

Милостивый государь!

Намереваясь издать полное собрание сочинений Т. Г. Шевченка, вы желаете, чтобы я сообщил вам несколько подробностей о нем. С охотой исполняю ваше желание, хотя должен предуведомить вас, что я познакомился с народным поэтом Малороссии незадолго до его кончины и встречался с ним довольно редко.

Первое наше свидание произошло в Академии художеств, вскоре после его возвращения в Петербург, зимою, в студии одного живописца, у которого Тарас Григорьевич намеревался поселиться. Я приехал в Академию вместе с Марьей Александровной Маркович (Марко Вовчок), которая незадолго перед тем тоже переселилась в нашу северную столицу и служила украшением и средоточием небольшой группы малороссов, съютившейся тогда в Петербурге и восторгавшейся ее произведениями: они приветствовали в них — так же как и в стихах Шевченка — литературное возрождение своего края. Вы лучше меня знаете, какой оборот всё это приняло впоследствии. В студии художника, куда мы прибыли с г-жою Маркович, уже находилась одна дама (тоже малороссиянка по происхождению), которая также желала увидеть Тараса Григорьевича,— г-жа Кар — ская; в ее доме по вечерам часто собиралась та группа, о которой я говорил; и Шевченко, познакомившись с г-жою Кар — ской, стал посещать ее чуть не каждый день. Мы прождали около часу. Наконец явился Тарас Григорьевич— и, разумеется, прежде чем кого-либо из нас, приветствовал г-жу Маркович: он уже встречался с нею, был искренно к ней привязан и высоко ценил ее талант. Широкоплечий, приземистый, коренастый, Шевченко являл весь облик козака, с заметными следами солдатской выправки и ломки. Голова остроконечная, почти лысая; высокий морщинистый лоб, широкий, так называемый «утиный» нос, густые усы, закрывавшие губы; небольшие серые глаза, взгляд которых, большей частью

угрюмый и недоверчивый, изредка принимал выражение ласковое, почти нежное, сопровождаемое хорошей, доброй улыбкой; голос несколько хриплый, выговор чисто русский, движения спокойные, походка степенная, фигура мешковатая и мало изящная. Вот какими чертами запечатлелась у меня в памяти эта замечательная личность. С высокой бараньей шапкой на голове, в длинной темно-серой чуйке с воротником из черных мерлушек, Шевченко глядел истым малороссом, хохлом; оставшиеся после него портреты дают вообще верное о нем понятие.

Нам всем, тогдашним литераторам, хорошо было известно, какая злая судьба отяготела над этим человеком; талант его привлекал нас своею оригинальностью и силой, хотя едва ли кто-нибудь из нас признавал за ним то громадное, чуть ли не мировое значение, которое, не обинуясь, придавали ему находившиеся в Петербурге малороссы; мы приняли его с дружеским участием, с искренним радушием. С своей стороны он держал себя осторожно, почти никогда не высказывался, ни с кем не сблизился вполне: всё словно сторонкой пробирался. Он посетил меня несколько раз, но о своей изгнаннической жизни говорил мало; лишь по иным отрывочным словам и восклицаниям можно было понять, как солоно она пришлась ему и какие он перенес испытания и невзгоды. Он мне показал крошечную книжечку, переплетенную в простой дегтярный товар, в которую он заносил свои стихотворения и которую прятал в голенище сапога, так как ему запрещено было заниматься писанием; показал также свой дневник, веденный им на русском языке, что немало изумляло и даже несколько огорчало его соотчичей; рассказал свои комические отношения с двумя-тремя женами киргизов, бродивших около места его заключения,— и сознался в вынесенном им оттуда пристрастии к крепким напиткам, от которого он уже потом до самой смерти отвыкнуть не мог.

Собственно поэтический элемент в нем проявлялся редко: Шевченко производил скорее впечатление грубоватого, закаленного и обтерпевшегося человека с запасом горечи на дне души, трудно доступной чужому глазу, с непродолжительными просветами добродушия и вспышками веселости. Юмора, «жарта» — в нем не было вовсе. Только раз, помнится, он прочел при мне свое прекрасное стихотворение «Вечір» («Садок вишневий...» и т. д.) — и прочел его просто, искренне; сам он был тронут и тронул всех слушателей: вся южнорусская задумчивость,

мягкость и кротость, поэтическая струя, бившая в нем, тут ясно выступила на поверхность.

Самолюбие в Шевченке было очень сильное и очень наивное в то же время: без этого самолюбия, без веры в свое призвание он неизбежно погиб бы в своем закаспийском изгнании; восторженное удивление соотчичей, окружавших его в Петербурге, усугубило в нем эту уверенность самородка-поэта. Во время своего пребывания в Петербурге он додумался до того, что не шутя стал носиться с мыслью создать нечто новое, небывалое, ему одному возможное, а именно: поэму на таком языке, который был бы одинаково понятен русскому и малороссу; он даже принялся за эту поэму и читал мне ее начало. Нечего говорить, что попытка Шевченка не удалась, и именно эти стихи его вышли самые слабые и вялые из всех написанных им,— бесцветное подражание Пушкину.

Читал Шевченко, я полагаю, очень мало (даже Гоголь был ему лишь поверхностно известен), а знал еще меньше того... но убеждения, запавшие ему в душу с ранних лет, были неколебимо крепки. При всем самолюбии в нем была неподдельная скромность. Однажды на мой вопрос: какого автора мне следует читать, чтобы поскорее выучиться малороссийскому языку? — он с живостью отвечал: «Марко Вовчка! Он один владеет нашей речью!» Вообще это была натура страстная, необузданная, сдавленная, но не сломанная судьбою, простолюдин, поэт и патриот. У г-жи Кар—ской находилась в услужении девушка малороссиянка, по имени Лукерья; существо молодое, свежее, несколько грубое, не слишком красивое, но по-своему привлекательное, с чудесными белокурыми волосами и той не то горделивой, не то спокойной осанкой, которая свойственна ее племени. Шевченко влюбился в эту Лукерью и решил жениться на ней; Кар — ские сначала диву дались, но кончили тем, что признали ее невестой поэта и даже начали делать ей подарки и шить приданое; с своей стороны Шевченко усердно готовился к свадьбе, к новой жизни... Но Лукерья сама раздумала и отказала своему жениху. Ее, вероятно, запугали уже немолодые лета Шевченка, его нетрезвость и крутой нрав; а оценить высокую честь быть супругою народного поэта она не была в состоянии. Я несколько раз видел Шевченка после его размолвки с Лукерьей: он казался сильно раздраженным.

Оканчивая этот небольшой очерк, я припоминаю еще один факт из ссылочной жизни Шевченка, делающий честь

тогдашнему главному начальнику Оренбургского края, В. А. Перовскому. Шевченко, как известно, был в молодости довольно замечательным пейзажистом; в крепости ему было запрещено не только писать стихи, но и заниматься живописью. Какой-то чересчур исполнительный генерал, узнав, что Шевченко, несмотря на это запрещение, написал два-три эскиза, почел за долг донести об этом Перовскому в один из его приемных дней; но тот, грозно взглянув на усердного доносителя, значительным тоном промолвил: «Генерал, я на это ухо глух: потрудитесь повторить мне с *другой* стороны то, что вы сказали!» Генерал понял, в чем дело, и, перейдя к другому уху Перовского, сказал ему нечто, вовсе не касавшееся Шевченка.

Вспоминается мне также, что он, живя в Академии, занимался гравированием на меди посредством острой водки — о-форт — и воображал, что открыл нечто новое, какой-то улучшенный способ в этом искусстве.

Вот всё, что я имею сказать о нем.

Я чувствую сам, как малы и ничтожны эти сведения; но в числе прочих и они могут принести свою относительную пользу.

Примите и т. д.
Ив. Тургенев

Буживаль (возле Парижа),
31/19 октября 1875 г.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЖОРЖ САНД

Письмо к издателю «Нового времени»

С. Спасское-Лутовиново. Среда, 9/12 июня 1876 г.

Любезный Алексей Сергеевич!

Проездом через Петербург я в одном вашем фельетоне прочел слова: «Жорж Санд умерла — и об этом не хочется говорить». Вы, вероятно, хотели этим сказать, что о ней надо говорить много или ничего. Не сомневаюсь в том, что впоследствии «Новое время» пополнило этот пробел и, подобно другим журналам, сообщило по крайней мере биографический очерк великой писательницы; но все-таки прошу позволения сказать слово о ней в вашем журнале, хотя я тоже не имею теперь ни времени, ни возможности говорить «много» и хотя это «слово» даже не мое, как вы сейчас увидите. На мою долю выпало счастье личного знакомства с Жорж Санд — пожалуйста, не примите этого выражения за обычную фразу: кто мог видеть вблизи это редкое существо, тот действительно должен почесть себя счастливым. Я получил на днях письмо от одной француженки, которая также коротко ее знала; вот что стоит в этом письме:

«Последние слова нашего дорогого друга были: „Оставьте... зелень!“ (Laissez... verdure...), то есть не ставьте камня на мою могилу, пусть на ней растут травы! И ее воля будет уважена: на ее могиле будут расти одни дикие цветы. Я нахожу, что эти последние слова так трогательны, так знаменательны, так согласны с этой жизнью, уже столь давно отдавшейся всему хорошему и простому... Эта любовь природы, правды, это смирение пред нею, эта доброта неистощимая, тихая, всегда ровная и всегда присущая!.. Ах, какое несчастье ее смерть! Немая тайна поглотила навсегда одно из лучших существ, когда-либо живших,— и мы не увидим более этого благородного лица; это золотое сердце более не бьется,— всё это теперь засыпано землею. Сожаления о ней будут искренни и продолжительны, но я нахожу, что недостаточно говорят об ее

доброте. Как ни редок гений, *такая* доброта еще реже. Но ей все-таки можно хотя несколько научиться, а гению — нет, и потому нужно говорить о ней, об этой доброте, прославлять ее, указывать на нее. Эта деятельная, живая доброта привлекала к Жорж Санд, закрепила за нею тех многочисленных друзей, которые пребыли ей неизменно верными до конца и которые находились во всех слоях общества. Когда ее хоронили, один из крестьян окрестностей Ногана (замка Жорж Санд) приблизился к могиле и, положив на нее венок, промолвил: „От имени крестьян Ногана — не от имени бедных; по *ее* милости здесь бедных не было“. А ведь сама Жорж Санд не была богата и, трудясь до последнего конца жизни, только сводила концы с концами!»

Мне почти нечего прибавлять к этим строкам; могу только поручиться за их совершенную правдивость. Когда, лет восемь тому назад, я впервые сблизился с Жорж Санд, восторженное удивление, которое она некогда возбудила во мне, давно исчезло, я уж не поклонялся ей; но невозможно было вступить в круг ее частной жизни — и не сделаться ее поклонником, в другом, быть может, лучшем смысле. Всякий тотчас чувствовал, что находился в присутствии бесконечно щедрой, благоволящей натуры, в которой всё эгоистическое давно и дотла было выжжено неугасимым пламенем поэтического энтузиазма, веры в идеал, которой всё человеческое было доступно и дорого, от которой так и веяло помощью, участием... И надо всем этим какой-то бессознательный ореол, что-то высокое, свободное, героическое... Поверьте мне: Жорж Санд — одна из наших святых; вы, конечно, поймете, что́ я хочу сказать этим словом.

Извините несвязность и отрывчатость этого письма и примите уверение в дружеских чувствах преданного вам

Ив. Тургенева

ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ «ВЕСТНИКА ЕВРОПЫ» ПО ПОВОДУ СМЕРТИ С. К. БРЮЛЛОВОЙ

... Как громом меня поразило известие о кончине С. К. Брюлловой. Я никак не могу примириться с мыслию, что такое прекрасное, умное, милое, исполненное юных сил существо — с такой безжалостно-грубой внезапностью выхвачено из среды живых и унесено в немую бездну. Точно у нас много подобных женщин — и щадить их нечего!

В одном из некрологов покойной я прочел описание впечатления, произведенного на меня Софьей Константиновной (тогда еще Кавелиной) на педагогическом диспуте, в С.-Петербурге. Да! Это был незабвенный для меня вечер. Молоденькая, небольшого росту, девушка в простом сереньком платьице, с белым платочком на шее, с назад зачесанными недлинными русыми волосами, говорила почти еще детским голосом так умно и увлекательно, возражала так дельно, выказывала такое разнообразное знание своего предмета, такие энциклопедические сведения, что все слушатели (а их собралось много на этот диспут) были поражены — скажу прямо: очарованы. Несколько недоверчивые, снисходительные улыбки, которыми ее встретили сначала, скоро приняли другое выражение — выражение удивления и внимания. Девушка не была красавицей; но более миловидного, симпатического лица представить нельзя: нежно-белый лоб светился умом и чуткостью мысли, та же живая мысль играла в глазах, звучала в голосе; всё ее существо было не то, что напряжено — а сильно и весело оживлено... и какая простота при этом, какая душевная стройность и ясность! Вы бы не назвали этой девушки ни скромной, ни смелой: оба эти слова не шли к ней... но вы чувствовали: хорошая, честная, в лучшем смысле образованная личность появилась перед вами и охотно сообщалась вам. Дело шло о способах преподавания истории: Софья Константиновна была тысячу раз права в том, что́ она защищала; но в самых ударах, наносимых ею противнику, было столько грации — и не элегант-

но-самоуверенной, на французский лад — а добродушной, русской, почти невинной, бессознательной... Я коротко знал, любил и уважал ее отца... это был старинный приятель и сотрудник... радостно поздравлял я его с такою дочерью... Мог ли я предвидеть, что ему придется хоронить ее!

Мне потом довольно часто приходилось беседовать с Софьей Константиновной; иногда я вступал с нею в спор. Но всякий раз я уносил с собою убеждение, что в ней воплотился один из лучших наших женских типов. В каждом ее слове, взгляде, движении высказывалась душа свободная — свободная прежде всего! чуждая всему мелкому, низкому, узкому, деятельная, трудолюбивая, всегда готовая помочь, принести пользу, кроткая при всей энергии, веселая при всей глубине натуры. И как она умела любить! как ее любили! Да; такая потеря безвозвратна и безутешна... Подумайте одно: оплакивая раннюю кончину этой 25-летней женщины, можно без преувеличения сказать, что в ее лице изучение, преподавание истории у нас на Руси понесли значительную утрату...

Париж, 19/31 октября 1877.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1850—1883

МЕМОРИАЛ

28 октября.

С 1818-го до 1830-го

1830

Отъезд отца больного из Самотечского дома. Определение к Вейденгаммеру.

1831

Мы выходим от Вейденгаммера. Возвращение отца здоровым (летом).

1832

1833

Новый год в Москве (Первая любовь.) Кн⟨яжна⟩ Шаховская. Я себе ломаю руку.— Определение в Университет.— №3. *Перепутье.*— Житье на даче против Нескучного.

1834

Новый год в Москве. Университет. (Армишка.) Атбек. Курдюмов. Краузе.— Брат определяется на службу.— Маменька уезжает за границу. Переезжаем в Петурбург.— Смерть отца 30-го октяб⟨ря⟩. Сочинение — «Стено» (!)

1835

Новый год в Петербурге. Maladie de croissance. ⟨Болезнь роста⟩. Маменька возвращается в Петербург. (Операция полипа. Громов.) На лето в Москве.— Маменька живет на Девичьем поле: Карпова. Театр. Протасов. Телепнев. Беснования. Александра Протасова. Езжу на короткое время с дядей в деревню.— *Сантинель.*

1836

Новый год в Петербурге.— Лето на даче. (Маменька, Гиллис, Викулов.— Покупается *Наполь* 1-й: охота.)—

Хитровы.— Я не выдерживаю на кандидата. Действ⟨итель-ный⟩ студ⟨ент⟩. Фишер. В ноябре умирает Миша Фиглев. NB. Живем мы в Линевском доме.— *Рыбацкое*.— Покупается мною Находка, жеребец для брата.

1837

Новый год в Петербурге.— Наполь 2-й родился в феврале. Линевский дом. Дозе.— У нас несчастные вечера.— Я выдерживаю на кандидата. Поездка в деревню. В 1-й раз имею женщину, Апраксею в Петровском. Викулов и Афанасий в Гольтяеве. Наполь 1-й бесится в Долгом. Самель. В сентябре ломаю руку.— На зиму возвращаюсь в Петербург.

1838

Новый год в *Петербурге*. В *мае* в 1-й раз за границу. Пожар «Николая». Елеонора Тютчева. Путешествие по Германии. (Б⟨арон⟩ Розен. Порфирий. Демидов.) В сентябре в Берлине. (Станкевич, Грановский, Неверов.) Вердер.— В конце года болезнь в пузыре (catarrhe). Фролова.

1839

Новый год в Берлине. Уезжаю весной через Штеттин. Буря.— Приезд в Петербург 14 мая. Буря в пристани.— (Анна Яковлевна у брата.) Летом в деревне.— Наполь 2-й.— (1-й раз в Телегине.) На зиму еду в Петербург.

1840

Новый год в Петербурге. В январе отъезд с Кривцовым в Италию. Рим, Неаполь, Ховрины, Шушу, Марков, Станкевич, Брыкчинский, Ефремов. Летом в Берлине. Смерть Станкевича. Знакомство с Бакуниным. Его сестра. Вердер. Житье в Mittelstrasse, 60. Kant. (Старуха.) Миллер. Бригеман.— Поездка в Мариенбад. D-r Herzig. Почека.— Бритый малоросс. Погодин. Страшная болезнь (санглот) в Дрездене. Hedenus.

1841

Новый год в Берлине. В марте Ständchen Вердеру.— Bettina.— Отъезд весной через Любек.— Еду в деревню. На дороге заезжаю к Бакуниным.— Татьяна. Авдотья Ерм⟨олаевна⟩.— *Бейеры*.— Наполь 2-й. Охота с Порф⟨ирием⟩ и Афанас⟨ием⟩ в Гольтяеве. Наполь уже отказывается служить. Поселяюсь к зиме в Москву с маменькой.

1842

Новый год в Москве. Авдотья Ер⟨молаевна⟩ продолжает ходить и беременная. В *мае* родится Полинька. Аксаков etc. Я лев. Ховрина, Блохина, Елагина, Самарины etc. etc.— Я хочу быть профессором философии! (Погорельский, Строганов.) Экзамен на магистра.— Еду держать его в Петербург за отказом Давыдова. Выдерживаю. (Грефф, Фишер.) В деревне.— Охота весной в Комарёве с Бейером. Бакунина Татьяна в *Шашкине*.— Сцена в Петровском. Я опять уезжаю в Мариенбад.— Безденежье. Захарьевский.— Бакунин.— Болезнь в Дрездене и Берлине. Гервег. Возвращаюсь сухим путем с Павлом Бакуниным. Болезнь. Знакомство с Языковой.

1843

Новый год в Петербурге. Желание определиться на службу.— Не удается. Около святой недели издается «Параша». Comm'ça. ⟨Вот так⟩.— Езжу в деревню. Возвращаюсь в Петербург. Павловск. Катя. Определяюсь на службу. Даль.— Белинский. Панаева. В ноябре *знакомство с Полиной*. Итальянская опера etc. etc. Pizzolato etc. etc. (и т. д. и т. д.).

1844

Новый год в Петербурге. Первое расставание. Еду в Москву. Ess'bouquet на дороге.— Возвращаюсь в мае.— Пиццолато.— Живу лето в Парголове.— Белинский у Лесного института. (Разговор.) Полина возвращается в октябре.— Опять dans le tourbillon ⟨в круговороте⟩... Tolly, длинная собака, охота с Зинов⟨ьевым⟩ у Ладожск⟨ого⟩ озера.

1845

Новый год в Петербурге. Дядя меня рано увозит. Москва. Концерты Полины в Москве. Возвращение вместе. Отъезд в чужие краи.— Куртавнель. Жорж Санд. Поездка в Пиренеи. *Самое счастливое время моей жизни*.— Возвращение к зиме. 19/31 декабря Templario — первый поцелуй...

1846

Новый год в Петербурге. Отъезд Полины... Я уезжаю в деревню.— Там до октября. (Фифина.— Настя.) Воз-

вращение к зиме в Петербург.— «Хорь и Калиныч» напис⟨ан⟩ в этом году.

1847

Новый год в Петербурге. 12-го января отъезд в Берлин с хорошенькой мемелянкой. Свидание в Берлине. Жизнь в Берлине. «Жидовка». Мюллер. Ланке. Потом Зальцбрунн. Белинский. — Анненков. — Лондон. — Булонь. Куртавнель.— Babie... не то, что следовало! Зима в Париже.— Gastrite ⟨Гастрит⟩.

1848

Новый год в Париже.— Поездка в Брюссель.— Революция без меня! — Rue de l'Echiquier — 15 Mai. Потом ужасный день 19-го мая! Болезнь.— Куртавнель. Страдания. Поездка в южную Францию. Марсель. Покупка дома Rue de Douai.— Rue Tronchet. Герцен. Тучковы.— «Где тонко, там и рвется». «Нахлебник».

1849

Новый год в Париже. Все лето в Куртавнеле без денег.— *Холостяк.* 14/26 июня я в 1-й раз с П⟨олиной⟩.— (Куплена Диана.) Зимой опять страдал. Летом «Завтрак у предводителя».

1850

Новый год в Париже. *6-го генваря.*— Гуно. Весна в Куртавнеле.— (Сафо, Полина в Берлине.) Возвращение ее; разлука 5/17 июня. Отъезд.— Возвращение в Россию. Петербург. Тютчев.— Москва. Ссора с маменькой. Житье в Тургеневе. Диана. Ссоры и дрязги. Возвр⟨ащение⟩ в Петерб⟨ург⟩. Отправление Полиньки. Поездка в Москву. Маменька умирает 16-го ноября.

1851

Новый год в Москве.
С 1851 г⟨ода⟩ я стал вести дневник.

1852

Новый год в Петербурге.

1853

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

И. С. Тургенев родился 28 *октября (9 ноября н. с.)* 1818 года в Орле. Отца его звали Сергей Николаевич. *Он служил в Елисаветградском кирасирском полку, который квартировал тогда в Орле,— и вышел в отставку полковником* [1]. Мать — Варвара Петровна, урожденная Лутовинова. И. С. был средним из трех сыновей. Младший брат умер в первой молодости, а старший живет в Москве. На семнадцатом году возраста Тургенев потерял отца, но мать жила до семидесяти лет и умерла в 1850 году. В 1822 году семейство Тургеневых отправилось за границу и посетило, между прочим, Швейцарию. При осмотре [одной медвежьей берлоги] *известной Бернской ямы, где хранятся медведи*, четырехлетний мальчик едва не провалился туда и дорого поплатился бы за свою неосторожность, если бы отцу не удалось вытащить его оттуда, в ту же минуту, за ногу. По возвращении в отечество семейство надолго поселилось в родовом имении, в Мценском уезде Орловской губернии. Тут же начал Тургенев учиться у учителей различных наций, за исключением русской. Одной из первых русских книг, прочтенных Тургеневым, была «Россиада» Хераскова. Он обязан знакомству с этой книгой крепостному человеку своей матери, страстному поклоннику поэзии, а также и этой старинной поэмы. В 1828 году И. С. переселился со своими родителями в Москву; в 1834 поступил в Московский университет, а в 1835 перешел в Петербургский, где и окончил курс *кандидатом*. В 1838 году он отправился за границу, причем чуть не погиб во время пожара парохода «Николай I», близ Травемюнде. В Берлине Тургенев слушал лекции истории, *латинского и греческого языка* и гегелевской философии. [Через два

---

[1] Здесь и ниже курсивом выделены дополнения, вписанные рукою Тургенева в оттиск еженедельника «Нива» (см. примечания, стр. 405).

года] *В 1841 году* Тургенев вернулся в Петербург и состоял около года при канцелярии министра внутренних дел. В это время он очень часто виделся с Белинским, *с которым тесно сблизился.* Хотя Тургенев писал стихи еще мальчиком, но его первая поэма «Параша» появилась только в 1843 году. Вслед за этим он написал еще несколько других произведений, которые однако же не имели особенно сильного успеха.

Сомневаясь в своем поэтическом таланте, он решился покончить с литературою и выехал в [1844 году] *конце 1846 года* из Петербурга; но, уступая просьбам Белинского, дал ему, еще прежде этого, для «Современника» небольшой рассказ, именно «Хорь и Калиныч». Это [прелестное] произведение, вошедшее потом в состав «Записок охотника», произвело чрезвычайно сильное впечатление на публику и убедило самого автора в его таланте. Посвятив себя отныне литературе, Тургенев отправился в Париж и написал там большую часть «Записок охотника», которые сразу поставили его во главе русских художников-беллетристов. В 1852 году Тургенев за напечатание статьи о Гоголе (в сущности же за «Записки охотника») был отправлен на жительство в деревню, где пробыл два года. С тех пор Тургенев жил то в России, то за границей до 1863 г., когда поселился в Баден-Бадене, откуда только наезжает в отечество.

АВТОБИОГРАФИЯ

Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября (9-го ноября) ⟨1818 г.⟩ в городе Орле от Сергея Николаевича Тургенева и Варвары Петровны Лутовиновой — вторым из трех сыновей; старший из них, Николай, жив до сих пор, младший, Сергей, скончался на 16-м году жизни. Отец И⟨ван⟩а С⟨ергеевич⟩а служил в Елисаветградском кирасирском полку, квартировавшем в Орле. Выйдя в отставку с чином полковника, он поселился в имении своей жены, селе Спасском-Лутовинове, находящемся в десяти верстах от города Мценска Орловской губернии, а в 1822-м году совершил с целой семьей и прислугой — в двух каретах с фургоном — заграничную поездку, в течение которой И. С. чуть не погиб — в швейцарском городе Берне, сорвавшись с перил, окружавших яму, в которой содержались городские медведи; отец едва успел ухватить его за ногу. Возвратившись в [деревню] Спасское, семья Тургеневых зажила деревенской жизнью, той дворянской, медленной, просторной и мелкой жизнью, самая память о которой уже почти изгладилась в нынешнем поколении,— с обычной обстановкой гувернеров и учителей, швейцарцев и немцев, доморощенных дядек и крепостных нянек. В начале 1827 года Тургеневы переселились в Москву, где купили дом на Самотеке, а в 1833 году И. С. поступил, будучи всего 15-ти лет от роду, в Московский университет, по «словесному» факультету, как он назывался в то время. Из прежних учителей своих И. С. с благодарностью вспоминает о Д. Н. Дубенском, преподавателе русского языка, о П. Н. Погорельском, преподавателе математики, и об И. П. Клюшникове, довольно известном тогдашнем литераторе, подписывавшем свои стихи буквою Θ. В Московском университете И. С. оставался недолго, всего год; слушал профессоров Погодина, Павлова, последователя шеллинговской философии, читавшего по ней физику, и рядом с ним — старика Победоносцева, державшего студентов на ломоносовских похвальных ре-

чах и задававшего им «хрию».— В 1834 году отец И⟨ван⟩а С⟨ергеевич⟩а перевел его в Петербургский университет для совместного жительства со старшим братом, поступившим в Гвардейскую артиллерию, и в том же году скончался. И. С. вышел из университета в 1837 году кандидатом, а в 1838-м году отправился доучиваться в Берлин на пароходе «Николай I-й», сгоревшем в виду Травемюнде. Запас сведений, вынесенный им из Петербургского университета, был не велик: из всех его профессоров один только П. А. Плетнев умел действовать на слушателей. В Берлине И. С. преимущественно занимался гегелевской философией (у Вердера), филологией и историей. В то время Берлинский университет мог похвалиться именами Бёка, Цумпта, Ранке, Риттера, Ганса и мн. др. И. С. провел в Берлине два семестра; вместе с ним слушали курсы Грановский и Станкевич. В 1840 году он, после недолгого пребывания в России и поездки в Италию, снова вернулся в Берлин и оставался там еще около года, живя на одной квартире с известным М. А. Бакуниным, не занимавшимся тогда политикой. В 1841 году он вернулся в Россию, поступил в 1842 году в канцелярию министра внутренних дел под начальство В. И. Даля, служил очень плохо и неисправно и в 1843 году вышел в отставку. В том же году он вступил на литературное поприще — напечатал небольшую поэму «Парашу», не выставив, однако, своего имени, и познакомился с Белинским. В течение двух последовавших лет он продолжал писать стихи и даже поэмы, не встречавшие и не заслуживавшие одобрения, и уезжая в конце 1846 года за границу, решился было совсем прекратить или изменить свою деятельность; но успех коротенького отрывка в прозе, озаглавленного «Хорь и Калиныч» и оставленного им в редакции только что возобновленного журнала «Современник», возвратил его к литературным занятиям. С тех пор они не прекращались — и в прошлом году явилось уже пятое издание его собранных сочинений. Незначительный перерыв в этих занятиях произошел лишь в 1852 году, когда, по поводу напечатания его статьи о кончине Гоголя, или, говоря точнее, вследствие появления отдельного издания «Записок охотника», И. С. был посажен на месяц в полицейский дом, а потом отправлен на жительство в деревню, из которой он возвратился только в 1854 году. С 1861 года И. С. живет большею частью за границей.

‹ДНЕВНИК. НОЯБРЬ 1882—ЯНВАРЬ 1883 г.›

Париж, 50, rue de Douai.
Суббота, 27 ноября/9 декабря 1882.

Итак — несмотря на предчувствие, я начинаю новую книжку. Вот при какой обстановке:

Недели две тому назад я переехал из Буживаля и поселился в rue de Douai. Здоровье мое в том же statu quo [1]; даже похужело в теченье нескольких дней; теперь опять то же — ни стоять, ни ходить и т. д.— Мои все здоровы и благоденствуют.— Виардо немного прихворнул — и, разумеется, очень перетрусился... да ведь ему 82 года с лишком. В прошлое воскресенье дали наконец «Сарданапала» с очень большим успехом. Музыка — посредственная, но distinguée et bien faite [2]. Я очень рад за Марианну и за ее мужа.

50, rue de Douai.
17/5 декабря, воскресенье.

В течение последней недели еще вырисовалась новая прелесть. Тот *невром*, который образовался у меня на брюхе над ‹...› вследствие операции чирея (в 1856 году) и который целых 25 лет хотя болел, но не увеличивался, вдруг стал непомерно пухнуть — и если так продолжится, то придется взрезать мне брюхо и вырвать эту гадость... (от подобной проделки умер Ю. Самарин). Это на днях должно решиться... веселенький пейзажик! Нечего и говорить, что старый недуг процветает попрежнему.

«Сарданапала» повторили два раза еще — всё с тем же успехом.

Я получил № «Вестника Европы» со «Стихотворениями в прозе». О мнении публики и критики еще ничего неизвестно. Григорович сказал Полонскому, что он

---

[1] положении *(лат.)*.
[2] изящная и хорошо написанная *(франц.)*.

в них *ничего не понимает* — другими словами, что они ему не нравятся. То же самое, по всем вероятиям, скажет и публика.

Некоторые из этих «Стихотворений», переведенные на французский язык (с помощью Полины), помещены во вчерашнем № «Revue politique et littéraire».

Темной ночью камень брошенный
В темный пруд.

Я всё сижу дома и мало кого вижу. Стечькину — умирающую — отправил в Италию.— Были другие полумертвые россиане, Мейер, Павловский, Цакни и др.— Провел один только вечер в нашем художественном клубе. Радушная встреча, аплодисменты, шампанское, даже спич (произнесенный Онегиным).— По вечерам музыка (бетговенские сонаты, гайденовские симфонии) — и карты. Изредка вижу Марианну, Диди.— Был у меня Э. Ожиэ.— Мопассан читал свой замечательный роман.— Был очень интересный американец, бывший статс-секретарь президента Hayes — Mr John Hay.— Похитонов, который написал прелестную картинку (зима, стадо коров), привозил мне свою жену, превостренькую и прехорошенькую медицинку.— Глупец Пожалостин женился на своей дурочке.— Я посетил в три четверти мертвого кн. А. Горчакова, который сообщил мне, что влюбился!!! А по собственному сознанию он даже никогда мужчиной не был! А теперь даже смотреть на него страшно. Была кн. Урусова с дочкой. Ну — это мало интересно.— Вот пока всё.

Савина, говорят, больна и имеет неприятности с дирекцией. Я ей писал два раза. Ученицы Полины — M-lle Rolandt и M-me Birr de Marion имели большой успех у Паделу́.— Paul совсем ошалел. Уезжает с каким-то пройдохой, певцом *Миранда* (?!!) dans une tournée [1]. По ночам пропадает, груб, как боров, несет от него вином... Я на него рукой махнул.

NB. Умер M-r Clerc, beau-frère [2] г-жи Богомолец. Умер Луи Блан — ему сделали великолепные похороны.— Умер бедный доктор Фриссон... Полина потеряла в нем верного друга.— В России — упадок торговли (особенно хлебной), упадок финансов, студенческие

[1] в гастрольную поездку *(франц.)*.
[2] деверь *(франц.)*.

беспорядки.— Письмо от слушательниц врачебных курсов. Я отвечал. Письмо мое, вероятно, будет напечатано.

50, rue de Douai.
Пятница, 12 янв. 1883/31 дек. 1882.

Послезавтра, в воскресение, в 11 ч⟨асов⟩ мне вырезывают мой невром. Операция будет мучительная — так как, по решению Бруарделя, меня хлороформировать нельзя. После мне придется пролежать недвижно дней десять. Если сделается рожа — я, вероятно, умру. Но le vin est tiré — il faut le boire [1]. Недуг грудной — всё в том же положении.

Что произошло в течение этих трех недель? — Прежде всего: Гамбетта умер! (за пять минут до нового года!). Это — ужасный удар для Франции и для республики. Я ездил смотреть его похороны... Ничего подобного я в жизни не видывал. Целый народ хоронил своего вождя... Я от имени русских послал венок и телеграмму в «République Française». NB. Умер также генерал *Шанзи*.— У нас в России всё мрачней и мрачней. Феоктистова (этого архимерзавца!) сделали начальником над печатью.— Михайловского и Шелгунова выслали... Кавелин опять занемог, Гончаров окривел.

Мое письмо к слушательницам врачебных курсов напечатали... Вообще, кажется, их участь теперь обеспечена.

Моя дочка наделала долгов — и мне пришлось ей послать деньги сверх пенсии.— Здешние все благополучны; Поль дурачится в Веймаре.— История с Лулу́ (сыном Геррита и внуком Полины). Липгарт сделал с меня портрет (пером) для глазуновского издания. Похитонов также пишет портрет — необыкновенно выходит удачно и похоже. Этот — мастер! Он привозил показывать мне и Виардо картины, которые написал нынешним летом,— прелесть!

Литература. «Стихотворения в прозе» имели больше успеха, чем я ожидал — если не в публике вообще, то в кружках de lettrés [2]. (Очень меня порадовало одобрение Льва Толстого.) И здесь их перевод понравился.— Повесть моя должна завтра появиться в «В⟨естнике⟩ Е⟨вропы⟩», а 15-го в «Nouvelle Revue» — под заглавием

[1] вино откупорено — надо его пить *(франц.)*.
[2] людей просвещенных *(франц.)*.

«Après la mort» [1]... Как бы в самом деле не вышло: après la mort. Кто знает — я, может быть, пишу это за несколько дней до смерти. Мысль невеселая. Ничтожество меня страшит — да и жить еще хочется... хотя...

Ну, что будет — то будет!

Неприятная вышла история с романом Мопассана, который я было приобрел для «В⟨естника⟩ Е⟨вропы⟩». Чёрт меня дернул поручить перевод Цакни́. Он очень симпатичный малый, но оказывается, что по-русски плохо знает — и перевод вышел невозможным. Я попробовал было его переделать, но махнул рукою — и «В⟨естник⟩ Е⟨вропы⟩» остался без него. Эта штука мне стоила 1200 франк⟨ов⟩. 1000 я дал Мопассану да 200 — Цакни. А впрочем — где наше не пропадало!

Диди мне доверила, что чувствует некоторое влечение к безумно влюбленному в нее М. Палеологу, который, чуть не по ее приказу, уехал в Марокко. Были у нас по этому поводу довольно странные разговоры... Я, как и следует полумертвому, давал ей хорошие и дельные советы. Ничего, впрочем, важного нет. Без этого никакая женская жизнь не обойдется.

Сегодня вечером (канун *нашего* нового года) я на полчаса съезжу в наше общество, где будет елка, музыка и пр. Прочту что-нибудь. Там будет в. кн. Константин Николаевич, который вчера сюда приехал и вчера же был у Полины и меня видел. Рассыпался в любезностях, целовал у нее руку. Несчастье его смягчило. Но какая, в сущности, ничтожность!

Были у меня: Тэн, Г. Парис (который исправлял слог в моих переводах), очень интересная девица — врач Скворцова.— Паевский (quasi-муж Луканиной) написал довольно недурную повесть.— Павловский всё возится с вопросами о жене и детях. Я от него получил письмо... Стечькина в Torre del Greco; не пишет, но, по крайней мере, не умирает.— Да! был еще знаменитый путешественник Миклухо-Маклай. Чёрт знает почему, мне кажется, что ведь этот господин — пуф, и никакой такой работы после себя не оставит. Был с ним Мещерский... Натали Герцен.— Из Спасского одно интересное известие: кабатчика засадили-таки в острог. Ну — а Жикина?

Кажется, всё.

Запишу еще несколько слов *до* операции. А потом...

[1] «После смерти» *(франц.)*.

Воскресенье, 14/2[1] янв. 83.
10½ ч. утра.

Сижу в ожидании докторов, которые будут меня резать (они сию минуту приехали),— пока не трушу. Что будет дальше — не знаю. В начале следующей страницы напишу результат.

50, rue de Douai.
Суббота, 27/15 янв. 83.

В прошлое воскресенье, 2/14 янв⟨аря⟩ так-таки и вырезали у меня невром. (Действовал Поль Сегон, присутствовали Бруардель и Нелатон и Гиртц.) Было очень больно; но я, воспользовавшись советом Канта, старался давать себе отчет в моих ощущениях — и, к собственному изумлению, даже не пикнул и не шевельнулся. А длилась вся операция минут с 12. Невром был с грецкий орех — большой. Потом меня уложили — и так я пролежал 14 дней. Лихорадки не было и никаких усложнений. Рана в 15 сантим⟨етров⟩ скоро и правильно зажила. Зато старая моя болезнь — боль в груди и пр.— меня лихо помучила, так как лежание на спине причиняло мне особенные страдания. Пришлось прибегнуть к морфину. Болезнь эта продолжает потешаться надо мною — но ведь от этого я избавиться не могу, что ни говори Бертенсон с своей глиной.

За день до операции я был на елке в нашем обществе; читал несколько «Стихот⟨ворений⟩ в пр⟨озе⟩» — Энгалычева выла... впрочем, было весело... но я недолго там остался.

Повесть моя появилась и в Петербурге и в Москве — и, кажется, и там и тут понравилась. Чего! даже Суворин в «Новом времени» расхвалил!

На днях произошло нечто весьма неприятное для бедного Жоржа; оказалось, что его главный комми Дюфор, честный пуританец Дюфор в течение целых 10 лет его наглейшим образом обворовывал — около 3000 фр⟨анков⟩ он украл! Жорж не знает как быть — засадить его в тюрьму он не хочет, чтобы не вышло огласки (да и в самом деле — все бы нашли, что, видно, плохо ведет Ж⟨орж⟩ свою типографию — такое воровство не заметил!), и потерять такую сумму не хочет! Но кто бы это мог подумать про Дюфора, этого степен-

[1] В автографе описка: 13/1-го.

ного, педантического — и преданного (!) друга дома... На кого после этого надеяться? Поневоле придешь к убеждению матери Полины: «Piensa mal — y acertaras!» [1].

«Перепелку» мою напечатали в прекрасном издании «Рассказов для детей Л. Н. Толстого» (опасное для нее соседство!) с отличными иллюстрациями Васнецова и Сурикова. Много чести для такой безделки!

Добрый Г. Парис был у меня два раза. Ганри Мартен — раз.

NB. Посещение Плевако, болгарского патриота и революционера. Любопытная фигура!

Много шума наделала здесь дурацкая прокламация принца Ж⟨ерома⟩ Наполеона. Его засадили — и, кажется, собираются прогнать всех принцев. Биржа падает и т. д. Заметно, что Гамбетты не стало.

Была у меня некая Лазарева, невиннейшая голубица, тоже желающая посвятить себя медицине. Вот тоже воля, сильнее частной, личной воли! Типическое явление.

«Стих⟨отворения⟩ в прозе» переводятся на итальянский, чешский, немецкий и пр⟨очие⟩ языки.

М. А. Языков умер в Петербурге. Много молодых воспоминаний похоронено вместе с ним.

Понедельник, 29/17 янв. 83.

Рана совсем зажила — но старая моя невралгия разыгралась до свирепости! Никогда мне не было так худо! С горя я уж думаю испробовать гомеопатии!

Дело Жоржа с Дюфором устроилось. Он ползал перед ним на коленях, дал, какие только захотели, расписки — и его прогнали. Вопрос теперь: кем его заменить?

---

[1] Плохо подумаешь — не ошибешься! *(испан.)*.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ. ЗАМЫСЛЫ И НАБРОСКИ

1840-е годы — 1883

СИЛАЕВ

[Нас собралось однажды человек десять у одного хорошего приятеля — и вместо того, чтобы играть в карты, мы принялись разговаривать о необыкновенных приключениях и привидениях. Много разных разностей выслушал я в тот вечер, но в особенности поразил меня рассказ самого хозяина. Вот он.

— Теперь очередь за вами рассказать какое-нибудь необыкновенное происшествие,— воскликнули мы.

— За мной? — возразил хозяин дома.— Ну, извольте.]

Лет 12 тому назад, господа,— начал он,— жил я в Петербурге. Однажды — сидел у себя в комнате (я вообще выходил мало и слыл медведем) — как вдруг в передней раздался звонок. Слуги моего не было дома — я встал, отворил дверь и увидел человека лет пятидесяти в лакейской шинели.

— Что надо? — спросил я.

— Я к г-ну Н.

— Я г-н Н...

— К вам письмо-с.

— От кого?

Человек помялся и промолвил: «Увидите сами-с». Я взял письмо и вернулся в комнату. Человек вошел вслед за мной в переднюю. Я распечатал письмо — в нем стояло следующее:

«Любезный Н.— Умоляю Вас, приходите ко мне сегодня вечером.

Вы можете спасти мне жизнь. Я буду Вас ждать. Прошу Вас как старого товарища — не откажите мне. Ведь Вы не забыли меня?

Преданный Вам Михайло Силаев.

P. S. Приходите же непременно,— повторяю — Вы можете спасти мне жизнь. Я в совершенном отчаянии. Живу я в Коломне, в . . .-й улице, в доме . . .-ова. Мой человек Вам растолкует».

С недоуменьем перечел ⟨я⟩ это странное послание. Я этого Силаева давно потерял из виду; мы когда-то провели вместе несколько месяцев в одном учебном заведении, в Москве. Лет пять спустя я его встретил на улице в Петербурге — и обменялся с ним двумя-тремя словами: он и потом попадался мне — но мы уже не заговаривали друг с другом, а только издали дружелюбно кивали головами... Я знал, что он служит и был довольно беден...

Я, признаюсь, очень мало помышлял о нем. В пансионе он слыл робким, странным и довольно скучным мальчиком; его не то, чтобы не любили, а не знались с ним — он и сам всех дичился. У него, помнится, была мать, очень толстая и хромая женщина; она ездила к нему раз в месяц (к ней он никогда не ездил), привозила ему домотканное платье, весьма безобразное, как вы можете себе представить, и отличалась сама необыкновенными чепцами... вследствие чего Силаеву дали прозвище: сын Чепца. Он не обижался этим названием; впрочем, правду сказать, на него никто не обращал внимания. Фигуры он был незначительной — мал, худ, белокур, подслеповат.

«Что значит это письмо? — думал я, поворачивая в руках косо оторванный полулисток тонкой бумаги.— И почему он обращается ко мне? Денег у него нет, что ли? Но я сам едва ли не беднее его...»

Размышления мои были прерваны голосом человека, принесшего письмо. Он из передней пробрался ко мне в комнату.

— Что же-с, будет ответ-с?

Я обернулся.

— Я приду. Скажи, что я приду.

— Слушаю-с.

— Где твой господин живет?

Он растолковал мне адрес.

— Да что, скажи пожалуйста,— твой господин болен?

— Никак нет-с,— отвечал он, запинаясь.— Не больны-с, а еще хуже-с.

— Что же такое?

— А вот изволите увидеть.

И он опять помялся и потупился. Я попристальнее посмотрел на таинственного посланца. Это был человек лет пятидесяти, плечистый, с неповоротливой круглой

головой, весь седой и взъерошенный. Маленькие его глаза уныло посматривали из-под нависших черных бровей; огромный, орлиный нос придавал странное выражение его широкому смуглому лицу.

— Ну хорошо, я приду,— повторил я.

— Слушаю-с,— отвечал он, вышел, постоял за дверьми и опять вернулся.

— Сделайте божескую милость,— промолвил он, низко кланяясь,— приходите... Приходите, сделайте милость.

— Приду, приду, непременно,— поспешно возразил я.— Непременно приду.

Старик еще раз поклонился и вышел.

Я с нетерпеньем дождался вечера. Это письмо, этот старик, его загадочные слова — всё это сильно возбудило мое любопытство. В семь часов я взял извозчика и отправился в Коломну.

Силаев жил на дворе большого дома, в четвертом этаже. Ночник, поставленный на одном из уступов узкой и темной лестницы, тускло освещал ее крутые грязные ступени. «Ага,— подумал я,— меня ждут». Я взобрался наверх — подошел к двери, на которой облатками было приклеено дно шляпного картона с надписью «М. Силаев», и не успел еще прикоснуться до узкой веревочки, прикрепленной к звонку,— как вдруг дверь быстро и без шума распахнулась передо мною — и я увидал того же седого старика. Он низко мне поклонился и, пробормотав «пожалуйте»,— начал снимать с меня шинель.

— Дома барин? — спросил я не без волненья.

— Дома, дома, пожалуйте.

И он толкнул рукою дверь в другую комнату. Я вошел...

Вообразите себе, господа, маленькую низенькую комнату с двумя окнами, протертым крашеным полом и черновато-зелеными стенами... В одном углу стояла узкая кровать, в другом — старый ломберный стол, заваленный бумагами и книгами; рядом с ним торчали два продавленных соломенных стула. На стене, над завалившимся назад комодом, висели крошечные деревянные часы и необыкновенно бойко размахивали своим длинным маятником. На кровати, заложив руки за голову, лежал Силаев.

Увидев меня, он тотчас вскочил, подбежал ко мне и, схватив меня за обе руки, несколько времени молча

пожимал их своими холодными пальцами. Наконец он пробормотал: «Благодарствуйте, как вы добры! Сядьте» — и снова бросился на кровать. Он очень похудел с тех пор, как я его видел в последний раз, взгляд его бегал. Он изредка вздыхал, как дитя после плача. Я взял стул и сел подле его кровати. Наступило молчание. Я ждал его первого слова; ему следовало заговорить со мной — он сам это чувствовал и раза два силился начать речь, но не мог. Он не глядел на меня, одной рукой барабанил по стене, другой выдергивал пуговицу из матраса; странная улыбка подергивала его бледные губы. Его как будто била лихорадка.

— Вы меня пригласили,— начал я наконец.

— Да, да,— перебил он меня прерывистым голосом.— Я вас пригласил... по одному делу... но об этом, если вы позволите, после — после. Я теперь, вы видите, не совсем того... Не хотите ли пока чаю? — прибавил он вдруг.

— С удовольствием.

— Капитон, дай нам чаю,— прокричал Силаев.— Вот, видите ли, я...— продолжал он, по-прежнему избегая моего взора и тоскливо повертываясь на кровати.— Я очень вам благодарен за то, что вы пришли. Если б вы не пришли — мне бы не к кому было обратиться. Я никого здесь не знаю. Решительно никого. Я ужасно как-то одинок на земле.— То есть, конечно, с другой стороны, меня преследуют..., но я вам всё объясню это после.

— Когда хотите,— отвечал я.— Не беспокойтесь.

Я начинал обходиться с ним как с больным.

— Да, да, благодарствуйте.— И он глубоко вздохнул, провел рукой по лицу, достал платок из-под угла узкого матраса, поднес его ко лбу и тотчас уронил его назад через голову — должно быть, сам хорошенько не знал, что он делал.

Вошел Капитон с двумя стаканами чаю, нарезанным лимоном и сухарями на подносе. Когда Силаев стал брать свой стакан, его рука так задрожала вдруг, что старик поскорей пододвинул поднос под зазвеневшее блюдечко. Силаев справился и поставил стакан подле себя на доску кровати.

— Вы, может быть, пьете чай со сливками? — спросил меня Силаев.

— Нет, с лимоном.

— А то можно послать в лавочку. Здесь есть такая лавочка... Ну можешь идти, Капитон...

Капитон поглядел на меня пристально, чуть-чуть покачал головой и вышел.

Силаев торопливо выпил свой стакан, трепетной рукой положил в стакан ложечку и с веселой улыбкой, словно пришла ему в голову счастливая мысль, спросил меня:

— Скажите, пожалуйста, какого вы мнения о снах?

— Ка́к о снах?

— Да о снах, о том, что видишь во сне. Я не знаю,— продолжал он более медленным голосом,— почему говорят: «Сон. Я это видел во сне». Не всё ли равно, что во сне, что наяву? Да и что видишь во сне, что наяву — это трудно сказать. Я, по крайней мере, вижу такие ясные, такие определительные сны, что память о них во мне так же свежа, как и память о том, что я видел наяву; впечатление их так и врежется в меня; я их точно видел, эти сны, действительно видел. Все эти образы так и стоят у меня перед глазами. Например, я видел вчера во сне, что иду куда-то по длинной дороге, обсаженной тополями,— вдали белый дом, и какое-то счастье ждет меня в этом доме. По дороге пыль — и в этой пыли прыгают воробьи. И всё — и дорога, и тополи, и воробьи в пыли, и далекий дом — всё это так и горит на заходящем солнце, всё это я видел, видел и теперь гляжу на это, как на вас...

Силаев говорил очень торопливо.

— В этом нет ничего удивительного,— возразил я,— несколько озадаченный предметом разговора; действительность повторяется во сне — все эти образы вы, верно, когда-нибудь видели, они остались в вашем воображенье — и вот они снова выступают перед вами во время сна.

— То есть, вы хотите сказать, что во сне видишь только то, что прежде видел наяву,— но отчего же у меня бывают иногда сны совершенно несбыточные? Например, с неделю тому я видел, как будто я нахожусь на Северном полюсе: кругом ледяная равнина и на ней плавают высокие ледяные горы, голубые, розовые, прозрачные горы с острыми вершинами, с широкими пластами снега, белого, как неснятое молоко, с сверкающими иглами и зубцами,— в воздухе нестерпимо крутятся бесчисленные блестки, на небе стоят и по временам вздраги-

вают багровые, как отблеск далекого пожара, столпы,— и вообразите, с этих гор — на салазках, попарно — катаются белые медведи с венками роз на головах; ведь всё это, согласитесь сами, я в действительности видеть никак не мог.

— Да, я с вами согласен,— возразил я с невольной усмешкой.

— Ну, вот видите. Впрочем,— продолжал он, приподнявшись на одном локте и еще ближе пододвинувши ко мне свое бледное и взволнованное лицо,— я только так заговорил с вами о снах — в виде приготовленья: я хотел спросить вас о другом. Я желал бы знать ваше мненье о виденьях.

— Ка́к о виденьях?

— Да, о виденьях — верите ли вы в виденья?

— Нет, не верю... А вы разве верите?

Его губы слегка передернулись.

— Верю. Прежде и я не верил, а теперь верю. Да, я вам скажу, поистине поверишь, когда...

Он остановился и, пристально поглядев на меня, спросил изменившимся голосом:

— Например, позвольте спросить у вас, который час теперь?

Я посмотрел на часы:

— Половина двенадцатого.

— А, прекрасно. Ну вот, я наперед вам говорю: в три четверти 12-го, то есть через четверть часа, эта дверь отворится — так, чуть-чуть — и в комнату войдет черная кошка.

— Черная кошка?

— Вы смеетесь теперь надо мной — я знаю. Но погодите, погодите еще несколько минут — и вы всё увидите сами.

— Ну, эта черная кошка войдет, и что же она сделает?

— А! Да она не одна ходит. Это кошка моего дяди — она всё впереди его бегает.

— Стало быть, и дядя ваш к вам придет?

— Непременно: он каждую ночь у меня бывает.

— Да позвольте узнать: ваш дядюшка здесь живет, в одном доме с вами?

— Какой живет! Он давно умер — в том-то и штука.

Я глядел на Силаева... «Он сумасшедший!» — подумал я про себя, это теперь ясно.

— Нет, я не сумасшедший,— промолвил он, как будто отвечая на мою мысль.— Нет, я не сумасшедший...— И глаза его как-то странно расширились и засверкали.— Хотя я точно готов согласиться с вами, что всё, что я говорю теперь, должно вам показаться чепухой... Да вот слышите, слышите... слышите,— дверь скрыпнула,— глядите, глядите — что, нет кошки?

Дверь действительно тихо скрыпнула — я быстро обернулся — и вообразите мое изумление, господа,— черная большая кошка вбежала в комнату и осторож⟨но⟩ ⟨*Не закончено.*⟩

⟨НОВАЯ ПОВЕСТЬ⟩

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА НОВОЙ ПОВЕСТИ

(Место действия: Париж и окр⟨естности⟩)
(Время — 1867 год [1], летом).

1. [Валерия] Сабина Мональдески — р. 1840.— 27.
2. Санта М—и, ее тетка — р. 1800.—67.
3. Ипполит Иванович Травин — р. 1836—31.
4. Софья Алексеевна Ланина — р. 1827—40.
5. [Маша] Лизавета — Бетси, ее дочь — р. 1850—17.
6. Генерал де Валькур — р. 1810—57.
7. Чубко — р. 1832—35.
8. Х. Шарль — р. 1837—30.
9. Июдифь, негритянка — р. 1827.— 40.

NB

Отец Сабины — [Циприано] Деметрио М — и, р. 1791—1857[2].
Мать — Селина Будуа, 1823—1843.
M'sieu Preiss — Прейсс, 1795—1863[3].

1. ИППОЛИТ ИВАНОВИЧ ТРАВИН (р. 1836—31 г.)

Наружность красивая, вроде брата г-на Гризе. Правильные черты, брюнет, глаза большие с поволокой, прямой нос, губы несколько крупные, зубы узкие длинноватые, но белые; смех резкий, но приятный; улыбается больше глазами [4], щеки мягкие. Выражение, как у покойного Сатина и у сумасшедшего Н. Веревкина [5]: неподвижно-достойное, но не важное, не то чтобы очень умное, но неглупое, образованное.— Рост выше сред-

[1] 1857 год.
[2] 1860
[3] 1865
[4] зубы узкие ∽ больше глазами *вписано*.
[5] и у сумасшедшего Н. Веревкина *вписано*.

NB. Муж, кот. учился у Vogt-а, для
него не существуют привидения



РИСУНОК И. С. ТУРГЕНЕВА НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ТЕТРАДИ
С ПЛАНОМ «НОВОЙ ПОВЕСТИ».

Национальная библиотека, Париж.

него, сложен хорошо, но толстоват немного. Очень чисто одет и всегда хорошо вымыт. Руки красивые.— Совершенно независимый человек. Одинокий — вся семья перемерла; воспитан дядей, сенатором, человеком добрым и аккуратным. Тульский помещик; имение было на оброке, потом откупилось и дает 10 000 р. с⟨еребром⟩ дохода. В семье была падучая болезнь, у матери двоюродная сестра была сумасшедшая.— Провел жизнь очень правильно; сперва был в хорошем пансионе, потом в университете, откуда вышел кандидатом. С первого же года ездил в у-т на своей собственной лошади и в шинели с бобровым воротником.— Натура бесстрастная, но чувственная... не без робости. Любит слегка музыку, поэзию, литературу. Добрый и честный — это ему ничего не стоит. Доступен мистицизму, религиозен.— Дядя-сенатор определил его было по протекции в министерство; но он недолго прослужил и уехал в деревню, где у него очень миленький дом. На зиму приезжал не в П⟨етербур⟩г (дядя умер), а в Москву, которая ему больше полюбилась (он же несколько славянофил); искал невест... но всё не находил подходящей [6]. В 1863 году его выбрали уездным предводителем... и он очень полюбился дворянам, хотя жил не слишком открыто и в карты не играл (в шахматы любил). Охотился с ружьем очень умеренно, занимался садоводством и отделкой дома. На 2-ое 3-летие, однако, не пожелал быть избранным и уехал за границу.— С Ланиными он уже встречался в Москве и заметил Бетси (Лиза!). Ужасно удобная натура, которой нужно здоровье, богатство и тишина. Только струйка бьет мистическая: и тут-то он попался.

2. СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ЛАНИНА (р. 1827 — 40 л.)

Урожденная кн. Елецкая. Московская барышня из стародворянского московского, не очень богатого дома. Вышла замуж 22 лет [7] за довольно богатого помещика и заводчика Ланина, с которым прижила сына [8] и дочь [9]

---

[6] *Рядом с текстом*: Дядя-сенатор ∽ не находил подходящей.— *на полях приписано*: 1854—1858 в университете. 1858—1861 на службе. 1863—1866 уездным предводителем.

[7] 20 лет.

[8] *Над* сына *вписано*: 15 л.

[9] *Над* дочь *вписано*: 18 л.

(сын в катковском лицее). Ланин жил в Москве довольно открыто — пускался в аферы, но умеренно, умер в 1866 году,— Ланина хорошенькая собой, худенькая, изящная — белокурая. Нежные черты, не глупа, но в сущности довольно вульгарна — не без хитрости и лени (вроде Скобелевой). Одевается и убирает комнаты со вкусом. Имеет связи и в П⟨етербург⟩е и в Москве; очень хорошо распоряжается своим состоянием. Приехала в Париж рассеяться после смерти мужа (кстати же и выставка) — взяла дочь с собою, чтобы показать ей un bout d'Europe [10]. Говорит по-фр⟨анцузск⟩и хорошо, с московским акцентом.— Довольно кокетлива и чувственна; имела от мужа 2-х любовников — но как-то скромно: никто этого не подозревает,— не прочь получить 3-го, несмотря на свои 40 лет, но тоже скромного.— Травин уже в Москве к ним ездил... Он ей понравился... «Вот бы такого... Тоже в мужья дочери годится». Дюжинная натура не без грации. Очень хорошо умеет принимать: у ней как-то удобно и уютно. Наняла очень хорошенькую appartement [11] в Hôtel Vouillemont. Любит очень театр... впрочем, на искусство, музыку и т. д. забита наглухо.— Тело очень привлекательное и возбуждает чувственность. ⟨---⟩ удивительно и очень стыдливо. Муж ее был вроде Арк⟨адия⟩ Карпова.

3. ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА — ДОЧЬ С. А. (р. 1850—17 л.).

Хорошая русская барышня (лицо взять у кн. Ел. Львовой) — честная, молчаливая, несколько задумчивая, религиозная — с тихой поэтической струей, правдивая и крошечку недоверчивая. Фигура рослая, крупная, немного сырая. Большой нос, прекрасные неподвижные, но выразительные серые глаза, рот немного выпяченный, голос тихий и девственный (у ее матери голосок милый, несколько звонкий — немного à la горничная), зубы большие — смеется гортанно, но приятно, зато редко. Легко краснеет, и улыбка какая-то удивленная.— Очень впечатлительна, хотя не показывает этого. Вовсе не чувственна, будет хорошей матерью и сама кормить будет.— Здоровье не совсем прочное.

---

[10] кусочек Европы *(франц.)*.
[11] квартирку *(франц.)*.

4. ЧУБКО (ПАНТЕЛЕЙ ПАНТЕЛЕИЧ) (р. 1832 — 35 л.)

Списать Щербаня.— Грязный, маленький; жирные волосы с коком, грязные, пестрые, слегка припухшие [12] щеки, жесткие нафабренные усы, хриплый голосок,— сплетник, хитрец, малоросс, попрошайка, скупец, способен на всякую тайную подлость; подслушивает — пишет корреспонденции, воображает, что знает Францию и французский язык,— картавит по-француз⟨ски⟩. Живет с девкой, которая ему служит заместо кухарки и прачки. Он ее третирует как рабыню [13].— Воняет поношенным платьем и от ног, руки красные, потные; не бит только потому, что умеет вовремя увернуться,— два под---ника, однако, получил.— Считает себя очень тонким, и проницательным, и знающим человеком; когда возможно, груб и даже жесток.

5. ГЕНЕРАЛ ДЕ ВАЛЬКУР (р. 1810 — 57 лет)

Вроде ген⟨ерала⟩ [Уил⟨...⟩] Рей, которого я видел у г-жи Делессер.— Важный, мягкий, пухлый, учтивый — и в то же время способный расстреливать людей по бульварам. С узкими понятиями, culotte de peau [14], bonapartiste [15] — но манеры внушительные и важные; очень любезен с дамами. В молодости совершил всё ⟨---⟩ возможное.— Большой нос, маленький лоб, маленькая седая голова, ноздри, набитые табаком, голос генеральски сиплый и такой, какой бывает у табашников [16], висячие усы, затылок с продольной трещиной, панталоны со штрипками, толстый, туго перетянутый живот, пространный сюртук, розетка, лощеная шляпа.

6. НЕГРИТЯНКА ИУДИФЬ (р. 1827 — 40)

Черная как сапог, полная, грудастая, с крупными чертами, преданная как собака, хитрая и даже злая ко всему, что не ее госпожа, за которую готова умереть — и убить, если нужно. Очень смешлива к тому, легковер-

---

[12] слегка припухшие *вписано.*
[13] Он ᔕ рабыню, *вписано.*
[14] старый вояка *(франц.).*
[15] бонапартист *(франц.).*
[16] и такой ᔕ табашников *вписано.*

на и суеверна.— Она была служанкой у Прейсса и хотя не горевала об его смерти, но Шарля своими руками бы задушила. Он погубил или чуть не погубил ее госпожу.

7. ШАРЛЬ (р. 1837 — 30)

Наружность, как у того доктора ⟨*1 нрзб*⟩ [17], с которым я обедал и которого потом гильотинировали [18]. Прихватить Колиша.— Красивый, ловкий, проворный, безо всякого следа нравственности или совести. Хищный, жадный и красивый зверь.— Он должен остаться на втором плане.

8. САНТА (р. 1800 — 67)

Была когда-то удивительной красавицей — итальянского типа: орлиный нос, черные блестящие глаза, [черные] густые крупные волосы, сложена худощаво, но чудесно, смуглая, тонкая кожа, зубы как перлы, рот как у людовизиевской Юноны.— Теперь сморщенная, почти белоголовая, совсем сухая, кожа красно-серого цвета, глухая и едва говорит мертвенным голосом. 9-ю годами моложе брата. Выросла в Неаполе в безалаберном доме отца Анджела Мональдески (1765—1815)— Антиноя красотою, шаромыжника, пьяницы, плохого живописца, плохого актера, певца, Д⟨он⟩-Жуана, отъявленного француза при Мюрате, крикуна, театрального антрепренера, афериста [19] и т. д.— 15-и лет, в самый год смерти отца, выступила на сцену танцовщицей. Хотя совсем плохо танцевала, но свела всех с ума своей красотою — дала себя похитить сыну одного богатого принципе [20], тот хотел на ней жениться, потом бросил; потом она завертелась как кубарь, содержанкой, в блеске роскоши, в нищете, появлялась на театрах, пробовала даже петь, исчезала, выплывала; раз чуть не была убита ударом кинжала — схватила страшную болезнь — и 40 лет от роду совсем уже старуха. Вдруг в 1840 году свалилась, как камень с неба, к своему брату, который тогда бедствовал и чуть не умирал с голоду в Париже в самый день рождения Сабины.— Прими,

[17] *Видимо, фамилия доктора.*
[18] *В тексте рукописи — описка:* гильтировали.
[19] крикуна ∽ афериста *вписано.*
[20] принципе — князь, принц (*от итал.* principe).

мол, меня: я нага, я стара, я умираю с голода.— Брат, который не видел ее лет 15, сначала не узнает ее (напомнить сцену свидания г-жи Гарсиа с ее братом Ситчесом — и Санта также себе обожгла грудь, раскачивая котел с горячей водой... показывает брату грудь свою)... брат ее принимает... во-первых сестра, во-вторых, жена у него больная и слабая... да и пришла она в такой знаменательный день.— С тех пор она осталась с братом, а потом с племянницей, которую она вынянчила, как умела. (NB. Оставшиеся от прежнего величия 2 портрета, два-три браслета, венок золотой, который она надевает по известным дням.) [21] Ограниченная, тупая, фантастическая натура... Живет с фантомами прошлого и видит фантомы.— Подозрительна, везде чудятся ей приметы — предчувствия. Каждое новое лицо является ей чем-то страшным, загадочным... Симпатии, антипатии, гадание на картах, на четках. Она нельзя сказать, чтобы любила свою племянницу, но держится за свое гнездо судорожно — как бы опять оно не пропало, не провалилось...

NB. При виде нового лица глаза ее, обыкновенно съёженные, погасшие, делаются огромными.

NB. Гадание на картах — в известные дни ничего не делать; странная одежда, шаль крест-накрест (когда-то она повязалась так, не имея корсажа, и вышла на сцену: хлопанье бешеное и т. д.).

NB. Мать Санты была законная жена [Деметр⟨ио⟩] Анджела, которую он, однако, скоро бросил и которая скоро умерла.— Простая женщина, очень красивая. Санта гордилась своим происхождением.— Ей являлся ее прапрадед Мональдески, только в весьма странном виде, не похожем на исторический костюм XVII века.

9. САБИНА (р. 1840 — 27 л.)

Во-первых, наружность: росту небольшого, сложена гибко, стройно — линия бедер, как у М. [22] Волосы прекрас⟨ные⟩, белокурые, тонкие, обильные, длинные с золотистыми концами; цвет лица бледный — но очень

---

[21] *Рядом с текстом*: Брат, который не видел ∽ по известным дням).— *на полях приписано*: Брат Деметрио, р⟨одился в⟩ 1791, переселился в Париж в 1825 — сошелся с Селиной Б⟨удуа⟩ в 1839. Санта приех⟨ала⟩ в 1840, ум⟨ерла⟩ в 1860.— NB. Сабина убегает в [1859] 1858. Разговор между Сантой и ее братом по этому поводу.

[22] М.— *возможно*, *Марианна Виардо*.

легко розовеет и остается таким. Глаза — карие, светлые, большие, чрезвычайно подвижные, ресницы светлые; взгляд несколько беспокойный, загадочный, часто как бы недоумевающий; маленький выпуклый (не сверху вниз, а справа налево) белый лоб, брови тонкие, высокие, темнее волос... Нос красивый, но немного крючком; губы как у Диди — но бледные: она часто их кусает[23]; в покойном положении прелестные; когда говорит или смеется, завостриваются; смех тонкий, бисером, несколько жесткий. Губы часто слегка раскрыты... маленькие зубы с перламутровым оттенком, подбородок острый, шея тонкая с поперечным переломом, щеки немного впалые. Всё лицо прелестное и несколько странное.., останавливает внимание, но не привлекает.— Руки (les bras) удивительно красивые — флорентинских статуй, кисти рук (les mains) небольшие, пальцы слегка крючковатые, очень заостренные к концу — походка быстрая и плавная. Любит лежать, но движения проворны, почти резки.— Звук голоса несколько глухой, как у очень нервических людей. Одевается несколько изысканно, пахнет гелиотропом — мускусом.— Лжет и верит в свою ложь.[24] Характер ее — смесь авантюристки и энтузиастки, лживый и искренний, великодушный, но не добрый, с ударом молоточка. Впечатлительность страшная — суеверие и подозрительность; влюбчива и нечувственна (взять кое-что от гр. Толстой).— Холодна к искусству; поэзию любит возвышенную, почти риторическую. Любит читать стихи Ламартина.[25] Очень много воли — и мало постоянства. Верит в судьбу, в предопределение. Глубоко потрясена всей своей прошлой жизнью. Очень устала в то же время — и знает, что у ней талантов никаких. Она себя попробовала и ничего не вышло: остались горечь и недоумение. Она не столько полюбила Тр⟨авина⟩, сколько поверила, что он ее суженый. Очень много самолюбия, и мысль о пренебрежении, презрении перенести не может. Порыв смелости, а потом вдруг всё спутается и готова скрыться, исчезнуть.— Существо несчастное, странное, обаятельное... и несимпатичное.— Очень мало знает — почти не может читать, а передумала много. Почерк

[23] но бледные ∽ кусает *вписано.*
[24] Лжет и верит в свою ложь. *вписано на полях.*
[25] Любит ∽ Ламартина. *приписано на полях.*

неровный, крупный. Ненавидит сильно и глубоко — Прейсса, Шарля и некоторых других. Она родилась в Париже на бедной квартирке своего отца, rue Montorgueil, в 4-м этаже; он уже тогда бился и боролся с нищетою. Мать ее, хорошенькая и робкенькая увриерка (она была прачкой, lingère [26]), умерла, когда ей 9 лет не было, и она осталась на руках у Санты. (N3. С⟨анта⟩ была католичка, как истая наполитанка.— Отец был по-своему libre penseur [27], хотя тоже верил в судьбу, которая его преследовала и пр.) Отец хотел сделать из нее артистку-пианистку, но ей это никак не давалось... Он спозаранку стал глядеть на нее как на существо необычайное (в смысле фантастическом); [28] она видела во сне свою мать, даже нарисовала ее лицо — и отец сохранял этот детский очерк и даже с него бюст слепил (С⟨...?⟩ покажет всё это Травину). До 15-и лет она билась тоже с нищетою, которая не доходила до голода, но всю жизнь проводила впроголодь.— Знакомых нет никаких; отец всё добивался заказов и был слишком горд, чтобы хлопотать об них (орлы — его специальность и, что он тщательно скрывал, похабные статуэтки для торгашей Пале-Рояля).— 15-и лет знакомство с Прейссом. Сперва под видом друга и благодетеля, который понемногу принес довольство или хоть безбедность в эту тощую замкнутую жизнь. Стал беспрестанно ходить; играл в безиг или пикет с Мональдески; Санта продолжала дичиться его («Кто он?,— говорила она,— жид, лютеранин?» — называет его il malisicuro [29]). Пр⟨ейсс⟩ влюбился старым в Сабину и хочет пустить ее по театру, устраивает это тайком. [...Собралась после] Незадолго до смерти отца (который слышать этого не хотел) она убегает — и в самый день смерти дебютирует в весьма второстепенной роли в оперетке на маленьком театре. Никакого успеха, хотя все заметили ее красоту. Она надеялась вернуться к отцу покрытая лаврами... разочарование.— Живет на квартире, нанятой Прейссом, с негритянкою Ю. Он ее не трогает и даже не просит. Доставляет ей место в Лионе на театре. Едет сам туда с нею. Дебют тоже неудачный; но там красоты довольно;

---

[26] белошвейкой *(франц.)*.

[27] свободомыслящий *(франц.)*.

[28] *Рядом с этим текстом на полях:* N3. «mon p'tit coco» ⟨«мое маленькое сокровище»⟩.

[29] ненадежным *(итал.)*.

держится на театре несколько месяцев. Знакомство с Шарлем, актером. Она влюбляется в него страстно и отдается ему.— Прейсс было заикнулся: она грозит ему револьвером...

NB. Надо хорошо очертить характер Пр⟨ейсса⟩ и отношение его к С⟨абине⟩. Шарль через несколько времени увлекся богатой дамой и бросил С⟨абину⟩. Она с отчаяния чуть не умерла, а потом бросила театр и пошла рыскать, как Санта. Темные моменты ее жизни. Голод, холод, но не разврат. В Руане она сошлась с магнетизером (вспомнить фигуру женщины в Luc sur mer) и год пробыла с ним, ездила, давала сеансы. Неизбежная часть (только часть) обмана оттолкнула ее, и она вернулась без гроша в Париж. К Санте идти она не хотела — и собиралась утопиться... Встреча с Пр⟨ейссом⟩, которую она предчувствовала. Он предлагает ей жить у него. Она соглашается.— Но она ему не ⟨---⟩. Хорошенький уединенный домик около Avenus de l'Étoile, близ Пасси. Он ей дает 30 000 фр. Она принимает и всё не ⟨---⟩.— Внезапное посещение Шарля. Он знакомится с Пр⟨ейссом⟩. Тот догадывается, что за птица — но терпит. Даже кончает тем, что позволяет быть у него часто, ночевать во флигельке. Шарль предлагает себя в секретари. Кончается тем, что Ш⟨арль⟩ задушивает Пр⟨ейсса⟩ и грабит его — и убегает. Предлагает С⟨абине⟩, которая ничего не знает, бежать с ним — но та с ужасом отворачивается. Она чувствует, что эти руки задушили.

NB. Сабина грозит ему, если он тотчас не исчезнет [30]. Перед тем Санта в первый раз ее посетила... Ее встреча с Пр⟨ейссом⟩. Смерть Пр⟨ейсса⟩. Никто не знает, что он погиб насильственной смертью.— Сабина возвращается к С⟨ант⟩е вместе с Юдифью, хочет пуститься в литературу, сочинить роман. Ездит за границу, в Баден-Баден [31]. Не удается. Ездит за город гулять одна... В одну из этих поездок встреча с Тр⟨авиным⟩.

NB. Болезнь неизвестная.— Видения, стуки (как сцена с Тр⟨авиным⟩: один стук ее...— и она сознается..., а потом — неизвестно откуда) [32].

---

[30] *Фраза вписана на полях.*

[31] *Фраза вписана.*

[32] *Вероятно, к этому месту относится более поздняя приписка на полях*: (Травину). NB. Вы хотите убить меня?

Встреча с Пр⟨ейссом⟩ — в 1862 году...

Поступление на театр в 1857 году. В театре — до начала 1859.

Темное время — весь 1859 год и нач⟨ало⟩ 1860.

Встреча с магнет⟨изером⟩ — 1860.

Уходит от него — в ⟨конце⟩ начале 1863 г.

Встр⟨еча⟩ с Пр⟨ейссом⟩ — фев⟨раль⟩ 1863. Живет с ним — до апр⟨еля⟩ 1865.

В 1866 году ездит за границу.

В 1867 — встреча с Тр⟨авиным⟩.

№3. ДЕМЕТРИО МОНАЛЬДЕСКИ, род. 1791—1857.

(Отец его — Анджело М⟨ональдески⟩, 1765—1815). Связь с княгиней Х⟨ованск⟩ой — 1790—91 [33]. Кн⟨ягиня⟩, 1766—1793 [34], ⟨умерла⟩ в Москве. Кн⟨ягиня⟩ бежит с мужем секр⟨етарем⟩ Посольства из Парижа от революции.— С нею происходит скандал; муж ее бросает и уезжает в Москву. И она приезжает умереть в М⟨оскв⟩у).

До 1811 г. в Неап⟨оле⟩ — ссора с отцом.

— 1820 — в Риме, в Милане (респ⟨убликанец⟩ — карб⟨онарий⟩); ездит в Россию к родным и по искусству, уж и там фиаско [35]

В 1822 — переселяется в Париж.

(В 1830 году дерется на баррикадах.) [36]

В 1839 — женится на Сел⟨ине⟩ Будуа, в 1843 — вдовеет.

Участвует в движ⟨ении⟩ 48.[37]

В 1854 — знак⟨омство⟩ с Прейссом.

В 1857 — умирает.

№3. Кн⟨ягиня⟩ Х⟨ованская⟩ грузинского происхождения.

Неудавшийся ваятель. Под старость, которая пришла скоро, он имел худощавое смуглое лицо, большой

---

[33] 1789—90.

[34] 1760—1803.

[35] ездит ∽ фиаско *вписано на полях.*

[36] *Фраза вписана на полях.*

[37] *На полях рядом с этим текстом приписано (франц.)*: 1798.— Championnet. Ruffo. Ferd⟨inand⟩ IV ⟨Шампионне. Руффо. Фердинанд IV⟩
1806.— Conj⟨uration⟩ de Naples. ⟨Неаполитанский заговор⟩ Roi Joseph Joachim Murat. ⟨Король Жозеф Иохим Мюрат⟩ 1808.
1820. Essai de constit⟨ution⟩ ⟨Попытка конституции⟩
1821. Chute ⟨Падение⟩

грузинский нос, маленький узк⟨ий⟩ лоб, большие ⟨седые⟩ черные с проседью курчавые волосы, карие небольшие глаза (вроде цыганских).

№3. Коричневый фрак, белый, небрежно повязанный галстух — беспорядочная походка, жилистые узловатые руки, неопрятный, бледный вид. Мрачный, раздражительный, несчастный ⟨?⟩ — вспыльчивый и угрюмый. Воспитание получил беспорядочное и дурное — самолюбие огромное, вообразил себя соперником Кановы [38]. Рассорился с отцом, чувствовал себя по матери аристократом — и сделался карбонарием, ненавидел ⟨*2 нрзб.*⟩ династию, попов, сделался libre penseur [39] — скитался, ничего ему не удавалось (ездил даже в Россию и был оттуда выслан как авантюрист), в 1820 и 21 г. пробовал быть constitutionnel [40], наконец бежал в Париж (в 30-м году дрался на баррикадах), но ни заказов не получил, ни таланта не имел — сделался incompris [41], верил в судьбу, боролся с нищетою, лепил плохие, даже похабные статуэтки и в 1855 году получил даже заказ вылепить двух орлов для казарм в Париже... (он, который так ненавидел Бонапартов), водит своих друзей, показывает им орлов [42]. Дочь свою любил, но мучил ее, хотя видел в ней нечто необыкновенное — увидел на ее лбу как бы свет от небесного перста [43], — верил в сверхъестественное, — в сущности сердце имел доброе и даже великое. При всей неряшливости имел нечто породистое и элегантное. Полюбил сильно девочку, на которой женился, — ей было 16, ему 48 л. Потеряв ее, еще более ожесточился и жил странной жизнью с своей глухой и странной сестрой; в кофейной его звали le vieux carbonaro [44]. Движения резкие, почти как у полишинеля. Ненавидел театр — по памяти отца и сестры — хотя чрезвычайно любил Альфьери и всё римское, всё величественное. Микеланджело! Серторий и Муций (?) Sertorio e Muzio...e Muzio! [45]

---

[38] *К имени* Кановы *на полях приписана фраза*: qu'il a gâté l'art pour au moins mille siècles!! ⟨который испортил искусство по крайней мере на тысячу веков!!⟩

[39] свободомыслящим *(франц.)*.

[40] конституционалистом *(франц.)*.

[41] непонятым *(франц.)*.

[42] водит ∽ орлов *вписано карандашом на полях*.

[43] увидел ∽ перста *вписано карандашом на полях*.

[44] старым карбонарием *(франц.)*.

[45] Микеланджело! ∽ e Muzio! *вписано на полях*.

Бедность заставляла его иногда унижаться, и тогда он становился мизерабельным и жалким и глубоко унылым — почти никого не видел и своих земляков чуждался. Всегда черные панталоны, жилет широкий и короткий, жабо, запах табаку, всегда висели какие-то тесемочки. Постоянные жалобы на людскую несправедливость.

Познакомился с Прейссом за шахматной игрой (в Café de la Régence). Пил одну воду — очень воздержан. Постоянно кашлял. Долго носился с планом [предст⟨авить⟩] сделать статую Брута, размышляющего над кинжалом, которым поразит Цезаря.— Лично очень храбр, восторженно и риторически, но без дара слова. То вдруг начнет слезливо кричать, а то молчит по целым дням. Помнил, что происходил от Мональдески и грузинских царей. Считал себя жертвой интриги и судьбы (втянутый живот, плоские ноги, спина горбом).

Опис⟨ать⟩ смерть его — разговор с Прейссом, его подозрение...

Медальон его отца...
И медальон с бюста Rafael (лат. надпись).

ABEL PREUSS, род. в Бонне, 1795—1865

Жиденок из большого семейства, довольно образованного (на сантиментальный манер); остался рано сиротой и был воспитан дядею, мелким банкиром в Париже, в 1811 г., в самый разгар наполеоновского могущества. П⟨рейсс⟩ с тех пор уж так и офранцузился.— Ему прочил его дядя в невесты свою старшую дочь, Рахиль, которая была годом старше его, рыжа и некрасива... Он и был ее мужем год-два и заведовал гешефтом — но она скоро умерла, и он остался, по собственной вине, сбоку припека, хотя всякие денежные аферы ему до смешного удавались. Он любил очень независимость, фланерство, не искусство, а всякие curiosités [46], музыку; it était poussé dans tous les petits théâtres [47]; не скуп, но и не мот — осторожный эпикуреец. Он хотя и жид, а скучал сухостью и мелкотою денежных дел; на большие спекуляции у него недоставало духа.[48]

[46] редкости *(франц.)*.
[47] он был завсегдатаем во всех театрах легкого жанра *(франц.)*.
[48] Он хотя ∽ недоставало духа. *вписано на полях.*

Сердце чрезвычайно доброе, даже мягкое, а безнравственность безграничная: границ его разврата никто не знал — ни он сам — разве боязнь погубить свое здоровье удерживала его. Однако однажды зимой в 4 часа утра видели его на ⟨*1 нрзб.*⟩ голым с веткой камелии в заднице.[49] К молоденькой девочке сосредоточивались все его чувства: она ему и дочь, и мать, и святыня, и родня, и урывками ⟨?⟩ и друг и всё. Никого он так бешено не полюбил, как Сабину. Когда он встретился с ней впервые, ей было всего 13 л⟨ет⟩ (в 1853), а ему 58 л⟨ет⟩ — у него было очень хорошее состояние: дом в Пасси с садом и т. д., прелестно меблированный (карета, 2 лошади), и 55 000 годового дохода.— Он был небольшого роста, плотный, лицо между Crémieux и Schlesinger, бритый, в морщинах; белокурый парик; неопрятные глазки (хотя он сам был всегда очень чист), говорил гнусляво, имел темные зубы, короткие красные пальцы с белыми [раковиновидными [50]] ногтями в виде маленьких раковин. (П.— поклонник Мейербера.) Он тоже подчинился мистическому обаянию Сабины и ее обстановки; и не без некоторого особого чувства взирал на всё это семейство (NB. Подговор его Сабины к бегству, частью из похотливых, частью из художественных видов).— При слове le beau, le beau idéal [51] умилялся и поднимал кверху глаза, смоченные неподдельными слезами.— Настойчив; знаком также со всеми мелкими журналистами; иных из них кормит. (Посетитель Hôtel Drouot).— Хотя жид и парижанин, но доверчив,— так, напр⟨имер⟩, он доверяется Шарлю. Его удивление и сожаление о жизни, когда тот его задушил.

Благоговение перед Мональдески, «великим непризнанным художником».

СЕЛИНА БУДУА, 1823—1841

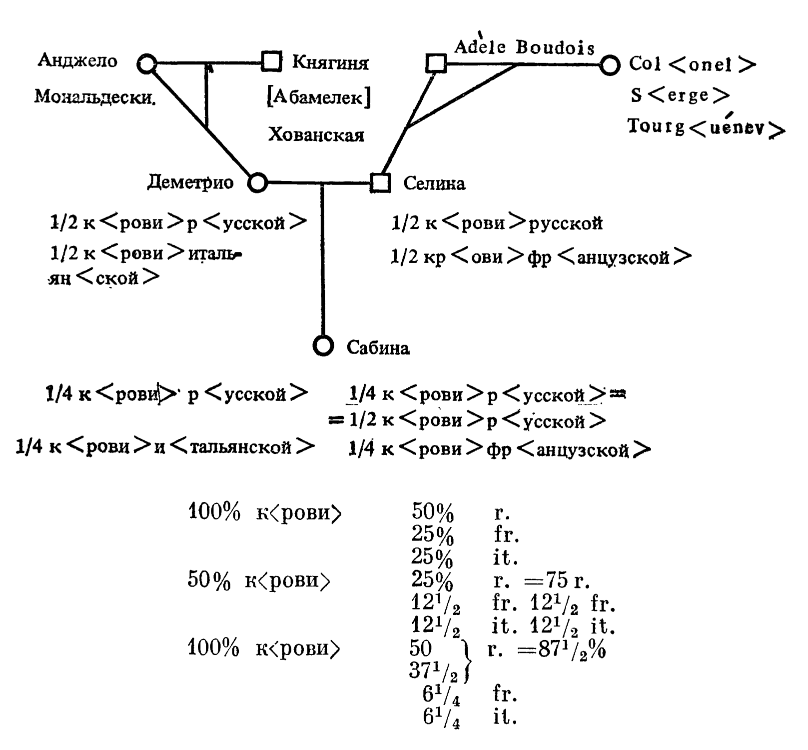
Белокуренькая, премиленькая девочка вроде покойницы Лизы Хрущовой... По слухам дочь заезжего officier russe [52]; это только ее дочь брала к сведению. Мать ее была белошвейка (Сел⟨ина⟩ тоже) — умная и добрая парижанка, всячески приличная, которая скоро умерла.

---

[49] *Фраза вписана на полях.*
[50] *Слово*: раковиновидными — *полустершееся, под ним рисунок.*
[51] прекрасное, прекрасный идеал *(франц.).*
[52] русского офицера *(франц.).*

Сувенир: солдатский Георг⟨иевский⟩ крест, вдетый в брошку.

(Автор, который всё знает, сказал нам, что отец С⟨елин⟩ы был его собственный отец, полк⟨овник⟩ С. Н. Тургенев, который в 22 году был в Париже и считался изв⟨естным⟩ Дон-Жуаном).



⟨КОНСПЕКТ⟩

[⟨*1 нрзб.*⟩ Травин вроде брата г⟨осподин⟩а Гризе.

Сабина[53], д⟨еви⟩ца Монaльдески — неб⟨ольшая⟩ белокурая, с большими светлыми подвижными глазами, маленький рот, уши, тонкий нос крючком, маленькие губы, слегка раскрытые,— красивые белые зубы, ручки с белыми крючковатыми пальцами — походка быстрая.

Служанка — mulâtresse Юдифь.

На прогулке муха и паук.

---

[53] Клоди.

К⟨лоди⟩ была некоторое время у магнетизера Александра. Отец ее — старый скульптор. Итал⟨ьянец⟩ — в Париж приехал и выделывал статуи похабные.

Мать — прачка — скоро умерла. Франц⟨уженка⟩.

Кл⟨оди⟩ жила у отца до 17-летнего возраста.

Он [54] умер... ее соблазн⟨яют⟩.] [55]

СК [56]

Сцена в вагоне. Т⟨равин⟩, С⟨абина⟩ и ген⟨ерал⟩. Дома Т⟨равину⟩ каж⟨ется⟩, что он видит С⟨абину⟩ на улице, обернувшись. Обед у Л⟨аниных⟩.

Потом театр (Théâtre Français). Ген⟨ерал⟩ в ложе Лан⟨иных⟩ вид⟨ит⟩ в парт⟨ере⟩ Т⟨равина⟩ — расск⟨азывает⟩ — Т⟨равин⟩ является в ложу. Потом идет пить чай. Объяснение.

Рассказать историю отношений Т⟨равина⟩ к Л⟨аниным⟩. М-м Ланина вроде стар⟨ух⟩и Скобелевой; но она еще сама очень хороша.— Маша вроде д⟨еви⟩цы [Скобелевой] Львовой, петерб⟨ургская⟩ хорошая барышня.

Утром появление С⟨абины⟩ у Т⟨равина⟩. Сцена (Саб⟨ина⟩ тоже была в театре и видела. Она думала, что Т⟨равин⟩ влюблен в М⟨аш⟩у). Предложение написать. (NB. Ланина убеждена, что в ту же ночь Т⟨равин⟩ сдался С⟨абин⟩е — и не слишком строго к этому относится.) [Однако] (С точки зрения, что Т⟨равин⟩ мог быть любовником ее; ну а как муж М⟨аш⟩и — это дело другое.) — Саб⟨ин⟩а умоляет Травина прийти к ней.[57] Она уходит... Появление Чубко, который (сплетник, fureteur [58]), встреч⟨ает⟩ С⟨абин⟩у на лестнице, рассказ⟨ывает⟩ о ней Т⟨равин⟩у, на которого произвела С⟨абин⟩а странное, но сильное впечатление. (Краткая биогр⟨афи⟩я Тр⟨авина⟩.)

---

[54] *Перед*: Он — *начато*: Там

[55] *Текст*: Травин ∽ соблазн⟨яют⟩.— *записан на отдельном листе почтовой бумаги со штампом* «Bougival. Les Frênes. Chalet» *и перечеркнут. Под штампом рукой Тургенева поставлена дата* «Четверг 25/13 окт. 77», *написанная другими чернилами и, по всей вероятности, не имеющая отношения к повести, а являющаяся датой ранее начатого письма. На полях листа перечень имен:* «Ив. Тургенев. Скобелев, Арапетов, Аздрубанов, Лавров, Осман-Паша, Тимофеев», *представляющий собой пробу пера. На этом же листе Тургенев позднее набросал продолжение конспекта повести (см. стр. 238, сноска 72).*

[56] *Возможно*: С⟨окращенный⟩ к⟨онспект⟩

[57] *На полях рядом с этой фразой:* Ведь вы умственно обнимали меня? Если б вы знали!

[58] проныра *(франц.)*.

Он идет к Ланиным. Застает одну мать (папиросы, не глядя ей отвеч⟨ает⟩). Высказать в разговоре, что она-де не прочь... но Маша! Тр⟨авин⟩ уходит très incertain [59].

Вечером прибегает Ч⟨убк⟩о... Он опять кое-что разузнал. Между прочим будто она была у сомнамбулы помощницей. [60] Занимает деньги, убегает. (С⟨абин⟩а не кокотка, с деньгами, гов⟨орит —⟩ собирается в актрисы, но таланта нет.) День приходит — глупый п⟨арижск⟩ий день.— (Выставка... встреча с генералом. Тр⟨авин⟩ с Ланиными... Опис⟨ание⟩ русской харчевни и т. д.) На след⟨ующее⟩ утро записка от С⟨абин⟩ы (странный почерк). Негритянка приносит ее. Девиз характерный: au delà [61].

Решается идти.

Описание квартиры.— Тетка Санта... Следы Циприано. Большой разговор С⟨ант⟩ы с Тр⟨авиным⟩. Она кое-что отгадывает из его жизни... (vous êtes orphelin [62] и т. д.).— Она ему рассказывает свою жизнь... Оставляет обедать; вино с духами, странные итальянские кушанья[63].— Он уходит поздно... Она плакала, чудачила... но интимности не было.— Упоминает о своей бабушке, princesse russe [64], (русские степи...), потом разные странности, галлюцинации. Тетка Санта — ее молчаливое присутствие, одобрительные обращения к Тр⟨авин⟩у. Негритянка у порога, подперши щеку; пряный запах в комнате. Тр⟨авин⟩ уходит как опьянелый, обещает приехать на след⟨ующий⟩ день за город.

[На другое утро] Тут включить правдивую историю Саб⟨ин⟩ы. Отец... неудавшийся скульптор (орлы и тайные похабные статуэтки), несколько слов о матери. Санта глухая и почти безмолвная (царство фантомов).— Жизнь. Знакомство с Monsieur Preuss'ом. Прирейнский жид, офранцузившийся, вроде Шлезингера. Его предложение Сабине... Бегство из дому... разные похождения. Попадает к сомнамбуле (вроде Albert). Знакомство с Шарлем... (Определить себе, что за птица.) Ужасно красивый и лениво злой.— Смерть отца, возвр⟨ащени⟩е перед смертью. Опять m-r Прейсс.— Предложения. Она их принимает... Сцена с деньгами (Tenez, voilà, voulez-vous?) [65] Она мол-

---

[59] очень неуверенный *(франц.)*.
[60] *Фраза вписана.*
[61] по ту сторону *(франц.) вписано на полях.*
[62] вы сирота *(франц.)*.
[63] вино ∽ кушанья *вписано на полях.*
[64] русской княгине *(франц.)*.
[65] Вот, возьмите, желаете? *(франц.)*.

ча допускает.— Жизнь на вилле. Постоянные idées de suicide [66]. Санта подозревает все флаконы. Значение снов.— Появление Ш⟨арл⟩я. Она его принимает тайно. Ночь убийства (Шарль его удушивает). Похороны... Хотят удалиться вместе. Появление Шарля, уже как бы официальное, и Санты. Chi è?[67] (№3. Отн⟨ошение⟩ Санты к Шарлю), но при взгляде на его руки ее охватывает ужас — или вообще она смутно понимает, что тут недоброе что-то — и опять бежит с Сантой и живет в постоянной тревоге... (Напр⟨имер⟩: чувствует, когда он проходит близко, и бледнеет. Об этом она уже намекнула в разгов⟨оре⟩ с Т⟨равиным⟩.)

На другое утро.— Воскресенье — Т⟨равин⟩ с Ланиными в церкви (Маша[68] — молчальница). И С⟨абина⟩ тоже тут, но он ее не видит. С Ланиной кисло.— Поездка с С⟨абиной⟩ за город (счастливый день, по ее приметам, как у Фредро). И она чрезвычайно обаятельна. Описать прогулку обстоятельно. Саб⟨ина⟩ доказывает Т⟨равин⟩у, что он не любит ни Л⟨аниной⟩, ни Маши. Он подпадает под чары. Большие приятели — обед в малень⟨ком⟩ ресторане, но о завоевании и думать нечего. Она и мысли не допускает — никакого чувственного кокетства. Т⟨равин⟩ возвращается домой в странно-возбужденном состоянии.

Проходит неделя в колебаниях. Т⟨равин⟩ всё собирается к Л⟨аниным⟩ и кончает тем, что ездит к С⟨абине⟩, в которую окончательно влюбляется.— Описать его посещения.— Наконец он предлагает ей жениться... к изумлению, она и этого не хочет... по крайней мере не говорит «да», хотя хочет видеть Россию... Разные галлюцинации, особенно один вечер должен быть очень странен. Содрогается, бледнеет — должно быть, проходит Шарль, видения — Санта. Удивляет Т⟨равина⟩ тем, что догадывается, что у него в семействе эпилепсия (или он это сам ей сказал), о смерти матери; говорит о своей — показывает нарисованный ею портрет матери, которую никогда не видела, и который отец находил чрезвычайно похожим (взял для бюста), о снах (над вертящимися столами смеется — по временам должен проглядывать почти [скептический] цинический скептицизм). Тр⟨авин⟩ сам как во сне

[66] мысли о самоубийстве *(франц.)*.

[67] Кто это? *(итал.)*.

[68] *К слову*: Маша — *приписка на полях*: Здесь замеч⟨ает⟩ С⟨абин⟩у, как она на них глядит, и догадывается.

(сцена, где он чуть не избивает Чубко — не забыть. №. У Чубко всегда грязные щеки, напомаженный жирный кок, ⟨*1 нрзб.*⟩ и картавит, когда говорит по-французски — Щербань).— Влияние на него Сабины. Она нигде не позволяет ему платить за себя (№. Разговор с глух⟨ой⟩ Сантой, которая советует ему жениться на С⟨абине⟩). Поездка в Булонский лес, где видят маленького зеленого паука с толстой желтой мухой. Мнимая, как действительная, встреча с Ш⟨арлем⟩. Тр⟨авин⟩ перестает поним⟨ать⟩, когда она лжет, когда нет. Она сама это не знает. Сон Травина об удушении. Разговор вечером Т⟨равин⟩ доканчивает. Его ужас.— «Не принимаете ли вы меня за леди Мак⟨бет⟩? — Вы можете целовать эти руки». Он берет их, но не целует и смотрит на нее с изумлением и не без ужаса. (Рассказ⟨ать⟩ тут или прежде, как она смотрела на шею Прейсса). Тр⟨авин⟩ уходит в том же оцепенении.— На другое утро письмо от С⟨абины⟩, в котором она его уведомляет, что она уезжает (Je ne suis pas une aventurière — vous en savez quelque chose [69]). №. Не забыть, что они верили сами в fatalité[70], которое ее влекло к нему.— Браслет единственная вещь, за которую он заплатил и которую она не возвращает.

Он идет к ней, смотрит с улицы на закрытые ставни и не решается войти. Шляется целый день по выставке, не встретит ли Л⟨аниных⟩. (Встречи с Чубко, с генералом, Л⟨аниных⟩ нет.) — На другое утро опять письмо от С⟨абин⟩ы (ироническое: паук отпуск⟨ает⟩ муху и т. д. Санта Вам кланяется... и повторяет свое... [71] — «Надо Вам поехать на теплый юг, хорошенько очиститься от всего вредного, а там решиться»). Тр⟨авин⟩ идет к Ланиным. Они действительно уехали. [72] Травин тоже уезжает.

Год спустя в Москве с Л⟨анин⟩ой и с Машей. Он женится на ней... «Вы меня разлюбите.., но я вас не разлюблю».— Русская хорошая барышня вроде кн. Львовой. Получает накануне свадьбы браслет С⟨абин⟩ы — pour votre femme — et, si elle n'en veut pas, pour les pauvres [73].— Встреча с Чубко... Да, ваша... теперь с принцем Наг.[74]

---

[69] Я не авантюристка — вам это известно *(франц.)*.

[70] предопределение *(франц.)*.

[71] *В оригинале оставлено пустое место.*

[72] *После*: уехали.— *на другой стороне листа перечеркнутые наброски, сделанные, вероятно, ранее* (*см. стр. 235, сн. 55*).

[73] для вашей жены, а если она не захочет,— для бедных *(франц.)*.

[74] *Чтение условное.*

Это всем известно. Но так как перед этим он рассказал, что перед отъездом из П⟨ариж⟩а завтракал с гр. Н-е и та ему показала свою переписку с ним, Т⟨равиным⟩, то Тр⟨авин⟩, не знает верить ли, и повторяет: «Кто она, что она?» Но тут входит его жена с ребенком на руках — и он только подумал: а господь с ней! Никогда уже больше о ней не думал.

⟨ПЛАН⟩ [75]

С.— Сабина
Са.— Санта
Л-а — Ланина
Л.— Лизавета
Т.— Травин
М.— Мональдески
П.— Прейсс
Г. В.— Генерал де Валькур
Ю.— Юдифь
Ч.— Чубко
Ш.— Шарль
Сел.— Селина Будуа

N3. Ввести французскую барышню.[76]

Глава 1-ая

20-го июня н. с. 1867 г. в 2 часа Т⟨равин⟩ возвращался в Париж из Фонтенебло. В одном вагоне с ним сидит С⟨абина⟩ и г⟨енерал де⟩ В⟨алькур⟩. С ⟨абина⟩ напротив его, Т⟨равин⟩ поражен ее наружностью: она возбуждает его чувственность — и, подъезжая под туннель, он думает: «Вот бы обнять ее и поцеловать эти губы!» — При выезде из туннеля С⟨абина⟩ стоит вся бледная и взволнованная и говорит сидящим в вагоне (кроме г⟨енерала де⟩ В⟨алькура⟩, еще одна незначительная личность и одна пожилая дама.) Этот господин (указывая на Т⟨равина⟩) позволил себе оскорбить меня!.. Т⟨равин⟩ смущен; генерал негодует...— «Так не поступают порядочные люди! Сударыня, вы можете жаловаться, а вы, м⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩, на первой же станции извольте выйти,— это я вам говорю, генерал фр⟨анцузской⟩ армии. (Сей генер⟨ал⟩, в сущности, ужасный развратник.) Тр⟨авин⟩ силится оправдаться — и не может... Он глядит как потерянный на С⟨абину⟩ — а та, опустившись на место, сидит всё еще бледная и как бы недоумевающая — и на предложение

---

[75] *План повести Тургенев набросал в новой тетради, которая открывается карикатурой с надписью:* N3. Муж, который убил жену, и ее, для него невидимое, привиденье.

[76] *Примечание это осталось не реализованным.*

генер⟨ала⟩ жаловаться только качает головою и не говорит ни слова.— Приезд в Париж; ген⟨ерал⟩ повторяет свое строгое наставление; Тр⟨авин⟩ убегает сломя голову и не оглядывается... С⟨абина⟩ быстро выходит вслед за ним.— Возвращаясь домой, Т⟨равин⟩у кажется, что С⟨абин⟩а идет следом.

Глава 2-ая

Тр⟨авин⟩, придя домой, вспоминает, что обещался обедать у Ланиных. Описание этого семейства и его знакомства с ними в Москве.— Описание самого Травина. Глава биографическая.

Глава 3-ья

Обед у Ланиных. Заигрывание Л⟨аниной⟩.— Фигура Бетси. Они получили ложу в Théâtre français от нов⟨ого⟩ своего знакомого, генер⟨ала⟩ де В⟨алькур⟩а; ложа не его, его двоюродной сестры.— Тр⟨авин⟩ тоже отправляется в Théâtre français в parterre, [ген⟨ерал⟩ де Валькур из ложи узнает его и рассказывает про него железнодорожный анекдот. Между тем этот самый мол⟨одой⟩ человек входит в ложу. Смущение], идет в ложу: является и ген⟨ерал⟩ де Валькур, узнает его. Смущение Т⟨равина⟩. Ген⟨ерал⟩ перед этим рассказал про него железнодорожный анекдот. Смех, в сущности весьма не обидный. (Генерал то же самое бы сделал, [но Бетси] Л⟨анин⟩а тоже находит это естественным; Бетси оскорблена.) — После театра Л⟨анина⟩ приглашает его на чай.

Глава 4-ая

Чай в Hôtel Vouillemont. Разговоры. Дополнительные биографические сведения о Т⟨равине⟩, Л⟨аниной⟩ и Бетси.— Приходит ген⟨ерал⟩ и пускается в скабрёзность.— Б⟨етси⟩ уходит... все расходятся.— Плохая ночь Т⟨равина⟩.

Глава 5-ая

Утром рано 21-го июня у Тр⟨авина⟩ появление С⟨абины⟩ (тоже она была накануне в театре в закрытой ложе? Почему? Она, по ее уверению, имела верное предчувствие, что Т⟨равин⟩ там будет [77],— и всё видела.— Она уверена,

[77] Почему ∽ там будет *приписано на полях.*

что Т⟨равин⟩[78] влюблен в Бетси). Объяснение странное, несколько даже фантастическое. С⟨абина⟩ предлагает нап⟨исать⟩ Л⟨анино⟩й письмо, в котором себя обвинит («хотя ведь вы мысленно обняли меня!»). №3. Т⟨равин⟩ с досады ей рассказывает выходку генерала: С⟨абина⟩ сообщает некоторые отрывочные факты о себе, умоляет его прийти к ней. «О если б вы знали!.. Ведь я ваша соотечественница, хотя не говорю по-русски... но звуки родные», etc.— Уходит внезапно, оставив сильное впечатление.

Глава 6-ая ⟨*Не закончено*⟩

---

[78] *В рукописи ошибочно*: С

⟨СТАРЫЕ ГОЛУБКИ⟩

Был осенний, тусклый день — и в раскрытые окошечки уютного сельского ⟨?⟩ дома тянуло из саду яблоками — падалицей, разрытой огородной землей, петрушкой и укропом, когда наш добрый старик-сосед начал свое мирное повествование. Нас собралось пять человек в его крошечной гостиной — три студента, две девушки — всё 17-летняя, 20-летняя молодежь. А он был уже весь седой и сгорбленный; но ослабевший голос его звучал приветом и глаза глядели, хоть и невесело — в жизни ему не слишком-то везло,— но добродушно, ласково и умно. И мы его любили, и шли к нему охотно, и радовались, когда замечали, что и ему было хорошо с нами. Не много на свете чувств лучше чувства дружбы, связующей старое сердце с молодыми сердцами: себялюбию тут места нет и быть не может; как воск, горит и тает оно на этом тихом и ясном огне. Сосед наш рассказывал долго — а мы сидели смирно и слушали внимательно.

— Дети мои,— так начал он,— вы вот теперь находитесь у меня в гостях, в моей хате, на моей земле; но не всегда я был помещиком, я стал им даже довольно поздно. Я птица неважная, происхождения мещанского. Отец мой в течение многих лет состоял управителем у богатого барина и жил во флигеле — меньше чем крестьянск⟨ая⟩ изб⟨а⟩. Был он человек отличной честности, добрейшей души, но здоровья слабого. Пожил он недолго. Сам он был обучен на медные гроши; но мне воспитание дал порядочное, насколько хватило средств. По его милости и в университет поступил, что в то время было нелегко для нашего брата-разночинца. В этом деле ему помог тот же барин, у которого он жил управляющим.— Я был один сын у отца; матушка моя скончалась, когда мне только что пошел шестой год; отец любил ее страстно — и всю эту любовь и страсть перенес на меня. Никогда не забуду я летних вакаций, которые я постоянно проводил у него в деревне: какое это было счастливое время! Я гулял,

ходил на охоту, удил рыбу — и почти никогда не расставался с отцом: несмотря на разницу лет между нами, он был мне неизменным и чудесным товарищем; я не отставал от него во время его разъездов, присутствовал при всех его распоряжениях по хозяйству и, как говорится, сам вникал. Мне нравились эти незатейливые хлопоты, деревенское житье-бытье представлялось мне в виде привлекательном, а безобразная сторона крепостного состояния не колола мне глаз, так как отец мой был человек тихий и мягкий. Крестьяне его любили — да и народ в том краю жил смирный и непьющий. Бывало, с тяжелым сердцем я всякий раз уезжал в Москву... но надобно было работать, приобретать познания... Отец так радовался моим успехам!

В июне месяце 182... года я, благополучно сдавши экзамены, прибыл в деревню. Я был тогда уже третьекурсным студентом, мне минул 18-й год. Я застал отца в большой ⟨?⟩, как он выразился, ажитации: он ожидал приезда своего «барина», который уже лет десять как не заглядывал к себе в именье. Человек он был, по словам отца, отличный, но всё же барин, владелец, помещик... и как ни уверен был отец в собственной честности и распорядительности, как ни процветало порученное ему имение, а все-таки ни за что нельзя было отвечать заранее: что-нибудь не покажется, подвернется наушник — и простись с насиженным, облюбленным ⟨?⟩ местом! К тому же помещик наш приезжал не один: ему сопутствовала его супруга, на которой он весьма недавно женился. И вот еще что нужно заметить: помещику нашему пошел 53-й ⟨?⟩ год, и жена его была всего годами пятью его моложе; он с ней познакомился и влюбился в нее лет 30 тому назад в Петербурге, но она была тогда замужняя женщина — и муж ее жил очень долго... В наших краях все почему-то знали про эту любовь Алексея Петровича (так звали нашего помещика) — знали также, что он оттого и остался холостяком и вел странную, чуть не монашескую, скитальческую жизнь... И вот вдруг он женится... в старых уже будучи летах на женщине тоже немолодой... Жениться — перемениться, гласит пословица... Всё это только усиливало беспокойство и волнение моего отца. А тут он еще простудился — он беспрерывно, днем и ночью, рыскал по имению, всё хотел своими глазами видеть — и за два дня до приезда Ал⟨ексея⟩ Петр⟨овича⟩ слег, схватил горячку, впал в беспамятство... Нечего было делать,

пришлось мне, 18-летнему студенту, всё взять на себя и заменить пока отца... Наши люди меня любили и охотно взялись мне помогать...

Должно сказать, что я был в ту пору нрава живого и даже легкомысленного; обо всем судил скоро, бесповоротно и был в одно и то же время и робок и насмешлив, как это часто случается с молодыми людьми. Мне наш помещик всегда представлялся в комическом свете — как ни расхваливал его мой отец, я сразу решил, что он чудак; а брак его со старухой окончательно уронил его в моем мнении. Но мне было тогда не до зубоскальства. Озабоченный болезнью отца и той ответственностью, которая так внезапно обрушилась мне на голову, я только думал об одном: как бы не раздражить чем-нибудь неожиданных посетителей, как бы угодить им. Я воображал их людьми привередливыми — особенно любящая старушка внушала мне большие опасения!

И вот настал наконец такой день: приехали наши господа.

УЧИТЕЛЯ И ГУВЕРНЕРЫ

Вступление.

Перечень разных:

Дессёр старик.— Эмигрант и т. д. [1]
Жена.
Республиканец Дюпакэ (Лгун и сожигание шмеля ⟨?⟩)
О Катоне, когда секут.
Немец — чтец Шиллера — ⟨*1 нрзб.*⟩
Рикман — музыкант. Гитара. Дозе.
Мейер — эльз⟨асец⟩ — пудель — фехтова⟨льщик⟩?
Шааф — восторженный — мистик, проповедник и пьяница.
Валлиэ, презритель⟨ный⟩ фуфыга — галка в клетке — записка ⟨*1 нрзб.*⟩, драму придумать

---

[1] *К этой строке помета:* 1825
75
1750

NATALIA KARPOVNA
1880[1]

No. 1

1820.

N. K. 50 ans (1830)[2]. Figure blonde, pâle, flétrie, tout est pâle dans cette figure, les yeux, les cheveux, et jusqu'aux dents; mains potelées, onglrès très courts, taches de rousseur[3]. Toujours affairée, agitée, comme le sont souvent les gens qui ont été réellement malheureux. Petite fortune, vit à la campagne dans sa propre maison — a un jardin qu'elle soigne pour ses fruits (Hangar de ma tante).[4] Parle vite en bredouillant un peu. Bonté parfaite, crédulité, timidité. Ne vit que dans le souvenir[5] de son fils, qu'elle ignore être mort ou vivant. N'est plus très religieuse depuis qu'elle a cru remarquer que cela ne servait à rien. Dans les meilleurs termes avec ses ci-devant paysans avec lesquels elle aime à converser pendant des heures. N'a que peu [de robes] d'amis, et pourtant est très affectueuse, mais, que voulez-vous? elle est pauvre. Porte toujours les mêmes robes, fripées, étroites, et à peu près de la couleur de son visage. S'arrange à chaque instant son petit chignon pas plus gros qu'une pomme. N'a ni chiens, ni chats, ni oiseaux: on n'a pas le temps d'aimer tout ça. Va souvent seule dans une petite voiture traînée par un vieux petit cheval, qu'elle aime assez. Veuve depuis longtemps.

No. 2

P. A. Pavel Andréitch. 27 ans. Assez grand de taille, voûté, la poitrine rentrante, léger tremblement dans les

---

[1] *Французский текст записан П. Виардо под диктовку Тургенева. Дата:* 1880 — *вписана рукой автора. В подстрочных сносках приведены исправления и дополнения, сделанные самим писателем позднее.*

[2] 1830 *вписано, по всей вероятности, взамен поставленной ранее ошибочно, но не зачеркнутой даты* 1820.

[3] mains potelées ∽ taches de rousseur *вписано.*

[4] *Фраза вписана.*

[5] souvenir *вписано вместо зачеркнутого:* songe

mains — il a joui de la vie celui-là. Visage long, sallow[6], cheveux gras, tombant en désordre sur le front; maigre, malpropre, vêtements négligés, c'est le fils de No. 1. Expression de bonté presque semblable à celle de sa mère, mais avec une nuance de folie et de violence. Se décidant brusquement et sans retour. Très passionné, très enthousiaste, très [capable] facile à se laisser entraîner. Au fond de sa nature[7] une grande tristesse, un désir ardent de faire quelque chose, mais tout cela se brise par sa violence même. Il a une vraie adoration pour sa mère et pourtant ne la voit presque jamais. Les autres passions féminines sont rapides et il en a presque honte. Constitution maladive. Il le sait et n'en est guère[8] fâché. Il n'y a rien à faire ici-bas! l'argent lui fond dans les mains. Avec cela ni ivrogne, ni joueur. Mais la hâte d'agir[9] le perdra. Il s'est trouvé dans des choses qui sont beaucoup au-dessus de lui, et qui lui ont déjà ruiné la santé. A son âge, déjà habitué à se cacher, à être suveillé etc.

No. 3

P. P. Pimen Piménitch[10], type nouveau en Russie. Révolutionnaire gai. [31] 30 ans : fils d'employé supérieur, a reçu une éducation soignée, a lâché tout cela pour suivre son esprit aventureux. Assez petit mais bien pris dans sa taille, de jolis traits, presque mignons. Chevelure abondante, bouclée, brune. Dents étincelantes, rire soudain et étincelant comme ses dents[11], racontant, très bien, non sans hâblerie, extrêmement audacieux, insouciant et meme goguenard dans le danger. Quand il est pris... eh bien [il faut] c'est à recommencer! et il recommence. Santé de fer, force d'Hercule, digère tout[12]. Le [plus] côté saillant de son caractère c'est qu'il ne peut supporter l'injustice. Aimant le vin, la bonne chère, ne redoutant pas le tapage, le scandale. N'est jamais grossier ni brutal, [jusqu'aux coups de poing inclusivement] bien qu'à l'occasion il ne haît pas le coup de poing. Ayant souvent [des] besoin d'argent, mais pas pour lui-même ; dans ces moments-là prêt à tout faire,

---

6 *См. соответствующее примечание к тексту перевода.*
7 Au fond de sa nature *исправлено вместо*: Le fond de sa nature est
8 guère *вписано вместо зачеркнутого*: presque pas
9 hâte d'agir *вписано вместо зачеркнутого*: politique
10 Pimen Piménitch *вписано.*
11 rire ∽ ses dents *вписано вместо зачеркнутого*: rieur
12 force d'Hercule, digère tout *вписано.*

à travailler du matin au soir, à risquer sa tête si une bonne occasion se présente. Plaisant énormément aux femmes. Lui aime surtout à danser avec elles, craignant de *s'empêtrer* et se tenant à l'écart.

Il y a quelques grands noms de l'histoire révolutionnaire de la Russie pour lesquels il a une vénération sans bornes. A eu jusqu'à présent une chance extraordinaire.

Relations bizarres avec le No. 2.

No. 4

18 ans. Kassia[13] [P. J.] Adoptée par le No. 1 comme parente éloignée. Sans famille mais non sans fortune. Un peu lourde de taille, de mains, de démarche, et très beaux cheveux blonds, plats, fins et longs. Des yeux franchement gris, le teint [un peu] pas net, mais très agréable à voir — et à entendre. Jolie petite voix, lèvre inférieure un peu fendue par le milieu, très joli front, quoique bas. Adroite de ses mains, bonne ouvrière, musicienne passable, et malgré son extérieur un peu mollasse, très capable d'énergie. Révoltée par l'injustice comme le No. 3[14] et n'aimant pas trop les Russes à cause de la légèreté avec laquelle ils l'acceptent, cependant russe par sa mère. Son père, un brave allemand à peu près ruiné par la déloyauté d'un employé russe. Aime la danse et danse très gentiment. Elle aime surtout No. 1 quoique ou parce qu'elle ne lui doive aucun[15] bienfait.

No. 5

Anton. 65 ans. Vieux domestique — figure à la Chenavard; osseux, brun, masse de cheveux grisonnants. Toujours bougonnant, point dévoué à la Caleb, mais aimant la maison, la famille — n'en ayant pas à lui. Un peu craint de tout le monde, respecté pour son honnêteté, et inspirant généralement de l'ennui. Grande capacité d'aimer au fond du cœur; n'a jamais pardonné le servage.

No. 6

Savvaty, [dans les] environ 50 ans. Paysan, grand, silencieux, sorte de prophête, grand ami d'Anton. Sa fa-

---

[13] Kassia *вписано.*

[14] comme le No. 3 *вписано.*

[15] doive aucun *вписано вместо зачеркнутого:* ait jamais fait le moindre

mille étant assez aisée, il n'a pas besoin de travailler beaucoup. Il a l'air de traverser majestueusement la vie. Porte généralement une longue chemise blanche avec un bonnet d'Astrakan gris fer. Parle lentement sans aucune affectation. C'est lui qui met les jeunes filles enthousiastes, dans le genre des reliques vivantes, en une sorte d'extase religieuse. Longues moustaches, grandes mains très blanches, chose bizarre chez un paysan. Marchant lentement et à très grands pas. Parle volontiers par paraboles, est souvent choisi pour arbitre par les paysans. N'emprunte jamais. Tutoie tout le monde, à commencer par le Gouverneur. Mourra pour avoir porté par un jour de grande chaleur dans une procession l'image miraculeuse de la Vierge de Kazan revêtue d'argent doré et de pierreries vraies et fausses. Cela est cité aux veillées des paysans comme un signe spécial de la bonté divine à son égard. Toute sa famille a été emportée par la mort en peu de temps, ce qui a contribué à déterminer la tendance de ses idées religieuses.

No. 7

Charlotte Andreevna. Allemande, ou plutôt Prussienne, originaire de Gumbinen, vieille fille, sèche, méticuleuse, 55 ans. [Avec] A eu jadis les traits réguliers. A été amenée en Russie comme gouvernante de jeunes enfants et y est restée comme bonne. No. 1 la respecte beaucoup, la croyant très savante. Envieuse, méchante, c'est elle qui découvrira la première Paul. Propositions cocasses du révolutionnaire gai de l'étrangler, mais tout change quand il propose tout aussi gaiement de l'épouser.

Alors elle se ramollit tout à fait.

No. 8

Père Nikita, inspecteur de police, ainsi nommé, non pas qu'il fût religieux, mais comme on aurait surnommé Rabelais. 48 ans, tous les vices, gai, sale, fin, pénétrant, horriblement ⟨...⟩[16] sensuel jusqu'à la cruauté, lâche et en même temps ⟨...⟩[16] il compte toujours sur la lâcheté des autres et se trompe rarement. Terrible avec sa femme et sa famille. Prisant, fumant, même chiquant, et avec cela, très aimable compagnon. Beaucoup d'esprit, on cite

[16] *Лист повpежден.*

de lui pas mal de saillies, presque toutes cyniques. C'est à lui qu'on attribue ce mot dit à quelqu'un qui lui tenait tête dans une discussion ⟨...⟩[17]

Toujours vêtu d'un manteau quasi militaire pour en imposer aux paysans. Les dents sont longues et noires à force de fumer. Il lui en manque une par devant.

Un gentilhomme qui le déteste disait de lui : « Je ne puis pas disputer avec cet animal, il sait qu'il a l'horrible habitude de cracher en parlant, sous prétexte de se fâcher, il m'inonde de sa salive et je ne puis pas m'en dépêtrer». C'est un grand preneur de pot-de-vin et pourtant on ne lui en veut pas trop pour cela, c'est plutôt pour ses conquêtes féminines. Un mauvais plaisant avait l'habitude de lui fourrer une petite plume de la queue d'un coq dans les cheveux de la nuque, et il ne s'en fâchait pas, il se pavanait! et c'est pourtant cet être-là qui a fait verser le plus de larmes dans sa province, non pas des larmes d'amour, mais de désespoir.

No. 9

[Marina] Victoria. 28 ans. Poésie et force qui se trouvent enchassées dans ce récit. Grande, svelte, très grands yeux, le regard presque toujours sombre et détourné avec les sourcils froncés. Très brune. Bras et mains longs. Parle peu, mais si elle se lance, parle avec passion et [une] violence qui va jusqu'à l'injustice. ⟨Exige⟩[18] beaucoup et d'elle-même et des autres. Séparée de son mari qui lui fait une assez grosse pension. C'est un officier aux Gardes, très mauvais sujet, ivrogne, débauché. (Elle le tuera en riant.) Lors de la séparation, elle avait une petite fille de 7 ans, très maladive, morte malgré tous les soins de la mère.

A voulu se suicider. Ne comprend rien aux arts, mais a la passion littéraire. Aurait fait une bonne actrice, de mélodrame plutôt que de tragédie. Est toujours élégamment mise. Aime la couleur verte quoiqu'étant brune.

---

[17] *Пропуск в тексте.*
[18] *Лист поврежден.*

Перевод

НАТАЛИЯ КАРПОВНА

1880 [1]

№ 1

1820

Н. К. 50 лет (1830) [2]. Белокурая, лицо бесцветное, увядшее; всё в ее облике бесцветно: глаза, волосы, даже зубы; руки пухленькие, ногти очень короткие, веснушки [3]. Всегда озабочена, возбуждена, как это часто бывает с людьми, испытавшими настоящее горе. Состояние у нее небольшое, живет в деревне в собственном доме; у нее есть сад, за которым она ухаживает ради плодовых деревьев. (Грунтовой сарай моей тетки.) [4] Говорит быстро, не совсем внятно. Исключительная доброта, доверчивость, застенчивость. Живет только воспоминанием [5] о сыне, о котором она не знает — умер он или жив. Не очень набожна с тех пор, как ей стало казаться, что это бесполезно. В прекрасных отношениях со своими бывшими крепостными, с которыми любит беседовать часами. У нее мало [платьев] друзей, хотя она очень сердечна; но что поделаешь, она бедна! Ходит всегда в одних и тех же платьях, поношенных, узковатых и почти такого же цвета, как ее лицо. Поминутно поправляет на голове маленький пучок размером не больше яблока. Не держит ни собак, ни кошек, ни птиц: у нее нет времени любить всё это. Часто выезжает одна в легонькой таратайке, запряженной старенькой лошадкой, к которой она питает некоторую нежность. Давно уже вдовеет.

№ 2

П. А. Павел Андреич. 27 лет. Довольно высок ростом, сутулый, грудь впалая, руки слегка дрожат — он-таки пожил! Лицо продолговатое, sallow [6], волосы жирные, беспорядочно спадающие на лоб; худ, неопрятен, одет неряшливо, это — сын № 1. На лице выражение доб-

---

[1,2] *См. соответствующие подстрочные примечания к французскому тексту.*

[3] руки пухленькие ∽ веснушки *вписано.*

[4] *Фраза вписана.*

[5] воспоминанием *вписано вместо зачеркнутого:* мечтой

[6] желтоватое *(англ.).*

роты, почти как у матери, но с оттенком безрассудства и необузданности. Принимает внезапные и бесповоротные решения. Очень страстный, очень восторженный, очень [способный] легко дает себя увлечь. В глубине его души [7] большая печаль, пылкое желание что-то совершить, но всё разрушается из-за присущей ему горячности. Мать свою он поистине боготворит и тем не менее почти никогда с нею не видится. Другие его увлечения женщинами мимолетны, и он их почти стыдится. Сложения болезненного. Он об этом знает и совсем не [8] огорчается. С этим ничего не поделаешь! Деньги так и тают в его руках. Вместе с тем не пьяница, не игрок. Но жажда деятельности[9] его погубит. Он побывал в обстоятельствах, которые были ему совсем не по плечу, и это подорвало его здоровье. В свои годы он уже привык скрываться, быть под надзором и т. д.

№ 3

П. П. Пимен Пименыч [10], новый в России тип. Жизнерадостный революционер. [31] 30 лет: сын важного чиновника, получил превосходное воспитание, но всё бросил, увлекаемый своим неукротимым духом. Невысок ростом, но хорошо сложен, приятные черты лица, почти миловиден. Волосы пышные, вьющиеся, каштановые. Зубы ослепительные, смех внезапный и ослепительный, как и его зубы [11], прекрасный рассказчик, не без краснобайства, чрезвычайно смел, беззаботен и даже весел в минуту опасности. Если попался, ну, что ж, [нужно] приходится начинать сначала! И он начинает сначала! Железное здоровье, Геркулесова сила, всё переваривает [12]. [Самая] Выдающаяся черта его характера то, что он не выносит несправедливости. Любит выпить, вкусно поесть, не боится шума, скандала. Никогда не бывает ни резок, ни груб [не пускает в ход кулаки], хотя при случае не прочь пустить в ход кулак. Часто нуждается в деньгах, но не для самого себя; в таких обстоятельствах готов делать всё, что угодно, работать с утра до ночи, рисковать собственной головой, если подвернется подходящий слу-

---

[7] В глубине его души *исправлено вместо*: Глубина его души
[8] совсем не *вписано вместо зачеркнутого*: почти не
[9] жажда деятельности *вписано вместо зачеркнутого*: политика
[10] Пимен Пименыч *вписано*.
[11] смех ∽ его зубы *вписано вместо зачеркнутого*: смешлив.
[12] Геркулесова сила, всё переваривает *вписано*.

чай. Чрезвычайно нравится женщинам. Сам же главным образом любит танцевать с ними, опасаясь *завязнуть*, и держится от них на расстоянии.

Питает безграничное уважение к некоторым крупным именам, связанным с революционной историей России. До сих пор ему сопутствовала необыкновенная удача.

В странных отношениях с № 2.

№ 4

18 лет. Кася.[13] [П. И.] Принята в дом № 1 на правах дальней родственницы. Без семьи, но не без состояния. Стан, руки, походка несколько грузные, и очень красивые белокурые волосы, прямые, тонкие и длинные. Глаза совершенно серые, цвет лица [немного] неяркий, но очень приятный на взгляд — и ее приятно слушать. Красивый голосок, нижняя губа чуть рассечена посередине, очень красивый, хотя и низкий, лоб. Хорошая рукодельница, ловкая в работе, посредственная музыкантша и, несмотря на несколько вялую внешность, может быть энергичной. Возмущается несправедливостью, как и № 3[14], и недолюбливает русских за легкость, с которой они с ней мирятся, хотя сама она по матери русская. Отец ее — честный немец, почти разоренный вероломством одного русского чиновника. Любит танцы и очень мило танцует. Особенно любит № 1, хотя или именно потому, что не обязана ей никаким[15] благодеянием.

№ 5

Антон. 65 лет. Старый слуга — персонаж в духе Шенавара; костлявый, смуглый, копна седеющих волос. Вечно ворчит, не то чтобы предан как Калеб, но привязан к дому, к семье, так как своей у него нет. Все его немного побаиваются, уважают за честность, а вообще он всем внушает скуку. У него сердце, способное горячо любить; с крепостным состоянием он никогда не мирился.

---

[13] Кася. *вписано.*

[14] как и № 3 *вписано.*

[15] не обязана ей никаким *вписано вместо зачеркнутого*: никогда не оказала ей ни малейшего

№ 6

Савватий, около 50 лет. Крестьянин, высокого роста, молчаливый, что-то вроде пророка, большой друг Антона. Семья его довольно зажиточна, и ему нет надобности много работать. У него вид человека, величественно шествующего по жизни. Носит обычно длинную белую рубаху и серую смушковую шапку. Говорит медленно, без малейшей напыщенности. Это как бы живые мощи из тех, что вызывают у пылких девушек своего рода религиозный экстаз. Длинные усы, большие руки, очень белые — явление редкое среди крестьян. Ходит медленно и очень широкими шагами. В разговоре охотно пользуется иносказаниями; крестьяне часто выбирают его судьей в своих спорах. Никогда не берет в долг. Ко всем обращается на «ты», начиная с губернатора. Умрет оттого, что в очень знойный день, во время крестного хода, будет нести чудотворную икону Казанской божьей матери в позолоченной серебряной ризе, украшенной драгоценными камнями — настоящими и поддельными. В вечерних крестьянских беседах это толкуется как знак особой господней милости к нему. Смерть унесла в короткое время всю его семью, и это определило направление его религиозных понятий.

№ 7

Шарлотта Андреевна. Немка, вернее пруссачка, родом из Гумбинена, старая дева, сухая, мелочная, 55 лет. Обладала когда-то правильными чертами лица. Была привезена в Россию в качестве гувернантки к маленьким детям и осталась тут в качестве бонны. № 1 очень ее уважает, считая чрезвычайно ученой. Завистливая, злая, это она первая разоблачит Павла. Дурашливые предложения жизнерадостного революционера удавить ее, но всё меняется, когда он так же весело предлагает на ней жениться.

Тут она совершенно мякнет.

№ 8

Отец Никита, исправник, прозванный так не потому, что он из духовных, а так, как прозвали бы Рабле. 48 лет, наделен всеми пороками, веселый, грязный, хитрый,

проницательный, страшно ⟨...⟩[16], сластолюбив до жестокости, подл и в тоже время ⟨...⟩[16]; постоянно рассчитывает на подлость окружающих и редко ошибается. С женой и с семьей свиреп. Табак нюхает, курит, даже жует, а вместе с тем приятный собеседник. Очень остроумен; передают немало его острот, большею частью циничных. Ему приписывают следующее словечко, сказанное кому-то, кто возражал ему в споре ⟨...⟩[17].

Всегда ходит в полувоенной шинели, чтобы внушать крестьянам больше почтения. У него длинные зубы, почерневшие от табака. Одного зуба спереди недостает.

Один ненавидящий его дворянин говорил о нем: «Не могу спорить с этой скотиной, он знает свою ужасную привычку брызгать слюной во время разговора и под предлогом раздражения совсем заплевывает меня, и я не могу от этого избавиться». Он великий взяточник, но за это на него не так сердятся, как за его мужские подвиги. Один озорник имел привычку втыкать ему петушиное перо в волосы на затылке, и он на это не сердился, наоборот — даже гордился! И из-за этой-то твари больше всего было пролито слез в округе — притом слез не любви, а отчаяния.

№ 9

[Марина] Виктория. 28 лет. В ней вся поэзия и сила, заключенные в этом рассказе. Высокая, стройная, очень большие глаза, смотрит почти всегда мрачно, в сторону, из-под нахмуренных бровей. Очень смуглая. Руки и кисти длинные. Говорит мало, но если увлечется, говорит со страстью и резкостью, доходящей до несправедливости. Очень ⟨требовательна⟩[18] и к самой себе и к другим. Разошлась с мужем, который выплачивает ей довольно значительное содержание. Это гвардейский офицер, большой негодяй, пьяница, развратник. (Она убьет его смеясь.) Когда они разошлись, у нее была дочка 7 лет, очень болезненная, умершая, несмотря на все заботы матери.

Пыталась покончить самоубийством. Ничего не смыслит в искусствах, но у нее страсть к литературе. Могла бы стать хорошей актрисой — скорее в мелодраме, чем в трагедии. Всегда изящно одета. Любит зеленый цвет, хотя сама брюнетка.

[16–18] *См. соответствующие примечания к французскому тексту.*

UNE FIN

Dernier récit de Tourguéneff

I

Tout le monde le sait, tout le monde le dit, la race des *tyranneaux* s'est éteinte, ou à peu près, en Russie ; cependant je crois en avoir encore rencontré un, et cet individu m'a semblé assez original pour m'engager à en donner une idée à mes lecteurs.

C'était au mois de juillet, en pleines chaleurs, à cette terrible époque de l'année que les paysans ont surnommée *les souffrances*. Voulant garantir et mon cheval et moi-même de la chaleur qui nous accablait, je m'étais abrité sous le large auvent d'une auberge de grand chemin dont je connaissais bien le propriétaire, un ci-devant *dvorovoï*, serf d'un seigneur. Dans sa jeunesse, il avait été un garçon maigre et chétif ; maintenant c'était un gros bonhomme bien ventru, à la chevelure encore touffue mais grisonnante, aux grosses mains dodues, au cou de taureau. Il portait généralement un mince caftan, retenu par une étroite ceinture en galon de soie ; pas de bas aux pieds ni de cravate au cou ; la chemise était flottante au-dessus d'un pantalon en velours de coton noir. Grâce à son intelligence, il s'était fait une fortune assez rondelette, sans exciter ni soupçon ni haine, chose rare chez nous.

J'avais demandé un samovar et du thé, boisson aussi rafraîchissante pendant la canicule qu'elle est réchauffante pendant les plus grands froids de l'hiver.

Alexieïtch (l'on nommait ainsi mon hôte) s'était assis à côté de moi pour prendre une tasse de thé que je lui avais offerte par courtoisie et qu'il avait acceptée par politesse. Nous causions des récoltes qui s'annonçaient bien, de la fenaison qui s'était heureusement terminée, et de quelques cas isolés de peste bovine, quand tout à coup Alexieïtch, posant la main sur la visière de sa casquette comme pour la prolonger, s'écria :

Un milan

~~Tout~~ le monde le ~~sait~~ et le dit, que la race des Tyranneaux (S. S.) s'est à peu près ~~éteinte~~ en Russie. Cependant je crois en ~~avoir~~ rencontré un; et cet individu, était assez original, ~~ce me semble~~ m'a-t-il semblé, pour que je ~~le décrive~~ j'essayasse d'en donner une idée aux lecteurs. à mes lecteurs.

C'était au mois de Juillet, en pleines chaleurs, à cette terrible époque de l'année que les paysans ont surnommée "les souffrances". Voulant garantir mon cheval et moi-même,* je m'étais abrité sous le large auvent d'une auberge de grand chemin dont je connaissais bien le propriétaire*. Il avait été dans sa jeunesse un garçon maigre et chétif; maintenant c'était un gros bonhomme au ventre énorme, à la chevelure épaisse mais déjà grisonnante, aux mains dodues, au cou de taureau. Il portait généralement un mince caftan, retenu sur le devant par une étroite ceinture en galon de soie. Pas de bas aux pieds, ni de cravate au cou, et la chemise rouge flottant au dessus d'un pantalon en velours de coton noir. ~~C'était un homme très intelligent qui~~ Grâce à son intelligence, il s'était fait une fortune assez considérable sans exciter de soupçons ou de haine, chose rare chez nous.

* Ainsi que moi ~~même~~ de la chaleur qui nous accablait

* un ci-devant dvorovoï serf d'un seigneur.

«UN MILAN» («UNE FIN»)
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ЗАПИСИ РУКОЮ ПОЛИНЫ ВИАРДО.
Национальная библиотека, Париж.

— Ah ! ah ! voici notre oiseau de proie qui arrive ! On ne pouvait parler d'animaux malades sans voir apparaître cet être-là.

Je regardai du côté que me désignait le doigt d'Alexieïtch, et je vis s'avancer vers nous, le long de la route, un équipage assez étrange. C'était une voiture à quatre roues, ouverte et basse, avec un large siège sur le devant, et une sorte de manne en cuir par derrière, recouverte d'un tablier également en cuir ; des sacs aussi en cuir, une vieille gibecière, un long fusil ayant des airs de carabine turque, une grosse gourde, un amas de chiffons et de hardes de toute espèce, un énorme chapeau de prêtre, deux canards sauvages morts, un autre canard, mais de bassecour, poussant des couins-couins inquiets, à côté de deux poules aux plumes rebroussées, évidemment résignées à leur sort; tout cela gisait, pendait pêle-mêle, tristement ballotté par les cahots du véhicule, tandis qu'un pauvre petit lapin noir, dressé sur ses pattes, flairait timidement quelques bouts de légumes qui passaient à travers les fentes de la manne.

L'homme, assis sur le siège, les jambes croisées à la turque, n'était pas moins étrange que son équipage. C'était un assez beau garçon d'une trentaine d'années, vêtu, malgré la chaleur, d'une touloup toute neuve, serrée sur les reins par une ceinture circassienne. Un bonnet circassien, en longs poils de chameau, retombait en franges tout autour de sa tête. Il avait des yeux énormes, clairs et durs ; ses joues, dont les pommettes étaient rondes, rouges et comme sillonnées de petites rides, avaient constamment un sourire impertinent, accentué encore par le froncement d'un nez aquilin et bien dessiné. Une moustache longue et frisée se tortillait sur le menton toujours rasé, car l'homme qui la portait ne voulait passer ni pour un paysan ni pour un marchand, et encore moins pour un prêtre.

Dès qu'il nous eut aperçus, l'homme arrêta brusquement son petit cheval, et nous cria d'une voix de trompette :

— Holà, hé ! mes petits pères ! vous voilà dehors à prendre un peu le frais ? Ton ventre a bon besoin d'être aéré, Karp Alexieïtch!

— Et qui est donc ce monsieur ? demandai-je à voix basse, en me tournant vers mon hôte.

— Ah ! répondit celui-ci, c'est quelqu'un que je ne vous conseille pas de rencontrer à la tombée de la nuit...

surtout si vous avez un cheval de trop... il lui aura vite trouvé sa place... Grand amateur de chevaux ! ajouta-t-il avec un rire amer.

— Bonjour, Platon Sergéïtch, continua tout haut mon hôte, en touchant du bout du doigt la visière de sa casquette.— Et d'où venez-vous comme cela ?.. de la ville ?

— De la ville ? Et qu'ai-je à faire à la ville, s'il te plaît ? Y voir des gens enrichis comme toi ? Ou bien encore des rats de bureau, qui ne font que vous regarder dans la paume de la main, pour voir s'il ne s'y trouve pas quelque chose à faire déménager...— Allons, allons, repartit mon hôte, il y a longtemps que cette paume est à sec... Mais, dites-moi donc un peu, Platon Sergéïtch, qu'est-ce que c'est que cette ménagerie que vous trimbal-lez avec vous ?.. et que voulez-vous donc en faire ? — Ceci, mon cher, reprit Platon, c'est un signe que je vais m'établir marchand... et pourquoi pas ? Parce que je suis noble ?.. Ah bah !.. Parce que mon arrière-grand-père a porté des calottes en drap d'or, qui lui avaient été données par Tamerlan ?.. Au reste, tout cela ne te regarde pas. Tiens, achète-moi plutôt cette paire de canards... ils viennent d'être tués; ils sont de la meilleure espèce.

Karp, qui s'était approché à petits pas de la voiture, souleva négligemment le bout du fusil, et, s'étant tout aussi négligemment assuré qu'il n'y avait pas trace de poudre, revint tranquillement vers moi. Talagaïeff (car il faut bien que le lecteur connaisse le nom de famille du héros de ce récit), après avoir suivi du coin de l'œil les mouvements de mon hôte, s'écria précipitamment :

— Hé bien, alors, prends le canard vivant !

— Hum ! il pourrait bien y avoir autre chose à celuilà, grommela Karp.

— Ah ! je vois bien qu'il n'y a plus d'affaire possible avec vous autres. A quoi bon, par exemple, vous offrir ce lapin?.. je sais bien que vous ne le prendrez pas... et cependant on en fait de très bonnes chaussettes, et très chaudes !

Il rejeta, avec indignation, au fond de la voiture, le lapin qu'il avait soulevé par les oreilles au niveau de sa tête.

— J'ai là dedans, par exemple, une magnifique peau de léopard... Mais je ne te l'ai pas proposée, car je sais bien que cela dépasse le cercle de tes idées... je l'aurais peut-être proposée à monsieur...

Voyant que je ne me laissais pas prendre à cette amorce :

— Tiens, cria-t-il, âme de deux kopeks, je vois bien que tu t'es imaginé que mon fusil n'était pas chargé... tiens, regarde ! Et, arrachant son espingole de l'endroit où elle était fourrée, il la déchargea entre les oreilles de son petit cheval, qui ne bougea pas, accoutumé qu'il était à de pareilles frasques. On entendit un grand cri à l'intérieur de la maison, et une grosse femme pâle, un petit enfant dans les bras, parut à la fenêtre.

— Vous avez fait peur à ma belle-fille !, s'écria mon hôte, devenu tout à coup blême de fureur. Et mon autre belle-fille qui est en couches ! Vous allez déguerpir sur-le-champ, ou sinon...

— Eh bien ! quoi, sinon ? cria Platon à tue-tête. Est-ce que ce chemin n'est pas à tout le monde ?.. Il n'est donc plus au tsar ?.. Et si tu crois qu'en fait d'armes je n'ai que le vieux fusil... regarde un peu !

Platon se baissa et tira du fond de sa voiture un magnifique poignard circassien.

— Oh ! oh ! c'est ainsi ? dit tranquillement mon hôte, et il frappa dans ses mains : Léon ! Maxime ! Piotre !

Aussitôt trois robustes gaillards apparurent par différents endroits dans la cour, chacun d'eux tenant une grande fourche à la main.

— Voulez-vous continuer la conversation avec mes garçons ?

Une contorsion de haine parcourut tout le visage de Platon. Il se retourna avec fureur et, brandissant le poing, partit au grand galop de son cheval.

— Vous vous êtes fait là un dangereux ennemi, dis-je à mon hôte.

— De lui ? répondit Karp en haussant les épaules, dans une semaine il reviendra m'offrir de lui acheter ses canards ou son poulain... Cependant, il vaut mieux être prudent, bien que ce ne soit pas de ce côté que nous vienne le véritable danger...

A ce moment, j'entendis la voix de Talagaïeff entonner dans le bois la chanson populaire de Stenko Razine, et cette voix n'était ni agréable ni juste; l'un des garçons de ferme marmotta entre ses dants : «Ça veut être un brigand et ça ne sait seulement pas chanter les chansons de brigand !»

Quelques minutes plus tard, j'entendis ce même garçon chanter cette même chanson avec une force et un entrain qui m'auraient donné à réfléchir si j'avais été son patron.

II

Talagaïeff appartenait à une ancienne famille noble du gouvernement de Toula, autrefois très riche, mais qui, grâce à une série de *samadours* [1], était tombée dans la misère.

Sans avoir besoin de remonter plus haut, on avait vu le propre père de Talagaïeff avoir des harnais en argent pour ses chevaux, et employer le même métal pour les ferrer ; puis encore donner 100 roubles et la liberté à un cocher qui en plein hiver, après avoir bandé les yeux de son cheval, s'était précipité du haut d'un talus escarpé dans une rivière déjà prise par la glace, et qui, après en avoir brisé la croûte et avoir disparu dans l'eau, avait reparu le visage ruisselant de sang, mais du reste sain et sauf, et tout prêt à avaler un grand hanap d'eau-de-vie à la santé de son maître et libérateur.

Talagaïeff, lui, n'avait plus les moyens de se passer ces fantaisies-là, le pauvret ; mais il faisait de son mieux pour ne pas se montrer trop indigne de pareils ancêtres. Aussi jouissait-il, dans tout le pays, de la réputation d'un faiseur de scandales, d'un homme avec lequel il valait mieux ne pas avoir de rapport. Peu de personnes se doutaient qu'il ne fallait pas secouer longtemps la fourrure de ce loup pour voir apparaître la queue du lièvre. Ne le connaissant pas autrement, je partageais l'opinion générale jusqu'au moment où il me fut donné de connaître l'homme tel qu'il était.

J'avais, parmi mes voisins de campagne, un brave petit propriétaire, d'une soixantaine d'années, tout grisonnant, tout rondelet, bon chasseur, belle fourchette, toujours alerte, vif et de bonne humeur. Il venait souvent me voir, car nous avions la même passion, les cartes ; non pas les cartes à grand tralala, mais le petit whist anodin, avec force imprécations contre la mauvaise chance, serments de ne plus toucher à une carte, etc... et on recommençait de plus belle le lendemain.

Voilà qu'un soir je vois arriver mon bon voisin dans un état touchant au désespoir. Son visage était gonflé, on voyait même qu'il avait beaucoup pleuré. Je le pris aussitôt par le bras, et l'emmenant dans la chambre voisine :

---

[1] C'est ainsi qu'on nomme chez nous jusqu'à présent les écervelés qui brulent leur vie par les deux bouts.

— Paul Martinitch, m'écriai-je, que vous est-il donc arrivé ?

— Je suis un homme perdu! Vous voyez en moi un homme perdu! balbutia mon voisin. Et de nouvelles larmes jaillirent de ses yeux; ces larmes allaient si peu à son jovial visage!

— Mais qu'y a-t-il? Qu'est-ce? Un malheur vous serait-il arrivé?

— Non, pas à moi... mais un malheur horrible!

Voici ce que j'appris à travers ses sanglots.

Sa fille, jolie blondinette d'une quinzaine d'années, qu'il adorait, sa fille, en qui s'était concentrée toute sa vie, avait disparu de la maison depuis le matin.

— C'est chez ce misérable, c'est chez ce Platochka, cet infâme, ce brigand de Platochka qu'elle doit être!.. s'écria mon voisin. On l'a vu rôder hier autour de la maison, et même on prétend qu'il a causé avec elle dans le jardin... Et elle, mon ami... elle qui n'était jamais sortie sans sa vieille bonne... Quinze ans!.. Sortie seule, disparue!.. comme un agneau!.. Imaginez-vous!.. Quinze ans!.. Ça ne peut pas rester ainsi!.. et je viens vous prier de venir à mon aide!

— Mais que puis-je faire pour vous aider, mon pauvre Paul Martinitch?

Mon voisin croisa avec force ses mains sur sa poitrine :

— Allons ensemble chez ce brigand, et arrachons-lui sa proie. Voyez-vous, s'il le faut, je me battrai en duel, je le tuerai!..

— Mais pourquoi êtes-vous si persuadé qu'elle se trouve chez lui, Paul Martinitch?

Mon voisin m'interrompit avec violence:

— Elle est chez lui! il n'y a pas à en douter un seul instant!.. Et qui donc serait capable de faire un coup pareil? Serait-ce Jégor Antipovitch? ou Zachér Plutarkitch?.. Non, non, c'est là qu'il faut la chercher!

Voyant bien qu'il ne voulait pas en démordre, je fis atteler ma voiture, et quelques minutes plus tard, nous roulions sur le chemin qui conduisait à l'habitation de Talagaïeff, eloignée de quelques verstes seulement. Pendant tout le trajet, mon voisin fut dans l'état le plus lamentable. On ne savait si c'était de crainte ou de désir de trouver là sa fille.

— Un véritable agneau!.. répétait-il sans cesse,— un pauvre petit pigeon sans défense!.. Quinze ans!..

Nous arrivâmes enfin. La maisonnette de Talagaïeff était si petite, si basse, si vermoulue, qu'elle ressemblait bien plus à une mauvaise izba de paysan qu'à une cidevant habitation seigneuriale; aussi, à peine entrés dans la misérable antichambre, où un petit Cosaque nous reçut avec des yeux tout écarquillés de stupeur, nous nous trouvâmes immédiatement face à face avec le maître du logis. Enveloppé dans une vieille robe de chambre persane, un bonnet de même étoffe sur la tête et une longue pipe de merisier à la bouche, il faisait des efforts inutiles pour se donner des airs de dignité. Je vis passer sur ses traits, à l'aspect de mon voisin, comme un tressaillement ; mais il n'avait pas eu le temps d'ouvrir la bouche, que Paul Martinitch se précipitait vers lui les mains tendues et criant comme un fou :

— Nastinka ! Où est Nastinka ?

Talagaïeff se redressa de toute sa hauteur, et, lançant une bouffée de sa pipe :

— De quelle Nastinka voulez-vous parler ? dit-il d'un air arrogant.

— Ma fille ! c'est ma fille que je veux dire ! gémit le pauvre homme.— Elle est chez toi depuis ce matin, j'en suis sûr ! Rends-la-moi ! tu n'as pas le droit de me la prendre comme cela... Ou bien, vois-tu, malgré tes pistolets, tes sabres, tes poignards, tes moustaches, je... je... je ne laisserai pas rondin sur rondin dans ta maison, et quant à toi-même...

— Voilà qui est magnifique ! interrompit Talagaïef,— un vieux qui prétend que je lui ai débauché sa fille, et qui vient faire du tapage chez moi !.. chez moi, Talagaïeff, gentilhomme de vieille roche, à qui personne n'a jamais osé parler en élevant la voix!.. Et vous, Monsieur,— ajouta-t-il en se retournant vers moi,— quel rôle venez-vous jouer ici ? De quel droit forcez-vous l'entrée de ma maison ?

— C'est moi, s'écria Paul Martinitch, c'est moi qui ai invité notre respectable voisin à m'accompagner, et quant à ma fille, je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que... Nastia ! Nastia ! se mit-il à crier à tue-tête en tournant dans la chambre comme un animal en rage. Nastia ! ma petite chérie, où es-tu ?

— Je suis ici, papa! se fit tout à coup entendre une voix bien connue.

Ce fut comme un coup de théâtre.

Mon voisin se précipita hors de la chambre dans la cour, d'où la voix semblait venir.

Je le suivis. «Nastia!» continuait à crier le père, mais cette fois il haletait de joie.

— Ma colombe, où es-tu donc?

— Je suis ici, papa! je suis enfermée, répondit la voix de la jeune fille.

Mon voisin courut vers la porte d'une petite grange, et dès qu'il en eut fait sauter d'un coup de pied la mauvaise serrure, on aperçut Nastia assise sur un vieux canapé en cuir, l'air tout penaud, mais non désespéré.

Le père se jeta aussitôt à son cou et la couvrit de baisers en répétant seulement: — Ah vilaine! ah méchante!.. tu n'as pas eu honte d'agir ainsi avec moi!.. et pour qui?..

— Pardonnez-moi, pardonnez-moi, mon père... Mais, vous savez,— ajouta-t-elle en se reculant tout à coup et en le regardant droit dans les yeux,— vous n'avez pas à rougir de moi! je sais trop bien ce que je dois à l'honneur!.. et, avant mon mariage... Ah non, par exemple!

— Plus tard, plus tard, nous parlerons de tout cela... A présent il s'agit de partir, dit Paul Martinitch en entraînant sa fille du côté de la voiture.

— Il s'agit de savoir si on vous laissera partir, fit retenir la voix cuivrée de Talagaïeff; mais le bonhomme lui jeta pardessus l'épaule un regard si terrible, son vieux visage prit une expression si menaçante, que Talagaïeff eut un moment d'hésitation... Le vieillard en profita, saisit sa fille à bras-le-corps et la jeta dans la voiture, y sauta lui-même et cria de toute sa force: — Fouette, cocher! A la maison!

La voiture s'ébranla aussitôt. Talagaïeff, éperdu de rage et de désappointement, lança sur nous ses quatre grands lévriers; mais le cocher, se penchant vers Paul Martinitch, lui dit en souriant:

— Soyez tranquille, barine: le lévrier est un bon animal qui n'attaque ni les chevaux ni les hommes. En effet, après nous avoir reconduits pendant une centaine de pas, ils s'arrêtèrent net tous les quatre, en faisant tournoyer leurs grandes queues à panache en signe de contentement.

Tout en nous éloignant de la tanière de Talagaïeff, nous pouvions entendre ses vociférations furieuses et ses menaces. Mais nous avions bien autre chose à penser que d'y faire attention. Nastia ne sa lassait pas d'embrasser son père, et même moi, de temps en temps. Elle n'arrêtait

pas de pleurer, et pourtant elle était comme folle de joie. Le père pleurait aussi, et riait encore plus fort.

— Je vous le disais bien, s'écriait-il en s'adressant à moi. Quinze ans, Monsieur !.. Un enfant ! il lui faut encore des joujoux... Mais pourtant,— continua-t-il en se tournant vers sa fille,— quelle idée as-tu eue de prêter l'oreille à ce que te disait cet animal-là ?

— Ah ! ne me le demandez pas, répondit Nastia en se couvrant le visage des deux mains.

— Mais pourtant... pourtant ?

— Il est si beau garçon, murmura-t-elle en écartant un peu les doigts.

— Lui ?.. beau garçon ?.. mais s'il te faut de grandes moustaches, notre chat Vaska en a de plus longues encore !

— Et puis, il voulait me mener à la ville, à Moscou, me montrer le Kremlin...

— Et puis t'acheter de belles robes, n'est-ce pas ?

— Oui, aussi, mais cela me tentait moins... et puis, enfin, ma petite liberté...

— Tu n'en as donc pas assez, grosse ingrate ?.. Mais attends, je te menerai à Moscou, moi aussi, je te ferai voir le Kremlin... et bien autre chose encore !..

Et là-dessus, le père et la fille s'embrassèrent, et moi je regardais le dos du vieux cocher qui hochait la tête d'un air approbatif,— il était content, lui aussi !

On apprit plus tard que c'était par le jardin que la petite s'était enfuie, sans avoir dit un mot à personne, en n'emportant qu'un petit paquet de vêtements et une paire de souliers de rechange.

III

A une quinzaine de verstes de chez moi, se trouve un grand et riche village, habité presque entièrement par des *odnodvortsi*. Il s'y tient deux fois par an des foires assez fréquentées. Ce sont de vrais marchés de paysans, où on ne trouve que ce dont ils ont surtout besoin, à commencer par des chevaux, des bestiaux, et à finir par des ustensiles, des outils et tous ces autres objets beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit, qui composent l'avoir du paysan russe et de sa femme. Ces foires sont généralement très animées et fort bruyantes, ce qui s'explique par la quantité de petits cabarets et de boutiques de mangeaille qui s'y installent de tous côtés.

J'étais venu à Grakhovo,— ainsi se nomme l'endroit où se tient la foire,— avec l'intention d'y acheter une paire de chevaux; on les y disait bons et pas trop chers. Arrivé vers le milieu de la journée, je ne fus pas étonné du brouhaha qui m'assaillit dès que j'eus franchi la petite rangée de collines qui entoure Grakhovo; mais le vacarme prit, lorsque je m'approchai des télégas, un caractère d'intensité tellement grand, que je me dis:

— Il doit y avoir là quelques-uns de ces tapageurs qui ne manquent guère dans les foires de paysans.

Et, en effet, à une cinquantaine de pas devant moi, j'aperçus, entouré d'un groupe de gens avinés et furieux, se démenant avec de grands gestes, un solide gaillard, vêtu en Circassien, dans lequel je reconnus sans peine Talagaïeff. Il y avait bien trois ou quatre mois que je ne l'avais rencontré; son extérieur n'avait pas gagné, bien au contraire, il était plus débraillé que jamais, mais il n'avait rien perdu de son insolence. Autant que je pouvais distinguer à travers les cris qui m'assourdissaient, on accusait Talagaïeff d'avoir trompé un paysan sur les qualités d'un cheval qu'il lui avait vendu. Talagaïeff, indigné de ce qu'on osât lui faire en public des reproches contre lesquels il protestait avec d'autant plus de véhémence qu'il les savait parfaitement mérités, voulait imposer par les grands éclats de sa voix cuivrée, poussée avec violence du haut de son nez; mais il avait beau protester, lever les bras au ciel, menacer des poings, se frapper la poitrine, tout cela ne faisait aucune impression sur la foule. Des visages enflammés s'approchaient tout près du sien, de vrais hurlements de rage se confondaient avec ses vociférations. Un petit paysan noiraud, à la barbe ébouriffée, se distinguait entre tous.

— Chez le juge de paix! Allons chez le juge de paix! Voilà assez longtemps que vous nous rendez la vie dure, vous autres soi-disant gentilshommes!

— Comment osez-vous, misérables manants... cria Talagaïeff, qui me faisait, il faut le dire, un peu l'effet de don Juan acculé par les paysans à la fin du premier acte de l'opéra.

— Comment nous osons?.. Ah! par exemple! riposta le noiraud; c'était bon autrefois, mon pigeon, ça ne prend plus maintenant...

— Moi, chez le juge de paix! exclama Talagaïeff, devenu écarlate de jaune qu'il était d'habitude et roulant des yeux pleins de fureur, jamas de la vie!.. Et on vit bril-

ler la lame d'un poignard que le *bravache* aux abois fit tournoyer au-dessus de sa tête... mais il lui fut aussitôt arraché par une sorte d'hercule blond qui s'était tenu tranquille jusque-là.

— Pas de ça, Votre Honneur!..

Talagaïeff bondit vers lui, mais il fut aussitôt arrêté par une dizaine de rudes mains, qui mirent presque en loques le caftan circassien dont le gentilhomme était accoutré. Le bonnet d'astrakan roula par terre; l'élégante ceinture déchirée, arrachée par endroits, dégringola aussi; et tout ce qui resta de Talagaïeff et de ses belles moustaches offrit un spectacle tellement pitoyable, qu'instantanément je me détournai de ce brutal tohu-bohu de paysans, de tout ce vacarme, de ce jugement à la Lynch, qui n'avait pas pour excuse le sentiment de justice qui se trouve plus ou moins dans le cœur de tout Américain. Cette poussière suffocante, ces cris, cette puanteur d'eau-de-vie, la grossièreté de cette mêlée à coups de poing, tout m'inspira un profond dégoût, et je me promis de ne plus m'exposer à revoir ni une scène pareille ni celui qui pouvait la provoquer; et cependant, je me trompais, je devais voir encore Talagaïeff.

IV

C'était par une triste et froide soirée de novembre. J'avais été obligé de sortir pour aller dîner chez un de mes proches voisins, et je rentrais chez moi dans un petit traîneau attelé d'un seul cheval, avec une toute petite clochette sur la douga, accompagné d'un jeune cocher pour tenir les rênes en cas de besoin.

La neige tombait depuis l'avant-veille, large et lente; elle encombrait les chemins et faisait peu à peu courber la tête des arbres; de temps en temps, il soufflait une rafale de vent qui semblait raser la terre. Le ciel était bas et lourd; de gros nuages noirs voilaient à chaque instant la lune, dont le mince croissant semblait sauter de l'un dans l'autre, comme fuyant devant un ennemi invisible. La lueur qu'elle projetait était tout aussi inquiète et incertaine; on croyait voir courir de petits lièvres blancs, ou des ombres rapides bondir à travers le chemin; les objets prenaient des formes étranges et pourtant familières, s'allongeant démesurément ou se perdant tout à coup. C'était un jeu bizarre de lumière et de ténèbres.

Dieu sait pourquoi, mon petit cocher se mit à chanton-

ner, d'abord à voix basse, puis, encouragé par mon silence, un peu plus haut d'une voix claire et plaintive ; cette voix presque enfantine s'alliait à merveille au tintement monotone de la clochette de la douga et à la tristesse silencieuse de cette nuit. Je ne pouvais bien distinguer ni l'air ni les paroles, mais il s'agissait probablement, comme dans la plupart des chansons, de jeunes filles, d'amour.

— Quel âge as-tu ? lui demandai-je en l'interrompant brusquement.

— Mais... mais je vais sur mes dix-huit ans, répondit la garçon un peu étonné.

— Songerais-tu déjà à te marier ?

— Eh ! pourquoi pas ? S'il se trouvait une belle fille !..

— Comme la petite Nastia, par exemple ? dis-je.

— Ah ça, barine, vous plaisantez ; ce n'est pas là un mets pour notre museau... Quant à me marier, il y a d'assez jolies filles au village... le père n'y mettrait pas d'empêchement... qu'est-ce que ça lui fait ? il est plus souvent au cabaret qu'autre part... et quant à la bonne petite vieille, j'en fais ce que je veux... je n'ai besoin que de siffler... Eh bien, eh bien, qu'est-ce qu'il a ? s'écria-t-il en tâchant d'arrêter le cheval qui s'était tout à coup jeté de côté. La lune était entrée dans un nuage épais, et l'obscurité avait redoublé. Le cheval continuait à piétiner sur place, à secouer obstinément la tête, à s'ébrouer... Un objet sombre, dont je ne pouvais discerner nettement les contours, se trouvait jeté en travers de la route.

— Regarde un peu ce qu'il y a là, dis-je au cocher. Je tiendrai les rênes en attendant.

Le garçon sauta à bas du traîneau, mais ce n'était pas chose facile que de faire tenir le cheval tranquille ; il tremblait de tous ses membres, son poil était hérissé.

— Barine ! me dit alors le cocher d'une voix subitement grave, allons-nous-en d'ici.

— Pourquoi cela ?

— Il ne fait pas bon ici.

— Mais pourquoi cela ? dis-je en sautant à mon tour du traineau.

— Il n'y fait pas bon, barine, vous dis-je.

Et tout en disant ces paroles, il fit un grand signe de croix et s'éloigna de quelques pas.

— Voilà comment ils devraient tous finir, ces voleurs de chevaux... c'est bien fait ! marmotta-t-il, et un éclair de férocité traversa son jeune visage imberbe et placide.

Je m'avançai vers l'objet qui faisait une telle peur à la bête et à l'homme; je me penchai... et je reconnus Talagaïeff !

Un grand coup de hache lui avait fendu le front ; la lune, reparaissant tout à coup, se reflétait dans le sang répandu autour de la tête et lui faisait comme une auréole d'un rouge doré.

Les deux bouts d'une grosse corde traînaient à terre près du cou, et toute cette figure débraillée, souillée, déchirée, se détachait avec une vigueur inouïe sur le blanc cru et vierge de la neige.

Je me rappelai qu'un jour, à la suite d'une rixe grossière, j'avais dit en parlant devant lui :

— Il serait triste pour un Talagaïeff de finir dans une pareille échauffourée; et Talagaïeff s'était écrié : «Ah ! par exemple ! les Talagaïeff finissent autrement !»

Voilà comme ils finissent! pensai-je cette nuit-là devant son cadavre mutilé.

Перевод

КОНЕЦ

Последний рассказ Тургенева

I

Все знают и все говорят, что порода мелких тиранов перевелась или почти перевелась на Руси; однако мне кажется, что я еще знавал одного из них, и этот человек по своей оригинальности представляется мне достойным внимания читателей.

Дело было в июле, в самую жару, в ту тягостную пору года, которую крестьяне называют страдою. Чтобы избавить свою лошадь и себя от удручающей жары, я укрылся под широким навесом постоялого двора на большой дороге; я хорошо знал его хозяина, бывшего помещичьего дворового. В молодости он был худым и тщедушным малым; теперь же стал пузатым толстяком с еще густыми, но уже седеющими волосами, с большими и пухлыми руками, с бычьей шеей. Он носил обычно легкий кафтанчик, перетянутый узким пояском из шелковой тесьмы; ни чулок, ни платка на шее он не носил; рубаха была выпущена поверх плисовых штанов. Благодаря своему уму, он нажил

себе довольно кругленькое состояние, не возбуждая при этом ни подозрений, ни ненависти, что у нас случается редко.

Я спросил себе самовар и чаю — ведь чай так же освежает в летнюю жару, как согревает в самый сильный мороз зимою.

Алексеич (так звали моего хозяина) сел со мною, чтобы выпить чашку чаю, которую я предложил ему из любезности, а он принял из вежливости. Мы разговаривали об урожае, обещавшем быть хорошим, о благополучно закончившемся сенокосе, о нескольких случаях падежа скота, как вдруг Алексеич, приставив руку к козырьку картуза (чтобы лучше видеть), воскликнул:

— Ага! вот и наш стервятник! Только стоило заговорить о дохлой скотине, как он и является.

Я посмотрел туда, куда указывал Алексеич, и увидел подъезжающий к нам по дороге довольно странный экипаж. То была четырехколесная повозка, открытая и низкая, с широкими козлами на передке и своего рода ременной корзиной позади, закрытой кожаным фартуком. Мешки, также кожаные, старый ягдташ, длинное ружье, похожее на турецкий карабин, большая фляга, куча тряпья и платья всякого рода, огромная поповская шляпа, две мертвые дикие утки и домашняя утка, испускающая отчаянные кря-кря, рядом с ней две взъерошенные куры, очевидно примирившиеся со своей участью,— всё это лежало и висело вперемежку, печально покачиваясь при толчках повозки, а несчастный черный кролик, стоя на задних лапах, боязливо обнюхивал зелень овощей, торчавшую из щели ременной корзины.

Человек, сидевший на козлах, скрестив ноги по-турецки, был не менее странен, чем его экипаж. Это был довольно красивый малый лет тридцати, одетый, несмотря на жару, в новенький тулуп, стянутый черкесским поясом. Черкесская папаха из длинной верблюжьей шерсти свешивалась бахромой вокруг его головы. Глаза у него были огромные, светлые и жесткие; на его щеках с выпуклыми красными скулами, исчерченными мелкими морщинами, застыла дерзкая улыбка, еще подчеркнутая морщинкой над орлиным, хорошо очерченным носом. Длинные закрученные усы вились над гладко выбритым подбородком, потому что человек, носивший их, не хотел, чтобы его принимали ни за крестьянина, ни за купца, и еще хуже — за духовного.

Человек этот, как только он нас увидел, круто остановил свою лошадку и закричал нам зычным голосом:

— Э-эй! батеньки! вышли на воздух чуток прохладиться? Брюхо-то твое, Карп Алексеич, нехудо проветрить!

— Кто этот господин? — спросил я шёпотом, повернувшись к моему хозяину.

— А,— ответил он,— это человек, с которым я вам не пожелал бы встретиться к ночи... особенно если у вас есть лишняя лошадь... Он живо найдет ей место... Большой охотник до лошадей! — прибавил он с горькой улыбкой.

— Здравствуйте, Платон Сергеич,— продолжал вслух мой хозяин, прикладывая палец к козырьку картуза.— И откуда же вы так-то едете?.. из города?

— Из города? А что мне, по-твоему, делать в городе? Смотреть толстяков, разбогатевших, как ты? Или канцелярских крыс, которые только и заглядывают вам в ладонь, нет ли там чего-нибудь, что можно заграбастать...

— Ну, ну! — возразил мой хозяин,— уж давно ладонь-то эта пуста... Но скажите-ка вы мне, Платон Сергеич, что это за зверинец вы таскаете с собой?.. и что же вы хотите с ним делать?

— Это, мой милый,— сказал Платон,— означает, что я хочу заделаться купцом... а почему бы и нет? Не потому ли, что я дворянин?.. Вот еще!.. Или потому, что мой прапращур носил тюбетейки золотый парчи, подаренные ему Тамерланом?.. Впрочем, всё это тебя не касается. Вот, купи-ка у меня лучше эту пару уток... они только что убиты; самой лучшей породы.

Карп, подошедший потихоньку к повозке, как бы невзначай поднял дуло ружья и, так же невзначай убедившись, что на нем не было и следов пороха, спокойно возвратился ко мне. Талагаев (надо же читателю знать фамилию героя этого рассказа), проследив искоса за движениями моего хозяина, поспешно воскликнул:

— Ну, так возьми тогда живую утку!

— Хм, вполне может быть, что и здесь не всё чисто,— проворчал Карп.

— Эх, видно с вашим братом дела не сладишь. Стоит ли, например, предлагать тебе этого кролика?.. Знаю, что ты его не возьмешь... а ведь он пригодился бы для шерсти на отличные, очень теплые чулки!

Он с негодованием отбросил в глубину повозки кро-

лика, которого держал за уши на уровне своей головы.

— У меня там еще есть превосходная леопардовая шкура... Но я тебе ее не показываю, потому что прекрасно знаю, что она не по твоему носу... Я бы, пожалуй, предложил ее этому господину...

Но видя, что я не клюю на эту удочку, он закричал:

— Ах, ты, двухкопеечная душа, я ведь всё вижу: ты думаешь, мое ружье не было заряжено?.. Вот, смотри!

И, схватив ружьецо, валявшееся где-то в повозке, он разрядил его, положив между ушей своей лошадки, которая даже не дрогнула, очевидно привыкшая к подобным штукам.

В доме послышался громкий крик — и полная бледная женщина с ребенком на руках показалась в окне.

— Вы напугали мою сноху! — закричал хозяин, внезапно побледнев от ярости. А другая моя сноха на сносях! Убирайтесь сейчас же, или...

— Ну, что или? — крикнул Платон во всё горло.— Разве эта дорога не для всех? Или она уже не государева?.. А ежели ты думаешь, что по части оружия у меня только это старое ружье... вот, посмотри!

Платон нагнулся и вытащил со дна своей повозки великолепный черкесский кинжал.

— Так вот как? — произнес спокойно хозяин и хлопнул в ладоши: — Левон! Максим! Петр!

Тотчас трое здоровых молодцов показались с разных концов двора; каждый держал в руках большие вилы.

— Желаете ли вы продолжать разговор с моими ребятами?

Лицо Платона передернулось от злобы. Он яростно повернулся и, грозя кулаком, поехал, погоняя во всю мочь свою лошадь.

— Вы себе нажили опасного врага,— сказал я хозяину.

— Это его-то? — ответил Карп, пожимая плечами.— Через неделю он явится снова предлагать мне уток или жеребенка... Конечно, всё же лучше быть настороже, хотя и не этим он по-настоящему опасен...

В это мгновенье из лесу донесся голос Талагаева, затянувшего народную песню о Стеньке Разине; этот голос не был ни приятным, ни верным; один из работников пробормотал сквозь зубы: «Хочет быть разбойником, а сам даже и петь разбойничьи песни не умеет!»

Несколько минут спустя я услышал, как тот же парень пел ту же самую песню с такой силой и с таким выражением, что, будь я его хозяином, я бы очень призадумался.

II

Талагаев происходил из старинной дворянской семьи Тульской губернии, некогда очень богатой, но по милости нескольких поколений самодуров * впавшей в нищету.

Нет надобности углубляться в их родословную, достаточно вспомнить, что у родного отца Талагаева сбруя на лошадях была отделана серебром и подковы были тоже серебряные; а еще — он пожаловал 100 рублей и вольную кучеру за то, что тот зимой, завязав глаза своей лошади, бросился с высоты крутого обрыва в речку, схваченную уже льдом и, разбив ледяную корку и исчезнув под водой, вынырнул с окровавленным лицом, но впрочем живой и здоровый,— и тут же выпил большую чарку водки за здоровье своего господина и освободителя.

Сам Талагаев, обеднев, уже не имел возможности позволять себе подобные фантазии; но он старался, как только мог, показать, что и он не хуже своих предков. Поэтому он и пользовался во всей округе репутацией скандалиста, человека, с которым лучше не иметь никакого дела. Лишь немногие догадывались, что не надо было долго трясти шкуру этого волка, чтобы увидеть торчащий из-под нее заячий хвост. Я разделял общее заблуждение, пока не раскрылась передо мной истинная сущность Талагаева.

Среди моих деревенских соседей был один мелкий помещик, славный человек лет шестидесяти, седенький, кругленький, хороший охотник, любитель вкусно поесть, всегда живой, подвижный и добродушный. Он часто бывал у меня, так как у нас с ним была одна общая страсть: игра в карты. Не крупная игра, но вист по маленькой, с горькими сетованиями на судьбу, когда не везло, с клятвами не касаться более карт и пр. ... а на завтра начинали всё сначала.

Однажды вечером мой добрый сосед явился ко мне в состоянии, близком к отчаянию. Его лицо распухло, видно было, что он много плакал. Я взял его под руку и, отведя в соседнюю комнату, спросил:

— Павел Мартыныч, что с вами случилось?

* Так до сих пор называют у нас сумасбродов, беззаботно прожигающих свою жизнь.

— Я погибший человек! Вы видите — я погиб! — пробормотал мой сосед.— И опять слезы брызнули из его глаз; эти слезы так мало подходили к его жизнерадостному лицу!

— Но в чем дело? Что же это? С вами случилось несчастье?

— Нет, не со мной... но ужасное несчастье!

Вот что я узнал из его рассказа, прерываемого рыданьями.

Его дочь, хорошенькая белокурая девушка лет пятнадцати, которую он обожал, его дочь, на которой сосредоточивалась вся его жизнь, пропала из дому с самого утра.

— У мерзавца этого, у Платошки, у негодяя, разбойника Платошки — вот где она должна быть!..— восклицал мой сосед.— Вчера видели, как он бродил вокруг моего дома; говорят даже, что он разговаривал с нею в саду... А она-то, мой друг... она, никогда не выходившая без старой няньки... Пятнадцать лет!.. Вышла одна, пропала!.. словно овечка!.. Представьте себе!.. Пятнадцать лет!.. Нельзя этого так оставить!.. и я пришел просить вас мне помочь!

— Но что же я могу сделать, чтобы вам помочь, бедный мой Павел Мартыныч?

Мой сосед с силою скрестил руки на груди:

— Поедемте вместе к этому разбойнику и вырвем у него добычу. Вы увидите, если нужно, я вызову его на дуэль, я его убью!..

— Но почему вы так уверены, что она у него, Петр Мартыныч?

Мой сосед решительно прервал меня:

— Она у него! ни минуты в этом не сомневаюсь!.. Кто еще был бы способен на такую штуку? Не Егор же Антипыч? или Захар Плутархич?.. Нет, нет, нужно ее искать там!

Видя, что он не хочет отказаться от своего намеренья, я велел заложить коляску, и через несколько минут мы уже катили по дороге, ведущей к жилищу Талагаева, находившемуся всего в нескольких верстах. Во всё время пути мой сосед находился в самом плачевном состоянии, и трудно было сказать, от страха ли или от нетерпения найти свою дочь.

— Настоящая овечка!..— повторял он беспрестанно,— бедная, беззащитная голубка!.. Пятнадцать лет!..

Мы наконец приехали. Домишко Талагаева был такой маленький, такой низкий, такой прогнивший, что гораздо более походил на бедную крестьянскую избу, чем на бывшую помещичью усадьбу. Едва мы вошли в жалкую прихожую, где нас встретил казачок с выпученными от страха глазами, как тотчас очутились лицом к лицу с хозяином дома. Облаченный в старый персидский халат, с ермолкой на голове и с длинной черешневой трубкой в зубах, он тщетно старался придать своему лицу выражение достоинства. Я заметил, что при виде моего соседа он вздрогнул; но не успел рта раскрыть, как Павел Мартыныч бросился к нему с протянутыми руками, крича, как сумасшедший:

— Настенька! Где Настенька?

Талагаев выпрямился во весь рост и пустил клуб дыма из трубки.

— О какой Настеньке вы изволите говорить? — спросил он вызывающе.

— Моя дочь! я о своей дочери говорю! — простонал бедняк.— Она у тебя с нынешнего утра, я уверен! Верни ее мне! ты не имеешь права взять ее эдак у меня... А если нет, так вот, несмотря на твои пистолеты, и сабли, и кинжалы, на твои усы, я... я... я не оставлю бревна на бревне в твоем доме, а что до тебя самого...

— Прекрасно! — прервал Талагаев,— старик воображает, что я соблазнил его дочь, и является ко мне со своими требованиями!.. Ко мне, к Талагаеву, столбовому дворянину, с которым никто еще никогда не смел говорить, повысив голос!.. А вы, сударь,— прибавил он, обращаясь ко мне,— какую роль вы тут играете? По какому праву вторгаетесь вы в мой дом?

— Это я,— воскликнул Павел Мартыныч,— это я пригласил нашего уважаемого соседа сопутствовать мне, а что до моей дочери, то я отсюда не тронусь, пока не... Настя! Настя! — принялся он кричать во весь голос, мечась по комнате как взбесившийся зверь.— Настя! моя милая, где ты?

— Я здесь, папенька! — послышался вдруг хорошо знакомый голос.

Развязка наступила неожиданно, как в театре.

Мой сосед бросился из комнаты во двор, откуда, казалось, доносился голос.

Я последовал за ним. «Настя!» — продолжал кричать отец, но теперь он трепетал от радости.

— Голубка моя, где же ты?

— Я здесь, папенька! Я заперта,— отвечал девичий голосок.

Мой сосед подбежал к двери маленькой риги, ударом ноги сбил жидкий запор, и мы увидели Настю, сидевшую на старом кожаном диване; вид у нее был смущенный, но не слишком испуганный.

Отец тотчас бросился к ней на шею и покрыл ее поцелуями, повторяя только:

— Ах, гадкая! ах, злая!.. Тебе не стыдно было так поступить со мною?.. и ради кого?..

— Простите меня, простите меня, батюшка... Но, вы знаете,— прибавила она, вдруг отступив и глядя ему прямо в глаза,— вы не должны краснеть за меня! Я достаточно хорошо знаю, в чем состоит девичья честь!.. и притом, до замужества... Ну, уж нет!

— Потом, потом мы поговорим обо всем этом... Сейчас нужно скорее уезжать,— сказал Павел Мартыныч, увлекая дочь в сторону коляски.

— Нужно прежде еще узнать, позволят ли вам уехать,— раздался металлический голос Талагаева; но добряк бросил на него через плечо такой гневный взгляд, его старое лицо приняло такое угрожающее выражение, что Талагаев на мгновенье смутился... Старик этим воспользовался, схватил дочь на руки и бросил ее в коляску, прыгнул в нее сам и закричал изо всех сил: — Гони, кучер! Домой!

Коляска тотчас двинулась. Талагаев, разъяренный, обманутый в своих ожиданиях, спустил на нас четырех борзых; но кучер, нагнувшись к Павлу Мартынычу, сказал ему усмехаясь:

— Не беспокойтесь, барин; борзая — добрая тварь и не нападает ни на лошадей, ни на людей.

Действительно, проводив нас сотню шагов, все четыре пса разом остановились, помахивая длинными мохнатыми хвостами в знак удовольствия.

Удаляясь от логова Талагаева, мы долго еще слышали его яростные выкрики и его угрозы. Но нас волновали уже другие чувства — и мы не обращали на него внимания. Настя без устали целовала отца и время от времени даже меня. Она не переставала плакать, а между тем словно обезумела от радости. Отец тоже плакал, а смеялся еще сильнее.

— Я же вам говорил,— восклицал он, обращаясь ко

мне.— Пятнадцать лет, сударь!.. Ребенок! ей еще игрушки нужны... Но, однако же,— продолжал он, обращаясь к дочери,— о чем ты думала, как могла развесить уши перед болтовней этого скота?

— Ах, не спрашивайте меня об этом,— отвечала Настя, закрывая лицо обеими руками.

— Но всё же... всё же?

— Он такой хорошенький,— прошептала она, раздвигая немножко пальцы.

— Он?.. хорошенький?.. но уж если тебе нужны большие усы, так у нашего кота Васьки они еще длиннее!

— И потом, он хотел повезти меня в город, в Москву, показать мне Кремль...

— И купить тебе красивых платьев, не так ли?

— Да, и это тоже, но платья меня меньше привлекали... и потом, так хотелось, наконец, немножко свободы...

— Так у тебя ее мало, неблагодарная?.. Подожди, повезу я тебя в Москву, покажу тебе Кремль... и еще много другого!..

И вслед за этим отец и дочь обнялись, а я смотрел в спину старого кучера, который одобрительно покачивал головой — он тоже был рад!

Позднее выяснилось, что девочка сбежала из дому через сад, не сказав никому ни слова, и взяла с собой только сверточек платьев и пару башмаков на смену.

III

Верстах в пятнадцати от меня находится большое и богатое село, населенное почти сплошь однодворцами. Два раза в год там бывают довольно многолюдные ярмарки. Это — настоящие крестьянские торги, где только и можно найти то, в чем особенно нуждаются крестьяне, начиная с лошадей, скота и кончая инструментами, домашней утварью и всякими другими предметами, гораздо более многочисленными, чем принято думать, составляющими имущество крестьянской семьи. Эти ярмарки всегда очень оживлены и очень шумны, чему способствует большое количество кабачков и съестных лавок, стоящих на каждом шагу.

Я приехал в Грахово — так называется село, где происходит ярмарка,— чтобы купить пару лошадей; мне говорили, что они там хороши и не очень дороги. Приехав около полудня, я не был удивлен криком, донесшим-

ся до меня, как только я пересек ряд холмов, окружающих Грахово; но когда я приблизился к телегам, крик так усилился, что я сказал себе:

— Это, наверное, кто-нибудь из тех горланов, какие бывают на каждой сельской ярмарке.

И, действительно, шагах в пятидесяти впереди себя я увидел в толпе среди пьяных и возбужденных людей, мечущихся и размахивающих руками, одетого по-черкесски коренастого человека, в котором без труда узнал Талагаева. Прошло уже месяца три или четыре после нашей последней встречи; его наружность не стала лучше, наоборот, он был еще более растерзан, чем раньше, но сохранил всю свою наглость. Сколько я мог понять из отдельных восклицаний, Талагаева обвиняли в том, что он обманул мужика, которому продал лошадь, расхвалив ее мнимые достоинства. Талагаев, возмущенный публичными порицаниями, против которых он возражал особенно горячо потому, что понимал их справедливость, хотел воздействовать на толпу громовыми раскатами своего медного голоса, звучавшего властно и высокомерно; но сколько он ни буйствовал, как ни воздевал руки к небу, как ни грозил кулаками, как ни бил себя в грудь, всё это не производило на окружающих ни малейшего впечатления. Возбужденные лица подступали вплотную к его лицу, яростные вопли смешивались с его возгласами. Маленький чернявый мужичонка со всклокоченной бородой особенно выделялся среди всех.

— К мировому! Идем к мировому! Довольно вы нам портили жизнь, вы, господа дворянчики!

— Как вы смеете, подлые хамы...— крикнул Талагаев; надо сказать, что он несколько напоминал мне Дон-Жуана, отбивающегося от крестьян в конце первого акта оперы.

— Как это, как мы смеем?.. Ну, погоди! — возразил чернявый,— это тебе не прежние времена, голубчик, теперь тебе так не пройдет...

— Меня, к мировому! — воскликнул Талагаев, ставший багровым из желтого, каким он был обычно, и бешено вращая глазами,— никогда в жизни!..

Внезапно блеснуло лезвие кинжала; буян отчаянно завертел им над головой... но какой-то русый геркулес, до тех пор державшийся в стороне, тотчас выхватил его из рук Талагаева.

— Потише, ваша честь!..

Талагаев бросился к нему, но был мгновенно схвачен десятком грубых рук, которые чуть не в клочья изорвали черкеску, облекавшую дворянина. Мерлушковая папаха покатилась на землю; щегольский пояс, сорванный с него, также свалился; и всё, что осталось от Талагаева и от его великолепных усов, представляло до такой степени жалкий вид, что я поспешил отвернуться от зрелища этой грубой мужичьей расправы, от этой свалки, от этого суда Линча, не оправданного тем чувством правосудия, которое существует в большей или меньшей степени в сердце всякого американца. Эта удушливая пыль, вопли, угарный дух водки, жестокость этой кулачной расправы — всё внушало мне глубокое отвращение, и я дал себе слово никогда не подвергать себя возможности лицезрения подобного безобразия и того, кто способен был его вызвать; а между тем я ошибся; мне суждено было еще раз увидеть Талагаева.

IV

Это случилось в мрачный и холодный ноябрьский вечер. Мне пришлось выехать, чтобы отобедать у одного из моих близких соседей, и я возвращался к себе на маленьких санках, запряженных одиночкой, с колокольчиком под дугой, в сопровождении молодого кучера, который мог подержать вожжи в случае надобности.

Крупный, тихо падающий снег шел с позавчерашнего дня; он заваливал дороги и клонил под своей тяжестью вершины деревьев; порывами дул ветер и, казалось, стлался по земле. Небо висело тяжелое и низкое; черные тяжелые тучи поминутно закрывали месяц, тонкий серп которого, казалось, нырял из одного облака в другое, словно спасаясь от невидимого врага. Свет, шедший от месяца, был тревожен и неверен; казалось, что видишь бегущих белых зайчиков или какие-то быстрые тени, пересекающие дорогу; предметы принимали формы странные и в то же время знакомые, то удлиняясь несоразмерно, то вдруг исчезая. То была своеобразная игра света и тьмы.

Бог знает почему, мой кучерок принялся напевать, сначала про себя, потом, ободренный моим молчанием, немножко громче, чистым и жалобным голосом; этот почти детский голос гармонировал с однозвучным позвякиванием колокольчика под дугой и с молчаливой печалью этой ночи. Я не мог как следует разобрать ни слов,

ни напева, но речь шла, вероятно, как в большей части песен, о девушках и о любви.

— Сколько тебе лет? — спросил я его, внезапно прерывая его пение.

— Да... скоро будет восемнадцать,— ответил мальчик, немного удивленный.

— Думаешь ли ты уже о женитьбе?

— Ну, почему бы и нет? Если бы нашлась хорошая девушка!..

— Как Настенька, например? — сказал я.

— Ах, барин, вы шутите; это не по нашему рылу блюдо... А чтоб жениться, найдутся красавицы и в деревне... Отец не стал бы противиться... какое ему дело? ему бы только по кабакам шататься... А что до доброй матушки, я с ней полажу... довольно мне только свистнуть... Ну, ну, что это с ней? — воскликнул он, стараясь удержать лошадь, внезапно бросившуюся в сторону. Месяц вошел в густую тучу, и темнота еще больше сгустилась. Лошадь продолжала переступать на месте, упрямо встряхивать головою, храпеть... Темный предмет, очертания которого я не мог ясно рассмотреть, лежал поперек дороги.

— Посмотри-ка, что там такое,— сказал я кучеру,— а я пока подержу вожжи.

Парень соскочил с саней; но было нелегко заставить лошадь стоять спокойно; она дрожала всеми членами, и шерсть на ней встала дыбом.

— Барин! — сказал мне вдруг кучер изменившимся голосом,— уедемте отсюда.

— Почему это?

— Тут не ладно.

— Но почему же? — сказал я, в свою очередь соскакивая с саней.

— Тут не ладно, барин, я вам говорю.

И, произнеся эти слова, он широко перекрестился и отошел на несколько шагов.

— Вот такой им бы всем и конец, этим конокрадам... и поделом! — прошептал он, и что-то жестокое мелькнуло в его безбородом и добродушном лице.

Я подошел к предмету, который так испугал лошадь и кучера; наклонился... и узнал Талагаева!

Лоб его был рассечен сильным ударом топора; месяц, внезапно вновь выглянувший из туч, отразился в крови, разлитой вокруг головы, и образовал около нее как бы золотисто-красный ореол.

Два конца толстой веревки тянулись от его шеи, и вся его фигура, растерзанная, грязная, изодранная, выделялась с необычайной силой на резкой и девственной белизне снега.

Я вспомнил, что однажды, после безобразного побоища, я сказал в присутствии Талагаева:

— Было бы прискорбно, если бы для одного из Талагаевых конец наступил в подобной схватке; и Талагаев воскликнул: «Ну, уж нет! Талагаевы кончают не так!»

«Вот как они кончают!» — подумал я в ту ночь перед его истерзанным трупом.

⟨НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О СОВРЕМЕННОМ ЗНАЧЕНИИ РУССКОГО ДВОРЯНСТВА⟩

Всякий согласится с нами, что готовящиеся преобразования в отношениях помещиков к крестьянам неизбежно повлекут за собой ряд других изменений в государственной общественной жизни. Некоторые из них нетрудно уже теперь предвидеть — другие можно только предчувствовать. Все сословия русского народа испытают на себе более или менее глубокие отражения коренного преобразования, предстоящего самому многочисленному и, что ни говорите, самому сильному, самому крепкому из сословий.

Скорее всех и всех глубже испытает это отражение сословие дворянское — то сословие, которому вместе с крестьянским по преимуществу приличествует название землевладельческого.

Кажется, можно не обинуясь сказать, что в настоящее время все в России дворяне сознают — многие, более дальновидные, с радостью — неизбежность близкого изменения их быта. Дворяне через пятнадцать, двадцать лет будут уже не нынешние дворяне — это вам скажет всякий. Чем же они будут? И какое их нынешнее значение, каким было оно в прошедшем? Вот вопросы, на которые небесполезно было бы навести внимание читателей. Заранее отказываемся от полного разрешения таких важных вопросов; мы только попытаемся возбудить их.

Мы не станем также распространяться о пользе самого дела преобразования. Это значило бы доказывать, что солнце светит днем; ограничимся замечанием, что рус⟨скому⟩ обще⟨ству⟩ представится возможность устроить у себя то, чего все народы до сих пор тщетно добивались, а именно: «класс земледельцев, которые в то же время и землевладельцы» — и, предоставив другим сообразить, какую прочную основу государственного зда-

ния представляет такой план, возвратимся к нашему предмету. Многое в России теперь обращено в будущее — и мы начнем с будущего.

Чем будут дворяне после отменения крепостного права? — Они перестанут быть дворянами,— ответят вам иные люди, указуя на личное владение душами как на единственный осязательный признак, на симптом дворянства. Эти люди чувствуют, что другие «права» дворянства, как-то: право освобождения от телесного наказания, право на известные преимущества в службе, в получении чинов и др.— должны со временем по всем вероятностям распространиться и на остальные сословия и, след⟨овательно⟩, перестать быть исключительным достоянием дворянского сословия. Итак: только право владеть другим человеком придает русскому дворянству его особенность, налагает на него свойственную ему печать, определяет его значение в обществе, в г⟨осударств⟩е, в истории?

Мы этому не верим, мы думаем, что люди, так говорящие, несправедливы к своему сословию, к его прошедшему и настоящему положению. Не говоря уже о том, что сбережение прав сословия, опирающегося единственно на крепостное владение, может иметь цепу и значение только для одних участников подобной монополии (монополия не есть еще право), что самое существование такого сословия носит отпечаток случайности.

Мы позволяем себе напомнить читателю, что дворянство русское существовало до окончательного закрепощения крестьян, что, следовательно, владение людьми не составляет отличительную принадлежность дворянства, его коренного начала и что поэтому есть причины предполагать, что после освобождения крестьян дворянство, хотя измененное, будет существовать — и приносить пользу или, говоря точнее, что оно будет существовать, пока будет приносить пользу. Других существований европейская история не признает.

Положим,— скажут нам,— мы готовы допустить, что владение людьми не может быть признано за основное начало дворянского учреждения, так как всякое учреждение живет и действует в силу своего начала.— На чем же зиждется значение н⟨ашего⟩ дворянства, в чем мы должны искать ручательство и смысл его будущей деятельности?

Каждое явление легче определяется через сравнение с другими однородными явлениями. Попытаемся сопо-

ставить и мы дворянство русское с дворянством, каким оно является нам у западных народов.

Оно имеет с ним мало общего, начиная с самого названия, носящего у нас знаменательный оттенок. Наши дворяне не завоеватели. Они частью ведут род свой от князей, представителей вотчинного, семейного — не феодального начала, частью от выходцев или княжеских и царских слуг или дружинников, но во всяком случае русское дворянство никогда не составляло особой касты, оно не было самостоятельным, не выводило свою власть от божьей милости, не имело прав; права его нам дарованы — и недавно. Укрепленных замков оно не имело ни в каком смысле — ни в физическом, ни в нравственном; оно не имело власти — оно служило ей. Наше дворянство не вступало в условия с правительством, не носило обязанностей.

Они служили хорошо или худо, их жаловали и налагали на них опалу. Они служили не одному царю, они служили близкому делу и устроению, потому что сам царь сливался с земским делом и скупал землю. Оттого-то дворянство наше никогда не вступало и не могло вступать в борьбу с правительством. Русским царям никогда не приходилось, подобно королям на Западе, искать точку опоры в сословии городском и сельском,— не приходилось прибегать к одному звену, сочленному государству, для удержания в равновесии другого звена; Россия не была сочленена, она представлялась государством, расширенным до семейств⟨енного⟩ государства, в ней не было отдельных звеньев. Одна только страсть к отысканию натянутых аналогий могла находить сходство между мыслью Ивана В⟨асильевича⟩ Грозного и мыслью Людовика XI.

На Западе землею владели по праву завоевания бароны, рыцари, и сам король владел землею как первый и славный из них и по тому же праву; в России всей землей владел царь как вотчиной, как наследством, перешедшим к нему от отцов и дедов, а под ним сидели на земле дворяне наравне с крестьянами — одни в силу жалований — не завоевания, другие опять-таки не в силу покоряющего меча, а в силу распахивающего плуга. Служба, служение земле (мы с намерением употребляем здесь слово «земля», а не позднейшее европейское слово «государство») — царю, как центральной точке, к которой тяготела и земля,— вот то коренное начало, которое лежит в основании всему учрежден⟨ию⟩ р⟨усског⟩о д⟨ворянства⟩, которое дает ему

его особенное значение и смысл. Д⟨ворянин⟩ служил за жалованье и получал ж⟨алованье⟩ за службу. И другие сословия служили, но вслед за дворянином; дворянин — первый слуга. Стоит только раскрыть наудачу наши летописи, наши законы, указы, частные записки, чтобы убедиться в этом. Увечные израненные старики вымаливали отставку как милость, и чувство, что дворяне должны нести службу, жало даже и детей, которых Петр посылал в заморские земли учиться разным художествам и которых наказывали за то, что о⟨ни⟩ сказывались в «нетях».

Русский дворянин служил и служит — и в этом его сила и значение, а не во владении крестьянами — явлении случайном, вызванном не столько необходимостью, сколько неуменьем и недоразуменьем, и узаконенном случайно и долженствующим исчезнуть с прекращением причин, его вызвавших.

Р⟨усский⟩ д⟨ворянин⟩ служит земле... но есть различные службы. Было время, когда дворяне служили земле, умирая под стенами Казани, в степях Азовских; но не всегда одной крови требует от нас наше отечество; есть другие жертвы, другие труды и другие службы — и наше дворянство не отказывалось от них.

Дворянство на Западе стояло впереди народа, но не шло впереди его; не оно его двигало, не оно его влекло за собою по пути развития. Оно, напротив, упиралось, коснело, отставало. Почти все имена великих европейских деятелей принадлежат не к аристократическому клану; у нас мы видим явление противоположное... дворянство наше, оно служило делу просвещения и образования. Наши лучшие имена записаны на его скрижалях. Пускай оно не забудет, что нам не создавать приходилось до сих пор, а перенимать, что у нас одно дворянство грамоте знало, что на него только и падал свет; согласимся и в том, что ⟨*не закончено.*⟩

⟨СЕМЕЙСТВО АКСАКОВЫХ И СЛАВЯНОФИЛЫ⟩

С Константином Сергеевичем Аксаковым я познакомился в Москве, зимою 1841 года. Я только что вернулся из Берлина и был весь, так сказать, пропитан философией Гегеля, которую изучал в течение трех семестров под руководством профессора Вердера. В Москве существовало тогда несколько домов, в которых чуть не каждый вечер происходили словесные препиранья о предметах важных... и ненужных — о предметах отвлеченных и философских, и политических. Люди сходились, спорили долго, горячо и нелепо; время летело; кучера у подъезда зябли; лакеи в передней спали; дамы слушали и не спали, хотя удовольствия ощущали мало; что делали девицы — неизвестно; юноши отсутствовали. Поспоривши всласть, ратоборцы разъезжались — до следующего вечера. В числе их были, как водится, первые теноры, простые баса и хористы; были также и гости без речей. Покойный А. С. Хомяков играл роль первенствующую, роль Рудина. Всё это мне было на руку — недаром же я жил в Берлине, изощрялся в диалектических тонкостях, а потому я, хоть и не в передних рядах, однако высвистывал свою партию тоже. Помню мое первое столкновение с самим великим Алексеем Степанычем: внутренно я робел, но самолюбие меня поддержало. О победе, разумеется, не могло быть речи, но и позорного поражения не потерпел: около полутора или двух часов [старался] [потщился] я разъяснить — частью Х⟨омяков⟩у, частью самому себе, каким образом дух (Geist) посредством понятия (Begriff) самого себя ставит или сажает (setzt sich) как природу (Nature). Ни до чего, кажется, не договорился, но и не уступил. Чего же еще было желать? Я попал в цех словоизвергателей, выражаясь щедр⟨ински⟩м языком [1].

[1] В автографе ссылка: «См. продолжение на отд. листах».

⟨ОБ «ИСКУШЕНИИ СВЯТОГО АНТОНИЯ» Г. ФЛОБЕРА⟩

Париж, 1 апр./20 марта 1874.

...Сегодня появилось давно ожидаемое «Искушение с-го Антония» Гюст⟨ава⟩ Флоб⟨ера⟩. Мне хочется сказать вам несколько слов об этой замечательной книге, которую нельзя назвать ни романом, ни повестью — этой фантастической поэме в прозе. Если старинная дружба, связующая меня с автором, не ослепляет меня, то новое произведение творца «Г-жи Бовари» должно произвести глубокое впечатление на читающую и мыслящую публику, что не совсем равнозначаще с публикой вообще, с тем, что франц⟨узы⟩ назыв⟨ают⟩ «le gros public» ⟨средний читатель — *франц.*⟩. «Гропюблик» едва ли даже примется за книгу Флобера. Она покажется ему утомительной, несмотря на свою краткость. «Гропюблик» осиливает иногда и утомительные вещи. «Д⟨евяносто⟩ т⟨ретий⟩ год» В. Гюго удовлетворяет в этом отношении весьма суровые требования — но подобный подвиг «Г⟨ро⟩п⟨юблик⟩» обусловливается особыми причинами, в разбирательство которых теперь входить не место. Чтобы найти вкус в н⟨овом⟩ произ⟨ведении⟩ Флобера, нужна довольно знач⟨ительная⟩ доля образованности и зрелости — умственной, житейской и эстетической; такого рода читатели всегда составляют меньшинство. Для большинства существуют ⟨...⟩; эти господа, они имеют полное право существовать, учить, они даже приносят пользу обществу; но всякого чело⟨века⟩, искренно интересующегося развитием и ходом человеческой мысли и французской в особенности, не может не порадовать появление той фигуры, какая среди всех этих... ⟨*не закончено.*⟩

ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ I

МЕМОРИАЛ

(с. 197)

Конспективные записи

1851 — où?

1 Janv. 1850 (?) à? — à Paris.
1 Janv. 1849. Paris.
1 Janv. 1848 — Paris.
1 Janv. 1847 — Pétersbourg... Départ pour la France, par terre.
1 Janv. 1846 — Pétersbourg. L'été à (Spasskoïe).
1 Janv. 1845. Pétersb⟨ourg⟩. Voyage à Paris par mer. (Retour en Russie, par terre)
1 Janv. 1844. Pétersb⟨ourg⟩. (L'été à Pargolovo).
1 Janv. 1843 à Pétersbourg. [Карусель] (Pavlovsk). Fin d'octobre. Connaissance avec P⟨auline⟩.
1 Janv. 1842 à Moscou. (Voyage à Marienbad, par terre). Retour en Russie (par terre).
1 Janv. 1841 à Berlin. Retour en Russie (на «Александре»).
1 Janv. 1840. St.-Pétersbourg. Voyage en Italie, puis à Berlin, par terre .
1 Janv. 1839 à Berlin. (Retour en Russie на «Николае»).
1 Janv. 1838 à Petersbourg. (Voyage en Allemagne, par mer).
1 Janv. 1837 }
1 Janv. 1836 } à St.-Pétersbourg.
1 Janv. 1835 }
1 Janv. 1834 à Moscou. 30 octobre/11 novembre (mort de mon père).
1 Janv. 1833 }
1 Janv. 1832 }
1 Janv. 1831 }
1 Janv. 1830 } à Moscou
1 Janv. 1829 }
etc.

Перевод

1851 — где?

1 янв. 1850 (?) в? — в Париже
1 янв. 1849. Париж.

1 янв. 1848 — Париж.
1 янв. 1847 — Петербург... Отъезд во Францию, по суше.
1 янв. 1846 — Петербург. (Лето в Спасском).
1 янв. 1845. Петерб⟨ург⟩. Поездка в Париж морем. (Возвращение в Россию, по суше).
1 янв. 1844. Петерб⟨ург⟩. (Лето в Парголове).
1 янв. 1843 в Петербурге. [Карусель] (Павловск).
Конец октября. Знакомство с П⟨олиной⟩.
1 янв. 1842 в Москве. (Поездка в Мариенбад, по суше). Возвращение в Россию (по суше).
1 янв. 1841 в Берлине. Возвращение в Россию (на «Александре»).
1 янв. 1840. С.-Петербург. Поездка в Италию, потом в Берлин, по суше.
1 янв. 1839 в Берлине. (Возвращение в Россию на «Николае»).
1 янв. 1838 в Петербурге. (Поездка в Германию, морем).
1 янв. 1837 }
1 янв. 1836 } в С.-Петербурге
1 янв. 1835 }
1 янв. 1834 в Москве. 30 октября/11 ноября (смерть моего отца).
1 янв. 1833 }
1 янв. 1832 }
1 янв. 1831 } в Москве
1 янв. 1830 }
1 янв. 1829 }
и т. д.

UN INCENDIE EN MER

C'était au mois de mai 1838.

Je me trouvais, avec beaucoup d'autres passagers, sur le bateau le *Nicolas Ier*, qui faisait le trajet entre Saint-Pétersbourg et Lübeck. Comme, dans ce temps-là, les chemins de fer étaient encore peu florissants, tous les voyageurs prenaient la route de mer. Par cette même raison, beaucoup d'entre eux emmenaient leur chaise de poste pour continuer leur voyage en Allemagne, en France, etc.

Nous avions, je m'en souviens, vingt-huit voitures de maître. Nous étions bien deux cent quatre-vingts passagers, dont une vingtaine d'enfants.

J'étais très jeune alors, et, ne souffrant pas du mal de mer, je m'amusais beaucoup de toutes les nouvelles impressions. Il y avait à bord quelques dames, remarquablement belles ou jolies. (La plupart sont mortes, hélas!)

C'était la première fois que ma mère me laissait partir seul, et j'avais dû lui jurer de me conduire sagement, et surtout de ne pas toucher aux cartes... et ce fut précisément cette dernière promesse qui fut enfreinte la première.

Un soir, en particulier, il y avait grande réunion dans le salon commun, entre autres plusieurs banquiers bien connus à Pétersbourg. Ils jouaient chaque soir à la banque (sorte de lansquenet), et les pièces d'or, qu'on voyait alors plus souvent qu'à présent, faisaient un cliquetis étourdissant.

L'un de ces messieurs, voyant que je me tenais à l'écart, et n'en sachant pas la raison, me proposa brusquement de prendre part à son jeu. Comme, avec la naïveté de mes dix-huit ans, je lui expliquai la cause de mon abstention, il partit d'un éclat de rire; et, s'adressant à ses compagnons, il s'écria qu'il avait trouvé un trésor: un jeune homme n'ayant jamais touché une carte, et par cela même prédestiné à avoir une chance énorme, inouïe, une vraie chance d'innocent!..

Je ne sais comment cela se fit, mais. dix minutes plus tard, j'étais à la table de jeu, les cartes plein la main, ayant une part assurée et jouant, jouant comme un fou.

Il faut avouer que le vieux proverbe n'avait pas menti. L'argent

venait à moi à flots; deux monceaux d'or s'élevaient sur la table, des deux côtés de mes mains tremblantes et couvertes de sueur. Le banquier qui m'avait entraîné ne cessait de me pousser, de m'exciter... Vrai, je croyais ma fortune faite!..

Tout à coup la porte du salon s'ouvre toute grande, une dame s'y précipite, crie d'une voix éperdue et mourante: «Le feu est au bâtiment!» et tombe évanouie sur le sopha. Ce fut comme une commotion violente; chacun s'élança de sa place; l'or, l'argent, les billets de banque roulèrent, s'éparpillèrent de tous côtés, et nous nous précipitâmes tous dehors. Comment n'avions-nous pas remarqué plus tôt la fumée qui nous envahissait déjà? Je n'y conçois rien! L'escalier en était déjà plein. Des reflets d'un rouge épais, d'un rouge de charbon de terre éclataient par-ci par-là. En un clin d'œil tout le monde fut sur le pont. Deux larges tourbillons de fumée montaient des deux côtés de la cheminée et le long des mâts, et un vacarme effroyable s'éleva pour ne plus cesser. Ce fut un désordre indicible; on sentait que le sentiment de la conservation s'était violemment emparé de tous ces êtres humains, de moi tout le premier. Je me rappelle avoir saisi un matelot par le bras, et de lui avoir promis 10 000 roubles de la part de ma mère, s'il parvenait à me sauver. Le matelot, naturellement, ne pouvait prendre mes paroles au sérieux, il se dégagea de mon étreinte, et moi-même je n'insistai pas, voyant bien que ce que je disais n'avait pas le sens commun. Du reste, ce que je voyais autour de moi n'en avait guère plus. On a bien raison de dire que rien n'égale le tragique, si ce n'est le comique, d'un naufrage en mer. Par exemple, un riche propriétaire, saisi de terreur, rampait à terre en baisant frénétiquement le plancher, puis, comme l'eau abondamment jetée dans les ouvertures des magasins à charbon avait momentanément dompté la violence des flammes, il se redressa de toute sa hauteur, et s'écria d'une voix de tonnerre: «Hommes de peu de foi, avez-vous pu croire que notre Dieu, le Dieu des Russes, nous abandonnerait?» Mais à l'instant même les flammes jetèrent une poussée plus vive, et le pauvre homme de beaucoup de foi retomba à quatre pattes et se remit à baiser le plancher. Un général, l'œil hagard, ne cessait de crier: «Il faut envoyer un courrier à l'Empereur! On lui a envoyé un courrier lors de la révolte des colonies militaires, où j'étais, moi, en personne, et cela a servi à sauver quelques-uns d'entre nous!» Un monsieur, le parapluie à la main, se mit tout à coup à crever avec fureur un mauvais petit portrait à l'huile attaché à son chevalet (qui se trouvait là, parmi les bagages), en perçant avec la pointe de son parapluie cinq trous à la place des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles. Il accompagnait cette destruction d'exclamations: «A quoi cela peut-il servir maintenant?» Et cette toile ne lui appartenait pas! Un gros personnage, tout inondé de larmes, ayant l'air d'un brasseur allemand, ne cessait de vociférer d'une voix larmoyante: «Capitaine! capitaine!»

Et lorsque le capitaine, impatienté, le saisit à la fin par le collet de son habit et lui cria: «Eh bien, quoi? Je suis le capitaine. Voyons, que voulez-vous?» Le gros personnage le regarda d'un air hébété et se remit à geindre: «Capitaine!»

Ce fut pourtant ce capitaine qui nous sauva la vie à tous. Premièrement, en changeant, au dernier moment où l'on pouvait encore entrer dans la machine, la direction de notre navire, qui, en filant tout droit sur Lübeck, au lieu de virer brusquement sur la côte, aurait infailliblement brûlé avant d'arriver au port; et deuxièmement, en ordonnant aux matelots de tirer leurs coutelas et de faire impitoyablement main basse sur toute personne qui essaierait de toucher à l'une des deux chaloupes qui nous restaient encore, les autres ayant chaviré par l'inexpérience des passagers qui avaient voulu les mettre à la mer.

Les matelots, Danois pour la plupart, avec leurs figures énergiques et froides, et le reflet presque sanguinolent les flammes sur les lames de leurs couteaux, inspiraient un respect involontaire. Il faisait une assez forte bourrasque, elle fut encore augmentée par l'incendie qui hurlait dans un grand tiers du bâtiment. Je dois avouer, n'en déplaise à mon sexe, que les femmes, dans cette circonstance, montrèrent plus de courage que la plupart des hommes. Pâles et blanches, la nuit les avait surprises dans leurs lits (elles n'avaient guère que leurs couvertures pour vêtement), et tout incrédule que j'étais déjà alors, elles me semblèrent des anges descendus du ciel pour nous faire honte et nous donner du cœur. Du reste, il y eut aussi des hommes qui montrèrent de la bravoure. Je me rappelle surtout un M.D.....ff, notre ex-ambassadeur de Russie à Copenhague: il avait ôté ses souliers, sa cravate, son veston dont il avait attaché les manches sur la poitrine — et, assis sur un gros câble tendu, les pieds ballants, il fumait tranquillement son cigare, et nous regardait les uns après les autres d'un petit air de pitié narquoise. Quant à moi, je m'étais réfugié sur une des échelles extérieures, et j'étais assis sur l'une des dernières marches. Je regardais avec stupeur l'écume rouge qui bouillonnait au-dessous de moi, et dont quelques flocons sautaient jusqu'à mon visage, et je me disais: «Voilà donc où il faudra périr, à dis-huit ans!» Car j'étais bien décidé à me laisser noyer plutôt que griller. La flamme se voûtait au-dessus de moi, et je distinguais bien son hurlement de celui des vagues.

Non loin de moi, sur la même échelle, était assise une petite vieille, quelque cuisinière, probablement, d'une des familles qui étaient embarquées pour l'Europe. La tête enfoncée dans ses mains, elle semblait murmurer des prières. Tout à coup, elle jeta sur moi un regard rapide, et, soit qu'elle crût lire sur mon visage une détermination funeste, soit par toute autre raison, elle saisit mon bras, et d'une voix presque suppliante, elle me dit avec insistance: «Non, barine, personne n'a le droit de disposer de sa propre vie, vous pas plus qu'un autre. Il faut

subir le sort que la Providence vous envoie, sans cela ce serait un suicide, et vous seriez puni dans l'autre monde».

Je n'avais eu aucune envie de me suicider, mais, par une sorte de bravade bien inexplicable dans ma position, je fis deux ou trois fois semblant de mettre à exécution l'intention qu'elle me prêtait, et chaque fois la pauvre vieille se précipitait vers moi pour m'empêcher d'accomplir ce qui était à ses yeux un grand crime. A la fin, saisi d'une sorte de honte, je m'arrêtai. En effet, pourquoi jouer ainsi la comédie en présence d'une mort, qu'en ce moment, je croyais vraiment imminente et inévitable? Du reste, je n'eus pas le temps de me rendre compte de cette bizarrerie des sentiments, ni d'admirer le manque d'égoïsme (ce qu'on nommerait aujourd'hui *l'altruisme*) de la pauvre femme, car dans ce moment les hurlements des flammes au-dessus de nos têtes redoublèrent de violence; mais dans ce même moment aussi, une voix d'airain (ce fut celle de notre ange sauveur), une voix éclata au-dessus de nous: «Que faites-vous là, malheureux? vous allez périr, suivez-moi!» Et aussitôt, sans savoir qui nous appelait, ni où il fallait aller, nous nous levâmes, la bonne femme et moi, comme poussés par un ressort, et nous nous lançâmes à travers la fumée, à la suite d'un matelot en veste bleue, que nous voyons devant nous grimper le long d'une échelle de corde. Sans savoir pourquoi, je grimpai derrière lui sur cette échelle; je crois que dans ce moment, s'il s'était jeté à l'eau ou s'il avait fait n'importe quoi d'extraordinaire, je l'aurais aveuglément imité. Après avoir gravi deux ou trois échelons, le matelot sauta lourdement sur le haut d'une des voitures dont le bas commençait déjà à flamber. Je sautai après lui; j'entendis la vieille sauter après moi: puis, du haut de cette première voiture, le matelot sauta sur une seconde voiture, puis sur une troisième; moi toujours derrière lui — et nous nous trouvâmes ainsi sur le devant du vaisseau.

Presque tous les passagers étaient rassemblés là. Des matelots, sous la surveillance du capitaine, étaient occupés à descendre à la mer une de nos deux chaloupes, heureusement la plus grande. Par-dessus l'autre bord du navire, j'aperçus, vivement éclairée par l'incendie, la falaise abrupte qui descend vers Lübeck. Il y avait certainement près de deux kilomètres jusqu'à cette falaise. Je ne savais pas nager. L'endroit sur lequel nous étions échoués (car nous l'étions sans nous en être doutés), était probablement assez peu profond, mais les vagues étaient très hautes. Pourtant, dès que j'eus aperçu la falaise, la persuasion que j'étais sauvé s'empara de moi — et à la stupéfaction des pesonnes qui m'entouraient, je fis plusieurs bonds en l'air, en criant: «Hip! hip! hourrah!» Je ne voulus pas m'approcher de l'endroit où la foule se pressait pour arriver à l'escalier qui menait à la grande chaloupe. Il y avait là trop de femmes, de vieillards et d'enfants; et puis, moi, depuis la vue de la falaise, je ne me pressais plus, j'étais sûr de mon salut. Je

remarquai avec étonnement que presque aucun des enfants n'avait peur, que quelques-uns même s'endormaient sur l'épaule de leur mère. Aucun ne périt.

J'aperçus au milieu du groupe des passagers un général de haute taille, les vêtements tout ruisselants d'eau, qui se tenait immobile, appuyé contre un banc placé horizontalement, qu'il venait de détacher du vaisseau. J'appris que dans un premier moment de terreur il avait brutalement repoussé une femme qui voulait passer avant lui pour sauter dans une des premières embarcations qui avaient sombré. Saisi par un steward qui l'avait rejeté sur le vaisseau, le vieux soldat eut honte de sa couardise momentanée, et il se jura de ne quitter le navire que le dernier, après le capitaine. Il était de grande taille, pâle, avec une écorchure sanglante au front, et promenait autour de lui des regards contrits et résignés, comme s'il eût demandé pardon.

Pendant ce temps, je m'étais approché du côté gauche du vaisseau, et j'aperçus notre petite chaloupe dansant sur les vagues comme un joujou; deux matelots qui s'y trouvaient faisaient signe aux passagers de risquer le saut. Mais ce n'était pas chose facile, le *Nicolas Ier* était un vapeur de haut bord, et il fallait tomber bien d'aplomb pour ne pas faire chavirer la chaloupe. Enfin je me décidai: je commençai par poser mes pieds sur une chaîne d'ancre qui était tendue le long du bâtiment à l'extérieur, et j'allais m'élancer, quand une masse lourde et molle vint s'abattre sur moi. Une femme s'était cramponnée à mon cou et pendait inerte le long de mon corps. J'avoue que mon premier mouvement fut de m'emparer violemment de cette main, et de me débarrasser de cette masse en la jetant par-dessus ma tête; mais fort heureusement je ne suivis pas ce premier mouvement-là. Le choc faillit nous précipiter tous les deux dans la mer, mais par bonheur il se trouva là, flottant devant mon nez, pendant de je ne sais où, un bout de corde auquel je m'accrochai d'une main avec rage, m'écorchant jusqu'au sang... puis, jetant un regard au-dessous de moi, je m'aperçus que moi et mon fardeau nous nous trouvions juste au-dessus de la chaloupe, et... à la grâce de Dieu! je me laissai glisser... le bateau craqua dans toutes ses jointures... «Hourrah!» crièrent les matelots. Je déposai ma compagne évanouie au fond du bateau, et me retournai aussitôt vers le navire, où j'aperçus une quantité de têtes, de femmes surtout, qui se pressaient fiévreusement le long du bord.

«Sautez!» m'écriai-je en tendant les bras. Dans cet instant, la réussite de ma hardiesse, la conviction d'être isolé des flammes, me donnaient une force et un courage indicibles; et je reçus les trois seules femmes qui se décidèrent à sauter dans ma chaloupe avec autant de facilité que l'on attrape des pommes au temps de la cueillette. Il est à remarquer que chacune de ces dames poussa un cri perçant au moment de se jeter du haut du navire, et arrivée au bas était évanouie. Un mon-

sieur, probablement affolé, faillit tuer une de ces malheureuses en jetant une lourde cassette qui se brisa en tombant dans notre bateau, et laissa voir un assez riche nécessaire. Sans me demander si j'avais le droit d'en disposer, je fis immédiatement présent de cette cassette aux deux matelots, qui la reçurent avec tout aussi peu de scrupule. Puis aussitôt nous fîmes force de rames vers le rivage, accompagnés des cris: «Revenez vite! renvoyez-nous la chaloupe!» Aussi, dès qu'il n'y eut plus qu'un mètre de profondeur d'eau, fallut-il descendre. Une pluie fine et froide s'était mise à tomber depuis une heure, sans avoir aucun effet sur l'incendie, mais elle nous trempa définitivement jusqu'aux os.

Enfin nous parvînmes à ce bienheureux rivage qui n'était qu'une vaste mare de boue liquide et gluante, où l'on enfonçait jusqu'aux genoux.

Notre barque s'éloigna rapidement et se mit, ainsi que la grande chaloupe, à faire la navette du navire au rivage. Peu de voyageurs avaient péri, huit en tout: l'un était tombé dans la soute au charbon, un autre s'était noyé pour avoir voulu emporter tout son argent sur lui — ce dernier, dont je savais à peine le nom, avait joué aux échecs avec moi pendant une grande partie de la journée, et il y avait mis un tel acharnement que le prince W..., qui suivait notre partie, finit par s'écrier: «On dirait que vous jouez comme s'il s'agissait entre vous de vie ou de mort!»

Quant aux bagages, ils furent presque tous perdus, ainsi que les voitures.

Dans le nombre des dames échappées du naufrage, il y en avait une, madame T...., fort jolie et fort aimable, mais encombrée de ses quatre petites filles avec leurs bonnes; aussi restait-elle abandonnée sur la plage, les pieds nus, les épaules à peine couvertes. Je crus devoir faire mon galant chevalier, ce qui me coûta mon veston que j'avais conservé jusque-là, ma cravate et même mes bottes; en outre, un paysan avec une charrette attelée de deux chevaux, que j'avais été chercher en haut de la falaise et que j'avais envoyé en avant à la rencontre des naufragées, ne jugea pas à propos de m'attendre, et partit pour Lübeck avec toutes mes voyageuses, de sorte que je restai seul, à demi nu, trempé jusqu'aux os, en présence de la mer, où notre vaisseau achevait lentement de se consumer. Je dis bien achevait, car jamais je n'aurais cru qu'une aussi grande «machine», pût être *aussi rapidement* détruite. Ce n'était plus qu'une large tache flamboyante posée immobile sur la mer, sillonnée par les contours noirs des cheminées et des mâts, et que des mouettes parcouraient d'un vol lourd et indifférent — puis un grand panache de cendres parsemé de petites étincelles qui s'éparpillaient en vastes lignes courbes sur les flots déjà moins agités. N'est-ce que cela? pensai-je, et toute notre vie n'est-elle qu'une pincée de cendres qui se disperse au vent?

Heureusement pour le philosophe qui commençait à claquer des dents, un autre charretier vint me ramasser. Le brave homme se fit payer deux ducats, mais en compensation il m'enveloppa de sa grosse houppelande, et me chanta deux ou trois chansons mecklembourgeoises qui me parurent assez jolies. C'est ainsi que je gagnai Lübeck au lever du soleil; j'y retrouvai mes compagnons d'infortune, et nous partîmes pour Hambourg. Là nous trouvâmes vingt mille roubles argent que l'empereur Nicolas, précisément alors de passage à Berlin, nous avait envoyés par un aide de camp. Tous les hommes se réunirent, et il fut décidé que cette somme serait offerte aux voyageuses. Ceci nous était d'autant plus facile, qu'à cette époque, tout Russe venant en Allemagne y jouissait d'un crédit illimité. Il n'en est plus de même maintenant!

Le matelot auquel j'avais promis au nom de ma mére des sommes exorbitantes s'il me sauvait la vie, vint réclamer l'exécution de ma promesse. Mais comme je n'étais pas bien sûr de son identité, et que d'ailleurs celui-là n'avait rien du tout fait pour moi, je lui offris un thaler qu'il accepta avec reconnaissance.

Quant à la pauvre vieille cuisinière qui avait témoigné tant d'intérêt pour le salut de mon âme, je ne l'ai plus revue,— mais pour celle-là, rôtie ou noyée, je suis bien sûr qu'elle a sa place marquée au paradis.

Перевод

ПОЖАР НА МОРЕ

Это было в мае 1838 года.

Я находился вместе с множеством других пассажиров на пароходе «Николай I», делавшем рейсы между Петербургом и Любеком. Так как в то время железные дороги еще мало процветали, то все путешественники избирали морской путь. По этой же причине многие из них брали с собою собственные экипажи, чтобы продолжать свое путешествие по Германии, Франции и т. д.

У нас на корабле, помнится мне, было двадцать восемь господских экипажей. Нас, пассажиров, было около двухсот восьмидесяти, считая в этом числе человек двадцать детей.

Я был тогда очень молод и, не страдая морскою болезнью, очень был занят всеми этими новыми впечатлениями. На корабле было несколько дам, замечательно красивых или хорошеньких,— большая часть из них умерла, увы!

Матушка в первый раз отпустила меня ехать одного, и я должен был обещать ей вести себя благоразумно и, главное, не дотрогиваться до карт... И вот именно это-то последнее обещание и было нарушено первым.

В этот самый вечер было большое собрание в общей каюте,— между прочим, тут находилось несколько игроков, хорошо известных в Петербурге. Они каждый вечер играли в банк, и золото, которое в то время можно было видеть чаще, нежели теперь, оглушительно звенело.

Один из этих господ, видя, что я держусь в стороне, и не зная причины этого, неожиданно предложил мне принять участие в его игре; когда я, с наивностью своих девятнадцати лет, объяснил ему причину своего воздержания,— он расхохотался и, обращаясь к своим товарищам, воскликнул, что нашел сокровище: молодого человека, никогда не дотрогивавшегося до карт и вследствие этого самого предназначенного иметь огромное, неслыханное счастье, настоящее счастье простаков!..

Не знаю, как это случилось, но через десять минут я уже сидел за игорным столом, с руками, полными карт, имея обеспеченную долю в игре,— и играл, играл отчаянно.

И нужно сознаться, что старая пословица не соврала. Деньги текли ко мне ручьями; две кучки золота возвышались на столе по обеим сторонам моих дрожащих и покрытых каплями пота рук. Игрок, который завлек меня, не переставал меня подбивать и поощрять... Сказать по правде, я уж думал, что сразу разбогатею!..

Вдруг дверь каюты распахивается во всю ширину, в нее врывается дама вне себя, замирающим голосом восклицает: «Пожар!»—и падает в обмороке на диван. Это произвело сильнейшее волнение; никто не остался на месте; золото, серебро, банковые билеты покатились и рассыпались во все стороны, и мы все бросились вон. Как мы раньше не заметили дыма, который набирался уже и в каюту? я этого совершенно не понимаю! лестница была полна им. Темно-красное зарево, как от горящего каменного угля, вспыхивало там и сям. Во мгновение ока все были на палубе. Два широких столба дыма пополам с огнем поднимались по обеим сторонам трубы и вдоль мачт; началась ужаснейшая суматоха, которая уже и не прекращалась. Беспорядок был невообразимый: чувствовалось, что отчаянное чувство самохранения охватило все эти человеческие существа и в том числе меня первого. Я помню, что схватил за руку матроса и обещал ему десять тысяч рублей от имени матушки, если ему удастся спасти меня. Матрос, который, естественно, не мог принять моих слов за серьезное, высвободился от меня; да я и сам не настаивал, понимая, что в том, что я говорю, нет здравого смысла. Впрочем, в том, что я видел вокруг себя, его было не более. Совершенно справедливо, что ничто не равняется трагизму кораблекрушения или пожара в море, кроме их комизма. Например: богатый помещик, охваченный ужасом, ползал по полу, неистово кладя земные поклоны; когда же вода, которую изобильно лили в отверстия угольных трюмов, на минуту укротила

ярость пламени, он встал во весь рост и закричал громовым голосом: «Маловерные! неужели вы думали, что наш бог, русский бог, нас покинет?» Но в ту же минуту пламя метнуло сильнее, и многоверующий бедняк опять упал на четвереньки и снова принялся бить земные поклоны. Какой-то генерал с угрюмо-растерянным взором не переставал кричать: «Нужно послать курьера к государю! К нему послали курьера, когда был бунт военных поселений, где я был, да, лично, и это спасло хоть некоторых из нас!» Другой барин, с дождевым зонтиком в руках, вдруг с ожесточением принялся прокалывать находившийся тут же в багаже дрянной портретишко, писанный масляными красками и привязанный к своему мольберту. Концом зонтика он проткнул пять дырок: на месте глаз, носа, рта и ушей. Разрушение это он сопровождал восклицанием: «К чему всё это теперь?» И эта картина ему не принадлежала! Толстый господин, весь в слезах, похожий на немецкого пивовара, не переставал вопить плаксивым голосом: «Капитан! Капитан!..» И когда капитан, вышедший из терпенья, схватил его за шиворот и крикнул ему: «Ну? я капитан, что же вам нужно?» — толстяк посмотрел на него с убитым видом и снова принялся стонать: «Капитан!»

И, однако, этот же капитан всем нам спас жизнь. Во-первых, тем, что в последнюю минуту, когда еще можно было добраться до машины, изменил направление нашего судна, которое, идя прямо на Любек, вместо того чтобы круто повернуть к берегу, непременно сгорело бы раньше, чем вошло в гавань; и во-вторых, тем еще, что приказал матросам обнажить кортики и без сожаления колоть всякого, кто попробует дотронуться до одной из двух оставшихся шлюпок,— все остальные опрокинулись благодаря неопытности пассажиров, хотевших спустить их в море.

Матросы, большею частью датчане, со своими энергическими и холодными лицами и чуть не кровавым отблеском пламени на лезвиях ножей, внушали невольный страх. Был довольно сильный шквал; он еще усилился от пожара, который ревел в доброй трети судна. Я должен сознаться, что бы там ни подумала об этом мужская половина рода человеческого, что женщины в этом случае показали больше мужества, нежели мужчины. Бледных как смерть ночь застала их в постелях (вместо всякой одежды на них были накинуты только одеяла), и как ни был я неверующ уже тогда, но они показались мне ангелами, сошедшими с неба, чтобы пристыдить нас и придать нам храбрости. Но были, однако, и мужчины, которые выказали бесстрашие. Я особенно помню одного, г. Д—ва, нашего бывшего русского посланника в Копенгагене: он скинул сапоги, галстук и сюртук, который завязал рукавами на груди, и, сидя на толстом натянутом канате, болтал ногами, спокойно куря свою сигару и оглядывая каждого из нас по очереди с видом насмешливого сожаления. Что

касается меня, то я нашел убежище на наружной лестнице, где и уселся на одной из последних ступенек. Я с оцепенением смотрел на красную пену, которая клокотала подо мною и брызги которой долетали мне в лицо, и говорил себе: «Так вот где придется погибнуть в девятнадцать лет!» — потому что я твердо решился лучше утонуть, чем испечься. Пламя сводом выгибалось надо мною, и я очень хорошо отличал его вой от рева волн.

Недалеко от меня, на той же лестнице, сидела маленькая старушка, должно быть кухарка которого-нибудь из семейств, ехавших в Европу. Спрятав голову в руки, она, казалось, шептала молитвы,— вдруг она быстро взглянула на меня и, потому ли, что ей показалось, будто она прочла на моем лице пагубную решимость, или по какой другой причине, но она схватила меня за руку и почти умоляющим голосом настоятельно сказала: «Нет, барин, никто в своей жизни не волен,— и вы не вольны, как никто не волен. Что бог велит, то пусть и сбудется,— ведь это значило бы на себя руки наложить, а за это бы вас на том свете покарали».

У меня не было до той минуты никакой охоты к самоубийству, но тут, из-за чего-то вроде хвастовства, совершенно необъяснимого в моем положении, я два или три раза притворился, будто хочу исполнить намерение, которое она предполагает во мне,— и каждый раз бедная старуха бросалась ко мне, чтобы помешать тому, что в глазах ее было преступлением. Наконец мне сделалось стыдно, и я перестал. В самом деле, зачем играть комедию в присутствии смерти, которую в эту минуту я серьезно считал угрожающей и неизбежной? Впрочем, мне не хватило времени ни отдать себе отчета в этой странности чувств, ни восхититься отсутствием эгоизма (что теперь назвали бы альтруизмом) бедной женщины, потому что в эту минуту рев пламени над нашими головами удвоил свою ярость; но как раз в ту же минуту голос, звеневший точно медь (это был голос нашего спасителя), раздался над нами: «Что вы там делаете, несчастные? Вы погибнете, идите за мною!» И тотчас, не зная, ни кто нас зовет, ни куда нужно идти, и старуха и я вскочили, будто подтолкнутые пружиной, и бросились сквозь дым вслед за матросом в синей куртке, который впереди нас лез вверх по веревочной лестнице. Не зная зачем, и я полез за ним по этой лестнице; я думаю, что если бы он в эту минуту бросился в воду или сделал бы вообще что бы то ни было совсем необыкновенное, я слепо последовал бы за ним. Взобравшись на две или три ступеньки, матрос тяжело спрыгнул на верх одного из экипажей, низ которого уже загорался. Я прыгнул за ним и слышал, как старуха прыгнула за мною; потом с этого первого экипажа матрос прыгнул на второй, потом на третий, я всё время позади него — и мы таким образом очутились на носу парохода.

Почти все пассажиры собрались здесь. Матросы под наблюдени-

ем капитана спускали в море одну из наших двух шлюпок — к счастью, самую большую. Через другой борт корабля я увидел ярко освещенные пожаром крутые береговые утесы, которые спускаются к Любеку. Было добрых две версты до этих утесов. Я не умел плавать — место, на котором мы стали на мель (мы и не заметили, как это случилось), было, по всей вероятности, не глубоко, но волны были очень велики. И все-таки, как только я увидел скалы, уверенность, что я спасен, овладела мною — и, к изумлению окружающих меня лиц, я несколько раз подпрыгнул и крикнул: «Ура!» Я не захотел подойти ближе к тому месту, где толпа теснилась, чтобы добраться до лестницы, которая вела к большой шлюпке,— там было слишком много женщин, стариков и детей; да я с тех пор, как увидел скалы, уже и не торопился больше: я был уверен, что спасен. Я с удивлением заметил, что почти никто из детей не выказывал страха, что некоторые из них даже засыпали на руках у матерей. Ни один ребенок не погиб.

Я увидел среди группы пассажиров высокого генерала; с платья его текла вода; он стоял неподвижно, опираясь на поставленную стоймя лавку, которую он только что оторвал. Мне сказали, что в первую минуту перепуга он грубо оттолкнул женщину, которая хотела опередить его и раньше него спрыгнуть в одну из первых лодок, опрокинувшихся потом по вине пассажиров. Один из служащих на пароходе схватил его в охапку и с силой отбросил назад, на судно, и старый солдат, устыдившись своей минутной трусости, поклялся сойти с корабля только последним, после капитана. Он был высокого роста, бледен, с кровавой ссадиной на лбу, и глядел вокруг взглядом сокрушенным и покорным, точно бы просил прощенья.

В это время я приблизился к левому борту корабля и увидел нашу меньшую шлюпку, пляшущую на волнах, как игрушка; два находившиеся в ней матроса знаками приглашали пассажиров сделать рискованный прыжок в нее — но это было не легко: «Николай I» был линейный корабль, и нужно было упасть очень ловко, чтобы не опрокинуть шлюпки. Наконец я решился: я начал с того, что стал на якорную цепь, которая была протянута снаружи вдоль корабля, и собирался уже сделать скачок, когда толстая, тяжелая и мягкая масса обрушилась на меня. Женщина уцепилась мне за шею и недвижно повисла на мне. Признаюсь, первым моим побуждением было насильно перебросить ее руки через мою голову и таким образом отделаться от этой массы; к счастью, я не последовал этому побуждению. Толчок чуть не сбросил нас обоих в море, но, к счастью, тут же, перед моим носом, болтался, вися неизвестно откуда, конец веревки, за который я уцепился одною рукою, с озлоблением, ссаживая себе кожу до крови... потом, взглянув вниз, я увидел, что я и моя ноша находимся как раз над шлюпкою и... тогда с богом! Я скольз-

нул вниз... лодка затрещала во всех швах... «Ура!» — крикнули матросы. Я уложил свою ношу, находившуюся в обмороке, на дно лодки и тотчас обернулся лицом к кораблю, где увидел множество голов, особенно женских, лихорадочно теснившихся вдоль борта.

«Прыгайте!» — крикнул я, протягивая руки. В эту минуту успех моей смелой попытки, уверенность, что я в безопасности от огня, придавали мне несказанную силу и отвагу, и я поймал единственных трех женщин, решившихся прыгнуть в мою шлюпку, так же легко, как ловят яблоки во время сбора. Нужно заметить, что каждая из этих дам непременно резко вскрикивала в ту минуту, когда бросалась с корабля, и, очутившись внизу, падала в обморок. Один господин, вероятно, одуревший с перепугу, едва не убил одну из этих несчастных, бросив тяжелую шкатулку, которая разбилась, падая в нашу лодку, и оказалась довольно дорогим несессером. Не спрашивая себя, имею ли я право распоряжаться ею, я тотчас подарил ее двум матросам, которые точно так же без всякого стеснения приняли подарок. Мы тотчас стали грести изо всех сил к берегу, сопровождаемые криками: «Возвращайтесь скорее! пришлите нам назад шлюпку!» Поэтому, когда оказалось не больше аршина глубины, пришлось вылезать. Мелкий, холодный дождик уже с час как моросил, не оказывая никакого влияния на пожар, но нас он промочил окончательно до костей.

Наконец мы добрались до этого желанного берега, который оказался не чем иным, как обширной лужей жидкой и липкой грязи, где ноги вязли по колено.

Наша лодка быстро удалилась и так же, как и большая шлюпка, принялась сновать между кораблем и берегом. Пассажиров погибло мало, всего восемь: один упал в угольный трюм; другой утонул, потому что захватил с собою все свои деньги. Этот последний, имя которого я едва знал, играл со мною в шахматы в продолжение большей части дня и делал это с таким ожесточением, что князь W..., следивший за нашею партией, кончил тем, что воскликнул: «Можно подумать, что вы играете, будто у вас дело идет о жизни и смерти!»

Что касается до багажа, то он почти весь погиб, так же как и экипажи.

В числе дам, спасшихся от крушения, была одна г-жа Т..., очень хорошенькая и милая, но связанная своими четырьмя дочками и их нянюшками; поэтому она и оставалась покинутой на берегу, босая, с едва прикрытыми плечами. Я почел нужным разыграть любезного кавалера, что стоило мне моего сюртука, который я до тех пор сохранил, галстука и даже сапог; кроме того, крестьянин с тележкой, запряженной парой лошадей, за которым я сбегал на верх утесов и которого послал вперед, не нашел нужным дождаться меня и уехал в Любек со всеми моими спутницами, так что я остался один, полураз-

детый, промокший до костей, в виду моря, где наш пароход медленно догорал. Я именно говорю «догорал», потому что я никогда бы не поверил, что такая «махинища» может быть так скоро уничтожена. Это было теперь не более, как широкое пылающее пятно, недвижимое на море, изборожденное черными контурами труб и мачт и вокруг которого тяжелым и равнодушным полетом сновали чайки,— потом большой сноп золы, испещренный мелкими искрами и рассыпа́вшийся широкими кривыми линиями уже по менее беспокойным волнам. И только? подумал я: и вся наша жизнь разве только щепотка золы, которая разносится по ветру?

К счастью для философа, у которого начинал уже зуб на зуб не попадать, другой фурщик забрал меня. Он взял за это два дуката, но зато укутал меня в свой толстый плащ и спел мне две или три мекленбургские песни, которые мне довольно понравились. Таким образом, я добрался до Любека на заре; тут я встретил своих товарищей по крушению, и мы отправились в Гамбург. Там мы нашли двадцать тысяч рублей серебром, которые император Николай, как раз находившийся тогда проездом в Берлине, прислал нам со своим адъютантом. Все мужчины собрались и общим голосом решили предложить эти деньги дамам. Нам было тем легче сделать это, что в те времена всякий русский, приезжавший в Германию, пользовался неограниченным кредитом. Теперь уже не то.

Матрос, которому я за свое спасение наобещал непомерную сумму от имени матушки, явился требовать от меня исполнения моего обещания. Но так как я не был вполне уверен, он ли это действительно, да и сверх того, так как он ровно ничего не сделал, чтобы меня спасти, то я предложил ему талер, который он и принял с благодарностью.

Что касается до бедной старушки кухарки, которая так заботилась о спасении моей души, то я ее никогда больше не видал — но уж про нее-то наверно можно сказать, что сгорела ли она, или утонула, а место ее уже было уготовано в раю.

Буживаль. 17 июня 1883 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

КОНЕЦ

1

Всем известно,— все по крайней мере утверждают, что порода мелких тиранов перевелась или почти переводится у нас на Руси. Мне однако ж случалось встречаться с подобными личностями; впечатление настолько еще живо, что могу без особенного усилия передать читателю один из таких образцов.

Это было в июле месяце, в самый зной, в жгучую пору года, прозванную народом «*страдой*». Желая предохранить себя и лошадь от томящей истомы, я укрылся под широким дощатым навесом постоялого двора, одиноко стоявшего на окраине большой проезжей дороги. Хозяин, бывший дворовый из крепостных,— был мне знаком. В молодости он имел тощий вид и казался всегда каким-то расслабленным; теперь же он представлялся брюхастым и плотным, с припухлыми толстыми кистями рук, шеей как у быка и всклокоченными волосами, в которых заметно пробивалась седина. Он постоянно ходил в узком тугозастегнутом кафтане, перетянутом под ребрами узеньким пояском; чулков он никогда не носил; галстух также отсутствовал. Когда он сымал кафтан, рубашка его, низко подвязанная тесьмою, широко оттопыривалась, открывая на нижней части его тела черные плисовые шаровары. Благодаря уму, сметке и вообще деловитости, он приобрел состоянице, не возбуждая против себя ни подозренья, ни зависти,— без чего, как известно, у нас редко обходится.

Я потребовал самовар и чаю,— зная по опыту, что благодетельный этот напиток настолько же способен прохлаждать во время жары, насколько он обогревает в зимний холод.

Отвечая на приглашенье мое выпить со мною чашечку чая, Алексеич (так звали хозяина) любезно подсел ко мне.

Речь пошла о хорошем урожае, который предвиделся, о благополучном окончании покоса, о скотском падеже и проч.

Неожиданно Алексеич ухватился за козырек фуражки, как бы намереваясь его вытянуть, и воскликнул:

— А, вона и коршун показался!.. только заговорили о падеже,— он тут как тут!..

Обратив глаза по направлению указательного пальца Алексеича,— я увидел приближавшийся в нашу сторону экипаж довольно странного вида.

Это было что-то вроде длинного открытого кузова с широким передком и кожаным, болтавшимся на задней части мешком, прикрытым кожаным фартуком. Кожаные мешки различной величины и вида, охотничья сумка, длинноствольное ружье, напоминавшее турецкую винтовку, толстая желтая фляга из сушеной тыквы, груда всякого рода тряпья и одежды, широкополая войлочная поповская шляпа, три утки, из коих две дикие и убитые, одна домашнего происхожденья, но еще живая и оглашавшая воздух тоскливыми криками, подле нее две курицы с взъерошенными перьями и как бы покорившиеся своей горькой участи,— все это громоздилось или свешивалось, уныло болтаясь при толчках странного экипажа; над всем этим хламом высовывал мордочку маленький черный кролик, присевший на задних лапках и робко щипавший пучки овощей, которые в беспорядке высовывались из-под мешков.

Человек, сидевший на облучке с подобранными под себя ногами, по-турецки,— показался мне странным не менее экипажа. То был малый лет тридцати, довольно красивой наружности, одетый, несмотря на жару,— в новенький тулупчик, туго подтянутый черкесским кушаком; на голове его красовалась черкесская шапка с длинной лохматой шерстью, падавшей бахромою вокруг всей головы. Глаза у него были большие, светлые, отличавшиеся жестким взглядом; щеки его с выдающимися румяными скулами, были усыпаны мелкими складками, придававшими его лицу ухмыляющийся, дерзкий вид, который как бы еще усиливался благодаря подвижной приподнятой морщинке на орлином носу, хорошо, впрочем, отформованном. Длинные крученые усы спускались по сторонам подбородка, тщательно бритого с тою, вероятно, целью, что владелец не хотел, чтобы его принимали за крестьянина, купца и еще менее за дьячка или пономаря.

Увидя нас, он грубо осадил маленькую свою лошадку и прокричал, словно из трубы:

— Вишь, батеньки на вольном воздухе прохлаждаются!.. Брюхо-то твое, Карп Алексеич, точно надо проветрить!.. Пора!..

— Что это за человек? — тихо спросил я у хозяина.

— А такой, что не советовал бы встречаться под вечер...— возразил он,— особливо, если у кого лишняя лошадь... Малый не промах, живо сыщет ей место... Больно уж до лошадок охотник...— добавил он с горькой усмешкой.

— Здорово, Платон Сергеич,— громко подхватил хозяин, прикасаясь к козырьку кончиком пальцев,— откуда, не из города ли?

— Вот нашел! Что там делать-то?.. Глазеть на разжиревших, как ты? или на приказных, которые пучат глаза в ладонь, высматривают: нет ли там поживы...

— Давно уж в этой ладони-то сухо...— возразил хозяин,—

скажите лучше, Платон Сергеич,— что это вы с собой таскаете,— точно, право, зверинец какой...

— Это, любезный,— сказал Платон,— это свидетельство, что я в купцы записался... торговлей хочу заняться... И почему бы нет? Что я дворянин-то? Что дед у меня носил золоченую парчевую шапку, дареную ему Тамерланом! — Это мне наплевать!.. А впрочем это до тебя не касается; купи-ка у меня вот пару уток: только что убил; лучшего сорта!..

Во время этого разговора Карп приблизился маленькими шажками к экипажу, приподнял ствол ружья, как бы забавляясь им, но в сущности желая убедиться в том, было ли оно заряжено — после чего он снова возвратился на прежнее место.

Талагаев (надо же, чтобы читатель узнал наконец имя героя этого рассказа),— следивший украдкой за движениями хозяина, проговорил тогда с видимым раздраженьем:

— Купи у меня тогда живую утку.

— Не пахнет ли тут, примерно, другим порохом...— недоверчиво пробормотал Карп.

— С вашим братом никаких, видно, дел не поделаешь!..— презрительным тоном сказал Талагаев,— вот теперь хоть бы этот кролик; ведь не возьмешь, вперед знаю, даром, что из его пуха славные можно связать чулки...

Он с явным неудовольствием бросил на дно кузова бедного кролика, которого перед тем держал за уши, потрясая им над своей головою.

— У меня тут еще чудная тигровая шкура, но и показывать ее тебе не стоит! Не дорос еще, братец, до такого товара!.. Не хотите ли вы взглянуть...— обратился он неожиданно ко мне.

Видя, что с моей стороны никакого желания не последовало, он обратился к хозяину с явным уже возбуждением:

— Ты думаешь, двухкопеечная твоя душа, что ружье не заряжено,— так вот смотри!..

При этом быстрым движеньем вытащил он из подводы ружье и тут же выстрелил, положив его между ушами лошади, которая не дрогнула по привычке, вероятно, к таким неожиданностям.

В самую эту минуту, внутри постоялого двора раздался крик и в раскрытом окне показалась толстая женщина с ребенком в руках.

— Что это вы еще вздумали?! вишь как сноху мою напугали! — вскричал хозяин, бледнея от сдержанного негодования,— в доме другая сноха лежит больная в родах... Что это вы в самом деле!.. убирайтесь вон отсюда.. вон убирайтесь... не то...

— О! о! о!! — возвышая голос заговорил, в свою очередь, Платон,— стращать меня вздумал! Здесь дорога проезжая, царская... Ну, а что будет «*коли не то...*» Думаешь, у меня только и есть что это ружье...

Платон бросился к подводе, пригнулся и вытащил из кузова длинный черкесский кинжал.

— Коли на то пошло... Постой же и я тебе удружу...— спокойно промолвил хозяин.

Тут он громко захлопал в ладоши и прокричал: Левка! Петр! Михешка!!.

Почти в то же мгновенье три дюжие парня, вооруженные вилами, выбежали из разных концов двора.

— А вот, не хотите ли потягаться с моими ребятами...— сказал хозяин.

Выражение злобы искривило черты Платона. Он ринулся к подводе, вскочил на облучок и, грозно потрясая кулаком, пустился вскачь.

— Вы нажили себе опасного врага,— сказал я хозяину.

— Не его ли? — возразил Карп, презрительно пожимая плечами,— полноте, барин! Не пройдет недели, опять приедет продавать уток или жеребенка какого-нибудь... А что надо быть осторожным, это точно... Но только не с той стороны, как вы полагаете, надо ждать от него напасти...

В эту минуту невдалеке из лесу послышался голос Талагаева. Он напевал простонародную известную песнь о похождениях Стеньки-Разина; голос его не был ни приятен, ни верен.

Один из парней пробормотал: «Хочет разбойником быть, а сам и песни-то разбойничей петь не умеет...»

Спустя несколько минут этот самый парень затянул ту же песню, но с такой силой, с таким выражением, что будь я на месте его хозяина,— я бы невольно призадумался.

II

Талагаев происходил от старинной тульской фамилии, когда-то весьма богатой, но окончательно обедневшей благодаря целому поколению самодуров. Не восходя далеко, можно было назвать отца Талагаева, еще щеголявшего сбруей с серебряным набором на лихих тройках, похвалявшегося своей охотой, удивлявшего целый уезд своими сумасбродными выходками. Случилось ему даже дать вольную и сто рублей в придачу кучеру, который, подвязав глаза лошади, бросился с нею в реку, уже охваченную первым льдом, проломал его, исчез на мгновенье под водою и хотя вынырнул с окровавленным лицом, но впрочем остался цел и невредим и тут же хватил стакан водки за здравие своего властелина и освободителя. Талагаев-сын не имел уже средств тешить себя такими штуками, но тем не менее лез из кожи, стараясь показать себя достойным своих предков. Благодаря этому, прослыл он вскоре по всему округу за человека бесшаб-

ного, готового на всякую гадость; каждый избегал иметь с ним какое-нибудь дело.

Не многие догадывались, что стоило хорошенько встряхнуть шкуру этого волка, чтобы из-под нее показался хвост зайца. Не зная его близко, я разделял общее мненье, пока случай не показал мне его в настоящем его виде.

В числе моих деревенских соседей находился один мелкопоместный,— старичок лет шестидесяти, весь седенькой, весь кругленькой, но хороший ходок и охотник, любитель сладко поесть, неутомимо подвижной и отличавшийся постоянно хорошим расположением духа. Он часто ко мне наезжал, нас связывала общая слабость,— карты,— и не то собственно чтобы шла у нас игра с треском, как говорится,— а так, по маленькой, в вистик, с обычными негодующими восклицаниями, когда не везло, и вечными клятвами не брать больше карт в руки, и т. д.— и всё это с тем, разумеется, чтобы на другой же день приниматься за ту же работу.

Раз вечером является ко мне мой добряк с выражением, близким к отчаянью; на нем лица не было: щеки раздуты,— видно было, он много плакал.

Ухватив его тотчас же под руку, я скорее увлек его в соседнюю комнату.

— Павел Мартыныч, что с вами? — воскликнул я,— что случилось?..

— Я пропал!.. Вы видите во мне совсем погибшего человека!!.— пробормотал он растерянно,— и слезы, которые так не шли к его вечно ухмылявшемуся лицу, снова забрызгали из его глаз.

— Но что же, наконец? Что? Не произошло ли с вами какого-нибудь несчастья?..

— Со мною нет... нет! Но ужасное несчастье! Ужасное!!.

И вот что узнал я из его рассказа, прерываемого рыданиями:

Его дочь,— миловидная пятнадцатилетняя блондинка, которую боготворил старик, на которой сосредоточивалась вся его жизнь,— исчезла с утра из его дома.

— Она не иначе должна быть как у этого Платошки Талагаева, у этого негодяя,— у этого разбойника Платошки!!.— восклицал старик,— вчера видели, как он бродил подле моего дома... вчера видели даже — он с нею в саду разговаривал... А она-то, дорогой друг,— она! никогда не выходившая одна без старой няни!.. Всего ведь пятнадцать лет!.. Пропала как какой-нибудь ягненок!.. Представьте: всего ведь пятнадцать лет!.. Это, понимаете, не может так остаться... Нет!.. И я... я пришел просить вашей помощи!..

— Но чем же могу я помочь вам, дорогой Павел Мартыныч?..

Старик энергически скрестил руки на груди.

— Поедемте вместе к этому разбойнику! — вскрикнул он,—

вырвем у него добычу... Я, коли на то пошло,— на дуэль его вызову... Я убью его!..

— Но почему же вы так твердо уверены, что она у него, Павел Мартыныч?

Он нетерпеливо прервал меня:

— Говорю вам: она у него! это не подлежит сомнению!!. Кто же кроме него мог посягнуть на такое дело? Ведь не Егор же Антонович или Захар Плутархович?.. Конечно нет!.. Ее надо искать там... Там только она и может быть...

Видя, что его не убедишь, я велел заложить карету и спустя несколько минут мы уже катили по дороге к дому Талагаева, находившемуся от меня всего в нескольких верстах.

Во всё время пути, сосед мой находился в самом плачевном состоянии,— и говоря по совести, трудно было догадаться, происходило ли это от боязни встретиться с врагом, или из желания скорее напасть на след дочери.

— Она ведь ягненочек,— повторял он беспрерывно,— бедный, беззащитный голубь... Всего ведь пятнадцать лет, подумайте!..

Дом Талагаева,— маленький, приплюснутый, полусгнивший, похож был скорее на плохую крестьянскую избу, чем на жилище помещика. Войдя в него, мы были встречены маленьким засаленным казачком с вытаращенными от удивления глазами и тут же очутились лицом к лицу с хозяином. Кутаясь в персидский прорванный халат (на голове его была мурмолка из той же материи), покуривая из длинного черешневого чубуку,— он делал очевидные усилия, желая сохранить всё свое достоинство. При виде моего соседа, в чертах его промелькнуло однако ж нечто похожее на дрожь; но не успел он еще открыть рта, как Павел Мартынович ринулся к нему со всех ног и, простирая руки, закричал неистовым голосом:

— Настенька! Где Настенька?!.

Талагаев выпрямился и выпустил длинную струю дыма.

— Какую Настеньку вам здесь надо? — произнес он, возвышая голос.

— Мою дочь! Дочь!!.— простонал старик, задыхаясь,— она с утра у тебя... Отдай мне ее сейчас! По какому праву ты увез ее... Отдай, говорю! Не боюсь я твоих пистолетов, сабель и усов... Я у тебя здесь бревна на бревне не оставлю, всё разнесу!.. А что до тебя!..

— Ве-ли-ко-лепно!..— прервал Талагаев,— шальной старикашка, вообразив, что я увез его дочь, врывается ко мне в дом и подымает скандал,— ко мне! столбовому дворянину!!. к такому человеку, перед которым никто еще не смел возвышать голоса... А вам, милостивый государь,— вам здесь что угодно? — добавил он, обратясь вдруг ко мне.— а позвольте вас спросить: по какому праву врываетесь вы в мой дом?

— Это я! я пригласил с собою нашего почтенного соседа! — вскричал Павел Мартынович,— что ж касается дочери,— я не выйду отсюда, пока... Настя! Настенька!!...— подхватил он, принимаясь кричать и бегать как угорелый по комнате,— Настя, дорогая моя! Где ты?! Где!..

— Я здесь, папенька! — послышался за раскрытыми окнами, и совершенно неожиданно, тоненький знакомый голосок.

Сцена была достойна театра. Старик бросился сломя голову из комнаты на двор, откуда, казалось, раздался голосок.

Я за ним последовал.

— Настя! — снова воскликнул отец,— и на этот раз он уже задыхался от радости.— Голубка, где ты?.. Где?!.

— Я здесь, папенька, меня заперли!..— ответил голосок.

Старик одним прыжком очутился подле дверец маленького сада, вышиб их ловким ударом, и мы увидели Настю, сидевшую на старом ободранном кожаном диване. Лицо ее казалось более пристыженным, чем испуганным.

Отец тотчас же бросился обнимать ее и, покрывая ее поцелуями, только приговаривал:

— О, гадкая девчонка!.. О, злая девчонка!!. И как же тебе не совестно?.. Как не стыдно поступать так со мною? — И для кого же? для кого?!.

— Простите, папенька... Простите меня... но я скажу вам:— Тут она отступила шаг и подхватила, пристально глядя отцу в глаза: — вы за меня не бойтесь... я берегу свою честь... о никогда!.. никогда!!...

— После,— после! После поговорим... Теперь ехать! скорее только ехать отсюда...— суетливо заговорил Павел Мартынович, увлекая дочь к карете.

— А вот посмотрим, как еще вас пустят уехать!! — крикнул было Талагаев, но тут же остановился, очевидно озадаченный решительным взглядом и вызывающим выражением на лице старика.

Мы воспользовались этой минутой,— подхватили девушку, живо внесли ее в карету и сами туда бросились, приказав кучеру погонять лошадей.

В первом порыве бешенства Талагаев гикнул и припустил за нами своих четырех борзых.

— Ничего, барин,— сказал кучер, поворотив к нам на всем скаку ухмылявшееся лицо,— борзые добрые псы, лошадей и людей не тронут!..

И действительно: проводив нас шагов двести, все четыре собаки, как бы сговорившись, вдруг остановились, махая пушистыми своими хвостами в знак полного удовольствия.

Долго еще раздавались за нами проклятия и угрозы Талагаева, но мы мало уже обращали на них внимания; у нас была забота другого рода.

Настя не переставала целовать отца — даже мне, в избытке чувств, уделяла время от времени свои ласки. Она заливалась теперь слезами, хотя казалась совершенно счастливой. Отец также плакал и смеялся в то же время.

— Ну что я говорил вам! — вскрикивал он поминутно,— пятнадцать лет всего, сударь мой,— всего пятнадцать! Детенок еще, которому только что в куклы играть... Скажи, однако ж, на милость,— подхватил он, обращаясь вдруг к дочери,— как могла ты так увлечься, как могла поверить словам этого скота...

— Не спрашивайте, папенька,— отвечала Настя, закрывая лицо ладонями,— не спрашивайте...

— Но однако ж?.. Однако ж?..— настаивал отец.

— Он из себя такой красивый...— проговорила она сквозь пальцы.

— Он красивый! Он!!..— воскликнул старик.— Боже праведный!.. Уж если могли прельстить тебя его усы,— так у нашего кота Васьки они еще длиннее...

— Он обещал повезти меня в Москву, хотел показать мне Кремль...— промолвила она сквозь слезы.

— И еще обещал, верно, купить нарядов, не так ли?

— Да, также... Но мне это всё равно... Мне, главное, мне, папенька... хотелось свободы...

— У тебя разве нет ее, неблагодарная!.. Постой же, постой, и я повезу тебя в Москву... покажу также Кремль... и... и мало ли еще что...

Тут отец и дочь принялись целоваться еще усерднее; я в это время поглядывал на спину кучера, который одобрительно потряхивал головою. Он также, казалось, был очень доволен.

Впоследствии уже дознались, что девочка тихонько ушла через сад, взяв с собою только узелок с платьем и переменную пару башмаков.

III

Верстах в пятнадцати от меня находится большое, богатое село, состоящее почти из однодворцев. Два раза в году здесь происходят довольно людные ярмарки. В сущности ярмарки эти ничего больше, как простые крестьянские рынки, снабжающие покупателей обиходным хозяйственным товаром, начиная с лошадей и коров и кончая предметами домашнего скарба и другими принадлежностями, составляющими принадлежность русского крестьянского хозяйства, более многосложного, чем вообще думают. Ярмарки эти очень

оживлены и шумны — что и объясняется, впрочем, множеством кабаков и съестных лавчонок, рассыпанных здесь повсюду.

Я отправился в Грохово (так звали село), — с целью купить пару добрых, но недорогих лошадей. Я приехал в самый полдень и нисколько не удивился, когда меня со всех сторон обступили возня, крики и грохотанье. По мере того, однако ж, как я приближался к первым рядам телег, шум в одном месте до такой степени усилился, что я невольно подумал: «Уж верно там чудит какой-нибудь забияка», так как наши ярмарки редко обходятся без таких молодцов. И точно, шагах в пятидесяти от меня, посреди пьяной и возбужденной толпы, увидел я свирепо размахивающего руками рослого малого в черкесском платье и тотчас же узнал в нем Талагаева.

Месяца три-четыре я с ним не встречался; наружность его в это время не улучшилась, а показалась мне, напротив, более помятой и истасканной; несмотря на то, что он был более чем когда-нибудь оборван, он сохранял прежний обычно-дерзкий, вызывающий вид. Насколько я мог разобрать, среди обступавшего меня шума, Талагаев обвинялся в обмане мужика, которому продал лошадь, ложно выхвалив ее качества. Возмущаясь по-видимому особенно тем, что его смели всенародно позорить, и защищаясь тем задорнее, что сам чувствовал себя виноватым, Талагаев надменно озирался вокруг и кричал во всю глотку, думая этим озадачить наступавшую толпу. Но сколько он ни хорохорился, сколько ни воздевал рук к небу, ни грозил кулаками, ни бил себя в грудь, — всё это не производило надлежащего действия. Воспаленные лица пригибались к его лицу, бешеные возгласы смешивались с бранью. Маленький чернявый мужичонок с взъерошенной бородкой более других отличался.

— К мировому! К мировому, ребята!.. Довольно мы от них видов-то видали... Было да прошло!.. Вали к мировому!!.

— Осмельтесь только, мужичье! — крикнул вдруг Талагаев, принимая позу, напомнившую мне невольно Дон-Жуана, осаждаемого поселянами в конце первого действия этой оперы.

— Тебя что ли испугались!..— возразил чернявый мужичонок, — хорошо было хорохориться в другое время, теперь не берет! — К мировому его!!.

— Меня?! Меня к мировому! Никогда этому не бывать! — заревел Талагаев, лицо которого перешло из желтого цвета в багровый. Он яростно заморгал глазами, выхватил из ножен кинжал и замахал им над головою. Но кинжал был тут же вырван из рук каким-то белокурым геркулесом, стоявшим до сих пор весьма спокойно.

Талагаев бросился было на него, но в тот же миг был обхвачен десятком крепких, здоровых рук. От его черкесского кафтана полетели во все стороны лохмотья, шляпа его повалилась на землю, щегольской пояс разлетелся в клочки. Всё, что осталось от Талагае-

ва и его красивых усов, было до того жалко, что я невольно отвернулся от этого зрелища, от этой крестьянской расправы, схожей с американским самосудом, но не имевшей подобно ему, основы справедливости, присутствующей более или менее в сердце американца.

Эта удушливая атмосфера пыли, эти крики, этот повсюду распространенный запах водки, эта свалка, сопровождаемая кулачной расправой,— всё это возбуждало такое чувство отвращения, что я тут же дал себе слово не подвергать себя больше подобным зрелищам и никогда больше не встречаться с Талагаевым.

Последнему желанию не суждено было осуществиться. Как видно, мне самой судьбою предназначено было еще раз увидеть этого молодца.

IV

Произошло это в холодный, унылый вечер ноября месяца.

Выехав из дому почти против воли (я был приглашен на обед к одному из ближайших соседей), я возвращался обратно восвояси на санях в одиночку, с привязанным к дуге колокольчиком и сопровождаемый молодым кучером, взятым на случай подержать вожжи, когда встретится надобность. Снег падал медленно, тяжелыми пушистыми хлопьями; превращая дорогу в сугробы, он наклонял своею тяжестью ветви дерев. По временам порыв ветра низменно пролетал по полям. Тяжелым, мрачным покровом смотрело небо, и тучи поминутно заслоняли молодой серп месяца, который как бы перескакивал из одной тучки в другую, точно стараясь убежать от какого-то невидимого врага. При свете его, беспокойном и нерешительном, через дорогу, казалось, поминутно проскакивали то белые маленькие зайчики, то быстро пробегали длинные волнистые тени; видимые обычные предметы принимали фантастические образы, вытягивались, вырастали и вдруг исчезали.

Это была какая-то борьба между светом и тенью.

Мой молоденький кучер неожиданно затянул песню. Сначала он пел как будто про себя, но затем голос его, поощряемый должно быть моим молчанием, постепенно возвысился и под конец перешел в светлый, звенящий тон с тоскливым оттенком; голос этот,— почти детский, согласовался как нельзя лучше с дребезжанием колокольчика под дугою и печальной тишиной этой ночи. Я не разбирал произносимых им слов, но по всей вероятности дело здесь шло,— как вообще в большинстве песен,— о любви и молодых девушках.

— Сколько тебе лет? — спросил я.

— Восьмнадцатый пошел,— отвечал он, несколько удивленный моим неожиданным вопросом.

— Что ж, не задумываешь ли жениться?

— Отчего же не жениться!.. Женюсь, коли встренется подходящая... чтобы, примерно, из себя была красивая...

— Как Настенька, например...

— Что в ней! Одно разве что барышня!.. У нас на деревне не хуже ее найдутся!.. Отцу все единственно, теснить в этом не станет; что ему? день-деньской в кабаке сидит! Старуха моя добрая, моей воле не перечит... Только свистну... Ай, барин, что с ней?!..— крикнул он, схватывая вожжи и силясь удержать лошадь, которая откинулась вдруг в сторону.

Месяц скрылся за тучей; темнота была непроглядная; лошадь продолжала топтаться в снегу, пятилась, фыркала и упрямо мотала головой... Что-то темное, чего я не мог ясно различить, лежало поперек дороги...

— Посмотри, что там такое?..— сказал я кучеру,— я пока подержу вожжи...

Кучеренок выскочил из саней.

Не легко было однако ж держать лошадь; она взрагивала всеми своими членами и шерсть ее становилась торчмя.

— Барин! — проговорил неожиданно кучер изменившимся голосом,— барин, поедемте скорей отсюда...

— Что такое?

— Здесь неладно...

— Но отчего? — сказал я, выпрыгивая в свою очередь из саней.

— Неладно здесь, барин, говорю вам...

Произнеся эти слова, он перекрестился и отступил несколько шагов.

— Так им и надо... этим конокрадам...— пробормотал он,— и выражение злобы мелькнуло на его молодом, безбородом и кротком лице.

Подойдя ближе к предмету, напугавшему человека и лошадь, я нагнулся... и узнал Талагаева. Лоб его был рассечен ударом топора; показавшийся из-за туч месяц блеснул в кровавой луже, окружавшей голову убитого; шея его была перетянута толстой веревкой, концы которой разбрасывались в стороны.

Весь этот изуродованный, растерзанный, покрытый лохмотьями образ выделялся с невыразимой силой на холодной, девственной белизне снега.

Я вспомнил, что однажды, после какого-то безобразного кулачного побоища, в котором он был главным участником, я заметил в его присутствии: «Прискорбно думать, что Талагаев может когда-нибудь кончить свою жизнь в такой свалке!» — на что Талагаев тотчас же возразил с свойственной ему высокомерной наглостью: — «Ой ли? Нет, сударь мой, Талагаевы так не умирают!!..»

«Вот каков их конец!» — подумал я в эту ночь перед его изувеченным, растерзанным трупом.

ПРИМЕЧАНІЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Архивохранилища

ГИАЛО — Государственный исторический архив Ленинградской области.

ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва).

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив (Москва).

Печатные источники

Барсуков, Погодин — Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888—1910. Т. 1—12.

Короленко — Короленко В. Г. Собр. соч. в 10 т. М.: Гослитиздат, 1953—1956.

ПСП — Первое собрание писем И. С. Тургенева 1840—1883 гг. Изд. Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884 (на обложке: 1885).

Пэгаз, 1874 — Пэгаз Ив. С. Тургенева. Казань: Издание П. П. Васильева, 1874.

Сб ГПБ, 1955 — Сборник Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1955. Вып. 3.

Салтыков-Щедрин — Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20 т. М.: Художественная литература, 1965—1974.

Cahiers — Chaiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot, Maria Malibran. N 1—5. Paris, 1977—1982.

11 том Полного собрания сочинений И. С. Тургенева состоит из следующих разделов: «Литературные и житейские воспоминания», «Биографические очерки и некрологи», «Автобиографические материалы», «Незавершенные замыслы и наброски», «Приложения».

При подготовке к печати Полного собрания сочинений 1883 г. том I из-за болезни не был просмотрен Тургеневым — его редактирование было осуществлено М. М. Стасюлевичем [1]. В связи с этим «Литературные и житейские воспоминания», а также три некролога («Николай Иванович Тургенев», «Письмо к редактору по поводу смерти гр. А. К. Толстого» и «Из письма в редакцию „Вестника Европы" по поводу смерти С. К. Брюлловой») печатаются по изданию 1880 г. (т. I) с исправлением опечаток и искажений по всем предыдущим изданиям, а также по беловым и черновым автографам, хранящимся в *ГИМ*, *ЦГАОР* и *Bibl Nat*.

По автографам, хранящимся в *Bibl Nat*, печатаются незавершенные замыслы и наброски.

Все остальные произведения, входящие в том 11, печатаются по тексту первых публикаций, так как в издание 1880 г. они включены не были.

Тексты произведений, входящих в настоящий том, подготовили и комментарии к ним составили: *А. И. Батюто* («По поводу „Отцов и детей"»), *И. А. Битюгова* («Литературный вечер у П. А. Плетнева», «Несколько слов о Жорж Санд», «Иван Сергеевич Тургенев», «Автобиография», ⟨«Новая повесть»⟩, ⟨«Старые голубки»⟩, «Natalia Karpovna», ⟨«Семейство Аксаковых и славянофилы»⟩), *Н. Ф. Буданова* («Письмо к редактору по поводу смерти гр. А. К. Толстого», «Из письма в редакцию „Вестника Европы" по поводу смерти С. К. Брюлловой»), *Т. П. Голованова* («Николай Иванович Тургенев», ⟨«Воспоминания о Шевченке»⟩, «Силаев», ⟨«Несколько мыслей о современном значении русского дворянства»⟩, «Une fin»), *Л. М. Долотова* («Un incendie en mer»), *Е. И. Кийко* («Вместо вступления», «Вос-

[1] См.: *Т*, *ПСС*, *1883*, т. I, с. V—VI, VIII; Клеман М. К. «Рудин». К истории создания.— В кн.: Тургенев И. С. Рудин. Дворянское гнездо. М.: Academia, 1933, с. 459—464; *Т*, *СС*, т. 10, с. 619—620, в комментариях Б. М. Эйхенбаума.

поминания о Белинском», «Встреча моя с Белинским»), *Д. М. Климова* («Мемориал», ⟨«Дневник...»⟩), *Т. А. Ланьцкая* («Человек в серых очках»; «Наши послали!» — комментарий; «Пэгаз»), *Н. Н. Мостовская* ⟨⟨«Об „Искушении св. Антония" Г. Флобера»⟩⟩, *А. Б. Муратов* («Проспер Мериме»), *Л. Н. Назарова* («Гоголь», «О соловьях», «Учителя и гувернеры»), *Н. С. Никитина* («Поездка в Альбано и Фраскати»), *Г. Ф. Перминов*, *Н. Н. Мостовская* («Казнь Тропмана»), *Е. М. Хмелевская* («Наши послали!» — текст), *Н. М. Чернов* («Мемориал» — дополнения и уточнения к комментарию).

Редактор тома — *Л. Н. Назарова*; ею же написаны вступление к комментариям и вступительная статья к «Литературным и житейским воспоминаниям».

В подготовке тома к печати принимали участие *Е. М. Лобковская*, *Е. В. Свиясов* и *Т. Б. Трофимова*.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ЖИТЕЙСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Первое упоминание о «Литературных воспоминаниях» содержится в письме Тургенева к П. Виардо от 30 марта (11 апреля) 1867 г., из которого видно, что новому изданию своих сочинений писатель обещал предпослать «огромное предисловие в сотню страниц». В нем Тургенев собирался рассказать свои «...литературные и общественные воспоминания за двадцать пять лет».

На замысел «Литературных воспоминаний», впервые включенных в состав сочинений И. С. Тургенева в 1869 году (ч. 1), значительное воздействие оказали те бурные споры, которые велись в газетах и журналах, а также в частной переписке после появления в «Русском вестнике» (1867, № 3) романа «Дым» [1]. Тургенев полагал, что рецензенты не обратили должного внимания на положительную программу романа, высказанную в речах Потугина. Критикам «Дыма» писатель собирался ответить в предисловии к отдельному изданию романа, вышедшему в том же году. В этом предисловии, по первоначальному замыслу Тургенева, должна была быть изложена его общественно-политическая программа [2]. Отказ писателя от этого намерения, осуществление которого он перенес затем в «Литературные воспоминания», определил ярко выраженную публицистическую их направленность. В издании 1869 г. «Литературные воспоминания» открывались очерком «Вместо вступления», в котором обосновывалось и утверждалось «западничество» Тургенева. В «Воспоминаниях о Белинском», где Тургенев стремился установить прямую связь, преемственность позднего дворянского либерализма с «западничеством» 1840-х годов, он счел возможным почти повторить некоторые положения Белинского (в своем понимании), ранее выраженные в речах Потугина (см.: наст. изд., т. 7, с. 531—544). В очерке «Семейство Аксаковых и славянофилы» писатель, возможно, предполагал дать ответ тем, кто был недоволен выпадами против славянофильства в романе «Дым». В последнем из очерков — «По поводу „Отцов и детей“»,— воспроизводящем историю создания этого романа, он также обращался к одной из тем полемики 1867 года, так как при обсуждении «Дыма» критика постоянно возвращалась к «Отцам и детям»[3].

---

[1] Об этой полемике см. в комментарии Е. И. Кийко.— Наст. изд., т. 7, с. 531—544.

[2] См. комментарии М. К. Клемана к «Литературным и житейским воспоминаниям».— *Т*, *Сочинения*, т. 11, с. 653.

[3] См., в частности, письма: Д. И. Писарева к Тургеневу от 18(30) мая 1867 г. (*Писарев*, т. 4, с. 424—425), А. А. Фета к Л. Н. Толстому от 15 июня 1867 г. (Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. М., 1978. Т. 1, с. 384).

Обращаясь к истории создания и публикации «Литературных и житейских воспоминаний», следует прежде всего отметить, что первоначально были задуманы и напечатаны в части 1 «Сочинений И. С. Тургенева», вышедшей в ноябре 1869 г., лишь одни «Литературные воспоминания».

В 1867 году Тургенев приступил к написанию воспоминаний. 22 декабря 1867 г. (3 января 1868 г.) он писал П. В. Анненкову, что, «хоть с урывками», работает «над предисловием к будущему изданию».

Первоначальный план «Литературных воспоминаний» набросан Тургеневым на л. 1 чернового автографа очерка «Вместо вступления» (1868) в таком виде:

Вступление	Белинский
Плетнев	Славяноф⟨илы⟩
Гоголь	Последние времена.

Работа над «Литературными воспоминаниями» шла медленно, с трудом, о чем свидетельствует письмо к А. М. Жемчужникову от 19(31) января 1868 г., в котором Тургенев жаловался: «...всё выходит какое-то непрошенное и ненужное оправдание самого себя». В мае писатель, по договоренности с Ф. И. Салаевым, обещал «вручить» ему «предисловие к новому изданию» (см. письмо к Анненкову от 13(25) апреля). Тем не менее оно не было готово и в июне. 17(29) июня Тургенев писал П. Виардо из Спасского, что Салаев «с предисловием ⟨. . .⟩ милостиво разрешил ⟨. . .⟩ повременить до зимы».

С начала октября по первую половину ноября Тургенев в какой-то мере продолжал работать над «Литературными воспоминаниями», о чем известно из его писем к М. В. Авдееву от 8(20) октября и к И. П. Борисову от 16(28) ноября. Однако договоренность с Салаевым не была выполнена. В письме к Н. И. Тургеневу от 30 ноября (12 декабря) из Карлсруэ в связи с этим указывалось: «...обещал ⟨. . .⟩ доставить ⟨. . .⟩ отрывки из моих литературных воспоминаний ⟨. . .⟩ в ноябре, а к февралю ⟨1869 г.⟩ едва будет готово!» «Я сижу теперь над литературными своими „Воспоминаниями“ — и мысленно переживаю давно прошедшее... Иногда грустно становится — а иногда приятно... но и приятность эта не без грусти»,— писал Тургенев Я. П. Полонскому 16(28) декабря 1868 г.

В январе и феврале 1869 г. писатель неоднократно жаловался, что работа над «Литературными воспоминаниями» «идет медленно» (письмо к И. П. Борисову от 12(24) января), что он «никогда не работал по этой части, да это совсем и не занимательно» (письмо к Г. Флоберу от 13(25) января), что «уже 6 недель», как он копается «в своем прошлом, да еще с предосторожностями всякого рода, ибо существует множество вещей, о которых нельзя говорить — и обычно они самые лучшие» (письмо к Ж. Этцелю от 8(20) февраля). И только 12(24) февраля Тургенев смог, наконец, сообщить И. П. Борисову, что он «третьего дня» отправил Анненкову «Воспоминания о Белинском» и теперь намерен взяться за очерк об Аксакове и славянофилах (см. об этом наст. том, с. 518).

О том, как трудно давался писателю весь цикл «Литературных воспоминаний», какую неуверенность в собственных силах ощущал он постоянно, Тургенев писал Л. Пичу 12(24) февраля: «...работа в высшей степени роковая: обрывки литературных воспоминаний, в недобрый час обещанные моему издателю! Как только я не имею дела с образами, я начинаю теряться и не знаю, с чего начать. Мне

всё кажется, что можно с полным правом утверждать обратное тому, что я говорю». О продолжении работы над «Воспоминаниями», «которые в виде четырех или пяти отрывков — составят нечто вроде предисловия к новому изданию» его сочинений, Тургенев сообщал В. П. Боткину 18 февраля (2 марта). По мнению писателя, можно было «дать только несколько отрывков, так как *сплошные* воспоминания — пока еще невозможны» (письмо к Я. П. Полонскому от 20 февраля (4 марта)).

На протяжении всей первой половины 1869 года работа шла медленно и с перерывами. В июле Тургенев написал «Странную историю» и на обложке чернового автографа этой повести записал следующий план «Литературных воспоминаний»:

Отрывки

1. Вступительный (берлинского немца)
2. Белинский
3. Вечер у Плетнева
4. Гоголь и другие
5. По поводу «Отцов и детей» [4].

23 августа (4 сентября) Тургенев писал А. А. Фету: «Литературой занимаюсь мало — и до сих пор не могу окончить дурацких моих „Воспоминаний“». И только 21 сентября (3 октября) он наконец сообщил М. В. Авдееву, что послал издателю «*вчера*» (2 октября), «последний отрывок» из «Литературных воспоминаний», т. е. очерк «По поводу „Отцов и детей“» (см. ниже, с. 369).

Но даже и тогда, когда работа над всем циклом была закончена, Тургенев не испытывал чувства удовлетворения. «И как всё это куце, неловко, неразвито! ⟨. . .⟩ Как неохотно я приплетал строку к строке!» — добавлял он в том же письме к Авдееву. А в письме к А. Д. Галахову от того же 21 сентября (3 октября) признавался: «Боюсь, эти отрывки вышли неинтересны. Многое я сказать не решился, ⟨. . .⟩ и вообще мне кажется — подобная работа не совсем свойственна моей натуре. Вы прочтете и увидите, что я это говорю не из скромничания».

В конце ноября 1869 г. вышла в свет часть 1 «Сочинений И. С. Тургенева». В ней впервые были опубликованы три очерка из цикла «Литературные воспоминания»: «Вместо вступления», «Гоголь» и «По поводу „Отцов и детей“» [5]. Писатель с нетерпением ожидал откликов на «Литературные воспоминания». В декабре 1869 г. Я. П. Полонский сообщал ему: «Я уже прочел с жадностью твои воспоминания о Гоголе, Пушкине, Лермонтове и других. Прочел твои наставления юным литераторам по поводу „Отцы и дети“ — и мысленно пожалел, что я уже не юный литератор» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 2, с. 224).

И. А. Гончаров, который в это время обдумывал предисловие к роману «Обрыв», 19 января ст. ст. 1870 г. писал П. В. Анненкову по поводу «Литературных воспоминаний» Тургенева «...одни „Та-

---

[4] *Первоначально:* «Отцы и дети» (*Bibl Nat*, Slave 76; фотокопия: ***ИРЛИ***, Р. I, оп. 29, № 220).

[5] «Воспоминания о Белинском» были напечатаны первоначально в «Вестнике Европы» (1869, № 4), а «Литературный вечер у П. А. Плетнева» — в «Русском архиве» (1869, № 10).

лейран прибавил, и тоже весьма справедливо, что художники очень дурно делают, что начинают говорить с публикой не „творчеством“ (он намекал на предисловие Тургенева) — это не может не относиться и ко мне, хотя цель моего предисловия совершенно противоположна тургеневской» (*Гончаров*, т. 8, с. 427).

Очевидно, одобрил «Литературные воспоминания» брат писателя, Н. С. Тургенев. В ответном письме к нему от 9(21) февраля 1870 г. Тургенев писал: «Я очень рад, что мои „Воспоминания“ тебе понравились. Мнение человека *не литературствующего*, каков ты, весьма дорого: в нем выражается настоящий здравый смысл публики».

Начиная с издания Сочинений 1874 г., «Литературные воспоминания», к которым Тургенев присоединил два очерка биографического характера («Поездка в Альбано и Фраскати» и «Наши послали!»), стали именоваться «Литературными и житейскими воспоминаниями». В предисловии к изданию 1874 г. Тургенев предупреждал читателей, что «*Обещанная статья „Семейство Аксаковых и славянофилы“ по некоторым соображениям* 〈. . .〉 *заменяется неизданным отрывком из „Записок охотника“*» [6].

19 сентября (1 октября) 1879 г. Тургенев, посылая своему издателю В. В. Думнову «Список статей, долженствующих составить 1-й том» Сочинений 1880 г., подчеркивал, что «из них две: „Человек в серых очках“ и „Семейство Аксаковых“ — до сих пор нигде не были напечатаны». В том же письме Тургенев указывал, что «статьи печатные» им «тщательно исправлены» и к двум из них (в том числе к «Воспоминаниям о Белинском») «сделаны небольшие прибавления». Речь шла о помещенном в конце текста этого очерка «Втором прибавлении» (см. с. 56), датированном сентябрем 1879 г.

До нас не дошел перечень очерков, которые должны были по первоначальному плану войти в состав «Литературных и житейских воспоминаний». В список их, посланный Думнову 19 сентября (1 октября) 1879 г., писатель вскоре внес существенные изменения, о чем сообщал ему же 1(13) октября 1879 г.: «В числе „Литературных и житейских воспоминаний“ — Вы не найдете двух обещанных статей: „Москвы и Берлина“ и „Семейства Аксаковых“.— Они обе заменены прилагаемой большой статьей „Человек в серых очках“. Статья „Москва и Берлин“ могла бы встретить цензурные затруднения — а статья „Семейство Аксаковых“ представляла другие неудобства». Можно предположить, что первый из этих очерков не был вообще написан, так как никаких следов его (в виде планов, черновых набросков и т. п.) в архиве Тургенева *(Bibl Nat)* не сохранилось.

В том 1 Сочинений издания 1880 г. в состав «Литературных и житейских воспоминаний» были включены Тургеневым (кроме тех, которые содержались в издании Сочинений 1874 г.) еще четыре очерка: «Человек в серых очках», впервые опубликованный здесь на русском языке, «Казнь Тропмана», «О соловьях» и «Пэгаз», о чем писатель извещал в предисловии.

В 1882 г., озабоченный подготовкой издания, которое оказалось последним прижизненным изданием, Тургенев неоднократно писал А. В. Топорову о том, что собирается поместить в томе 1 в составе «Литературных и житейских воспоминаний» очерки «Семейство Аксаковых и славянофилы» и «Пожар на море» (писатель

[6] Имеется в виду «Стучит!»

называет его еще «Пожар» и «Пожар „Николая I“»). 8(20) июня 1883 г. Тургенев наконец сообщил Топорову: «„Пожар на море“ я кое-как одолел; остается одна статья об Аксаковых, авось и с ней справлюсь до конца года». В вышедшем в 1883 г. томе 1 Сочинений, корректуру которого Тургенев из-за болезни уже не смог держать сам, очерк «Семейство Аксаковых и славянофилы», однако, не появился. Остается неясным, был ли этот очерк вообще написан, хотя Тургенев утверждал, например, еще в письме к Топорову от 1(13) июня 1882 г., что статья «давно уже готова 〈. . .〉 В ней будет два листа с лишком — и она войдет в состав „Литературных и житейских воспоминаний“». В парижском архиве Тургенева *(Bibl Nat)* сохранилось лишь начало очерка (см. наст. том, с. 286). О «Пожаре на море», который предназначался самим автором для данного цикла в томе 1 издания 1883 г.[7], см. ниже, с. 526.

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

(с. 7)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф, 1868 г., без подписи, 4 л. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 75; описание см.: *Mazon*, p. 77; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 336.
Беловой автограф, Баден-Баден, 1868 г., без подписи, 4 л. Хранится в отделе рукописей *ГИМ*, ф. 440, № 1265.
Т, *Соч*, *1869*, ч. 1, с. VII—XI.
Т, *Соч*, *1874*, ч. 1, с. 9—13.
Т, *Соч*, *1880*, т. 1, с. 1—5.

Впервые опубликовано: *Т*, *Соч*, *1869*.

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880*.

Очерк «Вместо вступления», открывающий собою цикл «Литературных и житейских воспоминаний» (первоначальное заглавие: «Вступление»), был написан в Баден-Бадене в 1868 г. Об этом свидетельствует как помета на черновом автографе — «Б〈аден〉-Б〈аден〉. 1868», так и дата, проставленная автором в тексте первой публикации.

По первоначальному замыслу «Вместо вступления» подготавливало читателя к восприятию собственно литературных воспоминаний Тургенева, которые должны были состоять, как указано на полях чернового автографа, из очерков: «Вступление. Плетнев. Гоголь. Белинский. Славяноф〈илы〉. Последние времена».

Черновой автограф «Вместо вступления» содержит значительную правку, главным образом стилистического характера. Зачеркнутые места, однако, свидетельствуют о том, что Тургенев собирался вначале дать характеристику русского общества в 1843 году.

Правки в беловом автографе почти нет, но и в нем, как и в черновом автографе, содержится зачеркнутое подстрочное примеча-

---

[7] М. М. Стасюлевич включил сюда не только «Пожар на море», но и «Пергамские раскопки» (без всяких на то оснований). Во всех последующих изданиях, в том числе и советских, «Пожар на море» в составе «Литературных и житейских воспоминаний» не печатался.

ние: «Я возвращусь к этим вопросам в отрывке, посвященном г-м славянофилам» (см. вариант к с. 10, строки 2—30) [1].

Когда вышла в свет ч. 1 Сочинений, Тургенев с огорчением писал П. В. Анненкову 4(16) декабря 1869 г. об опечатке в очерке «Вместо вступления»: «На самой первой странице сказано, что поэма Т. Л. („Параша") явилась в 1849 году вместо 1843. Может быть, читатели догадаются, что с 1849 до 1868 года не могло пройти 25 лет...» См. также письмо к И. П. Борисову от 5(17) декабря 1869 г. В ч. 1 Сочинений, вышедшей в 1874 г., эта опечатка была устранена.

Стр. 7. *Окончив курс по филологическому факультету С.-Петербургского университета в 1837 году...*— Тургенев не совсем точен. Он закончил первое (словесное, или филологическое) отделение философского факультета, о чем свидетельствует копия его аттестата, хранящаяся в *ЦГИАЛ* (см.: *Т, ПСС и П*, *Письма*, т. I, с. 633; Лисовский Н. М. Новые материалы для биографии И. С. Тургенева. СПб., 1892, с. 6).

Стр. 8. *Из числа тогдашних преподавателей С.-Петербургского университета...*— В 1836/37 учебном году в Петербургском университете лекции читали: А. А. Фишер — психологию, логику и философию, С. М. Куторга — историю древнюю и средних веков, И. П. Шульгин — новую историю, Н. Г. Устрялов — русскую историю, В. С. Порошин — политическую экономию, Ф. Б. Грефе — греческую словесность, И. Я. Соколов — греческий язык, Э. Е. Шлиттер — латинский язык, П. А. Плетнев, А. В. Никитенко — русскую литературу, О. И. Сенковский — арабский язык и др. (см.: Григорьев В. В. Императорский С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870, с. 127—129).

Из числа русских, слушавших университетские лекции, назову ∽ Н. Станкевича, Грановского, Фролова ∽ М. Бакунина.— О совместном пребывании Тургенева с Н. В. Станкевичем (1813—1840), Т. Н. Грановским и Н. Г. Фроловым (1812—1855) в Берлинском университете подробнее см.: наст. изд., т. 5, с. 360—366, а также наст. том, с. 204. История знакомства Тургенева с Т. Н. Грановским (1813—1855) изложена в некрологической статье «Два слова о Грановском» (там же, т. 5, с. 325—328). С М. А. Бакуниным (1814—1876), который впоследствии стал видным деятелем международного революционного движения, идеологом народничества и анархизма (см.: Пирумова Н. М. Бакунин. Жизнь и деятельность. М.: Наука, 1966, с. 25—155). Тургенев познакомился в Берлине в июле 1840 г. и жил с ним на одной квартире (см. наст. том, с. 204).

...изучал Гегеля под руководством профессора Вердера.— Вердер (Werder) Карл (1806—1893) — немецкий философ-гегельянец и драматург. Тургенев, Станкевич, Грановский и Бакунин, посещавшие его лекции, находились с ним в дружеских отношениях, о чем неоднократно говорится в письмах Тургенева (см., например, письмо Тургенева к Т. Н. Грановскому от 4(16) июля 1840 г., а также: *Горбачева, Молодые годы Т*, с. 8—10). Сохранились записан-

---

[1] Свод вариантов чернового и белового автографов см.: *Т. ПСС и П*, *Сочинения*, т. XIV, с. 312—313. Далее варианты, опубликованные в названном издании, приводятся без дополнительного указания страниц публикации.

ные Тургеневым лекции Вердера по философии Гегеля (*ИРЛИ*, ф. 377, № 584 — см.: *ПД*, *Описание*, с. 19). См. также: Описание материалов гос. музея И. С. Тургенева. I. И. С. Тургенев. [Составитель — А. И. Понятовский.] Орел, 1968, с. 13. О Вердере см. также наст. том, с. 204.

...слушал в Берлине латинские древности у Цумпта...— Цумпт (Zumpt) Карл-Готтлоб (1792—1849) — профессор Берлинского университета, автор широко известной латинской грамматики и учебника по древней истории. В музее И. С. Тургенева в Орле хранятся пять тетрадей — записи лекций Цумпта о римских древностях (1838—1839) и одна тетрадь — записи его лекций об «Анналах» Тацита (1841) на немецком языке, принадлежавшие Тургеневу (см.: Описание материалов гос. музея И. С. Тургенева. 1. И. С. Тургенев, с. 12, 13. См. также: *ИРЛИ*, ф. 93, оп. 2, № 259.— *ПД*, *Описание*, с. 18).

...историю греческой литературы у Бёка...— Бёк (вернее, Бёк — Böckh) Август (1785—1867) — профессор Берлинского университета, один из основоположников античной эпиграфики. Записанные Тургеневым на немецком языке лекции этого профессора по истории греческой литературы хранятся в *ИРЛИ* (ф. 93, оп. 2, № 259.— *ПД*, *Описание*, с. 18).

Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня∽*очутился «западником», и остался им навсегда.*— Позднее Достоевский «ядовито обыграет в „Бесах" эту черту — «уважение к классической немецкой культуре»,— указывает Н. Ф. Буданова в статье «Проблема „отцов" и „детей" в романе „Бесы"» (см.: Достоевский. Материалы и исследования. 1. Л., 1974, с. 168).

С т р. 9. *Мне необходимо нужно было*∽*Враг этот был — крепостное право.*— Не исключено, что отмеченное рассуждение Тургенева нашло отражение в исповеди Версилова в романе Достоевского «Подросток» (1875). Об этом см.: *Достоевский*, т. 17, с. 331—332 (примечания Е. И. Кийко).

Это была моя аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда.— В первой части «Былого и дум» Герцен рассказывает о том, как он и Н. П. Огарев дали в конце 1820-х годов клятву на Воробьевых горах, «в виду всей Москвы, пожертвовать ⟨. . .⟩ жизнью на избранную ⟨. . .⟩ борьбу» (*Герцен*, т. 8, с. 81), т. е. на борьбу с крепостным правом.

«Записки охотника»∽*были написаны мною за границей.*— Известно, что в России Тургенев написал «Певцы» (1850, Тургенево — Петербург), «Свидание» (1850, Тургенево — Петербург), «Бежин луг» (1850—1851, Москва) и позднее «Стучит!» (1874, Спасское).

С т р. 10. *Отечественная критика*∽*ни разу не укоряла меня в нечистоте и неправильности языка, в подражательности чужому слогу.*— Это утверждение Тургенева получило критический отклик в рецензии «Литературная новость. Заметка для любознательных стариков и старушек» Д. Д. Минаева, скрывшегося под псевдонимом Д. Свияжский: «Да, отечественная критика,— писал он,— при всех ее нападках на г. Тургенева, никогда не сводила его деятельность к почтенной, но более чем скромной роли „оберегателя чистоты русской речи"» (Дело, 1869, № 12, с. 48—49). Об этом см. также в письмах М. В. Авдеева к Тургеневу (*Т сб*, вып. 1, с. 430—433).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР У П. А. ПЛЕТНЕВА

(с. 11)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Литературный вечер у П. А. Плетнева. Очерк.— Черновой автограф, л. 1—10. Три отрывка: 1. С начала до слов «Но возвращаюсь к рассказу» (с. 13, строка 17). 2. С начала до слов «с обрубленными пальцами» (с. 13, строки 29—30). 3. Со слов «Во-первых» (с. 13, строка 27) и до конца. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 75; описание см.: *Mazon*, p. 77; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 335.

Литературный вечер у П. А. Плетнева. Очерк.— Беловой автограф. *ГИМ*, ф. 440 (Забелина, 1092), ед. хр. 1265, л. 142—147 об.

Рус Арх, 1869, № 10, с. 1663—1676.

Т, *Соч*, *1869*, ч. 1, с. XIII—XXIV.

Т, *Соч*, *1874*, ч. 1, с. 15—26.

Т, *Соч*, *1880*, т. 1, с. 7—28.

Впервые опубликовано: *Рус Арх*, 1869, № 10, с подписью: И. Тургенев. Почти одновременно (в ноябре 1869 г.) появилось в томе 1 издания 1869 г.

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880*, с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, и со следующими исправлениями по другим источникам текста:

Стр. 11, *строка 34:* «до тех пор» вместо «до сих пор» (по второму черновому отрывку, беловому автографу, *Рус Арх*).

Стр. 12, *строка 23:* «между теперешним и тогдашним поколеньями» вместо «между теперешними и тогдашними поколениями» (по второму черновому отрывку, беловому автографу, *Рус Арх*).

Стр. 13, *строка 13:* «лежавшим» вместо «лежащим» (по второму черновому отрывку, беловому автографу, *Рус Арх*).

Стр. 14, *строка 32:* «а, напротив» вместо «напротив» (по третьему черновому отрывку, беловому автографу, *Рус Арх*).

Стр. 17, *строка 17:* «не захотел» вместо «не хотел» (по всем другим источникам).

Стр. 18, *строка 15:* «простоты» вместо «красоты» (по всем другим источникам и тексту стихотворения А. С. Пушкина).

Очерк о П. А. Плетневе, судя по первоначальному плану, набросанному на полях рукописи «Вместо вступления», был задуман автором в 1868 г. (см. наст. том, с. 325). Первое упоминание о предстоящей работе над ним и о намерении послать его «даром» в «Русский архив» встречается в письме Тургенева к И. П. Борисову от 12(24) января 1869 г. 13(25) февраля 1869 г. Тургенев писал П. И. Бартеневу: «Я не забыл также, что обещал Вам доставить статью о покойном П. А. Плетневе,— и стыжусь, что до сих пор не сдержал моего слова. Но теперь, отделавшись несколько от более срочных работ, я намерен непременно посвятить несколько часов моему бывшему профессору — и хотя поверхностными чертами постараться изобразить его столь симпатическую личность. Твердо надеюсь выслать Вам мою статейку не позже двух недель от нынешнего числа». Во второй половине марта н. ст. воспоминания о Плетневе, как известно из письма Тургенева к П. И. Бартеневу от 9(21) марта, были написаны вчерне; оставалось, по словам Тургенева, «их переписать». Однако окончательный текст «Литературного ве-

чера у П. А. Плетнева» Бартенев получил через издателя Сочинений Тургенева, Ф. И. Салаева, только в конце сентября н. ст. 1869 г. «Порядком я опоздал с нею,— писал Тургенев П. И. Бартеневу 26 сентября (8 октября) 1869 г. о статье,— но я надеюсь, что она попадет в „Русский архив". В ней немного нового — но чем богаты, тем и рады».

В очерке контаминированы события различных лет, и время описанного литературного вечера, состоявшегося у П. А. Плетнева, указано неточно. Студентом третьего курса С.-Петербургского университета Тургенев был не в 1837, а в 1836 г. В том же году Тургенев давал на просмотр Плетневу свою стихотворную драму «Стено» (посылая «Стено» А. В. Никитенко 26 марта (7 апреля) 1837 г., Тургенев писал: «С год тому назад я ее давал П. А. Плетневу...»). Встретить одновременно «в начале 1837 г.» Пушкина и А. В. Кольцова Тургенев не мог. Кольцов в 1837 г. в Петербург не приезжал. Он был в Петербурге в 1836 и 1838 годах и, скорее всего, виделся с Тургеневым у П. А. Плетнева дважды. По более раннему свидетельству Тургенева в письме к В. Рольстону от 7(19) октября 1866 г., он «встречался» с Кольцовым «всего раз или два»; позднее, 7(19) февраля 1877 г., он сообщал М. Ф. Де-Пуле, что видел Кольцова «всего раз». О второй встрече Кольцов упомянул в письме к В. Г. Белинскому от 14(26) марта 1838 г. Кольцов писал: «В прошлую среду был я на вечере у Плетнева. Там был Воейков, Владиславлев, Карлгоф, Гребенка, Прокопович и Тургенев» [1]. На основании этого письма редактор указанного ниже издания стихотворений Кольцова А. И. Лященко относит литературный вечер у П. А. Плетнева к 9(21) марта 1838 г. И так как упомянутые Кольцовым лица, присутствовавшие на вечере, названы также и Тургеневым в его воспоминаниях, то, очевидно, речь идет об одном и том же вечере. Мимолетная встреча Тургенева с Пушкиным (у П. А. Плетнева) относится, по-видимому, к концу 1836 или началу 1837 года [2]. Такое соединение впечатлений, полученных от нескольких посещений П. А. Плетнева, объясняется не только ошибками памяти, но и стремлением обобщить воспоминания о Плетневе и других деятелях той литературной эпохи, характерным представителем которой он был.

Плетнев связан в воспоминаниях Тургенева с порой его студенчества. В «Автобиографии» он выделял Плетнева как единственного профессора С.-Петербургского университета тех лет, который «умел действовать на слушателей» (наст. том, с. 204). Это было также время первых шагов Тургенева в литературе, которым Плетнев способствовал, опубликовав в «Современнике» его юношеские стихотворения. В очерке упомянуты еще две-три более поздние встречи с Плетневым незадолго до его кончины. Последняя встреча относится к марту — апрелю 1864 г., когда Тургенев навестил Плетнева в Париже, читал ему свой рассказ «Собака», собирался переслать рукопись «Призраков» (см. об этом в письмах к П. В. Анненкову от 1(13) апреля и П. А. Плетневу от 8(20) апреля 1864 г.).

Для Тургенева встречи с Плетневым, который воспринимался

---

[1] Кольцов А. В. Полн. собр. соч. Акад. биб-ка рус. писателей, вып. 1. 3-е изд. СПб, 1911, с. 181.

[2] Подробнее о датировке всех этих встреч см.: Фомин А. Г. Письмо И. С. Тургенева к М. Ф. Де-Пуле об А. В. Кольцове...— В кн.: Литературно-библиологический сборник. Пг., 1918, с. 23—26.

современниками как человек, причастный к «знаменитой литературной плеяде», были дороги прежде всего как общение с другом Пушкина, остававшегося всю жизнь «идолом» Тургенева, его «учителем» (см. письмо Тургенева к М. М. Стасюлевичу от 15(27) марта 1874 г.). 1(13) июня 1864 г. Тургенев писал Плетневу из Баден-Бадена: «Здесь русских довольно — да ни одного по душе. Не с кем потолковать о том, что любишь, о поэзии, о Пушкине. Не то, что с Вами». Однако, несмотря на всё уважение к личности Плетнева, Тургенев с первого же знакомства почувствовал различие в их литературно-эстетических позициях. В письме к А. В. Никитенко от 26 марта (7 апреля) 1837 г. Тургенев писал, имея в виду Плетнева: «Мнения его, которые я, впрочем, очень уважаю,— не сходятся с моими». То же несколько позднее отмечал и сам Плетнев, противопоставляя Тургеневу, печатавшему в «Отечественных записках» свои стихи якобы «единственно потому, что у них много читателей», Дельвига и Пушкина, которые, по мнению Плетнева, писали не для толпы, а для избранных ценителей поэзии [3].

В результате сопоставления печатной редакции очерка с тремя его черновыми отрывками *(Bibl Nat)* и с беловым автографом *(ГИМ)* [4] можно установить направление работы над ним Тургенева. В первом черновом варианте «Литературный вечер у П. А. Плетнева» датирован не началом 1837 года, как во всех последующих источниках и окончательном тексте (с. 11), а концом 1836 года («В конце 1836 года...»), что служит дополнительным свидетельством условности указанной Тургеневым даты. Там же указан адрес Плетнева: «[в большом доме на Фонтанке] у Обухова моста»; но уже во втором черновом варианте начала очерка (переписанный, но еще не набело, первый), в соответствии с тенденциями к более обобщенному характеру воспоминаний, зачеркнуты все уточняющие справки.

После описания своего знакомства с Плетневым в университете и встречи в его квартире с Пушкиным Тургенев набросал на полях рукописи первого чернового отрывка перечень присутствовавших на вечере лиц, о которых предполагалось упомянуть: «Скобелев, Бенедиктов, Губер, Гребенка, Карлгоф, Воейков, Кольцов, Владиславлев». Во втором черновом отрывке этот список повторен, но в нем Бенедиктов заменен Одоевским и последовательность почти соответствует той, которая установлена Тургеневым в беловом и окончательном тексте: «Скобелев, Воейков, Владиславлев, Карлгоф, Губер, Гребенка, Кольцов, Одоевский». В очерке Одоевский предшествует Кольцову, и образ Кольцова завершает ряд литературных деятелей того времени. Большое внимание Тургенев уделил характеристике каждого из них, отшлифовывая отдельные штрихи лаконичных, в основном портретных зарисовок. Так, например, о Карлгофе первоначально говорилось, что это «худощавый мужчина с лицом невидного немецкого чиновника»; затем тут же, в третьем черновом отрывке, Тургенев добавил определения с «маленькой головой и беспокойными телодвижениями» и конкретизировал сравнение с чиновником точным указанием на чин: «с виду смахивавший на статского советника немецкого происхождения».

---

[3] См. письмо П. А. Плетнева к Я. К. Гроту от 1 июля ст. ст. 1844 г. (*Переписка Грота с Плетневым*, т. 2, с. 275).

[4] Свод вариантов черновых отрывков и белового автографа см.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XIV, с. 313—321. Далее варианты, напечатанные в этом томе, приводятся без дополнительного указания страниц публикации.

Первоначальный рассказ о встрече с Пушкиным Тургенев дополнил воспоминаниями о благоговейном отношении к великому поэту в 1830-е годы, о второй встрече с ним в зале Энгельгардта и о своей печали при виде его через несколько дней в гробу. В словах Пушкина о министрах был усилен иронический оттенок, а также отмечена самая манера его речи [5].

Характеризуя Плетнева-педагога, Тургенев вместо «учитель старого времени» употребил выражение «наставник старого времени» [6], ввел и доработал в беловом автографе строки о любви к нему студентов. Писатель искал более точных определений и деталей, чтобы показать, как сочетались в общественном облике Плетнева «любовь к родной словесности, родному языку» с отсутствием качеств бойца, «энергии», «огня».

Определяя общественную атмосферу 1830-х годов как время «смирное» и перечислив недолговечных кумиров тех лет (см. также не попавшую в окончательный текст заметку о К. П. Брюллове), Тургенев обратился к иносказательной формулировке основной причины, предопределившей «дух» этого времени, заменив начатые и неоконченные в черновом автографе слова («Общественное мнение еще не успело прийти в себя после») более выразительным определением репрессий, обрушившихся на декабристов («Общество еще помнило удар» — см. наст. том, с. 17) и внеся отсутствующую в начале фразу: «как не было гласности, как не было личной свободы» (см. наст. том, с. 17).

Самой существенной правке подверглось центральное в идеологическом отношении место воспоминаний о Плетневе — рассуждения автора о двух поколениях, поколении передовой дворянской молодежи 1830—40-х годов и молодом поколении шестидесятников. Дополняя, сокращая, уточняя текст незавершенной вставки, вписанной на полях второго чернового отрывка, Тургенев стремился утвердить мысль о том, что, несмотря на многие частные разногласия, у него нет принципиальных расхождений с современной демократической молодежью [7].

Окончив работу над очерком и отослав его, Тургенев не был удовлетворен результатом. В ответ на письмо П. В. Анненкова, в ко-

---

[5] Современный исследователь И. Шайтанов в статье «„Непроявленный жанр“ или литературные заметки о мемуарной форме», отмечая эволюцию на протяжении XIX века жанра психологического портрета, особо останавливается на «блестящем» мастерстве Тургенева в воспроизведении через отдельные штрихи и детали как внешнего, так и внутреннего облика человека. В качестве примера он приводит описание в «Литературном вечере у П. А. Плетнева» двух мимолетных встреч Тургенева с Пушкиным (см.: Вопросы литературы, 1979, № 2, с. 70).

[6] Эта тургеневская характеристика легла в основу многих последующих очерков о П. А. Плетневе. См., например, статью В. Шенрока «Профессор — словесник старого времени» в кн.: Под знаменем науки. Юбилейный сборник в честь Н. И. Стороженко. М., 1902, с. 552—564.

[7] Более детальный анализ автографов очерка см. в статье «К творческой истории „Литературного вечера у П. А. Плетнева“. (Работа над рукописями)».— *Т сб*, вып. 4, с. 79—85.

тором содержался критический отзыв об очерке [8], Тургенев писал 24 октября (5 ноября) 1869 г.: «Мой отрывок о Плетневе произвел на Вас то самое впечатление, какое должно было ожидать. Я писал его вяло и неохотно (как почти все эти „Воспоминания"), по просьбе Бартенева. Я полагал убить этим двух мух разом, а кажется, убил только время». В тот же или на следующий день Тургенев получил письмо от вдовы Плетнева, которой показалось, что очерк недостаточно уважителен по отношению к Плетневу. Протестуя против суждений Тургенева о «легкости ученого багажа» Плетнева и о том, что всё, чего Плетнев желал, «плыло ему в руки», А. В. Плетнева заключала: «...о таких людях нельзя сказать легкомысленно, что они лишены энергии и мужества» (*ИРЛИ*, ф. 234, оп. 4, № 206, л. 1—2). Тургенев, огорченный письмом Плетневой, отправил ей 25 октября (6 ноября) 1869 г. через Анненкова ответ, в котором утверждал, что очерк прежде всего является данью «сочувственного уважения к человеку, вполне ее достойному» и что «искреннее смиренномудрие» Плетнева само протестовало бы, если б он был представлен «ученым или бойцом». Анненкова Тургенев в том же письме спрашивал, неужели его отзыв о Плетневе «далеко не превышает того, что скажет о нем потомство...?» Еще до получения письма Тургенева Плетнева обратилась к близкому другу ее мужа, акад. Я. К. Гроту, с просьбой написать статью в противовес воспоминаниям Тургенева. О предстоящей статье осведомил Тургенева Анненков (см. письмо Тургенева к И. П. Борисову от 13(25) ноября 1869 г.) [9]. Грот писал П. И. Бартеневу 9(21) октября 1869 г.: «Статья Тургенева „Вечер у Плетнева" покоробила меня, так же как и всех хорошо знавших покойного. Поэтому я решился также написать о нем небольшое Воспоминание ⟨. . .⟩ Приберегите этой статье местечко в „Русском архиве"» (*ЦГАЛИ*, ф. 46, оп. 1, ед. хр. 561, л. 413). Написанная на основании более близкого знакомства и сообщающая ряд дополнительных фактов и подробностей, статья Грота не содержала, тем не менее, существенных расхождений с Тургеневым в оценке личности Плетнева. «Все, кому дорога память Плетнева,— писал Грот,— прочли в „Русском архиве" несколько страниц, посвященных ей И. С. Тургеневым. Несмотря на то, что от описываемого им вечера прошло более 30 лет, даровитый автор умел придать жизнь своему рассказу. Сознавая, что содержание слышанных на этом вечере разговоров почти совершенно забыто им, он тем не менее в нескольких характеристических чертах мастерски обрисовал лица, с которыми там встретился. Жаль только, что из речей и суждений самого хозяина не мог он привести ничего сколько-нибудь определенного. К рассказу присоединена небольшая характеристика и оценка Плетнева: хотя здесь автор и не обнаруживает особенно короткого знакомства с покойным, однако ж нельзя не

[8] Это письмо П. В. Анненкова неизвестно. О содержавшемся в нем отзыве можно судить по краткому упоминанию мнения Анненкова в письме к нему Тургенева от 25 октября (6 ноября) 1869 г. «Уж кажется, на что — как вы выражаетесь — en grisaille ⟨в серых тонах — *франц.*⟩ этот отрывок...»,— пишет Тургенев.

[9] Подробное изложение этого инцидента, а также характеристику взаимоотношений Тургенева с П. А. Плетневым и А. В. Плетневой на протяжении всего периода их знакомства см. во вступительных статьях М. П. Алексеева к первой публикации писем Тургенева к этим адресатам (*Лит Арх*, т. 3, с. 183—186, 195—200).

согласиться, что главные черты в этом портрете схвачены верно» (*Рус Арх*, 1869, № 12, с. 2067) [10].

Печатных откликов на «Литературный вечер у П. А. Плетнева» появилось немного, причем они даны обычно внутри общих отзывов о «Литературных и житейских воспоминаниях», отношение к которым определяется в основном взглядом рецензентов на очерк «По поводу „Отцов и детей“». Так, Д. Д. Минаев в рецензии «Литературная новость. (Заметки для любознательных старичков и старушек)», опубликованной в «Деле», откликнулся в следующих иронических строках на воспоминания Тургенева о Плетневе: «В прихожей Плетнева г. Тургенев встретил человека среднего роста, с белыми зубами; это был Пушкин. О Пушкине более интересных сведений мы у Тургенева не находим. Далее мы узнаем, что в гостиной Плетнева автор „Дворянского гнезда“ встретил белокурого жандармского офицера и издателя „Утренней зари“ г. Владиславлева, видел очки стихотворца Карлгофа, растрепанные бакенбарды Губера и симпатический лоб Гребенки. Более любопытного мы ничего не находим в главе „Литературный вечер у Плетнева“» (Дело, 1869, № 12, с. 49). Автор заметки в «Библиографе» по поводу нового издания сочинений Тургенева, называя появившиеся в первом томе очерки «Гоголь» и «Литературный вечер у П. А. Плетнева», заключал: «В общем они довольно интересны; но походят более на выдержки и на отрывки из чего-то — по всей вероятности, из дневника; и там, где г. Тургенев описывает личность одним внешним образом, там эта личность перед читателем, как живая; где же он вдается в рассуждения по поводу этой личности, тут ⟨. . .⟩ являются ⟨. . .⟩ такие умозаключения, как „Мы живем всё еще под веянием,— в тени пушкинского времени“, и тому подобное» [11] (Библиограф, 1869, № 3, декабрь, с. 13).

С т р. 11. *...фантастическую драму в пятистопных ямбах под заглавием «Стенио».*— Плетнев, по признанию Тургенева в письме к А. В. Никитенко от 26 марта (7 апреля) 1837 г., ознакомившись с написанной юным Тургеневым в 1834 г. драматической поэмой «Стено», нашел, что в ней «всё преувеличено, неверно, незрело... и если есть что-нибудь порядочное.— то разве некоторые частности — очень немногочисленные». Подробнее об этой поэме см.: наст. изд., т. 1, с. 547—549 (где она названа «Стено»).

...он выбрал из них два...— Первыми стихотворениями Тургенева, которые опубликовал П. А. Плетнев, были «Вечер» (*Совр*, 1838, № 1) и «К Венере Медицейской» (*Совр*, 1838, № 4); Тургенев цитирует начальные строки второй строфы стихотворения «Вечер»

---

[10] Позднее, уже после смерти Тургенева, подготовив к изданию сочинения и письма Плетнева, Я. К. Грот в «Отчете о деятельности Отделения русского языка и словесности за 1884 год» отмечал, что, по его мнению, набросанная Тургеневым характеристика «не говорит в пользу проницательности автора», так как в своих письмах и сочинениях Плетнев «является человеком, рано уже усвоившим весьма здравые понятия о литературе и искусстве», твердые убеждения, которым «он остался верен до конца» (Сборник Отделения русского языка и словесности, 1885, т. 36, № 2, с. 14).

[11] Неточная цитата из «Литературного вечера у П. А. Плетнева» (см. с. 15).

(см.: наст. изд., т. 1, с. 9). Плетнев неоднократно печатал в «Современнике» стихотворения Тургенева и позднее.

Стр. 13. *...в зале Энгельгардт.*— В конце 1820-х — начале 1830-х годов архитектором Павлом Жако был перестроен дом В. В. Энгельгардта (ныне Невский проспект, 30), в большом зале которого стали устраиваться концерты, балы. маскарады (см.: *Яцевич А.* Пушкинский Петербург. Л., 1935, с. 300—308).

...Недвижим он лежал...— «Евгений Онегин», гл. 6, строфа XXXII (начальные строки).

...своей (первой) жене...— Имеется в виду Степанида Александровна Плетнева (1795—1839).

...известный Скобелев, автор «Кремнева»...— Иван Никитич Скобелев (1778—1849) — генерал-от-инфантерии, с 1839 г. комендант Петропавловской крепости; автор ряда военно-патриотических книг для солдат, написанных в духе официальной народности. Наибольшей известностью пользовалась его пьеса «Кремнев — русский солдат» (1839).

...автор «Сумасшедшего дома», Воейков...— Александр Федорович Воейков (1778—1839) — поэт-сатирик, критик и журналист 1810—30-х годов. Обзор деятельности Воейкова и характеристику его стихотворного памфлета «Дом сумасшедших» (1814) см. в кн.: Колбасин Е. Литературные деятели прежнего времени. СПб., 1859, с. 241—291.

...Владиславлев, издатель известного в свое время альманаха «Утренняя заря»...— О Владимире Андреевиче Владиславлеве (1807—1856) как об авторе «сантиментальных и военных рассказов, почти никем не замеченных», и издателе альманаха «Утренняя заря», который он распространял, «воспользовавшись ловко местом своего служения» в штабе III отделения, писал незадолго до Тургенева в своих воспоминаниях И. И. Панаев (Панаев И. И. Литературные воспоминания. Л., 1950, с. 66 и 370).

Стр. 14. *...переводчик и стихотворец Карлгоф...*— Вильгельм Иванович Карлгоф (1796—1841) — поэт, беллетрист, впоследствии попечитель Одесского учебного округа.

...переводчик «Фауста», Губер...— Характеристику Эдуарда Ивановича Губера (1814—1847) как поэта и человека см. в «Дневнике» А. В. Никитенко (т. 1, Л., 1955, с. 303). «Фауст» Гёте в переводе Губера вышел в 1838 г.

...Гребенка — враг Полевого, написал пасквиль вроде сказки...— Евгений Павлович Гребенка (1812—1848) — автор «Физиологических очерков» из жизни чиновничества и мещанства и украинских повестей, написанных в гоголевской манере. В аллегорической литературной притче «Путевые записки зайца» (1844) он вывел Н. А. Полевого под именем «полевого сверчка».

...наш добрейший незабвенный князь Одоевский.— Познакомившись с Владимиром Федоровичем Одоевским (1803—1869) у Плетнева в 1838 г., Тургенев продолжал встречаться с ним в 1840-х годах в музыкальных и литературных кругах (см.: Соллогуб В. А. Воспоминания. М.; Л., 1931, с. 413). Наиболее сблизился Тургенев с В. Ф. Одоевским и его женой, О. С. Одоевской. в 1850—60-е годы. На смерть Одоевского 27 февраля (11 марта) 1869 г. Тургенев откликнулся в письме к П. И. Бартеневу: «Итак, князь В. Ф. Одоевский скончался! Очень мне жаль этого отличного человека».

Это был поэт Кольцов.— В упомянутом выше письме к М. Ф. Де-

Пуле, который собирал материалы для биографии А. В. Кольцова, Тургенев, выражая сожаление, что он не может прибавить дополнительных подробностей к рассказанному в «Воспоминаниях» о своей единственной встрече с поэтом, писал 7(19) февраля 1877 г.: «Как человек застенчивый и робкий (впрочем, и я был тогда не слишком боек),— он, конечно, не решился бы высказываться перед лицом, ему незнакомым.— И с Белинским я впоследствии мало говорил о нем; помню только, что он не раз настаивал на его тонком, почти хитром и проницательном уме, на его страстности — в отношении к женскому полу — и на его печальной семейной обстановке».

Стр. 15. *...весною только что протекшего (1836) года был дан в первый раз «Ревизор», а несколько недель спустя ~ «Жизнь за царя».*— Неувязка в тексте и ошибка памяти писателя: первое представление «Ревизора» состоялось в Петербурге на сцене Александринского театра 19 апреля ст. ст. 1836 г. Опера Глинки «Жизнь за царя» была дана не «в феврале или марте 1837 г.», а 27 ноября ст. ст. 1836 г. (*Вольф*, *Хроника*, т. 1, с. 55).

Ходили темные слухи о некоторых превосходных произведениях, которые он берег в своем портфеле.— См. об этом наст. том, с. 347.

...Марлинский всё еще слыл любимейшим писателем, барон Брамбеус царствовал ~ на Кукольника взирали с надеждой ~ а Бенедиктова заучивали наизусть.— О времени господства «ложновеличавой школы» см. в очерке «Воспоминания о Белинском» и в комментариях к нему (наст. том, с. 22 и 343). Фельетон редактора «Библиотеки для чтения» О. И. Сенковского («барона Брамбеуса») «Большой выход у Сатаны» был опубликован в 1833 г. в сборнике «Новоселье». Отрицательная оценка реакционно-романтической драматургии Кукольника содержится уже в рецензии Тургенева на его трагедию «Генерал-поручик Паткуль», напечатанной в «Современнике» в 1847 г. (см.: наст. изд., т. 1, с. 251—276).

Стр. 16. *...Карлгоф, видно, не мог забыть ~ жестокое четверостишие в «Сумасшедшем доме».*— Против В. И. Карлгофа А. Ф. Воейков в «Доме сумасшедших» сделал следующий стихотворный выпад:

Вот «кадетом» заклейменный
    Меценат Карлгоф-поэт,
В общем мненье зачерненный
    И Булгарина клеврет.
Худ, мизерен, сплюснут с вида,
    Сухощав душой своей...
Отвратительная гнида
    Аполлоновых ———

Ответная эпиграмма Карлгофа на Воейкова неизвестна.

...анекдоты о «вольном духе», о «лжепророке» и т. д. ...— Имеются в виду случаи запрета цензурой выражения в поваренных книгах «ставить пирог на вольных дух», а также требование называть Магомета «лжепророком». Об этих же «пресловутых» анекдотах вспомнил Тургенев и в прибавленном им для издания 1880 г. подстрочном примечании к статье о «Племяннице» Евг. Тур (см.: наст. изд., т. 4, с. 478).

...цензор К.— Александр Иванович Красовский (1780—1857) — член С.-Петербургского цензурного комитета с 1821 по 1828 г. и председатель комитета цензуры иностранной с 1832 по 1857 г.

...значение Гоголя, в творениях которого оракул «Библиотеки для чтения» видел один грязный малороссийский жарт.— В этой формуле объединены суждения о Гоголе не только О. И. Сенковского, но и всей реакционной критики. См. об этом: Мордовченко Н. И. Белинский и русская литература его времени. М.; Л., 1950.

...«Не по чину берешь!» — Слова городничего квартальному из «Ревизора» Гоголя (д. 1, явл. 4).

...о Жуковском, об его переводе «Ундины» с рисунками — если не ошибаюсь — графа Толстого...— Речь идет об издании: Ундина. Старинная повесть, рассказанная на немецком языке в прозе бар. Ф. Ламотт Фуке, на русском в стихах В. Жуковским. СПб, 1837. Рисунки L. M. ⟨Л. Манделя⟩. Рецензия Плетнева на эту повесть опубликована в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду"» (1837, № 15, 10 апреля).

..о другом Жуковском о графине Растопчиной, о г. Тимофееве, даже о г. Крешеве...— В 1837 г. вышла в свет книга «Стихотворений» Алексея Кирилловича *Жуковского* (1810—1864), которые первоначально под псевдонимом Бернет печатались в «Библиотеке для чтения» и «Современнике». Стихотворениям Евдокии Петровны *Растопчиной* (1811—1858) Плетнев посвятил две рецензии (*Совр*, 1840, № 2, отд. 1, с. 89—93; там же, 1841, № 2, отд. 1, с. 6—18). Алексей Васильевич *Тимофеев* (1812—1883) — поэт, драматург и прозаик, эпигон романтизма, опубликовавший в 1837 г. сборник стихотворений («Опыты». СПб., 1837, 3 ч.); в том же 1837 году он был превознесен Сенковским в рецензии на «фантазию» «Елисавета Кульман» как преемник Пушкина. Иван Петрович *Крешев* (1824—1859) — поэт, журналист и переводчик, сотрудничавший в «Отечественных записках» и «Библиотеке для чтения», привлекший в начале 1840-х годов внимание В. Г. Белинского антологическими стихотворениями, написанными, по словам критика, в духе А. Н. Майкова (*Белинский*, т. 7, с. 226).

Стр. 16—17. *...в те времена, которые покойный Аполлон Григорьев называл допотопными.*— В статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» Ап. Григорьев употребил термин «допотопный» в отношении к И. И. Лажечникову (*Рус Сл*, 1859, № 3). После иронической заметки Н. А. Добролюбова «О допотопном значении Лажечникова (Исследование Ап. Григорьева)» Ап. Григорьев в статье «Несколько слов о законах и терминах органической критики» (*Рус Сл*, 1859, № 5) разъяснял значение своих формулировок «допотопный талант» и «талант допотопной формации».

Стр. 17. *...Общество еще помнило удар...*— Имеется в виду казнь и ссылка декабристов в 1826 году.

...Отец света — вечность...— В письме от 29 ноября (11 декабря) 1869 г. к А. А. Фету, который усомнился в правильности этой цитаты из Кольцова, Тургенев писал: «С какой стати я бы стал *сознательно* и *добровольно* сочинять цитату! Да я же и не цитовал (в моей статье о Плетневе в „Архиве") думу „Тучи носят воду" ⟨...⟩, а думу „Божий мир", которая начинается словами: „Отец света — вечность"...»

...умел заинтересовать их.— О преподавательской деятельности Плетнева см.: А. Ч. ⟨Чумиков А. А.⟩. Петербургский университет полвека назад. Воспоминания бывшего студента.— *Рус Арх*, 1888, № 9, с. 131—133.

Стр. 18. *«Не мысля гордый свет забавить» Души прекрасной*

…Высоких дум и простоты.— Строки из пушкинского посвящения П. А. Плетневу первой главы романа «Евгений Онегин».

Стр. 19. *…в своих малочисленных сочинениях…*— Сочинения Плетнева были изданы в 1885 г. Я. К. Гротом (Плетнев П. А. Сочинения и переписка. СПб., 1885. Т. 1—3).

Мне пришлось раза два встречаться с ним… незадолго до его кончины.— О посещениях Тургеневым в Париже семьи Плетневых в 1863—1864 гг. см.: Плетнев А. Воспоминания. Одесса, 1910, с. 13.

Стр. 20. *Студенческие «истории»…*— О студенческих волнениях, начавшихся в Петербургском университете после манифеста 19 февраля 1861 г. еще в присутствии Плетнева и продолжавшихся после его отъезда в Париж, см. в работах: Гессен С. Я. Студенческое движение в начале шестидесятых годов. М., 1932; Левин Ш. М. Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX века. М., 1958.

ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛИНСКОМ

(с. 21)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Отрывок чернового автографа, не датированный, без подписи, со слов: «Белинский, как известно, не был поклонником» (с. 41) и кончая словами: «…а также и нескольких отрывков из его писем ко мне» (с. 51), 8 л. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 75; описание см.: *Mazon*, p. 77; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 336.

Беловой автограф, не датированный, без подписи, 32 л. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 75; описание см.: *Mazon*, p. 78; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 337.

Первое прибавление к «Воспоминаниям о Белинском». Черновой автограф. Начало текста, кончая словами: «… до некоторой степени пополняет и исправляет мои воззрения». Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 75; описание см.: *Mazon*, p. 77.

Первое прибавление к «Воспоминаниям о Белинском». Беловой автограф. Хранится в отделе рукописей *ГИМ*, ф. 440, № 1265.

Второе прибавление к «Воспоминаниям о Белинском». Черновой автограф, содержащийся на л. 5 рукописи: «Письмо к редактору по поводу смерти гр. Толстого». Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 86; описание см.: *Mazon*, p. 83.

«Опечатки в статье „Воспоминания о Белинском“». Беловой автограф. Хранится в отделе рукописей *ГИМ*, ф. 440, № 1265.

ВЕ, 1869, № 4, с. 695—729.

$ВЕ_1$ — Вырезка из *ВЕ* (полный текст, с поправками от автора) (*ИРЛИ*, библиотека, Бр. 188/18).

Т, *Соч*, *1869*, ч. 1, с. XXV—LXVIII.

Т, *Соч*, *1874*, ч. 1, с. 27—69.

Т, *Соч*, *1880*, т.1, с. 19—62.

Впервые опубликовано: *ВЕ*, 1869, № 4, с подписью: Ив. Тургенев.

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* со следующими исправлениями:

Стр. 25, строка 5: «торопливой» вместо «торопливо» (по всем другим источникам).

Стр. 27, строки 15—16: «при воспоминании об *этой* правдивости, об *этой* небоязни смешного» вместо «при воспоминании об этой небоязни смешного» (по беловому автографу и *ВЕ*).

Стр. 33, строка 27: «в сочинении стихов» вместо «в сочинениях стихов» (по всем другим источникам).

Стр. 41, строки 33: «и к тому же не новое» вместо «и к тому. же новое» (по всем другим источникам).

Стр. 45, строка 25: «очень понравится» вместо «очень нравится» (по всем другим источникам).

Стр. 47, строка 16: «относился» вместо «относится» (по всем другим источникам).

Замысел очерка о Белинском возник у Тургенева, очевидно, в 1867 году, когда был задуман цикл «Литературных воспоминаний». Однако первоначальным наброском этого очерка следует считать воспоминания Тургенева о Белинском, напечатанные в 1860 году в «Московском вестнике» (№ 3, 23 января), под названием «Встреча моя с Белинским» (наст. том, с. 167). Работая над очерком о Белинском для цикла «Литературных воспоминаний», Тургенев, с одной стороны, развил и более подробно обосновал всё то, что им уже было сказано о критике в 1860 году, а с другой — значительно расширил круг литературных и общественных проблем, подлежащих обсуждению [1].

К наследию Белинского Тургенев обращался в наиболее напряженные периоды общественно-политической борьбы, искал в его статьях подтверждения собственных взглядов. Очерк «Встреча моя с Белинским» появился в условиях ожесточенной полемики между демократами и либералами накануне проведения крестьянской реформы. А в 1867 году имя критика должно было помочь Тургеневу отстоять изложенную им в только что вышедшем романе «Дым» точку зрения на историческую прогрессивность усвоения Россией достижений европейской цивилизации. Готовя «Дым» к отдельному изданию, Тургенев в полемических целях дополнил даже речи Потугина новыми рассуждениями, являвшимися очень близким пересказом некоторых идей Белинского (см. наст. изд., т. 7, с. 526).

«Воспоминания о Белинском» — не только рассказ о событиях двадцатилетней давности, но и живой отклик на общественные и литературные споры, возникшие в России в середине 1860-х годов.

Одним из первых упоминаний о работе над «Воспоминаниями о Белинском» является сообщение Тургенева в письме к М. М. Стасюлевичу от 30 июля (11 августа) 1868 г. о том, что этот очерк может быть опубликован в первом номере «Вестника Европы» за 1869 год. Однако назначенный Тургеневым срок не был выдержан. Работа над «Воспоминаниями о Белинском» была закончена только в начале 1869 года.

---

[1] В состав «Воспоминаний о Белинском» был частично включен также материал двух лекций о Пушкине, прочитанных Тургеневым в Петербурге в 1860 году (см. примеч. на с. 347), и отрывки из писем Белинского к Тургеневу.

Посылая 9(21) февраля 1869 г. рукопись П. В. Анненкову для ознакомления, Тургенев писал: «Вот вам наконец ⟨. . .⟩ статья о Белинском ⟨. . .⟩ Не знаю, как она вышла, но я писал старательно, ⟨. . .⟩ и умиление испытывал немалое ⟨. . .⟩ Сумел ли я схватить физиономию нашего покойного друга — Вы лучше меня можете судить об этом». Тургенев сообщил при этом, что он два раза переписал свой очерк о Белинском: в первый раз, перебеляя черновой автограф, и во второй — изготовляя наборную рукопись, которая и была отправлена Анненкову.

В настоящее время известны значительная часть чернового автографа и полностью — беловой автограф «Воспоминаний о Белинском» [2]. Местонахождение наборной рукописи неизвестно.

Сопоставление чернового и белового автографов свидетельствует о том, что в процессе работы Тургенев ввел в текст воспоминаний новые подробности о жизни и деятельности Белинского, оттеняющие своеобразие и обаяние его личности. На полях чернового автографа Тургенев приписал вставку о характере разговоров, которые вели обычно гости, собиравшиеся у Белинского (см. с. 45, строки 13—21). В черновом же автографе Тургенев сделал позднейшую приписку, в которой сообщалось, что в Зальцбрунне Белинский написал свое знаменитое письмо к Гоголю (с. 48, строки 19—21).

При работе над беловым автографом Тургенев отметил необыкновенную застенчивость и скромность Белинского (см. с. 48, строки 3—4) и воспроизвел некоторые эпизоды из его жизни в Москве, когда начинающий критик испытывал острую нужду и зарабатывал себе на жизнь переводами (с. 49, строка 27). Аналогичные дополнения были сделаны Тургеневым и в наборной рукописи. На этой стадии работы Тургенев добавил подстрочное примечание — рассказ самого Белинского о смешном казусе, происшедшем с ним при таможенном досмотре из-за незнания немецкого языка (с. 48).

Особую группу составляют дополнения, внесенные Тургеневым в текст воспоминаний на разных стадиях работы с полемической целью. Так, текст, содержащий противопоставление Белинскому Д. И. Писарева (с. 32—33, строки 42—35), Тургенев вписал в свои воспоминания уже после того, как работа над черновым автографом была им закончена. Тогда же Тургенев усилил полемический выпад против критиков-демократов, превращающих свои статьи в «пухлые вариации на избитые темы», от которых «так и отдает ученической тетрадью» (с. 44). Здесь же, в беловом автографе, Тургенев придал своему отзыву об эстетических взглядах Чернышевского еще более резкий характер, сказав, что тот предлагает «не новое, подогретое объяснение искусства» (с. 41). В развитие этого утверждения, в наборной рукописи Тургенев добавил фразу, из которой явствует, что мысль об «утилитарности» искусства была высказана еще Белинским, который считал, что всё должно «служить одному принципу, искусство — так же, как наука, но своим, особенным, специальным образом».

Готовя «Воспоминания о Белинском» для напечатания их в цикле «Литературных воспоминаний» в издании 1869 года, Турге-

[2] Свод вариантов чернового и белового автографов см.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*. т. XIV, с. 321—332. Далее варианты, опубликованные в названном издании, приводятся без дополнительного указания страниц публикации.

нев исключил отзывы о семейной жизни Белинского (см. варианты прижизненных изданий к с. 54, строки 20—21)[3] и тогда же напечатал «Первое прибавление» к тексту, содержащее отрывок из письма А. Д. Галахова по поводу «Воспоминаний о Белинском» и свой ответ ему.

21 сентября (3 октября) 1869 г. Тургенев писал по этому поводу А. Д. Галахову: «Замечания Ваши на отрывок о Белинском так справедливы, что я позволил себе привести часть Вашего письма в виде прибавления в конце».

При перепечатке «Воспоминаний о Белинском» в издании сочинений 1874 г. Тургенев не внес в их текст никаких изменений. И только спустя десять лет после первой публикации, готовя очерк о Белинском для собрания сочинений 1880 года, он счел необходимым убрать некоторые выпады против покойного уже в то время Н. А. Некрасова. Так, он убрал сказанную с полемической целью фразу о том, что Некрасов был «официальным поэтом английского клуба». Была снята также прежняя ироническая форма упоминания о нем как о «господине» Некрасове (см. варианты прижизненных изданий к с. 26, строка 39 и к с. 53, строки 1—2)[4].

В издании 1880 г. Тургенев исключил и упрек Белинскому в том, что он переоценил «Бедных людей» Достоевского (см. там же, с. 52, строки 37—40). Кроме того, к последнему прижизненному изданию «Воспоминаний о Белинском» Тургенев сделал «Второе прибавление», о необходимости которого он писал М. М. Стасюлевичу еще 8(20) июня 1875 г.

Тургенев придавал большое значение «Воспоминаниям о Белинском», с одной стороны, потому, что свято чтил память о нем[5], а с другой — потому, что надеялся этой статьей возбудить, как он писал 8(20) апреля 1869 г. М. М. Стасюлевичу, «несколько полезных размышлений — особенно в молодом поколении». Поэтому одобрение очерка о Белинском широкой публикой было для него более важным, «чем один литературный успех» (см. письмо к М. М. Стасюлевичу от 24 февраля (8 марта) 1869 г.).

Отправив 9(21) февраля 1869 г. рукопись очерка П. В. Анненкову, Тургенев просил ознакомить с ней друзей и, если те потребуют, внести необходимые исправления.

Анненков был удовлетворен «Воспоминаниями о Белинском» и, судя по ответному письму Тургенева от 24 февраля (8 марта), не сделал никаких критических замечаний. М. М. Стасюлевич также лестно отозвался об очерке и, что было особенно важно для Тургенева, сообщил ему об одобрении воспоминаний «старинными знакомыми Белинского» (см. письмо Тургенева к М. М. Стасюлевичу от 17(29) марта 1869 г.). Воспоминания Тургенева о Белинском понравились и Я. П. Полонскому. Откликаясь на похвалу, Турге-

---

[3] Варианты прижизненных изданий «Воспоминаний о Белинском» см.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XIV, с. 330—332.

[4] Слову «господин» перед именем Некрасова Тургенев придавал особое значение, о чем он предупреждал 9(21) февраля 1869 г. П. В. Анненкова: «Непременно при имени Некрасова ставить слово: „господин"».

[5] Тургенев писал 24 февраля (8 марта) П. В. Анненкову, имея в виду свой очерк о Белинском: «... эта вещь мне ближе приросла к сердцу, чем многие другие, и мне было бы больно думать, что я не сумел передать очерк лица, столь для меня дорогого».

нев писал Я. П. Полонскому 16(28) апреля 1869 г.: «...радуюсь, что моя статья о Белинском тебе понравилась. Многое я бы мог еще высказать — но с меня уже довольно и того, что она вызывает на мысли, будит их». Герцен, очевидно, сообщил Тургеневу свое мнение об этой работе в личной беседе, когда тот в начале апреля н. ст. 1869 г. был в Лондоне (см.: *Герцен*, т. 30, кн. 1, с. 79). По косвенному отзыву Герцена в письме к Н. П. Огареву от 2—4 мая (20—22 апреля) 1869 г. можно сделать вывод, что воспоминания Тургенева его не удовлетворили и что ему хотелось бы самому написать о критике (см.: *Герцен*, т. 30, кн. 1, с. 104).

Включение в воспоминания о Белинском отрывков из его писем к Тургеневу сильно взволновало Н. А. Некрасова. Он написал четыре варианта письма к М. Е. Салтыкову-Щедрину (было ли отправлено письмо, неизвестно), в котором, рассказывая о первых годах издания «Современника», категорически утверждал, что «никто, кроме Белинского, не был хозяином содержания журнала» (*Некрасов*, т. 11, с. 136). Кроме того, Некрасов отмечал, что Белинский в более поздних письмах к нему снял те обвинения, которые высказал ранее, и поэтому опубликованные Тургеневым отрывки писем, «будучи сопоставлены один с другим, в значительной степени уничтожают друг друга» (там же, с. 135).

Резко отрицательно откликнулся на «Воспоминания о Белинском» П. А. Вяземский в письме к М. П. Погодину от 23 апреля ст. ст. 1869 г. [6]

Обсуждение «Воспоминаний о Белинском» в печати началось сразу же после выхода в свет апрельского номера «Вестника Европы». Все отклики, за исключением безусловно положительной рецензии В. П. Буренина в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1869, № 98, 9(21) апреля, подпись Z), носили полемический характер.

Н. Н. Страхов на страницах журнала «Заря» упрекал Тургенева за его «западническое», якобы пренебрежительное, отношение к русскому народу. Он писал по этому поводу: «Странная мысль! В воображении г. Тургенева русский народ как будто является столь малым, что для него нужны и деятели несравненно меньшего размера, чем для других народов» (Заря, 1869, сентябрь, с. 212).

Очерк Тургенева о Белинском получил также полемический отклик в черновых записях Достоевского к роману «Бесы». Об этом см.: *Достоевский*, т. 12, с. 168—169 (примеч. Н. Ф. Будановой).

Д. Д. Минаев на страницах журнала «Дело» упрекнул Тургенева в том, что его «Воспоминания о Белинском» похожи скорее на отрывки из его собственной автобиографии [7]. К Д. Д. Минаеву присоединился М. А. Антонович, выступивший в журнале «Космос» (приложение № 1, СПб., 1869) со статьей «Новые материалы для биографии и характеристики Белинского». Подчеркивая, что «главный персонаж в воспоминаниях г. Тургенева о Белинском не Белинский, а сам г. Тургенев», Антонович утверждал, что Чернышевский и Добролюбов, которых Тургенев противопоставлял Белин-

---

[6] См.: Полн. собр. соч. князя П. А. Вяземского. СПб., 1886. Т. 10, с. 265—266.

[7] См.: Несколько слов о воспоминаниях Тургенева о Белинском. Дело, 1869, № 4, отд. II, с. 97; подпись: Аноним.

скому, «стояли нисколько не ниже, если еще не выше» покойного критика (см. указ. источ., с. 85 и 102)[8].

А. Н. Пыпин, высоко оценивший воспоминания Тургенева о Белинском, также отметил впоследствии, что писатель был не объективен по отношению к Чернышевскому и Добролюбову (*ВЕ*, 1875, № 6, с. 592). Тургенев, видимо, признал замечание Пыпина справедливым, о чем свидетельствует его письмо к Стасюлевичу от 8(20) июня 1875 г., хотя и не внес в связи с этим в текст воспоминаний никаких исправлений[9].

Свое отношение к проблеме преемственности двух поколений критиков, 1840-х и 1860-х годов, Тургенев выразил в 1880 году в «Речи о Пушкине». Признав закономерным появление нового взгляда на искусство и его роль, Тургенев возражал тем, кто в этом процессе видел результат падения общественных и эстетических идеалов. Он сказал, что художество стало теперь «служить другим началам, столь же необходимым в общественном устроении», и подчеркнул: «...многие видели и видят до сих пор в этом изменении простой упадок; но мы позволим себе заметить, что падает, рушится только мертвое, неорганическое. Живое изменяется органически — ростом»[10].

Особое место в полемике вокруг «Воспоминаний о Белинском» занимало выступление против Тургенева А. А. Краевского. Отводя обвинение в том, что он как издатель «Отечественных записок» эксплуатировал Белинского, Краевский утверждал, что не только покойный критик, но и сам Тургенев пользовался его щедростью[11]. Тургенев написал ответ Краевскому (см. «Письмо в редакцию „С.-Петербургских ведомостей“ от 2(14) мая 1869 г.»), который по настоянию Анненкова не был, однако, опубликован. Краевскому возражали на страницах «С.-Петербургских ведомостей» А. С. Суворин — Незнакомец (1869, № 102, 13(25) апреля) и фельетонист «Одесского вестника» (1869, № 103, 13 мая)[12].

---

[8] В 1878 г. в статье «Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы» Антонович, продолжая полемику с Тургеневым, писал, что в «Воспоминаниях о Белинском» высказана мысль, якобы Добролюбов и его друзья «литературу испортили и довели до упадка» (Слово, 1878, № 2, отд. II, с. 77—80).

[9] Об отношении Тургенева к критическим высказываниям А. Н. Пыпина см.: Никонова Т. А. «Воспоминания о Белинском». Из истории полемики вокруг очерка Тургенева.— *Т сб*, вып. 3, с. 125—134.

[10] Об этом см.: Никонова Т. А. «Воспоминания о Белинском» и «Речь о Пушкине». Тургенев о преемственности в развитии русской критики.— *Т сб*, вып. 5, с. 276—280; Мостовская Н. Н. Чернышевский на страницах журнала «Вестник Европы» в 70—80-е годы.— В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, вып. 7. Саратов, 1975, с. 109—120.

[11] См.: Голос, 1869, № 100, 10(22) апреля: «„Воспоминания о Белинском“ и литературные сплетни И. С. Тургенева».

[12] В связи с возникшим в печати обсуждением взаимоотношений Белинского с Краевским и Некрасовым «С.-Петербургские ведомости» опубликовали письмо Белинского к В. П. Боткину, в котором подробно освещалось положение дел в редакциях «Отечественных записок» и «Современника» (см.: *СПб Вед*, 1869, 10(22) и 11(23) июля, № 187 и 188; ср.: *Белинский*, т. 12, с. 403—423).

С т р. 21. *Личное мое знакомство с В. Г. Белинским началось в Петербурге летом 1843 года...*— Тургенев познакомился с Белинским в феврале 1843 года (см. с. 409).

...времен «Арзамаса»...— Литературный кружок «Арзамас» существовал в Петербурге с 1815 по 1818 г.

...сплетня и до сих пор не совсем утратила свое значение...— Эта же мысль высказана Тургеневым в набросках к «Дыму»: «Сплетня — главный характер нашего русского современного общества» (наст. изд., т. 7, с. 514).

...выгнанный из университета тогдашним попечителем Голохвастовым...— Белинский был исключен из университета в сентябре 1832 г. по предложению помощника попечителя Московского учебного округа Д. П. Голохвастова. Формальным поводом к исключению послужила продолжительная болезнь будущего критика, помешавшая ему вовремя сдать переводные экзамены. Просьба о перенесении экзаменов на осень была отклонена (см.: *Лит Насл*, т. 56, с. 400—404).

...какой-то циник, бульдог, призренный Надеждиным с целью травить им своих врагов...— См. примечание к с. 168.

...называли его «Беллынским».— Настоящая фамилия В. Г. Белинского, измененная в свидетельстве о рождении, полученном при поступлении в университет, была — Белынский (от села Белыни в Нижнеломовском уезде Пензенской губернии, где родился отец критика). См.: Н е ч а е в а В. С. В. Г. Белинский. Начало жизненного пути и литературной деятельности. М., 1949, с. 39—40; *Лит Насл*, т. 57, с. 30—31.

...издатель почти единственного тогдашнего толстого журнала...— А. А. Краевский, издатель «Отечественных записок».

С т р. 22. *Стихотворения Бенедиктова появились в 1836 году...*— Тургенев имеет в виду первую книгу стихов Владимира Бенедиктова, вышедшую не в 1836, а в 1835 году.

...восторгался «Утесом», «Горами» и даже «Матильдой...» — Стихотворение «Утес» Белинский цитировал в статье, посвященной разбору стихотворений Бенедиктова (Телескоп, 1835, т. 27, № 11), указав при этом: «Где-то было сказано, что в стихотворениях г. Бенедиктова владычествует мысль: мы этого не видим. ⟨. . .⟩ где же он хочет выразить мысль, то или бывает слишком темен, или становится холодным ритором» (*Белинский*, т. 1, с. 362). Матильдой Тургенев назвал — по имени героини — стихотворение «Наездница». Точное название стихотворения «Горы» — «Горные выси». Оно вошло во вторую книгу стихов Бенедиктова (1838) и в 1835 году, когда появилась статья Белинского, еще не было известно.

...но в глубине души что-то продолжало шептать мне, что о н б ы л п р а в...— О своей реакции на уничтожающий отзыв Белинского о стихотворениях Бенедиктова Тургенев вспоминал еще в 1856 году. 16, 23 декабря 1856 г. (28 декабря 1856 г., 4 января 1857 г.) он писал Л. Н. Толстому: «Кстати, знаете ли Вы, что я *целовал* имя Марлинского на обертке журнала — плакал, обнявшись с Грановским, над книжкою стихов Бенедиктова — и пришел в ужасное негодование, услыхав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку?» Тут же Тургенев определил и историческое значение полемических выступлений Белинского: «Дело шло о ниспровержении целого направления, ложного и пустого, дело шло об разрушении авторитета, мнимой силы и величавости. ⟨. . .⟩ благодаря той статье

Б⟨елинского⟩ о Марлинском — да еще двум-трем таким же — о Бенедиктове и др.,— утверждал Тургенев,— мы пошли вперед».

...Я в самый день отъезда ⌇ сходил к Белинскому...— В момент выхода в свет «Параши» Тургенева в Петербурге не было. Экземпляр книги передал Белинскому брат писателя, Николай Сергеевич Тургенев. Об этом см.: Чернов Николай. «Первая песенка поется зардевшись...» — Огонек, 1973, № 39, с. 11; см. также: наст. изд., т. 1, с. 461—462.

Стр. 22—23. *...прочел в ней длинную статью Белинского ⌇ так благосклонно отозвался обо мне...*— В статье о «Параше» (*Отеч Зап*, 1843, № 5, отд. VI, с. 1—11) Белинский писал, что стих поэмы обнаруживает в ее авторе «необыкновенный поэтический талант», а «верная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная из тайника русской жизни, изящная и тонкая ирония, под которою скрывается столько чувства,— всё это показывает в авторе, кроме дара творчества, сына нашего времени, носящего в груди своей все скорби и вопросы его» (*Белинский*, т. 7, с. 78).

Стр. 24. *...покойный Киреевский (И. В.)...*— Иван Васильевич Киреевский (1806—1856) — публицист и литературный критик, теоретик славянофильства.

Он вскоре уехал в Москву — жениться, а возвратившись оттуда, поселился на даче в Лесном.— Тургенев смещает события: в июне 1843 г. Белинский ездил в Москву делать предложение М. В. Орловой, свадьба с которой состоялась в ноябре того же года в Петербурге. На даче в Лесном Белинский жил с семьей летом 1844 г.

Известный литографический, едва ли не единственный портрет...— Речь идет о портрете работы художника К. А. Горбунова, близкого знакомого Белинского, выполненном в 1843 году (см.: *Лит Насл*, т. 57, с. 364—366).

...«упорствуя, волнуясь и спеша».— Строка из стихотворения Некрасова «Памяти приятеля», написанного в 1853 году, к пятой годовщине смерти Белинского (опубликовано впервые в «Современнике», 1855, № 3, с. 86).

Стр. 25. *...в жилах его текла беспримесная кровь — принадлежность нашего великорусского духовенства...*— Дед Белинского был сельским священником; отец, прежде чем попасть в Медицинскую академию, также прошел курс наук в Тамбовской семинарии.

Стр. 25—26. *...Не будучи знаком ни с одним из иностранных языков ⌇ суждениям и расспросам...*— Тургенев не совсем точно передает факты. Белинский в университете изучал немецкий, французский и английский языки (см.: *Лит Насл*, т. 56, с. 330—332). Французским он овладел настолько, что печатал в 1833—1834 годах в «Телескопе» и «Молве» переводы (см.: *Белинский*, т. 11, с. 98—99). Тем не менее друзья Белинского действительно помогали ему в освоении иностранных источников. Как вспоминал В. А. Панаев, письменные переводы для Белинского делали И. И. Панаев (см.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977, с. 162—163) и Тургенев (см. речь В. А. Панаева на обеде в честь Тургенева 13 марта 1879 года.— *СПб Вед*, 1879, № 74, 16 марта).

Стр. 26. *...усвоил себе ⌇ главные выводы и даже терминологию гегелевской философии, беспрекословно царившей тогда в умах молодежи.*— С общими положениями философии Гегеля Белинский впервые ознакомился по статье Вилльма «Опыт о философии Гегеля», напечатанной в переводе Н. В. Станкевича в № 13—15 «Телескопа» за 1835 год. Освоение сочинений Гегеля, частично в переводах, а

частично в пересказах Станкевича, Бакунина и Каткова, относится к 1836—1838 гг. (см.: Нечаева В. С. В. Г. Белинский. Жизнь и творчество (1836—1841). М., 1961, с. 63—158).

...опиум заставляет спать ᔕ в нем есть снотворная сила...— Слова бакалавра из третьей интермедии комедии Мольера «Мнимый больной» (1673).

Ein guter Mann in seinem dunkeln Drange...— Первая строка из «Пролога на небесах» к «Фаусту» Гёте приведена неточно. У Гёте: «Ein guter Mensch in seinem dunkeln Drange».

Стр. 27. «*Мы не решили еще ᔕ а вы хотите есть*».— Этот эпизод из воспоминаний Тургенева Достоевский вспомнил, когда характеризовал «русского идеалиста» Кириллова. В черновых записях к «Бесам» о нем сказано: «Чутье-то верное (вроде Белинского: сначала решим о боге, а уж потом пообедаем)» (*Достоевский*, т. 11, с. 308 и примеч.— т. 12, с. 365).

Сведения Белинского были не обширны. ᔕ Эстетическое чувство было в нем почти непогрешительно.— По поводу этих разделов очерка Тургенева о Белинском в черновиках «Бесов» сказано: «О, в действительности и в понимании действительных вещей Белинский был очень слаб. Тургенев правду сказал про него, что он знал очень мало даже и научно, но он понимал лучше их всех» (там же, т. 11, с. 73).

Стр. 28. *Сенковский* Осип Иванович (1800—1858), журналист, критик, беллетрист, профессор-востоковед Петербургского университета; печатался под псевдонимом Барон Брамбеус. Для Белинского имя Сенковского было синонимом литературной беспринципности.

Стр. 29. *Лессинг* Готхольд Эфраим (1729—1781), писатель и критик, один из основоположников новой немецкой литературы, боровшийся за ее национальную самобытность и демократизм. Тургенев высоко ценил общественную деятельность Лессинга и считал, что как критик он недостижим (см. письмо Тургенева к Я. Каро от 14(26) декабря 1868 г.).

...смешивал старшего Питта (лорда Чатама) с его сыном, В. Питтом...— В статьях Белинского несколько раз упоминается имя государственного английского деятеля Питта без указания, какого Питта он имеет в виду, Уильяма Питта Старшего, графа Чатама (Pitt; 1708—1778), или Уильяма Питта Младшего (1759—1806). Первый принадлежал к партии вигов, второй — тори.

«*Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...*»— Из «Евгения Онегина» Пушкина (глава 1, строфа V).

...стбит вспомнить хоть Пушкина, который в «Марфе Посаднице» г-на Погодина видел «что-то шекспировское»! — В письме к М. П. Погодину от ноября 1830 г. Пушкин писал: «Марфа имеет европейское высокое достоинство. Я разберу ее как можно пространнее». Тут же Пушкин отметил, что некоторые сцены этой трагедии «достоинства — шекспировского» (*Пушкин*, т. 14, с. 128—129).

Стр. 29—30. ...«*читать между строками*».— Вероятно, Тургенев имеет в виду слова, сказанные Белинским о предисловии Лермонтова к «Герою нашего времени»: «Читая строки, читаешь и между строками...» (*Белинский*, т. 5, с. 455).

Стр. 30. *...выноску, сделанную им в одном из своих годичных обозрений, в которой он, по одной песне о купце Калашникове, появившейся без подписи в «Литературной газете», предрекал великую будущность автора.*— «Выноска», которую имеет в виду Тур-

генев, была сделана Белинским не в «годичном обозрении», а в рецензии на поэму Бернета «Елена» (см.: *Белинский*, т. 2, с. 411). «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» Лермонтова впервые была напечатана не в «Литературной газете», а в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» (1838, № 18).

...прочтя повесть г-на Григоровича ∽ предсказал то движение, тот поворот, которые вскоре потом произошли в нашей словесности?— В статье «Взгляд на русскую литературу в 1846 году» Белинский писал, что очерки крестьянского быта — это блестящая сторона «Деревни» Григоровича, ибо автор ее «обнаружил тут много наблюдательности и знания дела и умел выказать то и другое в образах простых, истинных, верных, с замечательным талантом» (*Белинский*, т. 10, с. 43). Одним из главных участников движения, которое выразилось в обращении русских писателей к изображению жизни крестьян, был сам Тургенев как автор «Записок охотника» (см.: *Орл сб*, 1955, с. 136—150).

...издатель толстого журнала...— А. А. Краевский, «одаренный практическими талантами». Ниже Тургенев упрекал его в эксплуатации Белинского. Об этом см.: с. 44 и примеч. на с. 342.

Стр. 31. *...он не стал бы, например, с ожесточением бранить Кавура, Пальмерстона, вообще парламентаризм...*— *Кавур* (Cavour) Камилло Бензо (1810—1861) — итальянский государственный деятель, за которым, по словам Маркса, шла «вся буржуазная и аристократическая сволочь Италии» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1963, Т. 30, с. 467). Герцен назвал Кавура «гениальным мещанином» (*Герцен*, т. 16, с. 138). *Пальмерстон* (Palmerston) Генри (1784—1865) — английский политический деятель, в 1859—1865 годах — глава кабинета министров. Оценке деятельности Кавура и парламентской формы правления, в связи с чем упоминалось имя Пальмерстона, были посвящены статьи Добролюбова «Два графа» (1860). «Из Турина» (1861), «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» (1861).

Стр. 32. *...у нас, в России, в 1862 году...*— Тургенев ошибся. Статьи Добролюбова о Кавуре были написаны в 1860—1861 годах.

...с свойственным ему практическим пониманием своей роли, сам ограничил круг своей деятельности, сжал ее в известные пределы.— Это место вызвало возражение со стороны А. Н. Пыпина, который в своей монографии писал, что Белинский был скован «внешним, цензурным затруднением. ⟨. . .⟩ Но никогда Белинский (кроме 1837—39 гг.) не думал *сам*, что это и есть самое лучшее положение для его литературной деятельности ⟨. . .⟩ он питал отвращение к „лисьему верчению хвостом“, он рвался говорить о жизни, об обществе, о том, что именно выходило из круга чисто литературной критики» (*ВЕ*, 1875, № 6, с. 584—585). Тургенев согласился впоследствии, что оценка «*этой* стороны характера» Белинского, сделанная А. Н. Пыпиным, вернее его собственной (см. с. 56).

...видел своего преемника ∽ В. Н. Майкова...— Это утверждение Тургенева не подтверждается фактами. Белинский полемизировал с Вал. Майковым по вопросам понимания народности литературы и не сходился с ним в оценке сущности творчества таких писателей, как Достоевский, Гоголь, Кольцов и др. По утверждению Анненкова, сам Тургенев видел в Вал. Майкове возможного преемника Белинского (см. письма П. В. Анненкова к А. Н. Пыпину.— *Лит Насл*, т. 67, с. 550).

...этот талантливый молодой человек погиб ∽ точно такой же смертью, какой погиб ∽ Д. И. Писарев.— В. Н. Майков скончался в 1847 г. (24 лет) от разрыва сердца во время купания в Петергофе, Д. И. Писарев утонул в 1868 г. (28 лет) в Дуббельне (ныне — Дубылты, под Ригой).

С т р. 33. *...он сделал мне честь — посетил меня.*— О встрече с Писаревым Тургенев писал М. В. Авдееву 30 марта (11 апреля) 1867 г.: «Писарев, великий Писарев, бывший критик „Русского слова", зашел ко мне — и оказался человеком весьма не глупым и который еще может выработаться...». Подробности разговора Тургенева с Писаревым, происходившего на квартире В. П. Боткина и в его присутствии, см. в изложении Н. А. Островской (*Т сб (Пиксанов)*, с. 94—95).

...вы это сказали н а р о ч н о, с целью.— Речь идет о статье «Пушкин и Белинский» (I. «Евгений Онегин». II. «Лирика Пушкина») (1865). Разбирая в статье «Лирика Пушкина» стихотворение «19 октября» (1825), Писарев писал: «Переведите *торжественный музыкальный аккорд* на общеупотребительный человеческий язык, и вы получите следующий очень удобоисполнимый совет: „Несчастный друг! Когда ты останешься один, то постарайся нализаться за обедом до положения риз, а после обеда завались спать вплоть до следующего утра"» (*Писарев*, т. 3, с. 386).

С т р. 34. *...в известном одном письме...*— В зальцбруннском «Письме к Гоголю» (1847).

...во тьме ночной/Вскормил слезами и тоской...— Из поэмы Лермонтова «Мцыри» (1840).

...отрывок из лекции о Пушкине, прочтенной мною в 1859 году...— Две лекции о Пушкине Тургенев прочитал не в 1859, а в апреле 1860 г. в Петербурге, в зале Бенардаки, о чем сообщал И. И. Панаев в фельетонах «Северной пчелы» (1860, № 97, 30 апреля) и «Современника» (1860, № 5, отд. «Современное обозрение», с. 113). Впоследствии в «Заметках Нового поэта» «По поводу похорон Н. А. Добролюбова», подчеркивая большое общественное значение этих лекций, И. И. Панаев писал: «Один из талантливейших наших писателей на своих изящных лекциях о литературе, читанных для самого избранного великосветского общества, в присутствии старых литературных знаменитостей, совершил изумительный подвиг, поставив имя Белинского наряду с именами Пушкина и Гоголя!! Об этом говорил некогда весь город» (*Совр*, 1861, № 11, отд. «Современное обозрение», с. 70; см. еще: П а н а е в И. И. Литературные воспоминания. М., 1950, с. 318).

С т р. 35. *...назвать л о ж н о в е л и ч а в о й ш к о л о й...*— Резкая критика произведений представителей этой школы содержалась в статьях Тургенева «Смерть Ляпунова. Драма в пяти действиях в прозе. Соч. С. А. Гедеонова» (1846) и «Генерал-поручик Паткуль. Трагедия в пяти действиях, в стихах. СПб. Сочинение Нестора Кукольника» (1846), написанных в духе общественно-политических и эстетических взглядов Белинского (см. наст. изд., т. 1, с. 236—276 и 506).

...последние глубоко художественные произведения Пушкина...— К числу произведений, не опубликованных при жизни Пушкина, относятся: «Медный всадник», «Каменный гость», «Русалка», «Дубровский», «История села Горюхина», «Египетские ночи» и проч., а также бóльшая часть стихотворений 1830-х годов.

...силы байронического лиризма, который уже являлся у нас однажды...— Тургенев, вероятно, имеет в виду творчество И. И. Козлова и других подражателей Байрону 1820-х годов XIX в.

...внимание наших Маколеев...— Маколей (Macaulay) Томас Бабингтон (1800—1859) — английский историк, публицист и государственный деятель, автор «Истории Англии» (1849—1861).

С т р. 36. *...малороссийский учитель с своей грозной комедией...*— Речь идет о Гоголе и его комедии «Ревизор» (1836), эпиграфом к которой была взята народная пословица.

...у нас еще не было литературы...— Эта мысль была развита Белинским в статье «Литературные мечтания. (Элегия в прозе)» (1834).

С т р. 36—37. *«Торквато Тассо» Кукольника ᔕ в одно время с «Шинелью».*— Драматическая фантазия «Торквато Тассо» (1833) и трагедия «Рука всевышнего отечество спасла» (1834) Кукольника были наиболее характерными произведениями «ложновеличавой школы».

С т р. 37. *...с жадностью его читающие...*— В 1859—1862 гг. в Москве в издании К. Т. Солдатенкова и Н. М. Щепкина выходило первое собрание сочинений Белинского в 12 частях, редактором которого был Н. Х. Кетчер.

...того московского кружка...— Речь идет о кружке Н. В. Станкевича. Воспоминания Тургенева о Станкевиче см.: наст. изд., т. 5, с. 360—366.

С т р. 38. *...идти по пути, указанному нам Петром Великим, на которого славянофилы бросали тогда свои отборнейшие перуны.*— Славянофилы отрицательно оценивали деятельность Петра I, считая, что реформы, им проведенные, лишили историческое развитие России национальной самобытности. Полемизируя со славянофилами, мечтавшими о «контрреформах», Белинский писал: «Вместо того чтоб думать о невозможном и смешить всех на свой счет самолюбивым вмешательством в исторические судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизменимую действительность существующего, действовать на его основании, руководствуясь разумом и здравым смыслом, а не маниловскими фантазиями» (*Белинский*, т. 10, с. 19).

...стихотворение Льва Пушкина, брата поэта: «Петр Великий»...— Стихотворение «Петр Великий» за подписью Л. П. было опубликовано в «Отечественных записках» (1842, № 7, с. 152—154). Белинский упомянул это стихотворение в числе лучших в обзоре русской литературы за 1842 год (см.: *Белинский*, т. 6, с. 533) именно потому, что в нем, как пояснил критик в письме к В. П. Боткину, есть «что-то энергическое, восторженное и гражданское, есть много смелого...» (*Белинский*, т. 12, с. 111). Белинский не назвал автора стихов. Современные исследователи считают, что если Л. С. Пушкин и принимал участие в создании этих стихов, то только как соавтор поэта М. В. Юзефовича (см.: Н е ч к и н а М. Лев Пушкин в восстании 14 декабря 1825 г.— Историк-марксист, 1936, кн. 3, с. 86; З л о т н и к о в а И. Чей же псевдоним «Л. П.»? — Русская литература, 1965, № 2, с. 212—215).

Принимать результаты западной жизни ᔕ обыкновенно предполагают.— Ср. с этим рассуждение Потугина в «Дыме»: «Кто же вас заставляет перенимать зря? Ведь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вам пригодно: стало быть, вы соображаете, вы выбираете. А что до результатов — так вы не извольте

беспокоиться: своеобразность в них будет в силу самых этих местных, климатических и прочих условий...» (наст. изд., т. 7, с. 273; см. там же примеч. к с. 530—531).

С т р. 39. *...статьи о народных песнях и былинах.*— Белинский написал в 1841 г. четыре статьи о народном творчестве, в которых изложил «общую идею народной поэзии» и дал конкретные оценки былинам, песням и сказкам, собранным в сборниках Кирши Данилова, М. Д. Суханова, И. П. Сахарова (см.: *Белинский*, т. 5, с. 289—450).

С т р. 40. *Человек свистит, хохочет...*— В данном случае Тургенев нарочито сблизил сатирические стихотворения Добролюбова, печатавшиеся в «Свистке» (1859—1861), с «зубоскальством» и «безнравственными выходками» Сенковского, повторив при этом полемические выпады А. И. Герцена против сотрудников «Современника» и «Свистка» в его статье «Very dangerous!!!» (1859) (см.: *Герцен*, т. 14, с. 496).

С т р. 41. *...силы убеждения ∽ афиняне признавали в Перикле, говоря, что каждая речь его оставляла жало в душе каждого слушателя.* — Перикл (ок. 490 г. до н. э.— 429 г. до н .э.) — древнегреческий политический деятель и стратег. Ораторское искусство Перикла было общепризнанным. В данном случае Тургенев, очевидно, имеет в виду характеристику красноречия Перикла, данную афинским драматургом Эвполидом (446—ок. 411 г. до н. э.) в комедии «Демы» («Общины»). Там о Перикле сказано:

Вот мастер говорить был — как никто.
Бывало, выйдет речь сказать к народу,
Так точно в беге славные бойцы,
Он, десять дав шагов вперед, любого
Побьет оратора. Ты называешь
Его проворным. Но при том проворстве
Какой-то дух в губах был убежденья:
Так слушавших обвораживал он словом;
Как жало, речь в сердца впивалась всем

(см. в кн.: Comicorum atticorum fragmenta, ed. Th. Kock, v. 1, Eupolis, «Demi», fr. 94. Leipzig, 1880; перевод цитируется по кн.: Древний мир в памятниках его письменности. М., 1921. Греция. Ч. 2, с. 210).

«Поэт и чернь»...— Тургенев цитирует строки из стихотворения Пушкина, печатавшегося под названием «Чернь» (1828); в современных изданиях — «Поэт и толпа», согласно изменению, внесенному Пушкиным в 1836 г.

...объяснение искусства подражанием природе...— Тургенев полемизирует с Н. Г. Чернышевским как автором диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855). Сам Чернышевский считал, что его понимание сущности искусства коренным образом отличается от теории подражания природе (см.: *Чернышевский*, т. 2, с. 78). Аргумент о преимуществе настоящего яблока перед написанным приведен Чернышевским в авторецензии на «Эстетические отношения искусства к действительности», напечатанной в «Современнике» (1855, № 6, с. 23—51. Ср.: *Чернышевский*, т. 2, с. 100).

С т р. 42. *Живопись он не понимал и музыке сочувствовал очень слабо.*— Приятель Белинского и участник его петербургского кружка, Н. Н. Тютчев, в своих воспоминаниях, написанных в 1874 г., несколько иначе характеризовал отношение критика к живописи. Он писал: «...по части живописи Белинский имел вкус весьма опре-

деленный. Он не придавал особой цены картинам исторического, духовного и аллегорического содержания, но очень любил пейзаж и жанр, реальную, особенно фламандскую, школу — не допуская, впрочем, ничего грубого, обличительного, карикатурного! Он был проникнут глубоким чувством *изящного*, но не любил оставлять реальную почву» (В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977, с. 470).

Н. Н. Тютчев и др. мемуаристы отмечали также, что Белинский любил песни Шуберта и что его глубоко трогали некоторые арии из опер Мейербера и Доницетти (см. там же, с. 473—474 и 177). Сам Белинский писал в одном из писем В. П. Боткину: «Бывают минуты, когда душа моя жаждет звуков» (*Белинский*, т. 11, с. 446). Критик считал, что «музыка есть великое искусство, которое возвышает, облагораживает душу, развивает в ней бесконечный внутренний мир» (там же, т. 4, с. 86).

Статьи Гоголя об Иванове и Брюллове...— Речь идет о статье Гоголя «Последний день Помпеи» (1834) и о письме из «Выбранных мест из переписки с друзьями» под названием «Исторический живописец Иванов» (1846) (см.: *Гоголь*, т. 8, с. 108—109 и 331—337). Точка зрения Тургенева на творчество этих художников изложена в очерке «Поездка в Альбано и Фраскати» (см. в этом томе с. 75).

Хор чертей в «Роберте Дьяволе»...— «Роберт Дьявол» — опера Джакомо Мейербера (1791—1864).

Пение Рубини потрясало его...— Рубини Джованни Баттиста (1795—1854) — итальянский певец. В письме к В. П. Боткину от 30 апреля ст. ст. 1843 г. Белинский писал: «Слушал я третьего дня Рубини (в „Лючии Ламмермур“) — страшный художник — и в третьем акте я плакал слезами, которыми давно уже не плакал. Сегодня опять еду слушать ту же оперу» (*Белинский*, т. 12, с. 158).

...воспоминание об игре Мочалова в «Гамлете»...— Об этом Белинский писал в 1838 г. в статье «„Гамлет“. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (*Белинский*, т. 2, с. 322).

...его комедию «Пятидесятилетний дядюшка»...— Драма Белинского в пяти действиях «Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь» была опубликована в «Московском наблюдателе» (1839, № 3) и поставлена в Москве в бенефис М. С. Щепкина (27 января ст. ст. 1839 г.).

С т р. 42—43. *...статью о Менцеле он себе простить не мог ∽ Существовала еще статейка о Бородинской годовщине.*— См. далее с. 409.

С т р. 43. *«Наполеон — кверху ногами поставленный Карл Великий».*— Это выражение употребил Герцен в «Письмах об изучении природы».— *Отеч Зап*, 1845, № 4 (см.: *Герцен*, т. 3, с. 117). Извлеченные из контекста, эти слова были высмеяны фельетонистом «Северной пчелы» (1845, № 106, 12 мая), против чего возражали «Отечественные записки» (1845, № 6, отд. «Смесь», с. 115).

С т р. 44. *Он занимал квартиру в нижнем этаже на Фонтанке*...— См. примеч. к с. 167.

Цензор Ф.— Андрей Иванович Фрейганг (р. 1806) служил в Петербургском цензурном комитете с 1848 по 1854 г. В одном из писем к В. П. Боткину Белинский жаловался, что «осел Фрейганг» в его статье во многих местах зачеркнул выражение «всеобъемлющий Гёте», говоря, что «этот эпитет божий, а не человеческий» (*Белинский*, т. 11, с. 451). Тургенев называл А. И. Фрейганга Цербером (см. письмо к А. А. Краевскому от 10(22) июля 1855 г.).

Стр. 45. *...какое-нибудь место из Жорж Занда или П. Леру.* — Жорж Санд — псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван (Dudevant; 1804—1876), проповедовавшей в своих романах идеи утопического социализма. Пьер Леру (Leroux; 1797—1871) — французский философ и социалист-утопист, один из основателей христианского социализма, с 1841 г. издавал совместно с Ж. Санд журнал «Revue Indépendante», который регулярно получали в Петербурге. Идеями социалистов-утопистов Белинский увлекался в 1842—1845 гг. В последние годы жизни он весьма критически отзывался и о Жорж Санд, и о Леру (см.: Идеи социализма в русской классической литературе. Л., 1969, с. 133—135).

...под именем Петра Рыжего... — «Roux» по-французски рыжий; отсюда Pierre Leroux — Петр Рыжий.

А. Н. С. — Александр Николаевич Струговщиков (1808—1878) — поэт и переводчик. Тургенев цитировал Белинскому строку из стихотворения Гёте «Рифмоплета нет такого» («Keinen Reimer wird man finden...», 1814), которое входит в «Книгу уныния» («Buch des Unmust») из цикла «West-Oestlicher Divan» (1814—1827).

Стр. 46. *...для большого затеянного им альманаха.* — Уйдя из «Отечественных записок», Белинский намеревался издать литературный альманах «Левиафан», для которого ему обещали свои произведения Некрасов, Тургенев, Достоевский, Панаев и др. (см.: *Белинский*, т. 12, с. 254—255). Материалы, собранные для этого альманаха, Белинский передал редакции «Современника» (см.: Ванюшина М. А. Белинский в работе над организацией альманаха «Левиафан» в 1846 г. — Уч. зап. Саратов. ун-та. Саратов, 1952, т. 31, с. 263—276).

...письма Белинского ∽ небольшие отрывки из них читатели найдут ниже. — В выборе «отрывков» Тургенев не был объективен. Он опустил те места из писем Белинского, где критик либо хвалил поэзию Некрасова (*Белинский*, т. 12, с. 336), либо, оправдывая Некрасова, писал о том, что чувствует себя в редакции «Современника» полным хозяином и что материальное обеспечение, которое он получает, его вполне устраивает (там же, с. 344). О роли Белинского в редакции «Современника» см.: Дементьев А. Г. Очерки по истории русской журналистики. М.; Л., 1951, с. 241—336; Кийко Е. И. Белинский в «Современнике». — Уч. зап. ЛГУ, 1954, № 171, серия филол. наук, вып. 19, с. 90—119. Кроме того, Тургенев опустил лестные отзывы Белинского о нем самом (*Белинский*, т. 12, с. 334) и о первых рассказах «Записок охотника» (там же, с. 336).

...после первого приветствия, сделанного моей литературной деятельности ∽ охладел к ней... — Первая рецензия Белинского на произведения Тургенева была посвящена его поэме «Параша» (*Отеч Зап*, 1843, № 5) (см.: *Белинский*, т. 7, с. 65). В 1848 г. Белинский был более сдержан в оценке поэтического творчества Тургенева, что объяснялось изменением его взгляда на характер дарования писателя. Критик считал в это время, что только в «Записках охотника» талант Тургенева «обозначился вполне» (*Белинский*, т. 10, с. 344—345).

...очерк, озаглавленный «Хорь и Калиныч» ∽ Успех этого очерка побудил меня написать другие... — О возникновении цикла рассказов «Записки охотника» см. в наст. изд. т. 3, с. 399—406.

Но читатель увидит из тех же писем Белинского ∽ особенных надежд на меня не возлагал. — Тургенев не точен. В письме к автору «Записок охотника» Белинский писал: «Судя по „Хорю“, Вы далеко

пойдете. ⟨. . .⟩ Еще раз: не только „Хорь“, но „Русак“ обещает в Вас замечательного писателя в будущем» (*Белинский*, т. 12, с. 336).

Стр. 47. ...*рекомендовал и выводил в люди Некрасова*...— В 1843 году, обратив внимание на рецензии Некрасова, печатавшиеся в «Литературной газете», Белинский пригласил его к себе и познакомил с ближайшими своими друзьями (см.: *Лит Насл*, т. 49—50, с. 164).

...*к славянофилам он всю жизнь относился враждебно*...— Отмечая слабые стороны положительной программы славянофилов и отвергая их мистические предчувствия «победы Востока над Западом, которых несостоятельность слишком ясно обнаруживается фактами действительности», Белинский в то же время признавал, что в критике славянофилами русского европеизма есть много дельного, «с чем нельзя не согласиться, хотя наполовину» (*Белинский*, т. 10, с. 17). Комментируемое утверждение Тургенева полемично по отношению к высказанным уже в печати предположениям, что «если б Белинский прожил еще год, он бы сделался славянофилом...» (*Достоевский*, т. 19, с. 149; см. там же, т. 21, с. 384).

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий математик и философ.

Стр. 48. ...*написал ему письмо*...— Имеется в виду знаменитое зальцбруннское письмо Белинского к Гоголю. Историю создания и распространения этого, одного «из лучших произведений бесцензурной демократической печати» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 94) см. в исследовании Ю. Г. Оксмана «„Письмо Белинского к Гоголю“ как исторический документ» (Уч. зап. Сарат. ун-та, 1952, т. 31, с. 111—204).

...*писал он одному приятелю в Париж*...— Тургенев излагает эпизод, подробно рассказанный Белинским в письме к Анненкову от 17(29) сентября 1847 г. (см.: *Белинский*, т. 12, с. 398—399).

Стр. 49. ...*взялся перевести роман Поль-де-Кока*...— Роман Поль де Кока «Магдалина» был переведен Белинским в октябре—ноябре 1832 г. (см.: *Лит Насл*, т. 57, с. 255). За перевод, вышедший в свет в 1833 г. под инициалами В. Б., Белинский получил «едва ⟨. . .⟩ сто рублей ассигнациями» (*Белинский*, т. 11, с. 93).

Стр. 50. ...*дочь тверского помещика Б-на.* ∽ *она скоро умерла.*— Белинский был влюблен в Александру Александровну Бакунину (1816—1882), у которой в это время был роман с В. П. Боткиным; умерла ее старшая сестра Любовь Александровна Бакунина (1811—1838). Историю создания «Уездного лекаря» см.: *Орл сб*, 1960, с. 60—75.

...*грустная история с девушкой из простого звания*...— Об этом Белинский рассказывал в письмах к В. П. Боткину и Н. В. Станкевичу (*Белинский*, т. 11, с. 359, 410). О творческом преломлении характерных черт личности Белинского и некоторых эпизодов его жизни в рассказе Тургенева «Яков Пасынков» см.: наст. изд., т. 5, с. 403 (примечания Е. И. Кийко).

О небо! Если бы хоть раз ∽ *Я просиял бы и погас!* — Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Как над горячею золой...» (1830).

...*он еще успел быть свидетелем торжества своих любимых, задушевных надежд*...— Тургенев имеет в виду энтузиазм, с которым Белинский встретил начало французской революции 1848 года. Герцен вспоминает в «Былом и думах», что «весть о февральской революции еще застала его в живых, он умер, принимая зарево ее за занимающееся утро!» (*Герцен*, т. 9, с. 34). При этом Белинский

выражал уверенность, что «перевороты» во Франции окажут влияние на «другие государства» (см.: Б е р х А. М. Из знакомства с Белинским.— В кн.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977, с. 573).

...полиция ежедневно справлялась о состоянии его здоровья...— Последние дни жизни Белинский провел в ожидании обыска и ареста (см.: *Белинский*, т. 12, с. 469; *Лит Насл*, т. 57, с. 309; В. Г. Белинский в воспоминаниях современников, с. 475).

A struggle more — and I am free! — У Байрона: One struggle more...— Первая и заглавная строка стихотворения 1811 г. из сборника «Occasional Pieces» (1807—1824).

С т р. 51. ... *«не возвратился еще ни один путешественник»...*— Из «Гамлета» Шекспира (акт III, сцена 1).

...силе Островского...— Отвечая в письме от 24 октября (5 ноября) 1869 г. на вопрос А. Ф. Писемского, не являются ли слова о «силе Островского» искажением журнального текста («Сколько мне помнится, вы этого качества никогда не признавали в Островском»), Тургенев разъяснял: «Вы удивляетесь слову „сила“, употребленному мною при оценке Островского; но это слово в понятии моем относилось не к теперешнему Островскому, автору водянистых исторических драм и т. п.,— а к старому, прежнему Островскому, творцу „Своих людей“ и др. Мне кажется, это слово тут было уместно».

...юмору Писемского...— Тургенев высоко ценил произведения Писемского 1850—1860-х годов и содействовал их переводу на немецкий язык (см., например, письма Тургенева от 27 сентября (9 октября) 1869 г. к Писемскому и от 3(15) декабря 1869 г. к Юлиану Шмидту).

...сатире Салтыкова...— Характеризуя особенности таланта Салтыкова-Щедрина, Тургенев писал ему 30 ноября (12 декабря) 1870 г. в связи с выходом в свет отдельного издания «Истории одного города»: «...эта книга в своем роде драгоценный исторический материал, который ни одним нашим будущим бытописателем обойденным быть не должен. Под своей резко сатирической, иногда фантастической формой, своим злобным юмором напоминающей лучшие страницы Свифта, „История одного города“ представляет самое правдивое воспроизведение одной из коренных сторон российской физиономии». В 1871 г. Тургенев напечатал об этой книге статью в английском журнале «The Academy» (Лондон) (см.: наст. изд., т. 10, с. 262).

...трезвой правде Решетникова...— В письме к П. В. Анненкову от 12(24) января 1869 г. Тургенев отмечал, что он очень высоко ценит творчество Ф. М. Решетникова, который к тому времени уже напечатал повесть «Подлиповцы» (1864), романы «Глумовы» (1866—1867), «Горнорабочие» (1866), а также повести и рассказы. Еще более определенно о своем отношении к Решетникову Тургенев писал 13(25) января того же года А. А. Фету: «Только можно читать, что Л. Толстого — когда он не философствует — да Решетникова. ⟨. . .⟩ *Правда* дальше идти не может».

...одной близкой ему дамы...— Имеется в виду Александра Петровна Тютчева (1822—1887), жена Н. Н. Тютчева, близкого знакомого Белинского и Тургенева. Записка Тургенева к А. П. Тютчевой до нас не дошла. Ее письмо, написанное 11(23) июня 1848 г., Тургенев приводит с некоторыми сокращениями. Полный текст его см.: *Лит Насл*, т. 56, с. 196—197.

С т р. 52. *Вот отрывки из писем Белинского ко мне...*— Полный текст этих писем см.: *Белинский*, т. 12, с. 333—337; 342—346 и 353.

*** получил от К-ра ругательное письмо, но не показал ***.*— Звездочками Тургенев заменил имена И. И. Панаева и Н. А. Некрасова. *От К-ра* — от Кетчера.

С т р. 53. *Я написал к Б. ...*— К В. П. Боткину.

С т р. 54. *К А-ву, к Г-ну* — в подлиннике: к Анненкову, к Герцену.

С т р. 55. *Человек он был!* — Слова Гамлета, сказанные им об отце в разговоре с Горацио (акт 1, сцена 2).

ГОГОЛЬ

(с. 57)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф, 17 л. и «Письмо из Петербурга» — писарская копия, 2 л. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 75; описание см.: *Mazon*, p. 76—77; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 331.

Наборная рукопись, 10 л. Хранится в *ГИМ*, ф. 440, № 1265, л. 148—157.

«Письмо из Петербурга». Беловой автограф, 2 л. Датировано 24 февраля 1852 г. Хранится в *ЦГАОР*, ф. 109, оп. 1852, ед. хр. 92, л. 13—14.

«Н. В. Гоголь» (первоначальное название «Письма из Петербурга»). Корректура *СПб Вед*. Датировано 24 февраля 1852 г. Хранится в *ЦГАОР*, ф. 109, оп. 1852, ед. хр. 92, л. 16.

«Письмо из Петербурга». Публикация в *Моск Вед*, 1852, № 32, 13 марта. Датировано 24 февраля 1852 г. Подпись «Т.......ъ»

Т, *Соч*, *1869*, ч. 1, с. LXIX—LXXXIX.

Т, *Соч*, *1874*, ч. 1, с. 70—90.

Т, *Соч*, *1880*, т. 1, с. 63—83.

Впервые опубликовано: *Т*, *Соч*, *1869*, ч. 1.

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по всем другим источникам:

Стр. 63, *строка 18:* «актеру, исполнявшему» вместо «исполнявшему».

Стр. 70, *строка 19:* «прекрасно переплетенное» вместо «прекрасное, переплетенное».

Стр. 71, *строка 20:* «редкий и непривычный» вместо «редкий, непривычный».

Стр. 71, *строка 25:* «белокурая» вместо «белорукая».

Очерк «Гоголь» был задуман в 1868 г., что явствует из плана, написанного на л. 1 чернового автографа очерка «Вместо вступления» (см. выше, с. 322). Однако первое, и то косвенное, упоминание о работе над очерком содержится в письме к П. В. Анненкову от 24 мая (5 июня) 1869 г.: «Мне нужна копия с моего письма по случаю кончины Гоголя». На основании этого письма можно предположить, что работа над черновым автографом в двадцатых числах мая 1869 г. уже была начата. Трудно сказать, когда именно был закончен

очерк: ни черновой автограф, ни наборная рукопись не имеют даты. В переписке Тургенева также нет упоминаний об этой работе. Но так как очерк появился в первой части Сочинений, вышедшей в ноябре 1869 г., остается предположить, что работа над ним была закончена скорее всего в июле—августе, тем более что 20 сентября (2 октября) Тургенев уже отправил Салаеву последний отрывок из «Литературных и житейских воспоминаний» — очерк «По поводу „Отцов и детей“».

Черновой автограф[1] имеет большое количество вставок, сделанных на полях, перечеркнутых фраз или частей фраз, а также отдельных слов, которые зачеркнуты не один раз, иногда заменены другими. Особенно большую правку Тургенев произвел в разделах, посвященных Жуковскому и Загоскину. С другой стороны, некоторые строки, вошедшие в окончательный текст, появились на дальнейших стадиях работы. Так, слов «оттуда шел этот затхлый и пресный дух», сказанных по поводу влияния на Гоголя «особ высшего полета», в черновом автографе нет. Нет там и слов «Его самого „подхватило“», характеризующих вранье Хлестакова. В черновом автографе нет также строк, в которых говорится о пребывании Тургенева под арестом.

Однако отличия чернового автографа от окончательного текста большей частью заключаются не в отсутствии тех или иных фраз, а в том, что содержит первый слой автографа. В этом отношении представляет значительный интерес первый раздел очерка, посвященный Гоголю. Так, в черновом автографе вместо слов: «от его покатого, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом» первоначально было написано: «покатый белый лоб был попрежнему прекрасен и даже морщин на нем не замечалось». А затем уже появились более близкие к окончательному тексту слова: «покатый белый лоб по-прежнему так и светился умом» (*Т, ПСС и П, Сочинения*, т. XIV, вариант к с. 65, строки 7—8). Вспоминая о первой поездке к Гоголю, Тургенев первоначально писал в черновом автографе «как к больному», а затем, в том же черновике, исправил эти слова на «как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове» (там же, вариант к с. 65, строки 25—27), что существенно меняло смысл всей фразы. Первоначально Тургенев с большей резкостью высказывал свое отношение к цензуре и к позиции Гоголя в этом вопросе (там же, вариант к с. 66, строки 25—28).

Текст наборной рукописи отличается от окончательного незначительными разночтениями.

Сохранившаяся корректура некрологической статьи «Н. В. Гоголь» (первоначальное заглавие «Письма из Петербурга»), набранной для *СПб Вед*, а также беловой автограф под заглавием «Письмо из Петербурга», предназначенный Тургеневым уже для *Моск Вед*, несколько отличается от окончательного текста.

Наиболее существенное отличие корректуры *СПб Вед* от окончательного текста — наличие в ней подстрочного примечания: «Говорят, что Гоголь за одиннадцать дней до своей смерти, когда он с вида, казалось, не был еще болен, начал говорить, что он скоро умрет, и ночью сжег все свои бумаги, так что теперь после него не осталось ни одной строки ненапечатанной» и фразы (имеющейся

---

[1] Свод вариантов чернового и белового автографов см.: *Т. ПСС и П*, *Сочинения*, т. XIV, с. 332—342.

также в беловом автографе): «Если такие люди найдутся, нам жаль их, жаль их несчастья» [2] после слова «неуместными».

В этом очерке Тургенев вспоминает литературные встречи разных лет. И не только с Гоголем — они были, конечно, наиболее значительными. Он рассказывает также о своем знакомстве с М. Н. Загоскиным в годы детства и о встрече с этим писателем незадолго до его смерти; о знакомстве с Жуковским по приезде в Петербург для поступления в столичный университет; об единственной краткой встрече с Крыловым. Наконец, речь идет и о двух встречах с Лермонтовым, которые, к сожалению, не привели к личному знакомству Тургенева с его великим современником.

Тургенев считал себя учеником и последователем Гоголя. В своих литературно-критических статьях, а также в художественных произведениях он постоянно высказывался за развитие гоголевского направления, считая его ведущим в русской литературе. Высланный из Петербурга в Спасское-Лутовиново за некрологическую статью о Гоголе, Тургенев в течение полутора лет вынужденного уединения читал и перечитывал его произведения (см. письмо к С. Т., И. С. и К. С. Аксаковым от 6(18) июня 1852 г.) [3].

В 1855 г. Тургенев полемизировал с представителями «чистого искусства», противопоставлявшими пушкинское направление в русской литературе гоголевскому.

Несомненно, что и Гоголь ценил Тургенева как писателя. Еще 7 сентября 1847 г., после появления в «Современнике» первых очерков, составивших впоследствии книгу «Записки охотника», Гоголь писал П. В. Анненкову: «Изобразите мне также портрет молодого Тургенева, чтобы я получил о нем понятие как о человеке; как писателя я отчасти его знаю: сколько могу судить по тому, что прочел, талант в нем *замечательный* и обещает большую деятельность в будущем» (*Гоголь*, т. 13, с. 385). Об этом же имеется свидетельство С. П. Шевырева в письме к М. П. Погодину 1858 г.: «О Тургеневе я имею письменные доказательства от Гоголя 〈. . .〉 Он его очень любил и на него надеялся» (*Барсуков*, *Погодин*, кн. 16, с. 239—240).

Поэзия Жуковского сыграла значительную роль в литературном развитии Тургенева в годы его детства и ранней юности. В письмах В. П. Тургеневой к сыну не раз встречается имя Жуковского с цитатами из его произведений [4]. В годы пребывания в московском пансионе Тургенев усиленно читал Жуковского, знал наизусть многие строки из его посланий и баллад. Это известно, в частности, из писем его к дяде, Н. Н. Тургеневу, относящихся к марту—апрелю 1831 г. (см.: наст. изд., Письма, т. 1, с. 119—130).

Лермонтов был одним из любимых поэтов Тургенева. Поэзия его оказала воздействие на раннее творчество Тургенева — стихо-

---

[2] В копии «Письма из Петербурга», хранящейся в *ЦГИА* (ф. 777, оп. 2, 1852 г., л. 3), в переписке между петербургским и московским цензурными ведомствами,— «несчастных» (см.: Гаркави А. М. К тексту письма Тургенева о Гоголе.— Уч. зап. ЛГУ, 1955, № 200. Серия филол. наук, вып. 25, с. 233).

[3] См. также: Назарова Л. Н. Тургенев о Гоголе.— Русская литература, 1959, № 3, с. 155—158.

[4] *Житова*, с. 27; Малышева И. Мать И. С. Тургенева и его творчество. По неизданным письмам В. П. Тургеневой к сыну.— *Рус мысль*, 1915, кн. 6, с. 105, 107.

творения и поэмы [5]. «Герой нашего времени» имел большое значение для становления тургеневской прозы 1840-х годов [6].

К 1865 г. относится предисловие Тургенева к французскому переводу поэмы «Мцыри» (наст. изд., т. 10, с. 341).

В 1875 г. Тургенев написал рецензию на английский перевод «Демона», осуществленный А. Стифеном (наст. изд., т. 10, с. 271).

В появившихся в печати отзывах на часть 1 Сочинений Тургенева очерку «Гоголь» не было уделено большого внимания. Д. Свияжский (Д. Д. Минаев), резко иронически отозвавшись о «Литературных воспоминаниях» в целом, упрекал Тургенева, в частности, за внимание к мелочам (описание костюма Гоголя). В заключение он отмечал, однако, что «глава о Гоголе — самая еще любопытная в воспоминаниях г. Тургенева» (Дело, 1869, № 12, с. 49). Суровую оценку получил очерк в журнале «Библиограф», который утверждал: «...где г. Тургенев описывает личность одним внешним образом, там эта личность перед читателем, как живая; где же он вдается в рассуждения по поводу этой личности, тут являются одни фразы вроде: „Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с благоговением — даже, когда не соглашался с ним“» (Библиограф, 1869, № 3, декабрь, с. 14).

С т р. 57. *Меня свел~Щепкин.*— Михаил Семенович Щепкин (1788—1863) — знаменитый актер, друг Гоголя; был близко знаком с Тургеневым. М. А. Щепкин, со слов М. С. Щепкина, сообщает: «...в три часа мы с Иваном Сергеевичем пожаловали к Гоголю. Он встретил нас весьма приветливо; когда же Иван Сергеевич сказал Гоголю, что некоторые произведения его, переведенные им, Тургеневым, на французский язык и читанные в Париже, произвели большое впечатление, Николай Васильевич заметно был доволен и с своей стороны сказал несколько любезностей Тургеневу» (Щ е п к и н М. А. М. С. Щепкин. 1788—1863 гг. Записки его, письма, рассказы, материалы для биографии и родословная. СПб., 1914, с. 374).

...в Москве, на Никитской~у графа Толстого.— На Никитском бульваре (ныне д. 7 по Суворовскому бульвару).— Граф Александр Петрович Толстой (1801—1873) принадлежал к числу наиболее реакционно настроенных знакомых Гоголя. Переписка и беседы с ним, имевшие влияние на Гоголя, сказались на ряде статей книги «Выбранные места из переписки с друзьями».

...вытянув голову~от любопытства публики.— Л. И. Арнольди в очерке «Мое знакомство с Гоголем» указывает на тот же

---

[5] См.: Р о з а н о в И. Н. Отзвуки Лермонтова.— В кн.: Венок Лермонтову. Юбилейный сборник. М.; Пг., 1914, с. 269; О р л о в с к и й С. Лирика молодого Тургенева. Прага, 1926, с. 171; Г а б е л ь М. О. Образ современника в раннем творчестве И. С. Тургенева (поэма «Разговор»).— Учені записки Харківського Держ. Бібліотечного інституту, вып. 4. Питання літератури. Харків, 1959, с. 46—48. Перечень литературы см. также: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 584.

[6] См.: Н а з а р о в а Л. Тургенев и Лермонтов.— Език и литература. София, 1964, № 6, с. 31—36; е е ж е: О лермонтовских традициях в прозе И. С. Тургенева.— Проблемы теории и истории литературы. Сборник статей, посвященных памяти профессора А. Н. Соколова. М., 1971, с. 261—269.

факт: «Многие в партере заметили Гоголя, и лорнеты стали обращаться на нашу ложу.— Гоголь, видимо, испугался какой-нибудь демонстрации со стороны публики, и, может быть,— вызовов...» (*Рус Вестн*, 1862, № 1, с. 92).

Ф.— Евгений Михайлович Феоктистов (1829—1898) — литератор, журналист и историк, в 1850-х годах сотрудничавший в «Московских ведомостях», «Современнике» и «Отечественных записках»; впоследствии начальник Главного управления по делам печати (см. о нем: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. II, указатель имен, с. 694).

Я раза два встретил его тогда у ∽ Е-ной.— Имеется в виду Авдотья Петровна Елагина (1789—1877), по первому мужу Киреевская, племянница В. А. Жуковского, мать П. В. и И. В. Киреевских, с которыми Тургенев был хорошо знаком (имение Киреевских находилось неподалеку от Белева). Литературный салон Елагиной был широко известен в Москве в 1830—40-х годах [7].

С т р. 58. *О «Переписке с друзьями» я сам не упомянул бы, так как ничего не мог сказать о ней хорошего.*— Книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» вышла в 1847 г. В ряде писем Тургенева содержатся косвенные, но всегда отрицательные отзывы о ней. В частности, 21 апреля (3 мая) 1853 г. Тургенев писал Анненкову, имея в виду второй том «Мертвых душ», что в нем Гоголь стремился к смягчению тех «жестокостей», которые были присущи первому тому поэмы, и хотел «загладить их в смысле „Переписки“».

С т р. 59. *«Si servi∽frementi»...*—Какому из итальянских поэтов принадлежит приведенный стих, не установлено.

...особ высшего полета, которым посвящена большая часть «Переписки»...— Имеются в виду граф А. П. Толстой (см. примеч. к с. 57), графиня Луиза Карловна Виельгорская, жена Мих. Ю. Виельгорского, Александра Осиповна Смирнова, рожд. Россет (1809—1882) — жена калужского, потом петербургского губернатора Н. М. Смирнова. Тургенев весьма отрицательно относился к А. О. Смирновой (см. письмо к П. В. Анненкову от 6(18) октября 1853 г.). В главе XXV «Отцов и детей», вспоминая об А. О. Смирновой, писатель вложил в уста Базарова следующие слова: «С тех пор, как я здесь, я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше» (наст. изд., т. 7, с. 161).

...заграничном издании ∽ в отступничестве от прежних убеждений.— Имеется в виду статья А. И. Герцена «О развитии революционных идей в России», которая вышла отдельной брошюрой на французском языке в 1851 г. в Париже. Полемизируя со славянофилами, Герцен писал о Гоголе: «Он начал защищать то, что прежде разрушал, оправдывать крепостное право и в конце концов бросился к ногам представителя „благоволения и любви“. Пусть поразмыслят славянофилы о падении Гоголя ⟨. . .⟩ От православного смиренномудрия, от самоотречения, растворившего личность человека в личности князя, до обожания самодержца — только шаг» (*Герцен*, т. 7, с. 248). Гоголь, болезненно переживавший фиаско «Выбранных мест из переписки с друзьями», был очень задет отзывом Герцена.

...оказал бы ему издатель, если б выкинул ∽ те, которые писаны к светским дамам...— Речь идет, в частности, о письмах к княжне

[7] См. также: Р а б к и н а Н. И. С. Тургенев в салоне Елагиной.— Вопросы литературы, 1979, № 1, с. 314—316.

В. Н. Репниной, Н. Н. Шереметьевой и А. О. Смирновой, впервые опубликованных в тт. 5 и 6 Сочинений и писем Н. В. Гоголя, изд. П. А. Кулиша, СПб., 1857.

Стр. 60. *...речь шла о необходимости повиновения властям и т. п.*— Вероятно, имеется в виду статья Гоголя «О преподавании всеобщей истории» (1832).

Дня через два происходило чтение «Ревизора»...— Г. П. Данилевский в очерке «Знакомство с Гоголем» указывает, что это чтение состоялось позднее, 5 ноября 1851 г., усматривая у Тургенева неточность (*ИВ*, 1886, № 12, с. 484).

Стр. 62. *...не все актеры, участвовавшие в «Ревизоре», явились на приглашение ᔕ Ни одной актрисы также не приехало.*— По свидетельству Г. П. Данилевского, на чтении «Ревизора» присутствовали С. Т. и И. С. Аксаковы, С. П. Шевырев, И. С. Тургенев, Н. В. Берг, М. С. Щепкин, П. М. Садовский, С. В. Шумский (там же).

Стр. 63. *...очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литератор...*— Речь идет о Григории Петровиче Данилевском (1829—1890) — беллетристе, чье творчество встречало отрицательное отношение со стороны Тургенева (см. его рецензию на «Слобожан» Данилевского — наст. изд., т. 4, с. 523, 677) и прогрессивной критики 1850—1860-х годов.

...где Хлестаков завирается...— «Ревизор», действие третье, явл. VI.

...по милости непрошенного литератора ᔕ втерся за ним в его кабинет.— Тургенев был неправ. Данилевский писал В. П. Гаевскому: Гоголь «приглашал третьего дня меня, Тургенева и некоторых актеров на вечер и читал нам своего „Ревизора", а потом, когда все ушли, прочел со мною новую, здесь написанную мною „Запорожскую думу" (в рифмах), поправлял ее сам и до трех часов ночи говорил со мною о литературе и о многом, многом» (*ГПБ*, ф. 171, архив В. П. Гаевского, № 102, л. 11—11 об.— сообщил Е. В. Свиясов). Позднее, в 1872 году, Я. П. Полонский писал Тургеневу, что Г. П. Данилевский собирается «рано или поздно ⟨. . .⟩ отомстить ⟨. . .⟩ за клевету (т. е. за рассказ у Гоголя)» (*Звенья*, т. 8, с. 168).

Стр. 64. *...заметил И. И. Панаева...*— Иван Иванович Панаев (1812—1862) — беллетрист, фельетонист, сатирический поэт, соредактор журнала «Современник», мемуарист.

Он умер, пораженный в самом цвете лет...— Гоголь скончался, не достигши 43 лет.

Стр. 65. *...самые зрелые плоды его гения ᔕ слухам об их истреблении...*— 4 марта 1852 г. Тургенев писал П. Виардо: «За десять дней до смерти он ⟨Гоголь — *ред.*⟩ предал всё сожжению, и, совершив это нравственное самоубийство, слег, чтобы уже не вставать более» (*T*, *Nouv corr inéd*, t. 1, p. 64: Зильберштейн И. Тургенев. Находки последних лет.— Литературная газета, 1972, № 17, 26 апреля).

Стр. 66. *Я препроводил эту статью в один из петербургских журналов...*— Речь идет о «С.-Петербургских ведомостях» (см. письмо к Е. М. Феоктистову от 26 февраля (9 марта) 1852 г.), в которых статья Тургенева о Гоголе не появилась, так как была запрещена петербургской цензурой.

Закревский ᔕ присутствовал...— Арсений Андреевич Закревский (1783—1865) — московский военный генерал-губернатор с 1848 по 1859 г. Е. М. Феоктистов сообщал Тургеневу 25 февраля

(8 марта) 1852 г.: «Вся Москва решительно была на похоронах ⟨. . .⟩ Закревский и пр. были в полных мундирах...» (*Лит Насл*, т. 58, с. 743). Появление Закревского не было, однако, знаком уважения к памяти Гоголя, так как, по свидетельству современника, он его никогда не читал (*Барсуков*, *Погодин*, кн. 11, с. 538).

...из Москвы ∾ письмо, наполненное упреками...— В дошедших до нас письмах Е. М. Феоктистова и В. П. Боткина, с которыми Тургенев делился своими чувствами и размышлениями, вызванными смертью Гоголя, никаких обращений к Тургеневу с просьбой написать статью о Гоголе не содержится.

...приятелю ∾ запрещенную статью.— 26 февраля (9 марта) 1852 г. Тургенев писал Е. М. Феоктистову о том, что свои «несколько слов» о смерти Гоголя, написанные им для «С.-Петербургских ведомостей», он отправляет ему в Москву «при сем письме, в неизвестности — пропустит ли их и не исказит ли их цензура».

...попечителя Московского округа — генерала Назимова...— Владимир Иванович Назимов (1802—1874) был и председателем Московского цензурного комитета (1849—1855).

...был посажен ∾ в части...— Тургенева арестовали и подвергли заключению «на съезжей 2-й Адмиралтейской части», помещавшейся близ Театральной площади, на углу Офицерской улицы и Мариинского переулка; дом не сохранился, он стоял на участке, занятом ныне домами 30 и 28 по улице Декабристов (см.: Литературные памятные места Ленинграда. Л., 1976, с. 356).

...отправлен на жительство в деревню.— Тургенев был освобожден из-под ареста 16(28) мая и выехал в ссылку в Спасское-Лутовиново (через Москву) 18(30) мая 1852 г.

...покойный Мусин-Пушкин ∾ и никакого с ним объяснения не имел.— Михаил Николаевич Мусин-Пушкин (1795—1862) — председатель Петербургского цензурного комитета и попечитель Петербургского учебного округа. В своем дневнике цензор А. В. Никитенко 20 марта ст. ст. 1852 г. отметил, что еще до представления статьи Тургенева в цензуру «председатель цензурного комитета объявил, что не будет пропускать статей в похвалу Гоголя, „лакейского писателя“. Он запретил и представленную ему редактором „С. П⟨етербургских⟩ ведомостей“ статью, но без всяких формальностей, так что этого запрещения и нельзя было счесть официальным. Тургенев, увидя в этом просто прихоть председателя, отправил свою статью в Москву, где она и явилась в печати. В повелении сказано, что „несмотря на объявленное помещику Тургеневу запрещение его статьи, он осмелился“ и пр. Вот этого-то объявления и не было. У Тургенева не требовали никаких объяснений; его никто не допрашивал, а прямо подвергли наказанию. Говорят, что Булгарин своим влиянием на председателя цензурного комитета и своими внушениями ему всех больше виновен...» (*Никитенко*, т. 1, с. 351).

Стр. 67. *...он преподавал (!) историю в С.-Петербургском университете.*— Гоголь был приглашен для преподавания истории, древней и средневековой, в 1834 г.

...что он ничего не смыслит в истории...— Это мнение Тургенева несправедливо. Гоголь знал и любил историю, но не обладал даром педагога и лектора. Кроме того, следует иметь в виду, что его лекции встречали организованную оппозицию со стороны реакционной профессуры (см.: Мордовченко Н. И. Гоголь в Петербургском университете.— Уч. зап. ЛГУ. Серия филол. наук.

1939, вып. 3, № 46, с. 355—359; А й з е н ш т о к И. Я. Н. В. Гоголь и Петербургский университет.— Вест. Ленингр. ун-та, 1952, № 3, с. 17—38; Г и л л е л ь с о н М. И., М а н у й л о в В. А., С т е п а н о в А. Н. Гоголь в Петербурге. Л., 1961, с. 128—139).

Спрашивал студентов за него профессор И. П. Шульгин.— Иван Петрович Шульгин (1795—1869) — профессор Петербургского университета, автор учебных пособий по всеобщей и русской истории. Н. М. Колмаков, учившийся вместе с Тургеневым, вспоминал: «Отъезд Гоголя и оставление им лекций были неожиданными и отразились на нас весьма неблагоприятно. Профессор Шульгин на экзамене задавал нам такие вопросы, которые вовсе не входили в программу лекций Гоголя 〈. . .〉 Ответ Тургенева не понравился Шульгину 〈. . .〉 он стал задавать Тургеневу другие вопросы по части хронологии и, разумеется, 〈. . .〉 достиг своего: Тургенев сделал ошибку и получил неодобрительную отметку. Засим и кандидатство его улыбнулось» (*Рус Ст*, 1891, № 5, с. 461—462). Именно от Шульгина получил затем Тургенев «изустное разрешение» снова посещать лекции (см. его прошение на имя ректора Петербургского университета от 11(23) мая 1837 г.— наст. изд., Письма, т. 1, с. 342). Подробнее об этом см.: Г р о м о в В. А. Гоголь и Тургенев. 1. Тургенев — слушатель лекций Гоголя по истории.— *Т сб*, вып. 5, с. 354—356.

«Непризнанный, взошел я на кафедру — и непризнанный схожу с нее!» — Неточная цитата из письма Гоголя. О том, что он «расплевался с университетом», Гоголь писал М. П. Погодину 6(18)декабря 1835 г., подчеркивая: «Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее» (Сочинения и письма Н. В. Гоголя. Издание П. А. Кулиша. СПб., 1857. Т. 5, с. 246).

С т р. 68. *Начну с Жуковского. Живя — вскоре после двенадцатого года ∽ в Белевском уезде ∽ мою матушку ∽ в ее Мценском имении...*— Посещения В. А. Жуковским В. П. Тургеневой в Спасском-Лутовинове могли быть, видимо, летом и осенью 1814 г. В это время поэт жил то в Муратове (май—июнь), имении Е. А. Протасовой, верстах в 30-ти от Спасского, то (с сентября и до конца года) — у А. П. Киреевской в Долбине, в 40 верстах от имения матери Тургенева (см.: Ч е р н о в Николай. Глава из детства.— Литературная газета, 1970, № 29, 25 июля).

...к нему в Зимний дворец.— В. А. Жуковский жил в Зимнем дворце с конца 1820-х годов как воспитатель наследника, будущего Александра II.

С т р. 69. *...представлялся воображению наших отцов «Певец во стане русских воинов»...*— Жуковский написал это стихотворение в 1812 году, т. е. когда ему было 29 лет.

...старинный приятель нашего семейства ∽ Губарев ∽ в самой тесной связи с Жуковским...— В. И. Губарев и его сестра А. И. Лагривова (Лагривая) (см. наст. том, с. 476) были близкими знакомыми В. П. Тургеневой. Вероятно, в Спасское привозил Жуковского именно В. И. Губарев, который некогда учился вместе с поэтом и братьями А. И. и Н. И. Тургеневыми в Московском университетском благородном пансионе (см.: Дневники В. А. Жуковского. СПб., 1903, с. 350). Позднее, подобно своему отцу, И. А. Губареву, он был в дружеских отношениях с известным деятелем масонства И. В. Лопухиным. Вольтерьянство, возможно, уживалось в В. И. Губареве с сочувствием к масонству. По мнению современного исследователя, Тургенев в 1875 г. наделил чертами внутреннего и

внешнего облика В. И. Губарева одного из своих героев повести «Часы» — дядю Егора, ссыльного вольтерьянца (в первоначальной редакции масона).— См.: Чернов Н. Глава из детства).

Стр. 70. *Жуковский ∽ подарил ему новое ∽ собрание полных сочинений Вольтера.*— 4 июля 1835 г. Губарев писал Жуковскому: «Благодарю вас усердно за ⟨. . .⟩ подарок Вольтера; — я один в сем мире чувства истинного уважения к Вам сохраню до гроба» (*ИРЛИ*, 28024. СС1б.70).

...некогда Фридрих Великий в Сан-Суси...— Фридрих II (1712—1786) — прусский король с 1740 г. Sans-Souci (Сан-Суси) — дворец и парк в Потсдаме, недалеко от Берлина, постоянная резиденция Фридриха II.

...у одного чиновного, но слабого петербургского литератора.— Возможно, речь идет о В. И. Карлгофе (см. примеч. на с. 334).

...даже не поворачивал ∽ под нависшими бровями.— Аналогичный, но более развернутый, с большим количеством деталей словесный портрет Крылова Тургенев создал несколько позднее, в 1871 году, в предисловии к переводу его басен на английский язык, осуществленному В. Р. Рольстоном (наст. изд., т. 10, с. 266).

Стр. 71. *У княгини Ш...ой...*— Речь идет о княгине Софии Алексеевне Шаховской, рожд. графине Мусиной-Пушкиной (1790—1878). Со своим мужем, князем Иваном Леонтьевичем Шаховским, генералом, участником Отечественной войны 1812 года, она жила в двухэтажном доме на Пантелеймоновской улице (ныне д. 11 по ул. Пестеля; 3-й и 4-й этажи надстроены в 1860-х годах [8]). Шаховские — соседи Тургеневых; их имение — Большое Скуратово Чернского уезда — находилось недалеко от Спасского-Лутовинова (см.: Пузин Н. П. Тургенев и Н. Н. Толстой.— *Т сб*, вып. 5, с. 423). В одном из писем (к М. Н. и В. П. Толстым от 14(26) февраля 1855 г.) Тургенев упомянул имя мужа С. А. Шаховской: «наш сосед князь И. Л. Шаховской» (*Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. II, с. 261—262).

...на маскараде в Благородном собрании под новый, 1840 год.— В ночь с 31 декабря 1839 г. на 1 января 1840 г. в Дворянском собрании не было вообще никакого бала или маскарада. Остается предположить, что Тургенев «видел Лермонтова на маскараде в декабре 1839 года, как он пишет, но в какой-то другой день и в другом месте» (Герштейн Э. Судьба Лермонтова. М., 1964, с. 77, 78).

...графиня М. П. ...— Графиня Эмилия Карловна Мусина-Пушкина, рожд. Шернваль (1810—1846), которой посвящено стихотворение Лермонтова «Графиня Эмилия — белее, чем лилия» (1839); жена графа В. А. Мусина-Пушкина, брата С. А. Шаховской. Обе они (Шаховская и Мусина-Пушкина), как и Тургенев, находились на пароходе «Николай I», совершая морское путешествие, трагически окончившееся 18 мая 1838 г. (см.: *СПб Вед*, 1838, № 84, 19 апреля; Тургенев в Гейдельберге летом 1838 г. Из дневника Е. В. Сухово-Кобылиной. Публикация Л. М. Долотовой.— *Лит Насл*, т. 76, с. 338—339). Тургенев описал эту поездку в очерке «Пожар на море» (наст. том, с. 293).

...к сидевшему рядом с ним графу Ш...у...— Имеется в виду Андрей Павлович Шувалов (1816—1876), граф, товарищ Лермонтова по лейб-гвардии гусарскому полку и по «кружку шестнадцати».

---

[8] Сообщил Б. А. Разодеев.

В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое ∽ детски нежных и выдававшихся губ ∽ присущую мощь тотчас сознавал всякий.— В этом замечательном словесном портрете Лермонтова отразились, вероятно, не только личные впечатления Тургенева, но и мнения многих современников (устные и печатные), нередко отмечавших сложность натуры поэта с ее контрастами, противоположностями; «соединенность несоединимого» в нем (Удодов Б. Т. «Созвучье слов живых».— В кн.: Лермонтов М. Ю. Избранное. Воронеж, 1981, с. 17).

Стр. 72. *Когда касаются холодных рук моих...*— Тургенев приводит строки 8—10 из стихотворения Лермонтова «Как часто пестрою толпою окружен» (1840).

Он был коротким приятелем ∽ посещал наш дом.— См. также письмо Тургенева к С. Т. Аксакову от 22 января (3 февраля) 1853 г., почти дословно повторенное в данном очерке.

Его «Юрий Милославский» ∽ сильным литературным впечатлением...— Роман М. Н. Загоскина (1789—1852) «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» вышел в 1829 г. в трех томах. 22 января (3 февраля) 1853 г. Тургенев писал С. Т. Аксакову: «...что же касается до „Милославского“ —то я знал его наизусть; помнится, я находился в пансионе в Москве ⟨. . .⟩ и нам по вечерам надзиратель наш рассказывал содержание „Ю⟨рия⟩ М⟨илославского⟩“. Невозможно изобразить Вам то поглощающее и поглощенное внимание, с которым мы все слушали». О том же Тургенев рассказывал Л. Н. Майкову 4 марта 1880 г. (*Рус Ст*, 1883, № 10, с. 204).

Я находился в пансионе некоего г. Вейденгаммера, когда появился знаменитый роман...— Тургенев был помещен в этот пансион осенью или зимой 1827/28 г. и пробыл в нем, очевидно, до позднего лета 1830 г. (см. наст. том, с. 442).

Стр. 73. *К тому же за ним водились три ∽ комические слабости...*— Об этих же «слабостях» М. Н. Загоскина Тургенев рассказывал Л. Н. Майкову 4 марта 1880 г. (*Рус Ст*, 1883, № 10, с. 205).

ПОЕЗДКА В АЛЬБАНО И ФРАСКАТИ

(с. 75)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Неполный черновой автограф со слов: «как только завязывался спор» (с. 77, строки 42—43). 5 л. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 74; описание см.: *Mazon*, p. 64; фотокопия: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 276.

Беловой автограф, 5 л. Хранится в Одесской государственной библиотеке.

Беловой автограф, 14 л. До слов: «я уехал в деревню» (с. 83, строки 4—5) — рукой Тургенева; далее — неизвестной рукой. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 80; описание см.: *Mazon*, p. 64; микрофильм: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 392.

Век, 1861, № 15, с. 521—526.

Т, Соч, 1874, ч. 1. с. 91—103.

Т, Соч. 1880, т. 1, с. 84—96.

Впервые опубликовано: Век. 1861, № 15, с подписью: Ив. Тургенев.

Печатается по тексту *Т, Соч, 1880* со следующими исправлениями по всем другим источникам:

Стр. 76, строки 17—18: «с особенным сочувствием» вместо «с собственным сочувствием».

Стр. 77, строка 20: «проникнуто» вместо «проникнутое».

«Поездка в Альбано и Фраскати» — первая по времени создания глава «Литературных и житейских воспоминаний».

Тургенев писал ее, прервав работу над «Отцами и детьми», в феврале—марте 1861 года для начавшего выходить в 1861 году журнала «Век». Первое упоминание об этом произведении сохранилось в письме к П. В. Анненкову от 15(27) февраля 1861 г., где Тургенев сообщал: «...работа подвигается помаленьку; статья для „Века“ скоро будет окончена». Через месяц, 14(26) марта, писатель уведомлял А. В. Дружинина: «...спешу предварить Вас, что я кончил статью для „Века“ под названием: „Прогулка в Альбано и Фраскати“ — и завтра же начну ее переписывать — и через два-три дня ее вышлю к Вам. Очень был бы я рад, если б она Вам понравилась». «На днях отправляю статейку в „Век“»,— писал Тургенев Анненкову 22 марта (3 апреля) 1861 г., а 7(19) апреля Анненков известил Тургенева о получении рукописи (см. ниже, с. 366).

Основу «Поездки в Альбано и Фраскати» составили воспоминания о встречах с художником А. А. Ивановым в Риме в октябре 1857 г., когда Тургенев впервые познакомился с ним. Впечатления от знакомства с Ивановым и его картиной «Явление Христа народу» Тургенев изложил 31 октября (12 ноября) 1857 г. в письме к Анненкову, которое можно считать первым наброском появившихся через три с лишним года воспоминаний.

О том, как подействовало на Тургенева обаяние личности и таланта Иванова, свидетельствуют его письма из Рима, в которых часто упоминается это имя. «Из здешних художников,— пишет он 3(15) ноября 1857 г. Е. Е. Ламберт,— самый замечательный Иванов — и в его картине (которую он мне показал под секретом) есть первоклассные красоты».

Вместе с В. П. Боткиным и В. А. Черкасским Тургенев в феврале 1858 г., незадолго до отправки картины Иванова в Петербург, помогал художнику в составлении письма-прошения на имя президента Академии художеств вел. княгини Марии Николаевны (см.: Зуммер Вс. Ал. Иванов о Тургеневе.— Родная земля, 1919, № 2, с. 12—14).

Глубоко потрясла Тургенева неожиданная смерть Иванова на пороге признания и славы.

«Сейчас я прочел в газетах известие о смерти Иванова — и совершенно оглушен этим ударом,— писал Тургенев Черкасскому 9(21) июля 1858 г.— ⟨. . .⟩ Что значит эта смерть? Уж полно, холера ли это? — Не отравился ли он? Бедный! — Вспоминаю я его ужас при мысли о Петербурге, его предчувствия: они сбылись! — А мы еще так недавно в Петербурге давали в честь его обед, пили его здоровье.— Нет, решительно: ни России, ни порядочным русским не везет». Начиная 21 июля (2 августа) 1858 г. свое письмо к Полине Виардо этим «известием, горестным для всех русских», Тургенев писал об Иванове: «Несчастный! после двадцати пяти лет труда, лишений, нищеты, добровольного заточения, в тот самый момент, когда его картина была выставлена, еще до получения какой-либо награды, прежде даже, чем он убедился в успехе этого

творения, которому он посвятил всю свою жизнь,— смерть...» И далее: «Что касается его картины, то она, конечно, принадлежит к той эпохе искусства, в которую мы вступили немногим более столетия назад, и это, надо в том сознаться, эпоха упадка. Это уже не чистая и простая живопись: это — философия, поэзия, история, религия. В картине есть вопиющие недостатки, но это всё же значительная вещь, произведение серьезное, возвышенное, влияния которого нужно желать в России, хотя бы как противодействия школе, основанной Брюлловым...» (пер. с франц.).

Многочисленные статьи об Иванове, появившиеся после его смерти, и в первую очередь А. С. Хомякова [1], А. И. Герцена [2], Н. Г. Чернышевского [3], определили характер статьи Тургенева, в которой соединились мемуарный, художественный и публицистический элементы.

На первом листе сохранившегося чернового автографа Тургенев сверху набросал несколько строк, которые были впоследствии развиты в его статье:

«изучил ассирийские древности — знал библию наизусть.
Христос никогда не смеялся.
Приходил всегда первый — серьезно.
Литер⟨атура⟩ и политика его не занимала.
Самобытен — по складу души, не по его произведению».

Высоко оценивая творчество Иванова и видя в нем художника, способного возглавить в искусстве направление, которое могло бы противостоять «брюлловскому марлинизму», Тургенев не был склонен, как это делали славянофилы, поднимать его над всем мировым искусством.

Во второй части своей статьи писатель полемизирует с Хомяковым, выразившим наиболее полно славянофильское воззрение на творчество Иванова. Отказывая художнику в подлинной гениальности, Тургенев тем не менее стремится подчеркнуть «пользу великую» его искусства. На полях чернового автографа он вписывает отрывок, в котором утверждает это, парируя возможные возражения: «Иные могут возразить ∽ принести пользу великую» (с. 84, строки 23—32).

Уже после того как в черновом автографе была написана последняя фраза статьи, поставлены дата и подпись, Тургенев вписал, также в форме ответа на возможное возражение, еще один крайне важный абзац о самобытности Иванова и его заслуге перед искусством: «Предвижу еще возражение ∽ дюжинных красот» (с. 84—85, строки 43—14).

Переписывая статью набело (первый беловой автограф), Тургенев снова делает существенные вставки на полях. В частности, были вписаны следующие строки: 1) «Известно, что на Иванова ∽ грубым реалистом» (с. 75—76, строки 32—6); 2) «Усидчивым трудом ∽ он знал от слова до слова» (с. 77, строки 34—38); 3) «На наши вечеринки ∽ Христос никогда не смеялся» (с. 77—78, строки 41—9).

---

[1] Хомяков А. С. Картина Иванова.— *Рус беседа*, 1858, № 3, с. 1—22.

[2] Герцен А. И. А. Иванов.— Колокол, 1858, 1 сентября, л. 22.

[3] Чернышевский Н. Г. Заметка по поводу предыдущей статьи.— *Совр*, 1858, № 11, с. 175—180.

Стилистически текст первого белового автографа незначительно отличается от печатного.

Неясно происхождение второго белового автографа, который лишь в единичных случаях и очень несущественно отличается от публикации в «Веке» (см. раздел «Варианты» в изд.: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. XIV). Возможно, Тургенев переписывал статью уже с печатного текста, готовя рукопись для переводчика. В пользу этого предположения говорит и то обстоятельство, что последние страницы рукописи написаны не рукой Тургенева, а в конце дана библиографическая ссылка на журнал «Век». Однако переводы этой статьи в печати не обнаружены.

Полемический характер статьи, сдержанная оценка картины Иванова, резкие суждения в адрес Брюллова вызвали нарекания критики. Так, уже Анненков, не соглашаясь с одним из существенных положений характеристики Иванова, писал Тургеневу 7(19) апреля 1861 г.: «Статью Вашу я получил и уже передал ее Дружинину ⟨. . .⟩ В статье я вычеркнул только анекдот о вечерах у Гоголя, так как он приведен уже у Кулиша. Всё остальное прекрасно, хотя мысль, что Иванов технически не свободен, вряд ли верна. Он духовно не свободен, а потому и технику заставил насильственно идти мерным, архиерейским шагом» (*Труды ГБЛ*, вып. 3, с. 119—121).

С резким осуждением статьи Тургенева выступил Г. С. Дестунис: «К сожалению, подробности, сообщаемые нашим даровитым романистом, более характеризуют причуды и внешность, чем душу художника Иванова,— писал он.— Кроме того, статья г. Тургенева проникнута каким-то странным элементом, выражающимся в самом тоне рассказа, в нем есть что-то прожектерское, как бы исходящее от высшего существа к низшему» (Дестунис Г. Иванов и Брюллов перед судом И. С. Тургенева.— Светоч, 1861, кн. 9, с. 79). Вступился Дестунис и за Брюллова: «Не робок был Брюллов, но и он задумался бы, если бы предвидел, что один из самых даровитых наших писателей, И. С. Тургенев, назовет его картины „трескучими эффектами без содержания и поэзии“, а Иванову откажет в „творческой силе“» (там же, с. 83).

С мнением Дестуниса согласился В. Р. Зотов, который считал, что Тургенев обрисовал «знаменитого художника несколько с комической стороны» (Зотов В. Иванов и его картины.— Северное сияние, 1826, № 1, стлб. 67).

Полемизировал с Тургеневым, не называя его имени, по цитируя его воспоминания, и В. В. Стасов в своей статье «Живописец А. А. Иванов», написанной в 1861—1862 годах, но опубликованной лишь в 1880 году. Стасов писал, что Иванов низведен Тургеневым «на степень полезного учителя для других, вехи, указательного столба для будущих художников, а сам — неудачник, недоросток, лишенный и огня, и творческой мощи, и вдохновения» (*ВЕ*, 1880, № 1, с. 179).

Стр. 75. *Альбано и Фраскати* — итальянские города, Альбано — в 20 км к юго-западу, Фраскати — в 17 км к юго-востоку от Рима.

Веттурин — извозчик (*итал.*— vetturino).

Форестиер — чужестранец (*итал.*— forestiere).

... после Клод Лорреня... — Лоррен (Lorrain) Клод. наст. фамилия Желле (1600—1682), французский пейзажист; с ранних лет учился и жил в Италии.

...стоит лишь вспомнить «Рим» Гоголя...— Белинский писал о повести «Рим» (1842), что в ней «есть удивительно яркие и верные картины действительности», но «есть и косые взгляды на Париж и близорукие взгляды на Рим, и — что всего непостижимее в Гоголе — есть фразы, напоминающие своею вычурною изысканностью язык Марлинского» (*Белинский*, т. 4, с. 427).

...на Иванова некогда имел сильное влияние Овербек...— Овербек Фридрих Иоганн (1789—1869), немецкий художник, основатель братства «назарейцев» в Риме, члены которого выступали против современной академической живописи, противопоставляя ей искусство раннего Возрождения. В 1830-х годах, в первый период своего пребывания в Риме, Иванов был близок к Овербеку (см.: Алпатов М. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество. М., 1956. Т. 1, с. 138—140).

Стр. 76. *Перуджино* — Перуджино Пьетро (1446—1524), итальянский живописец, предшественник и учитель Рафаэля.

...один из них при мне величал Рафаэля бездарным...— Тургенев имеет в виду художника Е. С. Сорокина (1821—1892), о котором писал Анненкову 31 октября (12 ноября) 1857 г.: «Сорокин кричит, что Рафаэль дрянь и „все“ дрянь, а сам чепуху пишет». Отголоски этих впечатлений, почерпнутых писателем в Риме, имеются в «Отцах и детях» (гл. X).

...рассказывал нам кое-что ∽ о Гоголе...— С Гоголем Иванов познакомился около 1838 г. в Риме и неизменно до самой смерти Гоголя поддерживал с ним тесные дружеские отношения. Кисти Иванова принадлежит один из лучших портретов Гоголя (1841). См.: Машковцев Н. Г. Гоголь в кругу художников. М., 1955, с. 63—131.

Гоголь ∽ превозносил его «Явление Христа...» — Гоголь посвятил Иванову в «Выбранных местах из переписки с друзьями» статью «Исторический живописец Иванов. (Письмо к гр. Матв. Ю. В⟨иельгорско⟩му)» (*Гоголь*, т. 8, с. 328—337).

...Гоголь приходил в восторг от «Последнего дня Помпеи»...— В статье «Последний день Помпеи» (1834) Гоголь писал: «Картина Брюллова — одно из ярких явлений 19 века. Это — светлое воскресение живописи, пребывавшей долгое время в каком-то полулетаргическом состоянии». И далее: «Картина Брюллова может назваться полным, всемирным созданием» (*Гоголь*, т. 8, с. 107, 109).

...о 1848 годе Иванов говорил не иначе, как с содроганием...— А. И. Герцен, который в 1848 году жил в Риме и встречался с Ивановым, пишет в статье «А. Иванов» (1858): «Настал громовый 1848 год, я жил на площади, Иванов плотнее запирался в своей студии, сердился на шум истории, не понимал его, я сердился на него за это. К тому же он был тогда под влиянием восторженного мистицизма и своего рода эстетического христианства. Тем не менее иногда вечером Иванов приходил ко мне из своей студии и всякий раз, наивно улыбаясь, заводил речь именно о тех предметах, в которых мы совершенно расходились» (*Герцен*, т. 13, с. 326).

...Д. Штраусу, автору «Жизни Иисуса Христа».— Штраус (Strauss) Давид Фридрих (1808—1874), немецкий философ, теолог и историк; в своей книге «Жизнь Иисуса» («Das Leben Jesu», 1835), не отрицая исторического существования Иисуса Христа, доказывал, что евангельские предания о нем — мифы, порожденные духовной «субстанцией» эпохи, имеющие более позднее происхождение. Иванов был близок к Штраусу в психологической интерпретации

историко-мифологического события (см.: А л л е н о в М. М. Александр Андреевич Иванов. М.: Изобразительное искусство, 1980, с. 173—174).

С т р. 78. *Литература и политика его не занимали...*— Перепечатывая статью Тургенева в своей книге об Иванове, М. П. Боткин по поводу этого утверждения замечал: «Насколько сильно современное политическое движение занимало Иванова. начиная с 1847 и 1848 года, доказывают его письма и записные книжки этого времени» (Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка 1806—1858 гг. Издал Михаил Боткин. СПб., 1880).

Остерия — трактир (*итал.* osteria).

Фолиетта — мерка (около полулитра) для вина (*итал.* foglietta).

С т р. 80. *...несколько «паолов»...*— Паоло — итальянская серебряная монета.

С т р. 81. *...внушили Тютчеву его прелестное стихотворение...*— Тургенев цитирует в своем примечании стихотворение Ф. И. Тютчева «Итальянская villa» (1837).

Тиволи — древний итальянский город в северо-восточных окрестностях Рима; расположенная там вилла Эсте была построена в 1549 г.

С т р. 82. *...времен Медичисов...*— Медичи — род, с перерывами правивший во Флоренции с 1434 по 1737 г.

Фарнезе — старинный итальянский княжеский род, к которому принадлежали многие государственные деятели эпохи Возрождения.

С т р. 83. *Картина его уже была в Петербурге и начинала возбуждать невыгодные толки.*— Тургенев имеет в виду прежде всего статью В. Толбина «О картине господина Иванова» (Сын отечества, 1858, № 25, 22 июня), написанную с позиций академического направления. Об оскорбительном отношении к Иванову правительственных кругов Петербурга см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. III, с. 569; *Герцен*, т. 13, с. 323—326, 352, 391—392.

С т р. 84. *...«еще неведомый избранник»...*— Строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой...» (1832).

С т р. 85. *...альбом рисунков из жизни Христа...*— Этот альбом был издан братом художника С. А. Ивановым под названием «Изображение из священной истории оставленных эскизов А. Иванова» (Берлин, 1884—1887. Вып. 1—14).

...на эскизе, принадлежащем В. П. Боткину...— В настоящее время этот эскиз находится в Государственном Русском музее (Ленинград).

ПО ПОВОДУ «ОТЦОВ И ДЕТЕЙ»

(с. 86)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф, 9 л. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 75; описание см.: *Mazon*, p. 77; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 334.

Беловой автограф, 7 л. Хранится в *ГИМ*, ф. 440, № 1265

Т, *Соч*, *1869*, ч. 1, с. XC—CII.

Т, *Соч*, *1874*, ч. 1, с. 115—127.

Т, *Соч*, *1880*, т. 1, с. 97—109.

Впервые опубликовано: *Т*, *Соч*, *1869*, с подписью: Ив. Тургенев.

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* с учетом списков опечаток, сопровождающих издания 1874 и 1880 гг., а также со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 86, *строка 34*: «гоняюсь» вместо «гонюсь» (по всем другим источникам).

Стр. 87, *строка 27*: «получал» вместо «получил» (по всем другим источникам).

Стр. 90, *строка 15*: «за исключением воззрений Базарова» вместо «за исключением воззрений» (по всем другим источникам).

Стр. 90, *строки 19—20*: «довел почти до карикатуры» вместо «довел до карикатуры» (по черновому и беловому автографам, *Т*, *Соч*, *1869* и по смыслу).

Стр. 91, *строки 41—42*: «свой собственный портрет и портрет своих единомышленников» вместо «свой собственный портрет, своих единомышленников» (по черновому и беловому автографам).

Стр. 91, *строка 44*: «пошлого, вялого и ложного» вместо «пошлого и ложного» (по беловому автографу, *Т*, *Соч*, *1869*, *1874*).

Стр. 92, *строки 10—11*: «виновным» вместо «виноватым» (по черновому и беловому автографам).

Стр. 95, *строка 22*: «в европейской литературе» вместо «в нашей литературе» (по черновому автографу; в беловом автографе слово «европейской» зачеркнуто и над зачеркнутым чужой рукой вписано: «нашей»).

Стр. 95, *строка 23*: «без правдивости, без образования» вместо «без образования» (по беловому автографу).

Статья «По поводу „Отцов и детей“» завершала цикл «Литературных воспоминаний» и поэтому была закончена последней (подробно о ее датировке см.: Батюто А. И. По поводу «Отцов и детей». Обоснование датировки.— *Т сб*, вып. 4).

В тексте статьи, подготовленном к первой публикации, были допущены существенные погрешности, виновником которых оказался Н. Х. Кетчер, облеченный особыми полномочиями Тургенева (см. письмо Тургенева к Н. Х. Кетчеру от 4(16) октября 1869 г.). Об одной из них, исправленной в издании 1874 г., Тургенев писал П. В. Анненкову 4(16) декабря 1869 г.: «...самая неприятная опечатка стоит на стран⟨ице⟩ XCIV, строка 8 сверху: вместо *я разделяю почти все его убеждения* (Базарова) стоит: „Я разделяю почти его убеждения“. Я подозреваю, что Кетчер (корректор) с умыслом, „меня жалеючи“, пропустил *все*, и вышла безграмотная фраза, над которой гг. Антоновичи будут, пожалуй, точить свои зубки: „и тут, мол, оробел!“» Вторая погрешность не была замечена Тургеневым в процессе прижизненных переизданий статьи. В том месте белового автографа, где говорится о «Войне и мире» как о произведении, которое «по силе творческого, поэтического дара стоит едва ли не во главе всего, что явилось в европейской литературе с 1840 года», слово «европейской» зачеркнуто и вместо него чужой рукой (по всей вероятности, рукой всё того же Кетчера) вписано: «нашей». Обе ошибки указаны в комментариях Б. М. Эйхенбаума; им же восстановлено по беловому автографу правильное написание — «европейской» (см.: История одного слова.— Огонек, 1956, № 3, с. 16; *Т*, *СС*, т. 10, с. 635, 636).

Подобно другим очеркам из цикла «Литературных воспоминаний», статья «По поводу „Отцов и детей“» обдумывалась долго и писалась с некоторым усилием. Тургенева стеснял мемуарно-очерковый жанр. Но были и другие причины, крайне замедлявшие его работу. 8(20) февраля 1869 г. Тургенев писал по этому поводу парижскому издателю Ж. Этцелю: «...вот уже 6 недель как я копаюсь в своем прошлом, да еще с предосторожностями всякого рода, ибо существует множество вещей, о которых нельзя говорить — и обычно они самые лучшие». Эти «предосторожности» предопределили приглушенный характер полемики Тургенева с разночинцами-демократами в «Воспоминаниях о Белинском». Они же помешали ему закончить очерк «Семейство Аксаковых и славянофилы», который вследствие этого так и не появился в печати. Что же касается статьи «По поводу „Отцов и детей“», здесь, пожалуй, главным, что предрасполагало автора к «предосторожностям всякого рода», был вопрос о соотношении замысла образа «нигилиста» Базарова с личностью Н. А. Добролюбова.

Члены редакции «Современника» (И. И. Панаев [1], М. А. Антонович, Н. Г. Чернышевский, Ю. Г. Жуковский) воспринимали этот образ как памфлет на Добролюбова. Отдельные факты нарочитого огрубления некоторых важных высказываний Добролюбова (да и не только его) при создании образа Базарова все-таки имели место. Недаром через год после опубликования романа в «Русском вестнике» Тургенев писал Анненкову (17 февраля (1 марта) 1863 г.): «...очень хочется мне пробежать „Современник“. Как-то они меня там уснащивают! Видно, я им сильно насолил. И что неприятно: и вперед солить буду». Открыто признать это значило бы ничего не добиться в объяснениях с разночинцами-демократами. Тургенев же, по-видимому, рассчитывал на какой-то компромисс со своими идейными противниками. Исходя из этого, он избрал очень гибкую тактику в объяснениях с демократическим читателем.

В романе есть несомненные отзвуки «нигилистических» суждений Чернышевского и Добролюбова о поэзии и искусстве вообще (см. реальный комментарий к «Отцам и детям» — наст. изд., т. 7, с. 458, 459, 462). Между тем, специально затрагивая эту проблему в статье о романе, Тургенев не называет имен вождей революционной демократии. Больше того, в противовес параллели *Добролюбов — Базаров*, неоднократно выдвигавшейся в критике того времени, в статье выдвигается параллель *Базаров — врач Дмитриев*, которою отнюдь не исчерпывалось содержание даже первоначаль-

---

[1] И. И. Панаев недвусмысленно осуждал тургеневский роман в статье, посвященной памяти Н. А. Добролюбова. Явно намекая на Тургенева, Панаев писал: «...мы, или, что всё равно, некоторые из нас,— решили, что новое поколение, несмотря на свой действительно замечательный ум и сведения, поколение сухое, холодное, черствое, бессердечное, всё отрицающее, вдавшееся в ужасную доктрину — в *нигилизм*! Нигилисты! Если мы не решились заклеймить этим страшным именем всё поколение, то по крайней мере уверили себя, что Добролюбов принадлежал к нигилистам из нигилистов» (*Совр*, 1861, № 11, с. 76). Такое представление о романе возникло у Панаева под влиянием слухов, распространявшихся в литературных кругах людьми, имевшими возможность ознакомиться с рукописью романа «Отцы и дети» задолго до ее опубликования в журнале «Русский вестник».

ного замысла романа. Уклоняясь таким образом от прямой постановки вопроса о тесной связи замысла романа с кругом идей «Современника», Тургенев всё же не упустил возможности намекнуть на свое подлинное отношение к этим идеям. Подчеркивая «резкость и бесцеремонность тона» Базарова, его антипатию ко «всему художественному», уверяя, что всё это результат непосредственных «наблюдений» над его «знакомцем, доктором Д.», Тургенев сопроводил эти признания многозначительным добавлением: и над «подобными ему лицами». В числе «подобных лиц» он, видимо, подразумевал прежде всего Добролюбова и Чернышевского.

Такая дипломатически гибкая и вместе с тем подчеркнуто принципиальная манера полемики, рассчитанная на объективное освещение сложной истории создания романа, характерна для Тургенева на всем протяжении его статьи. Писатель, например, признает свою ответственность за «выпущенное» слово «нигилизм», которое реакционными силами было превращено «в орудие доноса ⟨. . .⟩ в клеймо позора». Но здесь же он напоминает критикам о другом, истинном и, следовательно, несравненно более важном значении этого слова как «точном и уместном выражении проявившегося — исторического — факта».

Смысл такого рода высказываний, нередко подкреплявшихся апелляцией к авторитету литературных учителей — Белинского, Пушкина, Гоголя, Гёте, сводился к доказательству главного положения статьи: «точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями». Разъясняя свою точку зрения на роман и его центрального героя, Тургенев, как типичный представитель критического реализма, последовательно защищал право художника выставлять на суд читателя и «худые и хорошие стороны» важнейших явлений общественной жизни.

Особый интерес в статье «По поводу „Отцов и детей“» представляют суждения о творчестве Л. Толстого. Намеренно и не без основания поставленные в прямую связь с полемическими выпадами против славянофилов, критические замечания о «Войне и мире» в еще более резкой форме были выражены на ранней стадии работы над статьей. В черновом автографе есть, например, такая фраза: «и человек, который, подобно графу Толстому, мог написать, что только одна бессознательная деятельность приносит плоды, сам начертал свой [собственный] приговор»[2]. Примечательна также следующая помета Тургенева на полях обособленной страницы чернового автографа, имевшей специальное заглавие «О типах»: «„Война и мир“, книга 5-я, стр. 189, строки 1—3 сверху». Эта помета свидетельствует о том, что у Тургенева было намерение не ограничивать полемику с Толстым лишь общими критическими замечаниями о философской теории бессознательной деятельности. Его возражения Толстому должны были, по первоначальному замыслу, получить подтверждение в полемической трактовке некоторых важных вопросов литературно-художественного творчества. Именно на такое развитие полемики намекало заглавие «О типах». Этому замыслу не суждено было осуществиться, так как развернутая полемика с автором «Войны и мира» потребовала бы значительного расшире-

---

[2] Слова: «только одна бессознательная деятельность приносит плоды» — цитата из V тома «Войны и мира» в издании 1869 г., с. 189.

ния объема статьи за счет материала, не имевшего прямого отношения к ее главной теме [3].

За редкими исключениями отклики на статью «По поводу „Отцов и детей"» в журналах и газетах, в переписке того времени, а также в позднейшей мемуарной литературе были отрицательными. Основная причина недовольства статьей в реакционных и либеральных кругах указана в письме Тургенева к А. Ф. Онегину от 8 января н. ст. 1870 г.: «Ее ужасно бранят на Руси,— писал Тургенев в этом письме,— видят в ней с моей стороны нечто вроде отступничества от собственной заслуги, приближения к „нигилистам" и т. п.» В числе недовольных статьей оказался даже Анненков, который писал впоследствии: «Эстетические и полемические заметки Тургенева носили всегда какой-то характер *междуделья*, отличались умом, но никогда не обладали той полнотой содержания, которая необходима для того, чтобы сказанное слово осталось в памяти людей. То же самое суждение может быть приложено и к его позднейшим объяснениям с критиками и недоброжелателями, к его исповедям своих мнений (professions de foi), поправкам и дополнениям его созерцаний и проч. Они не удовлетворяли ни тех, к кому относились, ни публику, которая следила за его мнениями. Тургенев овладевал вполне своими темами и становился убедительным только тогда, когда разъяснял предметы и самого себя на арене художественного творчества» (*Анненков*, с. 341). Конкретные критические замечания о статье «По поводу „Отцов и детей"» были высказаны Анненковым в специальном письме к Тургеневу, которое не сохранилось. Известно, однако, что оно было необычно суровым по тону. «Анненков вознегодовал», «Анненков ⟨. . .⟩ сильно меня распекает»,— отмечал Тургенев в письмах к И. П. Борисову от 23 декабря 1869 г. (4 января 1870 г.) и А. Ф. Писемскому от 27 декабря 1869 г. (8 января 1870 г.).

Учитывая отношение Анненкова к роману, высказанное незадолго перед его опубликованием в журнале «Русский вестник» (см. наст. изд., т. 7, с. 420—424), нетрудно установить, что́ именно возбуждало его негодование. Новые положительные характеристики Базарова в статье Тургенева радикально противоречили точке зрения Анненкова на этого героя как на представителя «дикой монгольской силы» и потому не могли восприниматься им без раздражения.

В сущности аналогичной точки зрения на статью «По поводу „Отцов и детей"» придерживались Н. Х. Кетчер и бывшие приятели Тургенева — М. Н. Лонгинов и Е. М. Феоктистов, известные с конца 1860-х годов реакционными убеждениями. В своих воспоминаниях А. А. Фет приводит следующее высказывание Кетчера: «...два раза издавал я сочинения Тургенева и два раза вычеркивал ему его постыдное подлизывание к мальчишкам. Нет таки,— напечатал, и с той поры ко мне не является: знает, что обругаю» (*Фет*, ч. 2, с. 306). В «Тургеневском сборнике» под редакцией А. Ф. Кони приведены воспоминания Е. М. Феоктистова о встрече с Тургеневым (1870 г.), во время которой между ними состоялась беседа об «Отцах и детях» и статье Тургенева об этом романе. По забывчивости или намеренно искажая некоторые очень важные факты, Феоктистов так излагал свой разговор с писателем: «„Помните ли,— го-

[3] Более подробное освещение этого вопроса см.: *Т сб*, вып. 3, с. 135—140.

ворил я ему,— с каким отвращением относились вы к только что зарождавшемуся у нас нигилизму ⟨. . .⟩ И вдруг теперь вы хотите уверить, будто сочувствуете в Базарове всему ⟨. . .⟩ даже его взглядам на искусство, в котором он видит не что иное, как праздную забаву: ну, скажите, пожалуйста, зачем вам понадобилось это?" — Иван Сергеевич засмеялся и махнул рукой.— „Что хотите,— сказал он,— я уж действительно хватил через край"»[4]. Характерно также язвительное замечание М. Н. Лонгинова на полях тома собрания сочинений Тургенева в издании 1869 г., входившего в состав лонгиновской библиотеки, хранящейся теперь в *ИРЛИ*. Напротив того места статьи, где, приведя высказывание «одной остроумной дамы» («Ни отцы, ни дети ∽ и вы сами нигилист» — с. 91), Тургенев замечает: «Не берусь возражать; быть может, эта дама и правду сказала», рукою М. Н. Лонгинова начертано: «Оно и плохо, если верить словам автора на стр. XCIV...» (Имеется в виду признание Тургенева: «За исключением воззрений Базарова на художества, я разделяю почти все его убеждения»).

В периодической печати «отступничество» Тургенева подверглось наиболее резким нападкам со стороны известного критика «почвеннического» направления Н. Н. Страхова. «...несмотря на всё желание г. Тургенева выставить себя нигилистом и записаться в последователи лица, созданного им самим ⟨. . .⟩ я принимаю на себя смелость,— заявлял Н. Н. Страхов,— отказать г. Тургеневу в его притязаниях ⟨. . .⟩ я решаюсь защищать г. Тургенева против него самого, я хотел бы доказать, что тот пестрый нигилизм, который он теперь исповедует, нимало не согласуется с его поэтической деятельностью, что заслуги и смысл этой деятельности гораздо выше, чем полагает сам г. Тургенев»[5]. Сущность такой критики сводилась к доказательству того, что изъявления симпатии Тургенева к Базарову выглядят жалкими и неубедительными на фоне самого романа, в котором убеждения молодого поколения были выставлены якобы на всеобщее осмеяние и «порицание» как «что-то постороннее, нимало ⟨. . .⟩ не дорогое» и даже враждебное художнику[6]. В отличие от Анненкова суждения Страхова основывались в значительной степени на типично славянофильской вражде к западничеству и благодаря этому приобретали в конечном счете демагогический оттенок. Так, например, в заключение своего отзыва Страхов писал о Тургеневе и его творчестве: «Если поверить его словам, то он всё время был искренним западником, а между тем чему он послужил своими произведениями? Он беспрестанно казнил и развенчивал западничество. Вследствие чудесной правдивости, свойственной поэзии, выходило так, что явления, перед которыми он готов был преклониться, обнаруживали в его произведениях ⟨. . .⟩ ту гнилость, которою они были поражены. Так случилось и с Базаровым...»[7] Еще более резкими были выпады против Тургенева в статье Страхова о «Войне и мире», напечатанной в первом номере журнала «Заря» за 1870 г. Критические замечания о славянофилах

---

[4] *Т сб (Кони)*, с. 189; Воспоминания Е. М. Феоктистова. За кулисами политики и литературы. 1848—1896. Л., 1929, с. 30.

[5] Косица Н. ⟨Страхов Н. Н.⟩. Еще за Тургенева. (Письмо в редакцию «Зари» по поводу выхода первого тома его сочинений.) — Заря, 1869, № 12, с. 124.

[6] Там же, с. 126.

[7] Там же, с. 131.

и Л. Н. Толстом, высказанные в конце статьи «По поводу „Отцов и детей“», Страхов переадресовывал в подчеркнуто оскорбительной форме самому Тургеневу, как представителю западничества [8].

Особого внимания заслуживает презрительно враждебная оценка статьи «По поводу „Отцов и детей“», данная Катковым. Высказанная лишь в 1880 году в передовой статье «Московских ведомостей», посвященной полемике писателя с Б. М. Маркевичем, укрывшимся под псевдонимом «Иногородный обыватель» [9], эта оценка документально подтверждает справедливость заявления Тургенева о его разногласиях с Катковым в пору печатания романа в журнале «Русский вестник». Вместе с тем она убедительно свидетельствует и о том, что отношение Тургенева и редактора «Русского вестника» к проблеме «отцов» и «детей» в целом всегда было принципиально различным. Катков писал: «При первом появлении этой фигуры ⟨Базарова⟩ в лагере людей базаровского типа произошел раскол: одни действительно рукоплескали автору за превосходный идеал, другие освистали его, находя, что в этой фигуре сквозит его ненависть к молодому поколению. Г-н Тургенев тогда молчал. Но прошло много лет. При благоприятных обстоятельствах расплодилось нигилистов множество; они завладели нашею литературой, и голоса их шумно понеслись на всю Русь. Тогда г-н Тургенев, беспрерывно ругаемый и поносимый ими, вышел пред публику с изъявлением своего истинного почтения и совершенной преданности господину Базарову, а в доказательство своих чувств к нему выдал издателя журнала, сославшись на свои разногласия с ним во время печатания. Значит, о симпатиях г-на Тургенева к нигилистам засвидетельствовал он сам, и только он сам...» (*Моск Вед*, 1880, № 5, 6 января).

В демократической печати попытка Тургенева разъяснить свои истинные намерения при создании «Отцов и детей» была встречена с насмешливым недоверием. Д. Д. Минаев, автор иронической «Заметки для любознательных старичков и старушек», напечатанной в декабрьской книжке журнала «Дело» за 1869 г., находил, что эта попытка выглядит «более чем неловко». «Нам кажется очень подозрительным то обстоятельство,— отмечал Минаев,— что, питая платоническую любовь к своему Базарову, Тургенев в то же самое время боялся, что журналистика „обольет его презрением“ за того же самого Базарова ⟨. . .⟩ Но будем великодушны ⟨. . .⟩ При всей неловкости оправданий г-на Тургенева, его объяснение по поводу „Отцов и детей“ все же имеет характер некоторого раскаяния; всё же мы должны понимать, что наш маститый романист просит прощения у молодого поколения» (Дело, 1869, № 12, с. 51, 52. Заметка Минаева подписана псевдонимом Д. Свияжский). Другой резко отрицательный отзыв о статье Тургенева, данный в газете «Неделя», показывает, какой большой ущерб престижу писателя в демократической среде был нанесен теми тенденциозными поправками, которые появились в рукописи «Отцов и детей» осенью 1861 г. под давлением Каткова и Анненкова. Возражая против положительной оценки образа Базарова, заимствованной Тургеневым из рецензии Л. Пича, анонимный автор обзора «Журналистика», напечатанного в «Неделе», писал: «Немец и вообще люди безучастные к тому дви-

---

[8] См.: Заря, 1870, № 1, с. 136—138.

[9] См. открытое письмо Тургенева к М. М. Стасюлевичу (*ВЕ*, 1880, № 2, с. 843—844).

жению, против которого был направлен роман г-на Тургенева, не могут понимать всей горечи таких сцен, в которых представитель молодого поколения является в глазах мужика „чем-то вроде шута горохового“ или таких объяснений стремлений молодого поколения, как „бездонная пропасть базаровского самолюбия“» (Неделя, 1870, № 16, 19 апреля (1 мая), с. 535) [10]. Таким образом, одна из главных целей, поставленных Тургеневым перед самим собою при сочинении статьи «По поводу „Отцов и детей“» — найти общий язык прежде всего с демократическим читателем, не была им достигнута.

Положительную оценку статья Тургенева получила лишь в периодических изданиях без ярко выраженной общественно-политической ориентации. Именно в этих изданиях писателю воздавалось должное и за открытый разрыв с «Русским вестником» Каткова, и за признание известной вины перед разночинцами-демократами. «Этими последними объяснениями,— отмечалось, например, в критико-библиографических заметках журнала „Библиограф“,— г-н Тургенев наводит на совершенно иной ряд мыслей, чем своими романами; г-н Тургенев сам, так или иначе, заявляет свои симпатии,— и нельзя не поверить его искренности...» (Библиограф, 1869, № 3, декабрь, с. 9). В сущности о том же говорилось в газете «Современные известия». Квалифицируя статью «По поводу „Отцов и детей“» как «публичный донос» Тургенева «на самого себя», неизвестный автор заметки «Новые книги», напечатанной в этой газете, утверждал, что «Тургенев тем самым ⟨. . .⟩ в глазах даже самых ярых своих литературных врагов должен явиться чистым от той тени, которая, как сам он говорит, „легла на его имя“» (Современные известия, 1870, № 1, 1 января, с. 3). Наконец, в неподписанном фельетоне «Недельные очерки и картинки», напечатанном в газете «С.-Петербургские ведомости», также утверждалось, что «Тургеневу можно верить». Что же касается весьма распространенных толков о том, что Тургенев в лице Базарова нарисовал портрет Добролюбова, критик «С.-Петербургских ведомостей» реагировал на них следующим образом. «...я не видел бы большой беды, если б и в самом деле Базаров напоминал Добролюбова — ведь Базаров прежде всего очень умный, оригинальный, независимый человек; ведь это не Волохов, в котором г-н Гончаров изобразил не человека, а какое-то, с позволения сказать, чудище» (*СПб Вед*, 1870, № 11, 11(23) января).

В декабре 1869 г. Тургенев получил отзыв на свою статью от А. Ф. Писемского. «По поводу Ваших воспоминаний,— писал Писемский,— я слышу очень много толков, и что мне досадно — так это то, что и Ваши друзья, и Ваши враги не так их понимают; на первом плане, разумеется, стоит Ваше объяснение касательно Базарова. Зная Вас хорошо и зная, как Вы вообще искренни и не трусливы в том, что пишете, я глубоко убежден, что Вы это написали потому только, что *это так было на самом деле*» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 2, с. 184). Отвечая на этот отзыв, Тургенев писал Писемскому 27 декабря ст. ст. 1869 г.: «Могу уверить Вас, что каждое слово в этой статейке — *непреложная истина*».

---

[10] Напомним, что «шутом гороховым» в глазах мужика Базаров был представлен по требованию Каткова, а «бездонная пропасть базаровского самолюбия» подчеркнута Тургеневым по настоянию Анненкова (см.: наст. изд., т. 7, с. 421—422, 426—427).

С т р. 86. *Не обладая большою долею свободной изобретательности, я всегда нуждался в данной почве...*— Тургенев в сущности повторяет одно из высказываний Белинского об особенностях его таланта. «Главная характеристическая черта его таланта,— писал Белинский о Тургеневе в статье „Взгляд на русскую литературу 1847 года“,— заключается в том, что ему едва ли бы удалось создать верно такой характер, подобного которому он не встретил в действительности. Он всегда должен держаться почвы действительности» (*Белинский*, т. 10, с. 346).

...со мною на острове Уайте жил один русский человек, одаренный весьма тонким вкусом...— Возможно, речь идет о Н. Я. Ростовцеве, сыне известного деятеля крестьянской реформы (см.: *Клеман*, *Летопись*, с. 116).

С т р. 87. *Осенью я прочел ее некоторым приятелям, кое-что исправил, дополнил...*— Речь идет о чтении романа вскоре после приезда Тургенева в Париж (16(28) сентября 1861 г.). На этом чтении присутствовали В. П. Боткин, Н. В. Ханыков, К. К. Случевский, В. Д. Скарятин, Н. В. Щербань и др. О дополнительной работе Тургенева над текстом романа в осенние месяцы 1861 г. см. наст. изд., т. 7, с. 420—430.

...я вернулся в Петербург, в самый день известных пожаров Апраксинского двора...— Ошибка Тургенева: пожар Апраксинского двора начался 28 мая ст. ст. 1862 г., на третий день после его приезда в Петербург. Многие современники Тургенева считали этот пожар делом рук революционеров, т. е. «нигилистов»; однако эта версия не нашла фактического подтверждения.

Позволю себе привести следующую выписку из моего дневника...— «Дневник» Тургенева сохранился лишь за ноябрь 1882 г.— январь 1883 г. (см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 393—398). Местонахождение других частей его неизвестно.

С т р. 87—88. *Мои критики называли мою повесть «памфлетом» ∽ но с какой стати стал бы я писать памфлет на Добролюбова...*— Такого рода суждения о Тургеневе и его романе наиболее четко были сформулированы в статье «Итоги», принадлежавшей видному сотруднику журнала «Современник» Ю. Г. Жуковскому. Характеризуя настроения Тургенева в период его конфликта с редакцией «Современника», Жуковский писал: «Талант этого писателя стал бледнеть перед теми требованиями, которые поставила в задачу романисту критика Добролюбова ⟨. . .⟩ Тургенев оказался бессилен учить общество тому, чему должна была научать это общество литература, по мнению Добролюбова. Г-н Тургенев стал терять понемногу свои лавры. Ему стало жаль этих лавров, и он, в отмщение критику, сочинил пасквиль на Добролюбова и, изобразив его в лице Базарова, назвал его нигилистом» (*Совр*, 1865, № 8, с. 316).

С т р. 88. *...эта статья, явившаяся в 1861-м году...*— Ошибка Тургенева: статья Добролюбова о «Накануне» — «Когда же придет настоящий день?» — появилась в печати в 1860 г., в третьей книжке «Современника» (журнальное название статьи — «Новая повесть г. Тургенева»).

...в нынешнем году я мог прочесть в Приложении № 1-й к «Космосу»...— Далее Тургенев приводит цитаты из анонимной статьи М. А. Антоновича «Новые материалы для биографии и характеристики Белинского („Воспоминания о Белинском“ Тургенева)» (Космос, 1869, № 18, 10 мая, с. 84—102).

...того наслаждения, о котором упоминает Гоголь...— Тургенев имеет в виду суждения Гоголя о героях первого тома «Мертвых душ», содержащиеся в «Выбранных местах из переписки с друзьями». В одном из «писем» этого цикла Гоголь отмечал: «Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что передал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться» (*Гоголь*, т. 8, с. 296—297).

...я заставил славянофила Лаврецкого «разбить его на всех пунктах»...— См. «Дворянское гнездо», гл. XXXIII.

С т р. 90. *...один критик привел и тот факт, что я заставил Базарова проиграть в карты...*— М. А. Антонович, писавший в статье «Асмодей нашего времени»: «Главный герой романа с гордостью и заносчивостью говорит о своем искусстве в картежной игре; а г. Тургенев заставляет его постоянно проигрывать; и это делается не для шутки ⟨. . .⟩ а для того, чтобы уколоть героя и уязвить его гордое самолюбие» (*Совр*, 1862, № 3, отдел «Русская литература», с. 68).

«Отцы и дети» были переведены несколько раз на немецкий язык...— Сводку данных об этих переводах см. в статье: К о в а л е в с к а я Е. Заметки о переводах романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» на немецкий язык.— Изв. Крымского пед. ин-та им. М. В. Фрунзе. Симферополь, 1957, с. 468—486.

С т р. 91. *«Ни отцы, ни дети,— сказала мне одна остроумная дама ∽ и вы сами нигилист».*— Возможно, это была А. П. Тютчева. В письме к Анненкову от 26 сентября (8 октября) 1861 г. Тургенев сообщал, что А. П. Тютчева и ее муж, Н. Н. Тютчев, ознакомившись с рукописью «Отцов и детей», «осудили» этот роман «на сожжение или по крайней мере на отложение ⟨. . .⟩ в дальний ящик».

С т р. 91—92. *Подобное мнение высказывалось еще с большей силой по появлении «Дыма».*— См., например, стихотворные отклики на «Дым» Ф. И. Тютчева (наст. изд., т. 7, с. 541).

С т р. 92. *...составилась довольно любопытная коллекция писем и прочих документов.*— Эта «коллекция», по-видимому, не сохранилась.

...один критик ∽ представил меня вместе с г-м Катковым в виде двух заговорщиков...— Б. М. Эйхенбаум высказал предположение, что в данном случае речь идет об М. А. Антоновиче и его статье «Асмодей нашего времени» (*Т*, *СС*, т. 10, с. 635). Однако в названной статье Антоновича такого заявления о «заговоре» Тургенева с Катковым нет.

С т р. 93. *..г-н Катков сожалеет о том, что я не заставил Одинцову обращаться иронически с Базаровым...*— Отвечая на письмо Каткова, советовавшего еще резче подчеркнуть в романе ироническое отношение Одинцовой к Базарову, Тургенев писал ему 30 октября (11 ноября) 1861 г.: «...Одинцова не должна иронизировать». В дальнейшем, вопреки пожеланиям Каткова, Тургенев устранил или существенно смягчил в рукописи «Отцов и детей» ряд иронических реплик Одинцовой по адресу Базарова (см.: наст. изд., т. 7, с. 426—428).

Тип Базарова показался ему «чуть не апофеозой „Современника“»...—письмо Каткова к Тургеневу с такой характеристикой Базарова не сохранилось. Однако достаточно ясное представление о характере суждений Каткова можно составить по ответным письмам к нему Тургенева в период дополнительной работы над ру-

копиcью романа осенью 1861 г. в Париже (см.: наст. изд., т. 7, с. 424—428).

«Et voilà comme on écrit l'histoire!»...— Цитата из комедии Вольтера «Шарло» (1767 г., акт 1, сцена VIII).

Выпущенным мною словом «нигилист» воспользовались тогда многие...— Тургенев подразумевает реакционные круги тогдашнего русского общества, отношение которых к роману сформулировано в «Отчете о действиях III отделения е. и. в. канцелярии и корпуса жандармов» на 1862 г. (*Центрархив*, *Документы*, с. 165).

Несколько печальных событий, совершившихся в ту эпоху...— Речь идет, по-видимому, о пожаре Апраксинского двора, революционных прокламациях с призывами к восстанию, закрытии журналов «Русское слово» и «Современник».

«Périssent nos noms, pourvu que la chose publique soit sauvée!» — Слова, произнесенные жирондистом Верньо (1753—1793) на заседании Конвента (1792).

С т р. 94. *Я уже объявил однажды и готов повторить, что не ослепляюсь насчет моего положения.*— Возможно, Тургенев имел в виду свое письмо к К. К. Случевскому от 14(26) апреля 1862 г. Говоря о своем нежелании «накупаться» на дешевую популярность, Тургенев здесь писал: «Лучше проиграть сражение (и, кажется, я его проиграл), чем выиграть его уловкой».

...«служение музам»...— По-видимому, перефразировка строки из стихотворения Пушкина «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор») (1825). У Пушкина: «Служенье муз не терпит суеты».

«Greift nur hinein in's volle Menschenleben!» — Цитата из «Театрального вступления» к «Фаусту» Гёте.

Потугинские идеи — ци-ви-ли-зация...— Имеется в виду потугинская апология западничества в романе «Дым» (см. конец глав V и XXV), совпадавшая с убеждениями самого Тургенева.

...Prenez mon ours! — Цитата из водевиля Э. Скриба (1791—1861) «Медведь и паша́». В письме к Герцену от 13(25) декабря 1867 г., ставя вопрос, что́ в настоящий момент более всего необходимо невежественному и темному русскому народу, Тургенев писал: «Я отвечаю, как Скриб: prenez mon ours — возьмите науку, цивилизацию — и лечите этой гомеопатией мало-помалу».

С т р. 95. *...дорогою свободной...*— Цитата из стихотворения Пушкина «Поэту» (1830).

Sind's Rosen — nun sie werden blüh'n.— Цитата из эпиграммы Гёте «Kommt Zeit — kommt Rat» («Придет время — придет и решение»).

С т р. 96. *...в объявлениях своих уверять подписчиков...*— Подразумеваются объявления об издании «Современника» в 1862 г.

...отказал ей я — несмотря на ее просьбы,— на что у меня существуют письменные доказательства...— В письме к И. И. Панаеву от 1(13) октября 1860 г. Тургенев просил «не помещать» его имени в числе сотрудников «Современника». В дальнейшем неоднократные, но безуспешные попытки примирения с Тургеневым предпринимались Н. А. Некрасовым (см.: *Некрасов*, т. 10, с. 441—442; *Т, ПСС и П*, *Письма*, т. V, с. 78).

...я заявил публично...— Тургенев имеет в виду свое «Письмо к издателю „Северной пчелы“», напечатанное в номере 334 этой газеты от 10(22) декабря 1862 г.

Молодежь еще более вознегодовала на меня...— Тургенев имеет в виду заявления, аналогичные следующему: «Пусть г. Некрасов

жертвует... г. г. Тургеневым, Дружининым. Писемским, Гончаровым и Авдеевым и издает „Современник“»! (*Сев Пчела*, 1862, № 316, 22 ноября — см. фельетон, подписанный буквами А. Ю.).

ЧЕЛОВЕК В СЕРЫХ ОЧКАХ

(с. 98)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф начала очерка (до слов: «злая насмешливость загоралась тогда в каждой его черте» — с. 99, строки 10—11), без заглавия, 1 л. Перед текстом зачеркнутое обращение к редактору газеты «Неделя»: «М⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩ Н. Н.! Вы желаете от меня статьи для возобновляющейся „Недели“; я бы рад был [Вам] оказать Вам посильную услугу, так как искренне сочувствую направлению Вашего журнала. Но у меня нет ничего готового — и я поневоле принужден ограничиться небольшим эпизодом из заграничной моей жизни, который, быть может, не покажется Вашим читателям вовсе лишенным интереса» — и помета: «NB. Продолжение на отдельных листках». Датируется 1876 г. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 86; описание см.: *Mazon*, р. 84; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 271.

«К серым очкам». Черновые наброски; автограф, л. 1—5. Датируется 1876 г. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, р. 91; фотокопия — *ИРЛИ*. Р. I, оп. 29, № 241.

Черновой автограф, без заглавия, л. 1—6. После текста подпись «Ив. Тургенев» и дата: «Буживаль. Les Frênes. 12 сент⟨ября⟩/31 авг⟨уста⟩ 1879. Пятница. Полночь». Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, р. 91; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 241.

Беловой автограф, л. 1—11. После текста подпись «И. Т.» и дата: «Буживаль. Сент. 1879». Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, р. 91; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 241.

Беловой автограф — наборная рукопись, л. 1—12. После текста дата: «Буживаль. Сентябрь 1879». Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, р. 91; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 241.

Т, *Соч*, *1880*, т. 1, с. 110—136.

Впервые опубликовано во французском переводе: La Nouvelle Revue, 1879, 15 décembre, t. 1, p. 1265—1290, под заглавием «Monsieur François (Souvenir de 1848)» и с подписью «Ivan Tourguéneff». В начале 1880 г. напечатано в первом томе «Сочинений И. С. Тургенева».

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 103, *строка 25:* «быть попом» вместо «быть может» (по беловому автографу и наборной рукописи).

Стр. 104, *строка 14:* «помолчал» вместо «промолчал» (по первому черновому, беловому автографам и наборной рукописи).

Стр. 117, *строка 35:* «спрашивал меня не раз» вместо «спросил меня не раз» (по второму черновому, беловому автографам и наборной рукописи).

Над очерком «Человек в серых очках» Тургенев работал в 1876—1879 гг. В феврале 1876 г. писатель ответил согласием на просьбу редактора-издателя газеты «Неделя» П. А. Гайдебурова прислать небольшой рассказ (см. письмо к Я. П. Полонскому от 14(26) февраля 1876 г.), а 5(17) апреля этого же года просил Я. П. Полонского передать ему, что «немедленно принялся за обещанную ⟨. . .⟩ статейку», которую Гайдебуров «*непременно* получит через *неделю*». В это время Тургенев, видимо, и написал начало очерка, намереваясь предварить его письмом к редактору «Недели», возобновившему в апреле ее издание после трехмесячного перерыва (см.: Правительственный вестник, 1876, № 11, 15(27) января; Неделя, 1876, №№ 3—5, 15 апреля). Однако дальнейшая работа потребовала от писателя более значительных усилий, чем он, может быть, сам сначала предполагал. Прежде чем продолжать рассказ, возникла необходимость суммировать и обдумать еще раз суждения героя, разговоры автора с ним, факты, эпизоды, характеризующие «мусье Франсуа» с той или другой стороны. В результате появились пять листков черновых набросков. Предположение о таком порядке работы подтверждается пометой: «NB. Продолжение на отдельных листках» на черновом автографе начала очерка.

Окончание и переписывание романа «Новь» отвлекли внимание Тургенева от очерка. Он вернулся к нему почти через год, и 14(26) февраля 1877 г. написал сотруднику «Недели» Е. И. Рагозину: «Я перед „Неделей“ виноват: я обещал г. Гайдебурову статью — и не сдержал слова. Однако я не покинул моего намеренья — и в скором времени журнал, в котором Вы принимаете участие, получит от меня небольшой очерк, в котором я постараюсь воспроизвести довольно загадочную политическую личность, с которой мне пришлось столкнуться в Париже в 1848-м году».

Характер будущей работы самим писателем здесь определен впервые. А за несколько дней до этого (7(19) февраля 1877 г.) в письме Тургенева к М. Ф. Де-Пуле проскользнуло замечание, вошедшее потом в развернутом виде в текст очерка: «Вообще Белинский, удивительно чуткий критик, был довольно слаб в реальном понимании живых людей, которых судил большей частью в силу предвзятых идей. То же самое замечалось и в другом, столь же даровитом, хотя и вовсе не похожем на Белинского, человеке — в А. И. Герцене». Работа над «Человеком в серых очках» продолжалась до конца августа ст. ст. 1879 г.; дата окончания ее (12 сентября (31 августа)) проставлена самим Тургеневым на последней странице второй черновой рукописи. В «Неделе» «Человек в серых очках» опубликован не был. 18(30) августа 1879 г. Тургенев писал Флоберу, что очерк предназначается для журнала г-жи Адан «La Nouvelle Revue». В сентябре 1879 г. Тургенев дважды переписал текст (беловой автограф и наборная рукопись), внеся в него много существенных добавлений и кое-что сняв, а 1(13) октября выслал его В. В. Думнову для первого тома сочинений, печатавшегося в 1880 г. в Москве. К 25 октября (6 ноября) 1879 г. Тургенев закончил французский перевод очерка и показал его Флоберу, который в конце ноября—начале декабря читал и его корректуру; поправки и замечания Флобера были с благодарностью приняты Тургеневым (см. письмо к Г. Флоберу от 20 ноября (2 декабря) 1879 г.; см. также: A d a m Juliette (L a m b e r Juliette). Après l'Abandon de la Revanche. Paris, s/a, p. 400, 450). Русскую корректуру «Человека в серых очках» Тургенев правил в начале ноября,

продолжая при этом шлифовку текста (см. письмо к В. В. Думнову от 2(14) ноября 1879 г.).

«Человек в серых очках» — второе, после очерка «Наши послали!», обращение Тургенева к теме революции 1848 г., объясняющееся теми же, что и в 1874 г., причинами (см. ниже, с. 392). Мысль писателя развивалась в данном случае в русле того начавшегося во Франции с конца 1860-х годов движения, когда французы, по словам К. Маркса в письме к Л. Кугельману от 3 марта 1869 г., принялись «прямо-таки штудировать свое недавнее революционное прошлое» [1]. Движение началось с критики империи Наполеона III и выяснения обстоятельств прихода его к власти [2]. Закономерно возникавший вопрос, почему бонапартистский переворот последовал за революцией, каким образом революция породила империю, заставлял историков и романистов вновь и вновь рассматривать события 1848 г. и роли их участников. Едва ли не первым занялся решением этих актуальных проблем Флобер, окончивший в 1869 г. свой роман «Воспитание чувств». Начиная с этого времени, во Франции непрерывно выходят книги, с одной стороны, о Наполеоне III [3], а с другой — о революции 1848 г. [4] Дальнейшие события французской истории — крах империи, Парижская Коммуна, борьба между монархистами и республиканцами за форму правления, в ходе которой остро встал вопрос о республиканских традициях в стране, еще более углубляли интерес к 1848 г. Свидетельств, что Тургенев читал указанные работы, у нас нет (исключением является книга А. де ла Героньера), но его внимание к этой тематике подтверждается фактом другого рода: он с интересом перечитал «Воспитание чувств», вышедшее новым изданием в ноябре 1879 г., когда «Человек в серых очках» был уже написан (см. письма к Флоберу от 1(13) и 11(23) ноября 1879 г.).

В тургеневском очерке бонапартизм и революция 1848 г. рассматриваются во взаимосвязи. Его герой не только предсказывает февральский переворот и скорое пришествие Бонапартов, но и объясняет, почему страна пойдет по этому пути. Во французском национальном характере сочетаются два противоположных принципа — революционность и рутина, обозначенные в очерке именами Ро-

---

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1964. Т. 32, с. 496.

[2] Большое значение имели в этом отношении книги Э. Тено (Ténot E. 1) Paris en décembre 1851. Etude historique sur le coup d'état. Paris, 1862; 2) La province en décembre 1851. Paris, 1868), приобретенные Тургеневым, как и упоминаемая далее книга А. де ла Героньера, для его библиотеки (хранятся в Государственном музее И. С. Тургенева в Орле).

[3] Например: Lefranc P. Le deux décembre (1851). Ses causes et ses suites. Paris, 1870; Guéronnière A. de la. L'homme de Sédan. Dixième édition. Bruxelles, 1870; Hugo V. Histoire d'un crime. Paris, 1877.

[4] Castille H. Les Massacres de juin 1848. Paris, 1869; Vermorel A. Les hommes de 1848. Paris, 1869; Pierre V. Histoire de la République de 1848. Gouvernement provisoire. Commission exécutive. Cavaignac. 24 février — 20 décembre 1848. Paris, 1873; Chérest A. La vie et les œuvres de Marie. Paris, 1873; Barrot O. Mémoires posthumes, 4 tt. Paris, 1875—1876; Du Camp M. Souvenirs de l'année 1848. (La Révolution de février, le 15 mai, l'insurrection de juin). Paris, 1876, и др.

бесньера и Прюдома. Поэтому победоносная революция невозможна и всегда есть почва для монархического заговора. Эти мысли Тургенева — как, впрочем, и рассуждения о «военном элементе», свойственном французам, и о преобладающем значении для мирового исторического развития все-таки именно Франции, а не Америки,— восходят к концу 1840-х годов и совпадают с мнениями Герцена, высказанными им в циклах «Письма из Франции и Италии» и «С того берега» [5]. На протяжении 1860—1870-х годов Тургенев все более укреплялся в этих своих убеждениях. Так, он писал П. В. Анненкову 24 января (5 февраля) 1868 г.: «Французам не освободиться ввек, да они и не желают этого. Не Наполеон, другой будет le maître»: сходную мысль выражал в письме к А. В. Головину 26 сентября, 9 октября (8, 21 октября) 1877 г.: «Французы никогда не имели сильного и крепкого чувства свободы...», а 12(24) января 1879 г. замечал в письме к Флоберу: «Я вырезал для вас из газеты прилагаемую статью, мне кажется, ее написал законченный г-н Прюдом!»

Размышления Тургенева о путях развития Франции представляют собой только один аспект содержания очерка. «Человек в серых очках» связан также с комплексом идей, выраженных в статье «Гамлет и Дон-Кихот» [6]. Правда, герой очерка воплощает начало отрицания скорее в его мефистофельской, нежели гамлетической разновидности: он не только эгоистичен и скептичен в крайней степени, но и чудовищно властолюбив, холодно жесток, преступен (убийство поселенца-мексиканца, перевоплощение в национального гвардейца с ружьем наперевес во время «страшных июньских дней»). С точки зрения Тургенева появление такой фигуры в стране Монтеня и Вольтера в периоды сильных общественных потрясений неудивительно и исторически объяснимо при всей ее загадочности (может быть, поэтому герой носит обобщающе-символическое имя, а очерк заканчивается словами: «Есть такие морские птицы ᔓ как только настанет ясная погода»). Видя в «мусье Франсуа» национально-исторический тип, писатель тем не менее подчеркивал, и в примечании к французскому переводу, и в письме к Е. И. Рагозину от 14(26) февраля 1877 г., что им описана реально существовавшая личность. Интересны в связи с этим отзыв об очерке М. Санда, узнавшего в его герое человека, которого ему приходилось встречать в 1848 г., и ответ Тургенева, писавшего своему корреспонденту 17(29) декабря 1879 г.: «Очень рад, что „Г-н Франсуа“ вам понравился. Отнюдь не исключено, что вы его знали,— я стремился, насколько это было возможно, к портретному сходству — и почти ничего не добавил от себя. Во всяком случае это был тип, а типы повторяются» (см. в сб.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 13).

«Человек в серых очках» охарактеризован Тургеневым всесторонне: показаны его политические воззрения, взгляды на фи-

---

[5] Указано Л. В. Павловым в статье: И. С. Тургенев и А. И. Герцен. (К истории взаимосвязей в 40-е годы).— Уч. зап. Орловского пед. ин-та, 1963, т. 17, с. 30—31. В пору работы над очерком Тургенев, по собственному его признанию в письме к Е. Я. Колбасину от 5, 14(17, 26) августа 1879 г., «перечел ⟨. . .⟩ сочинения Герцена».

[6] См. об этом в статье: Л е в и н Ю. Д. Статья И. С. Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот». К вопросу о полемике Добролюбова и Тургенева.— В сб.: Н. А. Добролюбов. Статьи и материалы. Горький, 1965, с. 124.

лософию, религию, искусство, отношение к женщинам; он дан и в рассуждениях, и в действии. Скептицизм, цинизм, которым проникнуты каждое его высказывание, оттенены, усилены автором в ходе работы. Обращение Тургенева в 1870-х годах к типу скептика и пессимиста, по-видимому, может быть в какой-то мере объяснено в числе прочего и тем кругом мыслей и настроений, под влиянием которых писатель в это же время создавал свои «Стихотворения в прозе». Эти мысли и настроения удачно определил Л. Н. Толстой, в письме к А. Н. Пыпину от 10 января 1884 г. указавший, что в Тургеневе «сомнение во всем» жило рядом с «верой в красоту (женскую любовь — искусство)» и «добро — любовь и самоотвержение» [7].

Изучение рукописей «Человека в серых очках» показывает, что отношение автора к герою с самого начала носит ощутимо неприязненный, даже враждебный характер и что в основе этого неприятия лежат мотивы этического порядка, а не исходящее от Герцена и, на первый взгляд, очень правдоподобное подозрение, что «человек в серых очках» — шпион-бонапартист (см.: *Т сб*, вып. 4, с. 90—92). В связи с этим представляется сомнительным утверждение А. Гранжара, что в «мусье Франсуа» изображен агент, провокатор, распространитель бонапартистских брошюр, который вместе с г-жой Гордон и Юбером готовит приход Луи-Наполеона к власти [8].

Литературные обозреватели некоторых русских изданий информировали своих читателей о появлении за границей нового произведения Тургенева. В небольших заметках в «Живописном обозрении» от 5 января 1880 г. (№ 1) и «Современных известиях» от 16 февраля 1880 г. (№ 46) был дан пересказ очерка «Человек в серых очках», который разделил печальную судьбу «Сна» и «Рассказа отца Алексея»: до выхода в свет в составе первого тома нового собрания сочинений Тургенева в газете «Правда» от 30 декабря 1879 г. (№ 286) появился его неточный и сокращенный обратный перевод с французского, перепечатанный затем в газетах «Харьков» от 8 и 9 января 1880 г. (№№ 527 и 528) и «Саратовский листок» от 10 и 11 января 1880 г. (№№ 8 и 9). Критических откликов на очерк Тургенева было немного. Рецензент журнала «Кругозор», высоко оценив мастерство, с которым, оперируя далеким от русской жизни материалом, Тургенев изобразил «истого француза 1848 года», справедливо отметил, что в образе «мусье Франсуа» «выступают черты, родственные другим тургеневским лицам»: «Человек в серых очках 〈. . .〉 один из тех, в которых гибнут даром, искажаются недюжинные силы, один из осужденных па неудачу, частию по своей, частию по чужой вине» (Кругозор, 1880, № 1, с. 10—11). Благоприятный отзыв об очерке дал и В. П. Буренин (Z. 〈Б у р е н и н В. П.〉. Журнальные заметки.— Новороссийский телеграф, 1880, № 1555, 3(15) мая). П. Д. Боборыкин, которому очерк в целом также понравился, высказал в статье «Тургенев в новом издании» мнение, что для русских читателей фигура героя «остается несколько отрывочной 〈. . .〉. Господин Франсуа 〈. . .〉 даже недостаточно выяснен в политическом смысле». Попутно рецензент выражал сожаление, что Тургенев ограничивается эпизодами из про-

[7] *Толстой*, т. 63, с. 150.

[8] См.: G r a n j a r d H. Ivan Tourguénev et les courants politiques et sociaux de son temps. Paris, 1966, p. 208. Несогласие с А. Гранжаром выражал и А. Звигильский (см.: *Т, Nouv corr inéd*, t. 2, p. XLIV).

шлого и не пишет больших мемуаров о 1848 годе и европейской жизни вообще, свидетелем бурных событий которой он является уже столько лет (Критическое обозрение, 1880, № 2, 15 января, с. 80).

Очерк Тургенева не остался незамеченным и в XX в., о чем свидетельствует дневниковая запись И. А. Бунина от 21 апреля 1940 г. Перечитав «Литературные и житейские воспоминания», Бунин среди особенно понравившихся ему произведений «совершенно замечательного человека и писателя» назвал и «Человека в серых очках» (см.: Бабореко А. К. Бунин в начале войны. 1939—1941.— В кн.: Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс. Воронеж, 1978, с. 110).

Выполненный самим Тургеневым и просмотренный Флобером перевод «Человека в серых очках» имеет ряд отличий от русского текста. К заглавию очерка сделано примечание: «Ce petit écrit a un grand défaut: on y croira trouver des prédictions faites après coup. C'est un défaut que je ne puis corriger; mais j'affirme que le personnage dont je parle a réellement existé et qu'il m'a dit les paroles que je rapporte» ⟨«Этот маленький рассказ имеет один большой недостаток: в нем могут увидеть предсказания, сделанные задним числом. Этот недостаток я не могу исправить, но утверждаю, что человек, о котором я говорю, действительно существовал и говорил мне те самые слова, которые я здесь привожу»⟩. Во французском переводе немного иначе определено время действия: не «первые числа февраля 1848 года», а первые числа января («au commencement de janvier 1848»). Вместо «Théâtre Français» употреблено другое его наименование — «Comédie Française». Фамилия и имя Герцена раскрыты полностью. После слов «меня не стало» (с. 110, строка 31) следует текст: «Vous croyez donc aussi a la fatalité? — M. François eut un léger mouvement d'épaules.— Eh, Monsieur! Je suis comme Socrate, qui savait beaucoup de choses et prétendait ne rien savoir. Je ne crois à rien... et je crois à beaucoup de choses. Il n'y a que mon bonheur auquel je ne croie pas» ⟨«Вы, стало быть, тоже верите в судьбу? — Г-н Франсуа слегка повел плечами.— Ах, милостивый государь! Я, как Сократ: он знал многое и уверял, что ничего не знает. Я ни во что не верю... и во многое верю. Только в счастье мое я не верю»⟩, а за словами «...ты их не видишь и не знаешь» (с. 111, строки 4—5) — фраза: «Tu est seul, seul au monde» ⟨«Ты один, один на свете»⟩. Во французском переводе дана несколько иная редакция рассказа героя о том, чем закончилось его техасское приключение (с. 112—113, строки 25—23): «M. François se passa la main sous le menton.— Je lui ôtai son couteau, c'est ce que vous auriez fait, n'est-ce pas? — Et puis? — Et puis...— Il me jeta un regard oblique.— Cette affaire réglée, je partis pour la Californie» ⟨«Г-н Франсуа провел рукой под подбородком.— Я взял у него нож, вы бы тоже это сделали, не так ли? — А потом? — А потом...— Он искоса взглянул на меня.— Покончив с этим делом, я отправился в Калифорнию»⟩. Текст: «Помню, что не доезжая Понтуаза ᔓ „Всё пропало! всё пропало!“» (с. 114—115, строки 38—3) — следует после слов: «первое пророчество его сбылось же» (с. 115, строки 11—12). К утверждению г-жи Гордон: «„принц“ один может всё спасти» (там же, строки 6—7) — прибавлено: «le prince était l'homme désigné par le destin» ⟨«принц — человек, предназначенный судьбой»⟩. Несколько иронически звучащие слова: «спросил у „гражданина“ гарсона чашку кофе» (там же, строки 19—20) — в переводе «La Nouvelle Revue» отсутствуют, слово «citoyen» ⟨гражданин⟩ от-

несено к имени «экстренного комиссара» республики Антония Туре. В описании революционного Парижа есть штрихи, отсутствующие в русском тексте. Фраза: «Не стану также распространяться о пережитых мною впечатлениях ∽ и т. п.» (там же, строки 13—16) — звучит во французском переводе так: «Je ne parlerai pas non plus des émotions qui m'assaillirent à mon entrée à Paris, en voyant des cocardes tricolores sur les chapeaux, les casquettes et jusque sur les enseignes, puis des hommes en blouse qui démolissaient des barricades, le fusil en bandoulière et au chant de la Marseillaise» ⟨«Не буду говорить также о переживаниях, охвативших меня при въезде в Париж, когда я увидел трехцветные кокарды на шляпах, картузах и даже на вывесках, вооруженных людей в блузах, которые разбирали баррикады и распевали марсельезу»⟩. Снято, вероятно, лишнее для французского читателя пояснение, касающееся демонстрации «медвежьих шапок»: «(раскассированных гренадеров и вольтижеров национальной гвардии)» (там же, строки 31—32). Вместо «А почему же не с Германией?» (с. 116, строка 43) — сказано: «Pourquoi pas avec une autre nation?» ⟨«Почему же не с какой-либо другой нацией?»⟩. Рассказ «мусье Франсуа» о той бесполезной работе, которой были заняты пролетарии в национальных мастерских (с. 117, строки 3—6), дополнен конкретным топографическим указанием: «Avez-vous vu comment, au parc Monceaux, ils brouettent de la terre d'un endroit à un autre?» ⟨«Видели вы, как в парке Монсо они перевозят землю в тачках с одного места на другое?»⟩.

Как только очерк был опубликован в «La Nouvelle Revue», Ю. Роденберг обратился к Тургеневу с просьбой о помещении его немецкого перевода в своем журнале «Deutsche Rundschau». Тургенев согласился и объяснил ему некоторые трудности, с которыми Роденберг столкнулся при переводе (см. письма к этому переводчику от 15(27) декабря 1879 г. и 26 декабря 1879 г. (7 января 1880 г.)). Очерк был опубликован в первом номере «Deutsche Rundschau» за 1880 г.

С т р. 98. *Квартира моя находилась недалеко от Пале-Рояля...* — Пале-Рояль (Palais-Royal) — дворец в Париже, связанный с различными политическими событиями французской истории, начиная с Фронды. Построен архитектором Ж. Лемерсье в 1629—1636 гг.; достраивался и расширялся в XVII—начале XVIII в.; был (с некоторыми перерывами) резиденцией французских королей и членов их семей. В зданиях Пале-Рояля помещались театр, рестораны, игорные залы, кафе и лавки.

С т р. 99. *...ожидание предстоявших банкетов в пользу реформы волновало весь Париж...* — Оппозиционное движение против режима Луи Филиппа Орлеанского приняло форму банкетной кампании, начавшейся в июле 1847 г. Ее организаторами были умеренные республиканцы во главе с О. Барро. В первых числах февраля 1848 г. (время, к которому относится начало действия очерка) парижане обсуждали вопрос о банкете XII округа (предместье Сен-Марсо).

...Месяца не пройдет — и Франция будет республикой. ∽ К концу года Бонапарты будут обладать ∽ Францией. — Франция была провозглашена республикой 25 февраля 1848 г.; Луи Наполеон Бонапарт был 10 декабря этого же года избран ее президентом, а через три года (2 декабря 1851 г.) совершил государственный переворот и стал императором французов.

Стр. 100. *Слова, слова, слова.*— Реплика Гамлета из трагедии Шекспира «Гамлет» (акт II, сцена 2).

...ни Гизо не захочет.— Франсуа Пьер Гизо (Gisot; 1787—1874), занимавший в 1832—1836 и 1841—1848 гг. пост премьер-министра и фактически управлявший страной, действительно заявил 12 февраля 1848 г., во время заседания палаты депутатов, что правительство не намерено идти на какие-либо уступки оппозиции (см.: Journal des Débats politiques et littéraires, 1848, 13 février).

Стр. 101. *...Кстати, что вы скажете о той конституции, которую король Бомба пожаловал своим верноподданным?* — Неаполитанский король Фердинанд II (1810—1859), напуганный восстанием в Сицилии и демонстрациями в Неаполе, издал 29 января 1848 г. указ о разработке проекта конституции. Уже в мае он подавил революционное движение в Неаполе, а осенью расправился с Сицилией. Прозвища «Король Бомба» в феврале у него еще не было: он получил его после 48-часовой бомбардировки Мессины 7 сентября 1848 г.

...То же вот, что Мейербеер, который всё грозит да дразнит нас своим «Пророком» ∽ только не в музыкальном смысле.— Премьера оперы Мейербера «Пророк» (либретто Э. Скриба), оконченной в 1843 г., состоялась лишь 16 апреля 1849 г. Задержка во многом зависела от автора, сумевшего и в данном случае удачной газетной рекламой подготовить успех своего нового сочинения (см. об этом: Тургенев И. С. Несколько слов об опере Мейербера «Пророк» — наст. изд., т. 4, с. 455; Гейне Г. Полн. собр. соч. М.; Л.: Academia, 1936, Т. 12, с. 155— письмо к Г. Кольбу от 17 апреля 1849 г.).

Впрочем, и Рашель в последнее время попортилась ∽ Хороша; только кривляется маленько.— О двух знаменитых трагических актрисах, французской и итальянской: Рашели (Rachel; настоящее имя Элиза Рашель Феликс; 1821—1858) и Аделаиде Ристори (Ristori: 1822—1906), ставшей в 1847 г. маркизой Капраника дель Грилло, современники часто говорили как о соперницах. Тургенев высоко ценил игру последней (ср. письмо к А. А. Краевскому от 25 октября (6 ноября) 1860 г.), вероятно отдавая ей предпочтение (его отзыв о Рашели см. в письме к П. Виардо от 19 ноября (1 декабря) 1847 г.). Упоминания о французской актрисе есть также в романе «Новь» (гл. XXVI) и повести «Клара Милич» (гл. III).

Стр. 102. *Experto credi* (*вместо crede*) *Roberto.* — Латинская фраза, восходящая к Вергилию («Энеида», песнь 11, стих 283); употребление ее в средние века было связано с авторитетом ученых Сорбонны, основанной в 1250 г. Робертом Сорбоном (Михельсон М. И. Ходячие и меткие слова. СПб., 1896, с. 420).

Вот почему самый великий писатель — Монтень.— Мишель Монтень (Montaigne; 1533—1592), французский философ, автор «Опытов» (1580), один из любимых писателей Тургенева. О намерении переводить Монтеня он писал Я. П. Полонскому 18, 21 февраля (2, 5 марта) 1877 г. (ср. также письмо к П. И. Вейнбергу от 22 октября (3 ноября) 1882 г.).

Стр. 103. *«Францыл Венецианец»,— мелькнуло у меня в голове.*— Имеется в виду популярная в XVIII в. лубочная переделка рыцарского романа «История о храбром рыцаре Францыле Венециане и прекрасной королевне Ренцивене» (см.: Сопиков В. С. Опыт российской библиографии. СПб., 1904. Ч.3. с. 104, № 4865).

Стр. 103—104. *Я сам хотел основать религию ∽ Там этим вообще занимаются.*— Источником сведений о религиозной жизни

Америки для Тургенева могло быть знакомство с А. Я. Павловским и Н. В. Чайковским (см. письма Тургенева к Г. О. Гинцбургу от 10(22) января 1879 г. и М. М. Стасюлевичу от 23 августа (4 сентября) 1879 г.). Н. В. Чайковский, в частности, вместе с А. К. Маликовым и В. Фреем (Н. К. Гейнсом) основал в Америке коммуну, пытавшуюся жить по законам новой религии — богочеловечества (см.: Ф а р е с о в А. И. Семидесятники. СПб., 1905, с. 304—323, а также в сб.: Русские ведомости. 1863—1913. М., 1913, с. 282—284).

С т р. 105. *...и одно из моих лучших воспоминаний состоит в том, что и мне удалось стрелять по ним, по этим немцам! ꩜ Я участвовал...* — Речь идет либо о революциях 1820—1821 гг. в Неаполе и Пьемонте, либо о восстаниях 1831 г. в герцогствах Парма и Модена и в папской области Романья, подавленных австрийскими войсками.

«Guerra, caza y amores», — говорят испанцы. — См. в статье Т. И. Бронь «Испанские цитаты у Тургенева» (*Т сб*, вып. 1, с. 309).

С т р. 107. *...какие речи он держит в палате депутатов!* — Во время парламентской сессии, открывшейся 21 января 1848 г., Адольф Тьер (Tiers; 1797—1877), подвергнув критике финансовую политику государства и выразив сочувствие борьбе Италии за независимость, заявил: «Я всегда буду принадлежать к партии революции». Это заявление мало согласовалось с той ролью, которую он сыграл в пору своего пребывания у власти.

...вы разве полагаете, что Одилон Барро ꩜ Бум, бум! — Камилл Гиацинт Одилон Барро (Barrot; 1791—1873) — французский политический и государственный деятель, до февраля 1848 г. возглавлявший умеренно-либеральную «династическую оппозицию» (см. комментарий к с. 99), а с декабря 1848 г. по октябрь 1849 г. — первое правительство в президентство Луи Наполеона. К. Маркс и Ф. Энгельс называли его «воплощением либерализма», «nullité grave ⟨напыщенным ничтожеством⟩», «тяжеловесным пустомелей», «добродетельным громовержцем буржуазии» (М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч., М., 1956. Т.7, с. 35, т. 4, с. 367). Пренебрежительный отзыв о Барро см. в письме Тургенева к Л. Виардо от 24—25 мая 1848 г. (*Т*, *Nouv corr inéd*, t. 2, p. 5).

...не может же г-н Консидеран безнаказанно уверять, что у людей вырастет хвост с глазом на конце... — Тургенев считал, что это утверждение принадлежит Ш. Фурье, учителю В. Консидерана (см. письмо к Ю. Роденбергу от 26 декабря 1879 г. (7 января 1880 г.)). В действительности Фурье говорил не о хвосте, но о дополнительном органе, который, по его мнению, разовьется в будущем у соляриев — жителей самых далеких планет и который, учетверив их силы, не будет стеснять движений: см., например, статьи «Le nouveau monde scientifique» (Le Phalanstère, journal pour la Fondation d'une Phalange agricole et manufacturière associée en travaux et en menage, 1832, № 14, 30 août, p. 120) и «Esprit faussé chez les détracteurs» (La Réforme Industrielle, ou le Phalanstère, journal des intérêts généraux de l'industrie et de la propriété, 1833, № 31, 2 août, p. 355—356). Он сам пишет, что это дало его критикам из «National» повод доказывать, что фурьеристы хотят населить мир чудовищами, имеющими хвост с глазом на конце (см. статью «La quarantaine vers sa fin, ou l'Arrière-garde des Zoiles» в журнале «La Réforme Industrielle, ou le Phalanstère...», 1833, № 35, 16 octobre, p. 388). Глава фурьеристской школы (после смерти Фурье в 1837 г.) В. Консидеран (1808—1893), украшенный этим будущим усовершенствованием человечес-

кого рода, был излюбленной темой карикатур и анекдотов (см.: M i r e c o u r t Eugène de. Les contemporains. Paris, 1857, p. 77).

Вольтер говаривал, что у французов не эпические головы... — Эти слова, принадлежащие Николя де Малезье (Malezieux; 1650—1729), Вольтер процитировал со ссылкой на него в «Essai sur la poésie épique» (Oeuvres complètes de Voltaire. Paris, 1877. T. 8, p. 363).

С т р. 108. *...мусье Прюдом...* — Monsieur Prudhomme (господин Прюдом) — тип самодовольного буржуа, созданный французским карикатуристом и писателем Анри Монье (Monnier; 1799—1877) в 1830—1860-х годах (см., например, «Scènes populaires dessinées à la plume» (1830), «Nouvelles scènes populaires» (1835—1839) и др.).

Но у нас Катилины не будет — и Цезаря не будет... — Луций Сергий Катилина (108—62 гг. до н. э.), римский политический деятель, возглавивший в 63—62 гг. заговор, который, по-видимому, имел демократический характер. Кай Юлий Цезарь (102—44 гг. до н. э.), римский политический деятель и полководец; победив в гражданской войне Помпея, был в течение 45—44 гг. единоличным правителем государства. И Катилина, и Цезарь действовали в обстановке распада республики, воплощая противоположные политические тенденции.

С т р. 109. *Вам «Кориолан», может быть, оттого так нравится ᔕ о народе, о черни?* — Представление Тургенева о трагедии Шекспира «Кориолан» было очень устойчивым; см. его ранний отзыв о ней в связи с работой А. В. Дружинина над переводом пьесы (Шекспир и русская культура/Под ред. акад. М. П. Алексеева. М.; Л.; 1965. Гл. 6, с. 487).

С т р. 110. *...повторять восклицание Югурты: «Urbs venalis!»* — Слова «Urbem venalem et mature perituram, si emptorem invenerit» («О продажный город, он падет, как только найдется покупатель») принадлежат, по преданию, нумидийскому царю Югурте, который в 111—105 гг. до н. э. вел с Римом войну, обнаружившую начавшийся упадок республики.

С т р. 111. *...А. И. Г⟨ерцена⟩, проживавшего тогда в Париже.* — В феврале 1848 г. Герцена в Париже не было. В декабре 1847 г. он уехал в Италию и вернулся в Париж в мае 1848 г.

...личности, которые возбуждали его доверчивую симпатию ᔕ в своих записках... — Ср.: Герцен, т. 11, с. 197—204 («Былое и думы», ч. 6, гл. VIII).

С т р. 114. *...«экстренный комиссар» республики, Антоний Туре...* — Венсан Феррар Антони Туре (Thouret; 1807—1871), французский политический деятель; в 1848 г. член Учредительного собрания, в июне 1848 г. поддерживал Кавеньяка.

С т р. 115. *...известная г-жа Гордон...* — Элеонора Мари Гордон (Gordon; 1808—1849), рожд. Бро, французская певица; с 1831 г.— один из наиболее активных секретных агентов Луи Наполеона; принимала участие в Страсбургском заговоре 1836 г.

...единственная битва, ознаменовавшая февральские дни, произошла на площади, отделяющей это здание от Лувра. — Имеется в виду перестрелка 24 февраля между восставшими, захватившими Пале-Рояль, и войсками, оборонявшими пост Шато д'О, который преграждал путь к Тюильри (см.: S t e r n D. Histoire de la Révolution de 1848. Paris, 1850. T. 1, p. 163, 173—176).

В первый раз увидел я его 17 марта ᔕ когда громадная толпа работников ходила к ратуше протестовать ᔕ против известной манифестации так называемых «медвежьих шапок»... — Такое на-

именование получила демонстрация, которую 16 марта устроили аристократические роты национальной гвардии, лишенные декретом Временного правительства ряда привилегий (отдельного командования, особого обмундирования и т. п.). Она повлияла на характер народной манифестации 17 марта; задуманная как протест против недостаточной революционности правительства, последняя превратилась в защиту его от контрреволюционных элементов.

Рашель пела своим гробовым голосом марсельезу... — См. об этом же: Герцен А. И. С того берега (*Герцен*, т. 6, с. 40—41); Анненков П. В. Февраль и март в Париже 1848 г. (Воспоминания и критические очерки. 1849—1868. Собрание статей и заметок П. В. Анненкова. СПб., 1877. Т. 1, с. 324—325).

Стр. 116. *Не могу наверное сказать, видел ли я его 15 мая ∽ среди криков: «Да здравствует Польша!»* — Во время демонстрации 15 мая, происходившей под лозунгами поддержки борющихся за национальную независимость поляков (в начале мая 1848 г. польские национальные комитеты Галиции и Познани прислали в Париж делегацию, обратившуюся к французскому народу с просьбой о помощи делу освобождения Польши), создания «Общественного комитета» для контроля над действиями правительства, организации министерства труда, была сделана неудачная попытка распустить Учредительное собрание и создать новое революционное правительство. Подробный рассказ о событиях этого дня см. в письме Тургенева к П. Виардо, датируемом временем около 3(15) мая 1848 г. О польском вопросе и революции 1848 г. говорится в письме к Л. Виардо от 24—25 мая 1848 г. (см.: *T*, *Nouv corr inéd*, t. 2, p. 6).

Стр. 117. *Национальные мастерские!* — 26 февраля 1848 г. декретом Временного правительства были созданы называвшиеся так полувоенные организации для безработных: занятые там случайным и часто ненужным трудом рабочие самых разных специальностей получали по два франка за рабочий день и по одному — за день без работы. Это правительственное мероприятие намеренно искажало и дискредитировало принадлежавшую Л. Блану идею создания рабочих ассоциаций по профессиям, которые лишь отчасти субсидировались бы государством. Провокационное решение правительства закрыть национальные мастерские (21 июня 1848 г.) послужило поводом для восстания парижских рабочих.

Завтрашние выборы тоже довольно важны ∽ Он, по мнению мусье Франсуа, тоже стоял в списке избранных, правда последним, что, впрочем, тоже оправдалось. — В результате дополнительных выборов в Учредительное собрание 4 июня 1848 г. было избрано 11 депутатов. Марк *Коссидиер* (Cossidière; 1808—1861), 18 мая ушедший в отставку с поста префекта полиции по требованию реакционного Собрания, обвинявшего его в том, что он допустил «беспорядки» 15 мая, получил наибольшее количество голосов — 147 400. *Луи Наполеон Бонапарт* был избран 84 420 голосами, а *П. Ж. Прудон* — 77 094 (см.: Garnier-Pagès. Histoire de la Révolution de 1848. Paris, 1872. T. 10, p. 166—167).

Стр. 118. *...с оттенком сожаления о Ламартине, с оттенком злобы о Прудоне ∽ А Ледрю-Ролленя он прямо назвал: «Ce gros bêta de Ledru»...* — Альфонс *Ламартин* (Lamartine; 1790—1869), французский поэт и политический деятель, занимавший в период революции пост министра иностранных дел и проводивший контрреволюционную политику под прикрытием левых фраз; не вызывал у Тургенева симпатии не только как литератор, но и как фигура

политическая (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. 1, указатель имен, а также письма к О. А. Тургеневой от 29 мая, 3 июня (10, 15 июня) 1856 г. и к П. В. Анненкову от 5(17) октября 1872 г.; кроме того, см.: Алексеев М. П. Мировое значение «Записок охотника».— В кн.: Творчество И. С. Тургенева/Под ред. С. М. Петрова. М., 1959, с. 91—96). Пьер Жозеф *Прудон* (Proudhon; 1809—1865) — французский социалист-утопист, один из основоположников анархизма. Подробно о его крайне противоречивом поведении во время революции см.: Застенкер Н. Е. Прудон и февральская революция 1848 г.— Французский ежегодник. Статьи и материалы по истории Франции, 1960. М., 1961, с. 388—425. Александр Огюст *Ледрю-Роллен* (Ledru-Rollin; 1807—1874), французский политический деятель, публицист, руководитель (с 1843 г.) газеты «La Réforme», член Временного правительства (министр внутренних дел) и Исполнительной комиссии. Известен сочувственный отзыв Тургенева о нем в письме к П. Виардо от 11—16 (23—28) июля 1849 г.

...13-го июня, в самый тот день, когда на площади Согласия в первый раз появилось скопище бонапартистов, на которое Ламартин указал с трибуны палаты...— Это событие произошло 12 июня. Утром в Учредительное собрание поступило донесение полицейского комиссара о том, что толпа, выкрикивающая «Да здравствует Наполеон, первый консул, президент, император!», на мосту и площади Согласия растет. Около пяти часов из толпы стреляли в прибывшие к месту сборища правительственные войска. Об этом факте сообщил Учредительному собранию Ламартин, предложивший применить к Луи Наполеону закон об изгнании Бонапартов 1832 г. (см.: Garnier-Pagès. Op. cit., t. 10, p. 188—193, 208—211, 219—225).

Стр. 119. *А вы извольте помнить: настоящее дело теперь только начинается... И когда будет пройдено Чермное (Красное) море (la Mer rouge)...*— Предсказывая окончательную победу Луи Наполеона, мусье Франсуа вспоминает заключительный библейский эпизод бегства евреев из Египта, когда Моисей заставил море расступиться перед «сынами израилевыми» и сомкнуть свои воды над преследовавшими их египтянами. «И убоялся народ господа, и поверил господу и Моисею, рабу его» («Исход», гл. 14).

НАШИ ПОСЛАЛИ!

(с. 121)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф, 13 с. На титульном листе: «Наши послали. Эпизод из июньских дней 1848-го года в Париже. Начат в Париже, Rue de Douai, 48, в пятницу, 20-го марта 1874, в двен⟨адцать⟩ час⟨ов⟩ дня. Кончен там же — в понедельник, 23-го марта 1874, в $^1/_4$ 6-го веч⟨ера⟩. Ив. Тургенев. Напечатан в 12-м № „Недели“ (24-го марта 1874)». После текста подпись и дата: «Ив. Тургенев. Париж. Rue de Douai, 48. Понедельник, 23-го/11 марта 74. $^1/_4$ 6-го веч.». Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 86; описание см.: *Mazon*, p. 81; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 256.

Неделя, 1874, № 12, 24 марта, стлб. 424—430.

Т, *Соч*, *1874*, ч. 1, с. 104—114.

Т, *Соч*, *1880*, т. 1, с. 137—148.

Впервые опубликовано: Неделя, 1874, № 12, 24 марта, с подписью: Ив. Тургенев.

Печатается по тексту *Т*, *Соч. 1880*, с исправлением даты, указанной после текста: «1874» вместо «1868» (по черновому автографу).

Черновую рукопись очерка «Наши послали!» сам Тургенев датировал мартом 1874 г. А. Гранжар, опираясь на дату «1868», стоящую после текста очерка в первом томе «Сочинений И. С. Тургенева» (*Т*, *Соч*, *1880*), считает, что этой рукописи, которая одновременно является и наборной, предшествовала другая, относящаяся к 1868 г. [1] Довольно значительные разночтения с печатным текстом не позволяют, однако, видеть в известной нам рукописи наборную: она, конечно, представляет собой одну из черновых. Кроме того, безусловно существовавшие черновики и наброски, отражающие более ранний этап работы Тургенева, писались не в 1868 г., а начиная с конца 1872 г., когда Тургенев, отказавшись от намерения закончить рассказ «Русский немец и реформатор», обещанный им издателю газеты «Неделя» Е. И. Рагозину, писал ему: «Беда небольшая, если читатель вместо одного рассказа получит другой...» (письмо от 29 ноября (11 декабря) 1872 г.). Этим «другим рассказом», который, как он говорил П. В. Анненкову 20 декабря ст. ст. 1872 г., «в настоящее время весьма туго и неохотно вылупляется из своей ячейки», и был, по всей вероятности, очерк «Наши послали!». 18(30) января 1873 г. Рагозину сообщалось, что «половина уже написана». Но в апреле очерк еще не был закончен, и Тургенев отправил в редакцию «Недели» извинительное письмо, датированное 7(19) апреля (Неделя, 1873, № 15, 15 апреля). В письмах этого периода писатель часто жаловался на наступление той полосы, когда всякая литературная работа (кроме «Наши послали!», он писал тогда «Новь», «Пунина и Бабурина», «Живые мощи») дается с трудом (см. письма к Я. П. Полонскому от 21 февраля (5 марта); П. В. Анненкову от 23 марта (4 апреля); А. Ф. Онегину от 22 июня (4 июля); Е. И. Рагозину от 30 августа (11 сентября) 1873 г.). Только 14(26) марта 1874 г. очерк был отправлен Рагозину вместе с письмом, в котором Тургенев выражал уверенность, что цензурных препятствий к напечатанию «статейки» не будет: «всё это написано крайне объективно...».

По собственному признанию Тургенева, в основу очерка «Наши послали!» положено действительное происшествие (см.: *Т сб (Пиксанов)*, с. 132—133, и письмо к П. В. Анненкову от 30 марта (11 апреля) 1874 г.). В очерке рассказывается о событиях, которые произошли за четверть века перед тем, в 1848 г. Анненков, также находившийся тогда в Париже, вспоминал позднее, что Тургенев, сознавая важность происходящего, был неутомимым, зорким, впечатлительным свидетелем этих событий: «...им овладевал род нервного беспокойства, когда приходилось только издали прислушиваться к ее ⟨жизни⟩ шуму. Он постоянно рвался к разным центрам, где она наиболее кипит, и сгорал жаждой ощупать возможно большее количество характеров и типов, ею порождаемых» (*Анненков*, с. 335). Эту характеристику подтверждают парижские письма писателя к П. и Л. Виардо, из которых два, относящиеся к маю 1848 г., дают наиболее подробное и интересное описание революционных событий (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. I, с. 299—304; *Т*, *Nouv corr inéd*, t. 2, p. 4—7). По возвращении в Россию Тургенев много и охотно

---

[1] Granjard H. Ivan Tourguéneff et les courants politiques et sociaux de son temps. Paris, 1966, p. 206.

рассказывал о своих французских впечатлениях и размышлениях [2]. Интересны записи, сделанные под 1848 годом в его «Мемориале», относящемся к 1852 г. (см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 344), причем запись «Rue de l'Echiquier» может быть прямо сопоставлена с текстом «Наши послали!» (с. 123, строка 38). В 1860 г. писатель добавил к роману «Рудин» концовку, где изобразил смерть героя на баррикаде в Сент-Антуанском предместье в «знойный полдень 26 июня 1848 года».

Намерение Тургенева в 1870-х годах поделиться с читателями незабываемыми впечатлениями своей молодости вызвано рядом причин. Во-первых, внимательное изучение именно этой части своего революционного прошлого, которое началось с конца 1860-х годов во Франции и составляло очень заметную струю в ее общественной жизни, должно было оживить его воспоминания о 1848 г. (подробнее об этом см. выше, с. 381, комментарий к «Человеку в серых очках»). Во-вторых, события, связанные с народническим движением в России, направили мысль писателя к проблеме революционного переворота вообще и его опыта во Франции в частности. И в-третьих, столь значительные переживания, оставившие глубокий след в памяти и мировоззрении Тургенева, не могли не отразиться в итоговом по своему характеру цикле «Литературных и житейских воспоминаний».

Работая над очерком «Наши послали!», Тургенев стремился воссоздать особенную атмосферу каждого из четырех страшных июньских дней 1848 г. На тщательно и ярко выписанном фоне действует вставший в 1848 г. во весь рост парижский пролетарий, в изображении которого проявилась замечательная способность писателя «подмечать характерные общественные явления, мелькавшие у него перед глазами, и делать из них картины, выдающие дух и физиономию данного момента» (*Анненков*, с. 396). Старик блузник, человек бесконечно усталый, задавленный сверхсильной работой (см. с. 129, строки 4—7), в котором жизнь, казалось бы, должна уничтожить все стремления и порывы, кроме заботы о куске хлеба, оказывается способным на глубоко гуманный, мужественный и самоотверженный поступок [3]. Готовность героя к безымянному участию в событиях, происходящих в крутой, переломный момент общественного развития, его полная отрешенность от личных интересов во имя общего исторически прогрессивного дела (сознание прочной связи со своими, «нашими» акцентируется в его образе, и слово «наши» в ходе работы над рукописью настойчиво вводится в его рассказ) были нравственно близки Тургеневу. По убеждению писателя, представление об индивидуальной заслуге никогда не

---

[2] См.: Феоктистов Е. М. Воспоминания. За кулисами политики и литературы. 1848—1896. Л., 1929, с. 1; *Лит Насл*, т. 76, с. 351—356.

[3] Подлинный, по его собственному свидетельству, факт, о котором Тургенев рассказал в очерке, находится в полном соответствии с другими, сообщаемыми современниками фактами, также доказывавшими честность и благородство повстанцев. См. об этом: Революция 1848 г. во Франции (февраль — июнь) в воспоминаниях участников и современников. М.; Л.: Academia, 1934, с. 599—600; Гейне Г. Полн. собр. соч. в 12 т. М.; Л.: Academia, 1937. Т. 10, с. 2—3; Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки. 1849—1868. Собрание статей и заметок. СПб., 1877. Т. 1, с. 275.

должно преобладать над «мыслью о принесенной пользе»; охотнее всего он выражал этот свой принцип афоризмом времен Великой французской революции: «Пускай погибнут наши имена, лишь бы общее дело было спасено!» (ср., например, выше, с. 93, «По поводу „Отцов и детей“») [4].

В работе над заключительными страницами очерка очень значимым оказался для писателя опыт недавних событий Парижской коммуны: в его глазах она была именно тем, к чему привело бы победившее июньское восстание (см. письмо к П. Виардо от 13(25) марта 1871 г.). Отсюда восприятие парижского рабочего, душевным качествам которого писатель отдает должное, как представителя чуждой и враждебной силы [5], испытывающего острую неприязнь к буржуа (см. с. 129, строки 7—8). Отсюда и подчеркивание трагической бесполезности, бессмысленности восстания (см. там же, строки 19—23). В письмах 1870-х годов Тургенев, осуждая действия коммунаров (расстрел заложников в ночь на 24 мая 1871 г. в ответ на зверства версальцев, поджог зданий при отступлении), не менее энергично осуждал карателей, устроивших в Париже кровавую бойню (см. письмо к П. В. Анненкову от 27 мая (8 июня) 1871 г.). В очерке же, посвященном событиям 1848 г., намеренно (не в последнюю очередь по цензурным соображениям) «сглажены следы активного отношения автора к происходящим событиям» (*Лит Насл*, т. 76, с. 346). Этим объясняется вполне нейтральный тон, которым рассказывается как об отличавшихся особенной злобой при подавлении восстания гардмобилях: «...всё молодые ребята, почти мальчики; на них сначала плохо надеялись, но они дрались, как львы» (с. 125, строки 17—19), так и о лицемерном воззвании Кавеньяка (с. 126, строки 24—26). В соответствии с этим же подходом, в абстрактном плане свойственных человеческому сердцу всегда, в любые времена противоречий, дается и возникающее в конце очерка сопоставление инсургентов 1848 г. и коммунаров (с. 130, строки 15—18). Характерно отличие позиции Тургенева как свидетеля и историка июньских дней от восприятия тех же событий Герценом («С того берега», глава «После грозы», и письмо «Опять в Париже» из «Писем из Франции и Италии») [6].

---

[4] См. об этом в комментарии Л. М. Лотман в кн.: *Т, СС, 1975*, т. 11, с. 625.

[5] Granjard H. Ivan Tourguéneff et les courants politiques et sociaux de son temps, p. 207.

[6] На это различие обратил внимание А. Г. Островский в комментариях к «Наши послали!» (Тургенев И. Литературные и житейские воспоминания. Л., 1934, с. 299—301). Л. В. Павлов, обнаруживающий много общего во взглядах Тургенева и Герцена на революционное выступление французского пролетариата (эти сближения, однако, не всегда убедительны: см., например, его сопоставление гардмобилей-победителей у Герцена и Тургенева), также признает: «Тургенев, в отличие от Герцена, выступает в роли нейтрального наблюдателя, уклоняющегося от оценки политической сути борьбы» (Павлов Л. В. И. С. Тургенев и А. И. Герцен. (К истории взаимосвязей в 40-е гг.).— Уч. зап. Орловского пед. ин-та, 1963, т. 17, с. 32—34). Отмечено, однако (см.: Долотова Л. М. Тургенев о революционном Париже 1848 г. Из дневниковых записей П. А. Васильчикова. 1853—1854.— *Лит Насл*, т. 76, с. 344—348), что в записях П. А. Васильчикова от 3—5, 15—17, 18—23

Критические отзывы об очерке немногочисленны. Реакционный «Русский вестник» по поводу «Наши послали!» весьма развязно писал о Тургеневе как о «платоническом любовнике сильных ощущений, отправившемся в июньские дни в Париж поглазеть на баррикады»; впрочем, автор статьи не отказывал очерку в «большом техническом мастерстве изложения» [7]. Газета «Русский мир» объявила очерк одной из «кое-каких безделок», принадлежащих некогда талантливому писателю, который теперь упорно «отстраняется от современных тем» [8]. Ей вторили «Отечественные записки»: «Очевидно, г. Тургенев зажился за границей. Он полагает, что эпизод из истории революции 1848 года („Наши послали!") и русского революционера можно нарисовать одними и теми же красками» [9]. Оскорбительный тон этих статей возмутил критиков «Биржевых ведомостей» и «С.-Петербургских ведомостей», но сколько-нибудь развернутой оценки и анализа очерка они не дали [10], как и рецензент «Одесского вестника», верно, однако, отметивший, что принципы изображения героя в «Наши послали!» напоминают о «Записках охотника»: «...тот, кому памятны „Записки охотника" ⟨. . .⟩ ни на минуту не усомнится в благородном и искреннем чувстве, одушевлявшем автора в его художественном наброске „Наши послали!"» [11].

Высказывания друзей и знакомых Тургенева об этом его произведении не сохранились, но известно, что 30 марта (11 апреля) 1874 г. очерк «Наши послали!» был отправлен П. В. Анненкову, 12(24) апреля — А. А. Трубецкой (*T*, *Nouv corr inéd*, t. 1, p. 327), а 17(29) апреля 1875 г. писатель обещал выслать его П. Л. Лаврову.

При жизни Тургенева очерк был переведен на немецкий и сербский языки. Немецкий перевод (под заглавием «Die Unsrigen haben mich geschickt») вышел в 1878 г. в серии Reclam's Universal-Bibliothek [12]. Сербский перевод был издан в 1882 г. под названием

февраля 1854 г., сохранивших для нас рассказ Тургенева о революции 1848 г. и составивших в совокупности канву мемуарного повествования, написанного через 26 лет, запечатлено иное отношение писателя к происходящему, которое никоим образом не позволяет видеть в нем простого «фланера» (см. наст. том, с. 122) и в общем не противоречит словам А. И. Герцена, писавшего о Тургеневе 21 июля (2 августа) 1848 г.: «...нравственно он чрезвычайно развился, и я им доволен с своей стороны» (*Герцен*, т. 23, с. 82).

[7] М. Три последние произведения г. Тургенева.— *Рус Вести*, 1874, № 5, с. 387.

[8] А. О. ⟨А в с е е н к о В. Г.⟩. Очерки текущей литературы.— *Рус Мир*, 1874. № 104. 12 апреля.

[9] Н. М. ⟨М и х а й л о в с к и й Н. К.⟩. Литературные и журнальные заметки.— *Отеч Зап*, 1874, № 4, с. 408.

[10] См.: Э к с ⟨Ч е б ы ш е в-Д м и т р и е в А. П.⟩. Письма о текущей литературе.— Биржевые ведомости, 1874, № 142, 29 мая (10 июня); Z. ⟨Б у р е н и н В. П.⟩. Журналистика.— *СПб Вед*, 1874, № 148, 1(13) июня.

[11] С. Г-в ⟨Г е р ц о-В и н о г р а д с к и й С. Т.⟩. Журнальные заметки.— Одесский вестник, 1874, № 80, 11 апреля.

[12] См.: П у м п я н с к и й Л. В. Тургенев и Запад.— *Т сб (Бродский)*, с. 99.

«Наши ме послали! (Епизода из историје јунских дана 1848 год у Паризу)»[13].

С т р. 121. *...а после свидания делегатов от только что распущенных национальных мастерских* ∽ *Мари* ∽ *принятое ими за упрек и обиду...*— Александр Тома Мари (Marie; 1795—1870) — министр общественных работ во Временном правительстве; 21 июня 1848 г. распустил им же созданные национальные мастерские, а 22 июня принял пришедшую выразить протест против этого решения группу рабочих во главе с Л. Пюжолем. Делегаты сочли себя оскорбленными его упреком в том, что они слишком поддаются влиянию своего руководителя («Что же, вы только рабы этого человека?») (см.: S t e r n D. Histoire de la Révolution de 1848. Paris, 1853. T. 3, p. 150—153).

С т р. 122. *...«деревьях свободы».*— Торжественные церемонии посадки и освящения так называемых «деревьев свободы» начались 24 февраля 1848 г. (см.: G a r n i e r-P a g è s. Histoire de la Révolution de 1848. Paris, 1862. T. 7, p. 166—178).

(Тогда еще не было макадама на бульварах.).— Макадам — дорога, мощенная мелким утрамбованным щебнем.

С т р. 124. *...начальника парижской армии Кавеньяка...*— Луи Эжен Кавеньяк (Cavaignac; 1802—1857), бывший алжирский генерал-губернатор, 17 мая был назначен военным министром, а 24 июня получил диктаторские полномочия.

...подвижная национальная гвардия (garde mobile)...— Была организована в количестве 24 батальонов (по 1000 человек в каждом) из молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет, принадлежавших в основном к деклассированным слоям общества и получавших жалованье, намного превышавшее жалованье солдат регулярной армии. Временное правительство рассматривало их как будущих душителей революции.

С т р. 125. *...смертельно раненный депутат Шарбоннель...*— 25 июня депутаты Учредительного собрания выразили готовность выйти к баррикадам и огласить декрет о диктатуре Кавеньяка. Один из них, Феликс Жозеф Шарбоннель (Charbonnel; 1797—1848), был в этот день убит в районе Сент-Антуанского предместья.

С т р. 126. *...что генерал Бреа расстрелян инсургентами, что архиепископ Аффр насмерть ранен...*— Генерал Жан Батист Фидель Бреа (Bréa; 1790—1848), расстрелявший 80 повстанцев, сдавшихся на честное слово, был убит инсургентами 25 июня. Парижский архиепископ Аффр (Affre; 1793—1848) пытался уговорить восставших сложить оружие и погиб в начавшейся перестрелке от пули национального гвардейца также 25 июня.

Помнится, мы читали прокламацию Кавеньяка∽*ожесточенных сердцах...*— В воззвании Кавеньяка, появившемся 25 июня, повстанцам предлагалось отказаться от сопротивления. «Придите к нам,— говорилось в нем,— придите как братья, раскаявшиеся и подчинившиеся закону, республика готова принять вас в свои объятия».

Ординарец, гусарский офицер ∽ *закричал: «Вот какими пулями они в нас стреляют!..»* — Наряду с другими измышлениями о жестокости инсургентов. по Парижу распространялись и под-

[13] См. об этом: Ч у н ч Г. Т. Русская литература на сербском языке.— Труды Воронежского гос. ун-та. 1926, т. 3, с. 124.

хваченные буржуазной печатью слухи о том, что рабочие пользуются отравленными и сплюснутыми пулями (см.: Революция 1848 г. во Франции (февраль—июнь) в воспоминаниях участников и современников, с. 603).

В том же доме, где я квартировал ∽ *поэт Г⟨ервег⟩* ∽ *от ноющей тоски бездействия и одиночества.*— Георг Гервег (Herwegh; 1817—1875), немецкий поэт, в 1843 г. эмигрировал во Францию, в апреле 1848 г. возглавил экспедицию «Парижского немецкого демократического легиона» в помощь революции в Германии, после неудачи этого предприятия активного участия в революционном движении не принимал. В 1848 г. Тургенев находился с Гервегом в дружеских отношениях, позже отзывался о нем неприязненно (см. письма к П. В. Анненкову от второй половины февраля—25 февраля (9 марта) и 1(13) апреля 1875 г.).

Стр. 128. *Всё на руки смотрели, есть ли следы пороха.*— Во время июньских дней в Париже действовала инструкция прокурора Гиацинта Мари Корна (Corne; р. 1802) о «способах обнаружения инсургентов», в которой рекомендовалось особенно внимательно осматривать руки подозрительных лиц в поисках следов пороха (Молок А. И. Июньские дни. Очерк истории восстания парижских рабочих 23—26 июня 1848 года. Л.; М., 1933, с. 92).

Стр. 130. *Подобные им люди, правда двадцать два года спустя, жгли Париж и расстреливали заложников...*— Речь идет о событиях Парижской коммуны (ср. выше, с. 393).

КАЗНЬ ТРОПМАНА

(с. 131)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф, 17 л. В конце подпись «Ив. Тургенев» и помета «Веймар. Hôtel de Russie. Суббота 30/18 апр. 1870 в 2 часа пополудни». Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 85, описание см.: *Mazon*, р. 75—76; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 319.

ВЕ, 1870, № 6, с. 872—890.

Т, *Соч*, *1871*, ч. 8, с. 33—60.

Т, *Соч*, *1874*, ч. 7, с. 31—56.

Т, *Соч*, *1880*, т. 1, с. 149—174.

Впервые опубликовано: *ВЕ*, 1870, № 6, с подписью: Ив. Тургенев.

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 131, *строки 14—15*: «псевдопарламентарного министерства Оливье» вместо «псевдопарламентарного Оливье» (по всем другим источникам).

Стр. 135, *строка 1*: «овладевало» вместо «овладело» (по черновому автографу, *ВЕ*, *Т*, *Соч*, *1871*).

Стр. 135, *строка 2*: «и медленное, именно медленное» вместо «и медленнее» (по всем другим источникам).

Стр. 139, *строка 9*: «молодого малого» вместо «молодого» (по всем другим источникам).

7(19) января 1870 г. в Париже был казнен за убийство семейства Кинков Жан Батист Тропман, механик, двадцати одного года. Французский писатель М. Дюкан пригласил Тургенева присутствовать на обряде подготовки убийцы к казни и на его гильотинировании. Тургенев был потрясен всем увиденным. «Я не забуду этой страшной ночи,— писал он П. В. Анненкову 10(22) января 1870 г.,— в течение которой „I have supp'd full of horrors" ⟨„Я досыта наглотался ужасов" — *англ.*⟩ и получил окончательное омерзение к смертной казни вообще и к тому, как она совершается во Франции в особенности. Я начал уже письмо к Вам, в котором рассказываю всё подробно и которое Вы потом, если вздумаете, можете напечатать в «С.-Петербургских ведомостях". Скажу теперь одно — что подобного мужества, подобного презрения к смерти, как в Тропмане, я и представить себе не мог. Но вся вещь — ужасна... ужасна».

Воспоминание о казни и замысел очерка долгое время волновали Тургенева. «Я описал подробно эту ужасную ночь,— сообщал он 9(21) февраля 1870 г. Н. С. Тургеневу,— и я полагаю, описание это появится во „Всемирной иллюстрации"». Однако никаких материалов, которые подтвердили бы, что замысел «Казни Тропмана» был осуществлен в это время, не имеется.

На титульном листе чернового автографа написано: «Казнь Тропмана». «Начато в воскресение 12/24 апреля 1870 в Веймаре, Hôtel de Russia. Кончено в субботу 18/30 апреля 1870. Там же».

В черновом автографе [1] нет многих фраз или частей фраз, которые имеются в журнальном тексте. Следовательно, они были добавлены Тургеневым на следующей стадии работы, т. е. в процессе создания белового автографа или в корректуре. Так, во фразе, характеризующей разговоры собравшихся в тюрьме в ожидании «туалета» Тропмана, в черновом автографе нет слов «о театре, об убийстве Нуара» (с. 137—138, строки 38, 1). Во фразе: «Притихнет на мгновение ∽ ему конца» нет слов: «как бы всё сорвать хочет» и «и утихает», которые впоследствии придали бóльшую выразительность описанию (там же, строки 18—21). Позднее появилась фраза: «Сотнями попадаются подобные лица между молодыми фабричными, воспитанниками общественных заведений и т. п.» (с. 143, строки 27—28), которую Тургенев ввел, чтобы подчеркнуть обыденность лица Тропмана.

Лишь в очень немногих случаях повествование в черновом автографе было более распространенным, нежели в окончательном тексте.

Как видно из чернового автографа, Тургенев тщательно работал над главой VIII. Описывая наружность Тропмана, он не всегда сразу находил необходимые эпитеты. В частности, в черновом автографе вместо «неприятно припухлый рот» первоначально было «красный рот», вместо «нехорошие редкие зубы» — сначала «клыкообразные зубы», затем — «нехорошие зубы», вместо «открытый чистый лоб» — «широкий чистый лоб». Приведенные примеры показывают, что в процессе работы Тургенев стремился придать наружности Тропмана черты большей конкретности и индивидуальности, устраняя из описания элементы традиционного «разбойничьего» зловещего портрета.

---

[1] Свод вариантов чернового автографа см.: *Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. XIV, с. 383—394.

Еще до присутствия на казни Тургенев пытался представить характер человека, совершившего злодейское преступление. В серии рисунков «Игра в портреты» содержится зарисовка мужской головы в профиль и подпись Тургенева от 8 октября 1869 г.: «Это Тропман в 15 лет!» (см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 538).

В известной мере документальным источником очерка «Казнь Тропмана» послужила и «превосходная статья» М. Дюкана о смертной казни — «Рокетская площадь» (Revue des Deux Mondes, 1870, N 1, 1 janv.), на которую Тургенев ссылается в очерке. Об этом свидетельствуют текстуальные и смысловые совпадения некоторых пассажей статьи М. Дюкана и очерка Тургенева (см.: Муратов А. Б. Тургенев и Максим Дюкан. (К творческой истории «Казни Тропмана»).— В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 136—142).

17(29) мая 1870 г. Тургенев сообщал Анненкову в письме из Веймара, что договорился о печатании перевода «Казни Тропмана» в немецком журнале и поэтому желал бы, чтобы его очерк появился в июньском номере «Вестника Европы». С этой целью он просил назначить чтение «Казни Тропмана» в присутствии Анненкова и М. М. Стасюлевича в первый же день своего приезда в Петербург, т. е. 21 мая ст. ст. В петербургском письме к Стасюлевичу от 21 мая (2 июня) Тургенев предлагал издателю «Вестника Европы» в тот же вечер прочитать повесть и добавлял: «Если статья не может появиться в *июньском* № „В⟨естника⟩ Е⟨вропы⟩", то я принужден буду обратиться в другой журнал...»

Видимо, чтение и состоялось вечером 21 мая (2 июня), а уже 23 мая (4 июня) Тургенев ожидал от Стасюлевича корректуру «Казни Тропмана». 27 мая (8 июня) он возвратил ее обратно «тщательно выправленную», так как «штук 12 нашел крупных опечаток!»

Убийство, совершенное Тропманом, и его казнь произвели во Франции и в других странах большое впечатление. Французские газеты посвящали ему пространные корреспонденции с тщательным описанием всех подробностей убийства и следствия. Аспекты информации были различны. Одни анализировали детали этого неслыханного злодеяния: были убиты из-за денег двое мужчин, женщина на седьмом месяце беременности и пятеро детей от пяти до шестнадцати лет,— всем вместе им было нанесено более ста ран. Других интересовала личность Тропмана, его хладнокровие во время убийства и следствия, позирование на суде. Третьи нападали на полицию за ее бездеятельность, на уголовные романы, воспитывающие вкус к преступлениям. Четвертые (республиканцы) обвиняли правительство и буржуазную общественность в лицемерии: из-за уголовного убийства поднят невообразимый шум, но никого не возмущали трупы людей, расстрелянных во время переворота 2 декабря 1851 г.

Особую группу среди всех, обсуждавших «дело» Тропмана, составили сторонники отмены смертной казни. Это движение началось задолго до убийства. Так, например, известный французский политический деятель Жюль Симон выпустил в свет в начале сентября 1869 г. брошюру «Смертная казнь», в которой протестовал против смертной казни как меры наказания преступников. М. Дюкан в статье «Рокетская площадь», напечатанной в № 1 «Revue des Deux Mondes» за 1870 г., также протестовал против смертной казни и обрядности, сопровождавшей все приготовления к ней. Сторонники отмены смертной казни ссылались на разгул низменных страстей,

сопровождавших казнь: защищать смертную казнь — значит удовлетворять нездоровые инстинкты. Ж. Симон сразу же после казни Тропмана, 24 января, внес в палату депутатов проект закона об отмене смертной казни. Комиссия парламентской инициативы отклонила проект: тогда 21 марта Ж. Симон вновь выступил в его защиту, но также безуспешно. В том же русле можно рассматривать и письмо доктора Пинеля в газету «Gaulois», написанное сразу же после казни Тропмана, с протестом против гильотинирования. П. Давид в «Journal des Débats» следующим образом отозвался по этому же поводу: «Пробил час реформ; и есть одна, которой наше цивилизованное государство настойчиво требует. Франция не должна отставать от Англии и Германии, отныне казни нужно производить внутри тюрем для того, чтобы освободить нас, наконец, от таких кровавых, полных опасностей, спектаклей; должен быть спрятан эшафот, всегда неприятный для глаз. Чувство милосердия требует, чтобы были сокращены все приготовления, чтобы были убраны с пути все препятствия, которые замедляют казнь» (D a v i d P. Exécution de Troppmann.— Journal des Débats, 1870, 20 Janvier) [2]. В том же духе и «L'Illustration» протестовала против «отвратительного спектакля смерти, выставленной для удовлетворения самых низких инстинктов народа» (L'Illustration, 1870, N 1405, p. 70).

В русской печати процесс Тропмана особенно подробно освещали газеты «С.-Петербургские ведомости» и «Голос». Постоянным парижским корреспондентом первой из них был П. Д. Боборыкин, в отчетах которого (см., например, *СПб Вед*, 1870, 3(15) января и 20 января (1 февраля), № 3 и 20) анализировались отклики различных общественных групп на дело Тропмана. Негодуя против любителей «сильных ощущений», ночевавших на площади Рокет, чтобы «насладиться поутру зрелищем обезглавления Тропмана», Боборыкин в одной из своих корреспонденций («С итальянского бульвара») допустил резкий выпад против Тургенева: «Мне рассказывали, что русский романист, проживающий за границей и бывший на этих днях в Париже, пробыл семь часов сряду на площади Рокет, невзирая на свои застарелые ревматизмы. Хотя мне это рассказывали особы, заслуживающие полного доверия, но я все-таки не хочу допустить, что художник, идеалист, проповедник гуманности, способен из-за простого дилетантизма выжидать вместе с толпой, преисполненной пошлых инстинктов, минуты репрессалий» (*СПб Вед*, 1870, № 20, 20 января). Через день Боборыкин (под псевдонимом Экс-король Вейдевут) повторил этот же упрек в фельетоне «Заграничная хроника. Дневник заштатного», в записи от 19 января (Искра, 1870, № 4, 22 января, с. 135).

Когда «Казнь Тропмана» была напечатана в «Вестнике Европы», очерк Тургенева не вызвал большого числа печатных откликов. Это объясняется тем, что интерес к Тропману, через полгода после его гильотинирования, значительно ослаб, а идейная направленность очерка — протест против смертной казни или ее публичности — формально не могла дать пищи к обсуждению, потому что

---

[2] Материалы из парижских газет, приведенные здесь и далее, были впервые учтены в комментариях А. Г. Островского в кн.: Т у р г е н е в И. Литературные и житейские воспоминания. Л., 1934, с. 302—303.

в то время смертная казнь в России за уголовные (не политические) преступления была отменена.

В обзорной статье «С.-Петербургских ведомостей» В. П. Буренин (Z) уделил основное внимание самому факту присутствия Тургенева на казни. Отводя упреки журналистов в адрес Тургенева, Буренин извинял писателя тем, что тот «душевно сокрушался в своей роли зрителя кровавого спектакля и страдал в минуты, предшествовавшие казни, едва ли не более Тропмана». Самый же рассказ Тургенева, по мнению критика, «исполнен такого интереса и таких достоинств, что за них можно простить всё что угодно. Множество подробностей необыкновенной сцены, подробностей тонких и доступных только наблюдательности истинного художника, выступают в правдивом повествовании нашего автора и передают весь омерзительный ужас той безобразной процедуры, которая называется смертной казнью. Тропман нарисован мастерски» (*СПб Вед*, 1870, № 159, 12(24) июня).

Несколько иной характер носил отзыв «Сына отечества»: «Нашему знаменитому беллетристу вздумалось, изволите видеть, воспользоваться предложением французского писателя Дюкана — присутствовать не только при казни Тропмана, но и быть в числе лиц, которым дозволен доступ в самую тюрьму,— и вот он передает те тяжелые впечатления, какие ему пришлось испытать, описывает ту нравственную пытку, какую пришлось выдержать, и передает то общее заключение, к какому привело его зрелище казни. Оно состоит в том, что ее не должно быть и во всяком случае не должно быть публичности. Самый рассказ о ходе приготовлений к казни и самой казни написан мастерски и не уступает подобному же рассказу Диккенса» (Сын отечества, 1870, № 125, 9 июня).

С исключительной резкостью откликнулся на «Казнь Тропмана» Ф. М. Достоевский. Переживший в молодости смертный приговор и приготовление к казни, Достоевский возмущался тем, что Тургенев сосредоточился на собственных чувствах и не передал переживаний обреченного на смерть Тропмана. «Меня эта напыщенная и щепетильная статья возмутила,— писал он 11(23) июня 1870 г. Н. Н. Страхову.— Почему он всё конфузится и твердит, что не имел права тут быть 〈. . .〉 Всего комичнее, что он в конце отвертывается и не видит, как казнят в последнюю минуту 〈. . .〉 Впрочем, он себя выдает: главное впечатление статьи в результате — ужасная забота, до последней щепетильности, о себе, о своей целости, о своем спокойствии — и это в виду отрубленной головы!» (*Достоевский*, *Письма*, т. 2, с. 274). Позднее в том же духе Достоевский пародировал очерк «Казнь Тропмана» в романе «Бесы» (см.: *Достоевский*, т. 10, с. 70; см. также: Долинин А. С. Тургенев в «Бесах».— В кн.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы, сб. 2. Л.; М., 1924, с. 119—136).

Чуждую кругу интересов Тургенева тему отметил в своем отзыве И. А. Гончаров: «...в газетах читал содержание июньской книжки „Вестника 〈Европы〉“,— писал он Стасюлевичу 10(22) июня 1870 г.,— много интересного, между прочим прочел объявление об убийстве Тропмана Тургенева: что это ему вздумалось писать о Тропмане! Ведь он, кажется, готовил Вам повесть» (*Стасюлевич*, т. 4, с. 99). Подобным образом высказался и П. Мериме в письме к Тургеневу от 23 сентября 1870 г.: «Я прочитал Вашу статью, и она не пришлась мне по душе. Такие вещи надо предоставить Максиму дю Кану» (Мериме П. Собр. соч. М., 1963, Т. 6, с. 267).

Одобрительная оценка была высказана Я. П. Полонским в письме к Тургеневу от 14(26) июня 1870 г.: «Прочел „Казнь Тропмана" — очень хороший рассказ — и положительно всем нравится» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 2, с. 238). В 1898 г. В. Г. Короленко в этюде «Знаменитость конца века» упомянул о Тропмане, «казнь которого так превосходно описана Тургеневым» (*Короленко*, т. 9, с. 393) [3].

«Казнь Тропмана» была переведена на немецкий язык Л. Кайслером и появилась в июльском номере журнала «Salon» за 1870 год. Об этом переводе и публикации Тургенев лично договорился с редактором «Salon» Ю. Роденбергом, когда в первой половине 1870 г. находился в Германии. Согласившись в письме к Ю. Роденбергу от 26 апреля (8 мая) «с изменением заглавия» — в немецком переводе «Казнь Тропмана» была названа «Traupmanns letzte Nacht», т. е. «Последняя ночь Тропмана»,— Тургенев 19(31) мая писал ему о тех изменениях, которые просил сделать в тексте немецкого перевода, а именно: «...ради осторожности превратить фамилию *Клод* (начальник de la police de sûreté) в простое К*⟨. . .⟩ К тому же в описании внешности *комендaнта тюрьмы* могли бы отсутствовать некоторые слишком резкие черты — я говорил о его неподвижном и *хищном* взгляде (господин Кайслер перевел „диком") — может быть, лучше это совсем опустить». Другие довольно существенные замечания по поводу текста немецкого перевода высказаны Тургеневым в письмах к Роденбергу от 22 мая (3 июня) и 5(17) июня 1870 г.

Тургенев, по-видимому, не был доволен этим переводом. 17(29) августа 1870 г. он писал Л. Фридлендеру: «Перевод „Последней ночи Тропмана", к сожалению, немного диковат и содержит несколько грубых ошибок».

Из откликов немецкой критики отметим отзыв Ю. Шмидта в его книге «Charakterbilder aus der zeitgenossischen Literatur», Leipzig, 1874. Считая статью «Последняя ночь Тропмана» «особенно замечательной», немецкий критик писал: «Описание казни мастерское. Особенно оно выигрывает при сравнении с „Le dernier jour d'un condamné" ⟨„Последний день осужденного"⟩ В. Гюго. Здесь всё тенденциозно. Смертная казнь должна быть описана как нечто отвратительное, и для изображения ее такою фантазия напрягается елико возможно ⟨. . .⟩ Рассказ же Тургенева прост, фактичен и нетенденциозен; убийца за несколько минут до казни, по-видимому, не испытывает в своем воображении никакой пытки, и, несмотря на это, читателя дрожь пробирает» (цит. по «Газете Гатцука», 1875, № 42, где в номерах 42—44 был помещен перевод этой главы из книги Ю. Шмидта).

В 1872 г. «Казнь Тропмана» была переведена на французский язык Н. В. Щербанем. По его словам, Тургенев рекомендовал этот перевод (вместе с переводами «Довольно» и «Собаки») для отдельного парижского издания (см. об этом: *Рус Вестн*, 1890, № 8, с. 22), которое, видимо, не было осуществлено. Впервые в переводе на французский язык, выполненном И. Я. Павловским, «Казнь Тропмана» («L'exécution de Troppmann») была напечатана в качестве приложения к книге: P a v l o v s k y I. Souvenirs sur Tourguéneff. Paris, 1887, p. 255—304.

---

[3] См. также: М а л и н о в с к и й И. Русские писатели-художники о смертной казни.— Изв. Томского ун-та, 1910, кн. 38, с. 40—41.

С т р. 131. ...*от М. Дюкана, известного писателя и специалиста по части статистики Парижа...*— Дюкан (Du Camp) Максим (1822—1894) — французский писатель, автор стихов, романов, новелл, описаний путешествий, корреспондент Тургенева. См. предисловие Тургенева к роману М. Дюкана «Утраченные силы» (наст. изд., т. 10).

...*мне предлагали включить меня в число немногих привилегированных лиц, которым разрешается доступ в самую тюрьму.*— Корреспондент «Голоса» О. перечисляет этих лиц, не называя, впрочем, Тургенева: «Директор ларокетской тюрьмы, г. Ларош д'Уази принял в своей квартире всех лиц, допущенных в тюрьму. Я очутился там в обществе Анри де Пена, Викторьена Сарду, Бенедикта Массона, Альберта Вольфа и Максима Дюкана» (Голос, 1870, № 13, 13(25) января, с. 3).

...*недавним назначением псевдопарламентского министерства Оливье...*— 28 декабря н. ст. 1869 г. Наполеон III утвердил министерство во главе с прежним ярым противником империи, но к этому времени уже ренегатом Э. Оливье, который формально хотя и являлся представителем парламента, а на деле был ставленником императора.

...*убийство Виктора Нуара, павшего от руки столь изумительно впоследствии оправданного принца П. Бонапарта.*— П. Бонапарт застрелил журналиста В. Нуара 10 января 1870 г. Похороны последнего превратились в антимонархическую демонстрацию. В марте того же года суд оправдал убийцу, бросив тем вызов общественному мнению Франции.

...*«знаменитого» пантенского убийцы...*— Убийство семьи Кинков было совершено Тропманом близ местечка Пантен под Парижем.

...*В окрестностях Рокетской тюрьмы...*— Тюрьма для приговоренных к смертной казни на площади Ла Рокет в Париже.

...*у статуи принца Евгения...*— Принц Евгений Богарне (1781—1824), сын Жозефины Богарне (впоследствии жены Наполеона I), один из ближайших сподвижников французского императора.

С т р. 134. ...*в ночь переворота 2 декабря...*— 2 декабря 1851 г. Луи Бонапарт свергнул республиканское правительство, а через год был провозглашен императором. Тургенев неизменно отрицательно оценивал деятельность и личность Наполеона III.— См. об этом в «Письмах о франко-прусской войне» и примечаниях к ним (наст. изд., т. 10).

...*занял типографию «Монитёра».*— Газета «Moniteur universel» с 1797 до 1865 г. являлась официальным органом всех правительств Франции.

...*лица некоторых были мне знакомы по фотографиям (Сарду, Альберт Вольф)...*— Викторьен *Сарду* (1831—1908) — известный драматург. Альберт *Вольф* (1835—1891) — фельетонист газеты «Фигаро».

С т р. 135. *Палач.../ Руками белыми играя...*— Вольно процитированные стихи Пушкина из «Полтавы» (1829; песнь вторая). У Пушкина;

Палач.../ То в руки белые берет,/ Играючи, топор тяжелый...

С т р. 139. ...*на известный мотив des lampions!* — Имеется в виду популярная во Франции песня: «Des lampions! Des lampions!», возникшая в 1848 г. после запрещения издания «Le lampion,

Eclaireur politique», выпускавшегося под редакцией Л. Буайе, Кс. де Монтепана и де Вильмессона.

С т р. 140. ...*une collation* — легкий завтрак (угощение) *(франц.)*.

С т р. 141. ...*окидывало всех нас каким-то огромным, круглым взором.*— В главе XXVI «Степного короля Лира» (1870) Тургенев, упоминая о «странной усмешке» Харлова, сравнивает ее с усмешкой, которую «много лет спустя» он видел «на лице одного к смерти приговоренного», т. е. Тропмана (наст. изд., т. 8, с. 217).

С т р. 143. *Два сторожа подошли к нему* ∽ *около ляжек к поясу.*— Ср. с пространным описанием одежды смертника в статье М. Дюкана «Рокетская площадь».

С т р. 144. ...*мы не в 1870 году, а в 1794* ∽ *не вульгарного убийцу, а маркиза-легитимиста...*— Обряд приготовления к казни и поведение приговоренного к смерти ассоциировались с аналогичной ситуацией в период французской буржуазной революции. Якобинцы — революционные демократы, диктатура якобинцев была установлена 2 июня 1793 г.; легитимисты — сторонники монархии.

...*к извергу, перерывавшему горла детей в то время, когда они кричали: maman! maman!..*— Газета «Liberté» сообщала о следующей подробности преступления: один из свидетелей, проходивших недалеко от места убийства, различил голос ребенка, кричавшего: «Ай, мама, мама!» (см.: *СПб Вед*, 1869, № 254, 15 сентября).

С т р. 146. *Священник между тем* ∽ *на французском языке из небольшой книжки.*— Эти слова являются переводом фразы из статьи Дюкана «Рокетская площадь»: «Pendant ce temps, l'aumônier lisait à demi-voix une prière en français».

С т р. 149. ...*прошло д в а д ц а т ь секунд.*— Описание этих двадцати секунд см.: D a v i d P. Exécution de Troppmann.— Journal des Débats, 1870, 20 janvier. Ср.: Du C a m p M. La place de la Roquette.— Revue des Deux Mondes, 1870, N 1, 1 janv., p. 205.

О СОЛОВЬЯХ

(с. 152)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Беловой автограф, законченный в Спасском 6 ноября 1854 г., 4 л. Подпись: Ив. Тургенев. Хранится в Государственном литературном музее (Москва). Копия: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 138.

Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах С. Аксакова. С прибавлением статьи «О соловьях» И. С. Тургенева. М., 1855, с. 179—191.

Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах С. Аксакова. С прибавлением статьи «О соловьях» И. С. Тургенева. Изд. 2-е с несколькими новыми заметками. М., 1856, с. 197—210.

Т, *1856*, ч. 2, с. 155—165.

Т, *Соч*, *1860—1861*, т. 1, с. 307—312.

Т, *Соч*, *1865*, т. 2, с. 454—463.

Т, *Соч*, *1869*, ч. 2, с. 377—384.

Т, *Соч*, *1874*, ч. 2, с. 375—382.

Т, *Соч*, *1880*, т. 1, с. 175—180.

Впервые опубликовано: Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах С. Аксакова. С прибавлением статьи «О соловьях»

И. С. Тургенева. М., 1855, с подписью: «Ив. Тургенев» и с пометой: «С. Спасское. 6 ноября 1854 года».

Печатается по тексту *Т, Соч, 1880* с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым.

2(14) апреля 1853 г., отвечая С. Т. Аксакову на его информацию о задуманном им еженедельнике «Охотничий сборник», Тургенев писал: «Ваш „Охотничий сборник“ — блистательная ⟨. . .⟩ мысль. Разумеется, я Ваш сотрудник ⟨. . .⟩ На днях примусь думать о содержании статей и сообщу Вам — на чем остановлюсь». Не прошло и месяца, как Тургенев 24 апреля (6 мая) 1853 г. сообщал Аксаковым, что для «Охотничьего сборника» он намерен составить «статью о ловле курских и бердичевских соловьев, списанную со слов ⟨. . .⟩ старого охотника, который раз двадцать ездил за ними по порученьям купцов и вывозил тысячных соловьев», и что «за занимательность этой статьи» он отвечает.

Однако «Охотничий сборник» не был разрешен цензурой в качестве периодического издания, о чем Аксаков извещал Тургенева 30 апреля (12 мая) 1853 г., добавляя при этом, что он все-таки намерен выпустить «большой том „Собрание статей о различных охотах разных сочинителей“» (*Рус Обозр*, 1894, № 9, с. 36).

Тургенев обещал Аксакову в письме от 12(24) мая 1853 г., что его «статьи» в этот том «непременно будут готовы к Петрову дню». Работа двигалась, однако, медленно, и писатель был принужден сообщить Аксакову 29 июня (11 июля) 1853 г., что статьи его «и до половины пе доведены». Осенью, когда окончилась охота, Тургенев снова обещал (в письме от 14(26) ноября 1853 г.) «непременно» кончить уже не две, а одну статью для «Охотничьего сборника». Однако лишь через год (11(23) ноября 1854 г.) он смог, наконец, написать Аксакову: «Посылаю Вам одну статейку о соловьях. Мне совестно, что я из-за такой безделицы задержал подание Вашей книги в ценсуру».

22 ноября (4 декабря) 1854 г. Аксаков благодарил Тургенева за статью, отмечая при этом, что она «прелесть по живости рассказа, по специальности языка и по горячему чувству охотника, которым проникнуто каждое слово» (*Рус Обозр*, 1894, № 11, с. 21). «Я рад, что статья о „Соловьях“ Вам понравилась»,— признавался Тургенев Аксакову в письме от 8(20) декабря 1854 г.

Книга «Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах С. Аксакова. С прибавлением статьи о соловьях И. С. Тургенева» вышла в свет в конце апреля 1855 г. (см.: *Сев пчела*, 1855, № 88, 25 апреля). В этом издании книги, а также во втором, вышедшем в 1856 году, после текста Тургенева следовало примечание Аксакова: «Конечно, читатели, особенно охотники, оценят достоинство этого живого, верного рассказа. Я замечу только, что собрание такого рода драгоценных специальных сведений по разным охотам могло бы составить сколько интересное, столько и полезное для науки указание жизни и нравов птиц и зверей, доступных для наблюдений только исключительно одним охотникам-специалистам».

Тургенев, очевидно, и сам был доволен статьей «О соловьях», так как неоднократно включал ее в свои сочинения. Так, статья эта была напечатана во второй части «Повестей и рассказов» (СПб., 1856), вошла в состав «Записок охотника» в издании 1860 г., была перенесена в ч. II (повести и рассказы) в изданиях сочинений 1865,

1868 и 1874 гг. и, наконец, появилась в составе «Литературных и житейских воспоминаний» в издании сочинений 1880 г. (том 1).

Французский перевод статьи «О соловьях» Тургенев собирался включить в сборник своих повестей, рассказов и пьес, выпущенный под заглавием: Scènes de la vie russe, par M. J. Tourguéneff. Deuxième série, traduite avec la collaboration de l'auteur par Louis Viardot. Paris, 1858 (Сцены из русской жизни И. Тургенева. Вторая серия, перевод в сотрудничестве с автором Луи Виардо. Париж, 1858). Об этом свидетельствует письмо Тургенева к Л. Виардо от 4(16) октября 1857 г.

Стр. 152. *...одного старого и опытного охотника из дворовых людей...*— Е. Я. Колбасин уточняет: «Прелестный рассказ „О соловьях" не есть сочинение Тургенева, а буквально записан со слов Афанасия, великого специалиста во всех родах охоты, начиная с медведя и кончая гольцом» (*ПСП*, с. 92). Речь идет об Афанасии Тимофеевиче Алифанове, выведенном в «Записках охотника» под именем Ермолая.

...до Егорьева дня...— до 23 апреля ст. ст.

...точёк на земле расчистить...— Ток, точёк птицеловов — расчищенное место, где кроют птицу или ловят силками (*Даль*, т. 4).

...дудочка ∽ вроде пищика.— Свисток для приманки птиц (*Даль*, т. 3).

Стр. 153. *...как желна́.*— Желна́ — большой черный дятел. В переносном смысле: неотступно выпрашивать, клянчить, как желна́ всё долбит одно место в дереве (*Даль*, т. 1).

...в Тимском уезде.— Тимский уезд лежит в северо-восточной части Курской губ. (ныне Тим — районный центр Курской области).

...у Малоархангельских соловьев...— Малоархангельск — уездный город Орловской губернии (ныне районный центр Орловской области).

Стр. 154. *Соловей, коли в береже...*— Бережа — береженье, охрана (*Даль*, т. 1).

Стр. 155. *...к Петрову дню...*— к 29 июня ст. ст.

Стр. 156. *Раз, под Лебедянью...*— Лебедянь — уездный город Тамбовской губернии (ныне Липецкой области).

ПЭГАЗ

(с. 157)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф, 4 л. Датируется декабрем 1871 г. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 76—77—78—86; описание см.: *Mazon*, p. 85; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 218.

Пэгаз, 1874 — Пэгаз. Ив. С. Тургенева. Издание П. П. Васильева. Казань, 1874.

Т, Соч, 1880, т. 1, с. 181—189.

Впервые напечатано отдельным изданием в Казани в 1874 г. с пометой после текста: «Париж. Декабрь. 1871».

Печатается по тексту *Т, Соч, 1880*, с устранением опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 159, строки 3—4: «и, наткнувшись на след» вместо «наткнувшись на след» (по черновому автографу и *Пэгаз, 1874*).

Стр. 160, строки 1—2: «учуять запах другого» вместо «учуять другого» (по черновому автографу и *Пэгаз, 1874*).

Стр. 161, строка 25: «повадке» вместо «поводке» (по черновому автографу).

В начале декабря 1871 г. Тургенев написал для издававшегося в Петербурге «Журнала охоты и коннозаводства» небольшой рассказ «Пэгаз» вместо обещанной журналу корреспонденции об охоте на тетеревов в северной Шотландии (см.: Журнал охоты и коннозаводства, 1871, № 29, 3 сентября). Понимая, что издания, подобные «Журналу охоты и коннозаводства», «у нас ⟨. . .⟩ недолговечны», Тургенев 8(20) декабря 1871 г. просил П. В. Анненкова хранить «статейку» у себя, если выяснится, что журнал перестанет выходить с нового года. Одновременно Тургенев вел переписку с казанским библиографом П. П. Васильевым, задумавшим издание литературного альманаха и обращавшимся к нему с просьбой о сотрудничестве. Узнав от Анненкова, что «Журнал „Охота" с Ивановым провалился, а с 1872 года будет другой — с Гиероглифовым» (*Рус Обозр*, 1898, № 3, с. 19), Тургенев 19(31) декабря 1871 г. писал ему: «„Пэгаза" оставьте у себя, пока я не получу ответа от своего казанского охотника-корреспондента. (Издателем „Журнала охоты" был не Иванов — а Николаев; а имя Гиероглифова меня пугает)». 7(19) января 1872 г. он сообщал, что рассказ можно отправить Васильеву.

Предполагавшийся альманах не состоялся, и Васильев напечатал рассказ отдельным изданием. В декабре 1873 г. книга поступила в продажу (см.: Камско-Волжская газета, 1873, № 147, 16 декабря). Через несколько дней в специальном письме к редактору «Камско-Волжской газеты» Васильев рассказал историю получения и опубликования «Пэгаза», чтобы прекратить толки «почтеннейшей публики», недоумевавшей, «каким образом в Казани издано сочинение известного русского писателя» (см.: Камско-Волжская газета, 1873, № 150, 23 декабря). 29 декабря ст. ст. он переслал Тургеневу «пять экземпляров „Пэгаза", на днях отпечатанного и поступившего в продажу», разъясняя, что 10% с вырученной суммы предназначено «в пользу голодающего народа Самарской губернии» и столько же будет предоставлено «в пользу недавно основанного в Казани „Общества колоний и ремесленных приютов для несовершеннолетних, впавших в преступление"» (*Bibl Nat*, фотокопия: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 288). В собрание сочинений 1874 г. рассказ не вошел; в письме к А. Ф. Онегину от 2(14) марта 1875 г. Тургенев следующим образом объяснил причины этого : «А „Пегас" оттого не попал, что уж больно незначителен; да я совсем и забыл о нем».

О Пэгазе, своей любимой охотничьей собаке, Тургенев писал И. П. Борисову 28 января (9 февраля) 1865 г.: «⟨. . .⟩ пес такой, что целой вселенной на удивление — коронованные особы (без шуток — это сделал принц Гессенский на охоте) перед ним шапки ломают — и предлагают мне громадные суммы... Он так отыскивает всякого раненого зверя, птицу — что на легенду сбивается, право... Спросите любого мальчугана в Великом герцогстве Баденском: а слыхал ты о Пегазе, собаке одного русского в Бадене? — так он о русском ничего не знает — а Пегаза знает! Чего еще?» М. В. Авдеев, живший в Баден-Бадене в 1864 г., уверял Н. А. Островскую и ее мужа, «будто весь Баден-Баден знает Пэгаза; будто немцы убеждены, что

Тургенев гораздо больше гордится своей собакой, чем всеми своими сочинениями» [1]. Когда же в 1869 г. Тургеневу предложили анкету, в которой был вопрос: «Если бы Вы не были Вы, кем бы Вы хотели быть?» — он шутливо ответил: «Моей собакой Пэгазом» [2].

Откликов в столичной печати «Пэгаз» не вызвал. В Казани о нем писали Б. П., критик «Волжско-Камской газеты», и издатель рассказа П. П. Васильев. В своем отзыве Б. П. отказал «во всяком литературном значении убогому, водянистому, без мысли собачьему дифирамбу», «мизерной вещице», «курьезному произведению» (Камско-Волжская газета, 1874, № 1, 2 января). Справедливо возражая ему, Васильев писал: «По моему мнению, „Пэгаз“ — мастерской этюд из естественной истории, этюд, который прочтется с удовольствием не только натуралистами или „завзятым“ охотником, а и каждым образованным человеком» (Казанский биржевой листок, 1874, № 5, 17 января). Указанные авторы обменялись статьями по поводу рассказа еще раз (Б. П. Лающийся Кифа Мокиевич.— Камско-Волжская газета, 1874, № 11, 25 января; Васильев П. Последнее слово гг. П. Б. и Агафонову.— Казанский биржевой листок, 1874, № 10, 1 февраля).

Стр. 157. *...заслуживает название «самого благородного его завоевания» — по известному выражению Бюффона.*— Тургенев имеет в виду труд французского естествоиспытателя Жоржа Луи Леклерка Бюффона (Buffon; 1707—1788): Histoire naturelle, générale et particulière par Leclerc de Buffon. Nouvelle édition. Paris, s/a. T. 22, p. 75. Эта же цитата встречается в рецензии Тургенева «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии С. А-ва. Москва, 1852» (см.: наст. изд., т. 4, с. 518).

---

[1] Островская Н. А. Воспоминания о Тургеневе.— *Т* сб (*Пиксанов*), с. 71.

[2] «Голодному на хлеб, альбом автографов писателей, художников, артистов и общественных деятелей», издание редакции газеты «Русская жизнь». СПб., 1892, с. 31.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ И НЕКРОЛОГИ

ВСТРЕЧА МОЯ С БЕЛИНСКИМ

(с. 167)

Впервые опубликовано: *Моск Вестн*, 1860, № 3, 23 января, с. 40—42, с подписью: И. Тургенев.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Соч*, *1891*, т. 10, с. 501—508.

Автограф неизвестен.

Печатается по тексту первой публикации с исправлением, по предложению М. К. Клемана (В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. Л., 1929, с. 197), опечатки на с. 171, строки 18—19: «беззаветному» вместо «безответному».

Имя Белинского, бывшее много лет под цензурным запретом, в 1856 г. впервые было названо на страницах «Современника». По этому поводу Тургенев писал 25 октября (6 ноября) 1856 г. В. П. Боткину и 16(28) ноября того же года Л. Н. Толстому, что он «с сердечным умилением читал иные страницы» «Очерков гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского именно потому, что там, наконец, произносится с уважением имя Белинского и делаются выписки из его статей. С другой стороны, статьи А. В. Дружинина в «Библиотеке для чтения» (1856, № 11—12), также посвященные анализу критической деятельности Белинского, вызвали со стороны Тургенева раздражение. «Статья о Б⟨елинском⟩ мне мало понравилась,— писал он Дружинину 13(25) января 1857 г.— Она очень умна и беспристрастна, но холодна и — виноват! — несправедлива». Дружинин обвинял Белинского в нетерпимости и в резкости критических приговоров. В связи с этим Тургенев писал 16(28) декабря 1856 г. Толстому, что, ниспровергая ложные авторитеты, Белинский расчищал путь для «правильного и здравого развития нашей словесности ⟨. . .⟩ Коли бить быка, так обухом»,— восклицал он.

Замысел очерка «Встреча моя с Белинским» возник, очевидно, в это же время, в конце 1856 г., и был живым откликом на полемику о путях развития литературы, завязавшуюся между демократическим и умеренно-либеральным направлениями в русской критике. Тургенев, в противоположность критику-«консерватору» (так называл он Дружинина), подчеркивал высокую принципиальность Белинского, его тонкое и верное чутье правды и красоты. Называя Белинского «центральной натурой», Тургенев доказывал, что он по праву стал «руководителем общественного сознания своего времени», для которого литература была одним из самых полных «проявлений жизненных сил народа».

Первоначально воспоминания Тургенева о Белинском должны были появиться в альманахе, который предполагал издать в пользу семьи Белинского Н. А. Некрасов. В письме к П. В. Анненкову от 23 сентября (5 октября) 1857 г. Тургенев сообщал, что с радостью примет участие в этом альманахе, и обещал для него предоставить «повесть или рассказ и воспоминания о Б⟨елинско⟩м». М. В. Белин-

ская не дала, однако, согласия на такого рода издание, и Некрасов вынужден был отказаться от своего проекта (см.: *Некрасов*, т. 10, с. 361—362, т. 12, с. 71—72).

Очерк «Встреча моя с Белинским», опубликованный на страницах «Московского вестника» (23 января 1860 г.), очевидно, был началом тех воспоминаний о критике, которые Тургенев предполагал напечатать в неосуществленном альманахе. Несмотря на то, что Тургенев обещал читателям «Московского вестника», продолжить в ближайшее время разговор о Белинском, к работе над мемуарами о нем он вернулся только в 1867 г.— после выхода в свет романа «Дым». Однако, опубликовав в 1869 г. воспоминания о Белинском, Тургенев не включил в них написанный ранее очерк «Встреча моя с Белинским» (об этом см. примечания к «Воспоминаниям о Белинском»).

С т р. 167. *Меня привел к нему наш общий знакомый З.*— Первая встреча Тургенева с Белинским состоялась в феврале 1843 г. (см.: *Белинский*, т. 12, с. 139); познакомил их Петр Васильевич Зиновьев (1812—1868), который был приятелем не только Тургенева, Белинского, Герцена (см.: *Герцен*, т. 22, с. 116), но и некоторых декабристов (см.: П е р к а л ь К. Новгородский знакомый Герцена и друг декабристов П. В. Зиновьев.— Русская литература, 1963, № 4, с. 155—160). Дом купца А. Ф. Лопатина, в котором Белинский жил с ноября 1842 по апрель 1846 года, находится у Аничкова моста, на углу Невского проспекта и Фонтанки (ныне Невский, № 68, Фонтанка № 40; см.: *Лит Насл*, т. 57, с. 399—400).

...некоторые его статьи, написанные им в предыдущем (1841) году...— Тургенев, по всей вероятности, имеет в виду статьи Белинского, написанные им не в 1841 году, а в 1839 (см. следующее примечание).

...свои прошлогодние статьи...— Речь идет о статьях Белинского, появившихся на страницах «Отечественных записок» в 1839 и начале 1840 года («Бородинская годовщина», «Очерки Бородинского сражения», «Менцель, критик Гёте», «Горе от ума. Комедия А. С. Грибоедова»), в которых развивался тезис о необходимости «примирения с действительностью». Белинский вскоре отказался от своих явно ошибочных взглядов (см.: *Белинский*, т. 11, с. 556).

С т р. 168. *...нравственная чистота этого — как выражались его противники ∽ «ц и н и к а»...*— В одном из своих писем к Боткину Белинский рассказывал, что Ф. В. Булгарин, встретив на Невском И. И. Панаева на другой день после выхода в свет книжки «Отечественных записок» с очередной статьей Белинского, направленной против «Северной пчелы», спросил его: «Почтеннейший, почтеннейший — бульдога-то это вы привезли меня травить?» (*Белинский*, т. 11, с. 420). Ср.: П а н а е в И. И. Литературные воспоминания. М., 1950, с. 293, а также наст. том, с. 21. О высоком нравственном чувстве Белинского писал в своих воспоминаниях и П. В. Анненков (см.: *Анненков*, с. 194—195).

Человек ученый ∽ двадцать лет тому назад...— Эта мысль развита Тургеневым также в его статье «Два слова о Грановском» (см. наст. изд., т. 5, с. 325—328 и примеч. к ним).

С т р. 169. *...встретился с ним летом на даче Лесного института.*— На даче Лесного института Белинский жил летом 1844 г.

...небольшой рассказ в стихах...— Речь идет о поэме «Параша» (1843); см. наст. изд., т. 1, с. 66 и примеч. на с. 461—465.

Он даже напечатал статью об этом рассказе в «Отечеств⟨енных⟩ записках»...— Рецензия Белинского на «Парашу» Тургенева была напечатана в пятом номере «Отечественных записок» за 1843 г. (отд. VI, с. 1—11).

...касались всех возможных предметов, преимущественно, однако, философских и литературных.— Подробнее о содержании разговоров с критиком Тургенев написал в своих «Воспоминаниях о Белинском» (см. наст. том, с. 40—50).

Он занимал одну из тех сбитых из барочных досок ∽ клеток...— О жизни Белинского на даче в Лесном институте см. в воспоминаниях о Белинском А. В. Орловой и А. Я. Панаевой в кн.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977, с. 556—557, 293—295, и в письме Н. Х. Кетчера к А. И. Герцену (*Лит Насл*, т. 56, с. 170).

Стр. 170. *Я тогда недавно воротился из Берлина, где занимался философией Гегеля...*— Тургенев слушал лекции в Берлинском университете с сентября 1838 г. по май 1841 г.

...разработывать массу данных фактов ∽ для этого ему недоставало сведений...— Эту точку зрения Тургенева впоследствии опровергал А. Н. Пыпин, который писал: «Упрекать Белинского в недостаточной разработке фактов можно только, сравнивая его труды с *позднейшей* разработкой этих фактов у писателей, которые были его учениками и преемниками и которые уже имели пред собой его предварительную общую характеристику старой литературы» (*ВЕ*, 1875, № 6, с. 574). В «Воспоминаниях о Белинском», напечатанных в 1869 году, Тургенев по-прежнему написал, что «сведения Белинского были не обширны» (с. 27), хотя и сделал оговорку, что русскую литературу критик «изучил основательно», и для того, «что ему предстояло исполнить, он знал довольно» (с. 27, 29).

Стр. 171. *...из кружка своих московских друзей...*— Тургенев имеет в виду кружок Н. В. Станкевича, члены которого (М. А. Бакунин, В. П. Боткин, И. П. Клюшников, В. И. Красов и др.) занимались изучением философии и эстетики.

...у авторов, вроде Красова...— Василий Иванович Красов (1810—1855) — один из поэтов кружка Н. В. Станкевича (см.: Бродский Н. Л. Поэты кружка Станкевича.— Изв. Отд. рус. яз. и слов. Академии наук, 1912, т. 17, кн. 4, с. 1—70; Поэты кружка Н. В. Станкевича. Сборник стихов / Вступ. статья С. Машинского. М.: Советский писатель, 1964). Белинский неоднократно отзывался с большим сочувствием о поэзии Красова. В статье «Журналистика» (1840) он писал: «В большей части стихотворений г. Красова ⟨...⟩ поражает художественная прелесть стиха, избыток чувства и разнообразие тонов» (*Белинский*, т. 4, с. 180).

Стр. 171. *...его недавно собранные и изданные сочинения.*— См. примеч. к с. 37.

⟨ПРОСПЕР МЕРИМЕ⟩

(с. 173)

Впервые опубликовано: *СПб Вед*, 1870, № 275, 6(18) октября, с подписью: И. Т.

В собрание сочинений впервые включено в 1958 г. в издании: *Т, СС*, т. 11, с. 246—247.

Автограф неизвестен.
Печатается по тексту первой публикации.

Некрологу придан вид письма (см. подзаголовок и дату).

Тургенев познакомился с Мериме в начале 1857 г., когда имя французского писателя было уже хорошо известно в России [1]. Автор «Театра Клары Газуль», «Гузлы», «Хроники времен Карла IX» и «Мозаики», писатель, вдохновивший Пушкина на создание «Песен западных славян», был, кроме того, одним из наиболее ревностных поклонников и пропагандистов русской литературы во Франции. В 1840-х годах Мериме усиленно занимался русским языком и затем перевел «Пиковую даму», «Цыган», «Выстрел» и ряд других произведений Пушкина, отрывки из «Мертвых душ» и комедию «Ревизор» Гоголя; в 1851 г. появилась его статья о Гоголе, в 1852—1853 годах — исторические исследования о Запорожской Сечи и Лжедимитрии, а также связанная с этими работами историческая драма «Первые шаги авантюриста», в 1868 г.— очерк о Пушкине. В 1862 г. Мериме был избран почетным членом «Общества любителей российской словесности».

Интерес к творчеству Мериме Тургенев проявлял уже в 1840-х годах. В рецензии на «Смерть Ляпунова» С. А. Гедеонова он ставит Мериме, как автора исторической хроники, рядом с Шекспиром, Гёте и В. Скоттом. А в письме к П. Виардо от 21 февраля (4 марта) 1852 г. Тургенев, вспоминая о статье Мериме «Николай Гоголь», назвал французского писателя «одним из самых проницательных умов» в Европе.

Мериме, в свою очередь, еще в 1854 г. написал весьма сочувственную рецензию на «Записки охотника», только что изданные во французском переводе [2]. Эта статья, отражая обострившийся интерес Запада к России в период Крымской войны, безусловно способствовала росту популярности Тургенева и русской литературы во Франции [3].

О первой встрече с Мериме Тургенев сообщал 17 февраля (1 марта) 1857 г. В. П. Боткину, а 23 февраля (7 марта) писал М. Н. Лонгинову: «Я познакомился ⟨. . .⟩ с Мериме. Похож на свои сочинения: холоден, тонок, изящен, с сильно развитым чувством красоты и меры и с совершенным отсутствием не только какой-нибудь веры, но даже энтузиазма» [4]. Как видно из некролога, Тургенев в дальнейшем изменил свое мнение о «холодности» Мериме.

---

[1] См.: Виноградов А. К. Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928; Виноградов А. К. Мериме в письмах к Дубенской. М., 1937.

[2] Mérimée P. La littérature et le servage en Russie.— Revue des Deux Mondes, 1854, 1 juillet, p. 183—193. Об оценке Тургеневым этого перевода см. в «Письме в редакцию „Journal de St.-Pétersbourg“» от 7/19 августа 1854 г.

[3] См.: Клеман М. К. «Записки охотника» и французская публицистика 1854 года.— В кн.: Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности акад. А. С. Орлова. Л., 1934, с. 305—314; Алексеев М. П. Мировое значение «Записок охотника».— *Орл сб, 1955*, с. 55—65.

[4] Истории личных и творческих взаимоотношений Тургенева и Мериме посвящены следующие специальные работы: Клеман М. К. И. С. Тургенев и Проспер Мериме.— *Лит Насл*,

Взаимоотношения двух писателей были многогранны. Тургенев знакомил Мериме с русской литературой (Л. Толстой, Достоевский, М. Вовчок и др.), помогал ему в работе над этюдами из русской истории XVI — XVIII вв. и рассказом «Локис», делился с ним своими творческими планами, в частности, подробно сообщал о замысле исторического романа о Никите Пустосвяте [5].

Большое место в письмах Мериме к Тургеневу занимал Пушкин. Мериме постоянно спрашивал Тургенева о русском поэте, делился с ним своими мыслями о Пушкине. Отзывы Мериме о «Кавказском пленнике», влиянии Байрона, «Медном всаднике», «Борисе Годунове», «Цыганах» и «Евгении Онегине», содержащиеся в письмах к Тургеневу, получили затем свое развитие в статье о Пушкине. В ней Мериме писал о русском поэте как об одном из величайших поэтов своего времени [6].

Тургенев привлек внимание Мериме и к творчеству Лермонтова: в 1865 г. они совместно перевели прозой поэму «Мцыри» (см. предисловие Тургенева к этому переводу — наст. изд., т. 10).

В 1860-х годах Мериме выступил как активный пропагандист произведений самого Тургенева во Франции. В 1863 г. вышло отдельное издание французского перевода «Отцов и детей» с предисловием Мериме, написанным в форме письма к издателю Шарпантье [7].

Близость художественных позиций обоих писателей — в частности, свойственная каждому из них «объективность» в изображении действительности — во многом объясняет их взаимный интерес друг к другу, их «литературную дружбу» [8]. В 1860-х годах Мериме перевел «Призраки» и «Собаку», значительно переработал неудачные переводы рассказов «Петушков» и «Жид» (перевод Делаво) и внес поправки в авторский перевод «Истории лейтенанта Ергунова». Эти произведения, вместе с переведенными самим Тургеневым «Асей» и «Бригадиром», составили впоследствии сборник «Nouvelles moscovites» (1869) [9]. В 1870 году появился последний перевод Мериме из Тургенева — рассказ «Странная история» [10].

т. 31-32, с. 707—751; *Parturier* M. Une amitié littéraire. Prosper Mérimée et Ivan Tourguénev. Paris, 1952; Ладария М. Г. И. С. Тургенев и классики французской литературы. Сухуми, 1970, с. 23—64.

[5] Заборов П. Р. Русская история в переписке И. С. Тургенева с П. Мериме.— *Орл сб, 1960*, с. 245—252; Горохова Р. М. Тургенев и новелла Проспера Мериме «Локис».— *Т сб*, вып. 1, с. 274—279; Левин Ю. Д. Неосуществленный исторический роман Тургенева.— *Орл сб, 1960*, с. 96—111.

[6] Revue des Deux Mondes, 1868, 20 janvier. См.: Алексеев М. П. И. С. Тургенев — пропагандист русской литературы на Западе.— В кн.: Труды Отдела новой русской литературы. М.; Л., 1948. Т. 1, с. 49—55.

[7] Tourguénev Ivan. Pères et enfants. Avec une préface de Prosper Mérimée de l'Académie Française. Paris, 1863.

[8] Эту близость отметил еще Л. Пич (Иностранная критика о Тургеневе. СПб., 1892, с. 90).

[9] Горохова Р. М. К истории издания сборника Тургенева «Nouvelles moscovites».— *Т сб*, вып. 1, с. 257—269.

[10] Revue des Deux Mondes, 1870, 1 mars.

С именем Мериме связана также история французского перевода романа «Дым», который он считал лучшим произведением Тургенева [11]. Мериме отредактировал весьма несовершенный перевод А. Голицына и написал статью «Иван Тургенев» (Moniteur universel, 1868, 25 mai), которая была затем перепечатана в качестве предисловия ко второму французскому изданию «Дыма» [12] и в которой суммированы отзывы о Тургеневе, сделанные в более ранних статьях и письмах Мериме.

Публикуемый некролог — единственное дошедшее до нас развернутое суждение Тургенева о Мериме. В последующих статьях, а также в письмах русского писателя имя Мериме почти не встречается. Но известно, что в 1872 г., по просьбе Л. Ломени, который должен был занять место Мериме во Французской академии и произнести традиционную похвальную речь своему предшественнику, Тургенев поделился с ним своими воспоминаниями (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. IX, с. 290—291, 349).

Некролог был перепечатан 8(20) октября 1870 г. в газете «Journal de St.-Pétersbourg». Прочитав его, Тургенев 20 ноября (2 декабря) 1870 г. писал Анненкову: «Присланный Вами перевод моего письма действительно написан на тарабарском языке и служит доказательством умственного ослабления в г. Каппельмане ⟨редакторе газеты⟩».

С т р. 173. *Вчера я прочел ∽ о смерти П. Мериме в Канне.*— В кратком некрологе, помещенном в «Indépendance Belge», говорилось: «Смерть г-на Проспера Мериме, знаменитого автора „Коломбы“,— это утрата, которую глубоко переживают все друзья литературы. Г-н Проспер Мериме только что умер в Канне. Он был временно погребен на кладбище этого города, и похоронная процессия превратилась в настоящую манифестацию, в которой объединились все партии» (Indépendance Belge, 1870, N 281, 8 oct., p. 1).

...последнюю его записку ко мне от 23 сентября...— См.: P a r t u r i e r M. Une amitié littéraire. Prosper Mérimée et Ivan Tourguénev, p. 251—252.

...талант которого заслужил высокое одобрение Гёте...— Гёте считал Мериме одним из самых значительных писателей начала XIX века. В 1828 г. он написал для журнала «Kunst und Alterthum» заметку о «Гузле» (G o e t h e. Werke. Weimar, 1903. Bd. XLI (2), S. 313—314). Многочисленные высказывания Гёте о Мериме содержатся также в «Разговорах» Эккермана (Э к к е р м а н И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М.; Л.: Academia, 1934, по указателю имен).

...но мы, русские, обязаны почтить в нем ∽ нашему быту...— Библиографию «русских» работ Мериме см. в кн.: C h a m b o n F. Lettres de Mérimée aux Lagréné. Paris, 1904.

Я постоянно с ним переписывался...— Сохранилось 96 писем Мериме к Тургеневу (*Mérimée*, II, p. 2—9). Письма Тургенева сгорели вместе с архивом Мериме в 1871 г.

---

[11] См. письмо Мериме к Тургеневу от 25 мая 1867 г. (*Mérimée*, II, 7, p. 513—515).

[12] См. письма Мериме к Тургеневу и А. Голицыну (*Mérimée*, II, p. 2—9) и письма Тургенева к А. Голицыну (*Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. VI), а также статью М. К. Клемана «И. С. Тургенев и Проспер Мериме», с. 727—733.

...видел я его года два тому назад в Париже.. — Последнее свидание Мериме и Тургенева состоялось в июне 1867 г. Мериме тогда выразил согласие перевести «Дым».

Про Мериме весьма справедливо сказал Э. Ожье...— Ожье (Augier) Гийом Виктор Эмиль (1820—1889) — французский драматург, один из создателей антиромантического театра. См.: Алексеев М. П. Тургенев в спорах о пьесе Э. Ожье.— *Т сб*, вып. 3, с. 240—254. См. также наст. том, с. 206.

...заступился за известного библиотекаря Либри ᔓ обвинялся его друг.— Математик, библиофил, член Французской академии, близкий друг Мериме, Либри Кардуччи делла Соммайя, назначенный в 1842 г. инспектором народного образования, был заподозрен в хищениях большого числа книг и рукописей (похищенные ценности были оценены в полмиллиона франков). Рапорт об этом был подан в 1848 г., но Гизо, покровительствовавший Либри, не предал тогда дело огласке. В 1852 г. рапорт был опубликован, и дело перешло в суд, который приговорил Либри заочно (к тому времени он уехал в Лондон и перевез туда свою библиотеку) к 10 годам тюремного заключения. В 1852 г. Мериме выступил со статьей, в которой доказывал неавторитетность произведенной по делу экспертизы, а затем опубликовал ответ на возражения экспертов. В 1861 г. Мериме еще раз выступил по делу Либри — на этот раз в сенате. Имя Либри упоминается и в письмах Мериме к Тургеневу (см. письмо от 18 мая 1867 г.— *Mérimée*, II, 7, p. 510). О деле Либри см.: Chambon F. Notes sur Prosper Mérimée. Paris, 1902, p. 307—308.

Стр. 174. *Мериме был ᔓ командором этого ордена*).— Орден почетного легиона учрежден в 1802 г. Наполеоном I. Командор — одна из высших степеней ордена.

...лично был привязан к наполеоновскому семейству и знал мое мнение о нем.— В 1830 г., во время путешествия в Испанию, Мериме близко познакомился с семейством графа Монтихо, одна из дочерей которого, Евгения, стала в 1853 г. женой Наполеона III. С этих пор Мериме оказался одним из наиболее близких к императорскому дому людей. Он стал сенатором, выполнял ряд дипломатических поручений и помогал Наполеону в работе над «Историей Юлия Цезаря». Тургенев же неоднократно высказывался о французском императоре в очень резких тонах (см. письма 1862—1870 гг.). Его антипатия к Наполеону непосредственно высказана в корреспонденциях о франко-прусской войне (см.: наст. изд., т. 10) и нашла свое отражение в написанных им опереттах (Оливье Р. Либретто оперетт и комедия (1867—1869).— *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 67—90).

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ТУРГЕНЕВ

(с. 175)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф, 4 л. После текста помета: «Париж, 1871». Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 7; описание см.: *Mazon*, p. 85; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 226.

Беловой автограф, наборная рукопись, 4 л. После текста помета: «Париж, 17/29 ноября 1871». Хранится в *ИРЛИ*, ф. 93, оп. 3, № 1266.

Письмо Тургенева к М. М. Стасюлевичу от 15 декабря н. ст. 1871 г. с поправками к тексту некролога.

ВЕ, 1871, № 12, с. 913—920.
Т, Соч, 1880, т. 1, с. 362—372.
Т, ПСС, 1883, т. 1, с. 475—486.

Впервые опубликовано: *ВЕ*, 1871, № 12, с подписью: Ив. Тургенев.

Печатается по тексту *Т, Соч, 1880*, с учетом списка опечаток в письме Тургенева к Стасюлевичу.

С декабристом Н. И. Тургеневым И. С. Тургенева связывала многолетняя дружба, возникшая в 1845 году и продолжавшаяся до смерти Николая Ивановича (1871 г.) [1]. Находясь в Париже, Тургенев часто встречался с Н. И. Тургеневым и его семьей, постоянно жившими там с 1831 года, а во время отъездов Ивана Сергеевича из Франции между обоими Тургеневыми поддерживалась регулярная переписка [2]. Вопросом, теснее всего сблизившим обоих писателей и служившим предметом постоянных обсуждений, было освобождение крестьян в России. Деятельный член декабристских тайных обществ, Н. И. Тургенев выдвигал на первое место в своей политической программе задачу уничтожения крепостничества. Он посвятил этому вопросу многие страницы своих трудов как до выезда за границу, так и в пору своей эмиграции. Общественные воззрения Н. И. Тургенева, в основе своей демократические, содержали, однако, противоречивые, характерные для либерального дворянства суждения о принципах и путях освобождения крестьян; в частности, известные колебания испытывал автор в вопросе о земельных наделах и выкупной системе. В конце 1850-х годов, в период начавшейся в России подготовки к реформе, в экономических и политических взглядах Н. И. Тургенева произошли изменения, поставившие его в ряд наиболее радикально настроенных деятелей освобождения крестьян [3]. Находясь в дружеских отношениях с лондонскими эмигрантами — Огаревым и Герценом, Н. И. Тургенев выступил в «Колоколе» с рядом статей по крестьянскому вопросу [4]. В тот же период и на той же почве происходит еще большее сближение Н. И. Тургенева с автором «Записок охотника». Оба Тургенева производят практические эксперимен-

---

[1] См.: Тарасова В. М. О времени знакомства Тургенева с Н. И. Тургеневым.— *Т сб*, вып. 1, с. 276.

[2] См. публикацию М. П. Султан-Шах «Тургенев и семья декабриста Н. И. Тургенева. Из дневников Ф. Н. Тургеневой 1857—1883 гг.»— *Лит Насл*, т. 76, с. 359—415, а также публикацию Ю. П. Благоволиной «Последнее перед смертью Н. И. Тургенева письмо к нему И. С. Тургенева от 2(14) апреля 1871 г.» — Записки отдела рукописей *ГБЛ*. М., 1973, с. 198, 206.

[3] См.: Тарасова В. М. Декабрист Н. И. Тургенев и его место в истории общественного движения России 20—60-х гг. XIX в. Эволюция общественно-политических взглядов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Л., 1966.

[4] Hollingsworth Barry. N. I. Turgenev and «Kolokol».— Slavonic and East-European Review, London, 1962, December, vol. 41, N 96, p. 89—100; Тарасова В. М. Декабрист Тургенев — сотрудник «Колокола».— В кн.: Проблемы изучения Герцена. М., 1963.

ты в своих имениях, еще до реформы перестраивая на новый лад отношения с крестьянами: И. С. Тургенев — во время пребывания в Спасском осенью 1859 года, Н. И. Тургенев — во время поездки в Россию в 1859 году и пребывании в своем имении Стародубе, Каширского уезда Тульской губернии [5]. Наблюдения над живой русской действительностью привели Н. И. Тургенева к выводу о недостаточной радикальности подготовлявшихся в России экономических мероприятий и о половинчатом характере проекта освобождения крестьян, осуществлявшегося к тому же с большими оттяжками во времени. Эти взгляды полнее всего высказаны в письме Н. И. Тургенева к А. М. Горчакову от 7 ноября н. ст. 1860 года, где содержится резкий отзыв о предстоящей реформе, основные положения которой стали известны Н. И. Тургеневу по опубликованному в Лондоне докладу Я. Ростовцева [6], а также в статье «О временной приостановке объявления о манифесте 19 февраля 1861 г.», по всей вероятности предназначавшейся для «Колокола». И. С. Тургенев принимал непосредственное участие в подготовке этой статьи, близкой ему по духу [7]. Разделяя мнение автора о крестьянской реформе как о первом и важнейшем шаге в деле освобождения крестьян, И. С. Тургенев, как и Н. И. Тургенев, считал, что всякая оттяжка этого шага преступна. Однако Н. И. Тургенев, как и Герцен в эту пору, сохранял либеральные иллюзии в оценке роли Александра II в деле освобождения крестьян. С этой ошибочной позицией солидаризировался и И. С. Тургенев [8]. Статья Н. И. Тургенева не была напечатана в «Колоколе», так как вскоре после ее написания манифест о реформе был обнародован, но гражданская позиция ее автора была высоко оценена Герценом: «Мы всякий раз с чувством глубокого уважения встречаем имя Николая Ивановича Тургенева в числе передовых бойцов за свободу крестьян, за свободу суда, за свободу русского народа вообще»,— писал он в «Колоколе» 15 октября 1860 г. Исполнено уважения к Н. И. Тургеневу и письмо к нему М. А. Бакунина от 30 июля 1862 г. [9]

И. С. Тургенев впервые высказал публично свое отношение к Н. И. Тургеневу как к деятелю крестьянской реформы в речи на парижском банкете в 1863 году по поводу второй годовщины акта 19-го февраля (см. наст. изд., т. 12). Отдельные положения этой речи вошли и в некролог.

Черновой автограф некролога не имеет даты написания, кроме указания на год (1871), но несомненно, что Тургенев начал писать его после 11(23) ноября (см.: *Т, ПСС и П*, *Письма*, т. IX, с. 162, 519). На полях рукописи по ходу работы автор делал заметки для памяти: «Верность друзьям», «О Милютине», «Знание Н. И. Т. юриспруденции», «NB. Пение русских молитв. Комната в Вербуа». В окончательном тексте некролога пометам соответствует рассказ о постоянной привязанности Н. И. Тургенева к Г. Штейну, к братьям, о его отношении к Н. А. Милютину, о русской атмосфере, царившей

---

[5] См.: Тургенев Н. И. Устройство села Стародуба.— *Сев пчела*, 1859, № 246, 11 ноября; ср. в кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1963, с. 432—433.

[6] См. в кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг., с. 439—440.

[7] См.: Русская литература, 1961, № 4, с. 134—149.

[8] См.: *Т, ПСС и П*, *Письма*, т. V, с. 387—388.

[9] См. в сб.: Памяти декабристов. Л., 1926. Т. 3, с. 102—103.

в доме Тургеневых, об их религиозности. Говоря о высокой и разносторонней образованности Н. И. Тургенева, И. С. Тургенев собирался, по-видимому, указать на его юридические познания, обнаружившиеся особенно явственно в книге «Россия и русские» (1847), где содержится острая критика русского судопроизводства (в связи с обвинением Н. И. Тургенева по делу декабристов); характеризуя другой его труд — «Опыт теории налогов» (1818), на который опирались декабристы в своих проектах крестьянской реформы, Тургенев сделал на полях помету: «Дать полнее», но так и не осуществил это намерение.

Дата на беловом автографе наборной рукописи указывает на время, когда автор завершил переписку своего черновика (17(29) ноября 1871 г.). Отличия окончательного текста от чернового в общем незначительны. Тургенев уточнил сведения о годах жизни братьев Н. И. Тургенева, о его женитьбе, дополнил текст цитатами из трудов декабриста, дал более точные библиографические справки и устранил из текста некоторые излишние подробности фактического порядка. Любопытно, что в том месте, где говорилось о надеждах, возлагавшихся на Александра I в деле освобождения крестьян (см. с. 177, строка 5), в черновом автографе было: «Неисполнение этого обещания сам Н. И. не ставил ему в вину, хотя скорбел о нем и скорбел пылко». Изменены формулировки, характеризовавшие отношение друзей к изгнанничеству Н. И. Тургенева: слова «отказывался верить в законность его осуждения» заменены словами «отказывался допускать легальность его осуждения» (с. 177, строка 27); говоря об отношении к Н. И. Тургеневу влиятельного дипломата гр. И. Каподистрии, автор некролога устранил слова «искренно его любивший». В остальном правка черновика носила стилистический характер. Перебелив рукопись, Тургенев в тот же день послал некролог из Парижа в Петербург, в редакцию «Вестника Европы» (см. письмо к М. М. Стасюлевичу от 17 (29) ноября 1871 г.). 15(27) декабря 1871 г. Тургенев отправил Стасюлевичу список опечаток, замеченных им в корректуре некролога, но опечатки эти не были своевременно учтены и частично исправлены Тургеневым лишь в издании сочинений 1880 года. Некролог в издании 1883 года не был прочитан Тургеневым при подготовке тома к печати и не содержит существенных разночтений.

С т р. 175. ... *превосходные статьи г. Пыпина...* — Имеются в виду очерки А. Н. Пыпина «Характеристика литературных мнений от 20-х до 50-х годов» (*ВЕ*, 1871, № 5, 9 и 12).

... *изгнанника особого рода...* — Н. И. Тургенев выехал из России за границу в 1824 г., мотивируя свой отъезд плохим состоянием здоровья. После суда над декабристами и заочного вынесения смертного приговора Н. И. Тургеневу как одному из учредителей и деятельных членов тайного общества, не явившемуся на суд, он остался за границей в качестве политического эмигранта.

...*узы отдаленного родства.* — И. С. Тургенев и Н. И. Тургенев принадлежали к разным дворянским родам: первый из них восходил к татарскому мурзе Льву (Ивану) Тургеневу и был внесен в родословную книгу дворянства Тульской губернии; второй происходил от Афанасия Борисовича Тургенева и был внесен в родословную книгу московского и симбирского дворянства (см.: Ч е р н о п я т о в В. И. Родословец Тульского дворянства. М., 1909.

Ч.6, с. 651—653; Руммель В. В. и Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. СПб., 1887. Т. 2, с. 549—551).

Стр. 176. *...прикомандирован к знаменитому Штейну...*— Прусский государственный деятель Генрих Фридрих Карл Штейн (1757—1831), реализатор крестьянской реформы и других преобразований в буржуазно-либеральном духе; в 1813—1815 гг. глава «правительственного совета», руководившего восстановлением немецких провинций, отвоеванных у Франции.

Стр. 177. *Истории ведомы причины, почему это обещание осталось без исполнения...*— Имеются в виду смерть Александра I, восстание декабристов и последовавшая за этими событиями политическая реакция, надолго отодвинувшая крестьянскую реформу.

...опровергая доводы ∽ утверждал свою неповинность в деле 14 декабря.— В 1830 г. Н. И. Тургенев написал «Замечания одного из обвиняемых на Донесение следственной комиссии, предназначенные для публикации после смерти» — вариант написанных ранее оправдательных записок. В «Замечаниях», вошедших позднее составной частью в книгу «Россия и русские», автор ставил перед собой задачу не только реабилитировать себя лично, ссылаясь на свое отсутствие в России во время восстания и сводя к минимуму свое участие в деятельности тайных обществ, но и разоблачить юридическую несостоятельность всего процесса над декабристами.

...Штейн, друг ∽ так же высказывался Гумбольдт.— В предисловии Н. И. Тургенева к изданию писем его брата говорится: «...в России меня провозглашали государственным преступником, осуждали на смерть и каторгу, немцы же говорили: одни, что мое имя есть синоним честности и лояльности, другие, что имя наше чтут в Германии. И между тем, как органами первого мнения были Блудовы и Сперанские, последнее выражалось Штейном и Гумбольдтом» [10]. Гумбольдт Фридрих Вильгельм (1767—1835) — прусский государственный деятель и ученый.

Мнение ∽ было разделено даже некоторыми из осудивших Н. Тургенева! — Имеется в виду сенатор Кушников Сергей Сергеевич (1765—1839), член Государственного совета, подписавший смертный приговор Н. И. Тургеневу. О перемене его отношения к последнему после чтения оправдательной записки рассказывается (без упоминания имени сенатора) в брошюре: Тургенев Н. Ответы: I) на IX главу книги «Граф Блудов и его время» Ег. Ковалевского; II) на статью «Русского инвалида» о сей книге. Париж, 1867, с. 17. Тот же рассказ о Кушникове содержится в письме А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу от 7(19) августа 1827 г. из Дрездена, см. «Lettres...», p. 79—80.

...письма Александра Тургенева...— См. подстрочное примечание к этой странице.

...слова князя Козловского...— В июльских письмах 1827 г. из Эмса А. И. Тургенев сообщал брату, что П. Б. Козловский «только и твердит» о нем и о «несправедливости суда и судей». Там же приводится текст записки Козловского, опровергающей законность наказания Н. И. Тургенева за неявку в суд («Lettres...», p. 40, 54—

---

[10] Письма Александра Ивановича Тургенева к Николаю Ивановичу Тургеневу.— Lettres d'Alexandre Tourguéneff à son frère Nicolas. Лейпциг: изд. Ф. А. Брокгауза, 1872, с. VII; там же приводится письмо Гумбольдта к Н. И. Тургеневу.

58). О князе Петре Борисовиче Козловском (1783—1840) см.: Пугачев В. В. Князь П. Б. Козловский и декабристы.— Уч. зап. Горьковского ун-та, 1963, вып. 58, с. 477—500.

Стр. 178. *...с чувством Симеона, взывающего: «Ныне отпущаеши!..»*— Цитата из Евангелия (от Луки, гл. II, стих 29 и след.).

...по возможности полный перечень изданных им книг и брошюр...—Дополненный перечень работ Н. И. Тургенева см. в «Библиографии декабристов» Н. М. Ченцова (под ред. Н. К. Пиксанова. М.; Л., 1929, с. 535—542). В этот перечень ошибочно (со ссылкой на указание редакции «Вестника Европы», 1871, № 12, с. 917 примечание) включена работа: «La Russie et les Jésuites de 1772 à 1820, d'après de documents la plupart inédits par Henri Lutteroth». Paris, 1845. Ошибка, основанная на предположении, что А. Люттерот — псевдоним Н. И. Тургенева, повлекла за собой включение в библиографию последнего ряда работ на религиозные темы (см.: Пугачев В. В. Исторические взгляды Н. И. Тургенева.— Уч. зап. Горьковского гос. ун-та, 1961, вып. 52, с. 308—312; ср. того же автора: К вопросу об исторических взглядах Н. И. Тургенева.— Там же, 1964, вып. 72, с. 185. О неизвестных ранее статьях Н. И. Тургенева см.: Тарасова В. М. Декабрист Н. И. Тургенев и его место в истории общественного движения России 20—60 гг. XIX в. (Автореферат). Л., 1966, с. 44—46.

Список работ Н. И. Тургенева, приведенный в некрологе, содержит некоторые неточности, исправленные библиографические сведения выделены в тексте курсивом.

Стр. 179. *...сказано ∽ в «Голосе».*— Тургенев указывает на некролог, появившийся в «Голосе», № 340, за 1871 год.

О суде ∽ в России.— Точное название этой статьи, напечатанной в «Русском заграничном сборнике» (Лейпциг, ч. IV, тетр. 1, 1860),— «О суде присяжных и о судах полицейских в России».

Ответ Е. Ковалевскому и на статью в «Инвалиде».— Имеется в виду брошюра: Тургенев Н. Ответы: I) на IX главу книги «Граф Блудов и его время» Ег. Ковалевского; II) на статью «Русского инвалида» о сей книге. Париж, 1867. В девятой главе названной книги Ег. П. Ковалевского (1866) оспаривались возражения Н. И. Тургенева в книге «Россия и русские» Д. Н. Блудову как одному из составителей и редактору «Донесения следственной комиссии» по делу декабристов. В газете «Русский инвалид», № 303 от 26 ноября (8 декабря) 1866 г., была напечатана положительная рецензия А. С. Суворина (за подписью А. И—н) на книгу Ковалевского, содержавшая резкие выражения по адресу Н. И. Тургенева. В заметке от редакции (№ 42 от 11(23) февраля 1867 г.) Н. И. Тургеневу было принесено извинение за резкости, но «ответы» его на книгу Блудова и статью Суворина в «Русском инвалиде», как на этом ни настаивал автор, напечатаны не были.

Сверх того, в «Колоколе» было помещено письмо∽к А. И. Герцену.— Имеется в виду письмо Н. И. Тургенева к редактору «Колокола» по поводу «Записок И. Д. Якушкина», напечатанное в этом издании 1 февраля 1863 г.

Записка 1819 года.— Имеется в виду записка «Нечто о крепостном состоянии народа»; эта же записка приложена ко второму тому книги «Россия и русские».

Стр. 180. *...признать превосходство системы, введенной правительством.*— Н. И. Тургенев был вынужден отменить собственные установления по устройству крестьянского быта, введенные

им в 1859 г. в селе Стародуб Каширского уезда Тульской губернии, под давлением местных властей и требований самих крестьян. См. об этом в кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1963, с. 434.

Граф Каподистриа ∽ отзывался о нем...— Слова «Он бы не только в России, но и в Англии был человеком государственным» сказаны были не графом Каподистрией, а кн. П. Б. Козловским (см. «Lettres...», p. 57). Иоанн Каподистрия (1776—1831) — греческий и русский государственный деятель.

Стр. 181. ...*в церкви парижского посольства ∽ 19 февраля...*— О молебне в парижской посольской церкви 12(24) марта 1861 г., состоявшемся по инициативе Н. И. Тургенева, И. С. Тургенева, Н. С. Волконского, П. В. Долгорукова и других русских, И.С. Тургенев писал А. В. Дружинину 14(26) марта 1861 г.: «На днях мы в церкви отслужили молебен по поводу освобождения крестьян. Священник произнес краткую — и очень умную и трогательную речь, от которой мы почти все прослезились. Тут были Н. И. Тургенев, который может сказать, как Симеон: „Ныне отпущаеши", и декабрист кн. Волконский и др.». О том же он сообщал в письмах к В. Я. Карташевской от 14(26) марта, П. В. Анненкову от 22 марта (3 апреля), а также обменивался впечатлениями с Н. И. Тургеневым в письме от 13(25) марта. Об инциденте, разыгравшемся во время молебна между Н. И. Тургеневым и другим старейшим декабристом, С. Г. Волконским, см. в кн.: Волконский С. О декабристах. Пг., 1922, с. 131.

...*полюбил Николая Милютина!*»— Н. И. Тургенев восхищался Н. А. Милютиным как деятелем крестьянской реформы. В письме к нему от 8 июня 1861 г. по поводу выхода в свет «Материалов редакционных комиссий» Н. И. Тургенев писал: «...я более и более убеждаюсь в огромности труда и в необычайной заботливости тех, кои совершили великий подвиг» (*Рус Ст*, 1873, № 6, с. 856).

...*г-н М. П.*— Г-н Мартен-Пашу Жозеф (1802—1873), протестантский священник и писатель; см. о нем — *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. IV, с. 687.

Стр. 182. *В польском вопросе ∽ с излишней резкостью...*— В книге «Россия и русские» (1847) Н. И. Тургенев выступал сторонником полной государственной независимости Польши. В 1860-х годах он высказывался лишь за конституционные привилегии Польши. В брошюре «О нравственном отношении России к Европе» польское восстание 1863 г. Н. И. Тургенев назвал безрассудным актом, недостаточно оправданным политикой русского самодержавия в Польше. Касаясь так называемого остзейского вопроса, И. С. Тургенев имел в виду сочувственное отношение Н. И. Тургенева к изданию Ю. Ф. Самарина «Окраины России» (вып. 3, Берлин, 1871), где говорилось о распространении православия среди прибалтийских народностей.

Стр. 183. ...*посвятил свой последний труд...*— Имеется в виду брошюра «О нравственном отношении России к Европе» (Лейпциг, 1869), где в последней главе высказаны соображения Н. И. Тургенева о желательности установления в России «представительного правления» в форме всероссийского Земского собора, созываемого по инициативе царя.

ПИСЬМО К РЕДАКТОРУ ПО ПОВОДУ СМЕРТИ ГР. А. К. ТОЛСТОГО

(с. 184)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф, 3 л. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 86; описание см.: *Mazon*, p. 83; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 252.

Наборная рукопись — беловой автограф (с правкой М. М. Стасюлевича), 2 л. Хранится в *ИРЛИ*, архив М. М. Стасюлевича, ф. 293, оп. I, ед. хр. 1750.

BE, 1875, № 11, с. 433—434.

T, *Соч*, *1880*, т. 1, с. 373—375.

Впервые опубликовано: *ВЕ*, 1875, № 11, с подписью: Ив. Тургенев.

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880*.

4(16) октября 1875 г. Тургенев получил от Стасюлевича сообщение о смерти А. К. Толстого, последовавшей 16(28) сентября 1875 г., и предложение написать для «Вестника Европы» некролог покойного. Тургенев ответил на это предложение согласием, и 9(21) октября некролог был уже готов. «Коротко и неполно,— писал Тургенев Стасюлевичу 9(21) октября 1875 г.,— но что делать? Я полагаю, Вам бы от себя следовало прибавить нечто вроде биографического очерка (данных для которого у меня не было) и т. д.» [1]

В письме к Стасюлевичу от 11(23) октября 1875 г. Тургенев внес в свою «статейку» о Толстом некоторые исправления, предоставив редактору право дальнейшей правки текста (подробнее об этих исправлениях см. ниже). 25 октября (6 ноября) 1875 г. Тургенев писал ему: «...радуюсь, что моя статейка о нашем А. К. Толстом заслужила Ваше одобрение. Мне хотелось высказать о нем сочувственное и правдивое слово — вот и всё».

Присущая Тургеневу двойственная оценка Толстого — высокая как человека и весьма сдержанная как поэта — несколько сглажена в некрологе, но звучит откровенно в его письмах. «Литератор он был посредственный — а человек отличный»,— писал Тургенев Ю. П. Вревской 5(17) октября 1875 г. [2] под свежим впечатлением известия о смерти поэта. Более обстоятельная характеристика Толстого-поэта содержится в письме Тургенева к Я. П. Полонскому от 13(25) октября 1875 г.: «Толстого мне очень жаль: славный был человек; но, как водится, как прежде были несправедливы к нему — так теперь будут преувеличивать в его пользу⟨. . .⟩ В его „Драконе“ ⟨. . .⟩ есть отличные стихи; но вообще — поэзия Толстого мне довольно чужда — да и не мне одному». Об этом же Тургенев

[1] Вместе с «Письмом» Тургенева в одиннадцатом номере «Вестника Европы» была помещена редакционная статья, посвященная А. К. Толстому.

[2] В ответном письме Ю. П. Вревская писала Тургеневу (20 октября ст. ст. 1875 г.): «Бедный Толстой! ⟨. . .⟩ Такая была чистая и светлая душа ⟨. . .⟩ Всякий, кто его знал, помянул его добром» (см.: Z v i g u i l s k y Tamara. À propos d'un centenaire: une correspondante de Tourguéniev, la baronne Vrevskaïa (1841—1878).— Cahiers, 1978, N 2, Octobre, p. 30).

писал 25 октября (6 ноября) 1875 г. П. В. Анненкову: «Человек был отличный, писатель посредственный». Полностью отвергал Тургенев драматургию А. Толстого (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. VII, с. 113, и т. VIII, с. 71—72).

В некрологе Тургенев заметно сгладил резкость своей оценки творчества Толстого, благородная личность которого была ему глубоко симпатична.

Впоследствии, отвечая 26 декабря 1875 г. (7 января 1876 г.) на письмо М. Е. Салтыкова, назвавшего некролог «панегириком» [3], Тургенев следующим образом отозвался о своей публикации: «...Вы и правы, и не правы. Разумеется, это панегирик в смысле старинной поговорки: De mortuis nil nisi bene [4], но есть и circonstances atténuantes [5]. Во-первых, у меня попросили этой статейки — а отказаться я не мог, потому что был *лично* обязан Толстому; во-вторых, я продолжаю думать, что Т⟨олстой⟩ хотя второстепенный (пожалуй, третьестепенный) — но все-таки поэт; в-третьих, он был человек хотя не больно умный — но хороший, и добрый, и гуманный. Наконец, надо и то заметить, что Стасюлевич выкинул несколько фраз, в которых заключались оговорки. Протестовать против этого не стоило. Хвалить таких людей, как Т⟨олстой⟩ — после смерти — позволительно, при жизни — дело другое. Тут есть оттенок, который Вы почувствуете — и не припишете каким-либо посторонним соображениям».

Вскоре после отправки некролога в Петербург Тургенев в письме к Стасюлевичу от 11(23) октября 1875 г. предложил внести в текст две поправки. Одна из них мало существенна, другая придает новый оттенок характеристике отношения Толстого к политическим вопросам. Именно: слова «вполне чуждым» Тургенев предложил Стасюлевичу заменить более осторожными — «в сущности чуждым» (с. 185, строка 6) или же совсем убрать «вполне». Стасюлевич выбрал первое. В этом же письме Тургенев предоставил Стасюлевичу «carte blanche» в правке текста.

В сохранившуюся наборную рукопись некролога (беловой автограф) Стасюлевич внес следующие исправления.

Было:	Исправлено на:
чистые стремления	искренние стремления (с. 184, строка 25)
день спустя после его смерти	в день известия о его смерти (с. 185, строка 15)
бессмертного Кузьмы Пруткова	памятного всем «Кузьмы Пруткова» (там же, строки 21—22)
и который, при теперешнем направлении умов, едва ли скоро будет заменен	и который едва ли скоро будет заменен (там же, строки 24; см. о восстановлении опущенных слов ниже)
те молодые люди, которым	те, которым (там же, строка 25)

[3] Это письмо М. Е. Салтыкова не сохранилось.
[4] О мертвых ничего, кроме хорошего *(лат)*.
[5] смягчающие обстоятельства *(франц.)*.

в свою очередь проложить и оставить за собою след	проложить и оставить за собою след (там же, строки 27—28)
будут в состоянии только те из них, которые	будет в состоянии только тот, кто (там же, строки 28—29)
в последние годы царствования императора Николая I	в самом начале пятидесятых годов (с. 186, строка 6)

Как видно из приведенного перечня разночтений, М. К. Лемке, сличивший в 1912 г. беловой автограф с публикацией «Вестника Европы», справедливо упрекнул Тургенева в неосновательности его замечания в адрес Стасюлевича [6]. Действительно, как свидетельствует приведенный список исправлений, сделанных Стасюлевичем, Тургенев преувеличил роль его редакторского вмешательства в текст некролога.

Следует отметить, что одно из основных изменений, внесенных в текст белового автографа, было сделано самим Тургеневым. Так, он вычеркнул [7] первоначальную характеристику Толстого-поэта «Не будучи одарен ∽ первоклассным талантом», тем самым повысив общую оценку творчества поэта. В черновом автографе некролога, хранящемся в Парижской национальной библиотеке, нет слов о том, что «всё политическое» было чуждо «сердцу и уму» Толстого (с. 185). Первоначально во фразе «Он оставил в наследство ∽ всякому образованному русскому» не было слов «в течение долгих лет». Добавление этих слов сужало общую оценку творчества Толстого, указывая на временный характер этого значения. Следы колебания можно найти и в тургеневской характеристике Козьмы Пруткова, одним из создателей которого был, как известно, Толстой. Сначала Тургенев просто упомянул о К⟨узьме⟩ Пруткове, затем охарактеризовал его как «незабвенного»; зачеркнув этот эпитет, Тургенев написал новый: «бессмертного К⟨узьмы⟩ Пруткова». Этот вариант сохранился в беловом автографе и был исправлен Стасюлевичем на «памятного всем Кузьмы Пруткова».

Включив некролог Толстого в первый том «Сочинений» издания 1880 г., Тургенев устранил некоторые изменения, внесенные в текст как им самим, так и Стасюлевичем. Так, например, он восстановил первоначальную характеристику Толстого-поэта: «Не будучи одарен ∽ первоклассным талантом» (с. 184, строки 31—33). Тургенев вставил также слова «при теперешнем направлении умов» во фразу «Вот поэт ∽ будет заменен» (с. 185, строки 23—24). Однако он сохранил такие исправления Стасюлевича, как «в самом начале пятидесятых годов» (вместо «в последние годы царствования императора Николая I») и «памятного всем Кузьмы Пруткова» (вместо «бессмертного Кузьмы Пруткова»).

В 1889 г. тургеневский некролог Толстого в переводе на французский язык был помещен в качестве предисловия к французскому изданию его драм «La mort d'Ivan le Terrible. Le tzar Fédor Ivanovitch. Le tzar Boris» (Paris, 1889, p. 1—5).

---

[6] *Стасюлевич*, т. 3, с. 61—62. Свое замечание («...надо и то заметить, что Стасюлевич выкинул несколько фраз, в которых заключались оговорки») Тургенев высказал 26 декабря 1875 г. (7 января 1876 г.) в цитировавшемся выше ответе на письмо М. Е. Салтыкова.

[7] Правку Стасюлевича, произведенную синим карандашом, легко отличить от исправлений чернилами, сделанных самим писателем.

С т р. 184. *...третьего дня вечером получил я вашу телеграмму...*— Речь идет о несохранившейся телеграмме Стасюлевича с извещением о смерти А. К. Толстого. О ней Тургенев упоминает также в письме к Стасюлевичу от 5(17) октября 1875 г.

...как три месяца назад ∽ в Карлсбаде...— Тургенев приехал в Карлсбад (ныне Карловы Вары) 24 мая (5 июня) и уехал оттуда 2(14) июля 1875 г. По инициативе его и А. К. Толстого 1(13) июля в Карлсбаде был устроен «русский литературный вечер в пользу бедных погорельцев в Моршанске», на котором они оба выступали (см.: Н а з а р о в а Л. Н. Тургенев в Карлсбаде.— *Т сб*, вып. 2, с. 284—285).

Положение Толстого в обществе, его связи...— В 1843 г. А. К. Толстой получил звание камер-юнкера, в 1855 г.— флигель-адъютанта. Поэт, однако, тяготился своим положением при дворе и в 1861 г. вышел в отставку, целиком посвятив себя литературным занятиям. В связи с этим он писал Александру II: «Служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей природе... Я надеялся... победить мою природу художника, но опыт доказал мне, что я боролся с ней напрасно» (Т о л с т о й А. К. Собр. соч. М., 1963. Т. 1, с. 10).

С т р. 185. *...в последней из них, помещенной в октябрьском № «Вестника Европы»...*— Речь идет о поэме «Дракон», опубликованной в «Вестнике Европы» (1875, № 10). В этом же номере было помещено сообщение о смерти А. К. Толстого.

...был в то же время одним из творцов памятного всем «Кузьмы Пруткова»? — Создателями сатирической маски Козьмы Пруткова были наряду с А. К. Толстым его двоюрдные братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы (подробнее об этом см.: В е р к о в П. Н. Козьма Прутков — директор Пробирной палатки и поэт. К истории русской пародии. Л., 1933; М о д з а л е в с к и й Л. Козьма Прутков и Алексей Толстой.— Красная новь, 1926, № 4, с. 107—111; К о т л я р е в с к и й Н. А. Старинные портреты. Граф Алексей Толстой как сатирик.— В кн.: К о т л я р е в с к и й Н. А. Старинные портреты. СПб., 1907, с. 326—416).

С т р. 186. *...граф А. К. Толстой был одним из главных лиц, способствовавших прекращению изгнания...*— В 1852 г. Тургенев был сослан на жительство в свое имение Спасское-Лутовиново. Поводом для ссылки послужило опубликование письма Тургенева о смерти Гоголя (см. выше, с. 360). Толстой вместе с княжной С. И. Мещерской, используя придворные связи, способствовал прекращению ссылки писателя (подробнее об этом см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. II, с. 523—524, 529, 635, 637; L i r o n d e l l e A. Le poète Alexis Tolstoi. Paris, 1912, p. 75—77; М е щ е р с к и й В. П. Мои воспоминания. СПб., 1912, с. 128—129; И з м а й л о в Н. В. Тургенев и С. И. Мещерская.— *Т сб*, вып. 2, с. 231—248.

⟨ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕВЧЕНКЕ⟩

(с. 187)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Беловой автограф в виде письма И. С. Тургенева к А. А. Русову, 4 л. Тексту предшествует помета: «Буживаль (возле Парижа). 31/19 октября 75 г.» Хранится в Праге, в литературном архиве Института «Памятник народной письменности». Фотокопия — *ИРЛИ*.

«Кобзарь», 1876 — Пражское издание «Кобзаря» Т. Г. Шевченко, т. 1, Прага, 1876, с. III—VIII, озаглавлено: «Споминки про Шевченка», первопечатный текст.
Пискунов — второе прижизненное издание в книге Ф. М. Пискунова «Шевченко, его жизнь и сочинения». Киев, 1878.

Печатается по пражскому изданию «Кобзаря» со следующими исправлениями по беловому автографу:

Стр. 187, *строки 13 и 21*, *29*: «Маркович» вместо «Маркевич».

Стр. 187, *строки 19—20*: *После*: возрождение своего края — *восстановлена фраза*: «Вы лучше меня знаете, какой оборот всё это приняло впоследствии», вычеркнутая в автографе по цензурным соображениям [1].

Стр. 188, *строка 12*: «отяготела» вместо «тяготела».

Стр. 189, *строка 20*: «неколебимо» вместо «непоколебимо».

Первые дошедшие до нас сведения о переговорах издателя А. А. Русова с Тургеневым по поводу воспоминаний о Шевченко относятся к середине мая 1875 г. Отправляясь с женой из Петербурга в Прагу, где он должен был издавать «Кобзарь» с включением запрещенных в России произведений Шевченко и с воспоминаниями о нем, Русов разослал еще в Петербурге письма к возможным авторам воспоминаний. Сохранилось свидетельство о получении им согласия Тургенева написать такие воспоминания, но без указания срока выполнения этого обещания [2]. Письмо Тургенева, на которое ссылается Русов, было послано 22 мая (3 июня) 1875 г. еще из Буживаля, до переезда писателя в Карлсбад. По воспоминаниям С. Ф. Русовой, муж ее дважды навещал Тургенева в Карлсбаде, ведя переговоры о воспоминаниях и о написанной по-французски статье Русовой о Шевченко, которую Тургенев «любезно передал» в «Revue des Deux Mondes», где она и была напечатана [3].

В сентябре 1875 г. воспоминания Тургенева о Шевченко еще не были готовы, о чем можно судить по письму Русова к Я. П. Полонскому от 14(26) сентября 1875 г.: «...обещался очень интересный рассказ из воспоминаний своих прислать с месяц тому назад, да и по сих пор нет. Что же мне делать? ⟨. . .⟩ Я приостановлю выпуск издания в ожидании его воспоминаний» [4].

13(25) октября 1875 г. Тургенев сообщил Полонскому: «Русову я также посылаю несколько слов о Шевченке, хотя много лестного мне не придется о нем сказать. Я познакомился с ним перед самой его смертью». 14(26) октября в письме к Полонскому Русов благодарил его за присланные воспоминания и снова выражал надежду на скорое получение воспоминаний Тургенева (*ИРЛИ*,

---

[1] См. об этом: Н е у п о к о е в а И. Неизвестные автографы писем И. С. Тургенева.— Вопросы литературы, 1961, № 1, с. 206—208.

[2] Р у с о в О. Спомини про пражське видання «Кобзаря».— Україна. Київ, 1907. Т. I, кн. 2, с. 129. История издания «Кобзаря» в Праге освещена в названной выше статье И. Неупокоевой. См. также: П р и й м а Ф. Я. Шеченко и русская литература XIX века. М.; Л., 1961, с. 308—309.

[3] Р у с о в а София. Мої спомини. Рр. 1861—1879.— За сто лет. Матеріяли з громадського і літературного життя України XIX і початку XX століття, кн. 2. 1928, с. 160.

[4] Україна, 1929, кн. 34, с. 98.

№ 12410. 4). Как указывает помета на рукописи, воспоминания Тургенева о Шевченко были закончены и отправлены Русову 19(31) октября 1875 г., а в ноябре — начале декабря 1875 г. первый том «Кобзаря» уже вышел в свет и во второй половине декабря или в январе 1876 г. был переправлен в Россию [5].

Печатный текст воспоминаний Тургенева имеет некоторые отличия от белового автографа, послужившего, очевидно, наборной рукописью. Кроме отдельных стилистических разночтений («решился жениться» вместо «решил жениться», «мне приходит в голову один факт» вместо «я припоминаю еще один факт», «значительным голосом» вместо «значительным тоном»), особый интерес представляют строки, вычеркнутые, по-видимому, редакторской рукой (сам Тургенев зачеркивал ненужное густыми чернильными петлями; здесь же строки перечеркнуты как бы наспех двумя короткими вертикальными штрихами). Речь идет о фразе, имеющей политический смысл: «Вы лучше меня знаете, какой оборот всё это приняло впоследствии». Этой фразой Тургенев намекал на усиление преследований украинской культуры со стороны царского правительства [6].

Автограф свидетельствует и о некоторых колебаниях Тургенева в его суждениях о Шевченко. Так, говоря о «необузданной» натуре поэта, Тургенев вначале написал: «сломленная нелегкой своей участью», но им же самим осмысленное сочетание понятий «простолюдин, поэт и патриот» заставило его уточнить характеристику широкой натуры Шевченко: «сдавленная, но не сломанная судьбою» (с. 189). В том месте, где говорится о гравировании на меди, вместо слов «нечто новое, какой-то улучшенный способ в этом искусстве» (с. 190) первоначально было: «новый способ изготовления».

Воспоминания Тургенева о Шевченко не всегда совпадают по тональности рассказа с письмами того же автора к разным адресатам, относящимися к 1859—1861 гг. Так, 15(27) февраля 1859 г. Тургенев писал из Петербурга И. В. Павлову: «Я здесь с недавних пор погрузился в малороссийскую жизнь. Познакомился с Шевченкой, с г-жою Маркович (она пишет под именем: Марко Вовчок) и со многими другими, большей частью весьма либеральными хохлами. Сама г-жа Маркович весьма замечательная, оригинальная и самородная натура (ей лет 25); на днях мне прочли ее довольно большую повесть под названием „Институтка“, от которой я пришел в совершенный восторг: этакой свежести и силы еще, кажется, не было — и всё это растет само из земли, как деревцо». Во многих письмах к М. А. Маркович, к В. Я. Карташевской, к Н. Я. Макарову Тургенев спрашивает о Шевченко, о его поездках на Украину [7].

Некоторая демократизация взглядов писателя в период революционного подъема в какой-то мере обусловила и его интерес к возрождению национальной культуры Украины, жестоко подавлявшейся властями. Тургенев вместе с П. А. Кулишом переводит повесть Марка Вовчка «Институтка», посвященную Шевченко, пере-

---

[5] Данилов Вл. К цензурной истории сочинений Т. Г. Шевченка.— Начала, Пг., 1922, № 2, с. 254.

[6] См. об этом подробнее: Вопросы литературы, 1961, № 1, с. 206.

[7] См. письма к В. Я. Карташевской от 31 марта (12 апреля) и 10(22) октября 1859 г., к М. А. Маркович от 10(22) июля 1859 г. и 20 марта (1 апреля) 1860 г., к Т. Г. Шевченко от марта — 17(29) апреля 1860 г., Н. Я. Макарову от 23 января (4 февраля) 1861 г., А. И. Герцену, В. Я. Карташевской от 14(26) марта 1861 г.

водит «Народные рассказы» того же автора [8]. Знакомство с Марко Вовчок вовлекает его в круг литераторов, объединившихся делом создания украинского общественно-литературного журнала «Основа» (В. М. Белозерский, П. А. Кулиш, Н. И. Костомаров, Н. Я. Макаров и др.). По инициативе Тургенева Общество пособия нуждающимся литераторам и ученым добилось освобождения от крепостной зависимости родственников Шевченко [9]. Тургенев часто, одно время почти ежедневно, встречался с Шевченко на своей квартире и в Академии художеств, на понедельниках «Основы» у В. М. Белозерского, в редакции «Современника», на вторниках у Н. И. Костомарова, на четвергах у Н. Г. Чернышевского, в доме у Н. Б. Сухановой-Подколзиной, у Штакеншнейдеров и К. Д. Кавелина, у Н. Я. Макарова и в доме его сестры В. Я. Карташевской. Сохранившаяся записка Тургенева к Шевченко, датируемая мартом — 17(29) апреля 1860 г., дает представление об одной из таких встреч. Сохранились свидетельства, что Тургенев присутствовал 28 февраля 1861 г. на похоронах Шевченко на Смоленском кладбище — вместе с Н. А. Некрасовым, М. И. Михайловым, братьями Курочкиными, М. Е. Салтыковым-Щедриным, Ф. М. Достоевским, Н. С. Лесковым, Н. Г. Помяловским, И. И. Панаевым и другими русскими писателями [10].

После смерти поэта Тургенев писал Герцену о необходимости поместить в «Колоколе» отклик на эту утрату и сообщал о возмутивших его обстоятельствах последнего ареста Шевченко на Украине [11]. Вскоре после объявления Манифеста об освобождении крестьян он писал В. Я. Карташевской 14(26) марта 1861 г.: «Известие о смерти Шевченко меня опечалило; бедный, не долго попользовался свободой. Воображаю, какое это впечатление произвело в малороссийском мире». Тургенев много сделал для популяризации Шевченко за рубежом. Так, после выхода пражского издания «Кобзаря» он обратился к своему переводчику и корреспонденту в Париже, сотруднику журнала «Revue des deux Mondes», Эмилю Дюрану с просьбой написать для этого журнала статью о Шевченко. 15 июня 1876 г. статья «Национальный поэт Малороссии — Шевченко» была напечатана, вызвав широкий резонанс во Франции и других европейских странах [12]. Тургенев не ограничивается переговорами с автором

---

[8] Как установил в своей неопубликованной диссертации А. Дорошевич, располагавший оригиналом перевода, Тургенев редактировал текст подстрочного перевода «Институтки», выполненного П. А. Кулишом и, частично, Д. С. Каменецким (см. об этом в кн.: Марко Вовчок. Статті і дослідження. Київ, 1957, с. 112—115).

[9] См.: Громов В. А. Тургенев и Литфонд. Забытое письмо писателя в редакцию «С.-Петербургских ведомостей» (1860).— В сб.: И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Л., 1982, с. 10.

[10] Обстоятельный обзор биографических и творческих контактов И. С. Тургенева и Т. Г. Шевченко, а также литературы по этому вопросу дан в книге Е. Шаблиовского и М. Гнатюка «І. С. Тургенев і українська дожовтнева література». Київ, 1968, с. 12—62.

[11] См. об этом в статье: Дьяков А. А. Революционные связи Т. Г. Шевченко.— В кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1965, с. 28. См. также письмо Тургенева к А. И. Герцену от 14(26) марта 1861 г.; ср.: Колокол, 1861, № 95, 1 апреля.

[12] Евніна О. М. Дожовтнева та радянська українська література за рубежами СРСР. К.: Держлітвидав України, 1956, с. 63—64.

статьи, он обращается с просьбой о поддержке к редактору журнала Франсуа Бюлозу [13], к влиятельным французским друзьям — ученым и литераторам. Как известно, в редакцию журнала «Revue des deux Mondes» писали Эдмон Або, Марселен Бертело, Сюли Прюдон и другие с просьбой ускорить напечатание статьи о «великом поэте Малороссии» [14]. Таким образом, воспоминания Тургенева о Т. Г. Шевченко, охватывающие лишь отдельные и чаще всего бытовые моменты их отношений, недостаточно полно освещают вопрос о более широких общественно-литературных связях обоих писателей. В воспоминаниях не нашли, в частности, отражения те страницы биографии Тургенева и Шевченко, которые свидетельствуют об их взаимном интересе и симпатии к революционеру-петрашевцу Н. А. Спешневу (см. письмо Тургенева к Т. Г. Шевченко от марта — 17(29) апреля 1860 г.), о творческих связях с его единомышленником А. Н. Плещеевым. В том же 1860 г. в «Современнике» был напечатан перевод поэмы Шевченко «Наймичка» (под заглавием «Работница»), выполненный А. Н. Плещеевым и посвященный И. С. Тургеневу (*Совр*, 1860, № 4, с. 457—472).

Стр. 187. *...Первое наше свидание* ∽ *в Петербург...*— Знакомство Тургенева с Шевченко состоялось в начале февраля 1859 г.

...в студии одного живописца...— Студия эта была фактическим местом жительства и работы самого Шевченко, но официального права он на нее не имел, так как не получил разрешения на прописку в Петербурге в качестве «свободного художника», а был вынужден прописываться как «отставной рядовой» по месту жительства своего приятеля М. М. Лазаревского (см.: Жур Петр. Шевченковский Петербург. Л., 1964, с. 217—221).

Я приехал в Академию вместе с ∽ *Маркович...*— Мария Александровна Маркович (1834—1907), писательница, известная под псевдонимом Марко Вовчок, приехала с Украины в Петербург 23 января 1859 г.; на следующий же день она познакомилась с Шевченко, а вскоре и с Тургеневым (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. III, с. 685).

...находилась одна дама ∽ *г-жа Кар-ская.*— Имеется в виду Варвара Яковлевна Карташевская (1832—1902), сестра Н. Я. Макарова и родственница по мужу С. Т. Аксакова. О ее отношениях с Тургеневым см.: Переселенков С. А. Из переписки Тургенева с В. Я. Карташевской.— *Гол Мин*, 1919, № 1-4, с. 207—220; *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. IV, с. 680.

Стр. 188. *...то громадное, чуть ли не мировое значение...*— О мировом значении поэзии Т. Г. Шевченко см.: Белецкий А. И. Мировое значение творчества Тараса Шевченко.— В кн.: Тарас Шевченко. М., 1962, с. 13—29; сб.: Шевченко и мировая культура. К 150-летию со дня рождения. М., 1964.

Он мне показал крошечную книжечку...— Имеется в виду записная книжка Шевченко времен его ссылки. Эта книжка случайно уцелела во время обыска, произведенного у Шевченко по доносу 22 апреля 1850 г. См. факсимильное ее издание: «Мала книжка». Автографи поезії 1847—1850. Київ, 1963.

Стр. 189. *...бесцветное подражание Пушкину.*— В 1857 г.

---

[13] См. об этом: Хмелевская Н. А. Утраченные письма И. С. Тургенева.— *Т сб*, вып. 4, с. 362.

[14] Шабліовський Е., Гнатюк М. І. С. Тургенев і українська дожовтнева література, с. 58—62.

Шевченко, находясь еще в ссылке, записал в своем «Дневнике»: «...построил каркас поэмы вроде „Анджело“ Пушкина, перенеся место действия на Восток. И назвал ее „Сатрап и Дервиш“. При лучших обстоятельствах я непременно исполню этот удачно проектированный план. Жаль, что я плохо владею русским стихом, а эту оригинальную поэму нужно непременно написать по-русски...» (Шевченко Тарас. Повне зібрання творів. Київ, 1963. Т. 5, с. 77—78, запись от 19 июля). По-видимому, над этой поэмой (частично замысел ее был воплощен в незавершенной поэме «Юродивый») Шевченко и продолжал работу в 1859 году, когда встретился с Тургеневым (*Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. IV, с. 435). Но существует и другое предположение — о том, что Тургенев имел в виду поэму Шевченко «Мария» (1859) [15].

Читал Шевченко, я полагаю, очень мало...— 5 сентября 1857 г. Шевченко записал в своем «Дневнике»: «Мне теперь много нужно прочитать. Я совершенно отстал от новой литературы».По-видимому, подобные признания поэт делал и Тургеневу, возвратясь из ссылки. Но уже с первых дней ссылки его письма к друзьям содержат просьбы прислать сочинения Гоголя, Лермонтова, Шекспира, Кольцова, Жуковского, «Слово о полку Игореве», «Южнорусские песни», труды по истории и философии. Что касается Гоголя, то об особом интересе к нему Шевченко говорят не только стихотворение «Гоголю» (1844) и не только просьбы о присылке его сочинений, но и многочисленные отзывы о нем в письмах и «Дневнике» поэта. Так, в письме к В. Репниной 7 марта 1850 г. Шевченко, говоря о своем желании иметь «Мертвые души», писал: «Перед Гоголем должны благоговеть, как перед человеком, одаренным самым глубоким умом и самою нежною любовью к людям» (там же, т. 6, с. 60—61).

...*малороссиянка, по имени Лукерья*...— Лукерья Ивановна Полусмакова (1840—1917), отпущенная на волю крепостная Н. Я. Макарова. Об истории их отношений с Шевченко говорится в названной выше статье С. А. Переселенкова.

Стр. 189—190. ...*припоминаю еще один факт, делающий честь В. А. Перовскому*.— Рассказанный Тургеневым эпизод нигде не упоминается самим Шевченко, в «Дневнике» которого сохранилось несколько очень резких отзывов о В. А. Перовском как о вельможе и «гнилом сатрапе» (там же, т. 5, с. 185). Перовский Василий Алексеевич (1795—1857) — командир Оренбургского отдельного корпуса, в 1851—1856 гг.— оренбургский и самарский генерал-губернатор. Сочувственное отношение Перовского к Шевченко проявилось в его ходатайстве 14 февраля 1856 г. перед Дубельтом об облегчении участи поэта [16]. Хотя ходатайство это и было безрезультатным, но по нему можно судить о том, что Перовский не поощрял доносов на Шевченко за нарушение им запрета «носить партикулярное платье, писать стихи и заниматься живописью» [17].

Стр. 190. ...*занимался гравированием на меди*...— О высоком искусстве гравирования, которым владел Шевченко, свидетельствует присуждение ему в 1860 г. за этот вид работы звания академика. См. об этом: Сидоров А. А. Шевченко как живописец, мастер рисунка и гравюры.— В сб.: Тарас Шевченко. М., 1962, с. 92—110.

---

[15] Айзеншток І. Тургенев і Шевченко.— Червоний шлях, 1926, № 2, с. 141.

[16] Ткаченко М. М. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченко. Вид. АН УССР. Київ, 1961, с. 138.

[17] Там же, с. 139.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЖОРЖ САНД

(с. 191)

Впервые опубликовано в газете «Новое время», 1876, № 105, 15(27) июня, с подзаголовком: «Письмо И. С. Тургенева к издателю „Нового времени"». Перепечатано: *ПСП*, с. 292—294 и *Рус Пропилеи*, т. 3, с. 239—240.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 269—271.

Автограф неизвестен. Сохранилась копия письма к А. С. Суворину в типографском оригинале издания *ПСП* (*ИРЛИ*, ф. 293, оп. 1, № 1759, л. 242_{I}—242_{II}).

Печатается по тексту первой публикации с исправлением опечатки: «даже не мое» вместо «тоже не мое» (с. 191, строка 14).

Письмо о Жорж Санд явилось откликом на смерть писательницы, последовавшую 8 июня н. ст. 1876 г. В письме к Г. Флоберу от 6(18) июня 1876 г., сообщая, что он собирался послать из Петербурга, где он в это время находился, от имени русской публики телеграмму и что его удержала от этого лишь «ложная скромность», Тургенев писал: «На русскую публику г-жа Санд оказала наибольшее влияние — и это следовало сказать, чёрт возьми — и, в конце концов, я имел на это право. Но вот как все получилось!! Бедная милая г-жа Санд! Она любила нас обоих — особенно вас — и это было естественно. Какое у нее было золотое сердце! До какой степени ей были чужды всякая мелочность, мещанство, фальшь — какой это был славный человек и какая добрая женщина!» Несколько ранее, 3(15) июня 1876 г., Тургенев советовал Э. Золя написать статью о Жорж Санд. Сам он также предполагал опубликовать в «Вестнике Европы» свои воспоминания о ней и обещал выслать их Стасюлевичу до 15 июня (см. письмо к нему от 7(19) июня 1876 г.).

Отложив публикацию большой статьи о Ж. Санд, Тургенев решил напечатать заметку о ней в «Новом времени», которую он обещал его новому редактору А. С. Суворину (см. письмо к Суворину от 23 февраля (6 марта) 1876 г.). Сославшись на заключительную фразу некролога, опубликованного в «Новом времени» от 29 мая (10 июня) 1876 г. (№ 88) (см. письмо А. С. Суворину от 9(21) июня 1876 г.), Тургенев назвал свою заметку небольшим «словом» и указал, что часть ее принадлежит не ему. О том же Тургенев уведомлял в сопроводительном письме от 10(22) июня 1876 г. и В. И. Лихачева: «Мне не удалось написать о Ж⟨орж⟩ З⟨анд⟩ как бы я хотел,— писал Тургенев,— но я полагаю, что переведенный мною отрывок из письма моей знакомой может заинтересовать читателя». Автором цитируемого в письме отрывка, как известно из сообщения Тургенева, была П. Виардо (см. письмо к Стасюлевичу от 15(27) июня 1876 г.). В этом же письме к Стасюлевичу Тургенев излагал причины, по которым он не выполнил данного им «Вестнику Европы» обещания и не прислал к 15 июня статьи о Ж. Санд. Главной причиной была работа над «Новью», которой писатель отдавал все свое время. Повлияло, по его признанию, и то, что очередное «Парижское письмо» Э. Золя, которое было предназначено для июльского номера «Вестника Европы», было посвящено Ж. Санд: «...стало быть,— писал Тургенев Стасюлевичу,— у Вас о ней будет сказано (хотя, вероятно, не так, как бы мне хотелось). Написать же что-нибудь дрянное о Ж. Санд я не могу. Даю Вам честное слово, что до зимы Вы будете иметь серь-

езную статью о ней — быть может, даже в виде возражения Зола». Самого Золя Тургенев также предупреждал в письме от 21 июня (3 июля) 1876 г., что несколько позднее собирается «дружески полемизировать» с ним по поводу его статьи о Ж. Санд. Э. Золя, сочувственно охарактеризовав в своем XVI «Парижском письме» личность и литературную деятельность Ж. Санд, ограничил значение ее творчества прошедшей эпохой и противопоставил «воображаемый мир» ее произведений, созданный ее фантазией, «точным исследованиям» реальной действительности в «натуральном романе» Бальзака и его преемников (*BE*, 1876, № 7, с. 385). Тургенев, который в молодые годы (1846—1850) испытал на себе благотворное влияние демократических тенденций творчества Ж. Санд, еще в 1852 г. в рецензии на роман Е. Тур «Племянница» утверждал значение традиций «сандовского» и «диккенсовского» романов для развития в России романа с широкой социальной проблематикой (см.: наст. изд., т. 4, с. 477). 30 октября (11 ноября) 1856 г. Тургенев писал А. В. Дружинину: «Вы говорите, что я не мог остановиться на Ж.Санд; разумеется, я не мог остановиться на ней — так же, как, например, на Шиллере; но вот какая разница между нами: для Вас все это направление — заблуждение, которое следует искоренить, для меня оно — неполная Истина, которая всегда найдет (и должна найти) последователей в том возрасте человеческой жизни, когда полная Истина еще недоступна». По всей вероятности, в таком плане и собирался Тургенев полемизировать с Золя в своих воспоминаниях. В письме к Г. Флоберу от 22 июня (4 июля) 1876 г. он, в частности, заметил: «Золя не в состоянии в полной мере судить о г-же С⟨анд⟩. Между ними слишком большое расстояние».

Тургенев вторично встретился с Ж. Санд зимой 1868/69 г., навещал ее в Ноане, посылал ей французские переводы своих рассказов «Стук... стук... стук!..» и «Часы», намеревался посвятить ей «Живые мощи» (1874). После посещения Ноана в начале октября 1872 г. Тургенев в письме к В. Рольстону от 3(15) октября 1872 г. рассказал о своих впечатлениях: «Я ⟨. . .⟩ отправился в château г-жи Ж. Санд, но смог пробыть там только один день — достаточно, чтобы оценить добродушие, сердечность и благожелательность этой замечательной женщины, но недостаточно, чтобы вполне насладиться ее обществом, как бы я этого желал. Она живет в старом французском доме в лесистой местности со своим сыном, невесткой и двумя очаровательными внучатами: все дышит покоем, простотой и „naturel“ вокруг нее». В свою очередь Ж. Санд высоко ставила Тургенева как человека и писателя. По поводу «Живых мощей», которые она прочла в переводе Э. Дюрана, Ж. Санд писала Тургеневу 7(19) апреля 1874 г.: «Сколько души, глубины и правды, какой простой и очаровательный язык! Все должны учиться у Вас, все без исключения, даже великий лама В⟨иктор⟩ Г⟨юго⟩» (Интернациональная литература, 1939, № 1, с. 227). Ж. Санд позже посвятила Тургеневу рассказ «Пьер Боннен» (1872) и посылала ему для ознакомления новый сборник своих рассказов 1876 г. [1]

---

[1] Подробнее о личных отношениях и творческих связях Тургенева и Ж. Санд см.: Каренин В. Тургенев и Ж. Санд.— *Т сб (Кони)*, с. 87—129; Каренин В. Ж. Санд, ее жизнь и произведения. СПб., 1899. Т. 1, с. 19—21; Алексеев М. П. Мировое значение «Записок охотника».— *Орл сб, 1955*, с. 79—82; Белецкий А. Тургенев и русские писательницы 30—60 гг.— В кн.:

20 июня (2 июля) 1876 г. Тургенев писал Э. Дюрану: «Смерть г-жи Санд меня глубоко огорчила; она останется одной из великих фигур современной литературы. Она проявляла ко мне душевное расположение; что касается меня, то могу сказать, что я нежно любил ее. Если увидите „Новое время“, то в № 105 есть моя маленькая заметка о ней».

Не зная о замысле Тургенева написать большую статью о Ж. Санд и намерении его полемизировать с Золя в оценке творчества французской писательницы, Достоевский критически отнесся к непритязательному тургеневскому отклику на ее смерть. В записной тетради 1876 г. он отметил: «Не гуманности нам учиться у западных поэтов, но *расширению мысли и тому*, *что у них прекрасно и здорово*. В позднейшем было много, с чем можно не согласиться. Но г. Тургенев все-таки рано потерял благоговение. Стыдился очень-то хвалить.— Жорж Занд» (*Лит Насл*, т. 83, с. 546). В «Дневнике писателя» за июнь 1876 г. Достоевский отвел две подглавки первой главы сообщению о смерти Ж. Санд, причем вторую так же, как Тургенев, назвал «Несколько слов о Жорж Занде». Отмечая, что в пору его юности, по влиянию на молодежь, Ж. Занд заняла первое место, что ей уступал даже Диккенс, не говоря о Бальзаке, Достоевский приходит к выводу, под которым, по всей вероятности, мог бы подписаться и Тургенев: «Надо, кстати, заметить, что к половине сороковых годов слава Жорж Занда и вера в силу ее гения стояли так высоко, что мы, современники ее, всё ждали от нее чего-то несравненно бóльшего в будущем, неслыханного еще нового слова, даже чего-нибудь разрешающего и уже окончательного. Надежды эти не осуществились: оказалось, что в то же время, то есть к концу сороковых годов, она уже сказала всё, что ей суждено и предназначено было высказать, а теперь над свежей могилой ее о ней уже вполне можно сказать последнее слово.

Жорж Занд не мыслитель, но это одна из самых ясновидящих пред-предчувственниц (если только позволительно выразиться такою кудрявою фразою) более счастливого будущего, ожидающего человечество, в достижении идеалов которого она бодро и великодушно верила всю жизнь, и именно потому, что сама, в душе своей, способна была воздвигнуть идеал» (*Достоевский*, т. 23, с. 36—37).

Творч путь Т, с. 147—153; Е л и з а р о в а М. Ж. Санд в русской критике и литературе.— Уч. зап. Москов. пед. ин-та, 1941, т. 31, вып. 5, с. 56—57, 62—63; Б а т ю т о А. И. Тургенев-романист. Л., 1972 («Тургенев и Жорж Санд»), с. 285—310; Л а д а р и я М. Г. Живые ключи дружбы. (К вопросу о личных и творческих связях И. С. Тургенева и Жорж Санд). Сухуми, 1976; К о в а л е в а Т. В. Тургенев и Жорж Санд. (К истории личных взаимоотношений). — Вестник Белорусского ун-та, 1979, сер. 4, № 3, с. 16—20; S i l b e r s t e i n I. Du nouveau sur les rapport de George Sand avec Ivan Tourguéniev et la famille de Pauline Viardot. —Cahiers, 1979, № 3, Octobre, p. 110—144 (В этой статье публикуется переписка Ж. Санд с Тургеневым и семьей Полины Виардо; ряд писем печатается впервые); Z v i g u i l s k y A. Le triangle Tourguéniev — Sand — Viardot. — Там же, p. 145—157. (В статье А. Звигильского, в частности, рассказывается об опере по роману Ж. Санд «Консуэло», либретто которой было написано Тургеневым (факсимиле воспроизводится в статье), а музыку собиралась написать П. Виардо, для которой предназначалась и главная роль).

ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ «ВЕСТНИКА ЕВРОПЫ» ПО ПОВОДУ СМЕРТИ С. К. БРЮЛЛОВОЙ

(с. 193)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф, л. 1—2. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 86; описание см.: *Mazon*, p. 83; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 247.

Наборная рукопись, л. 1—2. Хранится в *ИРЛИ*, ф. 293, оп. 1, ед. хр. 1464(8), прилож. 331.

BE, 1877, № 11, с. 448—449.

Т, *Соч*, *1880*, т. 1, с. 376—377.

Впервые опубликовано: *BE*, 1877, № 11, с. 448—449.

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880*.

Первым откликом Тургенева на смерть С. К. Брюлловой, последовавшую 5(17) октября 1877 г., явилось его письмо к М. М. Стасюлевичу от 12(24) октября 1877 г. Начальные строки этого письма почти текстуально совпадают с началом написанного Тургеневым позднее некролога. «...как громом поразило меня сегодня известие о кончине бедной Сони Брюлловой,— писал Тургенев М. М. Стасюлевичу.— ⟨. . .⟩ Я никак не могу привыкнуть к мысли, что это прекрасное, молодое, исполненное жизни и сил существо унесено в ту немую, мертвую бездну».

19(31) октября 1877 г. Тургенев получил от Стасюлевича письмо с просьбой написать для «Вестника Европы» статью о Брюлловой. Ответом на эту просьбу и был написанный Тургеневым в тот же день некролог. Писатель полагал, что этот некролог составит часть общей редакционной статьи о Брюлловой. Тургеневский некролог был опубликован в одиннадцатой книжке «Вестника Европы» под заглавием «Из письма И. С. Тургенева в редакцию» вместе со статьей Стасюлевича, посвященной Брюлловой.

В письме к А. Н. Пыпину от 23 октября (4 ноября) 1877 г. Стасюлевич дал следующую оценку тургеневскому некрологу: «Так писать может и имеет право один Т⟨ургенев⟩. Его две-три странички можно бы назвать „Портрет С. К. Брюлловой, написанный И. С. Тургеневым“. И какие нашел он хорошие слова! ⟨. . .⟩ Так говорить может только Тургенев — он в самом деле дает ее портрет, пишет лицо — и какими прелестными красками» [1].

Софья Константиновна Брюллова (рожденная Кавелина, 1851—1877), друг и корреспондентка [2] Тургенева, была высокоодаренной женщиной, отличавшейся широтой литературных и научных интересов, подлинным демократизмом, стремлением к общеполезному служению. Ее перу принадлежит ряд исторических статей и рецен-

---

[1] *ГПБ*, архив А. Н. Пыпина, ф. 621, № 828, л. 37.

[2] Известны семь писем (1871—1877) Тургенева к С. К. Кавелиной (Брюлловой). См.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. IX, с. 623. Одно письмо ее к писателю (1871) опубликовано Т. Звигильской (см.: Z v i g u i l s k y Tamara. A propos d'un centenaire: une correspondante de Tourguéniev, Sofia Kavélina (1851—1877).— Cahiers, 1977, Octobre, N 1, parmi, p. 34 et 36).

зий, а также оригинальный критический разбор романа Тургенева «Новь» [3].

В 1867 г. С. К. Кавелина окончила Василеостровскую женскую гимназию в Петербурге (одна из первых женских гимназий в России) и в течение шести лет, вплоть до замужества (1873 г.) преподавала историю в той же гимназии.

Преждевременная смерть С. К. Брюлловой (ей не было еще и полных 26 лет) вызвала многочисленные сочувственные отклики в печати и в частных письмах [4]. Авторы ряда некрологов не только отдавали должное необыкновенной умственной одаренности Брюлловой и ее высоким нравственным достоинствам, но стремились также определить общественное значение ее научно-педагогической деятельности. Так, например, П. А. Гайдебуров писал, что если бы «противники женского образования хоть раз в своей жизни встретились с личностью, подобной Софье Константиновне, они бы наверно сделались горячими его сторонниками. И в этом заключается, может быть, самое важное значение покойной Кавелиной-Брюлловой» [5]. По словам В. Д. Сиповского, С. К. Брюллова «представляла яркий и красноречивый пример того, чем при благоприятных условиях может стать даровитая русская женщина» [6].

В основу некролога легли воспоминания Тургенева о диспуте 19-летней Кавелиной с известным педагогом В. Д. Сиповским о методах преподавания истории в средних учебных заведениях [7]. Тургенев присутствовал на этом диспуте, и выступление юной Кавелиной произвело на него сильное впечатление. Со времени диспута между писателем и молодой девушкой завязалась переписка.

Под свежим впечатлением от диспута Тургенев писал П. Виардо о Кавелиной 22 февраля (6 марта) 1871 г.: «Вот это, несомненно, нечто новое, и ни тени педантизма, детская непосредственность, такая полная отрешенность от всего личного, что исчезает всякая робость. Это удивительно! Ей хлопали оглушительно».

В парижском архиве Тургенева сохранился черновой автограф некролога, мало отличающийся от окончательного текста и не имеющий с ним существенных разночтений. Правка текста дает, однако, представление о характере работы писателя. Так, например, описывая внешний облик девушки, Тургенев хотел подчеркнуть свойственную ей простоту и одухотворенность. В связи с этим он несколько раз возвращался к описанию ее волос и глаз. Словам «с назад зачесанными недлинными русыми волосами» (с. 193) соответствовали варианты «с просто за⟨чесанными⟩» и «с недлинными волосами».

---

[3] Подробнее о С. К. Брюлловой см.: Буданова Н. Ф. Статья С. К. Брюлловой о романе «Новь».— *Лит Насл*, т. 76, с. 277—320.

[4] См., например: Женское образование, 1877, № 8, с. 474—477 (В. Д. Сиповский), Неделя, 1877, № 41 и 43, 9 и 23 октября (П. А. Гайдебуров), Новое время, 1877, № 580, 9 октября (А. С. Суворин), письмо П. В. Анненкова к К. Д. Кавелину от 8 декабря н. ст. 1877 г.— *Лит Насл*, т. 76, с. 281—283.

[5] Неделя, 1877, № 41, 9 октября.

[6] Женское образование, 1877, № 8, с. 476—477.

[7] Реферат В. Д. Сиповского «О преподавании истории в средних учебных заведениях» был прочитан им на заседании общества 2 января 1871 г. и опубликован в журнале «Семья и школа», 1871, кн. 2, № 2, с. 23—55; отчет о диспуте см. в *СПб Вед*, 1871, № 54, 23 февраля, с. 2.

Прежде чем остановиться на фразе: «та же живая мысль играла в глазах» (там же), Тургенев отбросил следующие эпитеты, характеризующие глаза выступавшей: « в прекрасных, светлых, ясных глазах» и «в ласковых, ясных глазах». Характеристике: «хорошая, честная, в лучшем смысле образованная личность»— соответствовал вариант: «хорошая, честная, прямая, веселая, в лучшем смысле слова образованная натура». Эпитетам: «деятельная, трудолюбивая» (там же) — предшествовали эпитеты: «деятельная, сострадательная и сочувствующая». Отказавшись от этого варианта и остановившись на характеристике «деятельная, трудолюбивая», Тургенев добавил после слова «трудолюбивая» слова «замечательно умная».

Стремясь подчеркнуть то громадное впечатление, которое произвела на присутствовавших Кавелина, Тургенев сделал на полях добавление «...всё ее существо ∽ вы чувствовали» (там же), представляющее поэтическую характеристику выступавшей девушки.

Беловой автограф (наборная рукопись) содержит также незначительные по сравнению с окончательным текстом разночтения. Эти изменения были внесены в беловую рукопись Стасюлевичем и сохранены Тургеневым при публикации некролога в издании 1880 года.

Текст некролога без всяких изменений был включен Тургеневым в издания сочинений 1880 и 1883 гг.

Стр. 193. *В одном из некрологов покойной ∽ на педагогическом диспуте, в С.-Петербурге.*— Речь идет о фельетоне Незнакомца (А. С. Суворина) «Недельные очерки и картинки», опубликованном в «Новом времени» (в черновом автографе некролога Тургенев прямо указывает: «В фельетоне „Н⟨ового⟩ в⟨ремени⟩“»). О впечатлении, произведенном на Тургенева выступлением Кавелиной, Суворин писал следующее: «Для него ⟨Тургенева⟩ как художника в этой девушке являлся новый тип русской женщины, резко выделявшийся между так называемыми нигилистками и женщинами прежнего покроя. „Вот вам новая тема, Иван Сергеевич“,— говорили ему многие в этот вечер, и он припоминал и повторял ее доводы, ее манеру говорить, воспроизводил ее живой образ, на что он такой мастер» (Новое время, 1877, № 580, 9 октября).

...все слушатели (а их собралось много на этот диспут) были поражены — скажу прямо: очарованы.— О выступлении Кавелиной на диспуте вспоминали позднее и другие авторы посвященных ей некрологов. Впечатления эти во многом близки тем, которые описал Тургенев. Так, например, П. А. Гайдебуров писал в «Неделе»: «Несмотря на свою молодость, она ⟨Кавелина⟩ возражала с замечательной находчивостью — и высказала обширные исторические сведения. Говорила она просто, свободно, не робея; видно было, что интерес вопроса стоял для нее на первом плане и заслонял от нее довольно торжественную обстановку спора. Всё обращение ее было исполнено такта, возражения были кратки, сильны и убедительны. Публика с живейшим интересом следила за диспутом и не раз награждала молодую учительницу громкими рукоплесканиями» (Неделя, 1877, № 41, 9 октября. См. также: Ардов Е. Из воспоминаний об И. С. Тургеневе.— *Рус Вед*, 1904, № 4, 4 января).

Стр. 194. *Я коротко знал, любил и уважал ее отца...*— Речь идет о Константине Дмитриевиче Кавелине (1818—1885), с которым Тургенев познакомился в 1843 г., когда они оба были членами кружка Белинского. Кавелин впоследствии сотрудничал вместе с Тургеневым в «Современнике», «Колоколе» и других изданиях.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

МЕМОРИАЛ

(с. 197)

Печатается по тексту первой публикации: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 342—345.

Черновой автограф — *Bibl Nat*, Slave 76; описание см.: *Mazon*, p. 102.

В собрание сочинений впервые включено: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XV, с. 199—208.

Датируется соответственно последним записанным годам — концом 1852 — началом 1853 г.

Рукопись представляет собой тетрадь в 10 листов, из которых 5 заполнены черновыми набросками.

Мемориал — конспективная запись важнейших событий в жизни Тургенева с 1830 по 1850 г. Ему предшествует еще более лаконичный конспект, записанный по-французски (см.: Приложения, с. 291) на полях черновой рукописи «Дневника лишнего человека», по-видимому, в начале 1850 г. и содержащий преимущественно сведения о том, где находился Тургенев 1 января каждого года, с 1829 по 1850 г. Немногочисленные дополнения о событиях разных лет почти целиком совпадают с записями Мемориала за исключением зачеркнутого слова [Карусель] рядом с упоминанием Павловска под 1843 г. Очевидное единство этого конспекта с Мемориалом по времени и характеру записей подтверждает предположение о связи этих заметок с началом ведения дневника (см. наст. том, с. 479).

Расшифровка записей Мемориала, еще не до конца завершенная, имеет значение не только и не столько для установления отдельных фактов биографии Тургенева, сколько для уяснения взгляда самого писателя на свое прошедшее.

Мемориал знаменует существенный этап в биографии Тургенева. Уже осознав себя к тому времени общественной личностью, литератором, чья биография — в его произведениях, он почувствовал необходимость фиксировать для памяти факты своей жизни. С 1851 г. он начал систематические дневниковые записи. По воспоминаниям Н. А. Островской, Тургенев считал, что «кроме других причин», они нужны и «ради постоянного упражнения» (*Т сб (Пиксанов)*, с. 114). «Другие причины» — это зависимость результатов его литературного творчества от использования личных мотивов и переживаний, того, «что видел и испытал сам» (*Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. II, с. 138). В период, когда был сделан набросок Мемориала, писались начальные страницы романа «Два поколения». Тургенев осваивал новые для себя литературные формы эпического повествования. Он впервые применил прием предварительной разработки так называемых «формулярных списков» — кратких конспектов биографий для задуманных персонажей. Размышляя над судьбами героев, Тургенев, вероятно, испытывал потребность обратиться и к хронологии собственной жизни. С этой точки зрения важно ус-

тановить, *что* именно записывал автор и понять, *как* он относился к записанному.

Мемориал начинается датой рождения Тургенева 28 октября, поставленной в виде эпиграфа ко сему тексту. Далее обозначены все годы жизни с 1818 по 1853 включительно. Под 1818—1830, 1832 и 1853 гг. записи полностью отсутствуют, под 1852 г. обозначена только встреча Нового года в Петербурге, а под 1851 г., кроме Нового года,— начало ведения дневника. Обращает на себя внимание отбор имен и событий, упоминаемых под каждым годом. В перечисление не вошло многое из того, что Тургенев несомненно помнил в начале 1850-х гг.— семейная обстановка в доме перед поступлением в учебные заведения, университетские преподаватели, собственные произведения и многое другое. В то же время отмечены, иногда даже многозначительно подчеркнуты, факты, как будто не представляющие существенного значения — места охоты, клички собак, имена неизвестных лиц, случайные и мимолетные сближения с женщинами. Тщательный анализ текста дает ключ к раскрытию единства замысла и строгой последовательности в отборе жизненного материала: писатель отбирал то, что оказало существенное влияние на формирование его характера и мировоззрения и что отразилось или могло отразиться в его сочинениях. В Мемориале мы находим несколько характерных примеров такого рода, подтверждаемых другими источниками.

Первые годы жизни обрисованы очень скупо, под 1832 г. вообще ничего не записано, хотя в семье Тургеневых происходили в то время драматические события, свидетелями которых были сыновья-подростки. Однако писатель отметил только тот эпизод, который произошел в 1833 г. и был впоследствии положен в основу повести «Первая любовь». Под 1836 г. из всех университетских педагогов, среди которых были известные литераторы и критики (Плетнев, Гоголь и др.) упомянут лишь преподаватель философии А. А. Фишер — не как лучший, а как худший из них, не сумевший удовлетворить интерес студентов к немецкой философии. Записи Мемориала отражают последовательные изменения в духовной жизни молодого человека — от личных забот и бытовых обстоятельств к глубоким творческим проблемам и участию в общественной жизни эпохи. В Москве 1834—35 гг. юноша поддерживал главным образом семейные знакомства, в 1840-х гг. молодой писатель, наряду с появлением в светском обществе, отдает преимущество философским кружкам. Н. В. Станкевич и Т. Н. Грановский, названные впервые под 1838 г., были знакомы ему гораздо раньше — Станкевич в Московском университете, Грановский — в Петербургском, причем имеются свидетельства самого Тургенева о том, что он хорошо помнил об этих первых встречах. Следовательно, для него было важно отметить не формальное знакомство, а глубокое духовное сближение во время первого заграничного путешествия, но невозможное несколькими годами раньше для 15-летнего студента, еще не созревшего для восприятия новых идей того времени и для участия в философских кружках студенческой молодежи. Так в записях 1834 г. появляются имена не Станкевича и Герцена, а Атабекова и Курдюмова — однокурсников, быть может, не слишком усердных в науках, но уже опытных в житейских делах. Тургенев неотступно фиксирует в Мемориале все события, относящиеся к истории его увлечений. Так, из всех пассажиров драматического рейса на «Николае» он отметил лишь Э. Тютчеву. Из своего раннего творчества Тургенев упомянул только те

произведения, которые либо повлияли на его дальнейшую писательскую судьбу («Параша», «Хорь и Калиныч»), либо сопоставлялись в его сознании с значительными этапами биографии («Стено»), литературными и общественными связями («Разговор», «Где тонко, там и рвется», «Нахлебник», «Холостяк», «Завтрак у предводителя»).

Именно этот «взгляд изнутри», оценка фактов, которая просматривается сквозь скупые конспективные записи, важнее всего для современного читателя и исследователя творчества Тургенева. Рассматривая Мемориал под этим углом зрения, можно с достаточным основанием строить предположения о возможных связях записей, на первый взгляд, не имеющих отношения друг к другу. Так, под 1834 г. слова «Университет» и «Армишка» поставлены рядом не случайно — собака, переданная Тургеневым И. А. Юрьеву при первом расставании с родным домом, запечатлелась в его памяти, конечно, не из-за своей феноменальной трусливости (если основываться на повести «Андрей Колосов»), а как существо, давшее пример верности и преданности человеку-другу, как это явствует из публикуемого ниже письма Юрьева. Становится понятной и скупость сведений о годах детства и юности (к сожалению, наименее изученных в биографии писателя): некоторые семейные события он, возможно, не помнил или не считал их значительными с точки зрения воздействия на свою дальнейшую жизнь.

В «Мемориале» имеются сведения, не известные ранее в биографической литературе о Тургеневе. Здесь под 1833 г. указан прототип героини «Первой любви», под 1840 г.— адрес местожительства с М. А. Бакуниным в Берлине, под 1849 г.— дата решительного поворота отношений с Полиной Виардо и т. д. Иные записи дополняют и уточняют ранее известные факты. Это — подтверждение автобиографичности повести «Первая любовь» (1833), точная дата приезда в Петербург (1839), участие П. Н. Погорельского в попытке сдать магистерские экзамены в Москве (1842) и т. п. Многое еще предстоит установить, некоторые расшифровки пока остаются в области предположений. Расшифровка записей отчасти затрудняется тем, что «Мемориал», так же как и «Автобиография» и «Литературные и житейские воспоминания», содержит ошибки и неточности (см., например, запись о первой встрече с М. П. Погодиным, ошибочно отнесенную к 1840 г.). Поэтому следует с большой осторожностью относиться к поправкам в хронологической канве по записям Мемориала, которые нуждаются в тщательной проверке и документальном подтверждении (например, время учебы в пансионе Вейденгаммера, возвращение из заграничной поездки в 1839 г. и т. д.).

Исправление неточностей и комментирование неустановленных реалий зависит от дальнейшего исследования архивных и мемуарных источников, обращение к которым уже дало положительные результаты. Богатый материал дает переписка Тургенева, в том числе извлеченные из архивов (*ГПБ*, *ИРЛИ*) письма его родных. Ценнейший биографический материал имеется в письмах его отца С. Н. Тургенева, дяди Н. Н. Тургенева, брата Н. С. Тургенева и в особенности матери писателя, В. П. Тургеневой. Вся эта переписка, до сих пор опубликованная только в отрывках, содержит сведения о маршрутах путешествий писателя, о содержании его несохранившихся писем, о семейных событиях, знакомствах и т. д.

Существенное значение имеет текстологический и палеографический анализ самой рукописи, учет некоторых ее характерных особенностей.

Разметив листы бумаги цифрами по годам и начав черновые наброски, Тургенев не всегда выдерживал хронологическую и логическую последовательность записей в пределах одного года. Название дачной местности Рыбацкое далеко отстоит от пометы «Лето на даче» (1836), летние события перемежаются с зимними (1849) и т. д. Рукопись изобилует вставками, дополнениями и поправками, которые подчас имеют большое значение для установления связей между записями. Помета «(Первая любовь)», надписанная над фамилией княжны Шаховской, прямо указывает на отношение между этими словами. Взгляд автора на упоминаемые имена и события можно проследить также и по способу их выделения, по подчеркиваниям, даже по знакам препинания. Так, подчеркнуты как наиболее существенные слова и фразы: «Перепутье» (1831), «Самое счастливое время в моей жизни» (1845) и др. Важный поворот в своей жизни — знакомство с Полиной Виардо (1843) Тургенев не только подчеркнул, но и выделил крупными буквами.

Сплошной текст черновых записей Мемориала подчас затрудняет разделение или объединение тех или иных имен и фактов. Связь различных записей между собой можно установить по наличию скобок: «Путешествие по Германии (Б⟨арон⟩ Розен. Порфирий. Демидов)»— 1838; «Белинский у Лесного института (Разговор)» — 1843. Иногда события объединяются и двоеточиями: «Покупается Наполь 1-й: Охота» (1836); «Маменька живет на Девичьем поле: Карпова» (1835). Подобной закономерности нет в употреблении тире — оно скорее показывает не отношение между записями, а их отрывочность, незаконченность, так же как отточие или слова etc.

Рассматривая знаки в таком аспекте, можно найти некую путеводную нить в направлении дальнейших поисков. Вероятно, «Старуха» имеет отношение к жизни в Берлине с М. А. Бакуниным в 1840 г.; встреча с А. Я. Шварц произошла не в деревне, а в Петербурге (эта запись не только стоит в скобках, но отделена от последующих абзацем и пробелом) и т. д. и т. п. Такой подход дал положительные результаты в расшифровке записей «Маменька возвращается в Петербург (Операция полипа. Громов)»; в пояснении слова «(Армишка)» и др.

В настоящем комментарии записи поясняются не в порядке их расположения в тексте Мемориала, а объединяются по связи друг с другом. Записи, не поддающиеся пояснению, опускаются без специальных оговорок. При комментировании использованы материалы архива и аннотированного указателя к Тургеневскому собранию Н. М. Чернова (*ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, Х1430), за что комментатор приносит ему глубокую благодарность, а также примечания Л. С. Журавлевой к первой публикации Мемориала в *Лит Насл.* Сведения, почерпнутые из этих источников, приводятся в большинстве случаев без ссылок. Ссылки не делаются также при цитировании писем В. П. Тургеневой, извлеченных из архива И. С. Тургенева в *ГПБ*, ф. 795, № 91 (1838), 92 (1839), 93 (1840), 94 (1841), 95 (1842), 96 (1843), 97 (1844), 98, 99 (копии за 1838—1844). Цитаты из этих писем приводятся лишь с указанием даты, как она проставлена в тексте (В. П. Тургенева помечала свои письма чаще всего двумя датами — по старому и новому стилю, но иногда писала только одну — либо по старому, либо по новому стилю. Из-за взаимных неточностей в датировке у нее часто возникали недоразумения с сыном).

Данный комментарий сознательно ограничен расшифровкой и пояснением лишь реалий, упомянутых автором. Иной подход

к Мемориалу привел бы к созданию работы другого жанра — биографического, и к тому же мог бы увести в область необоснованных догадок по поводу оценки или запоминания Тургеневым тех или иных событий.

1830, 1831

Отъезд отца больного из Самотечского дома ⟨. . .⟩ Возвращение отца здоровым (летом).

Отец писателя, Сергей Николаевич Тургенев (1793—1834), в конце апреля 1829 г. выехал за границу для лечения (*Моск Вед*, 1829, № 33, 24 апреля, с. 1575). В связи с предстоявшей опасной операцией «камнесечения», С. Н. Тургенев на время возвращался в Москву, видимо для устройства личных и семейных дел на случай неблагоприятного исхода. Вторично он отправился за границу весной 1830 г. (*Моск Вед*, 1830, № 32, 19 апреля, с. 1505). Семья Тургеневых жила тогда в собственном доме на Самотечной (Сретенской части, 2-го квартала, № 233; ныне ул. Ермоловой, 12/24). Возратился С. Н. Тургенев в Москву после операции 16 мая 1831 г. в дом Квашнина в Гагаринском переулке, где проживала в то время В. П. Тургенева с сыновьями и домочадцами (см.: *ЦГИА* Москвы, ф. 16, оп. 31, ед. хр. 22). Во время обеих поездок С. Н. Тургенева сопровождали доктор А. Е. Берс и камердинер М. Ф. Лобанов.

Между отцом и сыновьями все это время велась регулярная переписка. Дошедшие до нас письма к старшему сыну Николаю (письма к Ивану не сохранились) свидетельствуют о внимательном отношении С. Н. Тургенева к воспитанию детей (см. об этом: К л е м а н М. Отец Тургенева в письмах к сыновьям.— *Т сб (Кони)*, с. 131—143; Д е н Т. П. С. Н. Тургенев и его сыновья.— Русская литература, 1967, № 2, с. 129—135; Ч е р н о в Н. Повесть И. С. Тургенева «Первая любовь» и ее реальные источники.— Вопросы литературы, 1973, № 9, с. 225—241).

Определение к Вейденгаммеру ⟨. . .⟩ Мы выходим от Вейденгаммера.

Пансион Вейденгаммера был одним из многих в Москве частных заведений для воспитанников мужского пола, предназначенных преимущественно для подготовки к вступлению в военную и статскую службу. Новейшими исследованиями установлено, что содержатель пансиона Иван Иванович (Иоганн-Фридрих) Вейденгаммер (1787—1838) служил учителем Университетского благородного пансиона, потом инспектором Воспитательного дома и позднее — инспектором Екатерининского и Александровского институтов. Частный пансион, в который были помещены братья Тургеневы, размещался в доме Вейденгаммера на углу Гагаринского переулка и Староконюшенной (ныне — место домовладений № 8 и 10 по ул. Рылеева). Заведение было скромное, с малым составом пансионеров и небольшим числом приглашенных педагогов, главным образом из лиц, служивших в Воспитательном доме. Просуществовал он с 1822 по 1830 год; в 1832 году был учрежден вновь, но вскоре закрылся.

Биографическая литература содержит разноречивые сведения о времени пребывания Тургенева у Вейденгаммера (см. комментарий Л. С. Журавлевой к «Мемориалу» — *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 347). Начало этим расхождениям положил сам писатель. Пансион Вейденгаммера впервые упомянут им в «Литературных и житейских воспоминаниях» по поводу «первого сильного литературного впечатления» — знакомства с романом Загоскина «Юрий Милослав-

ский, или Русские в 1612 году» (см. наст. том, с. 72). Если верить записи в «Мемориале» о поступлении к Вейденгаммеру в 1830 г., то слушать рассказы надзирателя в год появления романа (1829) Тургенев не мог. Это могло происходить в 1830 г., когда «Юрий Милославский» вышел вторым изданием, или еще позднее, в 1831 году, как сообщается в письме к С. Т. Аксакову от 22 января (3 февраля) 1853 г.: «Помнится, я находился в пансионе в Москве в 31-м году (мне был 12-й год) — и там по вечерам надзиратель наш рассказывал Ю⟨рия⟩ М⟨илославского⟩».

Годом поступления братьев в пансион традиционно считается 1827 или 1828 (см. также статью В. В. Шапочки и Б. В. Богданова «Новые документы о И. С. Тургеневе».— Советские архивы, 1968, № 6, с. 97—99). Разыскания Н. М. Чернова, проведенные дополнительно, подтверждают наибольшую вероятность начала обучения Тургенева у Вейденгаммера осенью или зимой 1827/28 г. Он и его брат Н. С. Тургенев посещали пансион до позднего лета 1830 года (из письма отца от 25 августа 1830 г. видно, что в это время сыновья еще обучались у Вейденгаммера. См: *Т сб (Кони)*, с. 135). Осенью 1830 года занятия в пансионе не возобновлялись, по-видимому, из-за эпидемии холеры.

1833

Кн⟨яжна⟩ Шаховская. (Первая любовь.) ⟨. . .⟩ — Житье на даче против Нескучного.

Записи этого года почти целиком посвящены драматическому семейному конфликту, нашедшему отражение в повести «Первая любовь» (об автобиографичности повести см. комментарий Е. И. Кийко в наст. изд., т. 6, с. 479—480) [1]. Из записи в «Мемориале» впоследствии возникло заглавие повести, здесь же впервые названа фамилия девушки, послужившей прототипом ее героини Зинаиды Засекиной. В статье Н. Чернова «Повесть И. С. Тургенева „Первая любовь“ и ее реальные источники» убедительно доказано, что имеется в виду княжна Екатерина Львовна Шаховская (в замужестве Владимирова, 1815—1836), поэтесса, племянница драматурга А. А. Шаховского. Ее матери, княгине Е. Е. Шаховской, принадлежал дом близ Калужской заставы напротив Нескучного сада (ныне Центральный парк культуры и отдыха им. А. М. Горького), где по-соседству на даче Энгель проводила лето 1833 г. семья Тургенева, когда он готовился к поступлению в университет. Недавно опубликованные Н. М. Черновым (см. указанную выше статью) материалы семейного архива дают представление о некоторых подробностях этой драмы, так глубоко повлиявшей на молодого Тургенева. 26 марта 1839 г. В. П. Тургенева, отвечая сыну, по-видимому в ответ на его какую-то откровенность, пишет: «Злодей. Да что я тебе за конфидантка!.. Что ты мне это напеваешь старую песню.— Княжна Ш. ⟨. . .⟩ — Да будет проклята память о ней! Да разве ты не знаешь, что она бед-

[1] Автобиографичность повести «Первая любовь» не подлежит сомнению, однако нельзя согласиться с тем, что одним из доказательств этого является список «действующих лиц» из Парижского архива Тургенева, где указано: «Я, мальчик 15 лет.— Мой ⟨отец⟩ — 38 лет. Моя мать — 40 лет» (см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 347). Это указание входит в перечисление персонажей произведения, без каких бы то ни было указаний на реальные прототипы, и, следовательно, «я» здесь выступает как «я» героя повести, а не автора.

ного и честного человека, мужа больной жены...» Далее следует подробное описание отношений С. Н. Тургенева с Е. Л. Шаховской (позднее густо зачеркнутое кем-то в подлиннике и еще не до конца расшифрованное), которое кончается французской фразой: «...de ne jamais prononcé devant moi ce nom maudit»[2] (*ГПБ*, ф. 795 И. С. Тургенева, ед. хр. 99).

NB. *Перепутье.*

Можно предположить, что этим словом Тургенев обозначил переломные события и настроения 1832—1833 гг., когда определялся его дальнейший жизненный путь. Факты, которыми мы теперь располагаем, позволяют считать, что университет был выбран родителями для Ивана Тургенева после того как изменилось намерение поместить его в военную службу. Это вытекает, в частности, из текста прошения, поданного С. Н. Тургеневым в июле 1832 г. в Тульское дворянское депутатское собрание (см.: *ЦГАЛИ*, ф. 509, оп. 1, ед. хр. 4; Гос. музей И. С. Тургенева, отдел фондов, ед. хр. 233). И хотя окончательное решение принимал отец, выбор карьеры для второго сына, судя по всему, определялся в значительной мере под воздействием взглядов В. П. Тургеневой. В тот период, когда отношения с мужем были на грани разрыва, она, очевидно, желала сохранить как можно дольше рядом с собой сына Ивана, считавшегося ее любимцем. Это отчасти достигалось помещением его в Московский университет.

Определение в университет.

4 августа 1833 г. Тургенев, которому в то время было неполных 15 лет, подал в Правление Московского университета прошение о допуске его к сдаче приемных испытаний (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. I, с. 423 и 632). В университетах второй год действовали новые правила о вступительных экзаменах, обязывавшие всех поступающих, в том числе получивших домашнее образование, показывать «равные познания с теми, кои с успехом окончили учение в гимназии». В сентябре экзамены были успешно выдержаны, и, по решению Совета Московского университета от 20 сентября 1883 г., Тургенев был зачислен своекоштным студентом (см.: Тихонравов Н. С. И. С. Тургенев в Московском университете. 1833—1834.— *ВЕ*, 1894, № 2, с. 716).

Университет. (Армишка). Атбек. Курдюмов. Краузе.

Пребывание Тургенева в Московском университете было непродолжительным. Он приступил к занятиям в октябре 1833 г., прослушал общеобразовательный курс и сдал переходные экзамены в конце мая — начале июня 1834 г. (см.: *Т сб (Кони)*, с. 143), причем по результатам оказался третьим из 13 студентов, державших экзамены, и из 6, переведенных на второй курс (см.: *ВЕ*, 1894, № 2, с. 708—724). Одновременно с ним, но на старших курсах, учились Герцен, Огарев, Станкевич, с которыми он сблизился в более поздние годы. В одном из писем Станкевича упоминается о том, что Тургенева он «узнал в Москве в университете» (*Станкевич, Переписка*, с. 64), но началом своих отношений оба они считали встречу в 1838 г. В дневнике Е. В. Сухово-Кобылиной имеется упоминание о том, как Тургенев летом 1838 г. в Гейдельберге пренебрежительно отзывался о Московском университете, говоря, что он «полон дураками» (*Лит Насл*, т. 76, с. 340). Автобиографическое

---

[2] «...никогда не произносить при мне этого проклятого имени» (*франц.*).— *Ред.*

признание в повести «Пунин и Бабурин» в том, что «со времени ... поступления в университет» он «стал республиканцем и увлекся деятелями Великой французской революции», относится скорее всего к более позднему, петербургскому периоду его студенчества. Армишка— кличка собаки, принадлежавшей Тургеневу. О собаке с такой кличкой упоминается в повести «Андрей Колосов» (подробнее см. в комментарии Л. С. Журавлевой — *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 348 и статью Н. М. Чернова «Из разысканий о Тургеневе» — Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 213. Последняя работа послужила также источником приводимых ниже сведений о Курдюмове, Атабекове и Краузе). Перед отъездом в Петербург собака была передана Тургеневым Ивану Артемьевичу Юрьеву (род. в 1811), будущему литератору, автору повести «Свадьба», в то время студенту Московского университета, который некоторое время жил у Тургеневых в качестве учителя младшего сына Сергея, а позднее обучал воспитанницу В. П. Тургеневой В. Н. Богданович-Лутовинову. В письме из Москвы Юрьев подчеркивал необычайную преданность собаки прежнему хозяину и выражал пожелание найти и в людях столь же искреннюю дружбу: «Без друга жить тяжко, а между людьми истинного найти или различить от ложного очень трудно, а фальшивый друг хуже злодея ⟨. . .⟩ Впрочем, нет правил без исключения. Если вас, например, будут все так же любить, как ваша верная Армишка, то вы можете выбирать друзей из ваших знакомых, кого вам угодно. Дай бог, чтобы это так и было. Прощаясь, ничего лучше не могу пожелать вам, как от всех Армишкиной любви, с какою остаюсь ваш искренний Иван Юрьев» *(ГПБ*, ф. 795, № 103).

Атабеков (Атабек, Атарбеков) Григорий Соломонович (род. в 1818) — сын армянского дворянина, был студентом Московского университета с 1830 по 1832 г., затем вторично зачислен в университет в 1833 г. одновременно с Тургеневым, в третий раз — в 1834 г., но, по-видимому, так и не окончил курса. Сохранилась его записка к Тургеневу (*ГПБ*, ф. 795, № 73), вероятно, 1834 г., где говорится о возврате нескольких номеров какого-то журнала и о недовольстве преподавателя отсутствием Тургенева на лекциях.

Курдюмов Сергей Павлович (род. 1814) — сын путивльского помещика, учился одновременно с Тургеневым в Московском университете на нравственно-политическом отделении.

Краузе Иван (до 1821 г.— Карл) Федорович, инспектор Армянского пансиона (впоследствии — Лазаревский институт восточных языков), уроженец Пруссии, с 1811 до 1826 г. преподавал немецкий и французский языки в Казанском университете, автор учебника «Курс теоретико-практический языка французского в трех частях». М., 1824 (см.: З а г о с к и н Н. П. Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Казанского университета. 1804—1904. Казань, 1904, с. 113—114). В письмах С. Н. Тургенева к старшему сыну Николаю в начале 1834 г. обсуждается возможность помещения младшего, Ивана, к Краузе на время отъезда отца в Петербург. 19 февраля он сообщает: «Ваню на время поместил к Краузе... Много дел встретилось, кои требуют моего пребывания здесь и главное устроить занятия Ванички, который будет жить у Краузе» (К л е м а н М. С. Н. Тургенев в письмах к сыновьям.— *Т сб (Кони)*, с. 143). Возможно, воспоминания о житье у Краузе отразились в повести «Андрей Колосов»: «Десять лет тому назад ⟨. . .⟩ я был студентом в Москве. Отец мой ⟨. . .⟩ отдал меня на руки отставному не-

мецкому профессору, который за сто рублей в месяц взялся меня поить, кормить и наблюдать за моею нравственностью» (наст. изд., т. 4, с. 8).

Брат определяется на службу.— Маменька уезжает за границу. Переезжаем в Петербург.

Брат писателя Николай Сергеевич Тургенев (1816—1879) был в конце 1833 г. отвезен отцом в Петербург и определен в артиллерийское училище для последующего вступления в лейб-гвардии конную артиллерию. Болезнь жены и предполагаемый отъезд ее за границу заставил С. Н. Тургенева вернуться в Москву, откуда он продолжал руководить занятиями и поведением сына в письмах (см.: *Т сб (Кони)*, с. 131—143). Известен отклик Тургенева на немецком языке от 23 февраля (9 марта) 1834 г. на письмо брата от 20 февраля (4 марта) о чрезмерных строгостях в училище.

Мать писателя Варвара Петровна Тургенева (урожд. Лутовинова, 1787 [3]—1850), деспотичная помещица, была человеком сложной судьбы и незаурядного характера. Черты ее характера отражены в персонажах произведений «Первая любовь», «Пунин и Бабурин», «Степной король Лир», «Контора», «Собственная господская контора». Из обширной переписки между сыном и матерью до нас дошли 125 писем В. П. Тургеневой за 1838—1844 гг., в которых упоминаются 42 его ответных письма (неизвестны). Некоторые из писем В. П. Тургеневой опубликованы в отрывках (см.: Малышева И. М. Письма матери (извлечения из переписки В. П. Тургеневой с ее сыном).— *Т сб (Пиксанов)*, с. 29—30; *Рус мысль*, 1915, № 6, с. 99—111; № 12, с. 110—115). О ней см. также: Zviguilsky T. Warwara Pétrovna Loutovinova (1787—1850) mère d'Ivan Tourguéniev.— Cahiers, 1980, № 4, p. 43—70. В. П. Тургенева выехала для лечения за границу в мае 1834 г. в сопровождении соседа Тургеневых барона П. И. Черкасова и матери их домашнего врача — Е. И. Берс. Родители Тургенева были в то время фактически в разъезде. В письмах в Петербург к старшему сыну отец неоднократно приводит объяснение причин, по которым он не может сопровождать жену (см. упомянутые выше работы Т. П. Ден и Н. М. Чернова, а также письма С. Н. Тургенева к Н. С. Тургеневу — *ИРЛИ*, ф. 93, оп. 3, № 1286).

29 мая 1834 г. С. Н. Тургенев пишет старшему сыну: «Со вчерашнего дня начались экзамены Вани, итак теперь наверное могу сказать, что через две недели мы выедем в Питер» (*Т сб (Кони)*, с. 143). 14(26) июня Тургенев подает прошение о возвращении ему документов и выдаче свидетельства для перевода в Петербургский университет (*Т, ПСС и П, Письма*, т. I, с. 424). Сразу же после этого они с отцом выехали в Петербург, где поселились на углу Первого Спасского переулка (ныне Манежный пер.) и Шестилавочной (впоследствии Надеждинская ул.) в доме Родионова (ныне ул. Маяковского, участок дома № 52. См. об этом: Назарова Л. И. С. Тургенев.— В кн: Литературные памятные места. Л., 1976, с. 350).

[3] В гос. архиве Орловской области (см. метрическую книгу Спасской церкви — опись 6, ед. хр. 321) имеется запись о рождении матери И. С. Тургенева: «1787 год, 30 декабря. Капитанши вдовы Петра Иванова сына Лутовинова дочь Варвара. Воспреемниками были майор Иван Иванов сын Лутовинов, поручица Анна Ивановна дочь Сергеева (Богданов Б. Спасское-Лутовиново. Гос. музей-усадьба И. С. Тургенева. Путеводитель. Тула, 1977, с. 15).

Старший брат Тургенева в это время находился в летних лагерях в Красном селе, куда по приезде отец отправил и младшего сына (см.: *Т сб (Кони)*, с. 143). 18(30) июля Тургенев подал прошение о зачислении его своекоштным студентом по историко-филологическому отделению и был зачислен на первый курс, откуда по его новому прошению в сентябре переведен на второй курс после сдачи переходных экзаменов (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. I, с. 426, 632, 633).

Смерть отца 30 октяб⟨ря⟩. Сочинение — «Стéно» (!).

В 1834 г. С. Н. Тургенев умер от возобновившихся приступов почечно-каменной болезни. 30 октября П. И. Кривцов писал своей матери, В. И. Кривцовой: «Несчастный Сергей Николаевич кончил жизнь после трехдневных ужасных мучений. Дети остались на руках у Николая Николаевича, который, к счастью, приехал с месяц тому назад. Варвара Петровна путешествует по Италии и не знает о своем несчастье» (Г е р ш е н з о н М. Декабрист Кривцов и его братья. М., 1914, с. 216).

Глубокое потрясение смертью отца сопровождалось, по-видимому, тяжелыми впечатлениями от семейной драмы родителей. Позднее В. П. Тургенева вспоминала о несохранившемся письме С. Н. Тургенева к детям: «В тот день как сделался с ним удар вечером ... тот день, волнуем предчувствиями, терзаясь тоскою оставить вас сиротами, мальчиков, почти беспризорных никем,— в тот день родительская нежность, страх водили письмом его» (12(31) августа 1840). В цитированном выше письме к сыну от 26 марта 1839 г. она намекала о возможной «насильственной смерти» отца на почве его отношений с Е. Л. Шаховской. Все это несомненно обострило уже пробудившийся интерес юноши к философско-этическим вопросам, отразившимся в драматической поэме «Стено», сочинение которой совпало с предсмертной болезнью отца (на рукописи «Стéно», хранящейся в Британском музее, имеется надпись: «Начата 21 сентября 1834-го года. Окончена 13-го декабря 1834-го года» (см. наст. изд., т. 1, с. 336). В этой связи «Стено» и упоминается в «Мемориале», хотя уже в 1836 г. Тургенев критически отзывался о поэме (см. письмо к А. В. Никитенко от 26 марта (7 апреля) 1837 г.), а в зрелые годы иронически назвал ее в «Литературных и житейских воспоминаниях» «совершенно нелепым произведением» (наст. том, с. 11). О «Стено» см. также: наст. изд., т. 1, с. 547.

1835

Maladie de croissance. ⟨Болезнь роста⟩.

Смерть отца и предшествующие ей события потрясли Тургенева, вызвали внутреннюю перестройку и глубокий душевный кризис. По-видимому, зимой 1834—1835 [4] года юноша заболел. К этому периоду, как можно предполагать, относятся его воспоминания, записанные Д. Н. Садовниковым: «⟨. . .⟩ Ростом я был в 15 лет не выше семилетнего. Затем совершилась удивительная перемена после 15 лет. Я заболел. Со мною сделалась страшная слабость во всем теле, лишился сна, ничего не ел, и когда выздоровел, то сразу вырос чуть не на целый аршин. Одновременно с этим совершилось

---

[4] Время устанавливается по пребыванию В. П. Тургеневой за границей, так как болезнь случилась явно в ее отсутствие. Дальнейшая несогласованность хронологии и возраста, возможно, объясняется ошибками памяти у Тургенева.

и духовное перерождение. Прежде я знать не знал, что такое поэзия; а тут математику с меня точно что сдуло, я начал мечтать и пописывать стихи» (см. в сб.: Русское прошлое. Пг., 1923, № 3, с. 117). Не исключено, что именно эти события имел в виду Тургенев, внося в Мемориал запись «Болезнь роста».

Маменька возвращается в Петербург. (Операция полипа. Громов.)

В. П. Тургенева возвратилась из-за границы и приехала в Петербург в июне 1835 г. к сыновьям (см.: Гершензон М. О. Декабрист Кривцов и его братья, с. 261) и на могилу умершего без нее мужа. Сергей Александрович Громов (1776—1856) известный врач, впоследствии академик Медико-хирургической академии. Ученики Громова Я. А. Чистович и И. В. Буяльский вспоминали о своем учителе: «Профессором акушерства и судебной медицины с медицинскою полициею был С. А. Громов, человек необъятной учености и зрелого, талантливого опыта, отличавшийся в то же время невообразимою в настоящее время скромностью 〈. . .〉 Первый также завел он в академии акушерскую клинику» (*Рус Ст*, 1876, № 2, с. 295). Об операции полипа у В. П. Тургеневой Тургенев впоследствии писал своей дочери Полине Брюэр 4(16) ноября 1882 г.

На лето в Москве.— Маменька живет на Девичьем поле: Карпова 〈. . .〉 Протасов 〈. . .〉 Беснования. Александра Протасова.

Во время каникул, проводимых в Москве у матери, Тургенев находился в кругу семейных знакомых. В доме В. П. Тургеневой могли бывать две Карповы — мать и дочь. Одна из них — Елизавета Дмитриевна, в замужестве Шеншина, увлечение молодости Тургенева, о ком он писал Полине Виардо как о своей «прежней страсти» (см. письма от 28, 31 августа, 2 сентября (9, 12, 14 сентября) 1850 г. и 18(30) сентября 1850 г.). Однако, по всей вероятности, его близкое знакомство с Лизой Карповой состоялось только в 1841 г. (см. ее письма к Е. Фроловой, *ИРЛИ* 15792/XCVII б3;). Мать Е. Д. Шеншиной Мария Михайловна Карпова, рожденная Шишкина, была двоюродной сестрой и близкой приятельницей В. П. Тургеневой, они подолгу живали друг у друга и постоянно переписывались. В 1834—1835 гг. муж М. М. Карповой Дмитрий Иванович (брат В. И. Кривцовой матери декабриста С. И. Кривцова) вел громкий бракоразводный процесс с женой, о котором говорила вся Москва (см.: Гершензон М. О. Декабрист Кривцов и его братья. М., 1912, с. 116). Возможно, именно его вспомнил Тургенев, сопоставляя житье на Девичьем поле с именем Карповой. Из нескольких семей Протасовых, знакомых Тургеневу, он общался в Москве с семьей Якова Петровича Протасова (1781—1857), его жены Александры Сергеевны, рожд. Дохтуровой (ум. 1868) и их четырех дочерей, в то время в возрасте от 15 до 23 лет. Три из них — Анастасия, Александра и Варвара — привлекли внимание Тургенева, о чем не раз упоминается в письмах В. П. Тургеневой. В одном из них она называет Александру Яковлевну Протасову (в замужестве Семенову) его «старой любовью» (Чернов Н. М. Повесть И. С. Тургенева «Первая любовь» и ее реальные источники, с. 238). «Беснованиями» Тургенев называет, по-видимому, времяпрепровождение в доме Протасовых, где молодежь пользовалась относительной свободой и держалась непринужденно.

Телепнев — по всей вероятности, кто-то из богатого мценского дворянского семейства Телепневых. Возможно, отец Александры Николаевны Телепневой, в замужестве кн. Тенишевой, современ-

ницы Тургенева. (Впоследствии — меценатка, основала в Мценске общественную библиотеку-читальню имени И. С. Тургенева).

Театр.

О зарождении (к 1835 году) своего интереса к театру Тургенев упоминает также в повести «Несчастная» (1868), где говорится о впечатлениях от постановки грибоедовского «Горя от ума» в московском Малом театре (впервые поставлена 27 ноября 1831 г.). Впоследствии среди наиболее значительных впечатлений своей молодости он отметил присутствие на первых постановках «Ревизора» Гоголя и оперы Глинки «Жизнь за царя» в Петербурге 1836 г., признаваясь, что тогда еще «не понял значения того, что совершалось перед моими глазами» (наст. том, с. 15). Театральные впечатления вызвали создание его первых драматических произведений, упомянутых в письме к А. В. Никитенко от 26 марта (7 апреля) 1837 г. Среди них — переводы «Отелло», «Короля Лира» (оба неоконченные и уничтоженные), байроновского «Манфреда» и начатая «в конце прошлого года» драма, «которой первый акт и весь план совершенно кончен».

Езжу на короткое время с дядей в деревню.— Сантинель.

Дядя Тургенева, младший брат его отца, Николай Николаевич Тургенев (1795—1881), отставной штаб-ротмистр, после смерти С. Н. Тургенева управлял имениями В. П. Тургеневой и жил в Спасском. В годы детства и юности Тургенев считал его своим вторым отцом (см. в письмах В. П. Тургеневой — «дядя-отец»). Впоследствии общение с дядей дало писателю материал для изображения людей «старого покроя», обитателей «дворянских гнезд» в его произведениях о поместной жизни, в частности, в «Двух поколениях» и «Собственной господской конторе» (см. об этом статью Р. Б. Заборовой «И. С. Тургенев и его дядя Н. Н. Тургенев».— *Т сб*, вып. 3, с. 221—234). Пять писем Тургенева к дяде 1831 г. и несколько писем Н. Н. Тургенева из не дошедшей до нас обширной переписки дяди и племянника свидетельствуют об их тогдашней взаимной привязанности, которую укрепляли общие интересы, в частности, увлечение охотой и верховой ездой. Вероятно, целью их короткой поездки в Спасское летом или осенью 1835 г. была именно охота, в связи с чем и упомянута кличка охотничьей собаки Сантинель.

1836

Лето на даче. (Маменька, Гиллис, Викулов.— Покупается Наполь 1-й: охота.) ⟨. . .⟩ Рыбацкое.

Лето 1836 г. Тургеневы провели в Рыбацком, дачной местности на Неве под Петербургом. Фамилии лиц, упомянутых рядом с В. П. Тургеневой, относятся, вероятно, к спутникам по охоте (ср., например, в «Степном короле Лире» охотник Викулов из мещан и охота в дачной местности около Петербурга — наст. изд., т. 8, с. 225—226). Запись в Мемориале указывает, что охотничьи увлечения Тургенева продолжались и в Петербурге. Наполь 1-й (Наполеон) — охотничья собака выдающихся качеств, неоднократно упоминавшаяся в переписке Тургеневых.

Хитровы — Н. А. Хитрово, из дворян Орловской губ., фуражмейстер Дворцового ведомства; его жена Варвара Ивановна, дочь В. И. Кривцовой, родственницы Тургеневых (см.: Гершензон М. О. Декабрист Кривцов и его братья, с. 260—261). Семья Хитрово в первые годы пребывания Тургенева в Петербурге очень многое для него значила. Сыновья и дочери Хитрово, ровесники Тургенева, составляли тогда его самый близкий дружеский круг

(об этом см. в письмах Н. С. Тургенева к И. С. Тургеневу: *ГПБ*, ф. 795, ед. хр. 90). Характеры и черты членов этой семьи, их быт и образ жизни использованы Тургеневым в повести «Яков Пасынков» (см.: Аннотированный указатель к Тургеневскому собранию Н. М. Чернова, с. 78 — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 430).

Я не выдерживаю на кандидата. Действ⟨ительный⟩ студ⟨ент⟩. Летом 1836 г. Тургенев держал выпускные экзамены на звание кандидата, но, получив по курсу всеобщей истории у профессора И. П. Шульгина низкий балл ($2^1/_2$), удостоился только звания действительного студента (см.: О к с м а н Ю. Г. И. С. Тургенев. Исследования и материалы. Одесса, 1921. Вып. 1, с. 101—108. Подробные воспоминания об этом экзамене — К о л м а к о в Н. М. Очерки и воспоминания.— *Рус Ст*, 1891, № 5, с. 461—462). По новому уставу, высочайше утвержденному 26 июля 1835 г., философский факультет объединял филологическое и математическое отделения с четырехлетним курсом обучения вместо прежнего трехлетнего, что дало Тургеневу возможность продлить курс обучения еще на год, получив на это «изустное разрешение» ректора Петербургского университета И. П. Шульгина (см. прошение Тургенева на имя ректора от 11(23) мая 1837 г.). Ср. наст. том, с. 361.

А. А. *Фишер* (1799—1861) — профессор философии Петербургского университета. Его преподавание не удовлетворяло студентов. «А. А. Фишер знакомил студентов с азбукою философии в кантовской разработке, но, ввиду слабого знания русского языка, совершенно по-гимназически» (Г р и г о р ь е в В. В. Императорский С. Петербургский университет в течение первых 50 лет его существования. СПб., 1870, с. 88—89). Это мнение подтверждается пометой Тургенева в студенческой тетради с записями лекций Фишера (см.: Г р о м о в В. А. Студенческие записи Тургенева по географии, истории, статистике, законодательству и философии.— *Т сб*, вып. 1, с. 227).

В ноябре умирает Миша Фиглев.

Михаил Сергеевич Фиглев умер 18(30) ноября 1836 г. девятнадцати лет от роду. В 1835 или 1836 г. Тургенев написал характеристику своего друга под заглавием «Миша Фиглев», судя по которой, некоторые черты Фиглева запечатлены в характере Мишеля Колтовского из повести «Несчастная» (см.: *Лит Арх*, т. 3, с. 170). Тургенев назвал его в письме к С. М. Фиглеву (отцу) от 12(24) июня 1837 г. «*другом* в полном смысле слова» и намеревался посвятить ему в печати свои первые литературные опыты, отданные на отзыв П. А. Плетневу и А. В. Никитенко. 28 августа (9 сентября) 1840 г. он писал М. А. Бакунину: «У меня всего было 2 друга — и первого звали Michel. Он умер. Мы с ним вместе росли, вместе дожили до 18 лет — и он умер».

Живем мы в Линевском доме.

Дом Линева — местожительство семьи Тургеневых в Петербурге: Литейной части 3-го квартала (дом был тогда двухэтажный, позднее надстроены еще два этажа — см.: *ГИАЛО*, ф. 513, дело 4097, оп. 102, № 2344, л. 13—16). Ныне этот дом под № 18 по улице Жуковского (быв. Малая Итальянская). Его Тургеневы могли снимать с осени 1835 г. до весны 1838 г. Удобства жизни в доме Линева В. П. Тургенева вспоминала в позднейших письмах. Так, поселившись в Москве в доме Лошаковского, она пишет 30 ноября (2 декабря) 1840 г.: «У меня прекрасный маленький московский дом вроде линевского, в котором всегда воздух ровен, тепло, светло, сухо, покойно». По сведениям, любезно предоставленным Н. М. Черно-

вым в письме к Л. Н. Назаровой, сыном владельца дома был Логин Иванович Линев, отец народовольца А. Л. Линева (род. 1842 г.). В. П. Тургенева пишет о нем 7(19) февраля 1839 г.: «Линев женится и угнездивается в бывшем моем гнезде».

1837

Наполь 2-й родился в феврале.

Щенок от Наполя 1-го вырос в Спасском и долго считался там лучшей охотничьей собакой. Он часто упоминается в переписке Тургеневых.

Дозе — немец, учитель в доме В. П. Лутовиновой, занимавшийся с ее племянницей Маврой и воспитанницей Варенькой, «которому вскоре было отказано от дома» (Колоптаева В. Воспоминания о селе Спасском.— *ИВ*, 1885, № 10, с. 46).

Я выдерживаю на кандидата. Поездка в деревню ⟨. . .⟩ В сентябре ломаю руку.— На зиму возвращаюсь в Петербург.

11(23) мая 1837 г. Тургенев подал прошение на имя ректора Петербургского университета И. П. Шульгина о допуске его к выпускным испытаниям, которые выдержал десятым из 14 казеннокоштных и 5 своекоштных студентов (см.: Оксман Ю. Г. И. С. Тургенев. Исследования и материалы. Тургенев в С. Петербургском университете. Вып. 1, с. 101—108) и получил степень кандидата, дававшую право на чин 10-го класса, т. е. коллежского секретаря. 24 июня (6 июля) в журнале заседаний Первого отделения философского факультета отмечено: «Действительный студент Тургенев, выпущенный из университета с сею степенью в прошлом году, с разрешения совета посещавший целый год лекции третьего курса и оказавший на нынешнем испытании отличные или очень хорошие успехи, удостоивается звания кандидата» (Сухомлинов М. И. И. С. Тургенев. СПб., 1884, с. 4), хотя к тому времени за Тургеневым числился не сданным один экзамен по русской истории, отложенный на осень из-за болезни жены профессора Н. Г. Устрялова. 13(25) июня Тургенев отправился в деревню с намерением вернуться к 5 сентября для сдачи экзамена; однако накануне предполагаемого отъезда из Спасского сломал руку и вынужден был задержаться на 6 недель. 13(25) сентября он обратился с просьбой к А. В. Никитенко: «Если это будет иметь неблагоприятное влияние на получение диплома или вообще на экзамен ⟨. . .⟩, замолвить обо мне слово в Совете». Ответ Никитенко и судьба последнего экзамена неизвестны. Аттестат в том, что Тургенев «по окончательном испытании признан Советом университета достойным степени кандидата 1-го отделения философского факультета» был подписан 10 июля 1837 г. (см.: *Т, ПСС и П*, *Письма*, т. 1, с. 633).

В 1-й раз имею женщину, Апраксею в Петровском.

Апраксея (Евпраксия) Ивановна Лобанова — крепостная В. П. Тургеневой, с которой И. С. Тургенев был близок некоторое время в Петровском, имении недалеко от Спасского (изображено в «Отцах и детях») — «на Петровской даче», по выражению его матери. Судьба Евпраксии тревожила Тургенева, когда до него дошли сведения, что В. П. Тургенева преследует девушку. 7(19) февраля 1839 г. В. П. Тургенева писала сыну: «Батюшка, что это за вздор пишешь ты к дяде! О Евпраксии ⟨. . .⟩ Никогда ни минуты не была она под наказаньем. Я придралась отослать девку к отцу, чтобы Васька не женился... А Евпраксия живет да старается беспечно ⟨. . .⟩ Какой же ты уморительной, Иван ⟨. . .⟩ Да за что же тут

награждать и вольную давать старой девке ⟨. . .⟩. Дать ей ассигнацию и полно — мучить ее не за что, награжденья не стоит».

Впоследствии Евпраксия тяжело заболела (есть предположение, что она изображена в рассказе «Живые мощи» — см. наст. изд., т. 3, с. 513). И Тургенев в дальнейшем не раз проявлял заботу о Е. И. Лобановой (см.: Понятовский А. И. Тургенев и семья Лобановых.— Т *сб*, вып. 1, с. 274—275).

Викулов и Афанасий в Гольтяеве. Наполь 1-й бесится в Долгом. Самель.

Летом 1837 г. Тургенев много охотился в Мценском уезде и в более отдаленных угодьях. Его впервые сопровождал тогда крепостной чернского помещика Черемисинова Афанасий Тимофеевич Алифанов, послуживший впоследствии прототипом Ермолая в «Записках охотника». Позднее В. П. Тургенева выкупила А. Т. Алифанова. После смерти владелицы он и его семья получили «вольную». И. С. Тургенев всегда помогал семье Алифановых (см. наст. изд., т. 3, с. 452—453). По сведениям, полученным от Б. В. Богданова, в списке населенных пунктов Орловской обл. нет названия Гольтяево. Сел и деревень с наименованием Долгое известно несколько. Одно из них принадлежало В. П. Тургеневой (по документам — Долгий колодезь, ныне село Долгое Залегощенского р-на). История этого старинного лутовиновского владения рассказана в кн.: Чернов Н. Орловские литературные места. Тула, 1970, с. 74, 96.

1838

В мае в 1-й раз за границу.

Первое заграничное путешествие молодой Тургенев предпринял с целью завершить свое образование. Весной 1838 г. он «отправился доучиваться в Берлин». Мнение о том, что «источник настоящего знания находится за границей», было, по его словам, всеобщим, «его придерживалось и министерство, во главе которого стоял Уваров» (наст. том, с. 7—8). Объявление об отъезде Тургенева за границу опубликовано в *СПб Вед*, 1838, № 78, 12 апреля.

Пожар «Николая». Елеонора Тютчева.

См.: «Пожар на море» (наст. том, с. 293). Впоследствии Тургенева постоянно преследовали пересуды о его недостаточно мужественном поведении в минуту смертельной опасности. Первые сообщения об этом он получил из писем родных: «Веревкин приезжал из чужих краев и сказывал, что ты во время пожару пароходу острамился и кричал в отчаянии» (В. П. Тургенева, 7(19) октября 1838 г.). «Да, Jean, Maman приказала спросить у тебя, где же нашлась лодка на пароходе во время пожара? Этот пункт покрыт мраком неизвестности — сделай одолжение и разреши наши загадки. Г. Веревкин успел вернуться и опять уехать в Петербург» (Н. С. Тургенев, приписка к цитированному выше письму В. П. Тургеневой).

Отношение Тургенева к Э. Ф. Тютчевой было угадано его матерью из намеков в его письме, на которое она отвечала 30 июля 1838 г.: «Но!.. Друг твой видит ясно, что ты не все мне пишешь, что самое интересное пропущаешь.— Мне кажется, ты не совсем был равнодушен к Madame Tutcheff». 27 мая 1839 г., получив сообщение о смерти Тютчевой, она пишет: «Мне жалко Тютчевой! Должна была быть умна, дура бы тебе не понравилась». И далее в том же письме: «В твоем письме какая-то грусть — или смерть Тютчевой причиною, или предчувствие».

Путешествие по Германии. (Б⟨арон⟩ Розен. Порфирий. Демидов.)

Немногочисленные сведения о первом путешествии Тургенева по Германии летом 1838 г. извлекаются преимущественно из ответов В. П. Тургеневой на несохранившиеся письма его к матери. В них упоминаются следующие даты и места пребывания до приезда в Берлин (перечень составлен Е. М. Хмелевской в работе «Утраченные письма И. С. Тургенева» — *Т сб*, вып. 1, с. 344—378):

19(31) мая. Штеттин.

Ок. 20 мая (2 июня). Гамбург.

21 мая (2 июня). Гамбург.

Между 22—28 мая (3—9 июня). Германия.

28 мая (9 июня). Германия.

Июнь. Кобленц.

Ок. 20 июля. Швейцария, Ливенштейн.

15(27) августа. Мюнхен.

Июнь — август. Германия.

Этот перечень можно дополнить. Письма Н. В. Станкевича и Я. М. Неверова, а также дневник Е. В. Сухово-Кобылиной свидетельствуют о том, что в конце июня — начале июля Тургенев был проездом в Эмсе, откуда переехал в Гейдельберг (см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 351; т. 76, с. 337). Пребывание в Эмсе подтверждает В. П. Тургенева, которая называет и другие города — Майнц, Висбаден, Страсбург, Берн, Дрезден (некоторые — предположительно): «Это письмо пошло в Маянс ⟨Майнц — *Д. К.*⟩. Право, неохота и писать, не зная, точно ли туда пишешь ⟨. . .⟩ Мне очень жаль, что я не знала, что ты будешь в Эмсе, в Франкфурте, где отец жил с Берсом: ты бы отыскал его квартеру.— Он также был в Висбадене... Посылаю тебе вид Бибриха в удостоверенье, что не только думаю о тебе, но! вижу тебя мысленно на сих видах» (1838, 30 июля). «В субботу я получила от тебя не письмо, а описание страсбургской колокольни. ⟨. . .⟩ Рано же ты загрустил по России ⟨. . .⟩ По России грустить, любуясь на Швейцарию, это видно, что ты ⟨. . .⟩ домосед» (23 августа 1838 г.). «Вчера получила письмо от 15(27) августа из Мюнхена ⟨. . .⟩ Да ты писал розно, то пишите в Мюнхен, то в Дрезден ⟨. . .⟩ Ты пишешь, что едешь в Дрезден ⟨. . .⟩ Из 12-ти твоих писем пропало одно — гамбургское ⟨. . .⟩ В Берлине дожидается тебя не только письмо, а и деньги. Ты погорел, это правда, но у тебя было денег в остаче от пожару — более 7 тысяч, да я прислала во Франкфурт еще 2» (25 сентября 1838 г.). Эти письма дают представление и об образе жизни и настроениях Тургенева во время путешествия.

Розен Дмитрий Григорьевич (1815 — после 1885), барон, офицер лейб-гвардии гусарского полка, впоследствии адъютант московского генерал-губернатора Д. В. Голицына, сын участника Отечественной войны Г. В. Розена, выехал вместе с Тургеневым на пароходе «Николай I». По отзывам Н. В. Станкевича и Я. М. Неверова это был «премилый и простой малый», «простой, но очень добрый малый» (*Герцен*, т. 23, с. 8). Вернувшись в Петербург, он в письме к Тургеневу от 8(20) ноября 1838 г. с удовольствием вспоминает их совместное пребывание в Берлине и Мюнхене и упоминает общего знакомого и спутника «доброго Демидова» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 352). Демидов Александр Григорьевич (1802—1853), ротмистр лейб-гвардии гусарского полка, значится в списке отъезжающих за границу в «С.-Петербургских ведомостях» от 19 апреля 1838 г.

Порфирий Тимофеевич Кудряшов (р. 1813 г.), крепостной В. П. Тургеневой. Предположения о том, что П. Т. Кудряшов был побочным сыном С. Н. Тургенева от крепостной женщины, оказались необоснованными (см.: Чернов Н. Летопись жизни. Поиски новых материалов для биографии И. С. Тургенева.— Литературная Россия, 1970, № 34, 21 августа). Намеки В. П. Тургеневой на «родственность» Порфирия относятся, вероятно, на счет его малолетнего брата по матери Николая Кудряшова, который, по всей вероятности, был сыном С. Н. Тургенева (см.: Указатель Тургеневского собрания Н. М. Чернова, с. 27). «Дядька» Тургенева во время его студенчества в Берлине слушал лекции по медицине в университете (о их совместной жизни в Германии см.: Воспоминания Тургенева в записи Л. Н. Майкова.— *Т*, *Сочинения*, т. 11, с. 602—603; *Анненков*, с. 380). В первое время Тургенев был, по-видимому, недоволен сопровождением Порфирия. «В первом или во втором письме ты мне жаловался на ненужного тебе человека Порфирия,— писала В. П. Тургенева 30 июля 1838 г.,— Я виновата, что дала тебе Порфирия, из которого ты вместо слуги сделал компаньона» (в письме от 1 мая 1839 г. он назван также «полубарином»). В то же время она живо интересуется успехами Порфирия: «А что Порфирий? Ты мне о нем ничего не пишешь. Силен ли он становится в немецком языке? А что медицина, как гомеопатия?» (13(25) ноября 1838 г.) и признает его нужным человеком, опасаясь, как бы «Порфирьевы триумфы не оставили бы его в неметчине, это жаль будет по чести, в деревне он очень нужный человек нам 〈. . .〉 Смотри, Иван, не лишиться бы нам Порфиро-родного-родного» (26 марта 1839 г.).

В сентябре в Берлине. (Станкевич, Грановский, Неверов.)

Первое письмо Тургенева из Берлина после путешествия по Германии послано 29 августа (10 сентября), что устанавливается по письмам В. П. Тургеневой от 7(19) октября 1838 г.— «Я нынче в радости, получила от тебя письмо № 13-й 〈. . .〉 из Берлина, это первое», 17(29) января 1839 г.: «до приезда твоего в Берлин 〈. . .〉 Но! с 10 сентября ты живешь уже на месте» — и Н. Н. Тургенева от ноября 1838 г.: «Вот твои письма, нами полученные из Берлина — 1-е от 10 сентября». В одном из писем В. П. Тургеневой указана другая дата — 12 сентября («Ты прошлого года приехал в Берлин 12 сентября и нынче сделать можешь то же» (1 мая 1839 г.), однако это, по всей вероятности, ошибка памяти.

В Берлине произошло сближение Тургенева с Н. В. Станкевичем и Т. Н. Грановским и их другом Я. М. Неверовым (1810—1893), впоследствии педагогическим деятелем. С Грановским Тургенев был знаком по Петербургскому университету (см. наст. изд., т. 5, с. 325, 499: письмо Я. М. Неверова к Т. Н. Грановскому от 2 июля 1838 г.— *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 351—352). Известны 4 письма Тургенева к Грановскому (1839—1840) и два неизданных письма Грановского к Тургеневу (*ИРЛИ*, *ГИМ*). Н. В. Станкевич относил свое первое знакомство с Тургеневым ко времени их совместного пребывания в Московском университете. Вторая их встреча произошла в Эмсе, где Тургенев познакомился и с Я. М. Неверовым (*Герцен*, т. 21, с. 14, 15, 423). Однако сам Тургенев и в Мемориале, и в 〈Воспоминаниях о Станкевиче〉 считал началом знакомства берлинский период 1838 г., когда они сблизились по-настоящему: «Меня познакомил с Станкевичем в Берлине Грановский в 1838 году, в конце. До того времени я слышал о нем мало — помню я, что когда Грановский упомянул о приезде Станкевича в Берлин, я спросил его — не

„виршеплет“ ли это Станкевич,— и Грановский, смеясь, представил мне его под именем „виршеплета“» (наст. изд., т. 5, с. 360). Известны два письма Тургенева к Станкевичу (1840) и одно письмо Станкевича к Тургеневу (1840). В. П. Тургенева писала 13(25) ноября 1838 г.: «Поздравляю тебя с таким количеством приобретенных знакомств, хотя все почти мне незнакомые имена, кроме Грановского».

О Карле *Вердере* (Werder, 1806—1893) — немецком философе-гегельянце, драматурге, с 1838 г. профессоре Берлинского университета см. наст. том, с. 326.

В конце года болезнь в пузыре (catarrhe).

Это заболевание взволновало всю семью Тургенева, так как его симптомы были схожи с признаками болезни, от которой умер С. Н. Тургенев. Об этом В. П. Тургенева писала 31 января и 7(19) февраля 1839 г.

Елизавета Павловна *Фролова* (урожд. Галахова) и ее муж Н. Г. Фролов, член кружка Станкевича, товарищ Тургенева по Берлинскому университету, автор работ по естествознанию были центром кружка русской молодежи в Берлине. Тургенев посвятил Е. П. Фроловой несколько страниц в «Воспоминаниях о Станкевиче», назвав ее «женщиной очень замечательной» (наст. изд., т. 5, с. 361).

1839

Приезд в Петербург 14 мая ⟨. . .⟩ (Анна Яковлевна у брата.)

Дата приезда в Петербург, указанная в Мемориале, противоречит дате письма к Т. Н. Грановскому из Берлина 8(20) июня 1839 г. В этом письме Тургенев предполагает выехать из Германии после окончания занятий в университете 1 августа и быть в Москве около 7 августа, что совпадает с указанием Клемана в Летописи, основанным на помете в черновой рукописи «Дневника лишнего человека» (*ГПБ*, ф. 795, № 2). Из письма В. П. Тургеневой от 1 марта 1839 г. явствует, что в первоначальные планы Тургенева входила поездка с Демидовым во Францию под предлогом лечения от болезни сердца, которая не состоялась из-за запрета матери, писавшей: «Вчера получила я письмо твое, писанное от 3(15) февраля ⟨. . .⟩ Твоя болезнь ужасно меня беспокоит. Ты просишь у меня позволения ехать в Париж на 6-недельные настающие вакации, и ехать с Демидовым.— Признаюсь, мне была неприятна и прежде ваша поездка по Германии, и ежели бы ты где-нибудь дождался моего письма, которые мне по сих пор возвращают, то увидел бы, как я не была довольна таким товариществом».

Анна Яковлевна Шварц, в замужестве Тургенева (ум. 1872), камеристка В. П. Тургеневой. Н. С. Тургенев сблизился с ней, а затем женился против воли матери, что осложнило их отношения, так как Варвара Петровна не признавала женитьбы старшего сына и на долгое время лишила его материальной поддержки (см.: *Т, ПСС и П, Письма*, т. II, с. 692; *Житова*, с. 35, 54—55). Известны 5 писем Тургенева к А. Я. Тургеневой 1852—1870 гг.

(1-й раз в Телегине.)

Телегино — деревня в 30 верстах от Спасского (ныне территория Залегощенского района Орловской области), в окрестностях которой Тургенев любил охотиться (см.: Чернов Н. Орловские литературные места. Тула, 1970, с. 95—96). Телегинское болото упоминается в наброске «Реформатор и русский немец» (см. наст. изд., т. 3, с. 363).

На зиму еду в Петербург.

Из письма Тургенева к Т. Н. Грановскому от 4(16) декабря 1839 г. можно заключить, что он приехал в Петербург в конце ноября и поселился на Гагаринской улице, у Пустого рынка, в доме Ефремовой, № 11 (ныне улица Фурманова, 12) — см. об этом в статье Л. Н. Назаровой в кн: Литературные памятные места Ленинграда. Л., 1976, с. 351. Он сразу же вошел в круг своих прежних знакомств, сообщает о жизни и занятиях П. А. Плетнева, Н. В. Гоголя, В. А. Жуковского, А. В. Никитенко, Ф. А. Кони, В. Ф. Одоевского и др. К этому времени относятся и его две встречи с Лермонтовым (см.: наст. том, с. 71).

1840

В январе отъезд с Кривцовым в Италию.

Второй отъезд Тургенева за границу состоялся после 14(26) января — дата, которой помечено последнее предотъездное письмо его к А. В. Никитенко. Письма этого периода к Н. В. Станкевичу, А. П. Ефремову, Т. Н. Грановскому, М. А. Бакунину достаточно полно рисуют события заграничной жизни Тургенева и его настроения того времени. В одном из них — 27, 28, 29 августа (8, 9, 10 сентября) он признавался Бакунину и Ефремову: «Как для меня значителен 40-й год! Как много я пережил в 9 месяцев!» Павел Иванович Кривцов (1805—1844), брат декабриста С. И. Кривцова, старший секретарь русской миссии в Риме, с 1840 г. занимал должность «начальника над русскими художниками», посылавшимися Академией художеств за границу (см.: *СПб Вед*, 1840, № 86). Характеристика Кривцова дана Тургеневым в письме к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову от 27, 28, 29 августа (8, 9, 10 сентября) 1840 г.: «Толстый человек, секретарь посольства, пробивший посвоему себе дорогу, человек рассудка — и желудка, попавший в милость, поверхностно насмешливый, хранящий как последнюю святыню — сентиментальное поклонение Шиллеру, презирающий философию и честолюбивый — впрочем, добрый, родной (Кривцов). Человек, легко примиряющийся с любым разрешением сомнений, но упрямый по слабости, профан в художестве». В свою очередь, Кривцов сообщил о поездке с Тургеневым в письме к брату, Н. И. Кривцову 14(26) января 1840 г.: «Я покинул Петербург в обществе Ивана Тургенева, который едет со мной в Рим, чтобы провести там месяц, затем он попутешествует немного по Италии и вернется в Берлин для окончания своих занятий. Это юноша ученый и умный — но настоящий Ленский, студент Геттингенский» (Г е р ш е н з о н М. О. Образы прошлого. М., 1912, с. 143). В. П. Тургенева выразила крайнее недовольство поездкой сына: «Я отпустила тебя в Петербург и курсы твои кончить, и с братом жить.— Тебе стало скучно жить с братом, курсы ты в Петербурге не хотел кончить, уверяя меня, что у тебя книг нету — как будто кроме тебя в Петербурге уже никто не держит экзамену в магистры. То у тебя сделался аневризм. Я думаю, просто тебе соскучилось и захотелось в Италию, к чему тут вмешался Кривцов и на что ты ему был нужен, этого я уже не понимаю» (16(28) июня 1840 г.). «Отец бы потребовал у тебя строгого отчета твоих занятий и деяний, при отце бы и Кривцов не посмел бы — не приберу слова — (подманить). Я, право, не понимаю, что Кривцов-то тут, почему? К чему? На что он тут вмешался? Все это глупо вышло» (25 июля 1840 г.).

Рим. Неаполь. Ховрины. Шушу. Марков. Станкевич. Брыкчинский. Ефремов.

Из Москвы Тургенев отправился в Вену, задержался там на 10 дней, в начале февраля приехал в Рим, где оставался до 12(24) апреля, а с 13(25) или 14(26) апреля около 10 дней провел в Неаполе. В Риме он, по собственному признанию в письме к Грановскому от 18(30) мая, «каждый вечер» бывал в доме подполковника Николая Васильевича Ховрина и его жены Марии Дмитриевны, рожд. Лужиной (1801—1877), где часто собирался кружок русской молодежи, в том числе художник А. Т. Марков, польский пианист Брингинский (Брыкчинский) и А. П. Ефремов, с которым Тургенев совершил поездку в Неаполь (см. об этом: *Станкевич, Переписка*, с. 692, 708, 704; наст. изд., т. 1, с. 543; том 5, с. 364). Предметом их общего увлечения была старшая дочь Ховриных Шушу — Александра Николаевна (в замужестве Бахметева, 1823—1901), впоследствии детская писательница (см. том 5, с. 540). В. П. Тургенева из писем сына, вероятно, составила несколько преувеличенное представление о его отношениях с А. Н. Ховриной и в письме от 31 августа (12 сентября) 1840 г. сообщала некоторые подробности о семействе М. Д. Ховриной, отговаривая сына от возможных матримониальных планов: «Дочь такой матери может быть хорошо учена, невинна, умна, но! — она не будет помнить правилы матери, потому что у матери правил никаких нету ⟨. . .⟩ Она не будет уметь умереть для мужа и пользы детей.— Она не будет друг мужу, и после его смерти не уметь будет кончить начатое отцом воспитание ⟨. . .⟩ А эти поетки... Оне мне... Ох! Выйдет Шаховская. Уморят и умрут — и детей оставят своих и чужих сирых». В. П. Тургенева упоминает и младшую сестру Шушу — Лидию: «Да подумала, что это за глупости ты вздумал, предупреждал сестру меньшую, что старшая в тебя влюблена. Что за самолюбие — и потом, зачем унижать самолюбие других...» (там же).

Летом в Берлине. Смерть Станкевича. Знакомство с Бакуниным. Его сестра. Вердер. Житье в Mittelstrasse, 60. Kant.

Тургенев около 22 апреля (4 мая) выехал из Неаполя, 26 апреля (8 мая) писал Станкевичу из Генуи, 5(17) мая — Ефремову из Франкфурта: «Что я пережил за эти 13 дней? Где не был? В Ливорно, в Пизе, в Генуе; проехал все королевство Сардинское, видел статую С. Карла Борромейского, ездил по Лаго Маджиоре, в санках на св. Готард — чёрт бы его побрал,— был, кажется, в Люцерне, в Базеле, в Келе, в Маннгейме, в Майнце». 18(30) мая — Грановскому: «Я в Берлине восьмой день, любезный Грановский, уже огляделся и немного обжился ⟨. . .⟩ Я приехал сюда, почти не останавливаясь, из Неаполя (в 15 дней), и так велико во мне было стремление вернуться в Берлин,— что я покинул Италию без большого сожаления».

О смерти Станкевича его известил А. П. Ефремов письмом из Нови от 27 июня н. ст.: «Иван Сергеевич! Немного собравшись с духом, спешу уведомить вас о несчастье, случившемся со всеми нами. В Нови, городке миль 40 от Генуи, по дороге в Милан, в ночь с 24 на 25-е умер Станкевич ⟨. . .⟩ Теперь хлопочу, чтобы приготовить все для перевоза его тела в Россию». Пересылая это письмо Грановскому, Тергенев писал 4(16) июля: «Нас постигло великое несчастие, Грановский. Едва могу я собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в которого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой». Мысли и чувства, вызванные этой

смертью, были развиты позднее в ⟨Воспоминаниях о Станкевиче⟩ (см. наст. изд., т. 5, с. 360—366).

Знакомство Тургенева с Михаилом Александровичем Бакуниным (1814—1876) состоялось в июле 1840 г. и скоро перешло в пылкую романтическую дружбу, но затем их пути разошлись, так как Тургенев не разделял анархических увлечений Бакунина. В дальнейшем они несколько раз встречались, Тургенев оказывал своему бывшему другу материальную помощь. Некоторые черты Бакунина отражены в образе Рудина (см. наст. изд., т. 5, с. 475). Известны 4 письма Тургенева к Бакунину (1840—1862) и 7 писем Бакунина к Тургеневу. Подробнее об отношениях Тургенева и Бакунина см.: *Корнилов*, *Годы странствий*; Лемке М. К. Очерки освободительного движения 60-х годов. 2-е изд. СПб., 1908; *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. I, с. 649. Расцвет их дружбы относится к лету 1840 г., когда они жили в Берлине на одной квартире по Миттельштрассе, 60 и вместе изучали немецкую философию под руководством профессора Карла Вердера, который давал Тургеневу частные уроки и стал его близким другом и советчиком: «„Nur seine Grenze erkennen“,— гов⟨орит⟩ Вердер. Кстати, он мне дает уроки. Дело, слава богу, идет на лад ⟨. . .⟩ Мне Вердер советовал читать недавно вышедшие сочинения Лудвига Achim v⟨on⟩ Arnim, он уверяет меня, что нигде средние века не представлены так живо, как в его романе „Die Kronenwächter“» (письмо Грановскому от 18(30) мая 1840 г.). Кант в этой записи мог быть упомянут в связи с тем, что занятия с Вердером впервые после неудовлетворительных лекций профессора Фишера познакомили Тургенева с кантовской философией. Однако в этот период в кругу его философских интересов был преимущественно Гегель, которым с увлечением занимались ученики Вердера (см. также наст. том, с. 454). Сестра Бакунина Варвара Александровна Дьякова (р. 1812), близкий друг Станкевича; провела с ним последние дни его жизни в Италии, затем переехала в Берлин, где у нее бывал Тургенев (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, Т. I, с. 666). Письма Тургенева этого времени рисуют возвышенно-романтические настроения берлинского кружка (см. письма к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову от 27, 28, 29 августа (8, 9, 10 сентября) 1840 г.). В. А. Дьякова писала сестрам 3(15) декабря 1840 г.: «Еще одно знакомство с одним русским студентом, г-ном Тургеневым ⟨. . .⟩ чистая, светлая, нежная душа, мне кажется, что уже я много, много лет с ним знакома — они с Мишей каждый вечер ходят ко мне» (*Корнилов*, *Годы странствий*, с. 43). В. А. Дьяковой 13(25) декабря Тургенев подарил составленный им самим список 8 стихотворений Лермонтова из сборника «Стихотворения М. Лермонтова» (1840), который ныне хранится в архиве Бакуниных в рукописном отделе *ИРЛИ* (см.: Назарова Л. Н. Тургенев и Лермонтов.— В сб.: Лермонтов и литература народов Советского Союза. Ереван, 1974, с. 131).

Миллер. Бригеман.

Герман Мюллер-Штрюбинг (Müller-Strübing, 1812—1893), немецкий ученый-филолог и археолог, участник революционного движения в Германии, в 1835—1840 гг. отбывал заключение в крепости, затем жил в Берлине, где сблизился с русским студенческим кружком, бывал у Бакуниных. В 1848 г. переехал в Париж, в 1852 г.— в Лондон. В Париже был близок к Герцену, Жорж Санд, Виардо и Тургеневу (см.: *Герцен*, т. 23, с. 8). Имя Мюллер-Штрюбинга часто упоминается в письмах Тургенева к П. Виардо 1847—1848 гг.

Бакунин упомянул Мюллера и Бригемана в письме к родным от 20 января (4 февраля) 1842 г.: «У меня здесь есть маленький круг знакомых, которых я вижу всякий день. После отъезда Фролова, с которым я очень сблизился, он состоит преимущественно из немцев, с которыми мы часто по вечерам читаем Шекспира. Тургенев хорошо знает их — это Мюллер, Брюгеман и Менцер» (*Корнилов*, *Годы странствий*, с. 109—110).

Поездка в Мариенбад ⟨. . .⟩ *Погодин*.

Мариенбад (ныне Марианские Лазни, ЧССР) — курорт с лечебными водами, в то время еще довольно молодой и не столь известный, как модный Карлсбад, приобрел в 1830-х — 40-х гг. значительную популярность среди русских. Посещения Мариенбада выдающимися деятелями русской культуры подробно освещены в кн.: Флоровский А. В. Русские в Марианских Лазнях. Культурно-исторические справки. Прага, 1947. Несколько лет центром русского кружка в Мариенбаде был Михаил Петрович Погодин (1800—1875), академик, профессор истории Московского университета, писатель, издатель журнала «Москвитянин» (1840—1855), в котором он предлагал участвовать и Тургеневу, от чего тот отказался из-за расхождения со славянофильским направлением журнала. В одном из двух сохранившихся писем Тургенева к Погодину — от 4(16) ноября 1851 г.— Тургенев называет себя «старинным знакомым» Погодина. Это опровергает свидетельство Барсукова о том, что Тургенев познакомился с Погодиным 9 декабря 1850 г., т. е. менее чем за год (*Барсуков*, *Погодин*, кн. 11, с. 108). Запись в Мемориале относит знакомство с Погодиным к 1840 г. Однако и это указание ошибочно. Согласно мариенбадским «Курлистам», Погодин впервые приехал на этот курорт с женой 9—10 июля 1839 г. и пробыл там до 8 августа в обществе Н. В. Гоголя и известного врача Иноземцева. «Мариенбад — настоящее врачебное заведение,— писал он,— видно, что люди приезжают сюда лечиться, все вообще умеренны и проводят время, не теряя своей цели из виду» (там же, с. 108). В своем дневнике он посвятил Мариенбаду целый очерк и в последующие приезды — летом 1842 г. и 1846 г.— завел там, по собственному выражению, «русские собрания» (письмо к С. П. Шевыреву 1846 г.). Пребывание Погодина в Мариенбаде в 1840 г. нигде не зафиксировано. Первый приезд Тургенева в Мариенбад подтвержден «Курлистом», где под 19 августа 1840 г. записано, что «Herr Ivan Turgéneff, Candidat der Philosophie aus St. Petersburg» остановился в отеле «Гамбург» и уехал 12(24) сентября в Лейпциг и Дрезден. Таким образом, его знакомство с Погодиным могло состояться только летом 1842 г., когда они были в Мариенбаде одновременно: согласно «Курлистам», Тургенев приехал 19 августа 1842 г., остановился в отеле «Зеленого креста» и уехал в Дрезден 18(30) сентября. Однако в собственном письме Тургенева к Бакунину и Ефремову от 18(30) сентября сообщается, что он прибыл в Дрезден «третьего дня».

Почека.— Бритый малоросс.

Яков Иванович Почека (1813 — после 1862), из дворян Нежинского уезда, в 1830—36 гг. учился в Московском университете, входил в кружок Станкевича, окончил действительным студентом. Привлекался к дознанию по сунгуровскому делу, активный участник так называемой «маловской истории», упоминался в числе лиц, прикосновенных к «пению противоправительственных песен», за что были арестованы Герцен и Огарев (см.: Насонкина Л. И. Московский университет после восстания декабристов. М.: Изд-во

МГУ, 1972). Почека замешан в трагической истории самоубийства дочери музыканта Эмилии Гебель в Москве в июне 1833 г., в известной мере послужившей материалом для повести «Несчастная» (см. наст. изд., т. 8, с. 454). Станкевич в письме к Я. М. Неверову подробно описал жизнь и смерть Эмилии Гебель и убежденно доказывал непричастность Почеки к ее гибели. По характеристике П. В. Анненкова, это был «добродушнейший молодой человек с некоторым оттенком неподдельной малороссийской наивности, с наклонностью к чувствительности и ленивому созерцанию жизни, какое часто встречается у его земляков. Он не кончил университетского курса и постоянно возбуждал участие Станкевича, который поддерживал в нем искры умственной энергии до тех пор, пока товарищ совсем не пропал у него из вида» (*Анненков*, с. 389—390). История Почеки и Гебель упоминается также в письмах А. И. Герцена и Н. П. Огарева (см.: *Гол Мин*, 1919, № 1-4, с. 65—67; *Лит Насл*, т. 56, с. 432—433). Имя Почеки не случайно поставлено в Мемориале рядом с Погодиным. В 1842 году Тургенев встретил их в Мариенбаде как старых знакомых и, судя по всему, они общались все эти недели. Погодин издавна покровительствовал Почеке. Когда тот поступал в 1830 году в университет, адъюнкт Погодин дал за него поручительство (*ЦГА* Москвы, ф. 418, оп. 100, ед. хр. 146).

С Почекой в Мариенбадском отеле «Гамбург» поселился приехавший с ним ротмистр Константин Требиньский, из Золотоноши. В Мемориале он назван «бритым малороссом». М. П. Погодин жил в отеле «Дрезден» («Marienbader Curliste», 1842, № 54).

Страшная болезнь (санглот) в Дрездене. Hedenus.

Болезнь, от которой Тургенев лечился в Дрездне, началась, повидимому, еще в Берлине, так как во втором письме к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову из Мариенбада от 3, 8(15, 20) сентября 1840 г. о ней упоминается как об известном им факте. В Дрездене здоровье Тургенева значительно ухудшилось, хотя свою болезнь и лечивших его докторов он продолжал описывать в шутливо-иронических тонах (см. письмо от 18(30) сентября 1840 г., а также ответы А. П. Ефремова — *Рус Мысль*, 1915, № 12, с. 115—120; *Рус Ст*, 1883, № 11). Советы доктора Геденуса, вероятно, помогли излечению, так как впоследствии Тургенев очень доверял ему: «Поеду в Дрезден посоветоваться со старинным моим приятелем д-ром Геденусом, и что он мне прикажет, то я и исполню» (письмо к Д. Я. и Е. Я. Колбасиным от 18(30) апреля 1857 г.).

1841

В марте Ständchen Вердеру. Bettina.

Окончание лекций Вердера в Берлинском университете его студенты отметили прощальной серенадой. Она упомянута Тургеневым в «Письмах из Берлина» от 1 марта 1847 г.: «Помните ли восторженные описания лекций Вердера, ночной серенады под его окнами, его речей, студенческих слез и криков?» (наст. изд., т. 1, с. 291). Эта серенада и ответная речь Вердера описаны М. Н. Катковым в очерке «Берлинские повости», где они отнесены к 9(21) мая 1841 г. (см.: *Отеч Зап*, 1841, № 6, «Смесь», с. 111 — 114). М. А. Бакунин в письме к сестре Татьяне от 20 января — 4 февраля 1842 г. просит напомнить Тургеневу «окончание лекций Вердера, Ständchen, последнюю лекцию,— знакомство с Беттиною,— скажи ему, что это время уже никогда не возратится» (*Корнилов, Годы странствий*, с. 79—80). Bettina — Елизавета фон Арним, рожд. Брентано (1785—

1859), немецкая писательница, друг Гёте, известная своей перепиской с ним. Тургенев познакомился с Беттиной в 1838 г. в период своего студенчества в Берлине. В 1840 г. он часто бывал у нее вместе с Бакуниным, который перевел на русский язык отрывки из ее «Переписки Гёте с ребенком» (Сын отечества, 1838, т. 2, с. 55—90). Позднее Бакунин сообщал сестре, что Беттина расспрашивала о Тургеневе и «велела ему сказать, что если он напишет к ней, то она будет отвечать ему» (*Корнилов, Годы странствий*, с. 110—111). Сохранился один черновик письма Тургенева к Беттине фон Арним натурфилософского содержания, относящийся к концу 1840 или началу 1841 г.— времени, когда они с Бакуниным часто посещали писательницу и, как все студенты, «воспламенялись от Беттины» (наст. изд., т. 1, с. 314). Немецкое издание «Дневника» Беттины фон Арним 1837 года издания было куплено Тургеневым в Берлине в 1840 г. Она упоминается в «Записке о Станкевиче», в рассказе «Татьяна Борисовна и ее племянник», в «Письмах из Берлина», «Рудине» (см.: *Т, ПСС и П, Письма*, т. I, с. 648).

Отъезд весной через Любек.— Еду в деревню. На дороге заезжаю к Бакуниным.— Татьяна.

М. А. Бакунин писал домой 3(15) мая 1841 г.: «Тургенев оставляет нас и возвращается в Россию. Он едет отсюда в понедельник, 17-го числа, и через две с половиной недели будет у вас в Премухине» (*Корнилов, Годы странствий*, с. 75). В Петербург Тургенев прибыл на пароходе «Александра» 21 мая (2 июня) 1841 г. (см.: *СПб Вед*, 1841, № 114, 25 мая, а также помету на черновом автографе «Дневника лишнего человека» — *ГПБ*, ф. 795, № 20), но лето провел в Москве и Спасском, а в родовое имение Бакуниных Премухино приехал только осенью и пробыл там с 10(22) до 16(28) октября (см.: *Корнилов, Годы странствий*, с. 75). Там он познакомился с владельцем Премухина Александром Михайловичем Бакуниным (1768—1854), его женой Варварой Александровной, рожд. Муравьевой (1792—1864), их сыновьями Николаем (1818—1901), Павлом (1820—1900), Александром (1821—1908), Алексеем (1823—1882) и дочерьми Татьяной (1815—1871) и Александрой, в замужестве Вульф (1816—1882). Об атмосфере в доме Бакуниных см. наст. изд., т. 1, с. 450. Сблизившись с семьей Бакуниных, Тургенев пережил краткое, но сильное увлечение Татьяной Бакуниной. История их отношений освещена в работах: Бродский Н. Л. «Премухинский роман» в жизни и творчестве Тургенева.— В кн.: *Центрархив, Документы*, вып. 2, с. 107—121; Крестова Л. В. Татьяна Бакунина и Тургенев.— В кн.: *Т и его время*, с. 31—50. Сохранились 3 письма Тургенева к Т. А. Бакуниной (1841—1842) и 3 письма Бакуниной к Тургеневу. Об отражении этого романа в творчестве Тургенева см.: *Т, ПСС и П, Письма*, т. 1, с. 650 и наст. изд., т. 1, с. 450, т. 5, с. 394.

Авдотья Ерм⟨олаевна⟩.

Авдотья Ермолаевна Иванова, в замужестве Калугина — швея, служившая по найму в доме В. П. Тургеневой летом 1841 г., мать дочери писателя Полины (см.: Б⟨изюки⟩н Ф. Из воспоминаний о селе Спасском-Лутовинове.— *Рус Вестн*, 1885, № 1. с. 355). 18(30) сентября 1850 г. Тургенев писал Полине Виардо: «И раз мы коснулись такой темы, я расскажу вам в двух словах о моем деле с матерью девочки. Я был молод... это было девять лет назад — я скучал в деревне и обратил внимание на довольно хорошенькую швею, нанятую моей матерью,— я ей шепнул два слова — она пришла ко мне — я дал ей денег — а затем уехал — вот и все — как в сказке о

волке. Впоследствии эта женщина жила как могла — остальное вы знаете. Все, что я могу делать для нее— это улучшать ее материальное положение — это мой долг и я буду исполнять его — но даже увидеться с ней для меня было бы невозможно». Сохранилось письмо А. Я. Калугиной к Тургеневу от 9(21) сентября 1872 г., касающееся получения ее пенсии и желания перебраться на житье в деревню. Оно начинается так: «Пожелав вам доброго здоровья, целую ваши ручки. Желала бы я знать об вашем здоровье и дочери моей Полиньки с мужем» (*ГПБ*, ф. 795, № 48).

Б е й е р ы.

Семья Бееров (Беэры) — владельцы села Шашкино Мценского уезда и имения Поповка Тверской губернии, близ бакунинского Премухина. Знакомство Тургенева с Беерами относится к 1830-м годам. Существовали, кроме того, давние семейно-соседские связи. В Московском университете одновременно с Тургеневым учился старший из братьев Беер, Алексей Андреевич (1813—1867), участник кружка Станкевича. Отсюда близость Станкевича к этому семейству. Наиболее расположен был Тургенев к младшему — Константину Бееру (1817—1847), отличавшемуся страстью к охоте. С сестрами Беер — Александрой Андреевной (1812—1847) и Натальей Андреевной (1814—1887) Тургенев сблизился и вел переписку в 1840-х годах. Впоследствии в Шашкино на протяжении десятилетий, как видно из материалов семейного архива Бееров, существовал своеобразный культ Тургенева-писателя (см.: Аннотированный указатель к Тургеневскому собранию Н. М. Чернова — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 430, с. 7—8; Н а з а р о в а Л. Н. Тургенев и его современники.— В сб.: И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества/Под ред. акад. М. П. Алексеева. Л., 1982, с. 135—139).

Поселяюсь к зиме в Москву с маменькой.

Осенью 1841 г. В. П. Тургенева сняла особняк на Остоженке, где и поселилась с сыном и воспитанницами. Уже в августе она пишет ему в Москву из Спасского, давая поручения по отделке дома, а в письме от 26 декабря 1848 г. упрекает сына в том, что он провел рождество не в семье, а с Бакуниными.

1842

В мае родится Полинька.

Внебрачная дочь писателя от А. Е. Ивановой Полина (Пелагея) Ивановна, в замужестве Брюэр (1842—1919), до восьми лет жила в Спасском на барском дворе с прачками, исполняла тяжелую работу и подвергалась насмешкам дворовых и самой барыни. Узнав об этом, Тургенев отправил дочь в Париж в семью Виардо; в 1857 г. она получила фамилию Тургенева, т. е. была признана его законной дочерью по французским законам. В 1860—1863 гг. Тургенев жил в Париже с дочерью и гувернанткой. В 1865 г. П. И. Тургенева вышла замуж за фабриканта Гастона Брюэра, в 1872 г. у них родилась дочь Жанна, в 1875 г.— сын Жорж Альбер. В 1882 г. после разорения Гастона Брюэра Полина с детьми вынуждена была скрываться от преследований мужа. Чтобы поддержать дочь материально, Тургенев продал свое собрание картин, но после его смерти П. Тургенева-Брюэр оказалась отстраненной от наследования вследствие неудачно составленного завещания. Известны 342 письма Тургенева к дочери (1852—1883) и два письма П. Тургеневой-Брюэр к отцу (подробнее о ней см.: Б р о н ь Т. И. Дочь Тургенева Полина Тургенева-Брюэр.— *Т сб*, вып. 2, с. 324—338).

Аксаков etc. ⟨. . .⟩ Ховрина, Блохина, Елагина, Самарина etc. etc.

В 1841—42 гг. Тургенев часто появлялся в самых разных московских кружках и салонах. В 1841 г. в письме от 26 сентября В. П. Тургенева послала сыну «Мнение насчет знакомых, у кого ты будешь». В этом реестре содержатся характеристики семейств и лиц, которых должен был посетить ее сын в Москве. Потребность к серьезному духовному общению в известном смысле удовлетворялась в салоне М. Д. Ховриной, у которой в эти годы часто бывали литературные вечера (*Рус Арх*, 1880, № 2, с. 308—310). Супруги Елагины Алексей Александрович (ум. 1846 г.) и Авдотья Петровна, рожд. Юшкова, в 1-м браке Киреевская (1789—1877), собирали вокруг себя писателей и общественных деятелей славянофильского направления. «Елагины жили в собственном доме за церковью Трех святителей у Красных ворот ⟨. . .⟩ Теперь нет уже никого в живых из этих людей, собиравшихся (обыкновенно по воскресеньям) в этом гостеприимном и достопамятном доме. Душою этих собраний были Хомяков ⟨. . .⟩ И. В. и П. В. Киреевские, К. С. Аксаков, С. П. Шевырев» (*Рус Арх*, 1884, т. 2, с. 335—336). 4(16) февраля 1843 г. Тургенев шутя писал А. А. Бакунину: «Всем москвичам (исключая Грановского и Елагиных) скажите, что в них ни на грош нет толку». У Елагиных и Ховриных часто бывали названные в Мемориале видные деятели славянофильства — писатель и ученый Константин Сергеевич Аксаков (1817—1860) и публицист и общественный деятель Юрий Федорович Самарин (1819—1876). Известна записка Ю. Ф. Самарина к К. С. Аксакову с приглашением на вечер к Ховриным в апреле 1843 г.: «Очень желают, чтобы ты приехал, будет Тургенев молодой, тоже желает тебя видеть» (*Рус Арх*, 1880, № 2, с. 309). С К. С. Аксаковым Тургенев познакомился в Москве в начале 1840-х гг. и поддерживал с ним приятельские отношения, но постоянно вступал в спор по основным вопросам общественной жизни, философии и литературы. В произведениях Тургенева встречаются памфлетные изображения славянофилов (поэма «Помещик», рассказы «Однодворец Овсянников», «Хорь и Калиныч»). Известны 10 писем Тургенева к К. С. Аксакову и 8 писем Аксакова к Тургеневу. С Ю. Ф. Самариным Тургенев был знаком с первой половины 1830-х годов, когда оба они учились в Москве, где отношения их не были особенно близкими. Судя по записи в Мемориале, в 1842 г. Тургенев сблизился со всей семьей Самариных.

Я — лев.

Тургенев в начале 1840-х годов, видимо, стремился приобрести в свете репутацию «льва». Тип модного «льва», пользовавшегося успехом и всеобщим вниманием, описан В. А. Соллогубом в повести «Лев» (1841), И. И. Панаевым в романе «Львы в провинции» (1852) и др. Подробнее см.: наст. изд., т. 1, с. 481—482.

Я хочу быть профессором философии! (Погорельский, Строганов.) Экзамен на магистра.— Еду держать его в Петербург за отказом Давыдова. Выдерживаю. (Грефф, Фишер.)

Занятия в берлинском университете, общение с философскими кружками в Москве и советы матери привели Тургенева к намерению «избрать ученую карьеру» (О с т р о в с к а я Н. А. Воспоминания о Тургеневе.— *Т сб (Пиксанов)*, с. 97). Он и его родственники, вероятно, обратились при этом за помощью или советом к Платону Николаевичу Погорельскому, который был учителем математики и гувернером в доме Тургеневых в начале 1830-х гг. (см. письма к

Н. Н. Тургеневу 1831 г.). Тепло вспоминал о нем Тургенев и в «Автобиографии» (см. наст. том, с. 203). С просьбой о разрешении на сдачу магистерских экзаменов Тургенев обратился и к графу Сергею Григорьевичу Строганову (1794—1882), попечителю московского учебного округа в 1835—1847 гг., и к Ивану Ивановичу Давыдову (1794—1863), декану Отделения словесных наук философского факультета московского университета, но получил отказ их обоих (см.: *Гутьяр*, с. 56—58). 26 марта (7 апреля) Тургенев выехал из Москвы в Петербург. 31 марта (12 апреля) он подал прошение на имя ректора петербургского университета П. А. Плетнева о допуске к испытаниям на степень магистра философии. Экзамены сдавались с 8(20) апреля по 5(17) мая, причем ответы были признаны «хорошими» по латинской словесности и «очень хорошими» по греческой словесности и философии. По этим предметам экзаменовали заслуженный профессор и академик Федор Богданович Греффе (1780—1851) и А. А. Фишер, преподававшие и в годы учения Тургенева в Петербургском университете (см.: *Т сб*, вып. 1, с. 200—201). Однако для получения степени магистра требовалась еще и диссертация, которая так и не была написана.

В деревне.— Охота весной в Комарове с Бейером. Бакунина Татьяна в Ш а ш к и н е.

После сдачи магистерских экзаменов Тургенев 14(26) мая уехал из Петербурга в Спасское. Деревня Комарово находилась в 25—30 верстах от Спасского и в 5 верстах от имения Бееров Шашкина. Комаровские болота близ источника «Малиновая вода» на реке Исте (ныне Арсеньевский р-н Тульской обл.) служили охотничьими угодьями. Тургенев обычно охотился в этих местах с Константином Беером (см. выше) (см. также: К о р н е е в А. Зеленое диво. Тула. 1981, с. 108—109). Алексей и Татьяна Бакунины переехали в Шашкино в конце мая. 30 апреля (12 мая) Тургенев писал Алексею Бакунину: «Скажите Татьяне Александровне, что я наперед воображаю, как я буду ездить в Шашкино верхом». Он посетил Шашкино 4(16) июня (см.: *Корнилов, Годы странствий*, с. 140, 142). К тому времени отношения Тургенева с Татьяной Бакуниной уже подошли к разрыву. Перед отъездом в Петербург в двадцатых числах марта ст.ст. он написал ей письмо, в котором положил конец их «половинчатому прошедшему».

Я опять уезжаю в Мариенбад ⟨. . .⟩ Бакунин ⟨. . .⟩ Гервег.

В Мариенбаде Тургенев провел более месяца. По сведениям «Курлиста», он остановился в отеле «Зеленого креста» 7(19) августа и выехал в Дрезден 18(30) сентября. Именно в это время он встретился с Почекой и Погодиным, которых знал по Московскому университету. В Германии Тургенев некоторое время жил вместе с четвертым из братьев Бакуниных Павлом Александровичем. В середине ноября М. А. Бакунин писал им обоим: «Ну, а вы что делаете? Что такое сделал Мюллер, что делает Гервег, что Вердер, Ефремыч — помнит ли меня еще Гервег?» (*Корнилов, Годы странствий*, с. 202). Здесь упомянут немецкий поэт-демократ Георг Гервег (Herwegh, 1817—1874), с которым Тургенев познакомился в 1842 г. О Тургеневе и Бакунине говорится в письме Гервега к жене от 11(23) ноября 1842 г. (H e r w e g h. Briefwechsel mit seiner Braut. Stutthart, 1906, S. 50). В 1840-х гг. Гервег был выслан из Германии и жил во Франции. В 1848 г. общался в Париже с Герценом и Тургеневым. Известны 5 записок Тургенева к супругам Гервегам этого периода. Имя его неоднократно упомянуто в черновой рукописи «Гамлета Щигров-

ского уезда» (наст. изд., т. 3, с. 249), в очерке «Наши послали!» воспроизведен эпизод из жизни Гервега 1848 г. (см. наст. том, с. 127).

Возвращаюсь сухим путем с Павлом Бакуниным. Болезнь. Знакомство с Языковой.

В 20-х числах ноября Тургенев и П. А. Бакунин выехали из Берлина и в начале декабря были в Петербурге, откуда Бакунин отправился в Премухино. 16(28) декабря Тургенев писал ему: «Милый Павел, я получил твое письмо и тотчас отвечаю. Я очень рад, что ты доехал благополучно и что все твои здоровы — поклонись им, пожалуйста, от меня. Мое здоровье поправилось — и я начинаю выезжать; был уже два раза у Л. П. Языковой — которую я, кажется, очень и очень полюблю». Елизавета Петровна Языкова, рожд. Ивашева (1805—1848), сестра декабриста В. П. Ивашева, жена П. М. Языкова, брата поэта, близкий друг М. А. Бакунина, которого она поддерживала в период его активной революционной деятельности в 1842—1843 гг. Языкова вместе с Тургеневым принимала участие в выплате долгов М. А. Бакунина (см.: *Корнилов. Годы странствий*, с. 174). О болезни сына В. П. Тургенева писала А. Е. Берсу 12(24) декабря 1842 г.: «Прошу Вас по старой дружбе навещать чаще — и никак не позволять оставлять Петербург, пока он совершенно выздоровеет и пока зима будет продолжаться ⟨. . .⟩ и надо всей моей любви к детям и желание поручить вашим стараниям Ивана, чтобы я решилась писать».

1843

Желание определиться на службу. Не удается ⟨. . .⟩ Определяюсь на службу. Даль.

7(19) апреля Тургенев подал прошение на имя министра внутренних дел Л. А. Перовского о поступлении на службу в Министерство внутренних дел. Для поступления туда без защиты магистерской диссертации требовалось высочайшее разрешение, которое было получено лишь 2(14) июня. 8(20) июня Тургенев был определен «для занятий по особенной канцелярии министра» и указом Правительствующего сената от 23 июля (10 августа) утвержден в чине коллежского секретаря. В этом чине он служил до 18(30) апреля 1845 г., когда вышел в отставку в звании «отставного коллежского секретаря». Его начальником по службе был Владимир Иванович Даль (1801—1872), писатель, этнограф, ученый диалектолог, автор «Толкового словаря живого великорусского языка». О служебной деятельности Тургенева и его общении с В. И. Далем см.: О к с м а н Ю. Г. И. С. Тургенев на службе в Министерстве внутренних дел.— Уч. зап. Саратов. гос. ун-та, т. 56, вып. филол. Саратов, 1957, с. 172—183; Г р о м о в В. А. Тургенев в «Записках» А. В. Головнина.— *Т сб*, вып. 3, с. 216—220.

Около святой недели издается «Параша» ⟨. . .⟩ Белинский.

Выходом в свет поэмы «Параша» в апреле 1843 г. Тургенев, по его собственным словам, «вступил на литературное поприще» (см. наст. изд., т. 1, с. 461—466; наст. том, с. 22, 24). 10(22) апреля Н. С. Тургенев переслал брату в Москву 6 экземпляров только что вышедшей книжки. С изданием «Параши» связано сближение Тургенева с В. Г. Белинским (1811—1848). Влияние идей Белинского он испытал, читая статьи критика 1835—1836 гг. и слушая рассказы о нем Станкевича и Бакунина. Личное их знакомство состоялось в конце 1842 г. Не исключено, что Белинский познакомился с «Парашей» в рукописи, а затем написал ободряющую рецензию в майской

книжке «Отечественных записок». Экземпляр книги передал Белинскому не сам автор, как он впоследствии рассказывал в «Литературных и житейских воспоминаниях», а его брат, написавший 17(29) апреля 1843 г.: «Белинскому я сам доставил экземпляр, но не застал его дома, а потому отдал его слуге, сказавши, что от г. Тургенева» (см.: Чернов Н. «Первая песенка поется зардевшись...». — Огонек, 1973, № 39, с. 11). Известны 6 писем Тургенева к Белинскому и 6 писем Белинского к Тургеневу.

Езжу в деревню. Возвращаюсь в Петербург. Павловск ⟨. . .⟩ *Панаева.*

В апреле Тургенев уехал на короткое время в Спасское, по пути останавливался в Москве, из Спасского ездил в Шашкино, чтобы повидаться с Бакуниными, в мае вернулся в Петербург и провел лето на даче в Павловске. Об этом он писал П. А. Бакунину около 8(20) июня 1843 г.: «Я живу в Павловском для большего уединения, гуляю, пью Крейцбрунн, ношу зеленый зонтик на глаза и пользуюсь сносным здоровьем». Авдотья Яковлевна Панаева, рожд. Григорьева, во 2-м браке Головачева (1819—1893), писательница, гражданская жена Н. А. Некрасова, в своих воспоминаниях отнесла знакомство с Тургеневым в Павловске к 1842 г. (см.: Панаева А. Воспоминания. 1829—1870. М.; Л., 1972, с. 94).

В ноябре знакомство с Полиной. Итальянская опера etc. etc. Pizzolato etc. etc.!

Виардо Мишель Фернанда Полина, рожд. Гарсиа (Viardot-Garcia, 1821—1910), дочь певцов Мануэля и Хоакины Гарсиа, певица, выступавшая на оперных сценах Европы с 1839 по 1861 г., музыкальный педагог и композитор, автор романсов (в том числе на слова русских поэтов) и трех оперетт на тексты Тургенева. Выступала в Петербурге и Москве в сезоны 1843/44, 1844/45, 1845/46, 1852/53 гг.

Отношения Тургенева с П. Виардо и их сорокалетняя переписка отражены в обширной литературе на разных языках. В настоящее время известно большое количество писем Тургенева к П. Виардо и ее мужу Луи Виардо (1800—1883) — французскому писателю, искусствоведу, историку, художественному критику. О гастролях П. Виардо в России и ее знакомстве с Тургеневым подробно см.: Измайлов Н. И. С. Тургенев и Полина Виардо. Вступит. статья к грампластинке: И. С. Тургенев. Обещаю вам писать каждый день. Литературно-музыкальная композиция по письмам писателя к П. Виардо. Изд. «Мелодия» М., [1968], а также: Розанов А. Полина Виардо-Гарсиа. Л., 1973 (здесь и ниже сведения, извлеченные из этой работы, приводятся без специальных ссылок). Супруги Виардо впервые прибыли в Петербург 14(26) октября 1843 г. и остановились в доме Демидова на углу Невского проспекта и Малой Садовой (ныне дом № 54 по Невскому пр., сохранился в перестроенном виде), где в то время существовали меблированные квартиры, сдававшиеся приезжим актерам. Первый спектакль с участием П. Виардо состоялся 22 октября (3 ноября). Это была опера Россини «Севильский цирюльник», где она исполняла партию Розины. Вместе с ней пели Рубини (граф Альмавива), Тамбурини (Фигаро), О. А. Петров (Дон Базилио) и др. (см.: *Сев пчела*, 1843, № 235 и 238, 20 и 23 октября). В том же исполнении «Севильский цирюльник» шел 25, 27 и 29 октября. На одном из этих спектаклей присутствовал Тургенев. П. Виардо выступила также в операх Россини «Отелло» (Дездемона), Беллини «Сомнамбула» (Амина), Доницетти

«Лючия ди Ламмермур» (Лючия), Моцарта «Дон-Жуан» (Церлина) и др. О своих выступлениях на петербургской сцене певица сообщала в письме к Жорж Санд 18(30) ноября: «Вы знаете, что мой успех здесь так велик, как только вы могли бы желать для вашей Консуэло,— но чего вы не знаете — это, что он растет при каждом представлении и что я сама чувствую, какие успехи делаю каждый вечер 〈. . .〉 Когда я вышла на сцену в прошлый понедельник в „Цирюльнике", аплодисменты были так бурны и так продолжительны, что я несколько минут не могла начать. Я отблагодарила их во втором действии маленьким сюрпризом, от которого чуть не обрушился зал,— я им спела русскую народную песню — по-русски, разумеется. Никогда я не слышала такого шума» (Lettres inédites de George Sand et de Pauline Viardot, 1839—1849. Paris, 1959, p. 192—193). «Русская народная песня» — романс Алябьева «Соловей», который и после этого певица исполняла в концертных номерах, дававшихся после оперы. 28 октября (9 ноября) в доме поэта и преподавателя литературы А. А. Комарова Тургенев познакомился с Луи Виардо, а 1(13) ноября Комаров привел его в дом Демидова и представил певице. В конце жизни она так вспоминала этот визит: «Мне его представили со словами: это — молодой русский помещик, славный охотник и плохой поэт». Эта встреча навсегда осталась в памяти писателя, и он ежегодно о ней вспоминал в письмах к П. Виардо. 26, 28, 30 октября (7, 9, 11 ноября) 1850 г. он писал: «Сегодня ровно семь лет, как я встретил вашего мужа у майора Комарова; помните ли вы это смешное существо? В будущий вторник исполнится семь лет с тех пор, как я в первый раз был у вас». Тургенев сейчас же вошел в кружок ближайших почитателей певицы, который сосредоточился в доме Виельгорских, бывшем в то время важнейшим петербургским музыкальным центром. Кроме Тургенева в него входили братья Михаил и Матвей Юрьевичи Виельгорские, П. В. Зиновьев, С. А. Гедеонов, А. М. Гулевич и др. На встречах у П. Виардо или у Виельгорских Тургенев познакомился и с итальянским певцом Евгением Пиццолато, выступавшим в 1840-х — 50-х гг. на петербургской оперной сцене. Тургенев писал о нем П. Виардо 9(21) мая 1844 г.: «Особенно много болтал я с Pizzo. Какой это благородный милый малый, искренно привязанный к вам!»

1844

Первое расставание. Еду в Москву. 〈. . .〉 Возвращаюсь в мае.

В конце февраля 1844 г. супруги Виардо уехали из Петербурга за границу. 12(24) февраля Тургенев подал прошение об отпуске по болезни матери и по распоряжению министра внутренних дел Л. А. Перовского получил отпуск с 14(26) февраля на 28 дней, но возвратился лишь 5(17) мая, представив 17(29) мая рапорт директору департамента общих дел К. К. фон Полю и свидетельство о своей болезни за подписью московского обер-полицмейстера от 31 марта (12 апреля). О своем заболевании воспалением легких он писал К. С. Аксакову в конце апреля ст. ст. и П. Виардо 9(21) мая. В. П. Тургенева в письмах к М. М. Карповой от 31 марта (12 апреля) и 25 апреля (7 мая) также сообщала о серьезной и продолжительной болезни сына (см.: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 15, л. 13, 14). Тем не менее во время этого пребывания в Москве он часто посещал Самариных, Аксакова и Хovриных (см.: *Рус Арх*, 1880, № 2, с. 309; *ГПБ*, ф. 795, № 72; *ГЛМ*, ф. 17, № 2076).

Живу лето в Парголове.— Белинский у Лесного института. (Разговор.)

В Парголове под Петербургом Тургенев провел лето 1844 г. с июля по сентябрь. В это время он часто посещал Белинского, жившего неподалеку на даче Лесного института (ныне Лесотехническая академия), с которым вел беседы по общественным, философским и литературным вопросам, во многом определившие дальнейшее развитие молодого писателя. Работая над поэмой «Разговор», он советовался с Белинским и учел все его замечания (см. наст. изд., т. 1, с. 467—469).

Полина возвращается в октябре.— Опять dans le tourbillon... ⟨в круговороте⟩.

П. Виардо возвратилась в Петербург в 20-х числах сентября 1844 г. 9(21) октября она впервые в этом сезоне выступила в «Сомнамбуле», затем в «Любовном напитке», «Норме» и других операх с неизменным успехом.

Tolly, длинная собака, охота с Зинов⟨ьевым⟩ у Ладожск⟨ого⟩ озера.

Петр Васильевич Зиновьев (1812—1863), богатый помещик, камер-юнкер, чиновник министерства финансов, имел связи в литературных кругах и был страстным охотником. Тургенев был с ним в приятельских отношениях и пытался изобразить Зиновьева в рассказе «Реформатор и русский немец» (см. наст. изд., т. 3, с. 363, 520). Зиновьев познакомил Тургенева с Белинским, затем с Луи Виардо. В 1844 г. Луи Виардо, Тургенев и Зиновьев неоднократно охотились вместе. Об этом говорится в письме Тургенева к Луи Виардо от ноября 1843 — февраля 1844 г. и очерках Л. Виардо «Несколько охот в России» и «Еще об охотах в России» (*Т сб*, вып. 4, с. 110).

1845

Дядя меня рано увозит. Москва.

Дядя — Н. Н. Тургенев.

В начале 1845 г. Тургенев задумал новую поездку за границу, о которой сообщал А. А. Бакунину 9(21) января, и предполагал «съездить в Москву в конце февраля» — повидаться с матерью перед отъездом. 5(17) февраля он испросил разрешение директора департамента о двухмесячном отпуске по «внезапной болезни ⟨. . .⟩ матери» и 9(21) февраля получил разрешение на выезд в Москву. В этот приезд кроме обычных визитов он занимался и литературным трудом — начал статью (так и не завершенную) о напечатанных в «Москвитянине» (№ 1, 2—3) работах И. В. Киреевского «Обозрение современного состояния словесности» и «Обозрение современного состояния литературы», закончил поэму «Андрей», о чем писал Белинскому 8 марта (9 апреля). 3(15) апреля он послал на высочайшее имя прошение об увольнении от службы по слабости зрения, а 4(16) апреля — официальное письмо в департамент общих дел и отношение о болезни за подписью московского врача Дмитревского от 2(14) апреля. По распоряжению министра внутренних дел Тургенев был уволен от службы 18(30) апреля согласно прошению по болезни.

Концерты Полины в Москве.

11 апреля супруги Виардо прибыли в Москву, где певица дала три концерта — 17(29) апреля, 19 апреля (1 мая) и 21 апреля (3 мая) в зале Большого театра, прошедшие с большим успехом. В. П. Тургенева в письмах к М. М. Карповой иронически отзывалась о московских приготовлениях к приезду певицы (см.: *ИРЛИ*,

Р. I, оп. 29, № 15), но после ее концертов призналась: «Хорошо поет проклятая цыганка!» Получив разрешение об отставке, Тургенев около 25 апреля ст. ст. выехал в Петербург.

Отъезд в чужие краи.— Куртаенель. Жорж Санд.

В *СПб Вед* от 28 апреля (10 мая), 1(13) и 3(15) мая были даны обычные публикации об отъезде за границу Виардо, а затем Тургенева, который вскоре присоединился к ним в Париже. Возможно, что именно тогда состоялось его знакомство с французской писательницей Жорж Санд (George Sand, наст. имя — Аврора Дюдеван. 1804—1876), близким другом Виардо. Косвенные свидетельства этому приведены в кн.: Л а д а р и я М. Г. Живые ключи дружбы. (К вопросу о личных и творческих связях И. С. Тургенева и Ж. Санд). Сухуми, 1976, с. 7—8. Точную дату первой встречи Тургенева и Жорж Санд указал И. С. Зильберштейн: «Они познакомились в замке Куртавнель-ан-Бри, поместье Виардо, 7 июня 1845 г.» (S i l b e r s t e i n I. Du nouveau sur les rapports de George Sand avec Ivan Tourguéniev et la famille de Pauline Viardot.— Cahiers, 1979, № 3, Octobre, p. 144). Об отношениях Тургенева и Жорж Санд см. также: Z v i g u i l s k y A. Le triangle Tourguéniev — Sand— Viardot (там же, p. 145). Впоследствии, в 1870-х гг., Тургенев переписывался с Жорж Санд, а в 1845—1847 гг. состоялось, по-видимому, лишь несколько встреч. Виардо вскоре после возвращения уехали из Парижа на три недели в Ноан вместе с Жорж Санд и Шопеном. Июль они провели в незадолго до того приобретенном старинном замке Куртавнель времен Франциска I в 50 км от Парижа близ местечка Розэ в округе Бри, где их посетил Тургенев. В дальнейшем он не раз бывал в Куртавнеле, подолгу жил там и часто вспоминал о нем в письмах. «Нет места на земле, которое я любил бы так, как Куртавнель»,— писал он Луи Виардо 12(24) июня 1850 г.

Поездка в Пиренеи.

7(23) июля Тургенев выехал из Парижа в Бордо, где встретился с В. П. Боткиным и Н. М. Сатиным. Василий Петрович Боткин (1810—1869), литератор, в 1840-х гг. друг Белинского, впоследствии придерживался консервативных взглядов. В 1850-х гг. отношения Тургенева с Боткиным перешли в тесную дружбу. Известны 78 писем Тургенева к Боткину и 81 письмо Боткина к Тургеневу. Николай Михайлович Сатин (1814—1873) — поэт и переводчик, близкий к Герцену и Огареву. 21 июля (2 августа) Тургенев, Боткин и Сатин выехали из Бордо, проводили Сатина на воды в Бареж, 22 июля (3 августа) остановились в глубине Пиренеев в местечке Лоз, путешествовали до 29 июля (10 августа), затем Боткин поехал в Испанию, а Тургенев — в Париж (см. письмо Сатина Н. П. Огареву от 2(14) августа 1845 г.— *Рус мысль*, 1891, № 8, с. 15; Б о т к и н В. П. Письма об Испании. Л., 1976, с. 220). Тургенев намеревался написать путевые записки об этом путешествии, но ограничился лишь началом первого очерка — «Несколько дней в Пиренеях» (см. наст. изд., т. 1, с. 413, 559).

С а м о е с ч а с т л и в о е в р е м я м о е й ж и з н и. Возвращение к зиме. 19/31 декабря Templario — первый поцелуй.

Это было время расцвета любви Тургенева к П. Виардо. Возможно, что поездка в Пиренеи была совершена им не без влияния певицы, родом испанки. В Россию Тургенев вернулся в начале ноября ст. ст. П. Виардо уже 5(17) октября начала свой третий петербургский оперный сезон. 19(31) декабря она впервые исполнила партию Ревекки в опере немецкого композитора Отто Николаи

«Il Templario» («Тамплиер», «Храмовник»). По этому поводу критик журнала «Репертуар и Пантеон» заметил: «В „Темплиере“ ⟨. . .⟩ Ревекку пела Виардо, и из слабой партии и сама Виардо не могла ничего сделать».

1846

Отъезд Полины... Я уезжаю в деревню.— Там до октября ⟨. . .⟩ Возвращение к зиме в Петербург.— «Хорь и Калиныч» напис⟨ан⟩ в этом году.

П. Виардо вынуждена была прервать гастроли в Петербурге из-за внезапной болезни, заразившись коклюшем от своей маленькой дочери Луизы. Болезнь грозила полной потерей голоса. 2(14) февраля состоялся ее прощальный бенефис в опере «Сомнамбула», а 14(26) февраля вся семья выехала во Францию. Письмо Тургенева от конца апреля — начала мая ст. ст. 1846 г. свидетельствует о том, что певица не сразу отказалась от мысли снова петь в Петербурге, где ее друзья и почитатели готовили почву для ее возвращения, однако эти гастроли не возобновлялись. Считалось, что Тургенев выехал в Спасское в начале мая и занимался там окончательной отделкой очерка «Хорь и Калиныч» (*Клеман, Летопись*, с. 40). 7(19) мая писатель был уже в Москве (*Белинский*, т. 12, с. 276). Однако, по-видимому, Тургенев приезжал туда ненадолго уже из Спасского для свидания с Белинским, так как имеются свидетельства о том, что в деревню Тургенев приехал несколько раньше — в первой половине двадцатых чисел апреля (см. письмо А. А. Беер к Т. А. Бакуниной от 6(18) мая 1846 г.— В сб.: И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества/ Под ред. акад. М. П. Алексеева. Л., 1982, с. 135—136; см. также письмо П. Виардо к М. Ю. Виельгорскому от 10 апреля н. с. 1846 г.— Музыкальное наследство. М., 1968. Т. II, ч. 2, с. 27). В «Воспоминаниях о Белинском» писатель свидетельствует о своем намерении «оставить» литературу, но «успех этого очерка побудил ⟨. . .⟩ написать другие», и он возвратился к литературе (наст. том, с. 46). 21 октября (2 ноября) он писал П. Виардо: «Вот уже три дня, как я приехал в Петербург из деревни, где провел более пяти месяцев».

1847

Свидание в Берлине. Жизнь в Берлине. «Жидовка». Мюллер. Ланке.

В Берлине Тургенев встретился с П. Виардо, которая получила ангажемент в берлинской итальянской опере с 5 октября по 2 декабря н. ст. 1846 г. и в Королевском оперном театре с 1 января н. ст. О намерении быть ее слушателем в Берлине он писал в письме к супругам Виардо еще 8(20) ноября 1846 г. и подробно разбирал ее партии. В опере Ж. Галеви на текст Э. Скриба «Жидовка» П. Виардо исполняла партию Рахили, о которой Тургенев высказал свое мнение в письме от 28, 31 августа, 2 сентября (9, 12, 14 сентября) 1850 г.: «„Жидовка“, особенно музыка, выпавшая на долю Рахили, не то что малозначительна, но находится лишь возле истины и красоты. Вы имели большой успех, и тем не менее я уверен, что эта тяжелая и натянутая декламация должна была оставить у вас в душе большое утомление и большую пустоту. Можно сколько угодно говорить об учености, национальном колорите и т. д., божественной искры там нет. Это не бессмертно, как должна быть бессмертна всякая истинная

красота». Об успехе П. Виардо у берлинской публики он написал в «Письмах из Берлина». Здесь же он изложил свои новые впечатления от общественной жизни Берлина, куда вернулся после многолетнего перерыва (см. наст. изд., т. 1, с. 291—294, 521). 23 декабря 1847 г. (4 января 1848 г.) он напомнил певице о ее дебюте в «Жидовке»: «Итак, вы дебютировали „Жидовкой"? Одно это название „Жидовка" воскрешает передо мной массу образов и вызывает много воспоминаний. Вот г-н Kraus с его выдающимися верхними зубами, его хохотом и его пальцами свинцового цвета; m-r Lanz — такой медовый, такой сдержанный, так нежно тронутый своими собственными заслугами. Вот супруги Piffe-au Nid, толстый m-r Dalmatie, etc., etc.». В Берлине произошла встреча с общими друзьями Виардо и Тургенева Ланге (Ланке) и Германом Мюллером-Штрюбингом, который занимался с П. Виардо греческим языком и показывал ей прусскую столицу.

Потом Зальцбрунн. Белинский.— Анненков.— Лондон.— Булонь.— Куртавнель ⟨. . .⟩ *Зима в Париже.— Gastrite* ⟨*Гастрит*⟩.

9(21) мая в Берлин приехал Белинский и на следующий день сообщил жене: «Пишу тебе в комнате Тургенева» (Белинский, т. 12, с. 362). Одновременно писал ей об этом и сам Тургенев. Перед тем они переписывались об обстоятельствах поездки и предполагали встретиться в Штеттине, куда, однако, Тургенев приехать не смог (см. его письма к Белинскому от 5(17) апреля и 21 апреля (3 мая)). 22 мая (3 июня) оба они прибыли в Зальцбрунн, предварительно прожив 6 дней в Дрездене (с 14(26) по 19(31) мая), где выступала П. Виардо и где Тургенев познакомил ее с Белинским. О совместной жизни в Зальцбрунне до начала июля н. ст. говорится в «Литературных и житейских воспоминаниях» (см. наст. том, с. 48) и письмах Тургенева (см. также письма Белинского: *Белинский*, т. 12, с. 362—369; *Анненков*, с. 333—335).

В начале июля н. ст. Тургенев, по воспоминаниям П. В. Анненкова, «объявил нам, что уезжает на короткое время в Берлин — проститься с знакомыми, отъезжающими в Англию, но что, проводив их, снова вернется в Зальцбрунн. Он оставил даже часть вещей на квартире. В Зальцбрунн он не возвратился, вещи его мы перевезли с собой в Париж, а сам он чуть ли не побывал в это время в Лондоне» (*Анненков*, с. 334—335). С конца июля по сентябрь включительно он часто приезжал в Куртавнель к Виардо, где, по словам певицы, «проводили лето так приятно, что просто не могли писать». Белинский, приехав в Париж, досадовал на частые отлучки Тургенева и писал жене, что тот «показался было на несколько дней в Париж да и опять улизнул в деревню к Виардо» (*Белинский*, т. 12, с. 363). Тургенев чувствовал себя виноватым, но не приехал, как обещал, проводить Белинского из Парижа в Штеттин (см. письма к М. Ф. Корш от 20 августа (1 сентября) и Белинскому от 5(17) сентября. 14(26) ноября 1847 г.). В то же время он писал в Куртавнеле ряд рассказов, вошедших позднее в сборник «Записки охотника» (см. наст. изд., т. 3). О Куртавнеле того времени, о его месте в жизни и творчестве Тургенева см. также: Ж и х а р е в а А. Куртавнель. Памяти И. С. Тургенева (1818—1883).— Русская мысль. Париж, 1965, № 2414 и 2415; Б о ч е в а М. Куртавнел в живота на Тургенев.— Език и литература. София, 1975 , № 2, с. 71—75. С октября он живет в Париже и регулярно описывает П. Виардо подробности своей парижской жизни. В сообщениях, которые он называл «маленькими revue de Paris» (письмо от 14, 15 (26, 27) ноября), преобла-

дают известия о музыкальной жизни. О болезни он упоминает в первом письме из Парижа в Германию от 7, 8(19, 20) ноября как о «легком нездоровье (которое теперь уже совсем прошло)».

1848

Поездка в Брюссель.— Революция без меня! ⟨. . .⟩ *15 Mai.*

Тургенев уехал в Бельгию в первой половине февраля. 14(26) февраля в Брюсселе он узнал о начале французской революции и в тот же день выехал обратно в Париж. Дальнейшие события революции происходили уже на его глазах и описаны впоследствии в очерках «Наши послали!» и «Человек в серых очках» (см. наст. том, с. 121, 98). 15 мая н. ст. состоялась известная демонстрация парижских рабочих, вылившаяся в массовое выступление рабочего класса против буржуазного Временного правительства и реакционного Национального собрания. Тургенев был непосредственным свидетелем этих событий и описал их П. Виардо непосредственно после увиденного, озаглавив: «Точный отчет о том, что я видел 15 мая (1848)». Этот отчет, проникнутый сочувствием к «блузникам», давал необходимые дополнения к тенденциозным и отрывочным сообщениям парижских газет.

Болезнь. ⟨. . .⟩ *Страдания. Поездка в южную Францию. Марсель.*

А. И. Герцен, приехавший в Париж 24 марта (6 апреля), описывает в «Былом и думах» эпидемию холеры летом 1848 г. и 10-дневную болезнь Тургенева (*Герцен*, т. 10, с. 43—44; см. также его письмо к Огареву от 10 июня 1849 г.). Кроме того, между маем и октябрем он страдал невралгией, о которой писал П. Виардо 8(20) октября, выражая надежду, что «на сей раз она ⟨невралгия⟩ действительно умерла». О летней жизни в Париже Герцен вспоминал: «До осени мы были окружены своими, сердились и грустили на родном языке: Т⟨учковы⟩ жили в том же доме, М⟨ария⟩ Ф⟨едоровна⟩ у нас, А⟨нненков⟩ и Т⟨ургенев⟩ приходили всякий день; но все глядело вдаль, кружок наш расходился. Париж, вымытый кровью, не удерживал больше; все собирались ехать без особенной необходимости, вероятно, думая спастись от внутренней тягости, от июньских дней, взошедших в кровь и которые они везли с собою» (*Герцен*, т. 10, с. 229). Тургенев выехал из Парижа на юг Франции 30 сентября (12 октября) ради перемены обстановки. Он посетил Лион, Валанс, Авиньон, Ним, Арль, Марсель, Тулон, Иер, посылая П. Виардо отчеты о путешествиях в письмах от 1, 2 (13, 14) и 8(20) октября, и вернулся в Париж 25 октября (6 ноября) снова больным, о чем сообщал Эмме Гервег 25 октября (6 ноября). Об этой болезни писал и Герцен 24 октября (5 ноября) Т. Н. Грановскому, Е. Ф. и М. Ф. Корш, Н. Х. Кетчеру и Н. М. Сатину (*Герцен*, т. 23, с. 113, 120).

Покупка дома Rue de Douai.— Rue Tronchet. Герцен. Тучковы.— «Где тонко, там и рвется». «Нахлебник».

В конце 1848 г. Виардо приобрели дом на улице Дуэ, на углу площади Вэнтимиль, вблизи «Белой заставы», на тогдашней окраине Парижа, далеко от центра. Позднее, в 1870-х — начале 1880-х гг. Тургенев занимал в нем квартиру. В ноябре 1848 г. он поселился на улице Tronchet N 1; письмо Эмме Гервег от 25 октября (6 ноября) написано им на Бульваре Капуцинов, 13, а 14(26) ноября он пишет А. А. Краевскому уже с улицы Tronchet. В ноябре и декабре он особенно часто посещал семейство Герценов, поселившихся в начале ноября на бульваре Мадлен, 17, и некоторое время жил в их кварти-

ре. С Александром Ивановичем Герценом (1812—1870) Тургенев познакомился в Москве около 1842 г. и тогда получил от него характеристику «Хлестакова, образованного и умного, внешней натуры» (*Герцен*, т. 22, с. 106). После появления «Записок охотника» они сблизились и сохранили взаимное расположение, несмотря на расхождение взглядов, определившееся в 1860-е гг. Известны 59 писем Тургенева к Герцену. Вероятно, через Герцена в Париже Тургенев познакомился с семьей генерала Алексея Александровича Тучкова (1800—1879), в молодости близкого к декабристам, друга Огарева и Герцена. С ним были его жена Наталья Аполлоновна и дочери — Елена, в замужестве Сатина, и Наталья (1829—1913), вскоре вышедшая замуж за Огарева, затем гражданская жена Герцена. Тучковы приехали в Париж из Италии, узнав о февральской революции. Тургенев оказывал дружеское внимание Н. А. Тучковой, о чем свидетельствует его полушутливая надпись на подаренной ей 14 августа записной книжке (см. наст. изд., т. 12). Ей посвящена комедия «Где тонко, там и рвется», написанная в июле 1848 г. (см. наст. изд., т. 2, с. 572). Пьеса «Нахлебник», начатая в январе и законченная в конце 1848 г., впервые была прочитана у Герцена, который назвал ее «просто объеденьем» (см. наст. изд., т. 2, с. 583; *Герцен*, т. 23, с. 114).

1849

Все лето в Куртавнеле без денег ⟨. . .⟩ 14/26 июня я в 1-й раз с П⟨олиной⟩.— (Куплена Диана).

К лету 1849 г. крайне обострились отношения Тургенева с матерью, которая прекратила переписку и высылку денег, недовольная долгим отсутствием сына и его отношениями с П. Виардо. В конце этого года, очень плодотворного в творческом отношении, писатель признавался А. А. Краевскому: «Порукой в моей деятельности может вам послужить то обстоятельство, что мой разрыв с маменькой окончательно состоялся — и мне приходится зарабатывать свой насущный хлеб». С весны он собирался отправиться в Куртавнель, куда периодически наезжала из Парижа П. Виардо, однако новая болезнь задержала его в Париже. В Куртавнель он приехал перед самым отъездом певицы 6(18) июня в Париж, откуда она вскоре выехала на гастроли в Англию. С 7(19) июня по 11(23) августа он регулярно посылал певице бюллетени о своей жизни и ее семье в Куртавнеле. Во «втором бюллетене», в среду 8(20) июня, он пишет, что обитатели замка ждут ее приезда из Парижа на короткое время «не раньше субботы», т. е. 11(23) июня. Очевидно, в этот приезд и произошла встреча (14(26) июня), отмеченная в Мемориале.

Летом этого года Тургенев решил приобрести новую охотничью собаку, о чем он писал Луи Виардо 11(23) августа в Англию.

«Х о л о с т я к» ⟨. . .⟩ Зимой опять страдал. Летом «Завтрак у предводителя».

Комедия «Холостяк» была начата 28 января (9 февраля) и закончена 10(22) марта в Париже. 3(15) июля В. П. Боткин сообщал А. А. Краевскому об отправке в Петербург рукописи комедии, в августе она была разрешена к печати для № 9 «Отечественных записок», а 7(19) октября допущена к постановке (см. наст. изд., т. 2, с. 607—608). Через четыре с половиной месяца, летом, в Куртавнеле написан «Завтрак у предводителя». «Я написал, переписал и отправил (в Москву) одноактную комедию, комедию в пятьдесят страниц», — писал автор П. Виардо около 27 июля (8 августа) (подробнее

см.: наст. изд., т. 2, с. 622). В письме к Краевскому от 28 декабря 1849 г. (9 января 1850 г.) упоминается о «довольно сильной простуде», которая «заставила ⟨. . .⟩ проваландаться целые 10 дней».

1850

6-го генваря.— Гуно. Весна в Куртавнеле.— (Сафо, Полина в Берлине). Возвращение ее; разлука 5/17 июня. Отъезд.

С французским композитором Шарлем Гуно (Gounod, 1818—1893) Тургенев познакомился через П. Виардо, которая знала его с 1840 г. Первсе упоминание о Гуно как о близком знакомом («Мой привет Виардо, и Мануэлю, и Шарлю») встречается в письме к П. Виардо от 27, 28 июня (9, 10 июля) 1849 г. Следовательно, дата 6 января в Мемориале не может относиться к их первому знакомству (ср.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 345). В России Тургенев пропагандировал музыку Гуно в салоне братьев Виельгорских и продолжал высоко ценить его творчество и после взаимного охлаждения, вызванного разрывом между Гуно и семьей Виардо. В 1850—1851 гг. они переписывались, но письма не сохранились. В мае 1850 г. Гуно, только что тяжело перенесший смерть любимого брата, поселился вместе с матерью в Куртавнеле, одновременно с Тургеневым, и работал над оперой «Сафо» на текст Э. Ожье для П. Виардо в заглавной роли. Премьера «Сафо» состоялась в парижской Гранд-Опера 4(16) апреля 1851 г., но произведение не имело успеха и вскоре сошло со сцены. Тургенев живо интересовался работой композитора, поддерживал его, делал поправки в либретто и называл «Сафо» «нашей любимой дочерью» (письмо к П. Виардо от 1, 8, 12(13, 20, 24) ноября; см. об этом письма от 4(16) мая; 28, 31 августа, 2 сентября (9, 12, 14 сентября); 24 ноября (6 декабря) 1850 г.; см. также: Л а н с к и й Л. Иван Тургенев и Шарль Гуно.— Литературная Россия, 1979, 23 февраля). П. Виардо с конца апреля до середины июня пела в Берлине в операх Мейербера «Роберт-Дьявол», «Гугеноты» и «Пророк». Тургенев собирался в Россию еще весной и писал Краевскому 24 марта (4 апреля): «Вы может быть, не забыли, любезный Краевский, что я имел намерение вернуться в Россию в мае месяце; и я более, чем когда-нибудь, желаю теперь вернуться; для этого мне недостает одного: денег ⟨. . .⟩ Я намерен выехать отсюда в половине мая — а с первым пароходом из Штеттина поплыву в Петербург. Париж я покидаю на днях и до окончательного отъезда буду жить в Брюсселе». Получив из России необходимую сумму, он поехал в Брюссель, но оттуда вернулся в Париж еще на месяц, вероятно, для того, чтобы увидеться с П. Виардо, и выехал в Штеттин 12(24) июня, а из Штеттина в Петербург — 17(29) июня (см. письма к П. Виардо от 4(16) мая, А. А. Краевскому от 9(21) мая, Герцену от 10(22) мая, Луи Виардо от 12(24) июня). Тургенев написал прощальное письмо Луи Виардо, в котором не упоминается П. Виардо, что заставляло предполагать об отдельном прощальном письме к ней. Существование этого письма подтверждается ответом П. Виардо от 9(21) июня 1850 г., который начинается так: «Дорогой добрый Тургенев. Я хотела писать вам сегодня длинное письмо, но ваше письмо лишило меня бодрости. Вы уезжаете? Эта печальная новость, которая меня так огорчила, однако не так уж неожиданна. Луи и я имели некоторые подозрения, видя, как вы увозили из Куртавнеля Диану, ваши вещи, и все ваши деньги» (перевод; оригинал по-французски в кн.: T o u r g u é n i e v Ivan. Lettres inédites à Pauline Viardot et à sa famille. Publiées et annotées par H. Granjard et A. Zviguilsky. Lausanne, 1972, p. 309).

Возвращение в Россию. Петербург. Тютчев.

Тургенев прибыл в Петербург 20 июня (1 июля) и здесь дружески сошелся с Николаем Николаевичем Тютчевым (1815—1878), переводчиком, сотрудником «Отечественных записок», с которым он познакомился в середине 1840-х гг. В 1852—1853 гг. Тютчев управлял имениями Тургенева. О нем упоминается в письме к П. Виардо от 26, 28, 30 октября (7, 9, 11 ноября): «Сегодня вечером большое сборище друзей у Тютчева для празднования моего и его дня рождения: мы родились в один и тот же день. Это — превосходный человек, отличный малый, и я люблю его всем сердцем, его жену — тоже».

Москва. Ссора с маменькой. Житье в Тургеневе. Диана. Ссоры и дрязги.

В июле Тургенев пробыл 10 дней в Москве, а в середине июля ст. ст., не желая жить в Спасском из-за разрыва с матерью, поселился в Тургеневе, небольшом имении Чернского уезда Тульской губ., принадлежавшем С. Н. Тургеневу, а после его смерти перешедшем к сыновьям. Об отношениях Тургенева с матерью см.: *Житова*, с. 128—152. В отчетах о своей деревенской жизни, которые он посылал Виардо, Тургенев рассказывает о чтении, посещении соседей, охоте и хлопотах по передаче брату своей половины Тургенева. 26 сентября (8 октября) 1850 г. он сообщает об их завершении: «Необходимо было оставаться здесь, чтобы окончательно устроить дела моего брата. Только вчера я закончил их. Слава богу, теперь он вполне независим и спокоен: я уступил ему свою половину Тургенева, и теперь он — владелец очень хорошенького маленького имения, которое в хороший год может приносить ему до 20-ти тысяч франков».

Возвр⟨ащение⟩ в Петерб⟨ург⟩. Отправление Полиньки. Поездка в Москву. Маменька умирает 16-го ноября.

Одной из причин ссоры Тургенева с матерью было дурное обращение в Спасском с его побочной дочерью Полиной (Пелагеей), которой к тому времени исполнилось 8 лет. По совету П. Виардо, он решил отправить девочку во Францию для воспитания в семье Виардо. 26 сентября (8 октября) он сообщает «о своем завтрашнем отъезде» в Москву, а оттуда через два дня — в Петербург, куда торопился, чтобы 20 октября (1 ноября) отправить маленькую Полину на пароходе в Гавр. Однако затем эти планы изменились, и она выехала сухим путем через Варшаву 23 октября (4 ноября). В ожидании отъезда Полина жила в Петербурге в семье Н. Н. Тютчева. Тургенев предполагал остаться в Петербурге на зиму, но известие о смертельной болезни матери заставило его 16(28) ноября выехать в Москву, где он уже не застал ее в живых (см. письма к П. Виардо от 16 (28) ноября и 22 ноября (4 декабря)), а через два дня после приезда он описал «своему исповеднику» П. Виардо подробности кончины В. П. Тургеневой:

«Мать моя умерла, не оставив никаких распоряжений; множество существ, зависевших от нее, осталось, можно сказать, на улице; мы должны сделать то, что она должна была бы сделать. Ее последние дни были очень печальны. Избави бог нас всех от такой смерти! Она старалась только оглушить себя — накануне смерти, когда уже начиналось хрипение агонии, в соседней комнате, по ее распоряжению, оркестр играл польки. К умершим подобает относиться только с уважением и сожалением — поэтому не скажу вам больше ничего».

С 1851 г(ода) я стал вести дневник.

О дневниках Тургенева, начатых им в 1851 г., см. наст. том, с. 478.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

(с. 201)

Печатается по тексту первой части биографического очерка «И. С. Тургенев», напечатанного без имени автора в журнале «Нива», 1872, № 9, 28 февраля, с. 136—137, с дополнениями и поправками Тургенева: *ГПБ*, ф. 795, ед. хр. 57.

Впервые опубликовано: *Сб ГПБ, 1955*, вып. 3, с. 67—68.

В собрание сочинений впервые включено в изд.: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. XV, с. 204.

В конце 1871 г. А. С. Суворин, задумав, по-видимому, один из своих воскресных фельетонов цикла «Недельные очерки и картинки», печатавшихся в ту пору в «С.-Петербургских ведомостях», посвятить Тургеневу, попросил его написать автобиографию. 22 или 24 декабря ст. ст. 1871 г. Тургенев писал: «Вот, любезнейший Суворин, желаемый Вами биографический очерк. В нем мало интересных фактов, как во всякой исключительно литературной жизни. Решаюсь послать Вам черновую в надежде, что Вы разберете мой почерк». Намерение свое Суворин не осуществил. Первый публикатор комментируемой автобиографии Тургенева — Р. Б. Заборова высказала вполне вероятное предположение, что биографический очерк «И. С. Тургенев», напечатанный в № 9 «Нивы» за 1872 г., набирался с указанного выше черновика, присланного Тургеневым Суворину; именно этим объясняются ошибки в тексте очерка «Нивы», возникшие вследствие неразборчивости оригинала (см.: *Сб ГПБ, 1955*, вып. 3, с. 69).

В начале октября 1873 г. Тургенев пообещал П. Н. Полевому написать для готовившегося второго издания его «Истории русской литературы в очерках и биографиях» свою биографию. Не успев сделать это до отъезда Полевого из Парижа в Россию, он выслал ему вырезки из «Нивы» с началом биографического очерка, исправив и дополнив его в ряде мест.

Присланный Тургеневым оттиск биографического очерка из «Нивы» с исправлениями был использован Полевым как материал для второго издания его книги, вышедшего в 1874 г. (см.: Полевой П. История русской литературы в очерках и биографиях. 2-е изд. СПб., 1874, с. 733—739). В разделе о Тургеневе Полевым были привлечены также «подробности», прибавленные самим Тургеневым в его письме к Полевому от 17(29) октября 1873 г.

Полевой ввел бо́льшую часть дополнений Тургенева к автобиографии в соответствующие хронологически места текста посвященного ему раздела. Из существенных дополнений не был введен абзац о близости Тургенева к кружку Станкевича и Грановского и о совместном проживании его в Берлине с М. Бакуниным.

После опубликования «Истории русской литературы...» Полевого Тургенев интересовался ею, запрашивал о ней А. В. Топорова, а затем благодарил его за присылку книги, но о своем участии в составлении биографии умалчивал (см. письма к А. В. Топорову от 7(19) октября и 26 ноября (8 декабря) 1874 г.).

Позднее, в 1875 г., когда А. С. Суворин вновь задумал во втором выпуске отдельного издания «Очерков и картинок» поместить «Литературный портрет Тургенева» и начал собирать дополнительные данные, Тургенев писал ему: «Что касается биографических подробностей обо мне — то все данные у Полевого верны — и других, кажется, собирать не стоит...» (письмо от 1(13) апреля 1875 г.) Книгу Полевого рекомендовал Тургенев и английскому критику В. Рольстону, намеревавшемуся написать биографию Тургенева: «...посылаю вам сегодня увесистый (и полезный, хотя это и не всегда бывает с увесистыми вещами) том „Истории русской литературы" Полевого (сына критика) — вы найдете в нем — на странице 737 — биографическую заметку обо мне. Прошу вас принять эту книгу» (письмо от 6(18) февраля 1877 г.)

О большинстве имен и фактах из жизни Тургенева, упоминаемых в этом очерке, а также в Автобиографии, см. выше, в примечаниях к Мемориалу — наст. том.

С т р. 201. *Младший брат умер ∽ старший живет в Москве.*— Тургеневы Сергей Сергеевич (1821—1837) и Николай Сергеевич (1816—1879). См.: *Клеман. Летопись*, с. 19, 23, 275.

...мать жила до семидесяти лет и умерла в 1850 году.— Неточность. В. П. Тургенева умерла в возрасте шестидесяти трех лет (см. наст. том, с. 445).

В 1822 году ∽ в ту же минуту, за ногу.— Об этом эпизоде из детских лет Тургенев сообщал также М. Д. Хмырову 8(20) октября 1868 г. в связи с подготовкой им биографического очерка о писателе для «Портретной галереи русских деятелей» (изд. А. Мюнстера, т. 2. СПб., 1869).

Одной из первых русских книг ∽ «Россиада» Хераскова. Он обязан знакомству ∽ крепостному человеку своей матери. — См. наст. изд., т. 9, с. 438 (примеч. М. А. Турьян к «Пунину и Бабурину»). См. также: Ч е р н о в Н. М. Из разысканий о Тургеневе.— В сб.: Тургенев и его современники. Отв. редактор акад. М. П. Алексеев. Л., 1977, с. 215—216.

С т р. 202. *...для «Современника» ∽ именно «Хорь и Калиныч».*— Был напечатан в № 1 журнала за 1847 г.

...отправился в Париж и написал там бо́льшую часть «Записок охотника»...— Б. К. Зайцев в статье «Столетие „Записок охотника"» (1952), указывая, что в Париже и Куртавнеле написано «многое» из «Записок охотника», в то же время отмечает национальное своеобразие книги Тургенева. Это «часть твоей родины, России, ее старина, прелесть, природа, очарования и недостатки, даже уродства (рабство!) — пестрая и живая картина, такая правда и поэзия!» (см.: Второй межвузовский тургеневский сборник. Орел, 1968 (Уч. зап. Курского пед. ин-та, т. 51), с. 214).

АВТОБИОГРАФИЯ

(с. 203)

Печатается по беловому автографу — *ИРЛИ*, ф. 293, оп. 1, № 1751.

Впервые опубликовано (по беловому автографу с редакционными поправками М. М. Стасюлевича): Русская библиотека, вып. 6. И. С. Тургенев. СПб., 1876, с. IX—XVI.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 5—6.

Черновой автограф — *Bibl Nat*, Slave 86; описание — *Mazon*, p. 83; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 249.

Этой автобиографии, как известно, предшествовал юношеский ⟨Набросок автобиографии⟩ [1], написанный Тургеневым под влиянием чтения «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо (см.: наст. изд., т. 1, с. 401).

В конце мая — начале июня 1875 г. Стасюлевич с согласия Тургенева подписал контракт с издателем его сочинений Ф. И. Салаевым на выпуск шестого тома «Русской библиотеки», посвященного Тургеневу. К писателю он обратился с просьбой написать для этого тома автобиографию. В письме от 13(25) июля 1875 г. Тургенев обещал Стасюлевичу написать «автобиографический очерк» к 1 августа н. ст., но передал его по назначению лишь в начале сентября 1875 г. (см. письмо от 2(14) сентября 1875 г.).

Автобиография, написанная Тургеневым для Стасюлевича, явилась наиболее полным сводом биографических сведений о писателе. По сравнению с правленным рукой Тургенева текстом очерка из «Нивы» (1872, № 9), посланным П. Н. Полевому, эта автобиография была пополнена рядом подробностей (о характере дворянской помещичьей жизни в Спасском, об учителях в Московском и Петербургском университетах, о занятиях в Берлинском университете и его знаменитостях, о службе под начальством В. И. Даля). Как свидетельствуют первоначальные варианты черновой и беловой рукописей, Тургенев, набрасывая автобиографию, уточнил географические названия мест своего пребывания, даты основных событий жизни, а также характеристики профессоров Московского и Петербургского университетов М. Г. Павлова, П. В. Победоносцева, П. А. Плетнева и своего учителя И. П. Клюшникова. Описывая занятия в Берлине, Тургенев в черновом автографе называл как своих товарищей по Берлинскому университету, близких к кружку Станкевича, Я. М. Неверова и Н. Г. Фролова.

В беловом автографе Стасюлевич в некоторых местах текст незначительно сократил, в других, наоборот, дополнил фразами, вводящими цитируемые отрывки из «Литературных и житейских воспоминаний».

В «Русской библиотеке» автобиография напечатана с учетом исправлений Стасюлевича. Слова: «живя на одной квартире с извест-

---

[1] В комментарии к нему (наст. изд., т. 1, с. 557) ошибочно раскрыты буквы А. И. Л. как обозначающие Анну Ивановну Лутовинову. В действительности речь идет об Авдотье Ивановне Лагривовой (Лагривой), урожд. Губаревой, подруге, а затем компаньонке В. П. Тургеневой, позднее оказавшейся у нее на положении приживалки. Она и ее брат Воин Иванович Губарев (см. о нем наст. том, с. 432) были близко знакомы с матерью писателя, видимо, еще со времени пребывания Лутовиновых в кромском имении Холодове (Губаревы тогда жили в Кромах). См.: Чернов Н. Глава из детства. Неизвестные страницы биографии И. С. Тургенева.— Литературная газета, 1970, № 29, 15 июля; Колонтаева В. Воспоминания о селе Спасском.— *ИВ*, 1885, № 10, с. 49.

ным М. А. Бакуниным, не занимавшимся тогда политикой»,— были опущены, по-видимому, по цензурным соображениям [2].

Стр. 203. *...от Сергея Николаевича Тургенева и Варвары Петровны Лутовиновой ∽ в то время.*— См. наст. том, с. 476 (примеч. к очерку «Иван Сергеевич Тургенев»).

Из прежних учителей своих ∽ с благодарностью вспоминает о Д. Н. Дубенском ∽ П. Н. Погорельском ∽ и об И. П. Клюшникове ∽ буквою Θ.— О Дмитрии Никитиче Дубенском (ум. в 1863 г.), Платоне Николаевиче Погорельском (годы жизни неизвестны), Иване Петровиче Клюшникове см.: *Т, ПСС и П*, *Письма*, т. I, с. 665, 669, 682.

Стр. 203—204. *...слушал профессоров ∽ Павлова ∽ старика Победоносцева ∽ им «хрию».*— Михаил Григорьевич Павлов (1793—1840) — профессор физики, минералогии и сельского хозяйства в Московском университете (с 1820 г.). Обладал широкими литературными интересами (см.: *Герцен*, т. 8, с. 122, 502). Петр Васильевич Победоносцев (1771—1843) — профессор российской словесности в Московском университете, чьи лекции отличались консерватизмом, бессодержательностью и монотонностью.

Стр. 204. *Берлинский университет мог похвалиться именами ∽ Ранке, Риттера, Ганса и мн. др.*— Ранке (Ranke) Леопольд (1795—1886) — немецкий историк; Риттер (Ritter) Карл (1779—1859) — немецкий географ, член Берлинской Академии наук (с 1820 г.); Ганс (Hans) Эдуард (1797—1839) — немецкий философ, историк и юрист. Все три — профессора Берлинского университета (см.: *Т, ПСС и П*, *Письма*, т. I, с. 173, 524, 683; т. IX, с. 193, 616, 635, 636).

...из всех его профессоров ∽ П. А. Плетнев ∽ действовать на слушателей.— См. наст. том, с. 11 («Литературный вечер у П. А. Плетнева» и примеч. к нему).

...вместе с ним ∽ Грановский и Станкевич.— См. также наст. том, с. 8 («Вместо вступления»).

...и в прошлом году явилось уже пятое издание ∽ сочинений.— Сочинения И. С. Тургенева. Части I—VIII. Изд. бр. Салаевых. М., 1874.

⟨ДНЕВНИК
НОЯБРЬ 1882— ЯНВАРЬ 1883 г.⟩

(с. 205)

Печатается по тексту: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 393—398. Впервые опубликовано: Неделя (Иллюстрированное приложение к газете «Известия»), 1964, № 23, 31 мая — 6 июня, с. 8—9.

Подлинник хранится в *Bibl Nat*, Slave 76. Описание см.: *Mazon*, p. 103.

В собрание сочинений впервые включено: *Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. XV, с. 209—214.

---

[2] Кроме двух известных автобиографий Тургенева, опубликованных в 1874 г. П. Н. Полевым и в 1876 г. М. М. Стасюлевичем, необходимо еще учитывать ряд биографических заметок о Тургеневе, появившихся за рубежом и на родине при жизни писателя и в той или иной степени им авторизованных (см.: Битюгова И. А. К автобиографии Тургенева.— *Т сб*, вып. 5, с. 385—391).

Дневник Тургенева, который он вел в конце 1882 — начале 1883 г., несомненно, является только частью его обширных не сохранившихся дневниковых записей. Систематические записи он начал вести, по его собственному признанию, в 1851 г. В Мемориале под 1851 г. помимо обычной ссылки на место встречи Нового года отмечено только одно событие: «С 1851-го г⟨ода⟩ я стал вести дневник» (наст. том, с. 200).

Сохранились свидетельства самого Тургенева и близких ему людей о том, что долгое время он продолжал вести дневники. В мемуарном очерке «По поводу „Отцов и детей"» он приводит выдержку из дневника 1861 г. с записью о своем отношении к образу Базарова (см. наст. том, с. 92). Дневниковые записи о Базарове, относящиеся к 1861 г., упоминаются и в воспоминаниях П. А. Кропоткина (см.: *Революционеры-семидесятники*, с. 147—148). Н. А. Островская указывает на дневник за 1874 г., в котором содержалась краткая запись о трехнедельном пребывании в Спасском (см.: Воспоминания о Тургеневе Н. А. Островской.— *Т сб (Пиксанов)*, с. 113—114). В письме к Я. П. Полонскому от 7(19) апреля 1877 г. Тургенев привел следующую выписку из своего дневника: «17/5 марта. Полночь. Сижу я опять за своим столом, внизу бедная моя приятельница что-то поет своим совершенно разбитым голосом; а у меня на душе темнее темной ночи... Могила словно торопится проглотить меня: как миг какой, пролетает день, пустой, бесцельный, бесцветный... Смотришь: опять valись в постель.— Ни права жить, ни охоты нет; делать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать...» Имеются сведения о наличии дневников в последние годы жизни писателя. Так, И. Я. Павловский в своих воспоминаниях приводит следующую его фразу: «Что касается меня, я всегда веду дневник, в котором записываю все, что меня интересует» (П ⟨а в л о в с к и й⟩ И. Воспоминания об И. С. Тургеневе. (Из записок литератора).— Русский курьер, 1884, № 199, 21 июля).

В письме к П. В. Анненкову, поручая ему судьбу своих бумаг, Тургенев кроме сочинений упоминает «личные записки и корреспонденцию», имея в виду под личными записками, по-видимому, именно дневники. 13(25) декабря 1882 г. он пишет Людвигу Пичу: « ... что касается листков из дневника, то это длинная история».

Потребность записывать для себя факты личной жизни, а также откликаться на общественные и политические события возникла у Тургенева в то время, когда он окончательно посвятил себя литературному творчеству и общественной деятельности. Перенося, по собственному признанию, свою биографию в свои произведения, писатель трансформировал в художественных образах факты действительности, первоначально зафиксированные в документальной дневниковой форме. В работе над образами героев своих произведений он также использовал форму дневника. Имеются свидетельства о том, что он вел дневник от имени Базарова («Отцы и дети») и Павла Шубина («Накануне»). См.: П ⟨а в л о в с к и й⟩ И. Воспоминания об И. С. Тургеневе. (Из записок литератора).— Русский курьер, 1884, № 150, 2 июня; Воспоминания Х. Бойесена.— Б а т у р и н с к и й В. П. К биографии Тургенева (Минувшие годы, 1908, № 8, с. 70).

Для Тургенева интимный характер дневника, предназначенного только для себя, исключал возможность ознакомления с ним даже близких людей. «В дневнике я у себя дома, сужу и ряжу всех и все»,— говорил писатель, по воспоминаниям И. Я. Павловского

(Русский курьер, 1884, № 199, 21 июля). Вот почему он периодически подвергал уничтожению свои записи.

Первый дневник Тургенева был, по всей вероятности, уничтожен вместе со значительной частью его архива, о чем говорится в письме к В. П. Боткину от 17 февраля (1 марта) 1857 г.: «Третьего дня я не сжег, потому что боялся впасть в подражание Гоголю, но изорвал и бросил в watercloset все мои начинания, планы и т. д.» 3(15) декабря 1882 г., сообщая Д. В. Григоровичу состав «Стихотворений в прозе», он пишет: «Я никакого *выбора* не делал, я только откинул все личные, автобиографические, которые я никому не читал и не прочту — так как они предназначены к уничтожению вместе с моим дневником». То же самое он повторяет 17(29) декабря 1882 г. в письме к Б. А. Чивилеву: «Неизданные „Ст⟨ихотворения⟩ в пр⟨озе⟩“ неизвестны даже самым близким мне людям. Они предназначены на сожжение после меня вместе с моим дневником». Завещание Тургенева об уничтожении дневников упоминается и в цитированных выше воспоминаниях И. Я. Павловского.

Неоднократно высказанное желание писателя, чтобы его дневники были после его смерти уничтожены близкими людьми, было, вероятно, исполнено Полиной Виардо; однако в какой степени она их уничтожила, неизвестно. По крайней мере, комментируемая тетрадь сохранилась среди бумаг, оставшихся у наследников Виардо, и теперь находится в *Bibl Nat*.

Подробный комментарий к этим записям принадлежит первому публикатору дневника И. С. Зильберштейну (см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 365—424). Этот комментарий, впрочем, не свободен от некоторых пропусков и неточностей, которые по возможности дополнены и исправлены в настоящих примечаниях. Внесены также дополнения по новым публикациям последних лет.

Все же, несмотря на то, что почти двадцатилетний период, прошедший со времени первой публикации дневника, принес нам достаточно много новых данных о биографии Тургенева, некоторые факты, упомянутые здесь, до сих пор остаются нераскрытыми и ждут дальнейших разысканий.

27 ноября (9 декабря) 1882 г.

В *Буживале*, старинном городке близ Парижа, Тургенев проводил лето вместе с семьей Виардо на своей вилле «Les Frênes» («Ясени»). В 1882 г. (6(18) ноября) он переехал из Буживаля на свою парижскую квартиру на улице Дуэ (т. е. за три недели до этой записи).

В первой половине 1882 г. здоровье Тургенева резко ухудшилось. Усилились боли в спине, вызванные раком позвоночника, начавшимся в 1880 г., который врачи принимали за грудную жабу.

Луи *Виардо*, муж П. Виардо (см. о нем наст. том, с. 465) отличался чрезвычайной мнительностью, преувеличивал каждое свое недомогание; поэтому Тургенев и не придал значения его болезни, которая оказалась смертельной — Виардо умер менее чем через пять месяцев после этой записи — 23 апреля (5 мая) 1883 г. в возрасте 83 лет.

Опера «*Сарданапал*» была впервые поставлена в концертном исполнении 3 декабря н. ст. 1882 г., в «Théâtre du Château d'Eau» (см.: Annales du théâtre et de la musique. Par E. Perrin. Paris, 1882, p. 579—581). В письме к Людвигу Пичу от 26 ноября (8 декабря) 1882 г. Тургенев пишет об успехе постановки, называя «Сардана-

пала» ораторией. Автором произведения был композитор и пианист Виктор Альфонс Дювернуа (1842—1907), муж младшей дочери П. Виардо Марианны (1854—1913), на свадьбе которых Тургенев присутствовал 5 апреля н. ст. 1881 г. Его отношения с четой Дювернуа были очень теплыми (см. письма М. Дювернуа к Е. И. Апрелевой.— *Рус Вед*, 1904, № 25, 25 января). Писатель помогал Дювернуа в выборе сюжетов для его произведений (см.: Гревс И. М. М. П. Драгоманов о Тургеневе.— Былое, 1925, № 3, с. 115).

5(17) декабря 1882 г.

Об операции невромa см. ниже, примечания к записи от 15(27) января 1883 г.

Юрий Федорович *Самарин* (1819—1876) — публицист и общественный деятель, видный представитель славянофильства, с которым Тургенев сблизился в 1840-х гг. в Москве (см. примечания к Мемориалу, наст. том, с. 462). О смерти Самарина в Берлине 19(31) марта 1876 г. Тургенев отозвался с глубоким сожалением в письмах к В. А. Черкасскому 20 марта (1 апреля) 1876 г., П. В. Анненкову 23 марта (4 апреля) 1876 г. и М. Е. Салтыкову 25 марта (6 апреля) 1876 г. В последнем письме он признавался, что к тому времени он и Самарин «находились чуть не на антиподах друг от друга», но находил его «умным, талантливым и честным» человеком.

«*Стихотворения в прозе*» появились в *ВЕ* (1882, № 12, с. 473—520). Предположения о недоброжелательных отзывах критики Тургенев высказывал неоднократно перед выходом их в свет. 30 ноября (12 декабря) 1882 г. он писал М. М. Стасюлевичу: «Что господа критики их проберут — это несомненно; но несомненно также и то, что я огорчаться не буду. Я бы скорее огорчился — удивился бы во всяком случае — если б услышал похвалы из *иных* уст». Действительно, «Стихотворения в прозе» вызвали противоречивые мнения, среди которых было много неодобрительных (подробно см. об этом в примечаниях М. П. Алексеева и Н. В. Алексеевой — наст. изд., т. 10, с. 463—464). Отрицательный отзыв Д. В. Григоровича пересказан Я. П. Полонским в не дошедшем до нас письме к Тургеневу. Свое суждение об этом, занесенное в дневник, Тургенев повторил в письме к Я. П. Полонскому от 22 ноября (4 декабря) 1882 г. Вместе с тем «Стихотворения в прозе» получили одобрение, даже восхищение лиц, которых автор высоко ценил,— Полонского, Гончарова, Стасюлевича, Анненкова, Гаевского (подробнее см.: т. 10, с. 460—462). Положительный отзыв Л. Н. Толстого до нас не дошел, но известен, кроме дневниковой записи, по письму Тургенева к Толстому от 15(27) декабря 1882 г.

Переводы тридцати «Стихотворений в прозе» на французский язык, сделанные Тургеневым при участии П. Виардо, появились в двух номерах парижского журнала «Revue politique et littéraire de la France et de l'étranger», 1882, № 25, 16 déc., p. 769—776, N 26, 25 déc., p. 809—816. Об этом Тургенев писал В. Рольстону 15(27) декабря 1882 г.: «Посылаю вам сегодня экземпляр моих „Стихотворений в прозе“ — и французский перевод 30 из них, который появился в „Revue politique et littéraire“. Я не выслал вам русские подлинники раньше — с намерением увидеть эти „Ст⟨ихотворения⟩ в пр⟨озе⟩“ переведенными на английский язык, потому что не думал (и, говоря откровенно, сейчас не думаю) — что эти маленькие вещицы могли бы понравиться английской публике. Вообще я нашел их слишком русскими на европейский вкус; г-жа Виардо перевела их на француз-

ский язык по своему желанию, а не по моему. И только после их публикации я начинаю думать, что права была она, а не я».

Стихотворные строки — видоизмененная автоцитата из стихотворения «Конец жизни» — 1843 г. (см. наст. изд., т. 1, с. 39).

Любовь Яковлевна *Стечькина* (1851—1900) — писательница, которой Тургенев оказывал помощь своими советами художника и содействием в напечатании ее произведений (см. об этом: Степанова Г. В. Л. Я. Стечькина.— *Т сб*, вып. 3, с. 373—377). Знакомство их состоялось в 1878 г. и продолжалось до конца жизни Тургенева. Известны 55 писем его к Стечькиной (1878—1883) и 4 письма ее к Тургеневу (1879—1882).

В 1882 г. он хлопотал об отправке ее для лечения за границу. Об этом он писал матери Стечькиной 10(22) декабря 1882 г.: «Дочь ваша, Любовь Яковлевна, серьезно больна — хотя вовсе не безнадежно. Она настолько серьезно больна, что д-р Жакку, один из первых здешних врачей, объявил ей, что она не должна думать вернуться в Россию раньше весны — и что пока ей нужно пребывание в южном климате. Соображаясь с этим, мы здесь ее снарядили, достали денег и отправили в Неаполь, куда она, по телеграмме, благополучно прибыла и где она найдет знакомых, которые примут ее на свое попечение. Оставаться в самом Неаполе она, вероятно, не захочет — а выберет место поблизости, вероятно, Сорренто, где жизнь гораздо дешевле. Средств для жизни у ней на два месяца хватит». Стечькина поселилась не в Сорренто, а в Торре дель Греко близ Неаполя — см. ниже, запись от 31 декабря 1882 г. (12 января 1883 г.).

Владимир Яковлевич *Мейер* (1851—1884) — участник революционного движения 1870-х годов; был осужден по «делу 193-х». В 1878 г. эмигрировал и жил в Париже. Тургенев оказывал Мейеру материальную поддержку. В 1879 г. П. В. Анненков по просьбе Тургенева определил его корректором в типографию Гаспера в Карлсруэ, где печатались произведения самого Тургенева (см. его письмо к Анненкову от 26 сентября (8 октября) 1879 г. и ответ Анненкова от 1(13) октября 1879 г.— *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. XII, кн. 2, с. 482).

В «Народной воле» (№ 11—12 за 1885 г.) помещено имя Мейера в перечне погибших революционеров: «Мейер В. Я., эмигрант (судившийся по делу 193-х) умер от чахотки в Париже 23 ноября 1884» (Литература партии «Народной воли». СПб., 1907. Вып. 2, с. 178). См. также: Деятели революционного движения в России. Био-библ. словарь. Сост. Шиловым и Карнауховой, т. II. Семидесятые годы, вып. 3. М., 1931

Исаак Яковлевич *Павловский* (1853—1924) — участник революционного движения 1870-х годов (см. наст. изд., т. 10, с. 603—605).

Николай Петрович *Цакни* (1851—1904) — участник революционного движения, бежал из ссылки за границу и жил в Париже до 1887 г., затем вернулся в Россию и в Одессе заведовал редакцией «Одесских новостей», а затем редактировал либеральную газету «Южное обозрение». Запись его воспоминаний о Тургеневе напечатана в газете «Руль» (Москва, 1908, № 129, 25 августа). Тургенев оказывал ему материальную и моральную поддержку, в частности, ходатайствовал за него перед Литературным фондом (письма М. М. Стасюлевичу от 21 октября (2 ноября) 1882 г. и Н. С. Таганцеву от 31 октября (12 ноября) 1882 г.). О Н. П. Цакни см. также: Деятели революционного движения в России, т. II. Семидесятые годы, вып. 4. М., 1932.

Художественный клуб — «Общество взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже», где Тургенев провел вечер 30 ноября (12 декабря) 1882 г. А. П. Боголюбов писал И. Н. Крамскому 8(20) декабря 1882 г.: «Хотя и больной, но он ⟨Тургенев⟩ запрошлый вторник прибрел в собрание, что нас всех немало порадовало...» (*Лит Насл*, т. 76, с. 468; см. также: К у з ь м и н а Л. И. Посол от русской интеллигенции. (К организации «Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже).— *Т сб*, вып. 4, с. 276—277).Тургенев сообщал Ж. А. Полонской 12(24) декабря: «Я действительно провел, т. е. просидел, вечер в Обществе художников — но выезд меня утомил — и я немного за него поплатился» и А. В. Топорову: «После моего выезда в Общество русских художников мне стало хуже — и опять сижу как на привязи». «Спич» на вечере произнес в честь Тургенева Александр Федорович *Онегин* (Отто, 1845—1925) — коллекционер, собиратель материалов по истории русской литературы; постоянно жил в Париже и часто исполнял обязанности секретаря Тургенева. Известно 41 письмо Тургенева к Онегину-Отто. Основной прототип образа Нежданова в «Нови» (см. наст. изд., т. 9, с. 510). О глубоком уважении к Тургеневу, преданности его писателю ,см.: И в а н о в а Л. Н. Тургенев в переписке А. Ф. Онегина и П. В. Жуковского.— В сб.: И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Л., 1982, с. 158—177. Об отношениях Онегина и Тургенева в последние месяцы жизни писателя см. также: А л е к с е е в М. П. В. П. Гаевский и В. Р. Рольстон о Тургеневе.— *Т сб*, вып. 1, с. 335—344.

Музыкальные вечера в доме Виардо описаны в кн.: Р о з а н о в А. Полина Виардо-Гарсиа. 2-е изд., доп. Л., 1973, с. 144—145. В этих вечерах участвовали ученицы Виардо и ее дочери. *Диди* — Клоди Виардо, в замужестве Шамро (1852—1914), художница. О ней Тургенев писал Л. Пичу 24 декабря 1873 г. (5 января 1874 г.): это «существо, которое я люблю больше и нежнее всего на свете».

Э. Ожиэ — Гийом Виктор Эмиль Ожье (1820—1889) — французский писатель, поэт и драматург, знакомый Тургенева. Ожье пользовался большой популярностью во Франции, Эмиль Золя считал его признанным «мастером современной французской сцены», его имя и название его пьес часто встречаются в переписке Тургенева, который давал ему советы и участвовал в работе над либретто опер (см. наст. том, с. 473). Об отношении Тургенева к творчеству Ожье см.: А л е к с е е в М. П. Тургенев в спорах о пьесе Ожье.— *Т сб*, вып. 3, с. 240—254. Э. Ожье часто посещал Тургенева во время предсмертной болезни и, по сведениям, приведенным в воспоминаниях В. В. Верещагина, читал ему свою новую пьесу «Авантюристка» (см.: В е р е щ а г и н В. В. Очерки, наброски, воспоминания. СПб., 1883, с. 139).

О *романе Мопассана* «Жизнь» («La vie») см. ниже, запись от 31 декабря 1882 г. (12 января 1883 г.).

Mr John Hay — Джон Хей (1838—1905) — американский литератор и политический деятель, автор десятитомного труда об Аврааме Линкольне, личным другом и секретарем которого он был. В 1879—1881 гг. Хей служил первым заместителем государственного секретаря при президенте Хейзе. Знакомство Тургенева и Хея произошло при содействии американского писателя Генри Джеймса, которому Хей написал 9 декабря н. ст. 1882 г.:

«Мой дорогой Джеймс.

После получения вашей любезной рекомендательной записки к Ивану Тургеневу, я, не теряя ни минуты, отправился на rue de Douai: мне посчастливилось застать его дома и достаточно здоровым, чтобы вести беседу, но далеко не столь здоровым, как нам хотелось бы. У него в груди боли — вроде подагрических, которые очень мучительны, и, по словам Шарко, эта болезнь вряд ли излечима, ибо медицина здесь совершенно бессильна. Болезнь может пройти сама или же остаться в том же состоянии. Она очень мешает ему и ходить, и стоять; она вынуждает его отказаться от своего намерения провести лето в России, куда он собирался ехать и где хотел написать роман, уже совершенно сложившийся у него в голове. Из-за всего этого Тургенев находится в некоторой нерешительности, не зная, что ему делать дальше. Ненастная погода, которая стоит здесь, должно быть, ему вредна, но он, по-видимому, и не собирается тронуться с места. Он говорил о вас в самых горячих выражениях и сожалел, что не повидался с вами, когда вы были здесь.

Это, безусловно, крупная и привлекательная натура. Я никогда не видел, чтобы великий человек был таким простым и приветливым. Просто ярость берет, когда видишь, что эта могучая и благородная душа измучена болезнью, тогда как тысячи людей нуждаются в его творчестве, а Марборо-клуб, например, битком набит ничтожествами, которые se portent à merveille [1]. Если бы *мы* имели право распоряжаться в этом мире, мы все это изменили бы и поставили вверх тормашками.

Если увидите Кинга, поругайте его за меня. Я даже не знаю, где он находится.

Вся Франция под водой. Я собираюсь поселиться на Триумфальной арке.

Всецело преданный вам

Джон Хей»

(опубликовано в статье: M o n t e i r o George. Letters to a «Countryman». John Hay to Henry James.— Books at Brown, v. 19, May, 1963, p. 107. Цит. по переводу — *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 404).

Иван Павлович *Похитонов* (1850—1923) — художник-пейзажист, передвижник, творчество которого Тургенев высоко ценил. Портрет Тургенева работы Похитонова (1882) хранится в Третьяковской галерее. В семье Похитоновых в Париже хранились несколько писем Тургенева, утраченных во время второй мировой войны.

Иван Петрович *Пожалостин* (1837—1909) — русский гравер, в 1871—1874 гг. живший в Париже. Автор двух гравированных портретов Тургенева с этюда Н. Д. Дмитриева-Оренбургского (1879). Одна из этих гравюр выполнена для издания «Записок охотника» (1883). Известно одно письмо Тургенева к его сыну, П. И. Пожалостину, от 19 августа 1882 г. (см.: Два письма И. С. Тургенева. (Публикация Л. И. Кузьминой и Н. А. Леонтьевского).— Русская литература, 1969, № 3, с. 153).

Александр Михайлович *Горчаков*, князь (1798—1883) — лицейский товарищ Пушкина, дипломат, министр иностранных дел, государственный канцлер; с 1879 г., отойдя от дел, жил за границей. О его встречах с Тургеневым см.: Е г ⟨о р⟩ о в Анатолий. И. С. Тургенев и кн. А. М. Горчаков, 1876.— *Рус Ст*, 1883, № 1, с. 423—425.

---

[1] чувствуют себя превосходно (*франц.*).

Тургенев в письмах к Ю. П. Вревской и А. В. Головнину от 26 января (7 февраля) 1877 г. отзывался неодобрительно о политике Горчакова. П.В. Анненков в письме из Бадена от 19(31) марта 1883 г., написанном после смерти Горчакова, рассказывал Тургеневу о любовных увлечениях и о скандалах, происходивших в те недели в баденском доме Горчакова (см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 405).

Мария Сергеевна *Урусова*, княгиня, рожд. Мальцева (ум. 1904) — жена Л. Д. Урусова, близкого друга Л. Н. Толстого. В 1870-х — 80-х гг. жила в Париже, где ее салон посещали многие писатели, в том числе Виктор Гюго, Ги де Мопассан, Генри Джеймс. С Тургеневым познакомилась в 1870-е гг. в Париже и поддерживала дружеские отношения с ним до самой его смерти. Известны два письма Тургенева к М. С. Урусовой (адресат одного из них устанавливается предположительно). В дневнике германского посла в Париже имеются записи о встречах с Тургеневым в салоне Урусовой (см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 406); о том же упоминаётся в воспоминаниях художника Э. К. Липгарта (см.: *Лит Насл*, т. 76, с. 425—429). Старшая *дочь* кн. Урусовой — Мария Леонидовна (1867—1895), выдающаяся пианистка. После ее смерти мать написала о ней книгу: Princesse M. Ouroussoff. Histoire d'une âme — Mary. Souvenirs recueillis par sa mère («Княжна Урусова. История одной души — Мери. Воспоминания, записанные ее матерью»). Paris, 1904.

Мария Гавриловна *Савина* (сценическая фамилия), рожд., Подраменцева, в первом браке Славич, во втором браке Всеволожская, в третьем Молчанова (1854—1915) — драматическая актриса, близкий друг Тургенева. Познакомилась с писателем в 1879 г.; они многократно встречались в России и во Франции. В 1881 г. Савина навестила Тургенева в Спасском. Исполняла роли в пьесах Тургенева; написала воспоминания «Мое знакомство с Тургеневым» (*Т и Савина*, с. 63—70). Известны 77 писем и 4 телеграммы Тургенева к Савиной. Сведения об их отношениях содержатся также в письмах Савиной к А. В. Топорову (см.: Степанова Г. В. Тургенев в письмах М. Г. Савиной к А. В. Топорову.— *Т сб*, вып. 5, с. 518—532).

Тургенев имеет в виду свои письма к ней от 5(17) ноября и 27 ноября (9 декабря) 1882 г. Во втором из них он писал: «Милая Мария Гавриловна, я все собирался отвечать Вам на Ваше последнее письмо — и вдруг читаю в „Голосе“: г-жа Савина *опять* занемогла. Очень меня это огорчило — и я тотчас взялся за перо́, как будто это могло Вам помочь! Желал бы я думать, что это болезнь более политическая — и служит выражением Вашего неудовольствия на те театральные порядки, о которых Вы мне пишете — и которые заставляют Вас подумывать... об отставке! Пожалуйста, выведите меня поскорей из недоумения».

Жюль Этьен *Падеру* (Pasdeloup, 1814—1887) — дирижер и владелец концертного зала в Париже, знакомый Тургенева. О посещениях Тургеневым его зала совместно с П. Виардо и ее дочерьми упоминает Альфонс Доде (см.: Иностранная критика о Тургеневе. СПб., 1908, с. 101—102).

Paul — Поль Виардо (1857—1941), сын Виардо, скрипач, впоследствии автор мемуаров с упоминаниями о Тургеневе (Виардо Поль. Воспоминания артиста.— Новое время, 1906, № 10991, 10994, 11001, 11033, 18, 21, 28 октября и 12 декабря; Souvenirs d'un artiste. Paris, 1910). Об отрицательном отношении Тургенева к Полю Виардо см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 406—407).

Mr Clerc — лицо неустановленное.

Богомолец — парижская знакомая Тургенева, по-видимому, из семьи выдающихся деятелей украинской культуры (см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 407)

Фриссон — домашний врач семьи Виардо.

Луи Блан (1811—1882) — французский историк, публицист и политический деятель, умеренный социалист-утопист, автор книги «История десяти лет (1830—1840)» и десятитомной «Истории французской революции», к первым двум томам которой Тургенев отнесся отрицательно (см. письмо к Виардо от 26 ноября (8 декабря) 1847 г.), член временного правительства 1848 г.; эмигрировал в Англию после июньского рабочего восстания; в 1871 г., будучи депутатом Национального собрания, выступил против Парижской коммуны.

В 1876 г., в связи с изданием журнала «L'homme libre» Тургенев дал характеристику Луи Блана в письме к В. А. Панаеву от 13(25) сентября 1876 г.

Письмо Тургенева слушательницам Женских врачебных курсов от 30 ноября (12 декабря) 1882 г. было опубликовано в газете «Голос», 1882, № 336, 10 декабря.

31 декабря 1882 г. (12 января 1883 г.)

О смерти Л. *Гамбетты* и участии Тургенева в его похоронах см. в письмах к П. В. Анненкову от 29 декабря 1882 г. (10 января 1883 г.) и Ж. А. Полонской от 11(23) января 1883 г.

Антуан *Шанзи* (1823—1883) — французский генерал, популярный военачальник в период франко-прусской войны. В 1879 г. был назначен посланником в Россию. Его смерть широко комментировалась русскими газетами.

Евгений Михайлович *Феоктистов* (1829—1898) — литератор, журналист, историк; в 1850-х гг.— сотрудник газеты «Московские ведомости», журналов «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник». Тургенев познакомился с ним в 1850-х гг., но в 1860-х гг. они разошлись, хотя переписка их продолжалась — известны 20 писем Тургенева к Феоктистову и 43 письма Феоктистова к Тургеневу. Позднее Феоктистов стал крупным государственным чиновником крайне реакционного направления, с 1871 по 1883 г. редактировал «Журнал министерства народного просвещения». В 1883 г. назначен начальником Главного управления по делам печати вместо П. П. Вяземского, ушедшего, по официальной версии, в связи с болезнью (см.: Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. 1848—1896. Редакция и примечания Ю. Г. Оксмана. Л., 1929, с. 216).

П. В. Анненков писал Тургеневу 3(15) января 1883 г.: «Феоктистов — шеф цензуры! Я его видел летом в Петербурге: он уже приготовился к посту, откормленный кровавым мясом, скрежеща зубами, свирепый и выдержанный, как собака-волкодав. Вяземский совсем и не был болен, а притворился больным, чтобы уйти от новых цензурных уставов» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 409).

Николай Константинович *Михайловский* (1842—1904) — идеолог народничества, критик и публицист, автор статей о Тургеневе. В декабре 1882 г. был выслан из Петербурга за участие в студенческих беспорядках.

Николай Васильевич *Шелгунов* (1824—1891) — революционный демократ, критик и публицист, был выслан из Петербурга вместе с Н. К. Михайловским. 6 декабря 1882 г. состоялся студенческий ве-

чер в Технологическом институте, на котором присутствовали Михайловский и Шелгунов. Речь Михайловского, произнесенная на этом вечере, послужила предлогом для высылки их обоих в Выборг. Подлинной причиной ссылки было то, что правительство получило сведения о связи их с революционным подпольем.

Константин Дмитриевич *Кавелин* (1818—1885) — историк, юрист, видный представитель либерального народничества. Знакомство Тургенева с Кавелиным началось в 1843 г. в Петербурге, в кружке Белинского (см.: Кавелин К. Д. Воспоминания о В. Г. Белинском.— Собр. соч. СПб., 1899. Т. 3, с. 1085—1090). Известны 7 писем Тургенева к Кавелину (1859—1881) и 1 письмо Кавелина к Тургеневу. В конце 1882 г. Кавелин перенес серьезную операцию.

Иван Александрович *Гончаров* (1812—1891) познакомился с Тургеневым в середине 1840-х гг., в 1856 г. их отношения перешли в тесную личную и творческую дружбу. Впоследствии она прервалась из-за болезненной уверенности Гончарова в сознательных заимствованиях Тургеневым планов и замыслов его произведений. До нас дошли 5 писем Тургенева к Гончарову (преимущественно в выписках, сделанных самим Гончаровым) и 12 писем Гончарова к Тургеневу. Несмотря на разрыв отношений, Тургенев с сочувствием отзывался о Гончарове, у которого с декабря 1882 г. усилилась болезнь глаз и правый глаз полностью потерял зрение. В газете «Голос» от 8(20) января 1883 г. (с. 2) было напечатано письмо в редакцию И. А. Гончарова, в котором он благодарил за юбилейные чествования в связи с 70-летием со дня его рождения и упоминал о внезапной тяжелой болезни глаз: «Одним глазом я совсем перестал видеть, в другом почувствовал боль. Это продолжается и поныне, несмотря на принятые врачами меры» (см. также: *Рус Ст*, 1912, № 6, с. 514). 1(13)февраля 1883 г. Тургенев писал Григоровичу: «Как мне жаль бедного Гончарова! Страдая сам, я ближе принимаю к сердцу его страдания».

Дочка — Полина Тургенева, в замужестве Брюэр (1842—1919, см. о ней наст. том, с. 461),— в 1882 г. с двумя детьми жила в местечке Солёр в Швейцарии, скрываясь от мужа, и постоянно жаловалась отцу на недостаток средств к существованию. Одновременно с этой дневниковой записью 31 декабря 1882 г. (12 января 1883 г.) Тургенев сообщил ей в письме о высылке денег сверхустановленной ежегодной пенсии в 5000 франков.

Здешние — семья Виардо.

Лулу — Эритт де ля Тур (Héritte de la Tour) Луи (род. 1864) — сын Луизы Эритт (дочери П. Виардо) и французского дипломата Эрнеста де ля Тур. О какой «истории» идет речь, не установлено.

Эрнст Карлович *Липгарт* (1847—1932) — живописец-декоратор. портретист, академик живописи, автор воспоминаний о Тургеневе (см.: *Лит Насл*, т. 76, с. 423—432). Липгарт несколько раз рисовал Тургенева с натуры. Портрет, о котором идет речь в дневнике,— рисунок пером, с которого была сделана гравюра для первого тома «Полного собрания сочинений И. С. Тургенева» в 10 т., завершенного И. И. Глазуновым уже после смерти писателя — в октябре 1883 г. О портрете Липгарта Тургенев упоминает в письмах к А. В. Топорову от 21 января (2 февраля) и 8(20) июня и И. И. Глазунову от 15(27) июля и 21 июля (2 августа) 1883 г.

Повесть — «Клара Милич» (первоначальное название — «После смерти»); напечатана в «Вестнике Европы», 1883, № 1, с. 13—62. О ней см. комментарий Л. Н. Назаровой в наст. изд., т. 10, с. 423.

Мопассан (Maupassant) Анри Рене Альбер Ги де (1850—1893) познакомился с Тургеневым около 1876 г. у Флобера и особенно сблизился с ним после смерти последнего. Известны шесть писем Тургенева к Мопассану (1880—1881) и четыре письма Мопассана к Тургеневу (1877—1883). Об отношениях Мопассана и Тургенева см.: Z v i g u i l s k y A. Les écrivains français d'après leur correspondance inédite avec Ivan Tourguéniev.— Cahiers Ivan Tourguéniev. Pauline Viardot. Maria Malibran. № 1, Octobre, 1977, p. 17—18. В творчестве Мопассана сказалось несомненное влияние русского писателя. Книга его рассказов «La maison Tellier» имеет посвящение: «Ивану Тургеневу — дань глубокой привязанности и великого восхищения. Ги де Мопассан». Тургенев активно пропагандировал произведения французского писателя у себя на родине, способствовал публикации переводов его произведений. Роман Мопассана «Жизнь» печатался в фельетонах газеты «Gil Blas» с 27 февраля по 6 апреля н. ст. 1883 г. 12(24) ноября 1882 г. Тургенев обратился к М. М. Стасюлевичу с предложением купить роман в рукописи и напечатать перевод в «Вестнике Европы», сопроводив свою рекомендацию высокой оценкой произведения: «Со времени появления „Госпожи Бовари" ничего подобного не появлялось ⟨. . .⟩ Заглавие романа „Une vie". Это целая жизнь честной, хорошей ⟨женщины⟩, целая интимная драма, изображенная первоклассным художником!»

Переписка со Стасюлевичем по поводу этой публикации длилась до конца года и завершилась полной неудачей. Первой оплошностью Тургенева было то, что за предполагаемую публикацию Мопассану была обещана сумма в 500 руб., т. е. 1250 фр., а Стасюлевич имел в виду 500 фр., и разницу в гонораре Тургенев выплатил писателю из собственных средств. «Во-первых: это сумма небольшая, в сущности, и меня нисколько не обременит; во-вторых — я очень рад был и буду доставить ее Мопассану из своего кармана; в-третьих,— я должен же поплатиться за свою опрометчивость»,— писал Тургенев Стасюлевичу 25 декабря 1882 г. (6 января 1883 г.). Вторая ошибка вообще помешала осуществить публикацию — это был неудачный выбор переводчика. Н. П. Цакни, по оценке Тургенева, был «прекрасным малым», который «был способен писать (и писал) журнальные корреспонденции; но, не имея никакого литературного таланта и даже плохо владея языком ⟨. . .⟩ потерпел совершенное фиаско!» (письмо к М. М. Стасюлевичу от 29 декабря 1882 г. (10 января 1883 г.)). Первоначально Тургенев предполагал сам переделать первую часть, а вторую поручить А. Н. Луканиной (см. о ней ниже), о чем она писала в своих воспоминаниях: «Я приходила к нему тогда по поводу одной работы, которую он хотел мне поручить,— дело шло о переводе романа „Une vie" Гюи-де-Мопассана с подлинной рукописи до появления ее во французской печати, но из этого ничего не вышло... Работа эта была сначала отдана другому переводчику, но он сделал ее так плохо, что она оказалась никуда не годною; при этом он слишком долго продержал рукопись у себя, и время ушло. Я должна была переводить продолжение, а Иван Сергеевич брался исправить начало, но, как я сказала, оно было слишком плохо и потребовало бы долгого труда, а времени до появления книги Мопассана оставалось мало, так это дело и было оставлено» (*Сев Вестн*, 1887, № 3, с. 82—83). «Мой хотя неудачный, но честный переводчик,— писал Тургенев Стасюлевичу 29 декабря 1882 г. (10 января 1883 г.),— не хочет слышать о какой-либо плате за свою несчастную работу— но уж это мое дело». Взамен несостоявшейся публикации

Тургенев в цитированном выше письме предложил Стасюлевичу две большие повести Мопассана, которые тот окончит нынешней весной. Однако в 1883 г. ни одно произведение Мопассана в «Вестнике Европы» не появилось. Стасюлевич писал об этом А. Н. Пыпину 2(14) января 1883 г.: «С Тургеневым у меня случилась такая история (по поводу Maupassant), что ни в сказке сказать, ни пером описать ⟨. . .⟩ Придется совсем обойтись без Мопассана» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 414).

Морис *Палеолог* (1859—1944) — французский дипломат и литератор, с 1928 г.— член Французской Академии; автор книг о политической жизни и о вопросах искусства, а также трехтомного труда «Царская Россия во время мировой войны». В 1883—1886 годах занимал дипломатические посты в Марокко, Италии и Китае. Позднее, с 1914 по 1917 г. был послом в России.

Вечер 31 декабря 1882 г. (12 января 1883 г.) Тургенев провел в клубе Общества русских художников и прочел там три произведения из «Стихотворений в прозе». Об этом вечере и других встречах с Тургеневым писал в дневнике вел. кн. *Константин Николаевич* (1827—1892), второй сын Николая I, генерал-адмирал русского флота, участник подготовки крестьянской реформы 1861 г. (см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 415—416), который слыл либералом. Тургенев познакомился с ним в Париже, и иногда прибегал к его помощи, в том числе в деле освобождения Германа Лопатина (см. письмо к П. А. Лаврову от 28 сентября (10 октября) 1879 г.).

В архиве Константина Николаевича сохранились копии двух документов, составленных Тургеневым: «Записка И. С. Тургенева о необходимости издания специального журнала для обсуждения всех вопросов, связанных с разработкой положения о новом устройстве крепостных крестьян» и программа журнала «Хозяйственный указатель» (см.: З а б о р о в а Р. Б. К судьбе записки Тургенева об издании журнала «Хозяйственный указатель».— В сб.: И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Л., 1982, с. 212—216; наст. изд., т. 12).

Ипполит *Тэн* (1828—1893) — французский философ-позитивист, литератор, историк, член Французской Академии. Тургенев познакомился с ним в конце 1860-х гг. через Флобера. Из их обширной переписки сохранились несколько записок Тургенева и Тэна. Тургенев высоко ценил историко-философские труды Тэна и внимательно прислушивался к его мнениям по вопросам литературы и искусства. Тэн относился к творчеству и личности Тургенева с неизменным восхищением и сказал после смерти писателя: «Человек и художник были в нем столь тонко воплощены!» (письмо к П. Бурже от 12 сентября н. ст. 1884 г.— T a i n e H. Sa vie et sa correspondance. Paris, 1907. V. 6, p. 184). Подробно об отношениях Тэна и Тургенева см.: М у р а т о в А. Б. Ипполит Тэн.— *Т сб*, вып. 5, с. 513—518; Z v i g u i l s k y A. Les écrivains français d'après leur correspondance inétite avec Ivan Tourguéniev, p. 23.

Гастон *Парис* (1839—1903) — французский филолог-медиевист, издатель, профессор Коллеж де Франс, с 1896 г. член Французской Академии. Тургенев был в дружеских отношениях с Парисом с конца 1870-х гг. и доверял ему редактуру переводов своих произведений. Семь писем Тургенева к Парису за 1880—1883 гг. и статья об их отношениях напечатаны в кн.: *Т*, *Nouv corr inéd*, t. 2, p. XLIV—XLVI, 71—76; ср.: M o n t r e y n a u d F. Les dernières années de Turgenev en France. Dix-neuf lettres inédites de Turgenev à des amis

français.— Cahiers du Monde russe et soviétique, 1972, v. 13, № 1, p. 51—56. Переводы шести из этих писем на русский язык опубликованы: З а б о р о в П. Р. Из новонайденных писем Тургенева к французским корреспондентам.— В сб.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 14—19. Посещение Париса состоялось по приглашению Тургенева, который писал ему в день записи в дневнике: «Дорогой друг, мне очень бы хотелось повидать вас и немного потолковать с вами». По-видимому, предполагался разговор о переводах на французский язык «Стихотворений в прозе» и «Клары Милич».

Надежда Кузминична *Скворцова*-Михайловская (1852 — после 1938) — доктор медицины, одна из первых русских женщин-врачей, была близка к передовым кругам студенческой молодежи, член петербургского кружка чайковцев, в 1870-х — 80-х гг. жила в Париже, где и познакомилась с Тургеневым. О встречах с ним она оставила воспоминания (см.: З а б о р о в а Р. Б. Воспоминания Н. К. Скворцовой-Михайловской о Тургеневе.— *Т сб*, вып. 4, с. 322—327).

Аделаида Николаевна *Луканина*, рожд. Рыкачева, во втором браке Паевская (1843—1908) — врач, писательница; с 1877 г. жила в Париже, где осенью этого года познакомилась с Тургеневым, оказывавшим ей постоянную поддержку в ее литературной работе. В последние месяцы жизни Тургенева Луканина часто исполняла обязанности его секретаря и писала письма под его диктовку. Известны 52 письма Тургенева к Луканиной. Ее воспоминания о Тургеневе — *Сев Вестн*, 1887, № 2, с. 38—59, № 3, с. 47—88; см. также: Ш у л ь г и н В. Н. Тургенев, А. Н. Луканина и А. Н. Чернышевский.— *Т сб*, вып. 5, с. 259—269.

Николай Иванович *Паевский* (1849—1916) — врач-психиатр, участник революционного движения 1870-х гг., скрылся за границу от суда по делу «193-х». Его повесть «Савка» Тургенев переслал М. М. Стасюлевичу 27 мая (8 июня) 1883 г. для публикации в «Вестнике Европы», отрекомендовав ее как вещь «интересную, талантливую, живую», которая «произведет большое впечатление». Письмо это было написано по поручению Тургенева А. Н. Луканиной. В своих воспоминаниях она записала: «Когда я принесла это письмо Ивану Сергеевичу для подписи, то он сказал: „Это слишком скромно, я гораздо высшего мнения о повести“» (*Сев Вестн*, 1887, № 3, с. 84). Повесть, однако, напечатана не была. В каталоге рукописей «Вестника Европы» за июнь 1883 г. содержится следующая запись: «Повесть „Савка“ Пайко (Паевского). Возвращено автору почтою в Париж из Карлсбада 15/VII-83» (*ИРЛИ*, Каталог рукописей, л. 209).

Николай Николаевич *Миклухо-Маклай* (1846—1888) — путешественник и ученый, автор воспоминаний о Тургеневе (см.: М и к л у х о-М а к л а й Н. Н. Собр. соч. М.; Л., 1953. Т. 4, с. 423; М о д з а л е в с к и й Л. Б. Воспоминания Миклухи-Маклая о посещении Тургенева в Париже в 1882 г.— Вест. АН СССР, 1933, № 10, с. 40—47). Знакомство их состоялось в 1876 г., после чего писатель постоянно оказывал материальную поддержку для осуществления путешествий Миклухо-Маклая (подробнее см. об этом: Г р у м-Г р ж и м а й л о А. Г. Миклухо-Маклай и И. С. Тургенев.— Изв. Всес. геогр. об-ва., т. 82. М., 1950. Вып. 1, с. 85—87). В 1882 г. Миклухо-Маклай посетил Тургенева дважды — 15(27) и 17(29) декабря — с просьбой содействовать в приобретении материалов о жизни в Новой Каледонии сосланных участников Парижской коммуны. Его просьбу Тургенев передал П. Л. Лаврову в письме от 15(27) декабря 1882 г. Об одной из этих встреч Миклухо-Маклай сделал

подробную запись в дневнике (см.: И в а н ч е н к о А. «Когда я работаю, я свободен».— Литературная Россия, 1876, № 15, 9 апреля).

Александр Александрович *Мещерский* (р. 1844), князь, секретарь Отделения статистики Русского географического общества, друг семьи Герцена, знакомый Тургенева с 1875 г. Представил ему в 1876 г. Миклухо-Маклая и обратился с просьбой о материальной помощи для завершения географических трудов путешественника (см. *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 418). Известно письмо Тургенева к Мещерскому от 13(25) августа 1876 г. с обещанием предоставить Миклухо-Маклаю три тысячи рублей в феврале следующего года. Подробнее об отношениях Тургенева и Мещерского см.: О р н а т с к а я Т. И. А. А. Мещерский.— *Т сб*, вып. 3, с. 367—373.

Натали Герцен — старшая дочь Герцена Наталия Александровна (1834—1936); получила широкое образование и отличалась разнообразными способностями, особенно литературными. С детских лет была в дружеских отношениях с Тургеневым. Сохранились 6 его писем к ней (1870—1875). 25 ноября (7 декабря) 1862 г. Тургенев писал о ней Герцену: «А дочки твои прелестные, особенно Тата, такое славное, умное, здоровое и здравое существо!» В письме от 25 ноября (7 декабря) 1869 г. он говорит о «светлом и прекрасном образе» Н. А. Герцен, оставшемся в его памяти.В 1870-х гг. Н. А. Герцен часто бывала у Тургенева и посещала вместе с ним Общество русских художников. Позднее именно ей адресовал письмо о последних днях жизни Тургенева и о его смерти А. А. Мещерский (см : G r a n j a r d Henri. Lettre de A. A. Meščerskij à Natalie Herzen.— Cahiers du Monde russe et soviétique, 1970, v. 11, № 2, p. 259—277).

Жикин М. П.— кулак, купивший у Тургенева мельницу в дер. Кальна Чернского уезда Тульской губ. и жестоко притеснявший крестьян этой деревни. В 1876 г. Тургенев пытался судиться с Жикиным в пользу кальнинских крестьян (подробно см. об этом: Г а р ш и н Е. М. Воспоминания о Тургеневе.— *ИВ*, 1883, № 11, с. 393—394). О неосуществленном замысле очерка «Всемогущий Житкин» см.: К ⟨р и в е н к о⟩ С. Н. Из литературных воспоминаний.— *ИВ*, 1890, № 2, с. 269—271).

15(27) января 1883 г.

Поль-Фердинанд *Сегон* (Segond, 1851—1912) — французский врач-хирург, генеральный секретарь Хирургического общества. Был женат на дочери французской писательницы Жюльетты Адан, знакомой Тургенева, в салоне которой они и познакомились. Весной 1882 г. Тургенев обратился к Сегону за врачебной помощью, почувствовав первые симптомы болезни; тогда же началась их переписка. 17 писем Тургенева к Полю Сегону и статья о нем опубликованы в кн.: *Т*, *Nouv corr inéd*, t. 2, p. XXXVI—XL, 37—54. 2(14) января 1883 г. Сегон произвел операцию неврома в хирургической клинике больницы Неккера, где ему ассистировали Поль Камиль Ипполит *Бруардель* (1837—1906), профессор клинической хирургии, член Медицинской академии, и *Нелатон*-«младший», сын известного хирурга Огюста Нелатона (1807—1873), профессора клинической хирургии, члена Медицинской академии. На операции присутствовал также парижский врач Эдгар *Гиртц* (Hirtz). Весной 1882 г. Тургенев рекомендовал его М. Г. Савиной как врача, которому «верить можно» (письмо от 22 марта (3 апреля) 1882 г.). Известна 1 записка Тургенева Гиртцу от 3(15) апреля 1882 г.

5(17) января 1883 г. в «С.-Петербургских ведомостях» (№ 4) было опубликовано сообщение о предстоящей операции. На следующий день Тургенев отправил телеграммы М. М. Стасюлевичу и Л. Б. Бертенсону о благополучном исходе операции, а 5 (17) января пригласил к себе запиской А. Ф. Онегина-Отто, который все время послеоперационной болезни исполнял обязанности его секретаря и попеременно с А. Н. Луканиной писал под его диктовку письма в Россию. Первое самостоятельное письмо написано Тургеневым Ж. А. Полонской 11(23) января 1883 г., в котором он, подтверждая благополучный исход операции, все же иронически относится к оптимистическим предположениям семьи Полонских о возможности для него активной жизни и даже скорого приезда в Россию: «Что тут прикажешь делать! Отныне буду утверждать, что я не только стоять и ходить, но танцевать могу — и в Россию потому не еду, что уж очень мне не хочется расставаться со здешним местом. Вот я какой молодец! ⟨. . .⟩ Через неделю я совсем здоров — и так как теперь решено, что я могу и стоять и ходить и даже танцевать — то ничего не остается более желать! Ну, а в Россию я, конечно, не поеду — таков уж мой каприз!» Подробный отчет о ходе операции и ее последствиях изложен Тургеневым в письме к Л. Б. Бертенсону от 6(18) января 1883 г., отрывок из которого был помещен в «С.-Петербургских ведомостях» (1883, № 11, 12(24) января). Выздоровление пошло успешно, однако Тургенева продолжала мучить его основная болезнь, которую считали «грудной жабой», но оказавшаяся раком позвоночника.

Лев Бернардович *Бертенсон* (1850—1929) — лейб-медик, общественный деятель, инициатор организации в России Лиги борьбы с туберкулезом; домашний врач семьи поэта Я. П. Полонского, автор воспоминаний о Тургеневе (см.: Медицинский вестник, 1883, № 36). Известно 16 писем Тургенева к Бертенсону (1882—1883) и две телеграммы Бертенсона к Тургеневу (1883). Во время предсмертной болезни Тургенева Бертенсон давал ему медицинские советы (см. письма Тургенева к Ж. А. Полонской от 11(23) января и Л. Б. Бертенсону от 19(31) января 1883 г.).

Энгалычева — Е. Н. Енгалычева (сценические псевдонимы — Эльвира Анжели, Энгели), княжна, училась пению в Петербургской и Миланской консерваториях, дебютировала в Парижской Лирической опере, затем пела в Комической опере. По возвращении в Россию в 1878 г. имела большой успех в Москве и Петербурге. Ее красивый голос, но сценическую неопытность отмечал П. И. Чайковский (см.: Чайковский П. Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка. М., 1953. Т. 2, с. 36, 63—64, 66, 119, 131, 134).

Повесть «Клара Милич» вызвала разноречивые оценки критики. Среди положительных был отзыв А. С. Суворина в «Новом времени», назвавшего повесть перлом (Незнакомец. Письма к другу.— Новое время, 1883, № 2460, 3 января). Однако в печати появилось и немало отрицательных отзывов (см. наст изд., т. 10, с. 431).

Жорж Шамро (Chamerot, 1845—1922) — владелец типографии в Париже, муж Клоди Виардо. Отношение к нему Тургенева было очень сердечным. 24 декабря 1873 г. (5 января 1874 г.) Тургенев писал о нем Людвигу Пичу: «Это чудесная, молодая, благородная, деятельная натура ⟨. . .⟩ Он владелец одной из первых здешних типографий». Это мнение, высказанное в то время, когда Шамро был еще женихом Клоди, сохранилось до самой смерти писателя.

Его прощальные слова, обращенные к Шамро, были: «Я тебе верю, у тебя такое славное, русское,— да, русское — лицо» (М е щ е р с к и й А. О последних днях Тургенева.— В сб.: На память об И. С. Тургеневе. СПб., 1883, с. 16). Ж. Шамро, его жена и Альфонс Дювернуа сопровождали гроб с телом Тургенева в Петербург и участвовали в его погребении на Волковом кладбище (ныне Литераторские мостки, филиал Музея городской скульптуры на Волковом кладбище в Ленинграде). Два письма Тургенева к Ж. Шамро и биографические сведения о нем см.: *T*, *Nouv corr inéd*, t. 2, p. L, 23—25.

Мать Полины — Хоакина Гарсиа (Joaquina Garcia), рожд. Сичес (Sitchès), в молодости певица. Тургенев познакомился с ней в Париже в 1845 или 1846 г. и был с ней в переписке (письма не сохранились).

О рассказе «*Перепелка*» см.: наст. изд., т. 10, с. 439.

Ганри Мартен — Анри Мартен (1810—1883) — французский политический деятель, историк, литератор, автор 19-томной «Истории Франции (1837—1854)»; друг семьи Виардо. Тургенев познакомился с ним в 1840-х гг. в доме Виардо (о летних приездах Мартена в 1849 г. в Куртавнель см.: V i a r d o t Paul. Souvenirs d'un artiste, p. 5). Упоминания о Мартене содержатся в переписке Тургенева и Герцена 1860-х гг. В одной из своих статей, посвященных Герцену, Мартен упомянул Тургенева как «превосходного художника нравов» (M a r t i n H. La Russie et l'Europe. Paris, 1866, p. 382). 11(23) июня 1878 г. Тургенев писал Гюставу Флоберу: «Лично я очень люблю Мартена и рад его успеху». Об отношениях Мартена с семьей Виардо и Тургеневым см.: А р д о в Е. (А п р е л е в а). Мои воспоминания о И. С. Тургеневе.— *Рус Вед*, 1904, 4 и 8 янв.

Казимир *Плевако* — капитан болгарской армии в отставке, жил в Париже, был, по всей вероятности, одним из болгарских общественных деятелей, с которыми Тургенев поддерживал отношения. Известна записка Плевако к Тургеневу, из которой явствует, что Тургенев неоднократно оказывал ему денежную помощь (подробнее см. об этом: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 423—424).

Ж⟨ером⟩ Наполеон — Наполеон, принц Жозеф Шарль Поль Бонапарт, принявший имя Жерома (1822—1891), сын короля Вестфальского Жерома Бонапарта, младшего брата Наполеона I. Был арестован за опубликование в парижской газете «Фигаро» (1883, 16 января н. ст.) манифеста против правительства Третьей республики. 1 февраля 1883 г. Палата депутатов приняла решение о высылке из страны принцев ранее царствовавших во Франции фамилий в случае попыток произвести государственный переворот.

Лазарева — лицо неустановленное.

Михаил Александрович *Языков* (1811—1885) был близок к литературным кругам, в 1840-х гг.— член кружка Белинского; в конце 1840-х — начале 50-х гг. вместе с Н. Н. Тютчевым содержал в Петербурге «комиссионерскую контору для провинциальных жителей». Тургенев был с ним в приятельских отношениях и переписывался в 1862—1881 гг. В действительности М. А. Языков умер 22 января (3 февраля) 1885 г. Ошибка Тургенева объясняется тем, что в газете «Голос» 8(20) января появилось траурное объявление о тезке и однофамильце Языкова, действительном статском советнике М. А. Языкове, смерть которого последовала 5(17) января 1883 г. (подробно см. об этом: Г р о м о в В. А. Тургенев, М. А. Языков и Н. Г. Бунин.— *T сб*, вып. 4, с. 293—298).

НЕЗАВЕРШЕННОЕ. ЗАМЫСЛЫ И НАБРОСКИ

СИЛАЕВ

(с. 213)

Печатается по черновому автографу, единственному источнику текста.

Черновой автограф хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 78; описание см.: *Mazon*, p. 156; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 239.

Впервые опубликовано: *Mazon*, p. 156—163.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 11, с. 573—580.

Набросок представляет собой начало незавершенного рассказа, относящегося по своему типу к «таинственным повестям» Тургенева. Время написания его неизвестно. Можно согласиться с мнением А. Мазона, который датирует набросок концом 1870-х годов, поскольку именно в это время Тургенева интересовали непознанные явления человеческой психики — природа снов и галлюцинаций в их соотношении с реальным миром.

Вместе с тем в наброске ощущается интерес автора и к социальной проблематике. Так, описание дворов в захолустной Коломне (тогда — окраине Петербурга) и жилища Силаева выдержано в духе натуральной школы 1840-х годов и напоминает соответствующие страницы «петербургских повестей» Гоголя и Достоевского. С другой стороны, традиции Пушкина и Лермонтова, идущие от «Пиковой дамы» и «Штосса», ощущаются и в манере Тургенева сочетать реальный и фантастический планы повествования, в реально-психологических мотивировках «таинственных» явлений. При этом автор, как это наблюдается и в рассказе «Часы», дает подробную, почти клинически точную характеристику поведения человека с больной психикой.

⟨НОВАЯ ПОВЕСТЬ⟩

(с. 220)

Печатается по автографу, единственному источнику текста.

Автограф — «Действующие лица», конспект, план (две тетради и два листа, вложенные в первую тетрадь; 25 л.). Хранится в отделе рукописей: *Bibl Nat*, Slave 78; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 235.

Впервые опубликовано: *Mazon*, p. 123—147.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 11, с. 555—572.

Новая повесть была задумана Тургеневым, по-видимому, во второй половине 1870-х годов. Об этом могут свидетельствовать как близость незавершенного замысла по тематике и художественной

манере к поздним произведениям Тургенева, так и ряд частных соображений, приводимых первым публикатором повести А. Мазоном: повесть не могла быть написана ранее 1867 г.— времени ее действия; на одном из вложенных в первую тетрадь листов находится начало письма Тургенева, датированного 13(25) октября 1877 г. (см. с. 495), а в тексте набросанного на этих листах конспекта содержатся неоднократные упоминания о большой выставке картин в Париже 1878 года. По мнению А. Мазона, конспект повести был написан в 1878—79 годах; предшествующая ему тетрадь с «Действующими лицами новой повести» — несколько ранее, скорее всего в 1877 г., а вторая тетрадь, заключающая краткий план первых пяти глав повести и открывающаяся рисунком-карикатурой, с подписью: «Муж, который убил свою жену и ее, для него невидимое, привиденье», непосредственно вслед за конспектом, в 1879 г. Это предположение в известной мере подкрепляется А. Н. Луканиной, которая, вспоминая о своих встречах с Тургеневым в 1878 году, говорит о возникновении у писателя нового замысла. «Замечу тут,— пишет Луканина,— что до меня дошел стороною слух, будто Иван Сергеевич пишет новую вещь чисто психологического характера, где выводится женщина привлекательная во всех отношениях, которую, однако, никто не любит» [1].

Заметки к повести обрываются пятой главой плана, но Тургенев, возможно, продолжал обдумывать ее и позднее, в начале 1880-х годов. А. Мазон относит к новой повести и упоминание в письме к Ж. А. Полонской от 8(20) ноября 1881 г. о намерении приняться после окончания «Отчаянного» «за другую, небольшую, но по содержанию драматическую вещь, которая вертится ⟨. . .⟩ в голове» (см: *Мазон*, с. 148).

Тургенев почти ни с кем не делился своими творческими планами, касающимися новой повести; сохранившиеся записи к ней носят рабочий характер и были сделаны только для себя.

В повести предполагалось показать два мира: с одной стороны, мир Сабины Мональдески, дочери неаполитанца Деметрио (сначала — Циприано) Мональдески, «неудавшегося ваятеля», дравшегося в 1830-м году в Париже на баррикадах, а на старости лет впавшего в нищету, лепящего «похабные статуэтки» и даже «орлов» для парижских казарм, и француженки Селины Будуа, хорошенькой, доброй белошвейки, скончавшейся вскоре после рождения дочери. Сабину воспитала ее тетка Санта, в прошлом удивительная красавица итальянского типа, вернувшаяся к брату сорока лет после бурно прожитой молодости больной и разбитой старухой. Сабина, сбежавшая из дому с помощью влюбленного в нее старика, офранцузившегося прирейнского еврея Прейсса, также испытала превратности судьбы: театр, о котором она мечтала, не оправдал ее надежд, не удалось ей заняться и литературной деятельностью; актер Шарль, которого она полюбила, вскоре бросил ее, в Руане она сошлась с магнетизером, участвовала в его сеансах, но через год вернулась в Париж «без гроша», в отчаянии; ее снова поддержал Прейсс, предложив ей жить в своем доме. Характеризуя Сабину и лиц, ей сопричастных, Тургенев обрисовывал хорошо знакомую ему полубогемную парижскую среду.

«Незавершенная повесть,— замечает Мазон,— проникнута атмосферой Парижа, от кабинета хиромантки на ул. Монторгейль до

---

[1] Л⟨уканина⟩ А. Мое знакомство с И. С. Тургеневым.— *Сев Вестн*, 1887, № 2, с. 47.

подозрительных лавочек Пале-Рояля. Всё это основано на личном опыте автора...» (*Мазон*, с. 182). С Сабиной связана и другая сфера новой тургеневской повести — стихия «таинственного» в ней: странная власть Сабины над встретившимся ей в поезде путешествующим русским, Травиным, умение ее читать мысли, отгадывать события из жизни, галлюцинации, необыкновенные сны, стуки.

Травин — представитель другой среды, изображение которой намечалось в повести. Это одинокий независимый тульский помещик славянофильского склада, окончивший Московский университет, бывший несколько лет уездным предводителем дворянства, но отказавшийся от повторного избрания и уехавший за границу. К этому же кругу относятся и Ланины — мать, сорокалетняя «хорошенькая» вдова богатого помещика и заводчика Ланина, и ее семнадцатилетняя дочь, тихая, поэтическая, правдивая русская девушка, с которыми Травин познакомился еще в Москве. С ними часто встречается Чубко, русский корреспондент, живущий во Франции. Это мир, связанный с русской действительностью, обычно воспроизводимой в тургеневских повестях и романах. О Травине в его «формуляре» сказано: «Ужасно удобная натура, которой нужно здоровье, богатство и тишина. Только струйка бьет мистическая: и тут-то он попался» (с. 222).

Такова внутренняя завязка действия, приводящая в соприкосновение эти два мира. Однако, как позволяют судить сохранившиеся подготовительные материалы, писатель в первую очередь заботился не о сюжете, а о создаваемых типах и взаимоотношениях героев. Первая тетрадь с «Действующими лицами» заполнена характеристиками, составление которых наглядно демонстрирует художественный метод Тургенева. Многие персонажи имеют прототипов, и часто не одного, а нескольких, черты которых преломляются, органически сочетаются и служат лишь исходным моментом для создания самостоятельного образа. Так, в образе центральной героини повести должны были найти отражение черты и средней дочери Полины Виардо Клоди (Диди), и жены А. К. Толстого, Софьи Андреевны Толстой, и неизвестной М. (возможно, Марианны Виардо). У Клоди и М. Тургенев берет главным образом детали для портрета Сабины, отмечая в описании ее наружности,— «линия бедер как у М.», «губы как у Диди». Любимица Тургенева Клоди Виардо вообще пробуждала отклик в воображении Тургенева-художника. «Я положительно питаю обожание к этому очаровательному существу, такому чистому и грациозному; я умиляюсь, когда образ ее встает перед моими глазами...»,— писал Тургенев Полине Виардо 17(29) июня 1868 г. Посылая в 1868—1869 годах фотографическую карточку Клоди многим своим знакомым (Н.А. Милютину, А. А. Фету, В. П. Боткину, И. П. Борисову, В. Делессер), Тургенев замечал, что это «удивительная девушка», о которой «нужно стихи писать» (см. письма к Н. А. Милютину от 27 февраля (11 марта) 1869 г. и А. А. Фету от 18 февраля (2 марта) 1869 г.).В конспекте он первоначально обозначил для себя героиню новой повести именем Клоди (см. с. 234). В то же время, характеризуя внутренний мир Сабины, Тургенев сделал приписку: «взять кое-что от гр. Толстой». Действительно, собираясь вывести в повести женщину несколько загадочную, существо «несчастное, странное, обаятельное и ... несимпатичное», Тургенев воссоздавал ряд индивидуальных особенностей С. А. Толстой, с которой он познакомился, как и Травин с Сабиной, при каких-то необычных обстоятельствах.

«Мы так странно сошлись и разошлись...»,— писал Тургенев Софье Андреевне (в ту пору Миллер) 6(18) марта 1853 г.,— и продолжал далее в том же письме: «Я никогда не переставал чувствовать, что я ни с кем так легко не сошелся бы, как с Вами — а между тем я не возобновил своего посещения. Про Вас мне точно сказали много зла — но это нисколько не подействовало... Видно, тогда не судьба была!» Двоюродная сестра А. К. Толстого Е. В. Львова, послужившая прототипом для другой героини повести — младшей Ланиной, в воспоминаниях своих характеризовала С. А. Толстую как натуру «сложную и загадочную», подчеркивала интерес ее к людям, «которых надо отгадывать», ее манеру разыгрывать «какую-то роль», «вечную затаенную грусть» ее, о которой трудно было судить, «настоящая ли или напускная», и вместе с тем «уменье очаровать, когда она этого хотела» [2]. Аналогичные черты оттенял Тургенев и в психологическом складе Сабины, которую мыслил не только как полуитальянку, полуфранцуженку, но и как внучку русской княгини.

«Красивая» наружность Ипполита Ивановича Травина списана Тургеневым, как он помечает, с «брата г-на Гризе» (с. 220), одного из членов семьи промышленника Гризе, находившейся в близких отношениях с семьей Виардо (*Мазон*, с. 150). Однако, наделяя родственников Травина падучей болезнью и психической неуровновешенностью и объясняя этим некоторую его склонность к мистицизму, Тургенев добавляет: «Выражение как у покойного Сатина и у сумасшедшего Н. Веревкина...» (с. 220), имея в виду поэта и переводчика Н. М. Сатина, умершего в 1873 г., и Н. А. Веревкина (р. 1819), общего знакомого Тургенева и Л. Толстого; с ним они встречались в 1857 г. за границей.

Софья Алексеевна Ланина и ее дочь Елизавета Павловна также соотнесены Тургеневым с реальными лицами. О старшей Ланиной сказано, что она «худенькая, изящная — белокурая. Нежные черты, не глупа, но в сущности довольно вульгарна — не без хитрости и лени (вроде Скобелевой)» (с. 223). С Ольгой Николаевной Скобелевой, урожд. Полтавцевой, женой генерала Д. И. Скобелева и матерью М. Д. Скобелева, Тургенев встречался в 1860-х годах в Париже, так как ее дочери некоторое время брали уроки пения у Полины Виардо, а позднее в России. Е. И. Бларамберг-Апрелева, описывая встречу О. Н. Скобелевой и Тургенева в 1878 г. в Москве, вспоминала, что «Иван Сергеевич внимательно слушал, по обыкновению запечатлевая в памяти особенности жестов, речи, выражение лица...»[3] Обдумывая как раз в это время свою повесть, Тургенев, возможно, использовал для нее наблюдения, о которых пишет Бларамберг.

О Лизе, дочери Ланиной, которая в конспекте и плане названа также то Машей, то Бетси, Тургенев дважды внес для себя заметку: «Хорошая русская барышня (лицо взять у кн. Ел. Львовой)», «Маша вроде д-цы 〈. . .〉 Львовой, петерб〈ургская〉 хорошая барышня» (с. 223 и 235). Тургенев имел в виду княжну Елизавету Владимировну Львову, писательницу, дочь цензора В. В. Львова, пострадавшего в 1852 г. за данное им разрешение на выпуск отдельной книгой «Записок охотника». Тургенев познакомился с ней в 1873 г. в Карлс-

---

[2] М а т в е е в а Е. (урожд. кн. Львова). Воспоминания о гр. А. К. Толстом и его жене.— *ИВ*, 1916, № 1, с. 174, 167, 171, 172.

[3] А р д о в Е. (Апрелева). Из воспоминаний об И. С. Тургеневе.— *Рус Вед*, 1904, № 25, 25 января.

баде. В то время это была молоденькая девушка. Впоследствии Е. В. Львова переписывалась с ним и присылала ему свои произведения [4]. По всей вероятности, не только «лицо», но и контуры самого типа чистой, серьезной, религиозной русской девушки определялись в этой повести для Тургенева личностью Е. В. Львовой [5]. Советуя П. В. Анненкову в письме от 19 ноября (1 декабря) 1873 г. познакомиться в Ницце с семейством Львовых, Тургенев особо обращал его внимание на младшую дочь, по его словам, «очень оригинальное существо» [6].

В круг прототипов персонажей повести Тургенев ввел также близких своих родственников. Так, говоря о матери Сабины, Селине Будуа, которая в характеристике названа дочерью скромной парижской белошвейки, Тургенев в скобках заметил: «Автор, который всё знает, сказал нам, что отец С⟨елин⟩ы был его собственный отец, полк⟨овник⟩ С. Н. Тургенев, который в 22 году был в Париже и считался изв⟨естным⟩ Дон-Жуаном» [7] (с. 234). В свою очередь, сама Селина — «белокуренькая премиленькая девочка вроде покойницы Лизы Хрущевой...», т. е. двоюродной сестры писателя Елизаветы Алексеевны Хрущевой, урожденной Тургеневой, роман которой с В. П. Боткиным возбудил летом 1851 г. много толков в семье брата И. С.— Н. С. Тургенева [8].

В сатирическом аспекте в повести должен был фигурировать Пантелей Пантелеевич Чубко, для обрисовки образа которого Тургенев намеревался «списать Щербаня». Николай Васильевич Щербань, сотрудничавший в «Московских ведомостях» и «Русском вестнике» и редактировавший за границей, в Брюсселе, газету «Le Nord», бывшую негласным органом русского правительства, познакомился с Тургеневым в начале 1860-х годов, неоднократно встречался с ним в Париже, переписывался, перевел по просьбе Тургенева ряд сказок Перро для сборника «Волшебные сказки», над переводом которого ранее начал работать сам писатель (см. письма Тургенева 1862—1866 гг.). Тургенев поручил ему держать корректуру «Отцов и детей», но позднее с ним разошелся, отчасти в связи с газетной полемикой о характере вмешательства М. Н. Каткова в текст «Отцов и детей». В письме к В. В. Стасову от 13 (25) ноября 1874 г., написанном по поводу этой истории, Тургенев называл Щербаня «дрянным человеком», с которым ему «нежелательно знаться». Характеристика Чубко и представляет интерес в том отношении, что позволяет судить об истоках тургеневской сатиры и об отдельных принципах построения сатирического образа. В ней Тургенев подчеркивает реакционную сущность своего персонажа, способность его «на вся-

---

[4] См.: Львова Е. В. Из воспоминаний об Иване Сергеевиче Тургеневе и его писем.— Новое время, 1910, № 12497, 25 декабря.

[5] См. цитировавшиеся выше (с. 498) воспоминания Е. В. Львовой о С. А. Толстой.

[6] Отзывы Тургенева о первой повести Е. В. Львовой (псевдоним О. Шелешовская) см. в письмах к М. М. Стасюлевичу от 2 (14) сентября 1875 г. и к П. В. Анненкову от 28 ноября (10 декабря) 1875 г.

[7] Ср.: Zviguilsky T. Varvara Pètrovna Loutovinova (1788—1850), mère d'Ivan Tourguéniev.— Cahiers, 1980, № 4, p. 57 (рецензия Л. А. Балыковой «Новое во французском тургеневедении».— Русская литература, 1982, № 3, с. 218).

[8] См. о ней: *Т и круг Совр*, с. 146—148; *Боткин и Т*, с. 343—348.

кую тайную подлость», подслушивание; «пишет корреспонденции, воображает, что знает Францию и французский язык,— картавит по-французски» (с. 224) — отмечает Тургенев. Последние две черты заимствованы у Щербаня, печатавшего в «Le Nord» корреспонденции, выдержанные в официально патриотическом духе и нередко посвященные событиям французской жизни. Однако, изображая персонажи, подобные Чубко или старшей Ланиной в различных жизненных сферах (в быту, любви и т. д.), Тургенев далеко отходит от первоисточника этих образов, прибегает, особенно в характеристике Чубко, к сгущению красок, гиперболе, резкой иронии.

Описание менее значительных действующих лиц повести Тургенев зачастую также заменяет сравнением с известными ему людьми (см. ниже, реальный комментарий). Все эти характеристики сами по себе являются образцом высокого мастерства тургеневской портретной психологической зарисовки, которое проявилось еще в 1860-е годы в «игре в портреты», практиковавшейся в семье Виардо (см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 427—576), а затем получило развитие в биографических заметках к «Несчастной», «Степному королю Лиру», «Нови». Позднее, в 1882 г., незадолго до смерти, Тургенев обратился к этой же форме работы в «Наталии Карповне» (см. наст. том, с. 246).

Детально обдумав характеры героев повести, Тургенев на втором этапе своей работы обратился к ее сюжету, который вкратце набросал на двух листах конспекта, начиная с событий в вагоне поезда и кончая женитьбой Травина на Маше Ланиной и получением сначала браслета от Сабины, затем странного, разочаровавшего его известия о ней от Чубко. Во второй тетради Тургенев уже начал распределение материала по главам, но довел его до 6-й главы, остановившись на свидании Сабины с Травиным, во время которого он узнает, что Сабина его «соотечественница».

Несмотря на обилие подготовительных материалов, многие моменты проблематики повести остаются не до конца проясненными. В реалистическую ткань повести вплетается тема «таинственного», повороты сюжета иногда носят авантюрный, неожиданный характер, рисуются исключительные психологические ситуации. Первая тетрадь завершается подсчетами процентов итальянской, французской и русской крови у Сабины (см. с. 234). Это имело для Тургенева экспериментальное значение и связано с его интересом в эти годы к естественнонаучным вопросам, в том числе и к вопросам наследственности, галлюцинаций, снов, а также с биологизмом в романах Золя. Рядом своих мотивов наброски к повести перекликаются с другими рассказами и повестями Тургенева [9], особенно с наиболее близкими к ней по времени создания «Песнью торжествующей любви» (1880—1881) и «Кларой Милич» (1882). Странная власть Муция над Валерией, с которой она борется и которой безотчетно подчиняется, сопровождающий его молчаливый малаец, пряные вина и кушанья — всё это напоминает отношения Травина и Сабины, охраняемой не-

---

[9] В автореферате кандидатской диссертации «Таинственные повести В. Ф. Одоевского и И. С. Тургенева и проблемы русской психологической прозы» (Л., 1980) М. А. Турьян пишет: «Попытку прямо связать психические явления с . . . ⟨биологическим⟩ субстратом мы находим в набросках „Новой повести“. И в „Сне“ и в „Новой повести“ примечателен интерес Тургенева к южному и восточному психологическому складу и темпераменту. Этот интерес, характерный еще для романтиков, у Тургенева приобретает новое качество» (с. 21).

грпянкой Иудифь, и обстановку, в которой они встречаются. В какой-то мере можно провести аналогию и с «Историей лейтенанта Ергунова», где близкие мотивы разработаны в сниженном, несколько комическом плане. Образ Сабины родственен и образу Клары Милич, девушки одаренной, наделенной сильной волей и противоречивым характером, производящей на героя и отталкивающее и обаятельное впечатление и внушающей чувство своему «суженому» после смерти. Как героиня «Фауста», Вера, которая видит во сне свою умершую мать, Сабина рисует очень похожий портрет своей матери, приснившейся ей. Приписка (с. 229) к характеристике Сабины: «Болезнь неизвестная.— Видения, стуки...» вызывает в памяти тургеневские рассказы 1870-х годов «Стук... стук... стук!» и «Собака».

В заметке о явлении Санте,— которая живет «с фантомами и видит фантомы», гадает на картах, на четках,— ее прапрадеда Мональдески «в весьма странном виде, не похожем на исторический костюм XVII века» (с. 226), затрагивается мотив кажущихся потусторонних видений, нашедший отражение и в задуманной в конце 1870-х годов, но тоже незавершенной повести «Силаев». Символический образ «маленького зеленого паука с толстой желтой мухой», упоминание Сабины о Леди Макбет (с. 238) и другие подобные штрихи придавали повести своеобразный колорит, выявляли в ее стилистической тональности сходство не только с русской, но и с западноевропейской новеллой. Возможно, что, не найдя равновесия между реалистической основой повести и «загадочными» элементами в ней, между новыми приемами повествования и старыми, уже ставшими традиционными, Тургенев прервал работу над ней, по-видимому даже не начав писать самый текст.

С т р. 223. . . . *вроде Арк⟨адия⟩ Карпова.*— А. Карпов — дальний родственник Тургенева со стороны матери. В заметке, посвященной Н. Д. Карпову как «уездному прогрессисту», Н. М. Чернов писал: «Карповы состояли с Лутовиновыми в каком-то отдаленном родстве. Писатель поддерживал близкое знакомство с сестрой Н. Д. Карпова — Е. Д. Шеншиной». Вспоминая свои встречи с Тургеневым в усадьбе Е. Д. и Н. Н. Шеншиных, А. А. Фет писал: «...в доме нередко появляются двое Карповых ⟨. . .⟩ родные братья хозяйки. Аркадий, губернский умница и передовой и старший Николай, физически совершенно развинченный ⟨. . .⟩ Поэтому все, поминая его, говорили: „*Карпов-мягкий*“, что не мешало ему с видом знатока толковать о литературе...» (*Т сб*, вып. 2, с. 273).

С т р. 224. *Вроде ген⟨ерала⟩* [*Уил* ⟨. . .⟩] *Рей, которого я видел у г. Делессер.*— Генерал *Рей* — лицо неустановленное (см.: Д у б о в и к о в А. Н. Еще об «Игре в портреты».— *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 452). Валентина *Делессер*[10] (Delessert), рожд. гр. де Лаборд (1806—1894) — близкая знакомая Тургенева, а также П. Мериме и М. Дюкана, с которой Тургенев переписывался и в салоне которой часто бывал.

С т р. 225. *...рот как у людовизиевской Юноны.*— Имеется в виду статуя работы итальянского скульптора Бернардино Людовизи (1713—1749).

С т р. 226. *...напомнить сцену свидания г-жи Гарсиа с ее братом Ситчесом...*— *Гарсиа* Хоакина (Joaquina Garcia), рожд. Сичес

[10] В первой публикации ошибочно — Делепер (см.: Mazon, p. 127).

(Sitches, умерла в 1864 г.) — мать Полины Виардо. *Ситчес* (Sitches) Пабло — дядя П. Виардо, брат ее матери.

С т р. 227. *...поэзию любит возвышенную, почти риторическую. Любит читать стихи Ламартина.*— К сентиментально-риторической поэзии Ламартина Тургенев относился с иронией. См. письма к Полине Виардо от 7, 8, 9 (19, 20, 21) июля 1849 г., С. Т. Аксакову от 27 декабря 1856 (8 января 1857 г.) и от 30 июня (12 июля) 1874 г., а также статью М. П. Алексеева «Мировое значение „Записок охотника“» (*Орл сб*, *1955*, с. 72—73).

С т р. 229. ...(*вспомнить фигуру женщины в Luc sur mer*)...— Luc sur mer — местность во Франции в департаменте Кальвадос, в расстоянии 7 часов езды от Парижа, с удобно устроенными морскими купаниями.

С т р. 230. *1798.— Championnet* ∽ *Chute.* — Пометы об исторических лицах и событиях в Италии, относящихся к концу XVIII — началу XIX века.

С т р. 231. *...соперником Кановы...*— Канова Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор, наиболее прославленными работами которого являются скульптурные группы «Дедал и Икар», «Тезей, убивающий Минотавра», «Амур и Психея», «Три грации», статуи «Геба», «Персей с головою Медузы», Наполеона I (в виде бога) с лавровым венцом на голове и ряд надгробий известным лицам.

...любил Альфьери ∽ *Серторий и Муций...* *Альфьери* Витторио (1749—1803) — итальянский драматург и поэт, автор трагедий с политической республиканской окраской. *Серторий* Квинт (Quintus Sertorius, ок. 123—72 до н. э.) — римский политический деятель и полководец, один из вождей рабовладельческой демократии. *Гай Муций* Сцевола (G. Mucius Scaevola) — легендарный римский герой, участник заговора против этрусского царя Порсены, осаждавшего Рим в 508 г. до н. э. По преданию, Муций был схвачен и в доказательство своей неустрашимости положил правую руку на огонь жерственника, дав ей сгореть. Пораженный поступком Муция и его речами, Порсена отпустил его и отступил от Рима. Муций получил прозвище Сцевола (левша).

С т р. 233. *...лицо между Crémieux и Schlesinger* (см. также с. 236 — *вроде Шлезингера*).— *Crémieux* (Кремьё) Исаак-Моисей (Адольф) (1796—1880) — крупный адвокат и политический деятель, противник Наполеона III. Он упомянут в подписи к одному из портретов, сделанной Полиной Виардо при совместной с Тургеневым «игре в портреты» (см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 531 и 440). Морис *Шлезингер* (Maurice-Adolphe Schlesinger, 1797—1871) — владелец музыкального издательства в Париже, родившийся в Берлине и переехавший во Францию в 1819 г. А. Мазон в заметке, посвященной Морису Шлезингеру как прототипу Абеля Прейсса в незавершенной повести Тургенева и Жака Арну в романе Флобера «Воспитание чувств», отмечал, что каждый из писателей заимствовал лишь отдельные частности его биографии, характера и внешнего облика, что не следует, например, «искать в жизни Шлезингера романа Прейсса и Сабины» (M a z o n André. Un modèle commun à Flaubert et à Tourguénev; Maurice Schlesinger.— Revue des études slaves, 1934, t. 14, fasc. 34, p. 227—229; см. также: M a z o n A. Quelques personnages en quête d'un roman (à propos d'un projet de nouvelle à Ivan Tourguénev).— Revue de Paris, 1930, 1 septembre, p. 28—30).

...поклонник Мейербера.— Джакомо Мейербера (Meyerbeer, 1791—1864) Тургенев высоко ценил как одного из лучших предста-

вителей французской оперы (см. комментарий к письму В. В. Стасову от 15 (27) марта 1872 г.— *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. IX, с. 559).

С т р. 236. *...вроде Albert...*— По предположению А. Мазона, имеется в виду реальное лицо, проживавшее в Париже — rue Compans, 14 (Annuaire médical Roubaud).— См.: *Мазон*, с. 174.

С т р. 237. *...счастливый день, по ее приметам, как у Фредро...*— С художником Максимилианом Фредро (Fredro, р. 1820) Тургенев во второй половине 1860-х годов часто встречался на музыкальных вечерах в доме Полины Виардо, к опереттам которой Фредро писал декорации (см. о нем: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. VI, с. 634).

⟨СТАРЫЕ ГОЛУБКИ⟩

(с. 242)

Печатается по черновому автографу, единственному источнику текста.

Черновой автограф — отрывок («Был осенний тусклый день...»), без заглавия и даты, 2 л. (4 страницы). На последней, четвертой странице — помета: «См. продолжение в другой тетради» (эта тетрадь неизвестна). Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 86; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 272.

Впервые опубликовано в издании: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XIII, с. 348.

В воспоминаниях «И. С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину» Я. П. Полонский, воспроизводя содержание литературных бесед в Спасском летом 1881 г., изложил сюжеты двух повестей, о замысле которых рассказывал Тургенев. Одна из повестей должна была называться «Старые голубки». «Вот недавно начал я повесть „Старые голубки“,— говорил, по свидетельству Полонского, Тургенев,— и далее передавал сюжет ее следующим образом: „У некоего старика, управляющего имением, живет приезжий сын, молодой человек. К нему приехал товарищ его, тоже молодой. Народ веселый и бесшабашный; обо всем зря сложились у них понятия, обо всем они судят и рядят, так сказать, безапелляционно. На женщин глядят легкомысленно и даже несколько цинично. В это же время в усадьбе поселяется старый помещик с женой, оба уж немолодые, хотя жена и моложе. Старик только что женился на той, которую любил в молодости. Молодые люди потешаются над амурами стариков, начинают за ними подсматривать, бьются об заклад... Наконец, сын управляющего шутя начинает волочиться за пожилой помещицей, и что же замечает, к своему немалому удивлению? — что любовь этих пожилых людей бесконечно сильнее и глубже, чем та любовь, которую он когда-то знал и наблюдал в знакомых ему женщинах. Это его озадачивает. Мало-помалу он влюбляется в пожилую жену старого помещика, и — увы! — безнадежно. С разбитым сердцем уезжает неосторожный, любопытный юноша. И пари он проиграл, и проиграл прежний мир души своей. Любовь уже перестала казаться ему прежней шалостью или чем-то вроде веселого препровождения времени“» (Нива, 1884, № 4, с. 90).

Публикуемый отрывок представляет собой начало этой задуманной Тургеневым повести. Используя характерный для многих повестей и рассказов прием обрамления — введение повествователя, вспоминающего эпизод из своей юности,— Тургенев дает экспози-

цию событий, о дальнейшем развитии которых можно судить по приводимому Полонским сюжету. В этой экспозиции уже намечены образы основных действующих лиц повести.

Время устного рассказа Тургенева о замысле «Старых голубков» определяется, как сообщал Полонский, днями пребывания в Спасском Д. В. Григоровича, с 27 июня (9 июля) по 2 (14) июля 1881 г. Из воспоминаний известно также, что Тургенев начал писать повесть «недавно». «Написал несколько строк,— приводит Полонский далее слова Тургенева,— и дальше не мог; а сюжет мне очень нравился, и я глубоко, со всех сторон, его обдумал» (там же). Затем указал на сложности, с которыми столкнулся в работе над «Старыми голубками»: «... это была бы,— по словам Тургенева,— одна из самых трудных по исполнению повестей ⟨. . .⟩, так как ничего нет легче, как в таком сюжете переступить черту, отделяющую серьезное от смешного и пошлого; и — ничего нет труднее, как изобразить любовь 50-летнего старика, достойного уважения, и изобразить так, чтоб это не было ни тривиально, ни сентиментально, а действовало бы на вас всею глубиною своей простоты и правды» (там же).

Тургенев, по-видимому, начал работать над повестью после своего приезда в Спасское 31 мая (12 июня) 1881 г., вновь окунувшись в родной быт, который он собирался изобразить, и набросал до 27 июня (9 июля) 1881 г. первые 4 страницы. Однако замысел повести к этому времени, как отмечалось выше, он уже «глубоко, со всех сторон, ⟨. . .⟩ обдумал».

Листы повести хранятся в Парижской национальной библиотеке в общем фонде с большой рукописной книгой, которая, как видно из надписи, сделанной автором, была куплена 6 (18) ноября 1871 г. [1] и содержит в себе автографы произведений Тургенева, написанных в 1871—1879 гг. (описание см.: *Mazon*, p. 80—84). На обложке этой книги есть записи, нанесенные в разное время, среди которых особый интерес представляет список «предстоящих работ», набросанный в ее правом верхнем углу. В этот список включены произведения, над которыми Тургенев работал («Конец Чертопханова», «Пегас», «Пунин и Бабурин») или намеревался работать («Русский немец и реформатор», «Приметы», статья о «дроздах» [2], письмо-рецензия на комедию А. Дюма-сына — «Princesse Georges», поставленную в Париже 4 декабря 1871 г. [3]) с конца 1871 по 1874 г. Под номером 9 в этом списке, значилось название «Дряхлые голуби», которое, повидимому, было первой фиксацией замысла повести. По мере написания того или иного произведения Тургенев вычеркивал их заглавия из списка горизонтальной чертой; замыслы отмененные он перечеркнул, сверх того, еще и косыми вертикальными штрихами (статью о «дроздах» и «Приметы»). Не вычеркнутыми остались только два пункта — «Дряхлые голуби» и «К. Аксаков и славянофилы» [4]. В итоге можно сделать вывод, что замысел повести «Старые голубки» возник у Тургенева еще в конце 1871 — начале 1872 г., когда он занес ее в план «предстоящих работ», и до марта 1874 г. (к моменту окончания «Пунина и Бабурина», наиболее позднего хронологически

---

[1] Надпись сделана, видимо, несколько позднее — по памяти, так как дата «1871» исправлена из «1870».

[2] Вероятно, очерк для «Записок охотника».

[3] Судьба этой рецензии неизвестна.

[4] Об очерке «Семейство Аксаковых и славянофилы» см. наст. том, с. 517—520.

произведения, внесенного в список) она написана не была. Не довел до конца работу над ней Тургенев, как было сказано выше, и в июне 1881 г.

Психологическая ситуация, изображаемая в этой повести, — глубокое чувство к женщине, которая не свободна, выдержавшее испытание временем и не убоявшееся насмешек окружающих, в какой-то мере была близка самому Тургеневу. С. Л. Толстой, вспоминая о последнем приезде Тургенева в Ясную Поляну в августе 1881 г. и о высказанных им в разговоре суждениях о любви и счастье, возражал «недружелюбному его критику» Н. Н. Страхову, по словам которого «почти во всех романах Тургенева один молодой человек хочет жениться на одной девице и никак не может». «Тургенев,— писал С. Л. Толстой,— певец не плотской любви, а чистой, самоотверженной любви, которая может ограничиться взглядами и намеками, но которая нередко, по выражению Мопассана, сильнее смерти ⟨. . .⟩ Он сам до старости лет был тем юношей, который умел любить глубоко и самоотверженно, но никак не мог жениться. Его мать говорила про него; он однолюб, он может любить только одну женщину» (Т о л с т о й С. Л. Очерки былого. Тула, 1965, с. 334).

Сюжет «Старых голубков», известный в пересказе Полонского, привлек внимание исследователей творчества Тургенева. Н. Л. Бродский отметил в нем мотив, встречающийся в тургеневских произведениях и письмах 1870-х годов. Приведя отрывок из письма Тургенева к А. П. Философовой от 18 (30) августа 1874 г., в котором говорится, что «самоуверенность, преувеличение, известного рода фраза и поза, даже некоторый цинизм составляет неизбежную принадлежность молодости», Бродский писал, что в задуманной Тургеневым повести «один из подобных людей пал жертвой любви, раздавленный трогательным чувством романтически настроенных „отцов“» (Б р о д с к и й Н. Замыслы И. С. Тургенева. М., 1917, с. 20—21). А. Е. Грузинский,— объясняя характерную для 1870-х годов тенденцию в творчестве Тургенева к разработке «психологически-бытовых» и «чисто психологических» тем отчасти личными склонностями и настроениями писателя этих лет, отчасти реакцией его на резко отрицательные отзывы критики о его последних романах большого общественно-политического звучания, а также влиянием окружающей его французской литературной среды,— писал о «Старых голубках»: «Тут виден уже наклон в сторону исключительных, редких психологических сюжетов» (*Грузинский*, с. 217).

Судя по сохранившемуся началу «Старых голубков», повествование в них должно было быть выдержано в лирико-психологических тонах и окружено реальной социально-бытовой атмосферой; и они заняли бы свое место в ряду таких повестей Тургенева, как «Затишье», «Первая любовь», «Вешние воды». С другой стороны, «Старые голубки» перекликаются с рассказами и повестями Тургенева, герои которых представляли русский XVIII век, были цельными натурами, носителями простых и сильных чувств. Время действия повести — 1820-е годы. «В эти месяцы 182 ⟨. . .⟩ года, я, благополучно сдавши экзамены, прибыл в деревню»,— вспоминает рассказчик. Если даже это конец 1820-х годов, то всё же молодость старика-помещика и его подруги приходилась на 1790-е годы, карамзинское время: ровесниками их были и герой «Бригадира», и старички Телегины из «Старых портретов», и Фомушка и Фимушка из «Нови».

УЧИТЕЛЯ И ГУВЕРНЕРЫ

(с. 245)

Печатается по автографу, единственному источнику текста.

Автограф хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; упоминание см.: *Mazon*, p. 92—93; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 342, л. 4.

В собрание сочинений впервые включено: *Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. XIII, с. 352.

Датируется предположительно ноябрем 1881 г., так как написано в тетради вслед за первоначальным конспектом рассказа «Отчаянный», составленным в первой половине октября ст. ст. 1881 г. (см. наст. изд., т. 10, с. 404). Представляет собой перечень действующих лиц рассказа, предназначенного, по-видимому, для цикла «Отрывки из воспоминаний — своих и чужих» (там же, с. 398).

С т р. 245. *Дессёр-старик.*— Имя Дессера (m-r Dessert) см. также в плане романа «Два поколения»: наст. изд., Сочинения, т. 5, с. 351.

NATALIA KARPOVNA

(с. 246)

Печатается по рукописи, единственному источнику текста.

Рукопись на французском языке, авторизованная Тургеневым запись Полины Виардо, с поправками Тургенева; без даты, 4 л. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 78; описание см.: *Mazon*, p. 98; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 405.

Впервые опубликовано, с некоторыми неточностями: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 262—264.

В собрание сочинений включено впервые в издании: *Т, ПСС и П*, *Сочинения* т. XIII, с. 353—364.

«Наталья Карповна» — один из последних неосуществленных замыслов Тургенева; текст записан Полиной Виардо по-французски под диктовку писателя. Просматривая рукопись, Тургенев внес в нее небольшие дополнения и исправления. Поставленная перед заглавием на первом листе рукой Тургенева цифра «1880» не является датой возникновения замысла или записи текста, как предполагал М. К. Клеман [1], а обозначает, в соответствии с обычными пометами Тургенева в подобных случаях, время действия. Доказательством этого служит соотношение между годом рождения Наталии Карповны (продиктованная первоначально цифра «1820» отменена вписанной позднее Тургеневым датой «1830») и возрастом ее в момент начала повествования (50 лет).

Тургенев диктовал свои заметки к «Наталии Карповне» в период тяжелой предсмертной болезни, когда он сам после операции 2 (14) января 1883 г. писать уже не мог. Возможно, что Полина Виардо, излагая в письме к М. М. Стасюлевичу от 7 июня н. ст. 1885 г. твор-

---

[1] См.: К л е м а н М. К. Хронологический указатель литературных работ и замыслов И. С. Тургенева.— В сб.: И. С. Тургенев. Л., 1934, с. 383.

ческую историю рассказа «Конец», продиктованного Тургеневым «дней за пятнадцать до своей кончины», имела в виду «Наталию Карповну», когда она писала: «Бедный Тургенев, для него было такое наслаждение диктовать этот рассказ, что он хотел немедленно начать таким же образом со мной большую подготовительную работу к большому роману, который был им задуман. Но, увы, болезнь ухудшалась, и он мог продиктовать только имена действующих лиц» (*Стасюлевич*, т. 3, с. 268—269) [2].

Сохранившиеся наброски к «Наталии Карповне» — это перенумерованный перечень персонажей с краткими характеристиками. На четырех листах перечислены девять персонажей. Самой Наталии Карповне (№ 1), обедневшей помещице, вдове, доброй, бесцветной, робкой, предназначена была, по-видимому, в какой-то мере сюжетно объединяющая роль: в ее доме должно было завязываться и отчасти происходить действие вплоть до развязки — ареста сына Наталии Карповны. Главными героями явились бы «жизнерадостный революционер» Пимен Пименыч (№ 3); сын Наталии Карповны Павел Андреич, болезненный, восторженный, с пылким желанием «что-то совершить» (№ 2); дальняя родственница Наталии Карповны, 18-летняя Кася, независимая и энергичная (№ 4); страстная, много пережившая, требовательная к себе и другим Виктория, в которой, по словам автора, «вся поэзия и сила, заключенные в этом рассказе» (№ 9). Народная среда представлена старым слугою Антоном, привязанным к семье и дому, у которого сердце, способное горячо любить, и не мирящимся с рабством (№ 5), и его другом, 50-летним крестьянином Савватием, величественным, своеобразно религиозным, выступающим часто судьей в крестьянских спорах (№ 6). Как представитель местной официальной власти выступает исправник, «отец Никита», наделенный всеми пороками, из-за которого «больше всего было пролито слез в округе» (№ 8). Участвует в событиях мелочная старая дева, немка, в качестве бонны проживающая в доме Наталии Карповны (№ 7). Упомянут также и десятый персонаж, бывший муж Виктории, гвардейский офицер, пьяница и развратник.

В характеристиках частично определены взаимоотношения героев и даны некоторые наметки сюжетного действия. Наталия Карповна, ведущая уединенный образ жизни и находящаяся «в прекрасных отношениях со своими бывшими крепостными», постоянно ждет сына, мечтает о нем, не зная, «умер он или жив». Павел Ан-

---

[2] Сам Тургенев назвал свое будущее произведение «récit» (см. с. 250), т. е. «рассказ» или «повесть», что противоречит свидетельству Полины Виардо о подготовительной работе «к большому роману». Однако Полина Виардо скорее имела в виду «Наталию Карповну», а не задуманный Тургеневым в конце 1870-х — начале 1880-х годов роман о русском и французском революционерах: план этого романа, судя по многочисленным воспоминаниям современников (В. В. Верещагина, Н. Н. Златовратского, Л. Пича, В. Рольстона, И. Я. Павловского, П. Л. Лаврова) был детально продуман в 1882 г., а некоторые из них видели уже «книгу исписанных листов» (Н. М. Черты из парижской жизни И. С. Тургенева.— *Рус мысль*, 1883, № 11, с. 320); в письме П. Виардо к Стасюлевичу речь могла идти об единственном, известном в ее записи, списке действующих лиц — о сохранившихся 4-х листах «Наталии Карповны»,— произведения, замысел которого не имел еще четкой жанровой определенности и тематически был близок к упомянутому выше роману.

дреич, редко бывающий дома, занят опасным делом; у него сложные отношения с Пименом Пименычем, человеком близких ему революционных убеждений, но более сильным и твердым. В конце концов «жажда деятельности» погубит Павла Андреича (первоначальный вариант: «политика его погубит»). Разоблачит его Шарлотта Андреевна, которую Пимен Пименыч шутливо советует «удавить», а потом столь же «весело», чтобы отвлечь ее внимание, делает ей предложение. Касю роднит с Пименом Пименычем обостренное чувство справедливости. Виктория «смеясь» убьет своего мужа — «негодяя»; у нее умирает дочь, семилетняя девочка; с горя она пытается покончить жизнь самоубийством, «могла бы стать хорошей актрисой». Крестьянин Савватий умирает в знойный день во время крестного хода.

В формуляре каждого персонажа Тургенев, как обычно, дает указание на возраст, социальное положение, несколькими штрихами рисует портрет, характеризует взгляды и основные черты внутреннего психологического облика. Оттеняя поступки, манеры и жесты персонажей, Тургенев особое значение придает детали. Это наглядно демонстрируют дополнения, которые были внесены им в продиктованный текст; о Наталии Карповне вписано: «руки пухленькие, ногти очень короткие, веснушки»; в характеристике Пимена Пименыча вместо зачеркнутого «смешлив» вписано: «смех внезапный и ослепительный, как и его зубы».

В «Наталии Карповне», насколько позволяют судить предварительные наброски, Тургенев собирался снова обратиться к социальной проблематике своих предшествующих крупных романов, воссоздать образы различных современных ему людей революционного склада. С. Н. Кривенко, рассказывая в своих мемуарах о встрече с Тургеневым весной 1881 г. в Петербурге, писал: «...Тургенев в заключение сказал: „Новь“ ведь у меня не кончена. Я удивляюсь, как этого не заметили. Так прямо оборваны нити, и как бы мне хотелось, если только буду в состоянии, написать продолжение или что-нибудь подобное на ту же тему» (*Революционеры-семидесятники*, с. 243). «Наталия Карповна» по тематике своей и идейному содержанию соприкасается с «Новью». В ней (скорее, вероятно, это была бы повесть, а не рассказ) Тургенев переносит действие в 80-й год, момент наибольшего напряжения борьбы народовольцев, и по-новому решает ряд вопросов, поставленных им в романе о народнической молодежи 1870-х годов, в котором он изобразил, по собственному определению в письме к Стасюлевичу от 22 декабря 1876 г. (3 января 1877 г.), «молодых людей, большей частью хороших и честных», но отдавшихся делу ложному и нежизненному, «что не может не привести их к полному фиаско». «Новь» была создана Тургеневым на основе знакомства его с отдельными участниками революционных кружков первой половины 1870-х годов в России и за границей (цюрихская молодежь) и размышлений над судьбами народнического движения той поры в целом [3]. После окончания работы над «Новью» интерес Тургенева к молодому поколению, лучшая часть которого по-прежнему в глазах писателя была окружена этическим ореолом, продолжал расти. К прежним материалам и наблюдениям прибавились впечатления от судебных процессов 1877—1878 годов — «про-

---

[3] См. комментарий Н. Ф. Будановой к творческой истории «Нови»: наст. изд., т. 9, с. 482—487.

цесса 50-ти»[4] и «процесса 193-х», подробные отчеты о которых печатались в русских газетах. В конце мая ст. ст. 1877 г. Тургенев присутствовал на процессе «Южнороссийского союза рабочих». На этих процессах он увидел «новых Елен», которым посвятил известное стихотворение в прозе «Порог», написанное, по предположению П. Л. Лаврова[5], после казни С. Л. Перовской, А. И. Желябова, Н. И. Кибальчича, Т. М. Михайлова и Н. И. Рысакова 3 апреля ст. ст. 1881 г.

В книге «Идеалы и действительность в русской литературе» П. А. Кропоткин, заключая свой отзыв о «Нови» выводом, что если бы «Тургенев писал эту повесть несколькими годами позже, он, наверное, отметил бы появление нового типа людей действия», указывал на особый интерес писателя к И. П. Мышкину, пытавшемуся в 1875 г. организовать побег Н. Г. Чернышевского из Сибири, арестованному и привлеченному к «процессу 193-х», на котором он произнес блестящую речь (см.: *Революционеры-семидесятники*, с. 140).

В «Записках революционера» Кропоткин рассказывал: «„Знали ли вы Мышкина?“ — спросил он меня раз в 1878 году. Когда судили наши кружки, сильная личность Мышкина, как известно, резко выступила вперед.— „Я хотел бы знать всё, касающееся его,— продолжал Тургенев.— *Вот человек*, ни малейшего следа гамлетовщины“.— И, говоря это, Тургенев, очевидно, обдумывал новый тип, выставленный русским движением и не существовавший еще в периоде, изображенном в „Нови“» (там же, с. 150). Именно такого героя, лишенного гамлетизма, человека «действия», собирался Тургенев вывести как в новом романе[6], так и в «Наталии Карповне». В характеристике Пимена Пименыча (№ 3) Тургенев прямо формулирует: это «новый в России тип. Жизнерадостный революционер».

Между героями «Нови» и действующими лицами «Наталии Карповны» можно провести определенную аналогию[7]. В «Нови» Нежданову, юноше нервному, впечатлительному, о котором в «Формулярном списке лиц новой повести» сказано, что он имеет «темперамент — уединенно-*революционный,— но не демократический*», что это «натура трагическая» (наст. изд., т. 9, с. 403), противопоставлен Соломин, «силач», у которого «энергия сказывается во всем, в самом смехе» и который в противовес схваченному и сосланному Маркелову и погибшему Нежданову «остается цел не как хитрец и виляка и трус, а как умный и дельный малый, который даром не хочет губить ни себя, ни других» (там же, с. 407). Подобная же параллель предстает и в «Наталии Карповне»: с одной стороны, Павел Андреич, человек «очень страстный, очень восторженный», «сложения болезненного», с большой печалью «в глубине души», побывавший «в обстоятельствах, которые были ему совсем не по плечу» и подорвали его здоровье; с другой стороны, Пимен Пименыч — реальная здоровая сила, целеустремленный, деятельный революционер.

---

[4] См.: Б а т ю т о А. И. Роман «Новь» и «процесс пятидесяти».— *Т сб*, вып. 2, с. 195—209.

[5] См.: Л а в р о в П. Л. И. С. Тургенев и развитие русского общества.— *Революционеры-семидесятники*, с. 67—68.

[6] См.: Воспоминания В. Р. С. Рольстона.— Иностранная критика о Тургеневе. 2-е изд. СПб., 1908, с. 97.

[7] На необходимость сопоставить названные произведения указывал Г. А. Бялый (Вопросы литературы, 1965, № 4, с. 219).

Кася по своему социальному положению и некоторым чертам характера напоминает Марианну: она живет в доме Наталии Карповны, как и Марианна, «на правах дальней родственницы»; отец ее «честный немец, почти разоренный вероломством одного русского чиновника» (у Марианны отец — «полуполяк», сосланный за растрату); она энергична, «возмущается несправедливостью». Но наряду с родственными чертами в образах «Нови» и «Наталии Карповны» есть и существенные различия, обусловленные как развитием самих типов в связи с новым общественным подъемом в конце 1870-х годов, так и эволюцией авторского к ним отношения. Ряд изменений явился как бы ответом на критические возражения, которые были сделаны отдельными представителями демократического лагеря в их отзывах о «Нови», обвинившими Тургенева в одностороннем, предвзятом изображении народнического движения. Так, например, Н. К. Михайловский отмечал, что, по его мнению, в романе Тургенева Маркелова «толкнули на дорогу революции» только «личные неудачи», а «единственным источником революционного пыла Нежданова оказывается его двусмысленное общественное положение...» [8] В «Наталии Карповне» Пимен Пименыч — «сын важного чиновника» («дети», порвавшие со средой своих «отцов», характерное для народничества этого времени явление), ему, напротив, всё удается, везде его сопровождает успех,— Тургенев подчеркнул: «До сих пор ему сопутствовала необыкновенная удача». Нет какой-либо ущемленности, доли личной ненависти и у Каси: если о Марианне в формулярном списке говорилось, что «ей тяжко и тошно есть чужой хлеб», что она «ненавидит свою тетку и до некоторой степени презирает дядю» (наст. изд., т. 9, с. 405), то Кася привязана к Наталии Карповне, «любит» ее, «хотя — или именно потому — что не обязана ей никаким благодеянием». Лишен также черт умеренности образ героя, выводимого в качестве основного деятеля эпохи [9]. Пимен Пименыч уже не постепеновец, возлагающий, как Соломин, надежды на просвещение народа и прогресс, а революционер, «увлекаемый своим неукротимым духом». Чтобы подчеркнуть надежность, крепость Пимена Пименыча, Тургенев, перечитывая текст, прибавил: «геркулесова сила, всё переваривает».

В «Наталии Карповне» нет темы разочарования, крушения идеалов при столкновении их с действительностью,— темы, которая окрашивает «Новь» в грустные тона и определяет итог идейных исканий как Нежданова, так и менее рефлектирующего героя Маркелова. В «Наталии Карповне» не только Пимен Пименыч, но и Павел Андреич, который «в свои годы уже привык скрываться, быть под надзором» и погибает «из-за присущей ему горячности», не утрачивают веры в идеи, которые их вдохновляют.

Во всем этом сказались внутренние сдвиги, которые произошли в отношениях Тургенева с передовой молодежью к 1880-м годам [10].

---

[8] Михайловский Н. К. Записки профана.— *Отеч Зап*, 1877, № 2, с. 318—319.

[9] См.: Ткачев П. Н. Уравновешенные души.— Дело, 1877, № 4, с. 60.

[10] См. также: Велчев Велчо. И. С. Тургенев и русское освободительное движение.— В кн.: Изследвания в чест на акад. Михаил Арнаудов. Юбилеен сборник. София, 1970, с. 289—290, 292 (на русском языке).

С т р. 246. *...у нее есть сад ∽ Грунтовой сарай моей тетки.*— Запись для себя. Возможно, имеется в виду жена Н. Н. Тургенева, Елизавета Семеновна Тургенева (урожд. Белокопытова).

С т р. 248. *...персонаж в духе Шенавара...*— Шенавар (Chenavard Paul-Joseph, 1808—1895) — французский художник, ученик Эреана, Делакруа и Энгра, автор ряда картин исторического, историко-революционного и библейского содержания. Живопись его на библейские темы часто приобретала гражданский колорит.

...предан как Калеб...— Калеб Бальдерстон — верный, преданный слуга, персонаж романа Вальтера Скотта «Ламермурская невеста» (1819). В «Бригадире» Тургенев старого слугу Наркиза Семенова тоже сравнил с Калебом. О значении этого сравнения у Тургенева см. заметку М. П. Алексеева.— *Т сб*, вып. 1, с. 256—257.

С т р. 249. *Отец Никита, исправник, прозванный так не потому, что он из духовных, а так, как прозвали бы Рабле.* — Прозвище «отец Никита» в отношении жестокого, циничного исправника имеет иронический смысл.

UNE FIN

(с. 256 и 306)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

«Un milan» («Коршун»). Черновая рукопись Полины Виардо, 20 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 78; описание см.: *Mazon*, p. 100; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 346.

Беловая рукопись Полины Виардо, 33 с. Перед текстом помета рукой П. Виардо: «Une fin. Dernier récit de Tourguéneff. Ecrit sous sa dictée par M-me Pauline Viardot» («Конец. Последний рассказ Тургенева. Записан под его диктовку г-жой Полиной Виардо»). Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 78; описание см.: *Mazon*, p. 100; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 346.

La Nouvelle Revue, 1886, t. 38, 3-e livr., 1 Fév., p. 449—462, с подзаголовком: «Dernier récit de Tourguéneff».

Нива. 1886, № 1, с. 2—8, пер. Д. В. Григоровича (см. Приложения).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 11, с. 354—379. Печатается по тексту «La Nouvelle Revue» с исправлением опечаток по черновой и беловой рукописям.

Тургенев диктовал рассказ Полине Виардо, по ее утверждению, «недели за две до смерти», т. е. в первой половине августа н. ст. 1883 г. (Г е с с е н. С. Полина Виардо и посмертный рассказ Тургенева.— Печать и революция, 1928, кн. 7, с. 73). Эти сведения подтверждаются записью от 1 октября 1883 г. в дневнике переводчицы А. Н. Луканиной, сообщившей о своей встрече с писателем 10 августа н. ст. 1883 г. Разговор зашел о рассказе «Пожар на море», переведенном Луканиной, и о «Конце». О последнем, по словам мемуаристки, Тургенев сказал, что «у него есть еще другой рассказ, который он тоже диктует по-французски госпоже Виардо и даст мне перевести, но что теперь рассказ этот еще не готов. Работа моя разрастается, сказал он по поводу второго рассказа. Это уже не рассказ, но еще и не повесть» (*Сев Вестн*, 1887, № 3, с. 87).

По свидетельству Полины Виардо в передаче П. В. Анненкова известно, что Тургенев диктовал свой рассказ смесью фран-

цузского языка с немецким и даже итальянским. Предложение записывать текст по-русски писатель отклонил из опасения, что он будет слишком усердно отделывать литературную форму, задумываясь над каждой фразой, и это его утомит.

Обе сохранившиеся рукописи содержат только французский текст без каких-либо иноязычных включений. В черновой рукописи много вставок, сделанных в соответствии с пометами на полях, по-видимому, после того, как автору был прочтен первоначально записанный текст. Характер этих вставок свидетельствует о несомненной авторизации записанного Полиной Виардо рассказа. Так, в виде добавления в текст вставлены: толкования русских слов (*после*: dont je connaissais bien le propriétaire [1] *вписано*: un ci-devant *dvorovoï*; cerf d'un seigneur [2]); детали, характеризующие национальный колорит русской жизни (например, описание снегопада, санного пути, колокольчика под дугой); упоминание о татарских предках Талагаева, характеристика русской разбойничьей песни (текст: «et pourquoi pas? Parce que je suis noble?.. Ah bah!.. Parce que mon arrière-grand-père a porté des calottes on drap d'or, qui lui avaient été données par Tamerlan?.. Au reste, tout cela ne te regarde pas [3]», «avec une toute petite clochette sur la douga [4]», «La neige tombait depuis l'avant-veille, large et lente; elle encombrait les chemins et faisait peu à peu courber la tête des arbres; de temps en temps, il soufflait une rafale de vent que semblait raser la terre [5]», «cette voix presque enfantine s'alliait à merveille au tintement monotone de la clochette de la douga et à la tristesse silencieuse de cette nuit [6]». Вписаны характерные для Тургенева психологические детали повествования, например, раскрытие состояния персонажа через внешний рисунок его поведения (текст: «il faisait des efforts inutiles pour se donner des airs de dignite [7]»).

В рукописи сохранились следы характерных для Тургенева поисков художественных средств формирования эмоционального эффекта, таких, как резкий переход от бытового штриха к широкому лирическому обобщению. Например, после слов: «une paire de souliers de rechange [8]» (в конце гл. II) вписано: «а) Cette aventure fit baisser m-r Talagaïéff beaucoup dans mon estime; mais il était destiné à tomber plus bas encore б) L'innocénce seule peut s'imaginer qu'un si mince bagage peut suffir... pour traverser la vie [9]».

---

[1] я хорошо знал его хозяина

[2] бывшего помещичьего дворового, крепостного человека

[3] а почему бы и нет? Потому что я дворянин?.. Вот еще!.. Или потому, что мой прапращур носил тюбетейки золотой парчи, подаренные ему Тамерланом?.. Впрочем, все это тебя не касается

[4] с колокольчиком под дугой

[5] Крупный, тихо падающий снег шел с позавчерашнего дня; он заваливал дороги и клонил под своей тяжестью вершины деревьев; порывами дул ветер, и, казалось, стлался по земле.

[6] этот почти детский голос гармонировал с однозвучным позвякиванием колокольчика под дугой и с молчаливой печалью этой ночи

[7] он тщетно старался придать своему лицу выражение достоинства

[8] пару башмаков на смену

[9] а) После этого происшествия Талагаев много потерял в моем уважении; но ему суждено было пасть еще ниже в моих глазах

Еще более веским аргументом в пользу подвергавшегося сомнению авторства Тургенева следует считать самое содержание рассказа, тесно связанное с другими его произведениями, посвященными проблеме крепостного права в России. В данном случае речь идет о пережитках крепостничества, долго еще дававших себя чувствовать и в пореформенное время. Характеризуя этот рассказ, П. В. Анненков в письме к Стасюлевичу так и назвал его «анекдотом о грубом помещике, продолжающем ругаться с простым людом и после эманципации и найденном с проломленной головой на большой дороге» (*Стасюлевич*, т. 3, с. 43). Как отметил Анненков в том же письме, литературная запись П. Виардо и не родной для писателя язык не могли сохранить в полной мере «обычную для писателя прелесть рассказа», в результате чего подлинность его была подвергнута в России сомнению. О какой-то замеченной Стасюлевичем «чепухе», свидетельствовавшей о том, что П. Виардо писала под диктовку Тургенева «не очень разумея, что делает», писал тот же Анненков редактору «Вестника Европы» (см. там же, с. 441), отвечая на его подозрения, что рассказ является «подделкой г-жи Виардо».

Эти подозрения явились причиной больших трудностей в публикации рассказа в России. Попытки напечатать его начались в 1885 г., когда в марте этого года Анненков и В. П. Гаевский, находившиеся в Париже и разбиравшие архив Тургенева, натолкнулись на рукопись «Une fin». П. Виардо обратилась к ним с просьбой напечатать этот рассказ в России, а к Анненкову — предварительно сделать его русский перевод. Одновременно через Гаевского П. Виардо вела переговоры о переводе этого же рассказа Д. В. Григоровичем. Возник конфликт, в результате которого Анненков устранился от перевода.

В июне 1885 г. рукопись «Une fin» с объяснительной запиской П. Виардо находилась уже у Стасюлевича (см.: *Стасюлевич*, т. 3, с. 268), но, усомнившись в подлинности этого рассказа, а также вследствие больших гонорарных притязаний П. Виардо, редактор «Вестника Европы» отказался напечатать его в своем журнале. Рассказ и объяснительная записка П. Виардо были в сентябре 1885 г. переданы Гаевскому, затем издателю И. И. Глазунову, но и они отказались печатать сомнительный для них текст. Только в результате длительных переговоров П. Виардо и ее поверенного Ж. Шамро с редакцией журнала «Нива», в частности с Ф. Н. Бергом (см. об этом подробнее — Гессен С. Указ. соч., с. 68—72), рассказ был наконец напечатан в переводе Д. В. Григоровича в первом номере журнала «Нива» за 1886 год.

Почти одновременно рассказ появился во французском журнале «La Nouvelle Revue», в номере от 1 февраля 1886 г.

Сличение перевода в «Ниве» с текстом французской публикации и рукописями Виардо дает возможность заключить, что Григорович делал перевод с беловой рукописи (в тексте французской публикации есть пропуски отдельных слов, имеющихся в рукописях и в переводе Григоровича). Перевод, выполненный в литературной манере, характерной для самого Григоровича. не воспроизводит всех особенностей французского подлинника. В настоящем издании рассказ дается в переводе редакции; перевод Григоровича печатается в Приложении II (наст. том, с. 306).

б) Только по простоте душевной можно вообразить, что этого мизерного имущества хватило бы, чтобы прожить целую жизнь.

Тема крепостного права и самый стиль повествования дали основание некоторым авторам считать, что рассказ «Une fin» связан с циклом «Записок охотника» и что следовало бы печатать его в составе названного цикла (см.: Новиков И. А. Тургенев художник слова (О «Записках охотника»). М., 1954, с. 105, 107).

Однако соображения эти неубедительны. Тема «конца», возникшая в творчестве Тургенева в 1870-х годах и многозначительно завершавшая повествование Тургенева о различных дворянских судьбах (конец Чертопханова, конец Бабурина), в 1880-х годах получила новое освещение в «Отрывках из воспоминаний — своих и чужих». Эти воспоминания, начатые очерком «Старые портреты», мыслились самим писателем как новый цикл рассказов, по значению равный «Запискам охотника». Для него были задуманы «несколько студий», о которых Тургенев сообщал П. В. Анненкову в письме от 22 ноября (4 декабря) 1880 г. Замысел Тургенева был частично осуществлен в рассказе «Отчаянный» и в литературной записи рассказа «Конец».

Стр. 266. *...l'effet de don Juan acculé par les paysans à la fin du premier acte de l'opéra*[10].— Либретто оперы Моцарта «Дон-Жуан» содержит сцену столкновения героя с крестьянами, возмущенными его ухаживаниями за крестьянскими девушками. Она восходит к Мольеру («Don Juan ou le Festin de pierre», акт II, сцена III).

⟨НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О СОВРЕМЕННОМ ЗНАЧЕНИИ РУССКОГО ДВОРЯНСТВА⟩

(с. 282)

Единственный источник текста — черновой автограф, 5 л., без заглавия, без даты и без подписи (статья не завершена). Подлинник хранится в *Bibl Nat*, Slave 78; описание см.: *Mazon*, p. 98, под заглавием: «Considérations sur le rôle de nobles» (Соображения о роли дворян); фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 237.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, XIV, с. 299.

Печатается по тексту чернового автографа.

В 1842 г., поступая на службу в Министерство внутренних дел, Тургенев представил в личную канцелярию министра записку под названием: «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине». В этой работе, не предназначавшейся к печати, Тургенев писал: «...с вопросом о будущности земледельческого класса сопряжено много других равно важных вопросов: о будущности, о значении нашего дворянства и т. д. Кроме того, что нашему дворянству вручены судьбы наших хлебопашцев и что, следовательно, нашим помещикам предстоит разрешить великую задачу о будущности крестьян, собственный их быт должен измениться». И далее автор выражает сожаление, что не говорил «с достаточною подробностью о дворянском классе» (наст. изд., т. 1, с. 419, 564).

К мыслям о значении русского дворянства Тургенев вернулся спустя 15 лет. Откликаясь на первые царские рескрипты 1857 г. о предстоящем освобождении крестьян, Тургенев в начале 1858 г. составляет программу журнала «Сельскохозяйственный указатель» (см.: наст. изд., т. 12), который предназначался для просвещения ши-

[10] надо сказать, что он несколько напоминал мне Дон-Жуана, отбивающегося от крестьян в конце первого акта оперы

рокпх кругов дворянства, встречавшего враждебно идею крестьянской реформы, не подготовленного к ее проведению. В том же 1858 году Тургенев создает роман «Дворянское гнездо», в котором значительное место занимают размышления писателя о судьбах многих поколений русского дворянства и о нравственных началах, на которых могут строиться отношения между помещиком, способным разумно хозяйничать, и крестьянами, осознавшими свои права и свое человеческое достоинство. Именно таким, как Лаврецкий, научившийся «хорошо пахать землю» и нравственно постигший «народную правду», представлял себе Тургенев полезного деятеля земли русской на новом этапе ее истории [1]. Мысль эта была для писателя не нова. В записке 1842 г. (к этому году отнесено и действие романа) в числе прочих «важнейших неудобств» русской жизни Тургенев называл, с одной стороны, бесполезное проживание дворян в своих имениях, неумение и нежелание усовершенствовать состояние хозяйства, недостаток законности и положительности в отношении помещиков к крестьянам; с другой стороны — весьма слабое развитие чувства гражданственности, законности в самих крестьянах (см.: наст. изд., т. 1, с. 423—425).

Закончив «Дворянское гнездо» в конце 1858 г., Тургенев, по всей вероятности, приступил к давно задуманной им специальной статье о значении дворянства. Первое упоминание об этом встречается в письмах Тургенева, связанных с организацией газеты «Московский вестник». Писатель принимал деятельное участие в хлопотах о разрешении этого издания и обещал поддерживать его своими трудами (см. письмо Тургенева к Ег. П. Ковалевскому от 25 сентября (7 октября) 1858 г.). Для «Московского вестника» Тургенев и предназначал статью о дворянстве. «Статью мою Вы будете иметь к 20-му января во всяком случае»,— писал он к Н. А. Основскому 30 декабря 1858 г. (11 января 1859 г.). В объявлении об издании «Московского вестника» на 1859 год указывалось, что в газете будет помещена статья И. С. Тургенева «Несколько мыслей о современном значении русского дворянства» (*Рус Вестн*, 1859, январь, кн. 2, с. 190). Та же статья упоминалась и в информации «Библиотеки для чтения» под рубрикой «Литературные вести и слухи». Относительно редакции «Московского вестника» в этой информации сообщалось: «Мы имеем достоверные известия, что в руках у нее находятся на будущее время очень хорошие материалы, каковы, например, новые рассказы Щедрина и статья И. С. Тургенева: „О призвании и назначении русского дворянства“» (*Б-ка Чт*, 1859, т. 158, № 11, с. 62).

Как свидетельствует сохранившаяся черновая рукопись, статья эта не была завершена автором. Однако и дошедшие до нас страницы представляют интерес: они говорят о попытке Тургенева включиться в полемику, развернувшуюся на страницах прессы в конце 1850-х — начале 1860-х гг. Эта полемика имела принципиальный характер для предреформенных лет, так как в ней высказывались взгляды, по существу касавшиеся важнейших проблем государственного устройства и экономических отношений в России [2].

Позицию Тургенева в статье, насколько можно судить по незавершенному тексту, определяют следующие основные черты: ка-

---

[1] См. наст. изд., т. 6, примечания к «Дворянскому гнезду».

[2] См. об этом подробнее в кн.: Сладкевич Н. Г. Очерки истории общественной мысли в России в конце 50-х — начале 60-х годов XIX в. Л., 1926, с. 87—136.

тегорическое неприятие точки зрения крепостников, доказывавших незыблемость и экономическую целесообразность своих сословных прав на владение крестьянами; несогласие с представителями так называемой «государственной» исторической школы, утверждавшими, что дворянство в России и на Западе находится в антагонистических отношениях с государством, сословный деспотизм которого оправдан задачами прогресса; несогласие с утверждением революционеров-демократов об исчерпанности исторической роли дворянства как класса; сочувствие демократическим устремлениям славянофилов, отвергавших право дворянства на сословные привилегии и исторически обосновывавших единство «земли и власти» в России; общность взглядов с теми либеральными деятелями реформы, которые усматривали значение дворянства в его трудах на пользу свободного народа [3].

По своим взглядам на дворянство в период отмены крепостничества Тургенев ближе всего примыкал к Н. И. Тургеневу [4], а также к Л. Н. Толстому [5], полагавшим, что просвещенное дворянство призвано играть ведущую роль в изменении социальных отношений в России, но в то же время относившимся с достаточной долей критицизма к его сословным болезням.

С т р. 282. *...возможность устроить у себя то, чего все народы до сих пор тщетно добивались, а именно: «класс земледельцев, которые в то же время и землевладельцы»...* — Ср. в статье В. Безобразова «О сословных интересах. Мысли и заметки по поводу крестьянского вопроса»: «Но помещик в своем общественном, нравственном и экономическом значении есть тот же земледелец, как и крестьянин ⟨. . .⟩ Помещик — потенцированный крестьянин,— по меткому выражению Риля...» (*Рус Вестн*, 1858, т. 17, сентябрь, кн. 1, с. 101). Риль (Riehl) Вильгельм Генрих (1823—1897) — немецкий публицист и писатель.

С т р. 283. *...сбережение прав сословия, опирающегося единственно на крепостное владение, может иметь цену и значение только для одних участников подобной монополии...* — Тургенев имеет в виду идеи, высказывавшиеся, например, в статьях магистра законоведения Н. Безобразова «Об усовершении узаконений, касающихся до вотчинных прав дворянства» (*Рус Вестн*, 1858, т. 16, кн. 1, «Современная летопись», с. 27) и А. Покорского-Жоравко «Что нам стоило крепостное право?» (там же, т. 18, 1858, ноябрь, кн. 2, с. 198).

С т р. 284. *...начиная с самого названия, носящего у нас знаменательный оттенок.* — О названии «дворянство» применительно к его истории говорится в «Русской истории» Н. Устрялова (см. изд. 5-е. СПб., 1855, ч. 1, гл. 8, отд. 2, с. 379—384).

Наши дворяне не завоеватели. — Возможно, что Тургенев отвечал на «Исторические письма» С. М. Соловьева, посвященные исто-

[3] См. об этом подробнее: Г о л о в а н о в а Т. П. Несколько мыслей о современном значении русского дворянства. Неоконченная статья Тургенева.— *Т сб*, вып. 4, с. 155—162.

[4] La Russie et les Russes par N. Tourguéneff. Paris, 1847. T. 2, p. 32; ср.: Т у р г е н е в Н. И. Пора! — В кн.: Русский заграничный сборник. Лейпциг, 1858. Ч. 2, тетр. 1, с. 24—25.

[5] Т о л с т о й Л. Н. Записка о дворянстве. 1858.— В кн.: *Толстой*, т. 5, с. 266—270; ср. его же письмо к Д. Н. Блудову от 9 июня 1856 г., там же, т. 60, с. 64—67.

рии возникновения дворянства в России, где подвергались критике «старые толки о различии наших и западных общественных отношений... на том основании, будто бы на западе было завоевание, а у нас его не было» (*Рус Вестн*, 1858, т. 15, май, кн. 1, с. 216).

...права его нам дарованы — и недавно.— Тургенев говорит о «Жалованной грамоте» Екатерины II от 21 апреля 1775 г., которой подтверждались такие привилегии дворянства, как вольность и свобода от обязательной службы; свобода от телесных наказаний; исключительное право владеть крепостными людьми и населенными имениями; свобода от личных податей и неприкосновенность дворянского достоинства и др.[6]

Одна только страсть к отысканию натянутых аналогий могла находить сходство между мыслью Ивана В⟨асильевича⟩ Грозного и мыслью Людовика XI.— Тургенев имеет в виду следующие слова из статьи В. А. Черкасского «О сочинениях Монталамбера и Токвиля»: «Они ⟨Токвиль и Монталамбер⟩ не сочувствуют централизации, равно чуждой древней Европе и древней России, ни политике Людовика XI и Ришелье, этих западных типов наших Иоанна IV и Петра Великого, ни столь любезной у нас многим теории насильственного воспитания общества посредством государства». Эти слова, возможно, по совету Тургенева [7], были исключены автором из статьи, опубликованной в «Русской беседе» (1857, т. 2, кн. 6) и восстановлены по черновой рукописи лишь при перепечатке этой статьи в посмертном издании: Князь В. А. Черкасский. Его статьи, его речи и воспоминания о нем. М., 1879, с. 141.

Стр. 285. *...умирая под стенами Казани, в степях Азовских...*— Речь идет о предпринятой Иваном Грозным осаде Казани в 1551—52 гг. и об Азовских военных походах Петра I против турок в 1695 и 1696 гг.

⟨СЕМЕЙСТВО АКСАКОВЫХ И СЛАВЯНОФИЛЫ⟩

(с. 286)

Единственный источник текста — черновой автограф — отрывок без даты, 1 л.; в конце листа приписка: «См. продолжение на отд⟨ельных⟩ листах» (листы эти неизвестны). Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 86; описание см.: *Mazon*, p. 84; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 325.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XIV, с. 305.

Печатается по тексту чернового автографа.

Очерк о славянофилах был задуман в начале 1869 г. В письме к И. П. Борисову от 12 (24) февраля 1869 г. Тургенев, извещая о том, что он выслал П. В. Анненкову «большой отрывок» — воспоминания о Белинском, писал: «...а теперь засел над вторым, предметом которого будут Аксаков и славянофилы». Очерк, как свидетельствует первоначальный план, набросанный на полях чернового ав-

---

[6] См.: Семенов Н. П. Наше дворянство. СПб, 1899, с. 7.

[7] Тургенев и Черкасский, находясь в 1857 г. в Риме, часто встречались и совместно обсуждали ход подготовки к реформе в России (см. письмо Тургенева к А. В. Головнину от 19 (31) января 1883 г.).

тографа отрывка «Вместо вступления» (см. наст. том, с. 322), должен был входить в состав «Литературных воспоминаний» и следовать за очерком о Белинском. Собираясь весной 1869 г. приехать в Россию, Тургенев намеревался в Петербурге на заседании «Литературного фонда» прочесть две наиболее острые статьи — «Воспоминания о славянофилах» и «По поводу „Отцов и детей“» (см. его письмо к П. В. Анненкову от 24 февраля (8 марта) 1869 г.).

Задуманное Тургеневым выступление не состоялось, а очерк о славянофилах он не закончил. Высказывая в письме к А. Д. Галахову от 21 сентября (3 октября) 1869 г. некоторые сомнения по поводу своей работы в новом для него мемуарном жанре, Тургенев вместе с тем признавался, что «лучший отрывок („Семейство Аксаковых и славянофилы“) застрял в портфеле». Н. Х. Кетчера, державшего корректуру «Литературных воспоминаний», Тургенев 4 (16) октября 1869 г. предупреждал: «...выкинь замечание, помещенное, кажется, в 1-м отрывке, где говорится о другом отрывке: „Семейство Аксаковых и славянофилы“. Я этот самый „другой“ отрывок не написал, т. е. не докончил...»

В письме к И. П. Борисову от 25 сентября (7 октября) Тургенев сообщал о своем желании обработать этот очерк в течение зимы и опубликовать в одном из номеров «Вестника Европы» будущего года, замечая, что «отрывок лучше всех других» содержит «несколько ⟨...⟩ полезных вещей». Осуществить это намерение Тургеневу не удалось.

К работе над отрывком Тургенев вновь обратился при подготовке издания своих «Сочинений» 1874 г.

Известие о предстоящем выходе в свет очерка о славянофилах взволновало И. С. Аксакова, и Тургенев, вероятно, узнал об его опасениях во время своего пребывания в Москве летом 1874 г. П. Матвеев, автор статьи «Тургенев и славянофилы», лично знакомый с Аксаковым и Тургеневым, позднее вспоминал: «Тургенев был принят радушно и даже дружески в семье Аксаковых в начале 50-х годов и даже весьма сердечно переписывался с ними. Слухи, весьма преувеличенные, кажется, о содержании „Отрывка“ из „Воспоминаний“ Тургенева, посвященного кружку московских славянофилов и при этом в особенности об его брате и отце, оскорбили И. С. Аксакова. До него дошли рассказы о насмешливом отзыве Тургенева об его покойном брате Константине, и Иван Сергеевич Аксаков вскипел негодованием против нашего знаменитого романиста...» [1]. О том же писал и сам Тургенев Анненкову 12 (24) июня 1874 г., приехав из Москвы в Спасское: «Не стану Вам говорить обо всем, что я видел и слышал, отлагаю это до нашего личного свидания. Скажу только, что ⟨...⟩ Аксаковы перепугались (!) моему намерению написать статью об их отце и семействе (точно я памфлетист какой!)...»

---

[1] *Рус Ст*, 1904, № 4, с. 183. Славянофильское учение всегда было чуждо Тургеневу, а его внешние проявления (в одежде, языке и пр.) не раз вызывали его насмешки. Так, иронические выпады против славянофилов и, в частности, против К. С. Аксакова находятся в двух рассказах из «Записок охотника» — «Хоре и Калиныче» и «Однодворце Овсяникове» (см. комментарий к ним Л. Н. Смирновой в наст. изд., т. 3, с. 447, 460), в строфе XXVIII поэмы «Помещик» (см. комментарий Л. Н. Назаровой в наст. изд., т. 1, с. 476—478, а также статью: Габель М. О. И. С. Тургенев в борьбе со славянофильством в 40-х годах и поэма «Помещик». — Уч. зап. Харьков. гос. библ. ин-та, 1962, вып. 6, с. 119—144).

О содержании задуманного отрывка в целом можно судить по ряду косвенных данных. П. Н. Полевому, решившему во втором издании своей «Истории русской литературы...» дать биографию Тургенева, писатель советовал прибавить к очерку, опубликованному ранее в «Ниве», следующую «подробность»: «Т⟨ургенев⟩ в 1841 г. вернулся не прямо в Петербург, а сперва в Москву, где жила его мать — и где он познакомился с славянофилами: Аксаковыми, Хомяковым, Киреевскими. Тогда славянофильство только что нарождалось — но Т⟨ургенев⟩ уже тогда отнесся к нему отрицательно» (см. письмо его к П. Н. Полевому от 17 (29) октября 1873 г.). Общие суждения Тургенева о славянофильстве должны были, по всей вероятности, перекликаться с тем, что он писал по этому поводу в других очерках «Литературных и житейских воспоминаний». Неприятие славянофильства как идеологии сочеталось у Тургенева с чувствами симпатии и уважения, которые внушали ему отдельные славянофилы как личности [2]. О своем стремлении объективно рассказать о них Тургенев писал Анненкову 27 января (8 февраля) 1870 г.

К мысли о завершении очерка Тургенев вернулся в 1879 г., когда он обдумывал содержание первого тома «Сочинений» издания 1880 г. В письме от 19 сентября (1 октября) 1879 г. к издателю В. В. Думнову Тургенев среди рукописных статей, которые он должен был вскоре выслать для первого тома будущего собрания, называл и «Семейство Аксаковых», но в письме от 1 (13) октября 1879 г. к нему же ставил его в известность, что очерк этот исключен из состава «Литературных и житейских воспоминаний»; вероятно, из того же опасения — вызвать недовольство Аксаковых. На обложке рукописной тетради (*Bibl Nat*, Slave 86), купленной Тургеневым в Баден-Бадене 6 (18) ноября 1871 г. (фотокопия: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 254), в правом верхнем углу составлен план «предстоящих работ», в котором не вычеркнутым остались к 1874 году (см. наст. том, с. 504) «К. Аксаков и славянофилы» и «Дряхлые голуби»; в левом верхнем углу, заполненном, очевидно, позднее — списком статей, предназначенных для первого тома «Сочинений» 1880 г., против вычеркнутого названия «Аксаков» помечено: «отпр⟨авлено⟩», против другого, вероятно, повторного или являющегося обозначением продолжения той же статьи заголовка «Славяноф⟨илы⟩» — помета: «нап⟨исано⟩».

Как известно из письма к А. В. Топорову от 1 (13) июня 1882 г., Тургенев собирался опубликовать очерк о славянофилах и в издании 1883 г., отмечая, что статья «давно уже готова, но по разным причинам откладывалась» и что в ней «будут два листа с лишком» и она войдет в состав «Литературных и житейских воспоминаний». П. В. Анненкову 15 (27) августа 1882 г. Тургенев писал: «Статья „Славянофилы и семейство Аксаковых“ написана мною лет 8 тому назад и трактует вопросы более с литературно-биографической точки зрения, хотя есть в ней две-три политические фразы, не лишенные верности, сколько мне кажется; я прибавлю к ней всего несколько строк». Однако очерк не попал в собрание сочинений Тургенева 1883 г.; не удалось обнаружить до сих пор и «отд⟨ельные⟩ листы» с продолжением публикуемого в настоящем издании отрывка.

---

[2] О сближении Тургенева с семьей Аксаковых в 1850-е годы и о продолжавшейся, несмотря на это сближение, полемике между ними см.: Аксакова В. С. Дневник. СПб., 1913, с. 41—42; см. также: Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. М., 1976, с. 223—226.

С т р. 286. *Я только что вернулся из Берлина и был весь, так сказать, пропитан философией Гегеля, которую изучал* ∽ *под руководством профессора Вердера.*— См. наст. том, с. 326.

Покойный А. С. Хомяков играл роль первенствующую, роль Рудина.— Упоминания об Алексее Степановиче Хомякове (1804—1860) как об одном из главных теоретиков славянофильства, талантливом поэте и публицисте, часто встречаются у Тургенева. См., например, письмо Тургенева к Н. А. Некрасову от 25 мая (6 июня) 1856 г., а также: наст. изд., т. 6, с. 101 («Дворянское гнездо»).

Сравнение Хомякова с Рудиным не противоречило восприятию этого образа современниками как определенного типа людей 1840-х годов. Возможно, что С. Т. Аксаков имел в виду и Хомякова, когда писал Тургеневу: «Я не хочу знать, чистый ли вымысел характер Рудина или нет. Я принимаю его как тип таких людей ⟨. . .⟩ я даже видел на моем веку людей, подобных Рудину, и слыхал приговоры о них именно таких же нравственных людей, как Лежнев» (*Рус Обзор*, 1894, № 12, с. 580).

Я попал в цех словоизвергателей, выражаясь щедр⟨ински⟩м языком.— В очерке «Литераторы-обыватели», опубликованном в февральском номере «Современника» за 1861 г., Щедрин, имея в виду либеральное обличительство, писал: «И вновь полилась шумная беседа, вновь полились словоизвержения, словопрения, словоизлияния...» (с. 387). Позднее Щедрин употребил аналогичное выражение в статье «Наши бури и непогоды»: «Целые политические процессы у нас велись и ведутся из-за словоизвержения — и сколько погибло от этого сил!» (*Отеч Зап*, 1870, № 2, с. 399).

⟨ОБ «ИСКУШЕНИИ СВЯТОГО АНТОНИЯ» Г. ФЛОБЕРА⟩

(с. 287)

Единственный источник текста — черновой автограф — отрывок, без заглавия, на одном листе, с авторской пометой: «Париж. 1-го апр./20-го марта 1874». Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, p. 86; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 228.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. XIV, с. 306.

Печатается по тексту чернового автографа.

Мысль выступить публично с отзывом об «Искушении святого Антония» Г. Флобера, чтобы «указать на настоящую точку зрения в этом деле» русским читателям, возникла у Тургенева в начале 1874 г. в связи с выходом в свет этого произведения во Франции в издательстве Ж. Шарпантье. Своими соображениями по этому поводу Тургенев делился с редактором «Вестника Европы» и, в частности, в письме к нему от 27 января (8 февраля) 1874 г. Незавершенной рецензии Тургенева на новую книгу Флобера предшествовал замысел предисловия к русскому ее переводу, по поводу которого писатель вел деятельные переговоры с М. М. Стасюлевичем. Перевод на русский язык этой книги в 1874 г. не состоялся, неосуществленным осталось и намерение Тургенева написать предисловие к нему [1].

[1] Подробнее об этом, как и об отношении Тургенева к творчеству Флобера, см.: К л е м а н М. И. С. Тургенев — переводчик

После неудачной попытки познакомить русских читателей с новым произведением Флобера Тургенев обратился к Л. Пичу, Л. Фридлендеру, Ю. Шмидту, П. Линдау, П. Гейзе, Г. Лаубе, В. Рольстону и другим западным критикам с письмами, датированными 21 марта (2 апреля) 1874 г., горячо рекомендуя им оценить по достоинству «Искушение святого Антония». Почти одновременно (об этом свидетельствует дата в черновом автографе: «21 марта/2 апреля 1874 г.») Тургенев начал работу над рецензией, предназначенной, очевидно, для журнала «Вестник Европы».

О своем наброске Тургенев сообщал в письме к Стасюлевичу от 23 марта (4 апреля) 1874 г.: «Завтра я Вам пошлю несколько строк о флоберовской „Tentation de St.-Antoine“, которая появилась здесь и возбуждает нечто вроде негодования». Судя по сохранившемуся началу, рецензия была задумана Тургеневым не только с информационной целью. Об этом свидетельствуют широкий историко-литературный фон, на котором намечен был анализ «Искушения святого Антония», сопоставление его с романом В. Гюго «93-й год» и рассуждения о двух видах читателей.

Рецензия эта не была завершена, хотя в письме к Стасюлевичу от 27 марта (8 апреля) 1874 г. Тургенев писал: «Я, как обещал Вам, написал маленькую статейку о нем ⟨Флобере⟩, положил ее в конверт, запечатал — и, к удивлению моему, нашел ее сегодня на моем столе. Посылать ее теперь нет смысла. Постараюсь написать что-нибудь побольше и посерьезнее для майской книжки». По мнению М. К. Клемана, рецензия оказалась не отосланной лишь по случайной причине [2]. Однако можно высказать и другое предположение: не закончив рецензию к намеченному сроку, Тургенев умышленно мистифицировал редактора «Вестника Европы», имея в виду использовать этот набросок в будущей работе о Флобере, о которой он сообщал в письме к Стасюлевичу от 27 марта (8 апреля) 1874 г.

Замысел статьи о Флобере остался также неосуществленным. Некоторые отрывки чернового автографа рецензии вошли в предисловие Тургенева к его переводам из Флобера и были творчески использованы Золя в восьмом «Парижском письме»: «Флобер и его сочинения», опубликованном в «Вестнике Европы» (1875, № 11) [3].

С т р. 287. ...*творца «Г-жи Бовари»*...— Тургенев высоко ценил этот роман Флобера (1857), считая его самым замечательным произведением новейшей французской реалистической школы (см. предисловие Тургенева к русскому переводу романа М. Дюкана «Утраченные силы» — наст. изд., т. 10, с. 346.

«Д⟨евяносто⟩ т⟨ретий⟩ год» В. Гюго.— Отрицательная оценка романа Гюго «93-й год» (1874) содержится в письмах Тургенева к А. Ф. Онегину от 8 (20) марта и к П. В. Анненкову от 4 (16) апреля 1874 г. Об отношении Тургенева к творчеству В. Гюго см. в его письмах к П. Виардо 1848 г., а также: А л е к с е е в М. П. В. Гюго и его русские знакомства.— *Лит Насл*, т. 31—32, с. 868—879; Б а т ю т о А. И. Тургенев-романист. Л., 1972, с. 167—172.

Флобера.— В кн.: Ф л о б е р Г. Собр. соч. М., 1934. Т. 5, с. 133—149: *Т сб*, вып. 3, с. 141—149.

[2] Ф л о б е р Г. Собр. соч. М., 1938. Т. 8, с. 538.

[3] См. об этом: М о с т о в с к а я Н. Н. Флобер в оценке Тургенева и Золя на страницах «Вестника Европы».— В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 154—159.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I

UN INCENDIE EN MER
(ПОЖАР НА МОРЕ)

(с. 293 и 299)

Впервые опубликовано (русский текст): *Т*, *ПСС*, *1883*, т. 1, с. 212—213, в составе «Литературных и житейских воспоминаний» как последний, двенадцатый очерк.

Рассказ продиктован Тургеневым по-французски Полине Виардо. Записанный ею текст см. в издании: Tourguéneff I. Oeuvres dernières. Paris: J. Hetzel et C-ie, éditeurs, 1885, p. 281—296, с примечанием: «Texte original dicté en langue française par l'auteur en juin 1883, trois mois avant sa mort» [1]. Дата окончания диктовки — 5 (17) июня 1883 г.— помечена в первой публикации. Русский перевод французского текста выполнен А. Н. Луканиной в июле — августе 1883 г. и просмотрен, по ее словам, Тургеневым (см. ниже).

Рукописи обоих текстов — русского и французского — не сохранились.

Печатается по текстам «Oeuvres dernières» и *Т*, *ПСС*, *1883*; в русский текст внесено исправление: «госпожа Т...» (с. 298, строка 26) вместо «госпожа I...»— по тексту «Oeuvres dernières» и документальным источникам (см. ниже, примеч. с. 529).

Создание очерка «Пожар на море» отделено от описанного в нем события сорока пятью годами. Тургенев выехал из Петербурга в Германию на пароходе «Николай I» 15 (27) мая 1838 г.; пожар случился в ночь с 18 (30) на 19 (31) мая (*Сев пчела*, 1838, № 117, 27 мая). Катастрофа произвела на Тургенева сильнейшее впечатление, и краткая запись о ней была занесена им впоследствии в «Мемориал», конспект важнейших событий его жизни, под 1838 годом: «В *мае* в 1-й раз за границу. Пожар „Николая". Елеонора Тютчева. Путешествие по Германии (Б⟨арон⟩ Розен. Порфирий. Демидов)» (см. наст. том, с. 198). Кроме того, у Тургенева были и особые причины, заставившие его в пору тяжелой болезни, за три месяца до смерти, реализовать замысел автобиографического очерка.

Вскоре после катастрофы с «Николаем I» в Петербурге и Москве распространились неблагоприятные для Тургенева слухи о его поведении во время пожара на пароходе. 17 (29) марта 1839 г. В. П. Тургенева писала сыну: «Никогда ты минуты не подумаешь, где ты! — Не посмотришь, что делается около тебя, чего требует пристойность. Например, почему могли заметить *на пароходе* одни твои ламантации... Слухи всюду доходят! — и мне уже многие говорили, к большому моему неудовольствию... Ce gros monsieur Tourguéneff qui se

---

[1] «Оригинальный текст, продиктованный по-французски автором в июне 1883 г., за три месяца до смерти» (с. 281). Сборник «Oeuvres dernières» вышел в свет 16 июня 1885 г., как указано в выходных данных книги, в еженедельнике «Bibliographie de la France. Journal général de l'imprimerie et de la librairie». 74-e Année, 2-e Série, N 27, 4 Juillet 1885.

lamentoit tant, qui disoit mourir si jeune... [2] Какая-то Толстая... Какая-то Голицына... И еще, и еще... Там дамы были, матери семейств.— Почему же о тебе рассказывают? Что ты gros monsieur — не твоя вина, но! — что ты трусил, когда другие в тогдашнем страхе могли заметить... Это оставило на тебе пятно, ежели не бесчестное, то *ридикюльное*. Согласись...» (*Т сб* (*Пиксанов*), с. 32—33). О пожаре на «Николае I» и поведении Тургенева рассказывает в своих воспоминаниях А. Я. Панаева: «Если не ошибаюсь, в 1842 году я познакомилась с Тургеневым ⟨. . .⟩ Тургенев занимал меня разговором о своей поездке за границу и однажды рассказал о пожаре на пароходе, на котором он ехал из Штеттина, причем, не потеряв присутствия духа, успокаивал плачущих женщин и ободрял их мужей, обезумевших от паники ⟨. . .⟩ Я уже слышала раньше об этой катастрофе ⟨. . .⟩ между прочим, знакомый рассказал мне, как один молоденький пассажир был наказан капитаном парохода за то, что он, когда спустили лодку, чтобы первых свезти с горевшего парохода женщин и детей, толкал их, желая сесть раньше всех в лодку и надоедал всем жалобами на капитана, что тот не дозволяет ему сесть в лодку, причем жалобно восклицал: „Mourir si jeune!“ На музыке я показала этому знакомому ⟨. . .⟩ Соллогуба и Тургенева. „Боже мой! — воскликнул мой гость,— да это тот самый молодой человек, который кричал на пароходе „Mourir si jeune“» [3]. В передаче Панаевой версия обросла указанием на рассказ Тургенева о собственном благородстве и мужестве, а также отзывом очевидца о его попытке оттеснить других, чтобы спастись самому. Возможно, что в подобных рассказах проявлялась «поэтическая ложь», столь свойственная, по словам Анненкова, молодому Тургеневу, и его желание произвести «литературный эффект» (*Анненков*, с. 382). В какой-то мере оскорбительный характер сведений о Тургеневе должен быть отнесен и за счет личного нерасположения к нему мемуаристки. Например, в самой ранней, очень подробной записи устного рассказа Тургенева о пожаре на «Николае I», сохранившейся в дневнике Евдокии Васильевны Сухово-Кобылиной [4], не отражено ни малейшей попытки Тургенева к самовосхвалению; при этом дневниковая запись сделана Сухово-Кобылиной под свежим впечатлением от рассказа, 14 (26) июля 1838 г., и, отличаясь большой непосредственностью, не лишена критического отношения к Тургеневу.

Еще более компрометирующий характер носили разговоры о том, что Тургенев в минуту крайней опасности будто бы назвал себя единственным сыном своей матери. Анненков так пересказывает это со слов современников в мемуарном очерке «Молодость И. С. Тургенева. 1840—1856»: «За два года до его приезда из первого путешествия за границу (1840 год) с целью образования — о нем были уже слухи в Москве и Петербурге. Знали, что он находился при отъезде своем в 1838 году на том самом пароходе, который сгорел у мекленбургских берегов, что он вместе с другими искал спасения на лод-

---

[2] Этот огромный господин Тургенев, который так причитал, который говорил: Умереть таким молодым... (*франц.*)

[3] Панаева А. Я. Воспоминания. М., 1972, с. 94—95; впервые опубликованы после смерти Тургенева, в 1889 г.

[4] Автограф дневника Е. В. Сухово-Кобылиной (в замужестве Петрово-Соловово) хранится в Отделе рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. Петрово-Соловово; дневниковую запись устного рассказа Тургенева см.: *Лит Насл*, т. 76, с. 338—340.

ках, перевозивших пассажиров на малогостеприимную землю этой германской окраины. Рассказывали тогда, со слов свидетелей общего бедствия, что он потерял голову от страха, волновался через меру на пароходе, взывал к любимой матери и извещал товарищей несчастия, что он богатый сын вдовы, хотя их было двое у нее, и должен быть для нее сохранен. Слухам этим верили, так как он был крайне молод в то время (двадцати лет)» (*Анненков*, с. 380). Однако для Тургенева и это обвинение со временем, очевидно, потеряло свою остроту, так как в 1855 г. он даже «добродушно согласился», участвуя в фарсе «Школа гостеприимства», «произнести выразительную фразу, внесенную в его роль и сказанную будто бы им на пароходе во время пожара: „Спасите, спасите меня, я единственный сын у матери!“» [5]

Отношение Тургенева к реминисценциям прошлого изменилось, когда П. В. Долгоруков сделал эпизод из его жизни достоянием гласности, приведя его в своих воспоминаниях в доказательство отсутствия у Тургенева гражданского мужества [6]. Отрывок из воспоминаний Долгорукова пересказал А. С. Суворин (Незнакомец) в фельетоне «Недельные очерки и картинки» (*СПб Вед*, 1868, № 183, 7 июля). В ответ на это Тургенев выступил с письмом к редактору, в котором опровергал «старую и вздорную сплетню», повторенную Долгоруковым: «Близость смерти могла смутить девятнадцатилетнего мальчика — и я не намерен уверять читателя, что я глядел на нее равнодушно, но означенных слов, сочиненных на другой же день одним остроумным князем (не Долгоруковым), я не произнес» (*СПб Вед*, 1868, № 186, 10 (22) июля). Известно, что на пароходе «Николай I» находился кн. П. А. Вяземский; в тексте «Пожара на море» он обозначен буквой W. В записных книжках Вяземского сохранились лишь краткие заметки о нескольких участниках катастрофы, но о Тургеневе нет ни слова. Во всяком случае, последующая история личных отношений Вяземского и Тургенева не противоречит тому, что именно он мог быть «остроумным князем», распространившим анекдот о Тургеневе [7].

Несмотря на сделанное Тургеневым опровержение в печати, эпизод из его молодости продолжал оставаться для него неприятным воспоминанием. В конце 1880 г. или в самом начале 1881 г., беседуя с В. Ф. Гинтовт-Дзевалтовским, незадолго до этого попавшим в кораблекрушение, Тургенев советовал ему начать писать: «Вот попробуйте. И для начала опишите ваше кораблекрушение. Не торопясь, шаг за шагом, припоминайте мысли, чувства, жесты, движения. Не старайтесь изложить красиво, следите за точностью, пока не забыто происшествие во всех мелочах и подробностях 〈. . .〉 Пишите! Сама судьба позаботилась о вас, давши в руки исключитель-

---

[5] Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1961, с. 140. Фарс был написан при участии Тургенева гостившими у него в Спасском В. П. Боткиным, А. В. Дружининым и Д. В. Григоровичем и разыгран 26 мая 1855 г. в присутствии соседей — ближайших знакомых. В повести «Школа гостеприимства», написанной и опубликованной Григоровичем в сентябрьской книжке «Библиотеки для чтения» за 1855 г., эпизода с одиозной фразой нет.

[6] Mémoires du prince Pierre Dolgoroukow. Genève, 1867. T. 1, p. 336.

[7] Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). М., 1963, с. 238. Ср.: Бельчиков Н. Ф. Тургенев и Вяземский.— *Центрархив*, *Документы*, с. 10—19.

ный материал. Да, наконец, это же интересно и другим. Я, например, отнесусь с крайним вниманием к подобной вещи, написанной самим претерпевшим на море. Со мною нечто подобное могло случиться когда-то давно, пожалуй, в ваши годы. Но у меня вышло несуразное и глупое, и я вспоминаю об этом с прискорбием...» (*Революционеры-семидесятники*, с. 312). Здесь важна прежде всего оценка Тургеневым своего поведения как «несуразного»; очевидно, что это относится не к литературной попытке описать происшествие, а к жизненному факту,— вряд ли о творческой неудаче Тургенев стал бы вспоминать «с прискорбием». Естественно, что у Тургенева оставалась потребность реабилитации, причем в жанре свободного рассказа ему было легче избежать прямых самооправданий и вместе с тем обрисовать общее смятение на пароходе и расположить к себе читателя трезвой оценкой былого малодушия и фатовства. Задача представляла не только личный, автобиографический, но и творческий интерес — изобразить поведение разных людей в минуту опасности, перед возможной гибелью; это органически связано с темами смерти и самоубийства в творчестве Тургенева последних лет.

В воспоминаниях А. П. Боткиной о приездах Тургенева к ее отцу сохранилась запись о его рассказе, относящаяся к 1878 году. Эта запись говорит о том, насколько событие сорокалетней давности сохраняло для Тургенева интерес художественного воспроизведения его во всех подробностях: «Вдруг старик оживился,— он что-то рассказывал. Голос его повышался, стал ясный, и я уже слышала весь его рассказ. Этот усталый, тяжелый человек стал жив и молод, голос его раскатывался, особенно когда он менял его, изображая разных лиц. Он рассказывал о пожаре на пароходе, на котором он ехал в Германию. Этот рассказ я прочитала много лет спустя в посмертном издании сочинений Тургенева» [8].

Э. М. де Вогюе в своей статье, предпосланной посмертному сборнику статей Тургенева, также подтверждает частые обращения писателя в устных беседах к этому эпизоду: «Его русские друзья много раз убеждали его написать об этом событии, о котором он охотно рассказывал; он всегда отказывался» (Oeuvres dernières, Paris, 1885, p. 78—79).

Намерение написать автобиографический очерк окончательно сложилось у Тургенева летом 1882 г. в связи с подготовкой нового собрания сочинений. 4 (16) июля он писал А. В. Топорову: «Вы можете сказать Глазунову, что сверх напечатанных еще статей я могу обещать еще две, которые в первый раз у него явятся, одна „Семейство Аксаковых и славянофилы“ (она давно уже лежит в моем портфеле), другая автобиографическая». Тогда же определился объем очерка: «Две прибавочные статьи: „Семейство Аксаковых“ и „Пожар“ составят около 3-х листов и будут помещены в 1-м томе — в „Житейских воспоминаниях“»,— писал Тургенев Топорову 5 (17) августа 1882 г.[9]

17 (29) сентября 1882 г. Тургенев писал Ж. А. Полонской: «Литературная жилка во мне зашевелилась — и я теперь принялся за

---

[8] Боткина А. П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. Государственная Третьяковская галерея. М., 1951, с. 212.

[9] Так как ранее, в письме к тому же Топорову от 1 (13) июня, Тургенев сообщил, что статья «Семейство Аксаковых и славянофилы» будет размером в «два листа с лишком», очевидно, что «Пожар на море» был сразу задуман Тургеневым, как и осуществлен, в виде короткого очерка в пол-листа.

обделывание тех двух статей, которые я обещал новому глазуновскому изданию». Через два месяца после этого Тургенев сообщал Топорову: «... мое здоровье опять значительно ухудшилось — и я совсем не знаю, когда я буду в состоянии приняться за работу. К тому же мне следует прежде окончить обещанные две статьи для 1-го тома глазуновского издания» (письмо от 18 (30) ноября 1882 г.). Из-за резкого ухудшения здоровья Тургенева работа затянулась до лета 1883 г., когда, наконец, «Пожар на море» был продиктован им Полине Виардо по-французски; дата окончания этой работы проставлена в первой публикации: 5 (17) июня 1883 г. 8 (20) июня Тургенев сообщал Топорову: «...моя слабость еще такая безобразная, что ничего предпринять я не могу; впрочем, „Пожар на море" я кое-как одолел».

Перевод рассказа на русский язык Тургенев поручил писательнице А. Н. Луканиной. 25 декабря 1882 г. (6 января 1883 г.) в письме к М. М. Стасюлевичу Тургенев отзывался с похвалой о способностях Луканиной как переводчика с французского на русский.

О переводе «Пожара на море» Луканина рассказывает в дневниковой записи от 1 октября н. ст. 1883 г., включенной ею в воспоминания «Мое знакомство с И. С. Тургеневым»: «Последний раз я видела Ивана Сергеевича в пятницу, десятого августа. Я нашла его не особенно слабым. В последнее время он несколько раз посылал за мною и, между прочим, поручил мне перевести на русский язык рассказ его „Пожар на море". Окончив работу, я отвезла ее в Буживаль ⟨. . .⟩ Взяв у меня перевод „Пожара на море", он сказал, что у него есть еще другой рассказ, который он тоже диктует по-французски г-же Виардо ⟨. . .⟩. Относительно моего перевода он, просмотрев его, заметил, что там вкралось несколько галлицизмов, но в общем остался доволен ⟨. . .⟩. Я сказала ему, как мне нравится „Пожар на море" по картинности и простоте, а главное по правде описанных там ощущений. „Всё это так точно и было,— отвечал Иван Сергеевич, задумчиво улыбаясь и словно вглядываясь далеко, далеко в прошлое... Мне было тогда восемнадцать лет..."» (*Сев Вестн*, 1887, № 3, с. 87).

Перевод Луканиной, просмотренный и в целом одобренный Тургеневым, может, таким образом, считаться последним авторизованным текстом «Пожара на море». Отличия русского перевода от текста, записанного П. Виардо, незначительны. Во французском тексте заглавие сопровождено редакционным подстрочным примечанием (см. с. 523), даты в конце нет. Отличия в тексте:

Стр. 293.
27 своих девятнадцати лет / de mes dix-huit ans ⟨своих восемнадцати лет⟩
Стр. 294.
6–7 «Пожар!» / «Le feu est au bâtiment! ⟨«Корабль горит!»⟩
14 Два широких столба дыма пополам с огнем / Deux larges tourbillons de fumée ⟨Два широких столба дыма⟩
Стр. 295.
16 невольный страх/un respect involontaire ⟨невольное почтение⟩
20 нежели мужчины / que la plupart des hommes ⟨чем большинство мужчин⟩
34 в девятнадцать лет / à dix-huit ans ⟨в восемнадцать лет⟩
Стр. 296.
15 нашего спасителя / de notre ange sauveur ⟨нашего ангела-спасителя⟩

Стр. 297.

[9] в одну из первых лодок, опрокинувшихся потом по вине пассажиров / dans une des premières embarcations qui avaient sombré ⟨в одну из первых лодок, которые затонули⟩

Стр. 298.

[32–33] вперед / en avant à la rencontre des naufragées ⟨вперед навстречу женщинам, потерпевшим кораблекрушение⟩

Стр. 299.

[6] своих товарищей по крушению / mes compagnons d'infortune ⟨своих товарищей по несчастью⟩

Помимо перечисленного, следует отметить в переводе Луканиной те места, которые, будучи по смыслу однозначны французскому тексту, противоречат стилю и языку тургеневской прозы. Таковы галлицизмы, на которые, как известно из воспоминаний Луканиной, Тургенев обратил внимание при просмотре ее перевода. Луканина переводит «énergiques» как «энергическими» (вместо: решительными — с. 295, строки 14—15); «risquer le saut» — «сделать рискованный прыжок» (вместо: отважиться на прыжок — с. 297, строка 18). Не всегда найдены удачные эквиваленты в русском тексте: «ne pouvait prendre mes paroles au sérieux» переводится как «не мог принять моих слов за серьезное» (вместо: не мог принять мои слова всерьез — с. 294, строки 20—21); «craqua dans toutes ses jointures» — «затрещала во всех швах» (вместо: затрещала по всем швам — с. 297, строки 33—34). Есть повторы, отсутствующие во французском тексте; так «fort heureusement» и «par bonheur» в соседних фразах Луканина переводит одинаково: «к счастью». Есть длинноты: французское «n'en déplaise à mon sexe» распространено в «что бы там ни подумала об этом мужская половина рода человеческого». В одном случае буквальный перевод французской синтаксической конструкции привел даже к некоторому нарушению смысла фразы: «Pâles et blanches, la nuit les avait surprises dans leurs lits...» (с. 295, строки 20—21). В русском переводе: «Бледных как смерть ночь застала их в постелях...» (получается, что женщины были бледны еще до вести о пожаре). Однако все эти замечания не отнимают у перевода Луканиной значения авторизованного и служат лишь предостережением против использования русского текста «Пожара на море» для характеристики языка и стиля Тургенева.

В 1886 г. Оскар Уайльд напечатал в «Macmillan's Magazine» (vol. LIV, N 319, may, p. 39—44) свой перевод «Пожара на море», сделанный им по тексту, напечатанному в томе посмертных произведений писателя (T o u r g u é n e f f I. Oeuvres dernières. Paris: J. Hetzel et C-ie, 1885). Этот перевод сопровожден примечанием О. Уайльда, в котором сказано, что рассказ представляет собою воспоминание о реальном случае из жизни русского писателя и что он продиктован был Тургеневым на французском языке за три месяца до его смерти (см.: M a s o n Stuart. Bibliography of O. Wildes, s. a., p. 111).

Полный текст английского перевода «Пожара на море», осуществленного И. Берлиным (I. Berlin), под заглавием «An episode of the Life of Ivan Turgenev» был помещен в «The London Magazine» в 1957 г. (vol. 4, N 7, p. 15—24).

С т р. 299. *Нас, пассажиров, было около двухсот восьмидесяти...* — По официальным данным — 132 пассажира и 38 человек экипажа (*Сев пчела*, 1838, № 117, 27 мая).

С т р. 301. *...этот же капитан всем нам спас жизнь.*— В официальных сообщениях отмечалось: «Капитан Шталь, не теряя присутствия духа, воспользовался действием машины, чтоб приблизиться к берегу, а огонь заливал только ручными трубами. Если б корабль остановили и силу паров употребили на заливание огня, то, при недостатке в ботах и при неизбежной в таком случае суматохе, все бывшие на пароходе погибли бы от огня или в воде» (*Сев пчела*, 1838, № 117).

...г. Д-ва, нашего бывшего русского посланника в Копенгагене...— Речь идет о Якове Андреевиче Дашкове (ум. в 1872 г.). В 1831 г. Дашков был определен первым секретарем при миссии в Копенгагене и, за отсутствием посланника, некоторое время исправлял должность поверенного в делах (Русский биографический словарь, т. 6, СПб, 1905).

С т р. 304. *Пассажиров погибло мало, всего восемь...*— В газетном сообщении сказано: «Между тем все спасены: недосчитались только пятерых человек, а именно г. Головкова, сахаровара Мейера (при заведении г. Берда в С.-Петербурге), находившегося при г. Маркелове служителя Кёлера и двух человек из экипажа» (*Сев пчела*, 1838, № 117).

...князь W...— П. А. Вяземский (см. выше, с. 525).

...г-жа Т...∽ *связанная своими четырьмя дочками и их нянюшками...*— В русском тексте здесь: г-жа I... Однако из французского текста, где спутница Тургенева обозначена буквой «Т...», и из прочих источников ясно, что речь идет о первой жене Ф. И. Тютчева. В известиях об отъезжающих за границу указано: «Камергера и первого секретаря при Сардинском дворе Тютчева супруга Елеонора Федоровна с малолетними дочерьми: Анною, Дарьею и Катериною — и при них баварская подданная Цвенгауэр, швейцарка Катерина Жарден и российский подданный Густав Арнольд...» (*СПб Вед*, 1838, № 90, 26 апреля; то же в номерах 92 и 94). См. также в очерке И. С. Аксакова «Биография Федора Ивановича Тютчева» (М., 1886, с. 25). В письмах В. П. Тургеневой к сыну, написанных в ближайшие после катастрофы месяцы, встречаются упоминания о Тютчевой как о знакомой Тургенева (*Т сб* (*Пиксанов*), с. 34).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР

*

Редакционная коллегия:
М. П. АЛЕКСЕЕВ (главный редактор),
В. Н. БАСКАКОВ (зам. главного редактора),
А. С. БУШМИН, Н. В. ИЗМАЙЛОВ, Н. С. НИКИТИНА

Тексты подготовили и примечания составили:
А. И. Батюто, И. А. Битюгова, Н. Ф. Буданова,
Т. П. Голованова, Л. М. Долотова, Е. И. Кийко,
Д. М. Климова, Т. А. Лапицкая, Н. Н. Мостовская,
А. Б. Муратов, Л. Н. Назарова, Н. С. Никитина,
Г. Ф. Перминов, Е. М. Хмелевская, Н. М. Чернов

Редактор одиннадцатого тома
Л. Н. Назарова

*

Редактор издательства *М. Б. Покровская*
Оформление художника *М. В. Большакова*
Художественный редактор *С. А. Литвак*
Технический редактор *Н. П. Кузнецова*
Корректоры *М. В. Борткова* и *Н. М. Вселюбская*

ИБ № 26939

Сдано в набор 01.07.82.
Подписано к печати 03.01.83.
Формат 84×108 1/32.
Бумага типографская № 1.
Гарнитура обыкновенная.
Печать высокая.
Усл. печ. л. 27,8. Усл. кр. отт. 27,9.
Уч.-изд. л. 33,3.
Тираж 400 000 экз. (1-й з-д 1—150 000 экз.) Заказ № 463.
Цена 3 р. 70 к.

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28